Библиотека Всемирной Литературы



Испанский плутовской роман

Библиотека Всемирной Литературы



Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

Испанский плутовской роман

Перевод с испанского

Москва



2008

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Исп)
И 88

Перевод с испанского
К. Державина, С. Игнатова, Е. Лысенко

Предисловие *С. Пискуновой*

Комментарии
С. Игнатова, Е. Лысенко, С. Пискуновой

Оформление серии *А. Бондаренко*

И 88 **Испанский** плутовской роман / [пер. с исп. К. Державина, С. Игнатова, Е. Лысенко; предисл. С. Пискуновой; коммент. С. Игнатова, Е. Лысенко, С. Пискуновой]. – М.: Эксмо, 2008. – 800 с.: ил. – (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-26726-2

«Жизнь Ласарильо» — это книга, которая учит не унывать и сохранять оптимизм, несмотря на все мытырства и злоключения, как побеждать враждебно настроенную судьбу, уповая на свою ловкость и изворотливость.

Плут и мошенник по имени дон Паблос – главный персонаж романа Кеведо, – переживает немало злоключений и меняет немало профессий: выступает актером, притворяется калекой-нищим, примыкает к воровской шайке, становится наемным убийцей...

Роман «Жизнь Маркоса де Обрегон» во многом автобиографический, принадлежит перу Висенте Эспинеля – яркой личности своего времени. Лопе де Вега называл его «отцом музыки», а великий Сервантес в своем «Путешествии на Парнас» выделил Эспинеля наряду с Франсиско Кеведо из всех испанских писателей.

Хромой Бес – герой одноименной повести Луиса Велеса де Гевара – выступает в роли наставника вечного студента дона Клеофаса, освободившего его из заколдованного сосуда. Комментируя людские пороки, он показал Клеофасу столицу с верхушки колокольни, сняв с помощью дьявольских чар крыши зданий и обнажив «мясную начинку Мадрида».

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Исп)

ISBN 978-5-699-26726-2

Содержание

Исповеди и проповеди испанских плутов

В каждой культуре есть не только свои писатели-классики, но и свои классические жанры: в Древней Греции – трагедия, в ренессансной Италии – новелла, в Англии – романтическая поэма, во Франции и в России – роман... В Испании в эпоху Барокко таким жанром стала пикареска (от слова «пи́каро» – прозвания героя жанра, примерно соответствующее русскому плут, ловкач, пройдоха, прихлебатель). Речь идет именно о классике-жанре, а не о классике-творце, каковым в Испании конца XVI – начала XVII века – времени утверждения и расцвета пикарески – несомненно, был Сервантес, создатель «Дон Кихота», написанного в полемике не только с рыцарскими, но и с плутовскими повествованиями. Но «Дон Кихот», позднее признанный первым образцовым новоевропейским романом, в свою эпоху и в своем отечестве остался без «потомства». Единственное подражание-продолжение «Дон Кихота» – так называемый «Лжекихот» Авельянеды, увидевший свет за год до выхода Второй части романа Сервантеса (1615), – свидетельствует о полном непонимании узурпатором сути жанрового новаторства Сервантеса. Соперник Сервантеса, трусливо спрятавшийся под псевдонимом «Авельянеда», не понимал, что «Дон Кихота» и его персонажей нельзя «клонировать»: подражать можно лишь «манере» их создателя, его особым отношениям со своими героями и с читателем, его многоракурсному видению мира, его доброжелательной иронии, нежеланию судить и готовности прощать... Это оказались способными «вычитать» из «Дон Кихота» лишь английские романисты XVIII столетия (Филдинг, Смоллетт, Стерн, Голдсмит), немецкие прозаики «эпохи Гете» (Виланд, Жан-Поль, Тик, Гофман), русские романисты от

Пушкина до Михаила Булгакова. В своем же веке и в своем отечестве творец «Дон Кихота» вплоть до середины XIX столетия оставался в одиночестве. Испания века Барокко не была готова к тому, чтобы в ней появился роман – самый свободный и недогматичный из жанров литературы Нового времени. Ведь и от Нового времени родина Дон Кихота, застывшая в своем имперском, никак не обоснованном экономически, величии, начала отставать. Испанцы XVII в. (в своем большинстве жители новой столицы – Мадрида) основное время проводили в «корралях» – площадных театрах, в приемных знатных лиц, ища какой-нибудь не обременительной, но приносящей постоянный доход должности... Праздность и прожектерство, как основные национальные пороки, обличали все писатели-моралисты того времени. Зато в Испании Филиппа III (1598–1621) и Филиппа IV (1621–1665) – рядом с «новой комедией» Лопе де Вега и бурлескными романсами Гонгоры, сатирическими видениями Кеведо и остроумными поучениями Грасиана расцвела пикареска, которую позднее (уже в XIX в.) назовут «плутовским романом», хотя далеко не каждая пикареска может быть названа «романом» в собственном смысле слова. Ведь роман – это, как правило, история жизни вымышленного героя, а в большинстве пикаресок «история», то есть собственно рассказ, занимает меньше места, чем поучительные размышления и рассуждения автора, сатирические зарисовки окружающего мира и разного рода «вставные» новеллы. Герой романа, по крайней мере, романа новоевропейского, даже герой отрицательный, – это личность, индивидуальность, а персонажи большинства пикаресок – это антиличности или личности-фантомы, персонажи-оборотни, или просто своего рода «фигуры речи». Конечно, именно пикареска стала образцом для создателей нравоописательно-сатирического романа во Франции и в Англии XVIII столетия – Дефо, Смоллетта, Лесажа, Мариво, но в их произведениях испанская традиция преображается до неузнаваемости.

Классическую испанскую пикареску отличает не только и не столько присутствие в ней образа плута, который встречается и в древних мифах в обличье так называемого «трикстера» – двуликого и двуличного бога – помощника «главных» богов и вредителя одновременно, и в народном «животном» эпосе (в России

это – лисица, в Западной Европе – Лис), и в восточных рассказах о проделках хитрецов. Испанская пикареска – это, прежде всего, вполне привычный для нас, но совершенно новаторский для XVI–XVII вв. (если речь идет о вымышленной истории) *тип повествования*, где главный герой выступает и как рассказчик, и как действующее лицо. При этом плутовская автобиография может быть оформлена то как послание, то как рассказ-исповедь, то как мемуары или путевые заметки. Предоставляя своим героям полную свободу высказывания, авторы пикаресок пародируют традиционные жанры исповеди, жития святого, ораторскую речь, церковную проповедь. Чаще всего пикареска – это исповедь «наизнанку», нацеленная не на покаяние, а на самооправдание, не на раскрытие «человека внутреннего», а на демонстрацию «человека внешнего» во всей неприглядности прожитой им жизни. Именно форма повествования от первого лица, позволяющая изобразить мир в перспективе мировосприятия героя-повествователя, с одной стороны, и героя-действующего лица, с другой, обуславливает жанровое своеобразие пикарески, отличает ее от внешне схожих с ней собраний анекдотов, циклизованных вокруг образа главного героя, например, от «народной книги» о Тиле Уленшпигеле.

Первым классическим образцом жанра и одним из лучших творений испанской барочной прозы стал роман Матео Алемана «Гусман де Альфараче» (ч.1 – 1599, ч. 2 – 1604)[1]. В «Гусмане де Альфараче» повествование ведется от лица героя-пикаро, который, оказавшись на каторге (гребцом на галерах) и пережив религиозное просветление, пытается осмыслить и нравственно оценить все, что с ним произошло с момента его рождения. Гусман подробно характеризует маргинальное социальное положение и нравственный облик своих родителей, отыскивая в предыстории своего появления на свет истоки своей далеко не праведной жизни. Дурная наследственность – одна из «магистральных» (Л.Е. Пинский) тем пикарески.

Сюжет романа Алемана развивается как ряд возвышений и падений Гусмана, связанных с его удачными мошенничествами и с их последующими разоблачениями. Образ Гусмана подчеркнуто

1 Он полностью переведен на русский язык Е.Лысенко и Н.Поляк (первое двухтомное издание – М., Художественная литература, 1963).

протеистичен, то есть ускользающе-многолик (вспомним: Протеем звали героя древнегреческих мифов, то и дело менявшего свои обличья). Это проявляется в постоянной смене социальных «масок»- ролей Гусмана, его убеждений, а также в самом стиле его речи, адресованной читателю романа, в которой смешаны патетика и смиренность, горечь и бравада, бесстыдное выставление напоказ своих пороков и морализаторские рассуждения.

Все повествование у Алемана – и это, опять-таки, станет характернейшей чертой жанра – располагается в пространстве между натуралистическим изображением быта, назидательными рассуждениями, сдобренными многочисленными «примерами из жизни», и аллегорическим обобщением. «Жизнь человеческая, что воинская служба: все тут зыбко, все преходяще и нет ни совершенной радости, ни истинного веселья – все обман и суета», – рассуждает Гусман-рассказчик, вспоминая о своих первых испытаниях в придорожных трактирах, где его накормили яичницей из тухлых яиц, вонючим конским мясом, а затем обобрали. И в подтверждение этой мысли приводит аллегорическую притчу о богине Усладе, отнятой богом Юпитером у людей и подмененной Досадой, сходной с ней как две капли воды. Так аллегорически-обобщенно формулируется в романе Алемана тема разочарования в мире, столь характерная для мироощущения эпохи Барокко.

Гусман де Альфараче – настоящий пикаро (само это прозвание впервые появляется на страницах романа Алемана): он не просто плут, а выразитель характерного для позднего Возрождения глубоко кризисного мироощущения, охватившего все сферы жизни: это – и осознание самоопределяющимся новоевропейским индивидумом враждебности окружающего мира, и ощущение нестабильности личного существования, и крах ренессансного «мифа о человеке», основанного на вере в божественное совершенство человеческой природы. Конечно, еще оставалась надежда на то, что, если «нет правды на земле» (А.С. Пушкин), то она есть где-то «выше», но на земле, куда ни посмотри, царят лицемерие, обман, человеческой судьбой распоряжается слепая Фортуна.

На «Гусмана де Альфараче» как на жанровый прецедент будут ориентироваться многие испанские прозаики, бросившиеся с Алеманом спорить, Алеману подражать, алемановский тип повествования усовершенствовать. В таком случае именно Алемана

следует считать творцом жанра – то есть главой «рода». Но у Алемана был предшественник, анонимный создатель книжечки (объемом она никак не роман, а повесть), созданной во второй половине 40-х – самом начале 1550 гг. и дошедшей до нас в четырех изданиях 1554 г. под названием «Жизнь Ласарильо с Тормеса». На титульном листе ни одного из этих изданий имени автора нет: он спрятался под маской отправителя обстоятельного «письма», адресованного толедским городским глашатаем Ласаро некоему важному лицу из числа священнослужителей.

Когда был написан «Ласарильо»? Кто является создателем книги? Существовали ли какие-нибудь более ранние ее издания? Какое из четырех сохранившихся можно рассматривать как editio princeps – первоначальное издание, достоверно воспроизводящее авторский текст? На все эти вопросы история литературы может дать лишь предположительные ответы, что объясняется не столько неразработанностью проблемы – о «Ласарильо» написано множество работ, – сколько своеобразным характером самого произведения, предвосхищающего основные черты литературы нового времени с ее ярко выраженным пафосом авторского самосознания и, вместе с тем, еще тесно связанного с традиционно-фольклорным типом творчества.

Из фольклорной традиции автор «Ласарильо» заимствовал не только отдельные образы и мотивы – прежде всего образы слепца и мальчика-поводыря, известных как персонажи одного французского фарса XIII века. Возможно, сюжет фарса проник в Испанию с бродячими кукольными театрами или через иллюстрации: на полях одной рукописи XIV века было обнаружено изображение слепца и мальчика, причем в ситуациях, целиком совпадающих с отдельными эпизодами «Ласарильо», – мальчик, пьющий через соломинку вино из кувшина, который прижимает к себе слепец; мальчик, проделывающий дырку в бурдюке.

Анонимность повести, равно как отсутствие конкретного автора у фольклорного произведения, как бы предполагала активное соавторство читательской аудитории в сотворении образа героя, по всей видимости, существовавшего в народном воображении, в анекдотах, поговорках, присказках, еще до того, как автор «Ласарильо» взялся за перо. Поэтому, когда речь идет о генезисе повести и о связанных с ней текстологических проблемах,

современная критика с большими оговорками применяет к «Ласарильо» критерии индивидуально-авторского искусства последних четырех веков. Создается ощущение, что история Ласарильо с момента ее написания вовсе не представляла собой законченного авторского текста. Даже попав на типографский станок, она продолжала ходить по рукам в списках. В них первоначальный текст подвергался разного рода изменениям, порожденным не только неизбежными при переписке ошибками, но и творческими новациями переписчиков.

По всей видимости, и разделение повести на главы-рассказы (tratados), и развернутые названия глав, и даже порядок расположения отдельных глав внутри повествования принадлежат не автору «Ласарильо», а его добровольным «редакторам» и издателям: как иначе объяснить диспропорцию в объеме разных глав повести — бросающийся любому читателю в глаза развернутый характер первого, второго, третьего, пятого и седьмого рассказов в противовес сжатости и известному схематизму четвертого и шестого?

С другой стороны, анонимность повести не может не быть расценена и как жест пожелавшего скрыть свое имя писателя, как одна из сторон его глубоко оригинального творческого замысла, сводящегося к тому, чтобы заставить героя самого рассказывать о своей жизни, что, как уже говорилось, было совершенно неизвестным приемом в тогдашнем вымышленном повествовании[1]. «Вопрос об источниках «Ласарильо», — писал по этому поводу известнейший испанский ученый XX в. А. Кастро, — будет иметь второстепенное значение до тех пор, пока мы не соотнесем его с творческой установкой автора... Иначе не объяснить принятого писателем решения — взять за шиворот своего ничего из себя не представляющего героя и выставить его на всеобщее обозрение. Обыденная жизнь — нечто, полностью противоположное героическому деянию, — здесь повествует о себе самой. Таково было гениальное решение... И для того чтобы как-то сгладить подобную дерзость, истинный автор остается в тени. Автобиографичность «Ласарильо» и его анонимность — две стороны одной медали».

1 «От первого лица» люди сочиняли подлинные письма, писали исповеди, автобиографии, донесения-реляции (например, Колумб — об открытых им землях). Вымышленные же истории — прежде всего популярнейшие рыцарские романы или эпические поэмы — писались от третьего лица.

Единственное, что можно сказать достоверно об авторе «Ласарильо», — то, что он принадлежал к группе религиозных вольнодумцев, появившихся в Испании в первой половине XVI века, людей, увлекавшихся религиозными и социальными вопросами, читавших Эразма Роттердамского и весьма скептически относившихся к господствующим церковным догмам. «Ласарильо» по сути дела — это пародия на исповедь, а также развернутое пародийное отрицание понятия «чести» — краеугольного камня официальной идеологии и ренессансного мифа о человеке — «сыне своих дел». Из многочисленных деталей повествования (отмеченных в примечаниях) явствует, что для автора-анонима не существует представления о «святости» и «неприкосновенности» Священного писания (текст повести полон пародийными аллюзиями на те или иные места из Библии), сакральности церковного ритуала.

Автор «письма» наивно гордится своими жизненными успехами, якобы доказывающими, что благодаря своим талантам и добродетелям человек кое-чего в жизни может добиться. Добиться — вопреки своему отнюдь не знатному происхождению. Наглядный пример тому — он, Ласаро, рано лишившийся отца, сын мельника-вора и женщины, ставшей после гибели мужа прачкой и сожительницей негра-коновала. Но скрывшийся «за кулисами» исповеди-похвальбы Ласаро автор над ним явно посмеивается. Простодушие, искренность, самооправдательная исповедальность послания Ласаро «Вашей милости» окрашены авторским ироническим отношением к герою и к его рассказу. Само рождение Ласарильо на мельнице, стоящей на реке Тормес, название которой стало его «фамильным именем», иронически перекликается с мифом о рождении эпического героя «из вод» (ср. «Сказку о царе Салтане»), отразившимся и в сюжете самого знаменитого испанского рыцарского романа «Амадис Галльский», герой которого неслучайно прозывается «Юноша моря».

Но Ласаро — еще не «пикаро» в полном смысле слова. Какое-то сходство с будущим героем жанра он обретает лишь в конце своего жизненного пути (соответственно — в роли автора письма к «Вашей милости»), когда ведет внешне благополучное существование, купленное ценой полного бесчестия (в чем сам он ничуть не

отдает себе отчета): ведь его занятие — городской глашатай, вкупе с обязанностью выступать помощником палача — было самым презираемым в Испании, а его семейное «счастье» зиждется на покровительстве священника, женившего Ласаро на своей наложнице (объяснить эту щекотливую ситуацию и пытается герой-повествователь в письме к «Вашей милости»). Таким образом, Ласаро — особое социально-асоциальное существо, человек, прибившийся к «добрым людям» и, тем не менее, оставшийся изгоем.

Вместе с тем Ласарильо (еще не Ласаро! — исп. суффикс «-ильо» имеет уменьшительно-ласкательное значение) как *действующее лицо* повести, как мальчик-поводырь слепца и слуга других господ, значительно привлекательнее Ласаро — «главы семейства». В своих поступках Ласарильо движим отнюдь не ложными социальными предпочтениями (как будущие герои созданных по подобию анонимной книжицы пикаресок), а простым чувством голода, инстинктом самосохранения. Мотив «голода», от которого ищет спасения мальчик (Ласаро — исп. вариант Лазаря, персонажа Нового Завета, умирающего от голода у дверей богача, — Лк. VII), объединяет первые три главки «рассказа» из семи, составляющих повесть.

Ласарильо руководят не только голод, но и обида, и сострадание к ближнему. Он наделен смирением, позволяющим ему с легкостью просить милостыню (попрошайничество в Испании того времени считалось вполне пристойным занятием, даже профессией), но еще не выродившимся в утрату собственного достоинства. Остроумный и наблюдательный, простодушный и сметливый, Ласарильо — сама Природа, судящая людей и современные церковные установления (антиклерикальная сатира занимает в повести существенное место) с позиций естественных потребностей, здравого смысла и христианства в его исконной, не замутненной столетиями церковных толкований форме, о возрождении которой пеклись Эразм Роттердамский и его последователи. Как сама Природа, Ласарильо в каждом из эпизодов-главок повести умирает и возрождается, подобно еще одному евангельскому Лазарю, умершему и воскресшему по слову Божию.

Якобы невымышленно-достоверная, составленная из цепи беспорядочно нанизанных друг на друга эпизодов, история Ласаро при ближайшем рассмотрении оказывается основанной и на

циклической модели мира, на мифопоэтическом представлении о «вечном возвращении» (Ницше), о бытии как коловращении смертей и рождений. И для читателя XVI века образ Ласарильо еще напоминал травестированный сакральный образ умирающего и воскресающего божества, перенесенный на почву испанской действительности первой половины XVI века[1].

С темой воскрешения героя связан еще один характерно карнавальный мотив повести — мотив вина, к которому Ласарильо испытывает особое влечение со времени своей службы поводырем слепца и которое не раз, по словам последнего, «даровало» Ласарильо жизнь. «Вино» — сквозной мотив-символ повести, соединенный с мотивом «хлеба причастия», вписан в особый «внутренний» сюжет повествования, пародирующий таинство евхаристии (причастия)[2].

Вместе с тем, под пером автора повести традиционные образы и сюжетные схемы[3] десакрализуются, демифологизируются. Жизнь Ласарильо у трех первых хозяев — цепь «смертей» и «воскрешений», приводящих к тому, что в Ласарильо окончательно умирает наивно-природное восприятие мира и рождается Ласаро, готовый принять окружающую лицемерную реальность и жить как «добрые люди».

В контексте повести другие традиционные образы и мотивы также обретают особую смысловую насыщенность, превращаются в образы-символы и в образы-эмблемы, привлекая поколения читателей своей глубиной и многозначностью. Таковы хозяева Ласарильо — внешне традиционные персонажи-типы средневековой литературы: Слепец-побирушка, Поп, Дворянин. Но каждый

1 Одно из ярких тому свидетельств — 259-й сонет Луиса де Гонгора, в котором есть такие строки (даем их построчный перевод):

Мертвого, меня оплакал Тормес, когда я
на берегу *его лежал в глубоком сне...*
Мое воскрешение было таким же чудом,
каким было возвращение Ласаро в мир,
так что я теперь — второй в Кастилии
Ласарильо с Тормеса...

2 См. прим. к наст. изд.

3 Непосредственным прообразом повести является сюжетно завязанный на ритуале инициации «Золотой осел» Апулея, из которого анонимный автор «Ласарильо» заимствовал не только многие сюжетные мотивы (например, службы у разных хозяев, голода, побоев, временной смерти и воскрешения), но и форму повествования от первого лица.

из них вырастает до образа-символа: слепой Жизни, к жестоким законам которой — законам выживания сильного или хитрого — приобщается Ласарильо во время службы мальчиком-поводырем (благодаря урокам слепого зрячий Ласарильо «прозревает»), фальшивой Веры, надутой Героики, на которых зиждился общественный уклад имперской Испании.

Правда, в отношения Ласарильо с его третьим хозяином — нищим идальго, служба у которого знаменует финал его физических мучений (слепец не давал ему вина, священник — ни вина, ни хлеба, у идальго самого не было ни того, ни другого, и Ласарильо вынужден был просить милостыню на улице, чтобы накормить и себя и хозяина), вкрадывается некое в целом для пикарески чуждое начало: голодный Ласарильо *жалеет* своего голодного хозяина.

Четвертый рассказ знаменует поворот в эволюции образа героя и в его истории — к «благополучному» финалу. Точка этого поворота — переход Ласарильо на службу к монаху Ордена милости, а затем к продавцу папских грамот — булл, дающих купившему отпущение грехов (постановление Рима, вызывавшее наибольшее негодование у гуманистов-эразмистов), и к другим священнослужителям, каждый из которых, так или иначе, попирает и христианские заветы, и законы церкви. Нелицеприятное повествование Ласарильо о развратной жизни и проделках его хозяев, направленных против паствы, не может заслонить того факта, что его благополучие куплено ценой приобщения к их образу жизни.

Таким образом, история Ласарильо — своего рода первый в европейской литературе «роман антивоспитания», а ее герой предвосхищает не только персонажей — пикаро, но в еще большей степени — характерный для европейской литературы Нового времени тип героя-приспособленца.

Популярность «Ласарильо» после выхода его в свет в 1554 году была весьма велика, и несмотря на то что в 1559 году книга была включена в список запрещенных книг, судя по имеющимся данным, она продолжала распространяться в списках, издаваться за границей (уже в 1555 г. в Антверпене вышло ее второе издание, а также «продолжение» — анонимная «Вторая часть», написанная, якобы, автором первой).

Большая часть действия «Второй части» (главы с III по XVI, а всего в книге 18 глав) происходит в ином мире, в подводном королевстве рыб-тунцов, в которое Ласаро попадает после того, как корабль, на котором он плыл в Алжир в надежде разбогатеть, участвуя в очередной военной авантюре, потерпел крушение: Ласаро спасается лишь благодаря огромному количеству вина, выпитому им в начале шторма (так еще раз сбывается предсказание первого наставника Ласарильо — слепца, согласно которому вино дарует Ласаро жизнь): вино чудесным образом препятствует проникновению воды в рот и нос тонущего солдата. А затем Бог — по проникновенной молитве Ласаро, явно дублирующей постоянные молитвенные обращения Ласарильо 1554 года к Богу, — превращает его в тунца (превращение происходит в подводной пещере-гроте, где оказывается утонувший Ласаро: еще один гротескный образ-архетип материнского лона, в котором обретали новую жизнь многие мифические и эпические герои). Ласаро ухитряется обмануть новых «сородичей» и выдать себя за одного из них, а затем и завоевать своими геройскими деяниями место фаворита короля-тунца.

Жизнь рыб-тунцов бурлескно-травестийно копирует жизнь людей на земле: у тунцов есть король-правитель, окруженный приближенными (privados), в среде которых выделяется фаворит, фактически распоряжающийся судьбами королевских подданных, у короля-тунца есть армия — его верные солдаты, лавры побед которых присваивают генералы и придворные любимчики, он ведет войны — как с реальными, так и с мифическими врагами. У тунцов есть жены и возлюбленные, есть семейные заботы и дружеские обязанности, но в целом их жизнь, как и жизнь людей, — сплошная война, интриги, раздоры, защита своей чести и борьба за место под солнцем монаршей милости. И все это автор-аноним изображает в откровенно игровой манере, невсерьез, явно наслаждаясь гротескным приложением реалий и понятий, заимствованных из человеческого языка и опыта, к жизни рыб: чего стоят хотя бы шпаги, которые тунцы, наученные Ласаро сражаться «человечьим» оружием, держат во рту! Рассказ о пребывании Ласаро у рыб и в обличье рыбы увенчан аллегорической встречей героя с Правдой, которую тот находит на заброшенной скале среди морских просторов, ибо Правде не нашлось места на земле среди людей (гл. XVI). Вновь оказавшись среди людей и обретя человеческое обличье (Ласаро вместе с другими рыбами-тун-

цами, в том числе и со своей «морской» супругой Луной, попадает в рыбацкие сети), пережив унижения, связанные с тем, что его, получеловека-полурыбу, возят в кадке по градам и весям, показывая публике за деньги как очередное «чудо», герой «Второй части», в конце концов, встречается и со своей супругой, и со своим покровителем — настоятелем собора Спасителя. Финальный, сюжетно никак не связанный с основным повествованием эпизод (гл. XVIII) рассказывает о том, как Ласаро отправляется в Саламанку, где при большом стечении народа побеждает в диспуте ректора Саламанкского университета и других докторов и лиценциатов. Эта победа и является кульминацией самоутверждения Ласаро «Второй части», торжеством мудрости жизни и опыта, причем опыта необычайного, сокровенного, опыта превращения, даруемого не каждому, над университетской схоластической ученостью.

Формально «Вторая часть» наподобие «Ласарильо» 1554 года представлена как письмо (обращения к адресату — «Вашей Милости» — то и дело вставляются в главы). Сюжетно она также непосредственно примыкает к «первой», начинаясь прямо с тех слов, которыми заканчивается издание «Ласарильо», вышедшее в Алькала. Но по существу жанровая парадигма «Второй части» по отношению к «Ласарильо» классическому полностью смещена — в сторону фантасмагорических диалогов вроде «Погремушки» или «Диалога о превращениях», в сторону менипповых сатир Лукиана. Автор «Второй части» нисколько не нуждается ни в фикции «послания», ни в двусмысленности и многозначности «Ласарильо», возникающих из раздвоения образа героя на повествователя и действующее лицо, на Ласаро — умудренного жизнью циника и простодушного ребенка, на Ласаро-рассказчика и Ласаро-«писателя», из несовпадения повествователя и автора-анонима. Ласаро во «Второй части» — рупор авторских идей. В нем нет ни грана внутренней раздвоенности: он — сложившийся человек, зрелый муж, глава семейства, грешный лишь тем, что возмечтал о приумножении своего состояния. Он наделен зорким взглядом на мир, и ракурс его видения мира предопределен авторской эразмистско-критической установкой на разоблачение несправедливости, царящей в мире, и лицемерия всего, что связано с церковным культом (например, как истинный христианин, невзирая на свою

формальную непричастность к клиру, Ласаро берет на себя во время шторма миссию сбежавших с корабля трусливых священников и исповедует погибающих товарищей). Герой «Второй части» — изобретательный и отважный воин, верный друг, нежный муж. Его раздвоенность — чисто внешняя, телесная, связанная с пребыванием человеческой души во временной телесной оболочке рыбы-тунца, а затем — в «промежуточном» состоянии человека-рыбы. Из испытаний, выпавших на его долю, Ласаро выходит наделенным большим знанием о мире, с более тонким и изобретательным умом, что и обеспечивает его триумф в Саламанке, но он не становится качественно другим, иным, «новым» человеком.

Очевидно и сугубо формальное отличие «Второй части» от «Ласарильо» 1554 года. Имитируя жанр послания, автор «Второй части», по сути дела, не нуждается в фикции письма, в воспроизведении стилистики письменно фиксированной устной речи, рассказа, обращенного к конкретному лицу. «Вторая часть» — не лишенный изящества, но достаточно тяжеловесный риторический дискурс, главной целью которого являются сатирическое обличение пороков современной жизни и напоминание о ненадежности и сомнительности всего происходящего в этом мире. Герой здесь — не цель, а средство ведения рассказа. Вместе с тем в продолжении-имитации гротескно обнажаются важнейшие символические мотивы «первого» «Ласарильо», такие как «вино» или связь героя со стихией воды. Яснее становится оборотническая природа Ласаро с Тормеса, персонажа-трикстера.

Матео Алеме н, конечно же, ориентируется, в первую очередь, на «Ласарильо» 1554 года, хотя и включает в рассказ аллегорические фантазии в духе «продолжения». Но его герой не обладает природным простодушием и тем более, детской наивностью Ласарильо-подростка. Он ворует не только для того, чтобы не умереть с голоду, но и в надежде обогатиться. В самом начале своих похождений Гусман усваивает заповедь «с волками жить — по-волчьи выть», которой неукоснительно следует. Он странствует по городам Испании и Италии, изобретая любые не связанные с тяжелым физическим трудом способы обеспечить себе существование (служба у разных господ — одно из таких занятий, хотя далеко не основное). Любыми способами он стремится возвысить-

ся над своей участью, занять в обществе место, которое ему от рождения вовсе не предназначалось.

Проповедь сменяет (не полностью, конечно) исповедь, в то время как в «Ласарильо» именно исповедь, исповедь как социальная речевая практика и как литературный жанр, как целостная литературная структура становится объектом смехового переосмысления.

Именно проповеднический тон «Гусмана де Альфараче» вызвал наибольшее раздражение у молодого Франсиско де Кеведо, студента университета в Алькала-де-Энарес, едва он познакомился с только-только опубликованным романом Алемана.

Используя отдельные сюжетные положения и образы «Гусмана де Альфараче», будущий классик испанской литературы, крупнейший поэт и прозаик эпохи Барокко, сочиняет «Историю жизни пройдохи по имени дон Паблос». Кеведо нацелил свое плутовское повествование против романа Алемана, стремясь уйти от перегруженности повествования морально-дидактическими рассуждениями, вернуться к опыту автора «Ласарильо». Однако автобиографическая форма повествования используется Кеведо как формальный прием: Паблос — повествователь и Паблос — герой повествования практически никак не отделены один от другого. Обращение «я, сеньор», открывающее роман, звучит как дань традиции, поскольку неизвестно, к кому и почему обращается Паблос. Ничего здесь не объясняет и «Посвятительное письмо» («Carta dedicativa»), имеющееся в двух рукописях романа — кордовской и сантандерской, которое современная критика склонна приписывать самому Кеведо. «Письмо» это гласит: «Проведав о желании Вашей милости узнать о многочисленных превратностях моей жизни, чтобы не дать другому солгать (как это нередко случается), я решил послать Вам это сообщение, могущее помочь несколько рассеяться в печали. И поскольку я думаю рассказать все в подробности, сколь бы краткими ни были случившиеся со мной приключения, засим расстаюсь с Вами». Из «Письма» следует, что Кеведо, создавая вторую редакцию романа[1], пытался как-то мотивировать избранную им форму, но мотивировка прозвучала достаточно не убедительно. В «Ласарильо» обращение к

1 О времени и этапах создания «Истории жизни пройдохи...» см. прим. к наст. изд.

«вашей милости» связывало начало романа с его заключительной ситуацией: Ласаро — в «тихой пристани». В романе Кеведо действительность предстает не через призму мировосприятия пикаро, завершившего свой путь покаянием, а с точки зрения героя-пройдохи, несомого по жизни и слившегося с ней до неразличимости.

«История жизни пройдохи» — первая пикареска с «открытой» композицией, обрывающаяся на подчеркнутом многоточии... Заключительная фраза романа: «...ибо никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не меняет своего образа жизни и своих привычек» — лишь подчеркивает отсутствие у автора книги общей дидактической установки, поскольку речь в ней идет не об обретении героем нового мировоззрения — о его «обращении», как это имеет место у Алемана, а о перемене стиля поведения в рамках «практического» миропонимания, сложившегося у Паблоса-пикаро в результате горького житейского опыта.

В романе Кеведо намного выразительнее, нежели у Алемана, и еще отчетливее, чем в «Ласарильо», выступает связь плутовского видения мира с традициями народно-смеховой культуры: художественный язык Кеведо, логика созидаемых им образов прямо соотнесены со специфической символикой карнавального действа[1].

Уже во второй главе «Истории жизни пройдохи» повествуется об участии Паблоса в карнавальном обряде в роли «петушиного короля» («el rey del gallo»). Выборы «петушиного короля» — традиционное развлечение школяров и студентов — являются частью святочного или масленичного праздничного обряда: «петушиный король» — «король на час», избираемый среди участников празднества, возглавляет шутовскую процессию ряженых. Кульминацией праздника является обряд «убиения петуха»: всадник с завязанными глазами на всем скаку должен срубить голову петуху, подвешенному на веревке или наполовину закопанному в землю, — отсюда и название обряда. В романе Кеведо описана только та часть празднества, которая связана с обычаем символического увенчания и развенчания шутовского короля. Презираемый все-

1 О «языке карнавала» см.: М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., Художественная литература, 1965.

ми за свое «новохристианское» происхождение[1], Паблос получает временную возможность возвыситься над своим состоянием – «прыгнуть выше лба», но кончается это его торжество побоями и падением в навозную кучу. Эта же логика – но не натуральных, а метафорических «возвышений» и «падений» героя – определяет и все развитие сюжета в романе, весь жизненный путь пикаро, а тема «избиения» проходит через весь роман, связуя воедино его отдельные эпизоды. Знаменательно, однако, что окончательное падение Паблоса, предопределенное его неудачным дебютом в Мадриде в роли знатного жениха, предваряется вполне реальным падением гарцующего перед окнами невесты мошенника с лошади (гл. XX): Кеведо дублирует сюжетную ситуацию, подчеркивая безнадежность попыток героя выйти из круга своей судьбы.

В эпизоде выборов «петушиного короля» Паблос – объект побоев, насмешек и издевательства, нечто вроде раздираемого на части масленичного чучела, и не случайно он сам сравнивает себя с чучелом «фарисея во время процессии» – этим сравнением Паблос апеллирует к приуроченному к иному времени карнавальному действу – к шествиям на Страстной и Пасхальной неделях, в которых фигурировали огромные чучела, изображавшие фарисеев – членов одной из иудейских религиозных сект, принимавших участие в осуждении Иисуса Христа. Так Паблос оказывается как бы в роли героя сразу двух празднеств, но ни в одной из этих ролей он не раскрывается со своей личностной стороны. Паблос для Кеведо – прежде всего pelele, марионетка, «повод» для нанизывания фарсовых сцен и гротескных описаний.

По всему тексту «Истории жизни пройдохи» разбросаны отдельные образы, метафоры, сравнения, генетически связанные с карнавальной символикой и пародирующие различные моменты религиозного католического культа. Пародии эти иногда вырастают и до целых эпизодов. Среди пародийных аллюзий такого рода следует особо выделить включенные в комический контекст упоминания самого торжественного католического праздника – дня Тела Господня (Corpus Cristi). Праздник этот был связан с установлением таинства причастия – евхаристии[1] и отмечался в первый четверг после Троицы.

1 «Новым христианином» (так в Испании назывались обращенные в католичество евреи или их потомки – до четвертого колена, согласно статусам «чистоты крови») был и Гусман де Альфараче: на этом особо настаивает автор, также «новый христианин».

Первое упоминание дня Тела Господня возникает в беседе Паблоса с церковным причетником – сакристаном (гл. IX), сочинителем бездарных песнопений к этому празднеству, в которых он воспевает «Корпус Кристи» как канонизированного святого. Невежество сакристана вызывает у Паблоса взрывы хохота, причем несомненно, что объектом смеха оказывается и сама тема сакристановых виршей.

Другой раз о дне Тела Господня говорится в связи с тем, что Паблос, становящийся на время комедиантом, на представлении действа в этот день играет роль Иоанна Богослова, в которой он покоряет сердце одной монашки (гл. XXII). Предваряя же свой рассказ об ухаживании за монашкой, Паблос сообщает о себе, что он стал «покушаться на роль папаши антихриста», поскольку, согласно поверью, антихрист должен был родиться от союза священника и монахини. Гротескное сближение двух ролей, в которых выступает Паблос, – роли антихриста и роли Иоанна Богослова, – пародирует и образ евангелиста и сам праздник.

Однако следует отметить, что подобная откровенная травестия церковного обряда не отражает собственно кеведовское восприятие религиозного таинства. У праздника Тела Господня на протяжении веков существовала народно-площадная сторона, и «традиционная процессия в праздник тела господня носила... отчетливо выраженный карнавальный характер с резким преобладанием телесного момента»[2]. В праздничной процессии в этот день обязательно участвовали чудовища, великаны, мавры, в конце процессии ехали повозки с ряжеными актерами – почти все персонажи, мелькающие на страницах кеведовского романа. Действо же, в котором принимает участие Паблос-комедиант – «ауто сакраменталь», – было неотъемлемой частью этого праздника, не лишенной, как и празднество в целом, гротескно-комической окраски.

В романе Кеведо, как и в «Ласарильо», есть эпизоды, профанирующие самое таинство причастия: это рассказ Паблоса о двух трапезах – об обеде в доме дяди-палача в Сеговии (гл. XI) и об ужине в обществе убийцы Маты и его друзей (гл. последняя). На обеде

1 О евхаристии см. прим. к «Жизни Ласарильо с Тормеса».
2 М. Бахтин. Указ. соч. С. 249.

у дядюшки Паблос, студент Алькала, играет роль мнимого священника (студенты, как и священники, носили сутаны) и чуть было не оказывается вынужденным есть пирог с начинкой из мяса собственного отца – во время причастия верующий, съедая священный хлебец, символически вкушает плоть своего создателя – Бога. Дядюшка же Паблоса, поглощая сосиски, произносит звучащую в такой момент богохульно клятву: «Клянусь этим хлебом, который Господь создал по своему образу и подобию». И на обеде у дяди-палача, и во время ужина в Севилье пьется вино – также один из обрядовых мотивов – за упокой душ усопших, а Мата, как и дядюшка, клянется хлебом, именуя его «ликом Господним»[1].

В самом стиле романа Кеведо есть многое, связанное с поэтикой карнавального обряда. В частности, большинство имен персонажей, фигурирующих в романе, – это имена-прозвища, так или иначе соотнесенные с ролью героя в сюжете. Например, имя лисенсиата Брандалагаса, вызволяющего Паблоса из гостиницы под видом посланца инквизиции, можно расшифровать как «выжигающий язвы» (родом Брандалагас из Орнильос, что по-испански означает «печь», «горн»); имя тюремщика Бландонеса де Сан Пабло можно перевести как «Свечи святого Павла» – намек на то, что этого стража закона можно купить так же, как благосклонность небес с помощью свечки, поставленной в честь святого; имя сводни Марии Наставницы является откровенно травестирующей параллелью к традиционному прозванию Марии Богородицы – «наставляющая» (верующих на путь истинный); лисенсиат Флечилья назван так с намеком на быстроту его ума, вор Мерло Диас – с намеком на его хитрость, подруга Паблоса Грахаль – не что иное, как «сойка», то есть «болтушка», и т.д.

Образ преисподней – по определению М. Бахтина, центральный образ карнавального действа, – так или иначе фигурирует во многих эпизодах «Пройдохи». Всякое «избиение» Паблоса – его развенчание, увлекает его вниз, приводит его в «преисподнюю». «Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? – спрашивает Паблос дона Дьего в первую же ночь их пребывания в доме лисенсиата Кабры. – Мне вот сдается, что в побоище с зеленщицами нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище». Но чаще образ «преисподней» заменяется у Кеведо другим, более «прозаическим» и бытовым – образом «грязи», «навоза» и т.п. Ведь хотя карнавальное происхождение кеведовских гротесков очевидно, в «смеховой» прозе Кеведо отсутствует центральный субъект (он же – объект) карнавального действа – народ, гротескное тело толпы на карнавальной площади: вместо него различные биологические группы (возрастные, половые), сословия, профессии, касты, нации, – мир человеческий (за вычетом самой «человечности»), представленный не столько в своем разнообразии (столь восхищающем критиков), сколько в разрозненности. Сравнение персонажей Кеведо с куклами – весьма распространенное в критике – точно подчеркивает их безжизненно-механистическую суть, автоматизм всех их поступков, их безличность и бездушность – их сплошную опредмеченность в глазах повествователя, легко поддающуюся описанию извне. Это описание-зарисовка фиксирует физические и вещные (начиная с одежды, которая изображается крайне живописно) черты персонажа (где телесное ставится в один ряд с материально-предметным), его манеры и его привычки, тут же дезавуируя фальшь его внешнего вида.

1 Эти и многие другие случаи профанации католического культа прекрасно воспринимали современники Кеведо: инквизиционная цензура отметила в романе шестнадцать случаев вольного обращения автора с религиозной символикой.

Таким образом, мир, возникающий со страниц романа Кеведо, – это мир, построенный по карнавальной «логике обратности», «мир изнутри», как назвал Кеведо одно из своих «Сновидений». Но при этом сама схема карнавальных превращений в художественном мире Кеведо тотально переориентируется, карнавальный смех оказывается направленным против самого себя, карнавальные символы теряют свой ритуальный смысл, и в роман проникают элементы натуралистического видения мира. Смех Кеведо уже не столько смех «амбивалентный» – и развенчивающий и утверждающий одновременно, – сколько смех отрицательный, имеющий явно сатирическую направленность.

В этом, как и во многих других отношениях, «Пройдоха» представляет явную параллель циклу «Сновидений»[1], самые ранние из которых создавались в промежутке между временем создания первой и второй редакций романа, в 1606–1612 гг. Основное место действия «Сновидений» – та же «карнавальная преисподняя». Но расположена она в *пространстве сознания* повествователя

1 См. русский перевод основного корпуса «Сновидений» в кн.: Ф. де Кеведо. Избранное. Л., Художественная литература, 1972.

(«...был я для своих фантазий сразу и зрителем, и подмостками»), а отнюдь не на городской площади. Время действия кеведовского «смехового» дискурса — время сна, «час» Страшного суда, конец света — также отнюдь не время карнавала. Это — время за границами времени, безвременье, вне-временье, настоящее, которое отнюдь не является средостением между прошлым и будущим (как сказано в знаменитом сонете Кеведо, «Вчера ушло, а завтра не настало...»), временем перехода от прошлого к будущему (а таково время карнавала): так что его и «настоящим»-то назвать нельзя. Оно — чистое «время изображения», время развертывания кеведовского гротескного дискурса, которое вкупе с вербализованным пространством представления рассказчика и образует подлинный, предельно субъективированный хронотоп кеведовской прозы.

В этом хронотопе-сознании одинокого «я», созерцающего мир в его телесном и духовном распаде, дезинтеграции, гибели — без надежды на воскрешение, — и располагается художественная вселенная Кеведо, мир, представленный в разных ракурсах, но в обрамлении слова проповеди-инвективы, адресованной всему миру.

Резко сатирический пафос во многом предопределил судьбу романа Кеведо: сразу после выхода «Пройдохи» в свет (1626) появились доносы инквизиции на содержащиеся в романе насмешки над церковью и на аморальность его содержания. В 1646 году «Пройдоха» был внесен в список книг, подлежащих серьезной «чистке». Но к тому моменту он уже стал частью истории не только испанской, но и европейской литературы XVII века (см. прим. к наст. изд.).

Рассказ от первого лица — вещь обманчивая. Он нередко подталкивает читателя к тому, чтобы отождествить автора и героя, сочтя последнего рупором авторских взглядов, передатчиком собственно авторского жизненного опыта. Поэтому, случалось, и очень опытные читатели прямо переадресовывали моралистические размышления Гусмана его создателю, для чего, впрочем, кое-какие основания могли найтись. Паблос, с которым христианин-стоик Франсиско де Кеведо явно не имеет ничего общего, также — и уже без всяких на то оснований — иногда воспринимался как персонаж, которому писатель сочувствует. Так что следовало ожидать, что на каком-то этапе своего развития пикареска вновь превратится в то, от чего автор «Ласарильо» пародийно отталкивался, —

в подлинную автобиографию, точнее, *в автобиографию, стилизованную под плутовской роман*. Или — в плутовской роман, герой которого будет воистину двойником автора, вторым авторским «я», фантомным существом, переживающим то, что самому автору въявь пришлось пережить, а также то, что сам автор «въявь» придумал или вычитал из других книг.

«...Я пошел в свою комнату, где — хотя она и мала — оказался с дюжиной друзей, которые возвратили мне свободу, — ибо книги делают свободным того, кто их очень любит. С ними я утешился в готовившемся для меня пленении и удовлетворил голод куском хлеба, сохранившимся в салфетке, а скудость пищи возместил главой, в которой нашел восхваление поста... О книги, утеха моей души, облегчение моих бедствий, поручаю себя вашему святому наставлению!» так звучит голос героя-повествователя в романе ровесника Сервантеса, старшего современника Лопе и Кеведо, известного поэта и музыканта[1] Висенте Эспинеля «Жизнь Маркоса де Обрегон» (1618). Согласно признанию автора в Прологе, «Жизнь Маркоса де Обрегон» он написал за несколько лет до публикации, хотя... стал бы немолодой и больной человек так тянуть с изданием книги? Или это обыкновенный риторический прием, демонстрирующий мнимое отсутствие у автора писательского тщеславия? В любом случае, до того как взяться за свой объемистый прозаический опус, Эспинель явно читал и «Ласарильо», и «Гусмана», и «Бускона» (последнего, конечно, в рукописи), а также Сервантеса — и не только «Дон Кихота» и «Назидательные новеллы», а, возможно, и посмертно изданного «Персилеса» (1617). И многие и многие иные сочинения, не обязательно романического толка. Ведь, как и Кеведо, — но в отличие от Сервантеса и Лопе — Эспинель — блестящий ученый-латинист, знаток европейских языков, книжник-эрудит. Так что восхваление книг, звучащее из уст Эскудеро (то есть дворянина самого низшего разряда, которому не стыдно поступить в услужение к идальго, то есть к человеку, рангом его чуть выше), — это и доподлинный голос автора романа. Автор и герой у Эспинеля — почти совпадают не только по «биографическим данным», хотя и здесь между ними немало общего: оба — родом из небольшого городка Ронда неподалеку от Малаги, оба — учились в университете, оба — тянули солдатскую

1 Он прославился, в частности, изобретением пятой струны для гитары.

лямку в Италии (а Эспинель еще и во Фландрии), оба — побывали в алжирском плену, оба — известные поэты и музыканты... Главное, что их роднит, — единство взглядов и жизненных установок, своеобразная практическая философия, добытая и из книг, и из жизненного опыта. Суть ее — в проповеди основной добродетели, необходимой человеку для преодоления ударов судьбы, — терпения, каковое «изощряет и укрепляет добродетели... обеспечивает жизнь, спокойствие духа и покой тела и ... научает не считать оскорблением то, что таковым не является...».

И чем ближе повествование к концу, тем откровеннее, демонстративнее становится «близость» автора и героя (хотя именно в конце романа происходящее с Обрегоном все меньше отражает какие-либо факты биографии поэта Эспинеля). Уже одно это свидетельствует о том, что «Жизнь Маркоса де Обрегон» написана *вопреки* всей предшествующей линии развития пикарески. Ведь Маркос — не только не пикаро, но подчеркнуто не имеет с пикаро ничего общего[1]: он — сын почтенных родителей, с детства учивших его добру. Лишь бедность (да желание учиться) «выбросили» его из родительского дома. Большинство испытаний, выпавших на долю Маркоса, — порождены или неблагоприятным стечением обстоятельств, или злым умыслом других людей, или его доверчивостью и беспечностью. Но в любой ситуации он сохраняет благоразумие и стремится найти из создавшегося положения выход, полагаясь и на свою находчивость, и на волю Божию. Если Обрегон и прибегает к какой-то хитрости, то лишь для того, чтобы разрушить козни настоящих мошенников. Со всеми, с кем он встречается на жизненном пути, даже с личностями вполне отталкивающими, с недругами и врагами, герой Эспинеля стремится найти общий язык, установить контакт, договориться, выказать готовность к смирению и покорность (пускай и мнимую). Иными словами, в отличие от пикаро-маргинала Маркос де Обрегон вполне социализирован: неслучайно одно из его рассуждений сводится к тому, что человек — животное общественное. И начинается роман

1 Подчеркнуто хотя бы тем, что на страницах романа появляются настоящие персонажи-пикаро — на правах второстепенных, иногда мельком возникающих и исчезающих героев, таких как юноша — беглый монастырский послушник, наделенный даром остроумия, или — по виду и не скажешь — благородный кабальеро дон Фернандо де Толедо, прозванный «пикаро» за его остроумные проделки... Последний профессию пикаро оцениват с ироническим почтением.

с представления пожилого, состарившегося Маркоса в роли обладателя вполне пристойной должности в мадридской обители для престарелых аристократов Санта-Каталина де лос Донадос. Правда, тут же он, уже почтенный человек, оказывается практикующим врачом, а затем — эскудеро на службе у врача, более того, замешанным в проделки, которые устраивает не он, а его госпожа... Но в любом случае в его положении нет ничего позорного.

Отвергнув пикаро в качестве главного героя, Эспинель заимствовал из «Гусмана де Альфараче» установку на создание текста-поучения, правда, с целями, Алеману противоположными. Обращаясь к некоему лицу, именуемому «ваше высокопреосвященство», Обрегон объявляет своим намерением «показать» на своих «несчастьях и злоключениях, насколько важно для бедных или малоимущих эскудеро уметь преодолевать мирские трудности и противопоставлять мужество опасностям времени и судьбы, чтобы с честью и славой сохранить столь драгоценный дар, каким является жизнь, дар, предоставленный нам божественным Владыкой, чтобы воздавать ему благодарения...». Поэтому свое повествование он именует «длинным рассуждением о моей жизни». Слушателем этих «рассуждений» оказывается, казалось бы, случайно встретившийся и давший Маркосу приют отшельник, оказавшийся тут же старым знакомцем (в жизни, руководимой Провидением, ничего случайного нет!). Вводя фигуру благочестивого слушателя и создавая идиллическую обстановку, в которой рассказывается история («Когда двери часовни были заперты для защиты от ветра и уголь зажжен для защиты от холода, это место стало спокойным и тихим...»), Эспинель соединяет барочную пикареску с жанром гуманистического диалога, столь характерным для литературы Возрождения. Но с Возрождением его связывает не только зависимость от ренессансной литературной традиции — от того же Сервантеса, в состязании с которым (с «Историей пленного капитана» из Первой части «Дон Кихота») написана история Маркоса о его пребывании в алжирском плену. Эспинель многое сохранил и от ренессанной веры в человека, в частности представление о том, что человеческая природа не безнадежно испорчена грехопадением, а поддается воспитанию, совершенствованию — недаром в самом начале своего «рассуждения» Маркос беседует с идальго о качествах настоящего наставника. В роли такого наставника само-

му герою Эспинеля приходится выступать во многих эпизодах романа, финал которого – встреча Маркоса на испанской земле с братом и сестрой – детьми его алжирского хозяина, которых Маркос-пленник обратил в христианство, а также свидание с доктором Сагредо и его супругой, неожиданно предстающими в роли героев-первопроходцев (и первые, и вторые считают эскудеро своим наставником), – лишь подтверждает действенность его «педагогических» усилий. При этом сам Маркос вполне наделен теми «благонравием и скромностью», каковые считает качествами подлинного учителя, который не должен стремиться возвыситься над учеником. В рассказ эскудеро о разного рода передрягах, в которых он оказывался в молодости, странствуя по Испании, а позднее – по Италии, нередко вторгается автоирония: рассказчик смеется не только над обманутыми мошенниками, но и над самим собой (как в эпизоде, повествующем о краже угощенья, спрятанного им под помостом с катафалком святого Хинеса и съеденного измученной «карнавальными» мучениями собакой).

Наконец, именно Висенте Эспинель выводит своего героя на «большую дорогу»[1], каковая позднее будет считаться непременным атрибутом плутовского романа. Но в пикаресках, написанных до «Маркоса де Обрегон», события развиваются по преимуществу в городах и городских предместьях, хотя начинаются они – и это уже закон жанра! – в венте, то есть на постоялом дворе, где юного путника обманывают, кормят какой-нибудь гадостью, отнимают последние деньги. Маркос же действительно странствует (на муле или пешком), движимый не только необходимостью, но и желанием посмотреть мир, по дорогам Испании, по разным ее местностям и городам (Ронда, Саламанка, Сантандер, Витория, Толедо, Севилья, Андалусия, Кастилия, Наварра, Арагон...), так что временами воспоминания героя превращаются в своего рода путевые заметки или в путеводитель по достопримечательностям той же Малаги и ее окрестностей.

Неслучайно, именно прозаический опыт Эспинеля привлек внимание Рене Лесажа, пытавшегося укоренить жанр «реалистического» нравоописательного (его еще называют авантюрно-бытовым) романа во французской литературе начала XVIII в. Пикаро как специфическое порождение испанской истории, испанской культуры (с ее культом праздности, страстно обличаемым Эспинелем!) не мог заинтересовать «просвещенного» французского читателя. Да и «Дон Кихот» – как сумасбродное повествование о сумасбродном герое – не отвечал требованиям французских поэтик. А вот «Маркос де Обрегон», самый «неплутовской» из испанских «плутовских романов», оказался для Лесажа, автора «Жиль Бласа из Сантильяны» (1715), неиссякаемым источником вдохновения, да и просто эпизодов, образов, сюжетных ходов. На «Жиль Бласа», в свою очередь, ориентировались многие романисты XVIII и даже начала XIX столетий. Лесажем зачитывался Пушкин. Но кто сегодня может разглядеть в повествовании пожилого многодетного дворянина Петра Андреевича Гринева о своей полной испытаний и приключений молодости следы старинного испанского текста?

Однако первым опытом освоения испанской прозы стала для Лесажа относительно небольшая (и уже тем для начинающего переводчика привлекательная) пикареска «Хромой Бес», разросшаяся под пером Лесажа в полноценный роман (1707). И роман этот вновь заслонил в глазах европейского читателя испанский источник!

Повесть «Хромой Бес» – единственный прозаический опыт драматурга Луиса Велеса де Гевара – вышла в свет в Мадриде в 1641 году. Согласно предположению одного из комментаторов, Велес де Гевара сочинял ее урывками, начиная с февраля 1637 года и кончая июлем 1640 года. Достоверно известно, что хвалебный сонет и пародийный «Указ Аполлона», с чтением которых герой повести дон Клеофас выступает перед севильскими «академиками» (девятый и десятый «скачки»), были прочитаны самим Велесом де Гевара во время придворных празднеств 21 февраля 1637 года, из чего, однако, можно сделать разные выводы: либо повесть к этому времени была в целом завершена, либо писатель включил в нее сочиненные им сонет и «Указ» позднее, воспользовавшись ими как подходящим к случаю материалом.

Плутовской роман, как следует из всего сказанного, – жанр, по своей природе не менее «протеистичный», нежели его герой. И если Висенте Эспинель максимально приближает его к досто-

1 Конечно, здесь путь эскудеро проложил кастильский идальго Алонсо Кихано, отправившийся совершать рыцарские подвиги под именем Дон Кихота: Обрегон и здесь следует за Сервантесом, пытаясь соединить две для того времени несоединимые традиции – романа «сервантесовского типа» и пикареску.

верной «автобиографии», то Луис Велес де Гевара возвращает к «началу», точнее, к «продолжению» «Ласарильо» 1555 года, к фантастическим метаморфозам Ласаро в стране тунцов, аллегорически разоблачающим неправедность жизни на земле людей. К этой же жанровой традиции — мениппововой сатиры, или мениппеи — относятся и упоминавшиеся «Сновидения» Кеведо, и предшествующие им во времени фантастические диалоги раннего испанского Ренессанса, вроде «Погремушки» или «Диалога о превращениях».

Тема постижения истины героем, в процессе созерцания раскрывающегося в фантастической ситуации во всем своем неприглядном обличье мира, почти вытеснившая в «Хромом Бесе» тему «похождений» — испытаний героя жизнью, сближает пикареску Гевары с мениппеей. Из «Сновидений» Кеведо Гевара заимствует многие отдельные мотивы и сюжетные ситуации, такие как беседа автора-рассказчика с всезнающим бесом («Бесноватый альгвасил»), как образ улицы Двуличия («Мир изнутри») — очевидный аналог улицы Поз из «Хромого Беса», как мотив близкого конца света, вылившийся у Кеведо в апокалипсические фрески Страшного суда («Сон о преисподней») и возникающий на последних страницах повести Гевары.

Еще одним непосредственным литературным источником «Хромого Беса» является сочинение Родриго Фернандеса де ла Рибера «Причуда острого взгляда» (1630), в котором наставник по имени Разочарование демонстрирует автору мир с высоты Севильского собора — эпизод, явно повторенный Геварой во втором «Скачке», где Хромой Бес показывает студенту дону Клеофасу «мясную начинку» Мадрида с колокольни храма Святого Спасителя.

Образ Хромого Беса — одного из двух главных героев повести — писатель заимствовал из фольклора, из народной демонологии, где Хромой Бес фигурировал также под именами Ренфаса и Асмодея. «Хромой бесенок знает больше других», «Хромой бес проворней прочих» (изречение, по смыслу близкое к русскому: «Наш пострел везде поспел») — гласят испанские народные поговорки. В протоколах инквизиционных процессов XVI–XVII веков сохранились записи «ведьмовских» заговоров и заклинаний, в которых не раз встречается имя Хромого Беса. Не столь всесильный, как другие демоны, не столь устрашающего обличья — небольшой

рост героя Велеса де Гевара создан был народным воображением, — он, однако, имел славу самого ловкого, самого скорого посредника в любовных и прочих делах, «греховодника», любителя танцев и развлечений, подбивающего на подобные занятия смертных, — у Велеса де Гевара он «самый озорной из всех адских духов». Этот-то всеведающий хромой циник, бес-пикаро (по определению Л. Пинского), увлекает своего освободителя студента дона Клеофаса, оставляющего на время студенческую скамью, в воздушное путешествие по Испании, демонстрируя ему «изнаночную», непарадную сторону общественной и частной жизни страны.

Роли между доном Клеофасом и Хромым Бесом распределены следующим образом: дон Клеофас в связи с тем или иным представшим перед его взором зрелищем задает Бесу вопросы, то есть выступает с позиции наивно-несведущего наблюдателя жизни; Хромой отвечает на них, преподнося увиденное доном Клеофасом в сниженно-разоблачающем аспекте, затем дон Клеофас снова берет слово и уже в духе постигшего истину делает выводы из увиденного, впадая при этом зачастую, по собственному шутливому замечанию, в тон проповедника. По форме перед нами — диалог. По сути — дальнейшее развитие «внутренней» формы плутовского романа, жанра по своей природе монологического.

Велес де Гевара выделяет из биографии героя жанра — пикаро только один студенческий период и замыкает повествование в рамки новеллистического эпизода, рассказывающего о преследовании «вечного студента» дона Клеофаса жаждущей женить его на себе «фальшивой» девицы доньи Томасы. Эта «цикличная» композиция повести — вполне в духе традиций «Ласарильо» и «Гусмана де Альфараче», классических образцов жанра. Однако если традиционный герой — пикаро за время, отделяющее начало повествования от его конца, успевал пройти целую школу жизни и познать не только окружающую действительность, но и, прежде всего, самого себя, то дон Клеофас в основном — зритель грандиозного спектакля на кеведовскую тему «мир изнутри». Весь огромный жизненный опыт, приобретаемый пикаро за время странствий по свету, в повести Велеса де Гевара «передоверен» Хромому Бесу. Введение в сюжет «двойника» героя — его спутника и «приятеля» — Хромого, а вместе с тем и появление диалогической формы повествования — основная новация Велеса де Гевара.

Как уже говорилось, и в самом первом образце «пикарески» — в «Ласарильо», изображаемая реальность дана «многоракурсно», глазами несмышленого мальчика Ласарильо, постепенно постигающего премудрости жизни глазами Ласаро — городского глашатая, довольного собой и достигнутым им местом в обществе, и глазами автора, скрывающегося за фигурой героя-повествователя и явно иронически оценивающего его исповедь. Однако все эти точки зрения на мир не располагаются в повествовании на одной плоскости, а входят одна в другую, подчинены универсальному «плутовскому» опыту: читатель «пикарески» как бы рассматривает действительность через многофокусную, но статично укрепленную подзорную трубу.

В повести Луиса Велеса де Гевара дон Клеофас предстает в тех же двух ипостасях — несведущего и все постигшего героя, но связует эти ипостаси не лежащий между этими состояниями личный опыт, а фокусы Хромого Беса. И читателю повести мир также дан таким, каким он видится дону Клеофасу, то есть таким, каким его выставляют Хромой Бес и стоящий за ним автор. И в диалоге «Хромого Беса» не столько сопоставляются соизмеримые в своей истинности точки зрения на мир (как, например, в «Дон Кихоте» Сервантеса), а разворачивается ситуация «педагогического» диспута, в которой одна сторона выступает в роли поучаемого, другая — в роли наставника, безраздельно владеющего истиной, — мотив общения любознательного героя с Бесом, как отмечает Л. Пинский, восходит через западноевропейские сказания о Соломоне и Морольте к восточным талмудическим легендам о Соломоне и Асмодее.

Таким образом, несмотря на отказ Велеса де Гевара от традиционно автобиографической формы повествования, «Хромого Беса» с «пикареской» роднит не только использование писателем героев-плутов, а также ситуации и мотивы, неоднократно возникавшие до того на страницах плутовских романов, но и — прежде всего — сам принцип изображения действительности с всеобъемлющей «плутовской» точки зрения.

С. Пискунова

Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения

Пролог

Рассудил я за благо, чтобы столь необычные и, пожалуй, неслыханные и невиданные происшествия стали известны многим и не были сокрыты в гробнице забвения, ибо может случиться, что, прочтя о них, кто-нибудь найдет здесь нечто приятное для себя, и даже тех, кто не станет в них особенно вдумываться, они позабавят. Плиний по этому поводу замечает: нет книги, как бы плоха она ни была, в которой не нашлось чего-либо хорошего, тем более что вкусы не у всех одинаковы, и за то, чего один и в рот не берет, другой готов отдать жизнь. Да и мы сами видим, что презираемое одними не презирается другими, а потому ничто, кроме чего-нибудь уже слишком отвратительного, не должно быть уничтожаемо или отвергаемо, все должно быть доведено до всеобщего сведения, в особенности если это нечто безвредное, нечто такое, из чего можно извлечь пользу.

В противном случае писали бы весьма немногие и только для одного какого-нибудь читателя, ибо писательство дается нелегко, и те, кто этим делом занимается, желают быть вознаграждены — не столько деньгами, сколько внимательным чтением их трудов, а если есть за что, то и похвалами, по каковому поводу говорит Тулий: «Почести питают искусство».

Неужели вы думаете, что солдату, первым взобравшемуся на штурмовую лестницу, более чем кому-либо другому опостылела жизнь? Разумеется, нет, — только жажда похвал заставляет его подвергаться опасности, и точно так же обстоит дело в искусствах и в словесности. Хорошо проповедует богослов, пекущийся о людских душах, но спросите-ка его милость, огорчает ли его, когда ему гово-

рят: «Ах, ваше преподобие, какой же вы прекрасный проповедник!» Некий рыцарь, который весьма неудачно бился на турнире, отдал свою кольчугу шуту, ибо тот восхищался меткостью, с какою рыцарь будто бы наносил удары копьем. Ну, а как поступил бы рыцарь, если б он в самом деле заслуживал похвалы?

Признаюсь, я не лучше других, и коль скоро всем это свойственно, то и я не буду огорчен, если моей безделицей, написанной грубым слогом, займутся и развлекутся все, кому она хоть чем-нибудь придется по вкусу. Пусть узнают про жизнь человека, изведавшего так много невзгод, опасностей и злоключений.

Прошу вашу милость принять это скромное подношение из рук человека, который постарался бы придать ему больше ценности, если бы только это было ему по силам. И так как ваша милость велит, чтобы все было описано и рассказано весьма подробно, то и решил я приступить к моему повествованию не с середины, а с самого начала, дабы все о моей особе было известно и дабы люди, которым высокое происхождение досталось по наследству, поняли, сколь малым они обязаны самим себе, ибо фортуна была к ним пристрастна, и как долго и с какими усилиями налегали на весла те, кому она не благоприятствовала, прежде чем они достигли тихой пристани.

Рассказ первый

Ласаро повествует о своей жизни и о том, чей он сын

Итак, прежде всего, да будет известно вашей милости, что зовут меня Ласаро с Тормеса и что я сын Томе Гонсалеса и Антоны Перес, уроженец Техераса, деревни близ Саламанки. Произошел я на свет на реке Тормесе, откуда и получил свое прозвище, а случилось это так. Отец мой, да простит его господь, ведал помолом на водяной мельнице, что стоит на берегу реки, и прожил он там более пятнадцати лет. Однажды ночью беременная мать моя находилась на мельнице. Тут подоспели роды, и она там же и разрешилась, так что я с полным правом могу говорить, что родился на реке.

И вот, когда мне было восемь лет, отца моего уличили в том, что он по злому умыслу пускал кровь мешкам, которые принадлежали людям, съезжавшимся на мельницу молоть зерно. Он был схвачен, во всем сознался, ни от чего не отрекся и пострадал за правду. Уповаю на господа бога, что ныне пребывает он в раю, ибо Евангелие называет таких людей блаженными.

В это время был объявлен поход на мавров, куда попал и мой, в ту пору высланный из-за упомянутого несчастья, отец; поступив погонщиком мулов к некоему дворянину, принявшему участие в этом походе, он, как верный слуга, сложил голову вместе со своим господином.

Овдовевшая моя мать, очутившись без мужа и без опоры, решила прибегнуть к помощи добрых людей, ибо сама была женщиной доброй, поселилась в городе, сняла домишко и стала стряпать обеды студентам и стирать белье конюхам командора в приходе Марии Магдалины.

Вот тут-то, часто наведываясь в конюшню, и свела она знакомство с одним мавром из числа тех, что врачуют животных. Он частенько приходил к нам и уходил только к утру. Иной раз днем он останавливался у дверей, будто бы пришел купить яиц, но потом все-таки входил в дом. На первых порах его приходы не доставляли мне удовольствия: его чернокожесть и уродство внушали мне страх, однако, заметив, что с его появлением стол наш улучшается, я в конце концов полюбил его, ибо он всегда приносил с собою хлеб, мясо, а зимою и дрова, которыми мы отапливались.

Продолжая водиться и знаться с этим мавром, мать подарила мне от него хорошенького негритенка, и я его нянчил и помогал пороть.

Помню, как однажды мой черный отчим возился с мальчишкой, а тот, обратив внимание, что мать и я — белые, а отец — черный, в испуге бросился к своей родительнице и, показывая на него пальцем, крикнул: «Мама, бука!» — а мавр, смеясь, заметил: «Вот сукин сын!» Я же, хоть и был тогда совсем еще юн, запомнил слова моего братца и подумал: «Сколько на свете людей, которые бегут от других только потому, что не видят самих себя!»

Судьбе, однако, было угодно, чтобы о Саиде — так звали мавра — пошли разные слухи и наконец достигли ушей командорского домоправителя. При обыске было обнаружено, что половину овса, отпускавшегося ему для лошадей, он крал; отруби, дрова, скребницы, чепраки, передники и попоны у него пропадали; когда же у него ничего такого больше не оставалось, то он расковывал лошадей, а выручку отдавал моей матери на воспитание мальчишки. Не будем после этого удивляться ни монахам, ни попам, грабящим бедняков и свои собственные дома ради духовных

дочерей и всяких иных нужд, — нашего же несчастного раба толкала на это любовь.

Как я уже сказал, всплыло наружу все, что было и чего не было, ибо меня допрашивали с угрозами, а я по малолетству выбалтывал и выдавал страха ради все, что знал, — рассказал даже о подковах, которые по приказанию матери продал я одному кузнецу.

С незадачливого моего отчима спустили шкуру, а моей матери влепили обычную сотню плетей, а сверх того воспретили появляться в доме упомянутого командора и принимать у себя злосчастного Саида.

Чтобы не накликать горшей беды, бедная мать моя скрепя сердце подчинилась приговору и — от греха подальше — нанялась в услужение к приезжим в гостиницу Солана. И там, среди множества невзгод, окончилось воспитание моего братишки и мое: он уже начал ходить, а я стал бойким мальчуганом, бегал для постояльцев за вином, свечами и всем прочим.

В это время в гостинице остановился один слепец; решив, что я гожусь ему в поводыри, он выпросил меня у матери, и та уступила, заметив, однако, что так как я сын честного человека, павшего за веру в походе на Джербу, то она уповает на бога, что из меня выйдет человек не хуже отца, и просит хорошо обращаться с сиротою и заботиться обо мне. Слепец обещал, — он, мол, берет меня к себе не как слугу, а как родного сына.

Так я стал поводырем у моего нового и вместе с тем старого хозяина.

Некоторое время мы пробыли в Саламанке, но здесь ему нечем было особенно поживиться, и он решил перейти в другое место. Перед тем как двинуться в путь, я отправился к матери, мы оба заплакали, и она, благословив меня, сказала:

— Сын мой, чует мое сердце: не видать мне тебя больше. Старайся быть добрым человеком, и да хранит тебя господь! Я тебя вырастила, устроила на хорошее место, а теперь уж действуй сам.

Затем я вернулся к хозяину — тот поджидал меня.

Мы вышли из Саламанки и достигли места, где у входа стоит каменный зверь, с виду очень похожий на быка. Слепой велел мне подойти к нему и, когда я приблизился, сказал:

— Ласаро, приложи ухо к этому быку, и ты услышишь сильный шум внутри.

Поверив его словам, я по простоте своей так и сделал, а он, едва лишь я прикоснулся к камню, так стукнул меня об этого проклятого быка, что я потом несколько дней места себе не находил от головной боли.

— Дурак! — сказал он. — Знай, что слуга слепого должен быть похитрей самого черта!

Он был в восторге от своей шутки.

А я именно в это мгновенье отрешился, как мне кажется, от своего ребяческого простодушия.

«Он прав, — подумал я, — мне надо быть начеку и не зевать, ибо я сирота и должен уметь постоять за себя».

Мы двинулись дальше, и в несколько дней он научил меня своей тарабарщине. Видя, что я весьма сметлив, он очень этому радовался и все приговаривал:

— Ни серебром, ни златом я тебя оделить не могу, зато я преподам тебе много полезных советов.

И действительно: после бога даровал мне жизнь этот слепой, и он же, не будучи зрячим, просветил и наставил меня на правильный путь.

Мне доставляет удовольствие рассказывать вашей милости разные случаи из моего детства, ибо я стремлюсь показать, сколькими добродетелями должен обладать человек, чтобы подняться из низкого состояния, и сколькими пороками, чтобы пасть.

Но обратимся к рассказу о деяниях моего доброго слепца; надобно вам знать, ваша милость, что с тех пор, как бог сотворил мир, он не создал никого хитрее и пронырливее моего хозяина. Это был на все руки мастер. Свыше сотни молитв знал он наизусть. Когда он молился, голос его, низкий, спокойный и внятный, наполнял собою всю церковь;

лицо у него было смиренное и благочестивое, и придавал он ему соответствующее выражение во время молитвы, не строя гримас и ужимок ни ртом, ни глазами, как это обыкновенно вытворяют другие.

Кроме того, ему были известны тысячи способов и приемов выманивать деньги. Он говорил, что знает молитвы на любой случай: и для бесплодных женщин, и для беременных, и для несчастных в супружестве, чтобы мужья их любили. Беременным он предсказывал, родится у них сын или дочь. Что же касается искусства врачевания, то сам Гален, по словам моего хозяина, не разумел и половины того, что было известно ему о зубной боли, обмороках и болезнях матки. Одним словом, стоило только пожаловаться ему на тот или другой недуг, как он тотчас же изрекал:

— Сделайте так или эдак, возьмите такую-то травку, достаньте такой-то корень.

Потому-то его и обхаживал весь свет, в особенности женщины, ибо они верили всем его россказням. Он здорово на них наживался: прибегая к упомянутым средствам, он один зарабатывал в месяц больше, чем сто слепых в год.

И все же, да будет известно вашей милости, что, при всех своих доходах и барышах, он был самый скупой и алчный человек на свете. Меня он морил голодом, да и себя лишал многого необходимого. Сказать по правде, если бы не моя хитрость и изворотливость, я бы давно околел с голодухи. Однако, несмотря на все его знания и предусмотрительность, я так ловко подстраивал, что почти всегда все лучшее, и притом в наибольшем количестве, доставалось мне. Я пускался на дьявольские хитрости, и о некоторых я вам расскажу, хотя и не все они пошли мне на пользу.

Хлеб и другие припасы слепой держал в холщовом мешке, который застегивался при помощи железного кольца с замком и ключом. Слепой прятал и вытаскивал что бы то ни было с такой осторожностью и расчетливостью, что никто в мире не сумел бы стащить у него ни крошки. Оттуда получал я свою скудную пищу и уничтожал в мгновение ока.

Замкнув кольцо на мешке, хозяин мой успокаивался — он полагал, что я чем-либо занят, а я в это время распарывал жадный мешок по шву, вытаскивая лучшие куски хлеба, сала и колбасы, а потом снова зашивал. Пользуясь столь краткими мгновениями, я не мог, конечно, утолить волчий мой аппетит, а лишь замаривал червячка, который вечно сосал меня по милости злого слепца.

Все, что я мог урвать или украсть из денег, держал я в полушках, и когда его просили помолиться и подавали ему бланку, то едва успевала дарующая длань расстаться с монетой, как монета попадала ко мне в рот, а стоило слепому хозяину протянуть за нею руку, приготовленная полушка, пройдя через мой размен, уменьшала милостыню на полцены. Слепец, угадывая на ощупь, что это не бланка, сетовал:

— Что за чертовщина! С тех пор как ты со мною, мне подают только полушки, а прежде сколько раз платили бланками и даже мараведи. Это из-за тебя мне так не везет.

В таких случаях он сокращал молитвы и прерывал их на середине, велев мне, чуть только отойдет заказчик, дергать его за капюшон. Я так и делал, и он снова принимался выкрикивать то, что такие, как он, обычно выкрикивают:

— Какую молитву прикажете прочесть?

За едою он имел обыкновение ставить возле себя кувшин вина. Я поспешно схватывал кувшин и, тайком приложившись к нему раза два, ставил на место. Но это продолжалось недолго. Ведя счет глоткам, он в конце концов обнаружил утечку и с тех пор, чтобы сохранить в целости свое вино, не расставался с кувшином и все время держал его за ручку. Однако ни один магнит так не притягивал железо, как я потягивал вино через длинную ржаную соломинку, заготовленную мной на этот случай. Опустив ее в горлышко кувшина, я высасывал вино до последней капли. Но так как злодей был хитер, то, по-видимому догадавшись об этом, изменил он свою повадку, стал прятать кувшин между ног, прикрывая горлышко рукою, и преспокойно попивал из него. Я же был словно рожден для вина, я умирал по нем, и вот, видя, что от соломины нет проку, решил я

проделать в донышке кувшина неприметную дырочку, бережно залепив ее тонким слоем воска. Во время обеда, делая вид, что мне холодно, я устраивался у ног злосчастного слепца, дабы погреться возле нашего жалкого огонька. От тепла воск вскорости таял, и ручеек вина струился мне прямо в рот, который я подставлял так, чтобы ни одна капелька не пропадала зря. Захочет бедняга слепец выпить, а в кувшине-то и пусто.

Слепец удивлялся, ругался, посылал к черту и кувшин и вино и ничего не мог понять.

— Вы только уж на меня не подумайте, дяденька, — говорил я, — ведь вы кувшин из рук не выпускаете.

Слепец так долго вертел и ощупывал кувшин, что наконец нашел проточину и напал на мою плутню, однако и виду не подал.

И вот на другой день, когда я, не предчувствуя надвигавшейся беды и не ведая, что проклятый слепец подстерегает меня, лежал на спине и жмурил глаза, по обыкновению посасывая из кувшина и смакуя душистую влагу, рассвирепевший мой хозяин понял, что настало время отомстить, и, подняв обеими руками этот еще недавно сладкий, а ныне ставший для меня горьким сосуд, изо всей мочи треснул меня по лицу. Бедному Ласаро, не ожидавшему ничего подобного, ибо он, как всегда, был весел и беззаботен, показалось, будто небо со всем что ни есть обрушилось на него. Удар ошеломил и оглушил меня, а черепки огромного кувшина поранили мне во многих местах лицо и выбили зубы, коих я лишился навеки.

С того часа невзлюбил я злого слепца; после он пожалел меня, приласкал и подлечил, и все же он был рад, что так строго меня наказал, и я это отлично видел. Он омыл вином раны, нанесенные мне черепками, и, ухмыляясь, сказал:

— Как тебе это нравится, Ласаро? То, из-за чего ты пострадал, ныне лечит тебя и исцеляет.

Тут же он отпускал и другие шуточки, которые не очень-то были мне по вкусу.

Немного оправившись от тяжких своих ранений и кровоподтеков и сообразив, что еще несколько таких ударов — и жестокий слепец избавится от меня, я решил сам от него избавиться, но только не стал с этим торопиться, дабы успешно и безнаказанно привести задуманное мной в исполнение. Пусть даже мне удалось бы сдержать мой гнев и забыть историю с кувшином, но я все равно не мог бы простить злому слепцу, что он с той поры начал дурно со мной обходиться и ни за что ни про что награждать меня щипками и тумаками. Когда же кто-либо спрашивал его, почему он так дурно со мной обращается, он непременно рассказывал случай с кувшином.

— Вы, верно, принимаете этого мальчишку за простачка? — говорил он. — Вот послушайте — самому черту такой шутки не выкинуть.

Осеняя себя крестом, слушатели восклицали:

— Кто бы мог подумать, что такой малыш так испорчен!

Смеясь над моей проделкой, они добавляли:

— Наказывайте его, наказывайте! Господь вам воздаст за это!

И хозяин мой именно так и действовал.

Поэтому я всегда нарочно водил его по самым плохим дорогам, чтобы причинить ему вред и зло, в особенности если они были усеяны камнями или тонули в глубокой грязи, и хотя мне самому иной раз приходилось трудненько, но я готов был пожертвовать своим собственным глазом, лишь бы только напакостить слепому. А он концом палки лупил меня по темени, отчего голова моя была вся в шишках, и давал такую таску, после которой в руках у него оставались целые пряди моих волос. Хоть я и божился, что делал это не по злому умыслу, а потому, что не находил лучшей дороги, но это мне не помогало, и он мне не верил, — таковы уж были нюх и сообразительность этого злодея. А чтобы ваша милость знала, как далеко простиралась догадливость этого хитреца, я вам расскажу один из многих случаев, красноречиво свидетельствующих, на мой взгляд, о великом его лукавстве.

Из Саламанки слепец держал путь в Толедо. Он утверждал, что народ там богатый, хотя и не очень отзывчивый. Однако недаром говорит пословица, что щедрее подает черствый, чем голый, а потому мы все же, в надежде на лучшую долю, двинулись именно этим путем. Где мы встречали радушный прием и поживу, там мы задерживались, а не то на третий же день давали ходу.

Случилось так, что в местечко Альмарос мы попали во время сбора винограда, и некий виноградарь подал моему хозяину целую гроздь. Гроздь эта смялась в корзине из-за небрежной укладки, да и к тому же она была совсем спелая и рассыпалась в руках, а когда еще полежала в мешке, то начала пускать сок.

Слепец решил устроить угощение — отчасти оттого, что не мог дольше ее беречь, отчасти же, чтобы вознаградить меня за полученные мною в тот день обильные пинки и удары. Мы сели на меже, и он объявил:

— Теперь я буду с тобой щедрым, а именно; мы вдвоем съедим эту гроздь винограда, и ты получишь равную со мной долю. Делиться же мы будем так: сначала ты отщипнешь, потом я, но только пообещай мне каждый раз брать не больше одной виноградины, — так оно будет без обмана.

На этих условиях мы приступили к делу, но уже со второго раза мошенник изменил своему слову и стал брать по две виноградины, полагая, что я наверняка поступаю так же. Видя, что он нарушает договор, я решил пойти дальше: две-три виноградины меня уже не удовлетворяли, и я принялся хватать их, сколько мог. Покончив с гроздью, слепец повертел в руках веточку и, покачав головой, сказал:

— Ласаро, ты меня обманул. Клянусь, что ты ел по три виноградины.

— Нет, — ответил я, — почему вы так думаете?

Тогда лукавый слепец молвил:

— Знаешь, почему я уверен, что ты ел по три? Потому что когда я ел по две, ты молчал.

Я посмеялся про себя и, несмотря на молодость лет, оценил сообразительность слепого.

Чтобы не быть многословным, я не стану рассказывать о многих забавных и примечательных случаях, кои произошли у меня с этим моим хозяином, расскажу лишь о последнем — и на этом с ним покончу.

Находились мы в Эскалоне — городе, принадлежавшем одному герцогу, носившему такую фамилию, — на заезжем дворе, и слепец велел мне поджарить кусок колбасы. Когда же колбаса была посажена на вертел и начала пускать сок, он вытащил из кошелька мараведи и велел мне сходить в таверну за вином.

В это время дьявол явил моим глазам соблазн — говорят, что он всегда так поступает с ворами, — а именно пузатую и гнилую репку, непригодную для похлебки и брошенную у очага. А так как мы тогда были с нею наедине, то, ощутив неодолимое влечение к снеди и весь пропитавшись вкусным запахом колбасы, которая вызывала во мне только одно желание — во что бы то ни стало ею попользоваться, не думая о том, как все это может обернуться, я отринул всякий страх, лишь бы утолить свою страсть, и, пока слепой вытаскивал деньги из кошелька, стянул колбасу, а вместо нее проворно насадил на вертел репу. Выдав мне деньги за вино, слепец принялся вертеть репу на огне, — он рассудил за благо хорошенько прожарить все то, что казалось негодным для варки.

Я побежал за вином и поспешил разделаться с колбасой, а когда вернулся, то увидел, что слепой греховодник держит между двумя ломтями хлеба репу, которую он до сих пор еще не распознал, так как не успел притронуться к ней. Но едва он откусил кусок хлеба, полагая, что отправляет в рот и колбасу, и обнаружил, что это всего-навсего репа, то изменился в лице и вопросил:

— Что это такое, Ласарильо?

— Что же я за несчастный! — воскликнул я. — Неужели вы подумали на меня? Ведь я только что вернулся с вином. Верно, кто-нибудь заходил сюда и напроказил.

— Нет, нет, не может быть, — возразил он, — я не выпускал вертела из рук.

Тут я стал клясться и божиться, что непричастен к этой проделке и подмене, но это мне не помогло, ибо ничто не укрывалось от проницательности окаянного слепца. Слепец встал, схватил меня за голову, начал обнюхивать, как собака, сразу учуял запах и, решив удостовериться окончательно, резким движением правой руки раскрыл мне рот и бесцеремонно сунул туда свой длинный, крючковатый, да еще от злости удлинившийся на целую ладонь, нос, так что кончик его я ощутил у себя в глотке.

Великий страх, обуявший меня, злосчастная колбаса, которая не успела еще как следует устроиться в моем желудке, а главное, отвращение к мерзкому, чуть не задушившему меня носу — все это вместе привело к тому, что мое обжорство и преступление обнаружилось, а достояние слепого вернулось к своему хозяину. Прежде чем злой слепец вытащил из моего рта свой хобот, в моем желудке произошел переворот, и я изрыгнул уворованное, так что его нос и проклятая непрожеванная колбаса выскочили из моего рта одновременно.

Боже мой! Лучше бы мне тогда лежать в могиле! Лучше бы я был мертв! Злоба проклятого слепца была так велика, что, не сбегись на шум люди, он бы лишил меня жизни. Когда его оттащили от меня, руки его были полны моих жидких волос, лицо у меня было в ссадинах, во рту все расцарапано — словом, досталось мне по заслугам.

Злодей поведал собравшимся мои злоключения; истории с кувшином и виноградом, а равно и эту последнюю он рассказывал по нескольку раз. Все так хохотали, что сюда заглядывали привлеченные этим весельем прохожие с улицы. Признаться, слепец до того остроумно и забавно описывал мои подвиги, что хотя я и ревел от боли, однако вынужден был признать, что рассказ его насмешит хоть кого.

Пока он так надо мной измывался, мне пришло на ум, что лишь по трусости и малодушию моему я не оставил его без носа, а я имел время сделать это, когда его нос до поло-

вины влез ко мне в рот. Стоило мне стиснуть зубы, и он перешел бы в мое владение, и, наверное, желудок мой лучше усвоил бы достояние слепого, чем колбасу. А так как ни колбаса, ни нос тогда бы не изверглись, то на допросе я вполне мог бы отпереться. Да, упустил я случай, а уж как бы это было славно!

Хозяйка заезжего двора и постояльцы помирили нас и вином, которое я принес, промыли мне раны на лице и в глотке, по поводу чего злой слепец отпускал шутки:

— Ей-богу, у меня в год выходит больше вина на умывание этого мальчишки, нежели я сам выпиваю в два. Во всяком случае, Ласаро, вино больше для тебя сделало, чем твой отец: он родил тебя один раз, а вино много раз даровало тебе жизнь.

И он тут же рассказывал, как часто он мне царапал и разбивал лицо и лечил вином.

— Да уж, — в заключение говорил он, — если кому-нибудь на свете и посчастливится от вина, так это тебе.

Этому много смеялись омывавшие меня, меж тем как я изрыгал проклятия.

Однако предсказание слепого сбылось, и я потом часто вспоминал этого человека, несомненно обладавшего пророческим даром. Теперь я даже раскаиваюсь, что делал ему всякие гадости, хотя он хорошо и отплачивал мне за них, — ведь то, что он мне тогда предрек, оказалось истинной правдой, в чем ваша милость не замедлит удостовериться.

Претерпев злые шутки слепого, я окончательно решил оставить его; я давно уже это задумал, но последняя беда еще сильней укрепила меня в моем намерении. Случилось так, что на другой же день мы отправились в город просить милостыню, а минувшей ночью пошел сильный дождь, и так как он не переставал, то слепец мой молился под кровом галереи, где нас не мочило. Когда же наступил вечер, а дождь все не прекращался, он сказал мне:

— Ласаро, дождь упрям, и чем ближе ночь, тем он сильнее. Пойдем-ка домой.

На возвратном пути нам нужно было перебраться через ручей, а в ручье воды из-за дождя значительно прибавилось, и я сказал слепцу:

— Дяденька, ручей уж больно широк, но, я вижу, поодаль мы можем пройти не замочившись: там ручей гораздо у́же — мы прыгнем, и ноги у нас будут сухи.

Совет мой показался слепцу разумным, и он молвил:

— Ты сметлив — вот за что я тебя люблю. Веди меня туда, где ручей у́же: ведь теперь зима, а зимою промочить ноги — дело неподходящее.

Видя, что все благоприятствует моему замыслу, я вывел слепца из галереи и поставил прямо против одного из каменных столбов, которые высились на площади и на которых держались выступы зданий.

— Дяденька, — сказал я, — вот здесь самый узкий переход через ручей.

Дождь по-прежнему лил как из ведра, бедняга промок, мы спешили уйти от потоков воды, низвергавшихся на нас сверху, а самое главное, господь в это мгновение затемнил разум слепца, дабы я мог отомстить, вот почему слепец поверил мне и сказал:

— Поставь меня, где лучше, и прыгай через ручей.

Я поставил его прямо перед столбом и, прыгнув, спрятался за столб, точно за мной гнался бык.

— А ну, прыгайте как можно дальше, — крикнул я, — а иначе попадете в воду!

Едва успел я произнести эти слова, как бедный мой слепец помотал головой, словно козел, отошел на шаг назад, чтобы подальше прыгнуть, а затем стремительно бросился вперед, стукнулся головой о столб, который даже загудел от мощного удара, и тотчас же упал навзничь, полумертвый, с разбитою головою.

— Как же ты колбасу-то разнюхал, а столба не сумел? Так тебе и надо, — сказал я и, завидев множество народу, спешившего ему на помощь, бегом пустился из городских ворот и еще засветло добрался до Торрихоса. Что сталось со слепцом после, я так и не узнал, да и не пытался узнать.

Рассказ второй

Как Ласаро устроился у священника и что с ним случилось

На другой день, не чувствуя себя в безопасности, я отправился в местечко, называемое Македа, — там в наказание за мои грехи повстречался мне некий поп и, когда я подошел к нему за милостыней, спросил, умею ли я прислуживать за обедней. Я ответил, что умею, и так оно и было, ибо слепой греховодник хоть и дурно со мной обращался, а все же научил меня множеству полезных вещей, в том числе и прислуживать. В конце концов священник взял меня к себе.

Попал я из огня да в полымя. Слепой по сравнению с ним был настоящим Александром Великим, несмотря на то что, как я уже поведал, являл он собою олицетворенную скупость. Скажу только, что вся скаредность мира заключалась в этом человеке. Не знаю уж, родилась ли она вместе с ним, или же он впитал ее в себя, приняв духовный сан.

Был у него старый сундук, запертый на ключ, который он носил на ремне своего подрясника. Принеся из церкви благословенный хлеб, он собственноручно клал его в сундук и тут же запирал. Во всем доме не водилось ничего съестного, как это бывает в других домах: ни сала, подвешенного к дымоходу, ни сыра в столе или в шкафу, ни корзиночки с кусками хлеба, остающимися после трапезы; а между тем мне казалось, что, даже не притрагиваясь к ним, я бы утешился их созерцанием.

Все съестные припасы моего хозяина состояли из одной лишь связки лука, которую он держал под ключом в каморке наверху. Я получал одну луковицу на четыре дня, и когда просил у попа ключ, чтобы идти за нею, то, если кто-либо присутствовал при этом, он с великой осторожностью отвязывал ключ от ремня и протягивал мне его со словами:

— Возьми и сейчас же принеси обратно. Тебе бы все только лакомиться!

Можно было подумать, что там заперты все пряности Валенсии, хотя в этой каморке, как я уже сказал, не было ни

черта, кроме висевших на гвоздике луковиц, которым поп вел строгий счет. Так что если б я, себе на горе, увеличил полагавшийся мне паек, мне бы это обошлось недешево.

В конце концов я стал помирать с голоду. Хозяин же мой, будучи ко мне не весьма милостив, себя, однако, не забывал: за обедом и ужином он обыкновенно съедал на пять бланок мяса. Правда, он делился со мной супом, но мяса я не видал как своих ушей, а хлеба получал вдвое, а то и втрое меньше, чем мне требовалось.

По субботам в тех краях едят бараньи головы, и я покупал для хозяина баранью голову за три мараведи. Он варил ее и съедал глаза, язык, затылок, мозги и щековину, а мне оставлял на блюде одни обглоданные кости и приговаривал:

— Бери, ешь и ликуй. Ты владеешь целым миром и живешь получше самого папы.

«Тебе бы послал господь такую жизнь!» — думал я.

К концу трех недель я настолько отощал, что от голода уже не мог держаться на ногах. Я бы так и сошел в могилу, если бы господь бог и моя собственная сообразительность не помогли мне. Пуститься на хитрости мне не представлялось случая, ибо здесь нечего было украсть, а если бы даже и было, то я не мог бы отвести попу глаза, как это мне удавалось с предыдущим хозяином, да простит его господь, если он помер от удара, ибо, при всем своем лукавстве, он был лишен бесценного дара — дара зрения и не видел меня. Что же касается этого, то никто не обладал такой зоркостью, как он. Когда мы совершали проскомидию, то ни одна полушка, падавшая в раковину, не ускользала от его взгляда. Одним глазом он смотрел на народ, а другим на мои руки, и зрачки его вращались, как если б они были из ртути.

Он вел счет всем монетам, какую бы кто ни подал, и после сбора тотчас же отбирал у меня раковину и ставил на престол, так что я за все время, пока у него жил, или, лучше сказать, умирал, ни разу не ухитрился стянуть ни единой бланки. Из харчевни я никогда не приносил ему вина ни на грош, а ту небольшую часть пожертвований, которая хранилась у него в сундуке, он распределял таким образом,

что ему хватало на неделю. А чтобы скрыть свою великую жадность, он говорил мне:

– Знай, мальчик, священнослужители должны быть весьма умеренными в еде и питье, поэтому я не распускаюсь, как другие.

Сквалыга мой бессовестно лгал, ибо в монастырских трапезных и на поминках он жрал на чужой счет, как волк, и пил побольше любого знахаря, что лечит от водобоязни.

Раз уж я заговорил о поминках, то да простит меня господь бог, ибо в эти дни я был врагом рода человеческого единственно потому, что только в эти дни мы ели досыта, и я желал и молил бога, чтобы он каждый день поражал кого-либо из рабов своих. Когда мы причащали и соборовали больных и священник предлагал всем присутствовавшим молиться, я, конечно, от других не отставал и от всего сердца и от всей души просил бога, чтобы он, как говорится, не отвергал слугу своего, а призвал его к себе.

Если некоторые из них выживали, то я, прости господи, многократно посылал их ко всем чертям, а тем, кто умирал, я столько же раз желал царства небесного. За все время, пока я пробыл у попа, а именно почти полгода, скончалось только двадцать человек, и, думается мне, умертвил их я, или, лучше сказать, они умерли по моему ходатайству. Видя, как я всечасно умираю лютою смертью, господь, верно, соизволил прикончить их, чтобы даровать мне жизнь. И все же я не находил средства от голода, ибо если в дни похорон я и жил, то в дни, когда покойника не было, я, привыкнув к сытости и возвращаясь к обычной своей голодовке, еще больше страдал от нее. Таким образом, ни в чем не находил я себе утешения, разве что в смерти, которой я иной раз желал и себе и другим, но не видел ее, хотя она всегда во мне пребывала.

Много раз замышлял я бросить этого жадного человека, но по двум причинам оставлял эту мысль: во-первых, по недоверию к моим ногам и из страха перед их слабостью, которая являлась следствием голодовки, а во-вторых, я рассуждал так:

«Было у меня два хозяина. Первый морил меня голодом; когда же я ушел от него, то попал к другому, и этот довел меня до могилы. И вот, если я расстанусь и с этим да попаду к еще худшему, мне останется только помереть». Вот почему не дерзал я ничего больше предпринимать — был уверен, что следующие ступени повлекут меня к еще горшим бедам, и если я спущусь по ним вниз, то о Ласаро никто уже не услышит на белом свете.

И вот, находясь в такой крайности, от которой избави бог всякого истинного христианина, не зная, как выйти из этого положения, и видя, что дела мои идут все хуже и хуже, однажды, когда злосчастный и скаредный хозяин мой ушел из дому, заприметил я у наших дверей какого-то медника, который показался мне ангелом, посланным в таком обличье с небес на землю. Он спросил, нет ли у нас какой починки.

— Взялся бы ты починить меня — вот и была бы у тебя работа, и работа немалая, — сказал я себе, но так, что он не слышал; однако мне было не до шуток, и, по наитию святого духа, я обратился к нему: — Дяденька, я потерял ключ от этого сундука и боюсь, что хозяин меня накажет. Ради бога, посмотрите, нет ли у вас с собой подходящего, а я вам заплачу.

Этот ангел в обличье медника стал пробовать один за другим ключи из большой связки, которая была при нем, а я помогал ему моими слабыми молитвами, и вдруг на дне сундука явился мне в образе хлебов, как говорится, лик господень.

— У меня нет денег заплатить вам за ключ, — сказал я меднику, — возьмите плату отсюда.

Он выбрал хлеб, какой получше, и, отдав мне ключ, ушел в отличном расположении духа, а меня оставил в еще лучшем.

До поры до времени я не притронулся ни к чему, чтобы недостача не была замечена; к тому же, сделавшись обладателем такого богатства, я полагал, что голод не посмеет больше напасть на меня. Пришел мой злосчастный хозяин

и, по милости божьей, не заметил, что часть хлеба унес ангел.

На другой день, как только ушел он из дому, открыл я мой хлебный рай, схватил руками и зубами один из караваев, мгновенно уничтожил его, а затем предусмотрительно запер сундук на ключ. С тех пор уборка комнат стала для меня наслаждением — я был уверен, что злой моей доле пришел конец. Так я блаженствовал тот день и следующий, но блаженство это длилось недолго, ибо уже на третий день меня снова схватила возвратная голодная лихорадка: в недобрый час увидел я, что мой гладоморитель, стоя у сундука, перекладывает и пересчитывает хлебы. Я сделал вид, что ничего не замечаю, а сам втайне молил бога и взывал: «Святой Иоанн, ослепи его!»

Он же, после того как долго вел счет по дням и по пальцам, изрек:

— Если бы этот сундук не был так надежно заперт, я бы подумал, что кто-то похитил отсюда хлебы. Отныне, только затем чтобы избегнуть подозрений, я буду вести счет. Остается девять хлебов и один кусок.

«Девять болячек пошли тебе господь!» — подумал я. При его словах мне показалось, что сердце мое пронзила стрела, а желудок стал разрываться от голода, ибо я понял, что придется мне поститься, как прежде. Он ушел, а я, чтобы утешиться, открыл сундук и начал любоваться хлебом, не смея, однако, его взять, Я пересчитал хлебы в надежде, что проклятый поп ошибся, но — увы! — счет его оказался совершенно верным. Единственно, что я мог себе позволить, это многократно расцеловать хлебы и осторожно отщипнуть от куска, и больше у меня ничего во рту не было весь тот день, не столь радостный, как предыдущий.

Между тем голод мучил меня все сильнее, тем более что за истекшие два-три дня желудок мой привык к большему количеству хлеба; я просто помирал лютой смертью и, оставшись один, все только отпирал да запирал сундук, созерцая в хлебах лик божий, как говорят дети. Однако бог всегда приходит на помощь несчастным, и вот, видя, что я в таком

тяжелом положении, он внушил мне довольно остроумную мысль, и я, пораскинув мозгами, сказал себе: «Этот сундучище стар, ветх и разбит в нескольких местах. В нем есть несколько маленьких дырочек. Можно уверить попа, что туда забираются мыши и грызут хлеб. Стащить целый каравай нельзя, ибо утеснитель мой тотчас заметит пропажу, — лучше понемножку».

И вот накрошил я хлеб на лежавшие в сундуке не весьма драгоценные салфетки — словом, от каждого из трех или четырех караваев я понемногу отковырял. Затем, подобно тому как принимают пилюли, я все это проглотил и несколько утешился. Поп, придя обедать и отперев сундук, заметил нанесенный ему урон и, конечно, подумал на мышей, потому что именно так обыкновенно грызут хлеб мыши. Он осмотрел сундук со всех сторон и, обнаружив несколько отверстий, решил, что через них-то мыши и забрались внутрь. Он позвал меня и сказал:

— Смотри-ка, смотри-ка, Ласаро, какому нападению подвергся нынче ночью наш хлеб!

Я сделал вид, что очень удивился, и спросил, что бы это могло быть.

— Как что? — сказал он. — От мышей не убережешься.

Сели мы обедать, господь и тут послал мне удачу. На сей раз мой хозяин оказался щедрее: он срезал ножом все, что считал попорченным мышами, и отдал мне.

— Ешь, — сказал он, — мыши — звери чистые.

Так, увеличив паек трудами рук моих, или, лучше сказать — ногтей, покончил я с обедом, хотя, по правде говоря, я и не начинал его.

Вскоре новый удар поразил меня: хозяин мой добросовестно принялся вытаскивать гвозди из стен и собирать дощечки, а потом заколотил и забил все дыры в старом сундуке.

«Боже мой! — подумал я. — Каким превратностям, бедствиям и несчастьям подвержены мы и до чего же скоротечны радости в нашей многотрудной жизни! Вот я надеялся таким скромным и жалким способом утолять голод, и

это меня радовало и ободряло. Но злая судьба моя заставила скаредного моего хозяина быть начеку и выказывать еще большую наблюдательность, чем та, какою его наделила природа, хотя, впрочем, такие злонамеренные люди, как он, по большей части не страдают недостатком бдительности: злая судьба, заколотив дыры в сундуке, тем самым отняла у меня последнее утешение и усеяла путь мой лишениями».

Так плакался я, а в это время мой добросовестный плотник при помощи гвоздей и дощечек окончил свою работу.

– Ну, вероломные господа мыши, – молвил он, – вам здесь делать больше нечего, в нашем доме вам придется туго.

Едва он вышел, я поспешил осмотреть его работу и обнаружил, что в ветхом и жалком сундуке своем он не оставил даже щели, в которую мог бы пролезть комар. Я отпер сундук моим теперь уже бесполезным ключом, без надежды попользоваться чем-либо, увидел два или три начатых хлеба, которые хозяин мой принял за попорченные мышами, и взял самую малость, слегка коснувшись их, подобно ловкому фехтовальщику.

Нужда – великий учитель, я же испытывал ее постоянно, а потому я день и ночь обдумывал средства для поддержания моих сил и полагаю, что в поисках этих проклятых средств голод освещал мне путь, ибо говорят, что вдохновляет на выдумки он, а не сытость. Так, во всяком случае, было со мною.

И вот однажды ночью, будучи пробужден своими мыслями и размышляя о том, как бы мне овладеть и попользоваться содержимым сундука, удостоверился я, что хозяин мой почивает: об этом можно было судить по храпу и громким вздохам, которые он всегда испускал во сне. Еще днем обдумав свои действия и запасшись старым ножом, я бесшумно встал с постели, направился к злосчастному сундуку и с той стороны, где, как мне казалось, он был хуже всего защищен, бросился на него с ножом, который заменил мне бурав. А так как ветхий сундук, много лет проживший на

свете, не только не обладал силой и стойкостью, но, напротив, был слаб и податлив, то он скоро сдался, и я провертел в его боку порядочную дыру. После этого я осторожно отпер израненный сундук, ощупью отковырял кусочек от начатого хлеба по вышеописанному способу и, удовольствовавшись этой малостью, снова запер хранилище, а затем возвратился на свою солому и, растянувшись, немного соснул. Спать мне, однако, не давал голод, а будь я сыт, в те времена сон мой не развеяли бы даже заботы, которые тревожат французского короля.

На другой день хозяин мой, обнаружив урон, нанесенный хлебу, а также дыру, которую я провертел в сундуке, посулил мышам черта.

– Что ты скажешь! – воскликнул он. – Прежде в моем доме мышей и в помине не было!

И он говорил истинную правду, ибо если и был во всем королевстве дом, к которому мыши относились с особым почтением, так это именно дом моего хозяина, ибо мыши не водятся там, где им нечего есть. Хозяин снова принялся выискивать гвозди в стенах, собирать дощечки и заколачивать дыру. Но с наступлением ночи, как только он засыпал, я сейчас же вставал, и что заколачивал он в течение дня, то расколачивал я за ночь своими инструментами.

Так оно и шло, и так мы с ним соревновались: вот уже поистине, едва одна дверь закрывается, как другая распахивается. Казалось, мы взяли подряд на тканье Пенелопы, ибо то, что он ткал за день, я распускал по ночам. В короткий срок мы привели несчастное хранилище в такой вид, что всякий скорее назвал бы его не сундуком, а древними латами – так много было на нем заплат и гвоздей.

Видя, что средство его не помогает, хозяин сказал:

– Сундук этот весь разломан и сделан из столь ветхого и гнилого дерева, что не может противиться никакой мыши. Но, как бы он ни был плох, без него будет еще хуже, новый же сундук обойдется мне в три или четыре реала. Лучшее средство, по-моему, раз это не приносит пользы, – вооружиться на проклятых мышей изнутри.

Вскоре он занял у кого-то мышеловку и, снабдив ее кусочками сыра, выпрошенного у соседей, поместил ее внутри сундука. Мне это послужило особым подспорьем, так как хотя я и не очень нуждался в острой закуске для возбуждения аппетита, но рад был и сыру, — я извлекал его из мышеловки, не забывая в то же время угрызать хлеб.

Видя, что хлеб изгрызен, сыр съеден, а мышь все не попадается, мой хозяин злился и расспрашивал соседей, как это может случиться, что сыр похищен из мышеловки и съеден, а мышь ускользнула, хотя дверца захлопнулась.

Соседи пришли к заключению, что это не мышь, ибо хоть раз да должна же была она попасться. Один из соседей сказал:

— Помнится мне, что в доме вашем водилась змея, и это, наверное, она и есть. И понятно, что раз она длинна, то может стащить приманку и выбраться из мышеловки, хотя бы дверца и захлопнулась, — ведь не вся же змея туда влезает.

Все с ним согласились, а хозяин мой встревожился и с этого дня стал спать не столь спокойным сном, принимая за змею, грызущую его сундук, жучка-древоточца, что бывает слышен по ночам. Он вставал и палкою, которую держал наготове у своего изголовья, изо всех сил принимался колотить по злосчастному сундуку — так он думал напугать змею. Этим грохотом он будил соседей и не давал спать мне. Подойдя к моему сеннику, он ворошил его и меня, ибо ему представлялось, что змея заползла ко мне и спряталась в соломе или в моей одежде, а он слыхал, что иногда эти гады ночью, чтобы согреться, заползают в колыбели к детям и жалят их и что это очень опасно. Я обыкновенно притворялся спящим, а на следующее утро он спрашивал меня:

— Нынче ночью ты, мальчик, ничего не слыхал? Я следил за змеей и думал даже, что она заползла в твою постель: ведь они очень холодные и им хочется согреться.

— Дай бог, чтобы она меня не укусила, — ответил я, — я страшно боюсь этого.

Так как мой хозяин столько раз пробуждался и поднимался, змея или, вернее, змей не осмеливался подбираться к сундуку и грызть по ночам. Зато днем, когда хозяин был в церкви или в городе, я по-прежнему совершал нападения. Хозяин же, видя, сколь великие терпит убытки, и сознавая, что он бессилен с ними бороться, продолжал по-прежнему бродить по ночам, как домовой.

Я боялся, как бы рачительный мой хозяин не обнаружил ключ, который я держал под сенником, и в конце концов решил, что надежнее будет на ночь класть его в рот. Еще в ту пору, когда я жил у слепого, я превратил свой рот в кошель, мне случалось хранить там и десять и пятнадцать мараведи, все в мелкой монете, и они не мешали мне есть. В противном случае я бы их лишился, ибо проклятый слепец непременно нашел бы их: ведь он постоянно обыскивал меня.

И вот, как я уже сказал, теперь я каждую ночь прятал ключ к себе в рот и спал спокойно, уже не боясь, что мой колдун-хозяин отыщет его. Но когда приходит беда, все предосторожности тщетны. Судьба моя распорядилась так, а вернее всего, это было мне наказание за грехи: однажды ночью, когда я спал, спрятав ключ во рту, дыхание мое выходило через отверстие пустого внутри ключа с весьма отчетливым предательским свистом. Напуганный хозяин мой решил, что шипит змея, да это и впрямь было похоже.

Он тихонько встал и с палкой в руке, весьма осторожно, чтобы змея его не почуяла, двинувшись в том направлении, откуда долетал звук, приблизился ко мне, ибо он полагал, что змея зарылась в солому и греется подле меня. И вот, взмахнув своей дубиной и вознамерившись одним ударом прикончить змею, он так меня треснул, что я, с проломленной головой, остался лежать без сознания. Смекнув, как он сам после рассказывал, что удар пришелся по мне, он наклонился и, громко окликнув, попытался привести меня в чувство. Дотронувшись до меня рукою и обнаружив сильное кровотечение, он поспешил принести свет, а когда возвратился, то услыхал мои стоны и увидел, что во

рту у меня ключ, – я его так и не выронил, и он все еще торчал у меня одним концом наружу, как и тогда, когда я свистел в него.

Истребитель змей, придя в изумление, вытащил у меня изо рта ключ и рассмотрел его, – по виду он ничем не отличался от его собственного, коим запирался сундук. Хозяин тотчас в этом удостоверился и раскрыл мое преступление. В эту минуту жестокий охотник подумал, наверно, так:

«Наконец-то нашел я мышь и змею, которые со мной воевали и поедали мое добро».

О том, что произошло в следующие три дня, я ничего не могу сказать, ибо провел их словно во чреве китовом, а о самом приключении я узнал уже после того, как пришел в себя, от хозяина, который со всеми подробностями рассказывал о нем всем своим знакомым.

Через три дня я очнулся и, увидев, что лежу на сеннике, что голова у меня в пластырях, натерта маслом и намазана мазью, в испуге спросил, что со мной приключилось.

– А то, что я переловил всех змей и мышей, которые меня разоряли, – ответил жестокий поп.

Увидев, в каком плачевном состоянии я нахожусь, я тотчас же догадался о моем несчастье.

В это время вошли соседи и старуха знахарка и начали снимать у меня с головы повязки и врачевать рану. Заметив, что я очнулся, они очень обрадовались и сказали:

– Ну, раз он пришел в себя, даст бог, все заживет.

Тут они снова принялись описывать мои невзгоды и смеяться над ними, а я, грешный, стал их оплакивать. Затем они дали мне поесть, я же совсем ослабел от голода и лишь слегка подкрепил свои силы.

Через две недели опасность миновала (не миновал только голод), я с грехом пополам поправился и кое-как стал на ноги.

На другой день после того, как я поднялся, хозяин мой взял меня за руку, вывел за порог и, поставив среди улицы, сказал:

– Ласаро, с сегодняшнего дня ты уже не мой, а свой собственный. Ступай с богом и ищи себе другого хозяина, а мне столь ревностный слуга не нужен. Тебе только поводырем у слепого и быть.

И, отчуравшись от меня, словно я был одержим бесами, он вернулся домой и запер за собою дверь.

Рассказ третий

Как Ласаро устроился у дворянина и что с ним случилось

Таким образом, я вынужден был черпать силы из своей собственной слабости и потихоньку, с помощью добрых людей, добрался до славного города Толедо, где, по милости божьей, через две недели рана моя зажила. Пока я был болен, мне подавали кое-какую милостыню, но как только я вылечился, все стали твердить:

– Проныра ты и бездельник! Ищи, ищи себе доброго хозяина и послужи ему!

«А где же такого найти? – думал я. – Одна надежда, что господь бог вновь создаст его, как создал в свое время мир».

Предаваясь подобным размышлениям и с весьма малым толком бродя от одной двери к другой, ибо и милосердие вознеслось на небеса, набрел я однажды по воле бога на некоего дворянина, – тот шел по улице степенным шагом, прилично одетый и аккуратно причесанный. Он посмотрел на меня, я на него, – тогда он обратился ко мне с такими словами:

– Не ищешь ли ты хозяина, мальчик?

– Да, сеньор, – ответил я.

– В таком случае следуй за мной, – сказал он, – господь явил тебе особую милость тем, что свел тебя со мною. Видно, ты сегодня усердно молился.

Я последовал за ним и возблагодарил бога, ибо, судя по виду дворянина и его повадке, я пришел к заключению, что обрел именно того, кого мне было нужно.

С этим третьим моим хозяином мы встретились утром. Он повел меня чуть ли не через весь город. Мы проходили мимо рынков, где продавали хлеб и другие припасы. Я мечтал о том, как он нагрузит меня ими, ибо наступил уже тот час, когда люди обычно запасаются всем необходимым, но он размеренным шагом проходил мимо.

«Верно, он не находит здесь ничего по своему вкусу и собирается все закупить в другом месте», — подумал я.

Так мы с ним бродили до одиннадцати часов. В одиннадцать хозяин направил свои стопы в собор, я последовал за ним, и тут я мог наблюдать, как усердно молился он за обедней и прочими церковными службами. И только после того как все кончилось и народ разошелся, вышли из храма и мы.

Мы медленно двинулись по улице. Я чувствовал себя счастливейшим из смертных: коль скоро нам не пришлось заниматься поисками пищи, рассуждал я, значит, хозяин мой — человек запасливый и обед будет в положенное время, и притом такой, о каком я мечтал и в каком нуждался.

В это время пробило час пополудни, хозяин мой остановился у какого-то дома, откинул левую полу плаща, вытащил из рукава ключ, отпер дверь, и мы вошли в дом. Вход в него был до того темен и мрачен, что, наверное, внушал страх всем посетителям, хотя, впрочем, дальше вы попадали во внутренний дворик, комнаты же были приличные. Войдя в дом, хозяин скинул плащ и, узнав, чистые ли у меня руки, с моей помощью встряхнул и свернул его, а затем, тщательно сдунув пыль со скамьи, положил на нее плащ, сам сел рядом и начал весьма подробно расспрашивать меня, откуда и как я попал в этот город. Я дал ему более подробный отчет, чем мне того хотелось, ибо я полагал, что лучше накрыть на стол и приняться за похлебку, чем исполнять его просьбу. Однако я удовлетворил его любопытство; привирал же я, как только мог, повествуя о моих достоинствах и умалчивая обо всем остальном, — мне казалось, что

это к делу не относится. После этого он еще некоторое время сидел неподвижно, в чем я тотчас же усмотрел дурной знак: ведь было уже около двух часов, а он помышлял о еде не больше, чем покойник.

Я стал рассматривать комнату, дверь которой была заперта на ключ. Ни вверху, ни внизу не было заметно никакого шевеления. Я видел перед собой только стены, но не видел ни единого стула, ни единой скамейки, даже такого сундука, как у предыдущего хозяина. Весь дом был точно заколдован.

Наконец хозяин спросил:

— Ты уж поел, мальчик?

— Нет, сударь, — ответил я, — ведь когда я повстречал вас, еще и восьми не было.

— А я вот спозаранку позавтракал, и надо тебе сказать: закусив с утра, я до вечера обхожусь без еды. Поэтому до ужина ты уж сам как-нибудь о себе позаботься.

Поверьте, ваша милость, что при этих словах я почти лишился чувств, но не от голода, а от того, что удостоверился, сколь неизменно жестокой пребывает ко мне судьба. Снова предстали предо мной мои злоключения, и я принялся оплакивать мои невзгоды. Вспомнилось мне, как я, замышляя бросить попа, боялся, что, хоть он зол и скуп, я могу напасть на другого хозяина, еще похуже этого. Потом всплакнул я при мысли о моей прежней тяжелой жизни и о близкой моей кончине.

Однако я постарался взять себя в руки и сказал:

— Сударь, я молод и не очень забочусь о еде. Слава богу, глотка у меня скромная, — этим я отличался от всех моих сверстников и за это меня хвалили все хозяева, которым я до вас служил.

— Хорошее качество, — заметил он, — за это я еще больше буду тебя любить. Обжираться свойственно свиньям, а есть умеренно приличествует людям достойным.

«Я отлично тебя понимаю, — подумал я, — будь прокляты те лекарства и те добродетели, которые мои хозяева выискивают в голоде!»

Я забрался в угол и вытащил из-за пазухи несколько ломтей хлеба, которые мне подали Христа ради. Он же, заметив это, молвил:

– Иди-ка сюда, мальчик! Что ты там жуешь?

Я подошел к нему и показал хлеб. Он взял у меня ломоть из трех, получше и побольше, и воскликнул:

– Ей-богу, хороший хлеб!

– Какой там хороший! – заметил я.

– Честное слово, хороший, – возразил он. – Где ты его раздобыл? Чистыми ли руками он замешан?

– Этого я не знаю, – ответил я, – но только вкус его мне не претит.

– Ну, будь что будет, – произнес мой бедный хозяин и, поднеся ломоть ко рту, начал кусать его так же яростно, как кусал я свой. – Клянусь богом, превкусный хлеб, – сказал он.

Поняв, на какую ногу он хромает, и уверившись в его готовности помочь мне расправиться с остатками хлеба, в случае если я замешкаюсь, я стал поторапливаться. Благодаря этому мы покончили с хлебом почти одновременно. Хозяин принялся собирать крошки, оставшиеся у него на груди, а затем прошел в соседнюю комнатушку, принес оттуда кувшин с отбитым горлышком и, отпив, предложил мне. Чтобы сойти за человека воздержанного, я сказал:

– Сударь, я вина не пью.

– Это вода, – ответил он, – можешь пить спокойно.

Тогда я взял кувшин и выпил, но немного, ибо жажда-то меня как раз и не донимала. Так провели мы время до вечера, – он меня расспрашивал, а я ему отвечал, как мог складнее. Наконец он провел меня в комнату, где стоял кувшин, из которого мы напились, и сказал:

– Мальчик, иди-ка сюда и посмотри, как делается постель, чтобы в другой раз суметь ее приготовить.

Я стал с одного конца, а он с другого, и мы вдвоем приготовили это несчастное ложе, где и готовить-то нечего было, потому что состояло оно из плетенки, положенной на скамьи, и накрытого простыней тощего тюфяка, который, давно забыв о чистке, даже и не походил на тюфяк, но

все же заменял таковой, хотя начинки в нем было меньше, чем полагалось. Мы его разостлали и попытались умягчить, но это оказалось невозможно, ибо из твердого очень трудно сделать мягкое. Проклятый тюфяк так мало содержал в себе шерсти, что, когда мы положили его на плетенку, все ее прутья обозначились под ним, как ребра у тощей свиньи. Сверху было положено столь же тощее одеяло, цвет которого я не мог разобрать. Когда постель была приготовлена, уже наступила ночь, и хозяин сказал:

– Уже поздно, Ласаро, а отсюда до рынка очень далеко. К тому же в городе полно воров, они грабят по ночам. Обойдемся как-нибудь, а утром господь нас вознаградит. Я не запасался едой – ведь я до сих пор жил один и все эти дни не обедал дома, а теперь мы устроимся иначе.

– Что касается меня, сударь, – заговорил я, – то об этом вашей милости не стоит беспокоиться, – я и не одну ночь, если нужно, могу побыть без еды.

– И будешь здоровее, да и проживешь дольше, – подхватил он, – мы с тобою уже говорили: ничто на свете так не способствует многолетию, как умеренность в еде.

«Ну, коли так, – подумал я, – то я никогда не помру: я всегда соблюдал это правило поневоле и думаю даже, что, на свое несчастье, буду верен ему всю жизнь».

Он улегся, подложив под голову свои штаны и камзол, и велел лечь у его ног, что я и сделал. Но будь проклят сон мой, ибо прутья плетенки и мои торчавшие кости всю ночь не переставали ссориться и злиться друг на друга, ибо от забот, несчастий и голода в теле моем не осталось уже ни фунта мяса. Притом я целый день почти ничего не ел и в конце концов озверел от голода, а тут уж бывает не до сна, и да простит меня господь, но только я осыпал проклятиями и себя самого, и мою несчастную судьбу. Большую и худшую часть ночи я не смел пошевельнуться, чтобы не разбудить моего хозяина, и неустанно молил бога о смерти.

Утром мы поднялись, и хозяин стал чистить и встряхивать свои штаны, камзол и плащ, а я усердно прислуживал ему во время долгого его одевания. Я подал ему воды вы-

мыть руки, он причесался, взял свою шпагу и, прицепляя ее к портупее, сказал:

– Если бы ты знал, мальчик, что это за шпага! Я не променял бы ее на все золото в мире. Из тех шпаг, что сделал Антонио, ни у одной нет такого острого клинка, как у этой. – Он вытащил ее из ножен и попробовал пальцами: – Видишь? Я берусь пронзить ею кипу шерсти.

«А я моими зубами, хоть они и не стальные, берусь пронзить хлеб в четыре фунта весом», – подумал я.

Он вложил шпагу в ножны, прицепил ее к портупее вместе с огромными четками и спокойным шагом, держась прямо, изящно покачивая станом и головою, перебрасывая плащ то через плечо, то через руку и подбоченясь, направился к выходу.

– Ласаро, – сказал он, – пригляди за домом, пока я схожу к обедне, прибери постель, сбегай за водою на реку, а дверь запри на ключ, чтоб у нас чего-нибудь не стянули, и положи его вот тут, у косяка, на случай если я вернусь раньше тебя.

И он, приосанясь, зашагал по улице с таким гордым видом, что всякий, кто не был с ним знаком, мог бы подумать, что это идет близкий родственник графа Аларкоса или, по крайней мере, камердинер, помогавший ему одеваться.

«Благословен господь, – подумал я, оставшись один, – посылая болезнь, он указует и лекарство! Кто, встретив моего хозяина, не подумает, судя по его довольному виду, что вчера он вкусно поужинал, спал на мягком ложе и, несмотря на ранний час, сытно позавтракал? Неисповедимы пути твои, господи, и людям не дано их постигнуть! Кого не обманули бы эта наружность, этот приличный плащ и камзол? Кому придет в голову, что этот дворянин ничего вчера не ел и удовольствовался лишь краюхой хлеба, которую слуга его Ласаро целые сутки таскал у себя за пазухой? Кому придет в голову, что сегодня, вымыв лицо и руки, за неимением полотенца воспользовался он полой своего кафтана? Никто, конечно, этого не подозревает. О господи, как много подобных ему рассеяно по свету, и из-за этой гадости, которая

называется честью, они терпят столько мук, сколько не претерпели бы во имя твое!»

Рассуждая таким образом, стоял я у дверей и смотрел вслед моему хозяину до тех пор, пока он не прошел нашу длинную и узкую улицу. Когда же он скрылся из виду, я в один миг обошел весь дом, сверху донизу, не зная, за что бы мне взяться. Я убрал злосчастную жесткую постель, взял кувшин и по дороге к реке увидел моего хозяина: он стоял в саду и рассыпал любезности двум расфуфыренным девицам, какие в том городе попадаются на каждом шагу. Многие из них имеют обыкновение в летнее время гулять по бережку и дышать утренней прохладой в надежде, что кто-либо угостит их завтраком, как это принято у местных идальго.

Итак, хозяин мой беседовал с ними на манер Масиаса, расточая больше нежных слов, чем их насочинял Овидий. Когда же они удостоверились, что он расчувствовался не на шутку, им не показалось зазорным попросить его повести их завтракать за полагающееся в таких случаях с них вознаграждение. Он же, ощутив, что кошелек его столь же холоден, сколь горяч желудок, внезапно заболел лихорадкой, побледнел, начал путаться в словах и бормотать пустые извинения. Наученные опытом, они сразу распознали его болезнь и предоставили его самому себе; я же, закусив капустными кочерыжками, с великим проворством, как подобает новому слуге, тайно от хозяина вернулся домой и решил хотя бы слегка подмести наше обиталище, ибо сделать это было просто необходимо, но только не нашел чем. Думал я, думал, за что бы мне приняться, и наконец решил обождать моего хозяина до полудня: он-де вернется и, быть может, принесет что-нибудь поесть, но ожидание оказалось напрасным. Когда я увидел, что уже два часа, а он все не идет, меж тем как голод продолжает донимать меня, я запер дверь, положил ключ, куда было велено, и вернулся к моему старому ремеслу. Тихим и слабым голосом, прижимая руки к груди, имея образ господа бога перед глазами и имя его на устах, стал я просить хлеба у дверей самых больших домов. Искусство это я всосал с молоком матери или, вернее, постиг его

у великого моего учителя — слепца и вышел вполне достойным его учеником, а потому, несмотря на жестокосердие жителей этого города и на неурожайный год, я выказывал такое умение, что, прежде чем пробило четыре часа, у меня оказалось столько же фунтов хлеба в желудке, да еще два в суме и за пазухой. Я повернул домой и, проходя мимо мясной лавки, выпросил у одной женщины кусок телячьей ножки и немного вареной требухи.

Моего доброго хозяина я застал дома. Плащ его был свернут и положен на скамью, а сам он прогуливался по дворику. Когда я вошел, он направился ко мне. Я подумал, что он будет бранить меня за опоздание, но господь все устроил к лучшему. Он спросил, где я был.

— Сударь, — ответил я, — до двух часов я был дома, а затем, видя, что ваша милость не возвращается, прошелся по городу и обратился за помощью к добрым людям, а они дали мне то, что вы видите.

Я достал из-под полы хлеб и требуху и показал ему, он же удостоил это милостивым взглядом и сказал:

— А я ждал тебя к обеду и, видя, что ты не идешь, пообедал один. Но ты и в этом случае поступил как порядочный человек, ибо лучше просить милостыню, чем воровать, и я надеюсь, что господь тебя не оставит. Но только смотри: никто не должен знать, что ты живешь у меня, иначе это может задеть мою честь. Впрочем, я уверен, что это останется тайной, ибо меня мало знают в этом городе, и лучше бы мне сюда вовсе не заглядывать!

— Не беспокойтесь, сударь, — молвил я, — никому нет до этого дела, и ни перед кем я не буду отчитываться.

— Ну, а теперь ешь, греховодник, бог даст, мы скоро выбьемся из нужды, хотя, признаюсь, с тех пор, как я поселился в этом доме, ничего хорошего я не видел. Верно, построен он на худой земле и на плохом основании. Есть такие несчастливые дома, где на жителей валятся всякие беды. Этот дом, конечно, из таких, но я тебе обещаю, что через месяц я с ним расстанусь, хотя бы мне отдали его в полное владение.

Умолчав о моем завтраке, чтобы он не принял меня за обжору, я сел на край скамьи и начал ужинать; я уписывал требуху и хлеб и украдкой поглядывал на незадачливого моего хозяина, который не сводил глаз с моего кафтана, служившего мне скатертью. Да будет господь так жалостлив ко мне, как жалел тогда я его, ибо все его чувства я сам перечувствовал и испытывал их изо дня в день. Я раздумывал, удобно ли предложить ему поесть, но так как он сказал, что уже отобедал, то я боялся, что он отклонит мое приглашение, хотя искренне желал, чтобы бедняга помог мне в моих трудах и поел вместе со мною, как это было накануне. Тем более что припасы были лучшего качества и я сам был не такой голодный.

Господу было угодно исполнить мое, а пожалуй что и его, желание, ибо как только я принялся за еду, он подошел ко мне и сказал:

— Я никогда еще не видел, Ласаро, чтобы кто-нибудь кушал с таким аппетитом, как ты. Кто не хочет есть, а смотрит на тебя — сразу захочет.

«Тебе самому хочется есть, — подумал я, — оттого ты мною и восхищаешься».

Все же я решил прийти ему на помощь, тем более что он сделал первый шаг.

— Сударь, — сказал я, — дело мастера боится. Хлеб до того вкусен, а телячья ножка так хорошо сварена, что всякий соблазнится.

— Это телячья ножка?

— Да, сударь.

— Ну, так я тебе скажу, что это лучшее кушанье на свете, я бы и на фазана его не променял.

— Так отведайте, сударь, и вы увидите, какова она.

Я сунул ему в руку телячью ножку и два-три куска хлеба из самой что ни на есть белоснежной муки. Он сел рядом со мною и, словно только этого и ждал, принялся уплетать все подряд, обгладывая каждую косточку не хуже любой собаки.

— С подливочкой это необыкновенное кушанье, — проговорил он.

«Тот соус, с которым ты его ешь, еще лучше», — заметил я про себя.

— Ей-богу, я с таким аппетитом поел, как будто сегодня у меня еще маковой росинки не было во рту.

«Да наступят для меня столь же урожайные годы, каким был для меня нынешний день!» — подумал я.

Хозяин попросил воды, и тут я увидел, что кувшин полон, а это означало, что хозяин мой не слишком сытно обедал. Мы напились и, очень довольные, легли спать.

Чтобы не впасть в излишнее многословие, скажу только, что так прожили мы дней восемь — десять; злосчастный мой хозяин каждое утро с важным видом отправлялся мерным шагом на улицу глотать воздух, а бедный Ласаро исполнял в это время обязанности ходатая по съедобным делам.

Я много думал над своим несчастьем, над тем, что, спасаясь от плохих хозяев и стремясь к лучшей жизни, напал я на такого, который не только не поддерживает меня, но которому я сам должен служить опорой. И все же он был мне по душе; видя, что с него нечего взять, я скорее чувствовал к нему жалость, чем неприязнь, и много раз обходился сам без пищи, лишь бы накормить его.

Однажды утром незадачливый мой хозяин в одной сорочке вышел по своей надобности из комнаты, а я тем временем, желая учинить осмотр его карманам, развернул камзол и штаны, которые он оставил у изголовья, и обнаружил бархатный кошелек, помятый, без единой полушки и даже без признака, что в нем когда-то водились деньги.

«Он беден, — решил я, — а ведь никто не может дать того, чего сам не имеет». Поганый выжига-поп и скупой слепец, которые морили меня голодом, хотя господь и одарил их (одного за то, что ему целовали руки, а другого за длинный язык), вызывали во мне ненависть, этот же — сострадание.

Свидетель бог, отныне, встречаясь с кем-нибудь вроде него, такого же обличья и с такой же спесью, я испытывал жалость при одной мысли, что он терпит то же, что претерпевал мой хозяин, которому, несмотря на его бедность,

я служил охотнее, чем кому-либо другому. Немного не по душе мне была, однако, его кичливость: мне казалось, что при такой нищете ему следует быть скромнее. Но, по-видимому, у дворян это уж такой обычай — задирать нос, когда в кармане ветер свистит. Да простит их господь, ибо горбатого лишь могила исправит!

И вот, когда я находился в таком положении и вел вышеописанный образ жизни, злой судьбе моей, как будто еще недостаточно меня преследовавшей, захотелось даже и это позорное и многотрудное житие сделать недолгим. А именно: так как этот год оказался неурожайным, то городские власти решили, чтобы все пришлые бедняки покинули город, а кто ослушается, тех будут-де наказывать плетьми. Спустя несколько дней я увидел, что во исполнение этого указа целую толпу нищих гонят плетьми по улице. Это навело на меня такой страх, что я уже не осмеливался просить милостыню.

Можно себе представить, какие лишения мы терпели, как тоскливо и тихо стало у нас в доме: по два, по три дня мы ничего не ели и не говорили друг с другом. Мое существование поддерживали две шляпницы, которые жили рядом; я свел с ними знакомство, и они от скудной своей трапезы уделяли мне кое-что, чем я скрепя сердце довольствовался.

Я не так жалел себя, как моего достойного жалости хозяина, у которого целую неделю крошки во рту не было. По крайней мере, в доме у нас ничего съестного не водилось. Не знаю, где он бродил и чем питался.

Нужно было видеть, как он шагал в полдень по улице, длинный и тощий, похожий на борзую собаку. А чтобы окаянная его честь не была задета, он брал соломинку — этого добра у нас в доме было предостаточно, — выходил за дверь и начинал ковырять в зубах, хотя между ними ничего не могло застрять.

— Я не могу смотреть на злополучное это жилище, — сетовал он. — Смотри, какое оно мрачное, печальное, темное. Пока придется потерпеть, но я надеюсь, что в конце месяца мы отсюда выберемся.

Мы все еще продолжали влачить жалкое, голодное, постылое существование, как вдруг в один прекрасный день некий счастливый случай доставил моему хозяину один реал, и вернулся он такой ликующий, словно завладел всеми сокровищами Венеции. С веселым и довольным видом он протянул его мне и сказал:

– На, держи, Ласаро, господь уже простер над нами свою десницу. Иди на рынок и купи хлеба, вина и мяса – кутнем напропалую! И вот еще чем я тебя порадую; я подыскал другой дом, а в этом, несчастливом, мы доживем только до конца месяца. Будь проклят и самый дом, и тот, кто первый начал строить его! Ей-богу, с тех пор как я в нем поселился, я не видел ни капли вина и ни куска мяса и не знал покоя. Он так мрачен и угрюм! Ну, иди, иди, мы пообедаем сегодня на славу!

Я схватил реал, подхватил кувшин и, довольный и веселый, во все лопатки помчался на рынок. Но что хорошего может случиться с человеком, которому на роду написано, что все его радости должны быть хоть чем-нибудь да омрачены? Так оно и произошло со мною, ибо, летя по улице и размышляя, как мне лучше всего распорядиться реалом, чтобы с наибольшей для себя выгодой истратить его, и вознося благодарение богу, который даровал моему хозяину деньги, я в недобрый час внезапно увидел, что навстречу мне несут на носилках покойника, коего провожает толпа народу и множество духовных особ.

Я прислонился к стене, чтобы дать им дорогу. За гробом шла какая-то женщина в трауре, должно быть вдова покойного, и оглашала воздух громкими рыданиями.

– Супруг и господин мой! – причитала она. – Куда тебя уносят? В печальный и злосчастный дом, в дом мрачный и тесный, в дом, где никогда не пьют и не едят!

Когда я услыхал это, небо показалось мне с овчинку, и я подумал: «О, я несчастный! Мертвеца этого тащат в наш дом».

Я повернул обратно, пробрался через толпу и во весь дух помчался домой. Вбежав в комнату и мгновенно захлопнув за собою дверь, я начал умолять хозяина, чтобы он заступился за меня и защитил; я обнимал его и просил, чтобы он помог мне оборонить вход в наше жилище. Хозяин слегка встревожился и, полагая, что в самом деле что-то случилось, спросил:

– Что такое, мальчик? Чего ты кричишь? Что с тобой? Почему ты захлопываешь дверь с таким испугом?

– Ах, сударь, – воскликнул я, – помогите мне, к нам несут покойника!

– Как так? – спросил он.

– Я видел, как его несли, а жена его причитала: «Супруг и господин мой, куда тебя уносят? В дом мрачный и тесный, в печальный и злосчастный дом, где никогда не пьют и не едят». Его несут к нам, сударь!

Конечно, когда хозяин мой услыхал это, он, хотя и не имел причины быть веселым, залился хохотом и долгое время не мог вымолвить ни слова. Я запер дверь на засов и, чтобы дело вернее было, навалился на нее плечом. Народ со своим покойником давно прошел мимо, а я все еще опасался, что его втащат к нам.

Хозяин мой насмеялся досыта, так, как ему еще никогда не приходилось наедаться, и наконец сказал мне:

– В самом деле, Ласаро, слова вдовы могли навести тебя на эту мысль, но господь устроил все к лучшему, они прошли мимо, и ты теперь скорее открывай дверь и беги за едою.

– Пусть они пройдут всю улицу, – сказал я.

В конце концов хозяин подошел к входной двери и, отворив, вытолкнул меня, и сделать это было необходимо, ибо сам я так и не преодолел своего страха и смятения. В тот день мы наелись досыта, но никакого удовольствия пища мне не доставляла, да и следующие три дня я все еще не мог прийти в себя, а хозяин, вспоминая, что мне взбрело в голову, всякий раз приходил в веселое расположение духа.

Так прожил я у моего третьего хозяина, оскудевшего дворянина, еще несколько дней и все время порывался уз-

нать цель его появления и пребывания в этих краях, ибо с первого же дня, как я нанялся к нему, я признал его за иноземца — так мало у него было знакомства в этом городе и так редко общался он с местными жителями.

Наконец желание мое исполнилось, и я узнал то, что мне хотелось. Однажды, когда мы прилично поели и хозяин мой был ублаготворен, рассказал он мне о своих делах и сообщил, что родом он из Старой Кастилии и что оставил он родные края из-за того, что не снял шляпу перед одним своим соседом — кабальеро.

— Сударь, — сказал я, — если он, по вашим словам, богаче вас, так вам тут нет никакой обиды — первому снять шляпу, да и потом вы сами говорите, что он снимал перед вами шляпу.

— Это правда, он богаче меня, и он снимал передо мной шляпу, но так как я много раз кланялся первый, то не грех было ему хоть раз предупредить меня.

— Мне кажется, сударь, я бы на это не посмотрел, — сказал я, — в особенности если имеешь дело с человеком богаче и старше себя.

— Ты дитя и ничего не понимаешь в делах чести, а в наше время честь составляет все достояние порядочных людей. Надо тебе знать, что я, как ты видишь, оруженосец, но, клянусь богом, попадись мне навстречу граф и не сними он передо мной самым вежливым образом шляпу, я, увидев его в другой раз, постараюсь зайти в какой-нибудь дом якобы по делу или перейду улицу, прежде чем он поравняется со мною, лишь бы не поклониться ему, так как дворянин никому и ничем не обязан, кроме бога и короля, и человеку благородному не подобает ни на мгновение ронять свое достоинство. Помню, однажды у себя на родине я обругал одно должностное лицо и даже собирался поколотить его, ибо каждый раз, встречаясь со мною, он говорил: «Да хранит вас господь!» — «Вы, сударь, невежа и грубиян, — сказал я ему. — Вы дурно воспитаны. Да знаете ли вы, с кем вы разговариваете, кому вы осмелива-

етесь говорить: «Да хранит вас господь»?» С тех пор он всегда снимал предо мной шляпу и приветствовал надлежащим образом.

— А разве нехорошо приветствовать друг друга: «Да хранит вас господь»? — спросил я.

— Еще чего! — воскликнул он. — Так можно говорить людям маленьким, людей же знатных, вроде меня, должно приветствовать не иначе как: «Целую руки вашей милости», или, по крайней мере: «Целую ваши руки, сеньор», — если тот, кто обращается ко мне, дворянин. Я не потерпел, чтобы мой земляк обращался ко мне недостаточно почтительно, и впредь не потерплю ни от кого на свете, кроме короля, такого приветствия: «Да хранит вас господь».

«Грешно так думать, — сказал я себе, — но ведь господь так мало о тебе печется, что ты не должен особенно беспокоиться, если к нему обратятся с подобной просьбой».

— Тем более что я вовсе не так беден, — продолжал он, — и если бы развалившиеся хоромы в моем поместье воздвигнуть наново в шестнадцати милях от моей родины, на Береговой улице в Вальядолиде, да сделать их большими и роскошными, то стоили бы они больше двухсот тысяч мараведи. Есть у меня и голубятня, но только она разрушена, а то бы она каждый год давала больше двухсот голубей. Я уж не говорю о многом другом — обо всем, что мне пришлось оставить из-за дел чести. Я надеялся найти в этом городе хорошее место, но случилось не так, как я предполагал. Я встречаю здесь много каноников и других священнослужителей, но эти люди живут столь замкнуто и скупо, что никто в мире не сможет изменить их повадки. Господа среднего достатка также приглашают меня, но служить им очень трудно, ибо для этого надо из человека превратиться в мелкую картишку, а не то тебе скажут: «Ступай с богом». Да и жалованье там заставляет долго ждать себя, большей частью приходится служить за одну еду. Когда же они захотят успокоить свою совесть и вознаградить твои старанья, то облачат тебя в поношенный камзол или в дырявый плащ и куртку. Выкарабкаться из нужды можно, только устроив-

шись к людям знатным. Что же, разве я не способен служить и угождать им? Попади я только к одному из них, я скоро сумел бы стать его любимцем, оказывал бы ему тысячи услуг, мог бы лгать ему не хуже всякого другого и угождать во всем. Я покатывался бы над его шутками и выходками, хотя бы даже они были и не весьма остроумны, я бы никогда не сказал ему ничего неприятного, хотя бы это и следовало. В его присутствии я проявлял бы рвение и на словах и на деле. Я не стал бы убиваться, что не могу хорошо сделать того, чего он не может увидеть, но распекал бы прислугу, когда он мог бы это слышать, дабы он удостоверился, как я о нем забочусь. Если бы он бранил слугу, то я, под видом заступничества за виновного, еще больше старался бы разжечь его гнев. Я бы отзывался хорошо о том, кого он хвалит, и, наоборот, относился бы насмешливо и враждебно к тем, кто ему не нравится. Я бы следил за домашними и за посторонними и разузнавал об их делах, чтобы сообщать все это ему, я бы изучил и применял множество приемов в этом духе, — приемы эти ныне в ходу при дворе, и высокопоставленные особы их одобряют. Они ведь не желают терпеть в своем доме людей честных, они ненавидят их, ставят ни во что и зовут дураками, коль скоро с ними нельзя обделывать дела и нельзя с ними позабавиться. У таких господ пристраиваются только пронырливые люди, чего мог бы достичь и я, но, видно, мне это не суждено.

Так сетовал на свою превратную фортуну мой хозяин, повествуя мне о своей доблестной персоне.

В это время появились в дверях какой-то мужчина и старуха. Мужчина стал требовать с моего хозяина плату за дом, а старуха — за кровать. Стали они насчитывать, и вышло, что за два месяца надо заплатить столько денег, сколько он и за год не наберет. Кажется, все это вместе составляло двенадцать или тринадцать реалов. Хозяин не растерялся: он ответил им, что пойдет на рынок разменять деньги, а они-де пусть придут попозже. Сам он ушел и не вернулся, так что когда они действительно пришли попозже, то было уже

слишком поздно. Я сказал им, что он еще не приходил. Настала ночь, но он не появлялся. Я побоялся остаться один в доме, пошел к соседкам, поведал им обо всем и заночевал там.

Утром к ним явились заимодавцы и начали расспрашивать их о соседе, но без толку. Соседки сказали:

— Вот здесь его слуга, и у него ключ от дверей.

Заимодавцы стали выспрашивать у меня о хозяине, и я ответил, что не знаю, где он может быть, что он не возвращался домой с тех пор, как пошел разменять деньги, и что, думается мне, он обманным образом сбежал и от них и от меня.

Услышав такие вести, заимодавцы отправились за альгвасилом и писцом, вскоре возвратились с ними, взяли ключ, позвали меня, собрали свидетелей, отворили дверь и вошли в наше обиталище, дабы описать имущество моего хозяина для уплаты долгов. Обошли они весь дом и, видя, что он, как я уже рассказывал, совсем пуст, принялись допытываться:

— Где же имущество твоего хозяина? Где его сундуки, ковры и все драгоценности?

— Не знаю, — ответил я.

— Вещи унесены ночью, это ясно, — решили они. — Сеньор альгвасил, возьмите-ка этого паренька — он знает, где все это припрятано.

Тут альгвасил подошел ко мне и, схватив за шиворот, пригрозил:

— Мальчик, ты сядешь в тюрьму, если не скажешь, где спрятано добро твоего хозяина.

Никогда еще не был я в таком положении (впрочем, за воротник меня постоянно держал слепец, но в мирных целях, чтобы я показывал ему дорогу); я перепугался до смерти и со слезами пообещал ответить на все вопросы.

— Хорошо, — согласились они. — Ну, говори все, что знаешь, и не бойся.

Писец сел на скамью, чтобы составить опись, и начал выведывать у меня, чем владел мой хозяин.

– Сеньоры, – начал я, – хозяин мой говорил, что у него очень хорошее поместье и разрушенная голубятня.

– Что ж, – сказали они, – как бы мало это ни стоило, а на долги хватит. В какой части города у него эти угодья?

– На его родине, – ответил я.

– Ей-богу, дело обстоит неплохо! – воскликнули они. – А где же его родина?

– Хозяин говорил, что родом он из Старой Кастилии.

Альгвасил и писец расхохотались.

– Право, этих сведений вполне достаточно, чтобы мы могли взыскать с него ваши деньги, хотя бы за ним числилось еще и побольше, – сказали они заимодавцам,

Тут вмешались соседки:

– Господа, этот ребенок ни в чем не повинен, – объявили они. – Он всего несколько дней служит у этого дворянина и знает о нем не больше, чем ваши милости. Бедняжка часто приходил к нам, и мы его подкармливали, Христа ради, как могли, а на ночь он уходил спать к нему.

Уверившись в моей невиновности, власти отпустили меня и стали требовать с мужчины и со старухи возмещения издержек, из-за чего поднялся у них шум и спор.

Одни утверждали, что они ничего не обязаны платить, ибо не с кого им получить долг, другие же – что они из-за этого потеряли другое дело, поважнее.

Наконец, после долгих пререканий, стражник схватил тюфяк старухи, и хотя то был не великий груз, однако потащили его все пятеро, не переставая кричать.

Не знаю, чем все это дело кончилось; наверное, бедняга тюфяк расплатился за все протори и убытки, тем более что ему давно пора было уйти на покой, вместо того чтобы отдаваться внаем.

Так покинул меня мой злосчастный третий хозяин, и я вновь изведал всю горечь моей судьбины. Действуя во всех случаях против меня, она и здесь так обернула дело, что, хотя обычно слуги удирают от подобных хозяев, мой хозяин сам покинул своего слугу и удрал от него.

Рассказ четвертый

Как Ласаро устроился у монаха ордена Милости и что с ним случилось

Пришлось мне искать четвертого хозяина, и таковым оказался один монах ордена Милости, к которому послали меня упомянутые мною соседки. Они называли его своим родственником. Ярый враг монастырской службы и монастырской пищи, любитель погулять на стороне, заниматься светскими делами и шляться по гостям, он, думается мне, изнашивал больше башмаков, чем весь монастырь, вместе взятый. От него-то я в первый раз в моей жизни и получил башмаки. Башмаки не выдержали больше недели, но и я не мог больше выдержать его беготни, и по этой причине, а также по некоторым другим, о коих не стоит упоминать, я с ним распрощался.

Рассказ пятый

Как Ласаро устроился у продавца папских грамот и что с ним случилось

Пятым моим хозяином судьбе угодно было сделать продавца папских грамот, самого развязного, бесстыжего и ловкого торгаша, которого я когда-либо видел, не надеюсь увидеть в будущем и не думаю, что еще кто-нибудь увидит, ибо он был мастер придумывать разные способы, приемы и весьма ловкие штуки, чтобы сбывать свой товар.

Входя в деревню, он, прежде чем предложить грамоты, одарял клириков и священников разными вещицами не очень большой ценности и значения, как-то: мурсийским латуком, а если позволяло время года, то парочкой лимонов или апельсинов, персиками, парой абрикосов, или же давал всем по одной ранней груше. Такими подношениями он старался ублажить их, чтобы они способство-

вали его торговле и призывали своих прихожан раскупать грамоты.

Вручая подарки, он обыкновенно осведомлялся о степени учености одаряемых. Если они говорили, что знают латынь, то он ни слова по-латыни не произносил, чтобы не попасть впросак, а пользовался складной и размеренной испанской речью и своим развязнейшим языком. Если же он узнавал, что эти священнослужители из числа тех преподобий, что получают места больше за денежки и по рекомендации, чем за ученость, тогда он превращался в какого-то святого Фому и битых два часа болтал по-латыни или, по крайней мере, делал вид, что болтает. Если его грамоты не брали добром, он придумывал средства, чтобы их покупали поневоле, и всячески надувал народ, порой весьма хитроумными способами, а так как рассказывать о всех виденных мною его проделках долго, то я поведаю здесь только об одной, чрезвычайно занятной и ловкой, в которой он выказал все свое хитроумие.

В местечке Сагра, близ Толедо, он проповедовал два или три дня с обычным для него рвением, но у него не купили ни одной грамоты и, на мой взгляд, даже и намерения не имели покупать. Он бесился, ломал голову над тем, что бы ему еще предпринять, и решил созвать народ на другой день утром, чтобы еще раз предложить буллы.

В тот же вечер после ужина он и альгвасил засели за карты и вскоре заспорили и разругались. Он обозвал альгвасила вором, а тот его мошенником. Тогда хозяин мой схватился за копье, стоявшее у дверей, а альгвасил за свою шпагу, висевшую у пояса.

На шум и крики сбежались постояльцы и соседи и стали их разнимать, а они, озлобившись, старались высвободиться и ухлопать друг дружку. Но так как дом был полон народа, сбежавшегося на великий шум, и враги не посмели применить оружия, то они начали осыпать друг друга ругательствами, и альгвасил, между прочим, сказал моему хозяину, что он обманщик и что буллы его подложные.

В конце концов, видя, что усмирить их невозможно, народ увел альгвасила из гостиницы, хозяин же мой остался в весьма злобном расположении духа. Постояльцы и соседи просили его успокоиться и пойти спать. Он так и сделал, и все мы улеглись.

Утром хозяин мой отправился в церковь и велел звонить к обедне, в конце которой он собирался произнести проповедь о пользе булл. Народ собрался и возроптал: буллы-де подложные, сам альгвасил открыл это во время ссоры, и те, кто раньше не имел особой охоты покупать их, теперь и вовсе расхотели.

Проповедник взошел на кафедру и начал воодушевлять народ и убеждать его не лишать себя такого блага и милости, как отпущение грехов, приносимое святой буллой.

В самый разгар проповеди в церковь вошел альгвасил, опустился на колени, сотворил молитву, а затем, поднявшись, громко и внятно повел такую разумную речь:

– Люди добрые, выслушайте меня, а потом слушайте, кого хотите. Я пришел сюда из-за этого надувалы, который вон тут проповедует. Он ввел меня в соблазн и попросил помочь ему в его торговле, пообещав поделиться выручкой. Теперь же, сознав, какой вред принесло бы это моей душе и вашим кошелькам, и раскаявшись в содеянном, я во всеуслышание объявляю вам, что буллы его подложные. Не верьте им, не берите их, а я ни прямо, ни косвенно к ним не причастен и отныне бросаю свой жезл и оставляю службу. Если же когда-нибудь он понесет наказание за свои обманы, будьте свидетелями, что я с ним не заодно и не помогаю ему, а, напротив, предостерегаю вас и объявляю о его злоумышлениях.

На этом он окончил свою речь. Некоторые из находившихся там почтенных людей хотели вытолкать альгвасила из церкви, чтобы избежать скандала, но хозяин мой удержал их и под страхом отлучения велел не трогать его и дать ему выговориться, сам же он в полном молчании выслушал речь альгвасила. Когда тот умолк, хозяин мой спросил его, не намерен ли он добавить еще что-либо к сказанному. Альгвасил ему на это ответил:

– О вас и ваших плутнях можно рассказывать до бесконечности, но пока хватит и этого.

Тогда проповедник мой преклонил колени и, воздев руки и возведя очи горé, воскликнул:

– Господи боже, от тебя ничто не утаится, но все пред тобой обнаружится, для тебя нет ничего невозможного, ты знаешь истину и видишь, сколь неправо я оскорблен. Я, однако ж, прощаю его, ибо ты, господи, прощаешь меня. Отпусти ему, ибо он не ведает, что творит и что говорит. Об одном молю тебя: не оставь оскорбление, нанесенное тебе, безнаказанным, ибо кто-нибудь из присутствующих, решивших приобрести священную буллу, а затем поверивших лживым словам этого человека, может отступиться от своего намерения. А так как этим наносится вред ближнему, то я молю тебя, господи: не оставь поступка его без наказания, яви здесь чудо, и пусть будет так: если правда то, что говорит он о моих обманах и подлогах, то пусть я провалюсь вместе с кафедрой под землю на семь локтей и так там и останусь, а если правда на моей стороне, он же клевещет по наущению дьявола, дабы лишить собравшихся твоего великого блага, да будет он так же точно наказан и обличен в своих злых намерениях.

Едва окончил свое моление благочестивый мой хозяин, как ноги у злобного альгвасила подкосились, и он с таким грохотом повалился на землю, что загудела вся церковь. Он стонал, извергая изо рта пену, корчился, строил гримасы, колотил руками и ногами и катался по полу.

В церкви поднялся столь великий шум и все так громко кричали, что ничего нельзя было разобрать. Иные пребывали в страхе и трепете, иные восклицали: «Спаси его, господи!», иные: «Так ему и надо, в другой раз пусть не лжесвидетельствует!»

Наконец несколько человек, по моим наблюдениям – с великим страхом, приблизились к нему и схватили за руки, коими он наносил мощные удары близ стоящим. Другие усмирили его ноги, а это было нелегко, ибо взбесившийся мул не брыкается так, как брыкался альгвасил. Более пятнадцати человек навалилось на него, и всем им изрядно досталось, а чуть кто, глядишь, зазевался, тому попадало и по зубам.

Все это время хозяин мой пребывал на коленях у кафедры, все так же воздев руки и возведя очи к небу, а душою вознесясь к божеству, так что ни рев, ни шум, ни крики не могли отвлечь его от созерцания.

Добрые люди подошли к нему и, пробудив его своими возгласами, стали просить, чтобы он соизволил помочь несчастному умирающему альгвасилу, забыл о происшедшем и о злобных его речах, ибо тот за них уже поплатился, и из любви к богу избавил альгвасила от страданий и от опасности; они, мол, ясно видят теперь вину альгвасила, а равно и правоту и добросовестность моего хозяина, молитву коего господь услышал, альгвасилу же не замедлил воздать по грехам его и покарать.

Проповедник мой, словно пробудившись от блаженного сна, взглянул на них, посмотрел на преступника и на всех, что стояли вокруг, и торжественно заговорил:

– Добрые люди, вам бы не следовало заступаться за человека, на котором столь явно означился гнев господень, но поелику господь повелевает нам не платить злом за зло, а, напротив, прощать обиды, то мы, уповая на его милосердие, постараемся умолить его простить богохульника. Обратимся же к господу!

Тут он спустился с кафедры и с весьма набожным видом призвал всех помолиться богу, да простит он этого грешника, вернет ему доброе здравие и ясный рассудок и изгонит беса, которому он попустил вселиться в альгвасила за содеянное им великое прегрешение.

Все преклонили колена и вместе с духовенством тихими голосами запели перед алтарем литанию, а хозяин мой, воздев руки к небу и так закатив глаза, что видны были лишь одни белки, произнес столь же пространное, сколь и трогательное слово и заставил расплакаться весь народ, как это бывает обычно с богобоязненными слушателями и проповедником во время проповедей о страстях господ-

них. Он молился не о том, чтобы господь отнял у грешника жизнь, — как раз наоборот: он молился о том, чтобы господь продлил ему век и привел к покаянию, чтобы сей одержимый бесом грешник, проникшись сознанием греховности и устрашенный близостью смерти, принес покаяние, а чтобы господь, видя его чистосердечное раскаяние, простил его и исцелил.

Засим он велел подать ему буллу и возложил ее на голову альгвасила. Грешник тотчас же начал мало-помалу приходить в себя, и, едва лишь вернулся к нему рассудок, он бросился к ногам божьего посланца и признался, что говорил он по наущению дьявола, дабы причинить священнику зло и отомстить за обиду, а главное, дескать, потому он так говорил, что дьявол терпеть не может, когда народ раскупает священные буллы.

Хозяин мой простил его, дружба между ними восстановилась, а торговля буллами пошла так бойко, что почти ни одна живая душа в этом селении не осталась без них, — их брали нарасхват и мужья, и жены, и сыновья, и дочери, и юноши, и девушки.

Весть о случившемся распространилась по окружным деревням, и когда мы прибывали в какую-нибудь из них, не нужно было уже ни проповеди, ни хождения в церковь, — народ сам валом валил в гостиницу, точно это были не буллы, а раздаваемые даром груши, так что в десяти или двенадцати окрестных селениях хозяин мой распродал десять или двенадцать тысяч булл, не произнося никаких проповедей.

Когда хозяин мой разыгрывал все это в храме, я тоже, грешным делом, подивился и всему поверил, как верили и многие другие, но потом, когда он и альгвасил стали при мне смеяться и шутить над этой проделкой, я понял, что все было подстроено моим изобретательным и хитроумным хозяином. Несмотря на свою молодость, я невольно подумал: «На какие только хитрости не пускаются эти плуты, чтобы обманывать простой народ!»

Всего пробыл я у этого пятого моего хозяина около четырех месяцев и изрядно потрудился, он же недурно меня

кормил за счет священников и других духовных особ там, где ему случалось проповедовать.

Рассказ шестой

Как Ласаро устроился у капеллана и что с ним случилось

После этого нанялся я растирать краски к одному мастеру, расписывавшему бубны, и тоже натерпелся всяких бед.

К тому времени я уже подрос, и как-то раз, когда я зашел в собор, некий капеллан взял меня к себе в услужение. В мое ведение поступили осел, четыре кувшина, кнут, и начал я продавать воду по городу. Это была первая ступенька той лестницы, которая должна была привести меня к счастливой жизни, то есть к сытной пище. Каждый день отдавал я моему хозяину тридцать вырученных мараведи, а в субботу работал на себя, остальные же дни недели удерживал в свою пользу все, что мне удавалось выручить сверх тридцати мараведи.

Дела мои шли хорошо, и через четыре года на свои немалые сбережения я сумел уже вполне прилично одеться в подержанное платье. Купил я себе старый бумазейный камзол, поеденный молью казакин с расшитыми и прорезанными рукавами, залатанный плащ и отменную старую шпагу из Куэльяра. И вот, одевшись как подобает порядочному человеку, я тотчас же объявил моему хозяину, что он может забирать своего осла, ибо этим ремеслом я решил больше не заниматься.

Рассказ седьмой

Как Ласаро устроился у альгвасила и что с ним случилось

Распрощавшись с капелланом, устроился я на службу к одному альгвасилу. Прожить мне у него пришлось очень недол-

го, ибо служба эта показалась мне опасной, особенно после того, как однажды ночью меня и моего хозяина заставили спасаться от камней и палок беглые преступники. Хозяину моему, кажется, досталось, но меня они не достигли. На другой же день я отказался от подобного занятия.

Когда же я стал размышлять, какой образ жизни обеспечит мне спокойную и безбедную старость, то господь надоумил меня и наставил на верный путь. По милости друзей и знатных господ все тяготы и затруднения, которые претерпевал я до сих пор, были вознаграждены тем, что я достиг своей цели, а именно — коронной службы, ибо я удостоверился, что никто не преуспевает так в жизни, как те, что на ней состоят.

Я и поныне занимаю все ту же должность, служу богу и вашей милости, и на обязанности моей лежит объявлять о винах, которые продаются у нас в городе, о торгах с молотка и об утерянных вещах. Кроме того, я сопровождаю тех, кто подвергается наказанию по суду, и во всеуслышание объявляю об их преступлениях. Одним словом, говоря попросту, — я городской глашатай.

На этой службе мне повезло, я быстро освоился со своими новыми обязанностями, и теперь почти все дела проходят через мои руки, так что кому надо продать вино или еще что-либо, тот может рассчитывать на прибыль, только если он прибегнет к посредничеству Ласаро с Тормеса.

С течением времени узнав меня поближе и увидев мои способности и добрый нрав, настоятель храма Спасителя, мой покровитель, он же слуга и друг вашей милости, в награду за то, что я объявлял о его винах, решил женить меня на своей служанке. Сообразив, что от такой особы ничего, кроме добра и пользы, мне ожидать нечего, я изъявил согласие, женился — и до сих пор не раскаиваюсь, ибо она женщина добрая, прилежная и услужливая. К тому же я пользуюсь благоволением настоятеля и получаю от него вспомоществование. Так, ежегодно дарит он нам почти целый куль зерна, каждую пасху — мяса, иной раз два каравая или старые штаны, которые он уже не носит. Он заставил

нас снять домик рядом с его жилищем. По воскресеньям и почти каждый праздник мы обедаем у него.

Однако злые языки, в которых никогда не было и не будет недостатка, не дают нам покоя и болтают всякую чепуху — будто бы жена моя ходит к нему убирать покои и готовить обед. Не любо — не слушай, а врать не мешай. Супруга моя не из тех женщин, которых задевают подобные шутки, а хозяин, кроме того, обещал мне кое-что, и, надеюсь, он свое слово сдержит.

Однажды он очень долго беседовал со мною при ней и сказал:

— Ласаро с Тормеса! Кто обращает внимание на болтовню злых языков, тому в жизни не преуспеть. Меня нимало не беспокоят разговоры о том, что жена твоя ходит ко мне... Ручаюсь, что в этом нет никакого ущерба ни для ее, ни для твоей чести. Не придавай же значения пересудам, а придавай значение лишь тому, что непосредственно касается тебя, а именно твоей собственной выгоде.

— Сударь, — ответил я, — в моих правилах следовать добрым советам. Правда, друзья мои говорили мне что-то в этом роде и даже уверяли, будто жена моя, до того как выйти за меня замуж, три раза родила, и, не в обиду вам будь сказано, от вашей милости.

При этих словах супруга моя разразилась такими проклятиями, что я уж думал — дом провалится вместе с нами; потом она заплакала и начала хулить того, кто выдал ее за меня замуж, так что лучше бы мне было помереть прежде, чем эти слова вырвались из моих уст. Мы с хозяином наперерыв принялись уговаривать и увещевать ее, и она прекратила свой плач, как скоро я поклялся, что никогда в жизни не заговорю с ней об этом, а буду радоваться и почитать за благо, что она ходит к нему и днем и ночью, ибо я вполне уверен в ее добродетели. И так мы все трое вновь зажили в мире и согласии.

До сего дня никто из нас не слыхал больше ничего подобного. Когда же я подозреваю, что кто-нибудь собирается сказать нечто о моей жене, я останавливаю его и говорю:

— Послушайте, если вы мой друг, то не говорите ничего такого, что может быть мне неприятно, ибо я не почитаю своим другом того, кто огорчает меня, в особенности если он хочет поссорить меня с моей женой, которую я люблю больше всего на свете и больше себя самого. Благодаря ей господь изливает на меня гораздо больше милостей и щедрот, чем я заслуживаю, и я готов поклясться святым причастием, что она лучшая из всех женщин Толедо. А кто станет мне возражать, с тем я разделаюсь по-свойски!

Мне, разумеется, не возражают, и в доме у меня царят мир и согласие.

Все это случилось в тот самый год, когда победоносный наш император вступил в славный город Толедо и созвал кортесы. Тогда же, как вы, ваша милость, наверное, слышали, здесь были устроены великие торжества.

В это-то самое время я благоденствовал и находился на вершине житейского благополучия.

Франсиско де Кеведо-и-Вильегас

История жизни пройдохи по имени Дон Паблос

Глава I,

в которой повествуется о том, кто такой пройдоха и откуда он родом

Я, сеньор, родом из Сеговии. Отца моего — да хранит его господь бог на небесах! — звали Клементе Пабло, и был он из того же города. Занимался он, как это обычно говорится, ремеслом брадобрея, но, питая весьма возвышенные мысли, обижался, когда его так называли, и сам себя именовал подстригателем щек и закройщиком бород. Говорили, что происходил он из весьма знатной ветви, и, судя по тому, как он знатно пил, этому можно было поверить.

Был он женат на Альдонсе де Сан Педро, дочери Дьего де Сан Хуана и внучке Андреса де Сан Кристобаля. В городе подозревали, что матушка моя была не старой христианкой; сама же она, однако, перечисляя имена и прозвища своих предков, всячески старалась доказать свое святое происхождение. Она была когда-то очень хороша собою и столь знаменита, что в свое время все виршеплеты в Испании изощряли на ней свое искусство. Вскоре после замужества, да и позже, претерпела она великие бедствия, ибо злые языки не переставали болтать о том, что батюшка мой предпочитал вместо трефовой двойки вытаскивать из колоды бубнового туза. Дознались как-то, что у всех, кому он брил бороду, пока он смачивал им щеки, а они сидели с

задранной головой, мой семилетний братец с полнейшей безмятежностью очищал внутренности их карманов. Ангелочек этот помер от плетей, которых отведал в тюрьме. Отец мой (мир праху его) весьма жалел его, ибо мальчишка был таков, что умел пользоваться всеобщим расположением.

За подобные и всякие другие безделицы отец мой был схвачен, но, как мне рассказывали потом, вышел из тюрьмы с таким почетом, что его сопровождало сотни две кардиналов, из которых ни одного, впрочем, не величали вашим высокопреосвященством. Говорят, что дамы, лишь бы взглянуть на него, толпились у окон, ибо отец мой и пешком, и на коне всегда выглядел в равной степени хорошо. Рассказываю я об этом не из тщеславия, ибо всякому хорошо известно, насколько я от него далек.

Мать моя, однако, не пострадала. Как-то я слышал в похвалу ей от старухи, которая меня воспитала, что своими прелестями она околдовывала всех, кто имел с ней дело. Старуха, правда, добавляла, что при упоминании о ней поговаривали о каком-то козле и полетах по воздуху, за что ее чуть было не украсили перьями, дабы она явила свое искусство при всем честном народе. О ней ходили слухи, что она умела восстанавливать девственность, возрождала волосы и возвращала им изначальную их окраску; кто называл ее штопальщицей вожделений, кто костоправом расстроившихся склонностей, а иные попросту худыми прозвищами сводницы и пиявки чужих денежек. Надо было видеть, впрочем, ее улыбающееся лицо, когда она слушала все это, чтобы еще больше почувствовать к ней расположение. Не могу не рассказать коротко о ее покаяниях. Была у нее особая комната, в которую она входила всегда одна и только иной раз вместе со мною, на что я имел право, как ребенок. Комната эта была уставлена черепами, которые, по ее словам, должны были напоминать о смерти, а по словам других — ее клеветников, — возбуждать желание жизни. Постель ее была укреплена на веревках висельников, и она мне это объясняла следующим образом:

— Ты что думаешь? Они у меня заместо реликвий, ибо большинство повешенных спасается.

Родители мои вели большие споры о том, кому из них должен я наследовать в ремесле, но сам я уже с малых лет лелеял благородные замыслы и не склонялся ни к тому, ни к другому. Отец говорил мне:

— Воровство, сынок, это не простое ремесло, а изящное искусство. — И, сложив руки, со вздохом добавлял: — Кто на этом свете не крадет, тот и не живет. Как ты думаешь, почему нас так преследуют альгуасилы и алькальды? Почему они нас то ссылают, то избивают плетьми, то готовы преподнести нам петлю, хотя еще не наступил день нашего ангела и никто о подарках не думает? Не могу я говорить об этом без слез! — И добрый старик ревел, как малое дитя, вспоминая о том, как его дубасили. — Ибо не хотят они, чтобы там, где воруют они сами, воровали бы и другие, кроме них и их прихвостней. От всего, однако, спасает нас драгоценное хитроумие. В юности моей меня часто можно было увидеть в церкви, но, конечно, не потому, что я так уж ревностно прилежал религии. Сколько раз могли бы посадить меня на осла, если б я запел на кобыле! Каялся я в своих грехах только по повелению святой матери нашей церкви, и вот этим путем да моим ремеслом вполне прилично содержал твою матушку.

— Как это так вы меня содержали? — в великом гневе отвечала на это моя мать, опасаясь, как бы я не отвратился от колдовства. — Это я содержала вас, вытаскивала из тюрем благодаря моему хитроумию и помогала вам моими деньгами. Если вы не каялись в своих грехах; так что было тому причиной: ваша ли твердость или те снадобья, которыми я вас поила? Да что тут толковать — вся сила была в моих банках. И не бойся я, что меня услышат на улице, я бы рассказала, как мне пришлось спуститься к вам в тюрьму по дымовой трубе и вытащить вас через крышу.

Она наговорила бы еще всякой всячины — так все это ее разволновало, — не рассыпься у нее, так она размахивала руками, четки из зубов покойников. Я помирил родителей, за-

явив, что непременно хочу учиться добродетели и шествовать по пути благих намерений, для чего они должны определить меня в школу, ибо не умея ни читать, ни писать, нельзя ничего достигнуть. Слова мои показались им разумными, хотя они и поворчали между собой по этому поводу. Мать моя принялась нанизывать свои зубные четки, а отец отправился срезать у кого-то уж не знаю что — то ли бороду, то ли кошелек. Я остался один и вознес благодарение господу богу за то, что сотворил он меня сыном столь склонных и ревностных к моему благу родителей.

Глава II

О том, как я поступил в школу и что там со мной произошло

На другой день уже был куплен букварь и сговорено с учителем. Я отправился в школу. Учитель принял меня с большой радостью, заметив, что я кажусь смышленым и сообразительным. На это я в тот же день, чтобы оправдать его надежды, хорошо выполнил свой урок. Он отвел мне место поблизости от себя, и я почти каждый раз получал отличия за то, что приходил в школу раньше всех, а покидал ее последним, ибо оказывал разные услуги хозяйке — так называли мы супругу учителя. Их обоих я привязал к себе многими любезностями. Они, в свою очередь, мне всячески покровительствовали, что усиливало зависть ко мне у остальных ребят. Я старался подружиться с дворянскими детьми, и особенно с сыном дона Алонсо Коронеля де Суньига — мы вместе завтракали, я ходил к нему играть по праздникам и каждый день провожал его из школы домой. Остальные мальчишки — то ли потому, что я не водился с ними, то ли потому, что казался им слишком надменным, — принялись наделять меня разными прозвищами, намекавшими на ремесло моего отца. Одни звали меня доном Бритвой, другие доном Кровососной Банкой; кто говорил, оправдывая свою зависть, что ненавидит меня за то, что мать

моя выпила ночью кровь у его двух малолетних сестренок, кто уверял, что моего отца приводили в его дом для травли мышей, потому что он кот; одни, когда я проходил мимо них, кричали мне «брысь!», а другие звали «кис-кис!». Кто-то похвастал:

— А я запустил в его мать парочкой баклажан, когда на нее напялили митру.

Всячески, коротко говоря, порочили они мое доброе имя, но присутствия духа я, слава богу, не терял. Я обижался, но скрывал свои чувства и терпел.

Но вот в один прекрасный день какой-то мальчишка осмелился громко назвать меня сыном колдуньи, да еще и шлюхи. За то, что это было сказано во всеуслышание, — скажи он это тихонько, я бы не расстроился, — я схватил камень и прошиб ему башку, а потом со всех ног бросился к матери, прося ее меня укрыть, и обо всем ей рассказал. Она ответила:

— Правильно поступил ты и хорошо себя показал. Зря только не спросил ты его, кто это ему все наговорил.

Услышав это и, как всегда, держась возвышенного образа мыслей, я заметил:

— Ах, матушка, меня огорчает только то, что все это больше пахнет мессой, нежели оскорблением.

Матушка, удивившись, спросила меня, что я этим хочу сказать, на что я ответил, что весьма боюсь, как бы парень этот не выложил мне о ней евангельскую истину, и попросил ее сказать мне честно, могу ли я, по совести, изобличить мальчишку во лжи и являюсь ли действительно сыном своего отца, или же был зачат в складчину многими. Мать моя засмеялась и сказала:

— Ах ты паршивец! Вот до чего додумался! Простака из тебя, пожалуй, не выйдет. Молодец. Хорошо ты сделал, что прошиб ему голову, ибо о подобных вещах, будь это хоть сущая правда, говорить не полагается.

Я был совершенно убит всем этим и решил в кратчайший срок забрать все, что возможно, из дому и покинуть родительский кров, — так стало мне стыдно. Однако я все

утаил. Отец мой отправился к раненому мальчишке, помог ему своими снадобьями и утихомирил, а я вернулся в школу, где учитель сердито встретил меня, но, узнав о причине драки, смягчился, ибо понял, что обижен я был жестоко.

Все это время меня постоянно навещал сын дона Алонсо Коронеля де Суньига, которого звали доном Дьего. Он очень полюбил меня, ибо я всегда уступал ему мои волчки, если они были лучше, угощал его своим завтраком и не просил у него ничего из того, чем лакомился он сам. Я покупал ему картинки, учил его драться, играл с ним в бой быков и всячески его развлекал. В конце концов родители этого дворянчика, заметив, как увеселяло его мое общество, почти всегда просили моих родителей, чтобы они разрешали мне оставаться у них обедать, ужинать и даже ночевать.

Случилось как-то раз, в один из первых учебных дней после рождества, что, увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре – был он, кажется, обращенным евреем, – дон Дьегито сказал мне:

– Слушай, назови его Понтием Пилатом и удирай.

Чтобы доставить удовольствие моему другу, я назвал этого человека Понтием Пилатом. Тот так разозлился на это, что с обнаженным кинжалом бросился за мной вдогонку, намереваясь меня убить. Я был вынужден со всех ног с криком устремиться в дом моего учителя. Понтий Пилат проник туда вслед за мною, но учитель загородил ему путь, дабы тот не прикончил меня, и уверил его, что я тотчас же получу должное наказание; несмотря на просьбы своей ценившей мою услужливость супруги, он велел мне спустить штаны и всыпал двадцать розог, приговаривая при каждом ударе:

– Будешь еще говорить про Понтия Пилата?

Я отвечал «нет, сеньор» на каждый удар, которым он меня награждал. Урок, полученный за Понтия Пилата, нагнал на меня такой страх, что когда на другой день мне было велено читать молитвы перед остальными учениками и я добрался до «Верую» – обратите внимание, ваша милость, как, сам того не чая, я расположил к себе учителя, – то, когда

следовало сказать «распятого же за ны при Понтийском Пилате», я вспомнил, что не должен больше поминать имени Пилата, и сказал: «Распятого же за ны при Понтийском Агирре». Простодушие мое и мой страх так рассмешили учителя, что он меня обнял и выдал мне бумагу, где обязался простить мне две ближайшие порки, буде мне случится их заслужить. Этим я остался весьма доволен.

Наступили – дабы не наскучить вам рассказом – карнавальные дни, и учитель, заботясь об увеселении своих воспитанников, велел нам выбрать петушиного короля. Жребий был брошен между двенадцатью учениками, коих назначил учитель, и выпал он на мою долю. Я попросил родителей раздобыть мне праздничный наряд. Наступил день торжества, и я появился на улице, восседая верхом на тощей и унылой кляче, которая не столько от благовоспитанности, сколько от слабости все время припадала на ноги в реверансах. Круп у нее облез, как у обезьяны, хвоста не было вовсе, шея казалась длиннее, чем у верблюда, на морде красовался только один глаз, да и тот с бельмом. Что касается возраста, то ей ничего другого не оставалось, как сомкнуть навсегда свои вежды, – смахивала она более всего на смерть в конском обличье; вид ее красноречиво говорил о воздержании и свидетельствовал о постах и всяческом умерщвлении плоти; не оставалось сомнения, что она давно раззнакомилась с ячменем и соломой; но то, что казалось в ней особливо смехотворным, было множество проплешин, испещрявших ее шкуру; если бы только к ней приделать замок, она бы выглядела точь-в-точь как оживший сундук. И вот, качаясь из стороны в сторону, как чучело фарисея во время процессии, и сопровождаемый другими разряженными ребятами (я один красовался на коне, между тем как прочие следовали пешком), добрался я – при одном воспоминании об этом меня охватывает страх – до базарной площади и, приблизившись к лоткам зеленщиц (упаси нас от них всевышний!), увидел, что лошадь моя схватила с одного из них кочан капусты и в мгновение ока отправила его себе в утробу, куда тот сразу же и пока-

тился по ее длинному пищеводу. Торговка — а все они народ бесстыжий — подняла крик. Сбежались другие зеленщицы, а вместе с ними всякий сброд, и принялись забрасывать бедного петушиного короля валявшейся на земле огромной морковью, брюквой, баклажанами и прочими овощами. Видя, что началась настоящая битва при Лепанто, которую никак нельзя было вести верхом на коне, я решил спешиться, но скотине моей в это время так дали по морде, что, взвившись на дыбы, она повалилась вместе со мною — стыдно сказать! — прямо на кучу дерьма. Можете себе представить, что тут сталось! Товарищи мои, однако, успели запастись камнями и, начав запускать ими в зеленщиц, ранили двух из них в голову. Я же после своего падения в нужник стал самой что ни на есть нужной персоной в этой драке. Явились слуги правосудия и забрали зеленщиц и мальчишек, прежде всего тех, у кого нашлось оружие, ибо кое-кто повытаскивал висевшие у пояса для пущей важности кинжалы, а кое-кто — и маленькие шпаги. Все это, разумеется, отобрали. Дошла очередь и до меня. Увидав, что при мне нет никакого оружия, ибо я успел спрятать его в соседнем доме, один из стражников спросил, нет ли у меня чего-либо опасного, на что я ответил, что нет ничего, кроме того, что может быть опасно для их носов. Должен признаться, ваша милость, что, когда в меня стали бросать баклажанами и брюквой, я решил, что по перьям на шляпе меня приняли за мою матушку, которую так же в свое время забрасывали овощами. Вот почему по своей ребячьей глупости я и взмолился:

— Тетеньки, хоть на мне и перья, но я не Альдонса де Сан Педро, моя мамаша!

Как будто бы они не видели этого по моему обличью и по моей роже! Страх и внезапность несчастья оправдывают, впрочем, мою растерянность. Что же касается до альгуасила, то он возымел намерение отправить меня в тюрьму, но не сумел этого осуществить, так как меня нельзя было удержать в руках, настолько я был вымазан всякой гнусью. В конце концов одни отправились в одну сторону, другие в

другую, а я добрался до дому, измучив все встречавшиеся мне по пути носы. Дома я рассказал обо всем случившемся своим родителям, и они пришли в такую ярость, что решили меня наказать. Я взвалил всю вину на того несуразного коня, что они сами мне дали, пробовал всячески их ублажить, но, видя, что из всего этого ничего не выходит, удрал из дому и отправился к моему другу дону Дьего. Его я нашел с пробитою головою, а его родителей — исполненных решимости не отпускать больше своего сына в школу. Там я узнал также, что мой конь, очутившись в затруднительном положении, пробовал было разок-другой дрыгнуть ногами, но свернул себе хребет и при последнем издыхании остался лежать на куче навоза.

Видя, что праздник наш пошел кувырком, весь город взбудоражен, родители мои обозлены, друг мой — с пробитой головой, а лошадь издохла, решил я не возвращаться ни в школу, ни в отчий дом, а остаться в услужении у дона Дьего, или, вернее сказать, составить ему компанию, что и было осуществлено, к великому удовольствию его родителей, любовавшихся на нашу детскую дружбу. Я отписал домой, что мне нет больше нужды ходить в школу, ибо, хотя я и не научился хорошо писать, но для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо, что с этого же дня я отрекаюсь от ученья, дабы не вводить их в лишний расход, и от их дома, дабы избавить их наперед от всяческих огорчений. Сообщил им я также, где и в качестве кого я нахожусь и что не явлюсь к ним впредь до их волеизъявления.

Глава III

О том, как я отправился в пансион в качестве слуги дона Дьего Коронеля

В ту пору дон Алонсо надумал определить своего сына в пансион, отчасти — чтобы отдалить его от праздной жизни, отчасти — чтобы свалить с себя всяческие заботы. Разузнал он,

что в Сеговии проживает некий лисенсиат Кабра, занимающийся воспитанием дворянских детей, и направил к нему своего сынка вместе со мною в качестве провожатого и слуги. В первое же воскресенье после поста мы оказались во власти воплощенного голода, ибо нельзя было назвать иначе представшие перед нами живые мощи. Это был похожий на стеклодувную трубку ученый муж, щедрый только в своем росте, с маленькой головкой и рыжими волосами. Глаза его были вдавлены чуть не до затылка, так что смотрел он на вас как будто из бочки; столь глубоко упрятаны и так темны были они, что годились быть лавками в торговых рядах. Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции, был он весь изъеден нарывами — скорее от простуды, нежели от пороков, ибо последние требуют затрат. Щеки его были украшены бородою, выцветшей от страха перед находившимся по соседству ртом, который, казалось, грозился ее съесть от великого голода. Не знаю, сколько зубов у него не хватало, но думаю, что они были изгнаны из его рта за безделье и тунеядство. Шея у него была длинная, как у страуса, кадык выдавался так, точно готов был броситься на еду, руки его болтались как плети, а пальцы походили на корявые виноградные лозы. Если смотреть на него от пояса книзу, он казался вилкой или циркулем на двух длинных и тонких ножках. Походка его была очень медлительной, а если он начинал спешить, то кости его стучали подобно трещоткам, что бывают у прокаженных, просящих милостыню на больницу святого Лазаря. Говорил он умирающим голосом, бороду носил длинную, так как по скупости никогда ее не подстригал, заявляя, однако, что ему внушают такое отвращение руки цирюльника, прикасающиеся к его лицу, что он готов скорее дать себя зарезать, нежели побрить. Волоса ему подстригал один из услужливых мальчишек. В солнечные дни он носил на голове какой-то колпак, источно изгрызенный крысами и весь в жирных пятнах. Сутана его являла собою нечто изумительное, ибо неизвестно было, какого она цвета. Одни, не видя в ней ни шерстинки, принимали ее за лягушечью кожу, другие говорили, что это

не сутана, а обман зрения; вблизи она казалась черной, а издали вроде как бы синей; носил он ее без пояса. Не было у него ни воротничка, ни манжет. С длинными волосами, в рваной короткой сутане, он был похож на прислужника в похоронной процессии. Каждый из его башмаков мог служить могилой для филистимлянина. Что сказать про обиталище его? В нем не было даже пауков; он заговаривал мышей, боясь, что они сгрызут хранившиеся про запас куски черствого хлеба; постель у него была на полу, и спал он всегда на самом краешке, чтобы не снашивать простыней. Одним словом, он являлся олицетворением сугубой скаредности и сверхнищенства.

Во власть этого самого Кабры попали мы с доном Дьего и во власти его остались. Когда мы прибыли, он показал нам нашу комнату и обратился с внушением, которое, во избежание траты времени, длилось недолго. Он объяснил нам, чтó мы должны делать. Все это заняло у нас время до обеденного часа. Потом мы отправились вкушать пищу. Сначала обедали хозяева, а мы им прислуживали. Трапезная занимала помещение в полселемина вместимостью. За каждый стол садилось по пять кавалеров. Я осмотрелся, нет ли где кошек, и, не увидав ни одной, спросил у какого-то старого слуги, худоба которого свидетельствовала о его принадлежности к пансиону, почему их не видно. Он самым жалобным тоном ответил:

— Какие кошки? Кто же вам сказал, что кошки дружат с постами и воздержанием? По вашей дородности видно, что вы еще здесь новичок.

Услыхав это, я пригорюнился и еще больше испугался, когда заметил, что все обитатели пансиона походили на шила, а лица у них точно испытали действие сушащего пластыря. Лисенсиат Кабра уселся и благословил трапезу. Это был обед вечный, ибо он не имел ни начала, ни конца. В деревянных мисках притащили столь прозрачный суп, что, вкушая его, Нарцисс, наверное, рисковал бы жизнью больше, нежели склонившись над чистою водой. Я с тревогой заметил, что тощие пальцы обедающих бросились вплавь

за единственной горошиной, сиротливо лежавшей на дне миски. Кабра приговаривал при каждом глотке:

– Ясно, что нет ничего лучше олья, что бы там ни говорили. Все остальное – порок и чревоугодие.

Окончив эти присловья, он опрокинул посудину себе в глотку и сказал:

– Все это на здоровье телу и на пользу духу!

«Прикончил бы тебя злой дух», – подумал я про себя и вдруг увидел полудуха в образе юноши столь тощего, что, казалось, на блюде с жарким, которое он держал в руках, лежал кусок его тела. Среди кусочков мяса оказалась одна бесприютная брюква.

– Сегодня у нас брюква! – воскликнул лисенсиат. – По мне, ни одна куропатка с нею не сравнится. Кушайте, кушайте, мне приятно смотреть, как вы насыщаетесь!

Он уделил всем по такому ничтожному кусочку баранины, что, сверх оставшегося под ногтями и завязшего в зубах, на долю отлученных от пищи желудков уже ничего не пришлось. Кабра глядел на своих воспитанников и приговаривал:

– Ешьте, ведь вы молодежь! Мне приятно любоваться на вашу охоту к еде.

Посудите, ваша милость, какой приправой были подобные речи для тех, кто корчился от голода!

Обед был окончен. На столе осталось несколько сухих корок, а на блюде – какие-то кусочки шкурки и кости. Тогда наставник сказал:

– Пусть это останется слугам. Им ведь тоже следует пообедать, а нам этого не нужно.

«Разрази тебя господь со всем, что ты съел, несчастный, за эту угрозу моим кишкам!» – сказал я себе.

Лисенсиат благословил обедающих и сказал:

– Ну, дадим теперь место слугам, а вам до двух часов надлежит немножко поразмяться, дабы все съеденное вами не пошло вам во вред.

Тут я не выдержал и захохотал во всю глотку. Лисенсиат весьма разгневался, велел мне поучиться скромности,

произнес по этому случаю две-три древние сентенции и удалился.

Мы уселись, и я, видя, что дела идут не блестяще и что нутро мое взывает к справедливости, как наиболее здоровый и сильный из всех, набросился на блюдо и сразу же запихал себе в рот две корки хлеба из трех, лежавших на столе, и кусочек какой-то кожицы. Сотрапезники мои зарычали, и на шум появился Кабра со словами:

– Делите трапезу как братья, ибо господь бог дал вам эту возможность; не ссорьтесь, ведь хватит на всех.

Затем он пошел погреться на солнышке и оставил нас одних. Смею уверить вашу милость, что там был один бискаец по имени Хурре, который так основательно позабыл, каким образом и чем едят пищу, что, заполучив кусочек, два раза подносил его к глазам и лишь за три приема смог переправить его из рук в рот. Я попросил пить, в чем другие, столь долго постничая, уже не нуждались, и мне дали сосуд с водой. Однако не успел я поднести его ко рту, как у меня выхватил его, точно это была чаша для омовения при причастии, тот самый одухотворенный юноша, о котором я уже говорил. Я встал из-за стола с великим удручением, ибо понял, что нахожусь в доме, где, если уста пьют за здоровье кишок, последние не в силах выпить ответную здравицу, ибо пить им нечего. Тут пришла мне охота очистить утробу, или, как говорят, облегчиться, хотя я почти ничего не ел, и спросил я у одного давнего обитателя сих мест, где находится отхожее место. Он ответил:

– Не знаю; в этом доме его нет. Облегчиться же тот единственный раз, пока вы будете здесь в учении, можете где угодно, ибо я нахожусь тут вот уже два месяца, а занимался этим только в тот день, когда сюда вступил, вот как вы сегодня, да и то потому, что накануне успел поужинать у себя дома.

Как передать вам мою скорбь и муку? Были они таковы, что, приняв в соображение, сколь малое количество пищи проникло в мое тело, я не осмелился, хотя и имел к тому большую охоту, что-либо из себя извергнуть.

Мы проговорили до вечера. Дон Дьего спрашивал меня, как ему надлежит убедить свой желудок, что он насытился, если тот не хочет этому верить. В доме этом столь же часто страдали от головокружений, сколько в других от несварения желудка. Наступил час ужина, ибо полдник миновал нас. Ужин был еще более скудным, и не с бараниной, а с ничтожным количеством того, что было одного имени с нашим учителем, – с жаренной на вертеле козлятиной. И черт не измыслил бы такой муки.

– Весьма целебно и полезно для здоровья, – убеждал Кабра, – ужинать умеренно, дабы не обременять желудок лишней работой.

И по этому поводу цитировал целую вереницу чертовых докторов. Он восхвалял воздержание, ибо оно избавляет от тяжелых снов, зная, конечно, что под крышей его дома ничто иное, чем жратва, не могло и присниться. Подали ужин, мы отужинали, но никто из нас не поужинал.

Отправились спать. Всю ночь, однако, ни я, ни дон Дьего не могли заснуть. Он строил планы, как бы пожаловаться отцу и попросить вызволить его отсюда, я же всячески советовал ему эти планы осуществить, хотя под конец и сказал:

– Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? Мне вот сдается, что в побоище с зеленщицами нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище. Имеет ли смысл просить вашего батюшку спасать нас отсюда, если кто-нибудь не вымолит нас молитвами и не вызволит за обедней у какого-нибудь особо почитаемого алтаря?

В таких разговорах и в кратком сне минула ночь, и пришло время вставать. Пробило шесть часов, и Кабра призвал нас к уроку. Мы пошли и приступили к ученью. Зубы мои покрывал налет, цвет его был желтый, ибо он выражал мое отчаяние. Велено было мне громко читать начатки грамматики, а я был столь голоден, что закусил половиною слов, проглотив их. Чтобы поверить всему этому, надо было послушать, что рассказывал мне слуга Кабры. Говорил он, что как-то на его глазах в дом этот привели двух фрисландских

битюгов, а через два дня они уже стали так легки на бегу, что летали по воздуху. Привели столь же здоровых сторожевых псов, а через три часа из них получились борзые собаки. Как-то раз, по его словам, на страстной неделе у дома Кабры сошлась и долго толкалась куча народа, из которой одни пытались просунуть в двери свои руки, другие – ноги, а третьи старались и сами пролезть внутрь. Кабра очень злился, когда его спрашивали, что это означает, а означало это, что из собравшихся одни страдали коростой, другие зудом в отмороженных местах и надеялись, что в этом доме болезни перестанут их разъедать, так как излечатся голодом, ибо им нечего будет грызть. Уверял он меня, что все это истинная правда, а я, узнав порядки в этом доме, охотно всему поверил и передаю вам, дабы вы не усомнились в правдивости моего рассказа. Но вернемся к уроку. Кабра читал его, а мы повторяли его за ним хором. Все шло дальше тем же порядком, который я вам описал, только к обеду в похлебку добавили сала, потому что кто-то когда-то намекнул ему, что таким способом он докажет, что он из благородных.

А добавка эта делалась таким образом: была у Кабры железная коробочка, вся в дырках, вроде перечницы. Он ее открывал, запихивал туда кусочек сала, снова закрывал, а потом подвешивал на веревочке в варившейся похлебке, дабы через дырки просочилось туда немного жиру, а сало осталось бы до другого раза. Все же это показалось ему в конце концов расточительным, и он стал опускать сало в похлебку лишь на один миг.

Можно представить себе, как существовали мы в таких обстоятельствах. Мы с доном Дьего дошли наконец до крайности и, не найдя ни одного способа насытиться, придумали не вставать утром с наших кроватей и решили сказываться больными, но только не лихорадкою, ибо при отсутствии ее обман наш легко мог быть обнаружен. Головная боль или боль зубная мало чему могли помочь, так что в конце концов мы заявили, что у нас болят животы и что вот уже три дня мы не можем никак облегчить их. Мы бы-

ли уверены, что Кабра, скупясь на трату двух куарто, лечением нашим не займется. Дьявол, однако, устроил все иначе, ибо у Кабры оказалась клизопомпа, унаследованная им от отца, который был аптекарем. Узнав о нашем недомогании, он приготовил нам промывательное, а затем призвал семидесятилетнюю старуху, свою тетку, служившую ему сиделкой, и велел ей поставить нам несколько клизм.

Начали с дона Дьего. Бедняга весь скрючился, и старуха, вместо того чтобы влить содержимое внутрь, разлила все это между его сорочкой и спиной до самого затылка, так что то, что должно было быть начинкой; стало подливой. Юноша поднял крик, явился Кабра и, увидев, в чем дело, велел сначала взяться за меня, а потом уже вернуться к дону Дьего. Я сопротивлялся, но это не помогло. При содействии Кабры с помощниками, которые меня держали, старуха поставила мне клизму, содержимое коей, впрочем, я тут же вернул ей прямо в лицо. Кабра разозлился на меня и пообещал выгнать из своего дома, ибо убедился, что все это были только плутни. Я молил бога, чтобы он в гневе своем дошел до этого, но судьба моя сего не захотела.

Мы пожаловались дону Алонсо, но Кабра сумел его уверить, что мы говорим все это, только чтобы не учиться в пансионе. Поэтому мольбы наши остались тщетными. Старуху Кабра взял к себе в дом готовить еду и прислуживать воспитанникам, а слугу рассчитал, потому что утром в одну из пятниц обнаружил у него на камзоле хлебные крошки. Один господь ведает, чего мы натерпелись с этой старухой. Была она так глуха, что можно было охрипнуть, втолковывая ей что-либо, и к тому же почти совершенно слепа. Молилась она не переставая, и в один прекрасный день четки ее порвались над обеденным котлом. Таким образом, нам был подан самый благочестивый суп, какой только приходилось вкушать мне в жизни. Одни недоумевали:

— Что это? Никак черный горох? Видно, его привезли из Эфиопии.

Другие потешались:

— Горох в трауре? Кто же это у них помер.

Хозяину моему одно из этих зернышек попало в рот, и, пробуя его раскусить, он сломал себе зуб. По пятницам старуха угощала нас яичницами со своими сединами, так что яичницы эти могли выдавать себя за коррехидоров или адвокатов. Взять угольную лопатку вместо разливательной ложки и подать на стол бульон с угольями было для нее самым обычным делом. Тысячи раз находил я в похлебке каких-то червей, щепки и паклю, которую она трепала. Все это шло в пищу, чтобы потом пробраться в наш желудок и наполнить его.

Муки эти терпели мы до великого поста. Наступил пост, и в самом начале его захворал один из наших товарищей. Кабра, боясь лишних расходов, воздерживался звать доктора до тех пор, пока больной, уже ни о чем другом не думая, стал молить об отпущении грехов. Тогда был призван какой-то лекарь, который пощупал его пульс и заявил, что голод перехватил у него случай умертвить этого человека. Больному поднесли причастие, и бедняга, увидав его, сказал, хотя уже целые сутки как потерял дар слова:

— Господи Иисусе Христе, только теперь, когда я вижу, что ты посетил сей дом, я начинаю верить, что нахожусь не в аду.

Слова эти запечатлелись в моем сердце. Бедняжка умер, мы его весьма бедно похоронили, так как был он приезжий, и остались в крайнем угнетении духа. В городе пошли толки об этом мрачном деле и наконец достигли ушей дона Алонсо Коронеля, а так как у него был только один сын, то он разуверился в обманчивых речах Кабры и стал питать больше доверия к доводам двух теней, в которые мы превратились в нашем бедственном положении. Он явился забрать нас из пансиона, и когда мы перед ним предстали, то все еще вопрошал, куда же мы девались. Разглядев нас и не спрашивая больше ни о чем, он последними словами обругал лисенсиата-постника и велел доставить нас домой в портшезах. Мы попрощались с товарищами, и те, провожая нас своими взглядами и помыслами, горевали так, как

горюют остающиеся в алжирском плену, видя, как их покидают выкупленные тринитариями собратья.

Глава IV

О нашем выздоровлении и о том, как мы отправились учиться в Алькала-де-Энарес

Доставили нас в дом дона Алонсо и с особой осторожностью, дабы не рассыпались наши кости, изглоданные голодом, уложили в кровати. Были позваны сыщики, что бы найти на наших лицах глаза, которых у меня — так как трудиться мне приходилось больше, а голод был совсем невообразимым, ибо я жил на положении слуги, — долгое время так и не могли обнаружить. Явились врачи и велели первым долгом лисьими хвостами вычистить пыль, набившуюся нам в рот, как это делают с алтарными статуями, и в самом деле мы весьма и весьма смахивали на аллегорическое изображение страдания; затем было предписано кормить нас всякими вытяжками и мясными соками. Кто может представить себе, какие плошки зажгли на радостях наши кишки при первом глотке миндального молока и при первом куске дичи! Все это для них ведь было новостью. Врачи приказали в течение девяти дней не разговаривать громко в нашей комнате, так как пустота наших желудков откликалась, как эхо, на каждое произнесенное слово. Благодаря этим и прочим предосторожностям стали мы понемногу приходить в себя и обретать дыхание жизни; но челюсти наши от слабости и долгого бездействия разучились открываться и закрываться, а кожа на них стала дряблой и покрылась морщинами, и поэтому велено было каждый день растирать их ручкой пестика от ступки. Через сорок дней начали мы кое-как шевелить ногами, но все еще больше походили на тени других людей, а желтизной и худобой своей напоминали святых пустынников. Целые дни мы посвящали молитве и благодареньям бога за то, что он избавил нас

от плена, моля его не допустить, чтобы еще какой-нибудь христианин попал в зверские лапы жесточайшего Кабры. Если же за едою иной раз случалось нам вспомнить о столовании в проклятом пансионе, голод наш столь увеличивался, что это сразу отражалось на дневных расходах. Часто мы повествовали дону Алонсо, как, садясь за стол, Кабра распространялся о грехе чревоугодия, не ведая его сам никогда в своей жизни. Дон Алонсо от души смеялся, когда мы рассказывали, как тот применял заповедь «не убий» к куропаткам, каплунам и ко всему тому, чем он не хотел нас кормить, а заодно и к голоду, ибо, судя по тому, как он преуменьшал и сводил на нет наше питание, он почитал великим грехом не только заморить его, но и нанести ему какой бы то ни было ущерб.

Так прошло три месяца, и наконец дон Алонсо надумал отправить своего сына учиться в Алькала всему тому, чего недоставало ему в знании грамматических наук. Он спросил меня, поеду ли я с ним, я же, мечтая только о том, чтобы скорее покинуть места, где можно было услыхать имя ненавистного гонителя наших желудков, обещал служить его сыну так, как он в этом не замедлит убедиться. Кроме того, к нему был приставлен еще один слуга, вроде домоправителя, дабы ведать хозяйством и вести счет расходу денег, кои нам были вручены в форме приказов на имя некоего Хулиана Мерлусы. Наши пожитки мы погрузили на телегу какого-то Дьего Монхе; пожитки эти состояли из хозяйского ложа, из двух складных кроватей — моей и второго слуги, которого звали Томасом Барандой, далее — пяти матрацев и восьми простынь, восьми подушек, четырех ковров, сундука с бельем и прочего домашнего скарба. Сами мы разместились в карете и тронулись в путь вечерком, за час до наступления темноты, а немного за полночь добрались до навеки проклятого постоялого двора в Виверосе. Хозяин его был мориск и вор. Никогда еще в жизни не приходилось мне видеть собаки и кошки, живущих в столь полном согласии, как в эту ночь. Встретил он нас весьма торжественно и вместе с возницами при нашем багаже, с

которыми успел договориться, ибо багаж наш прибыл за полчаса до нас, так как мы ехали тихо, приблизился к карете, подал мне руку, чтобы помочь сойти с подножки, и осведомился, не еду ли я учиться. Я ответил ему, что еду. Он провел меня в свое заведение, где уже находились две жульнического вида личности, какие-то подозрительные девицы, священник, бормотавший молитвы, принюхиваясь к еде, старый и скупой купец, размышлявший о том, как бы ему позабыть поужинать, и два нищих студента, изыскивающие способ, как бы что перехватить за чужой счет. Барин мой, войдя в харчевню, по неопытности своих молодых лет объявил во всеуслышание:

– Сеньор хозяин, подайте, что там у вас имеется для меня и для моих слуг.

– Все мы слуги вашей милости, – немедленно откликнулись двое проходимцев, – и будем за вами ухаживать. Ну-ка, хозяин! Этот кабальеро отблагодарит вас за все услуги, очищайте-ка вашу кладовку!

Сказав это, один из них подошел к дону Дьего, снял с него плащ, разостлал его на скамье и пригласил:

– Отдохните, ваша милость, сеньор мой.

От всего этого у меня закружилась голова, и я почувствовал себя хозяином постоялого двора. В это время одна из нимф воскликнула: – Как миловиден этот кавалер! Сразу видно, что он дворянин. Он едет учиться? А вы, ваша милость, его слуга?

Я ответил им, что так оно и есть и что я и Баранда – действительно слуги этого кабальеро. Они полюбопытствовали узнать его имя, и не успел я его произнести, как к дону Дьего подскочил один из студентов и, чуть не рыдая, заключил его в самые крепкие объятия со словами:

– О сеньор мой, дон Дьего! Кто бы сказал мне, что через десять лет узрю я вас таким, как сегодня! Несчастный я человек, ведь вы-то меня никак уж не узнаете!

Дон Дьего был поражен, да и я также. Оба мы могли поклясться, что отроду его не видели. Другой его товарищ, всмотревшись в дона Дьего, обратился к своему приятелю:

– Это не тот ли сеньор, об отце которого вы столь много мне рассказывали? Велико же ваше счастье повстречать и узнать его, хоть он так вырос, дай ему бог доброго здоровья!

Тут он начал креститься. Кто бы не поверил им, что они действительно были свидетелями наших детских лет? Дон Дьего отнесся к нему с величайшей любезностью. Пока он осведомлялся о его имени, появился хозяин, разостлал скатерть и, учуя в воздухе какое-то мошенничество, сказал:

– Погодите со всем этим! Успеете наговориться и после ужина, а то все простынет.

Тут один из бродяг подал всем стулья, а дону Дьего придвинул кресло. Другой притащил блюдо с едою. Студенты заявили:

– Ужинайте, ваша милость, а мы, пока нам приготовят, что там найдется, будем вам прислуживать за столом.

– Боже мой! – воскликнул тут дон Дьего. – Садитесь и вы, сеньоры, и угощайтесь.

На это приглашение поспешили откликнуться оба проходимца, хотя к ним никто и не обращался:

– Сейчас, сеньор, как только все будет готово!

Видя, что одни были приглашены, а другие пригласили себя сами, я расстроился и стал опасаться того, что в конце концов и произошло, ибо студенты, принявшись за салат, которого была подана порядочная порция, взглянули на моего хозяина и сказали:

– Не подобает дамам оставаться без угощения в присутствии столь знатного кабальеро. Прикажите и им подать чего-нибудь.

Дон Дьего, разыгрывая из себя учтивца, попросил к столу и дам. Те подсели и вместе с двумя студентами вскоре оставили на блюде только одну сердцевинку кочешка, который и достался на закуску дону Дьего. Подавая ему этот огрызок, проклятый студент заметил:

– У вашей милости был дедушка, дядя моего отца, который при виде латука падал в обморок. Что за превосходный был человек!

Сказав это, он похоронил в своей пасти целую булку, а его приятель — другую. Шлюхи же тем временем разделывались с хлебом, но кто больше всего пожирал, так это священник, — правда, только глазами. Тут за стол уселись бродяги, прихватив половину зажаренного козленка, два хороших куска свинины и парочку вареных голубков.

— А вы, отче, чего сидите в сторонке? — обратились они к священнику. — Подвигайтесь к нам и пользуйтесь. Наш благодетель дон Дьего всем нам оказывает свою милость.

Не успели они это сказать, как священник уже оказался за столом. Дон Дьего, видя, как распоряжаются на его счет, забеспокоился. Они разделили между собой всю еду, а ему оставили косточки да крылышки. Остальное проглотили священник и вся компания. Бродяги еще приговаривали:

— Не кушайте так много, сеньор, чтоб не было вам худо.

А чертов студент добавлял:

— В особенности надо привыкнуть мало кушать для жизни в Алькала.

Мы с Барандою молили бога внушить им хоть что-нибудь оставить на нашу долю. Когда же все было уничтожено и священник обсасывал косточки с чужих тарелок, один из жуликов спохватился и воскликнул:

— Ах, грех какой! Мы ведь ничего не оставили слугам! Идите скорее сюда, а вы, сеньор хозяин, подайте им, что у вас найдется.

Тут мгновенно подскочил к нему проклятый родственник моего барина — я имею в виду студента — и сказал:

— Простите меня, ваша милость, сеньор идальго, но вы мало смыслите в вежливом обращении. Видно, вы плохо знаете моего двоюродного брата. Он сам угостит своих слуг, как угостил бы и наших, если бы у нас таковые были. — И, обратившись к остолбеневшему дону Дьего, добавил: — Не сердитесь, ваша милость, что они так мало вас знают.

Видя столь великое притворство, я про себя осыпал их бесконечными проклятиями.

Столы были убраны, и все начали упрашивать дона Дьего ложиться спать. Он хотел рассчитаться за ужин, но его

уверили, что на это хватит времени и утром. Потом они немного поболтали. Дон Дьего спросил, как зовут студента, и тот ответил, что его зовут Педро Коронелем. Пусть в адском огне горит этот обманщик, где бы он ни оказался! Увидав спящего купца, он предложил:

— Хотите позабавиться, ваша милость? Давайте сыграем какую-нибудь шутку с этим старичком. За всю дорогу он скушал только одну грушу, а сам ведь богатейший человек.

Бродяги одобрили:

— Ловко придумано, сеньор лисенсиат, так ему и надо!

Тогда студент подкрался к незадачливому старику, который продолжал спать, и вытянул у него из-под ног ковровый мешок. Развязав его, он обнаружил коробку и, как если бы это был военный трофей, подозвал всех присутствующих. Мы подошли и, когда коробка была открыта, увидели, что в ней полно подслащенного крахмала. Студент вытащил весь крахмал, сколько его там было, а вместо него наложил камней, деревяшек и всего что подвернулось под руку. Потом он туда опорожнился, поверх этой гадости положил еще несколько кусочков штукатурки, закрыл коробку и сказал:

— Это еще не все, у него есть и бурдючок!

Выпустив из бурдюка вино, он, распотрошив одну из подушек нашей кареты, набил его шерстью и паклей, полил все это вином и снова закрыл. После этого все разошлись, чтобы поспать оставшийся часок. Студент, запрятав коробку и бурдюк обратно в ковровый мешок и засунув старику в капюшон дорожного плаща огромный камень, отправился тоже на боковую.

Наступил час отъезда, все проснулись, а старик все еще спал. Его разбудили, но он никак не мог поднять свой плащ. Пока он рассматривал, в чем дело, хозяин напустился на него с криком:

— Черт возьми! Ничего другого не нашли вы подхватить, кроме этого камня! Что бы со мною было, господа, если бы я этого недоглядел! Ведь я ценю этот камень дороже, чем в сто дукатов, потому что он помогает от болей в желудке!

Старик клялся и божился, что он вовсе и не прятал этот камень в свой плащ.

В это время жулье подвело итог, и получилось у них шестьдесят реалов. Такой суммы не смог бы насчитать и сам Хуан де Леганес. Студенты сказали:

— Ничего. Мы будем служить вашей милости в Алькала.

Счет этот привел нас в ужас. Мы закусили кое-чем, а старик взял свои мешки и, дабы не было видно, что он оттуда вытаскивает, и не пришлось бы ни с кем делиться, развязал их украдкой под плащом, схватил перемазанный калом кусочек штукатурки, отправил его в рот и стал жевать своими полутора оставшимися зубами, чуть-чуть их не сломав. Тут он начал плеваться и строить гримасы от боли и омерзения. Все мы кинулись к нему, первым же приблизился священник и спросил, что с ним приключилось. Старик стал припоминать сатану и бросил свои мешки. К нему подошел один из студентов и сказал:

— Изыди, сатана! Крест перед тобою!

Другой студент раскрыл молитвенник. Старика пытались уверить, что он одержим бесом, и в конце концов уверили настолько, что он сам это признал, а затем попросил позволения промочить горло. Получив разрешение, он вытащил свой бурдюк, открыл его и налил в стаканчик немного вина, но оно выдавилось из бурдюка столь волосатым благодаря шерсти и пакле, что пить его было невозможно. Тогда старик совсем потерял терпение, но, увидав вокруг себя корчившиеся от смеха лица, почел за благо промолчать и забраться в повозку вместе с бродягами и женщинами. Студенты и священник взгромоздились на осла, а мы разместились в карете. Не успели мы тронуться в путь, как на нас посыпались насмешки и всякие задиристые словечки.

Хозяин постоялого двора сказал:

— Сеньор новичок, еще немного такой выучки, и вы наберетесь ума.

Священник добавил:

— Я священник и рассчитаюсь с вами обеднями.

Проклятый студент орал во всю глотку:

— Сеньор двоюродный братец, в другой раз почесывайтесь тогда, когда вас кусают, а не после!

Другой же студент присовокупил:

— Желаю вам подхватить чесотку, дон Дьего!

Мы делали вид, что не обращаем на это никакого внимания, но один бог знает, как мы были злы.

Наконец после таких происшествий добрались мы до Алькала, остановились в гостинице и весь день — мы прибыли в девять часов утра — подсчитывали стоимость вчерашнего ужина. Но так и не могли разобраться в наших расходах.

Глава V

О поступлении в университет, о поборах и о тех насмешках, что достались мне там, как новичку

До наступления сумерек мы перебрались из гостиницы на снятую для нас квартиру, которая находилась за воротами Сант-Яго, где кишмя кишело студентами, хотя до нас в нашем доме их поселилось только двое. Хозяин наш оказался из числа тех, что веруют в господа бога из учтивости или по лицемерию. Зовут таких людей морисками, и урожай на них весьма велик, как и на тех, у кого чрезмерно длинные носы, непригодные только к нюханью свинины. Говорю я все это, отдавая в то же время должное знатным людям, коих в том городе, конечно, весьма много. Принял меня поэтому хозяин с такой недовольной рожей, точно я был святым причастием. Сделал ли это он, дабы внушить нам с самого начала почтение, или же потому, что так свойственно всем ему подобным, ибо приходится иметь дурной нрав, если держишься дурной веры, — не знаю. Мы разложили наши пожитки, устроили себе постели и все прочее и всю ночь проспали. Наступило утро, и тут-то все проживавшие в нашем доме студенты прямо в сорочках явились требовать патента у моего хозяина. Он, не понимая, в чем дело,

спросил меня, что им нужно, а я тем временем, во избежание всяких случайностей, устроился между двумя матрацами и лишь чуть-чуть высунул из-под них голову, что делало меня похожим на черепаху. Студенты попросили две дюжины реалов; по получении же таковых они подняли дьявольский гомон.

— Да здравствует наш товарищ, и да будет он принят в наше содружество! — вопили они. — Пусть он пользуется всеми привилегиями и преимуществами старого студента, да нападет на него чесотка, да ходит он весь в коросте, да терпит он голод, как и мы все!

После этого — изволите видеть, какие это были привилегии! — студенты вихрем спустились с лестницы, а мы тотчас же оделись и пошли в университет.

Барина моего сразу взяли под свое покровительство несколько стипендиатов, знакомых его отца, и он отправился в свою аудиторию, а я, вынужденный начать свое учение на другом курсе и почувствовав себя одиноким, начал дрожать от страха. Вошел я во двор и не успел еще сделать первый шаг, как все студенты заметили меня и закричали: «Вот новичок!» Дабы скрыть свое смущение, я стал смеяться, но это не помогло, ибо человек десять студентов подошли ко мне и тоже начали смеяться. Тут мне пришлось — дай бог, чтобы это было в первый и последний раз! — покраснеть, ибо один из студентов, стоявший рядом со мной, вдруг зажал себе нос и, удаляясь, воскликнул:

— Видно, это Лазарь и собирается воскреснуть, так от него воняет!

Тогда все стали от меня отходить, затыкая себе носы. Я, думая спасти свою шкуру, также зажал себе рукою нос и заметил:

— Ваши милости правы: здесь очень скверно пахнет.

Это их весьма рассмешило, и они, отойдя от меня, собрались числом чуть не до сотни. Они заметно наглели и, видимо, готовились к атаке. По тому, как они харкали, открывали и закрывали рты, я понял, что это готовятся мне плевки.

Тут какой-то простуженный ламанчец атаковал меня страшнейшим плевком, присовокупив:

— Начинаю!

Видя свою погибель, я воскликнул: «Клянусь богом, у...». Не успел я произнести: «...бью!», как на меня посыпался такой дождь, что слов моих я не мог докончить. Плевки у иных были так полновесны, что можно было подумать, будто они извергают на меня свою склизкую требуху; когда же у других во рту иссякала влага, они прибегали к займу у своих ноздрей и так обстреливали меня, что плащ мой гремел, как барабан. Я закрыл лицо плащом, и он вскоре стал белым, как яблоко на мишени; в него они и метили, и надо было видеть, с какой ловкостью попадали в цель. Меня словно снегом облепило, но тут один пакостник, заметив, что лицо мое было защищено и еще не успело пострадать, подскочил ко мне, восклицая с великим гневом:

— Довольно плевать! Не убейте его!

Я и сам опасался этого и освободил из-под плаща голову, чтобы осмотреться. В тот же миг злодей, припасший в утробе своей добрый снаряд, обернулся ко мне тылом и залепил его прямо мне в глаза. Судите же теперь о моем несчастном положении! Тут вся орава подняла такой адский крик, что голова у меня пошла кругом. Судя по тому, что они извергли на меня из своих животов, я полагаю, что, дабы не входить в изъян на лекарей и аптекарей, они ждали новичков, чтобы принять слабительное. Но и это показалось им недостаточным. Они захотели наградить меня еще и подзатыльниками. Но некуда было им меня ударить, иначе мучители мои рисковали перенести себе на руки половину украшений моего плаща, за мои грехи из черного ставшего белым.

В конце концов они оставили меня. Еле-еле добрался я до своего дома. К счастью, дело было утром, и навстречу мне попалось только двое-трое мальчишек, видимо не лишенных благородства, ибо они хлестнули меня только пять-шесть раз жгутами и пошли себе дальше. Я вошел в дом, и мориск, увидев меня, стал хохотать и делать вид, точно собирается тоже плюнуть. Убоявшись, я сказал ему:

– Смотрите, хозяин, я ведь не Ecce homo![1]

Ни в коем случае не должен был я это говорить, тогда он не обрушил бы мне на плечи несколько весьма ощутительных ударов гирями, которые были у него в руках. С этим поощрением я почти бездыханный взобрался по лестнице и потерял немало времени, прежде чем нашел в себе силы снять плащ и сутану. Наконец я освободился от них, швырнул их сушиться на крышу, а сам повалился на кровать. Вернулся мой хозяин. Он понятия не имел о тошнотворном приключении со мною и, видя, что я сплю, разозлился и принялся так сильно и стремительно таскать меня за волосы, что еще немного – и я проснулся бы лысым. С криком и жалобными стонами вскочил я с кровати, а он еще в большем гневе обратился ко мне:

– Хорошо же ты служишь мне, Паблос! Теперь ведь у нас другая жизнь.

Услыхав, что у нас другая жизнь, я решил, что уже умер, и ответил:

– Хорошо же вы меня жалуете, ваша милость, после всех моих несчастий! Посмотрите, что сталось с моей сутаной и плащом, которые служили носовыми платками бóльшим носам, чем были когда-либо виданы во время процессии на страстной неделе. И взгляните еще на мою спину.

Тут я заревел. Видя мои слезы, дон Дьего поверил им, найдя сутану, рассмотрел ее, проникся ко мне состраданием и сказал:

– Паблос, смотри в оба и не зевай. Береги сам себя, ибо нет здесь у тебя ни папаши, ни маменьки.

Я рассказал ему, как все было. Он велел мне раздеться и отправиться в мою комнату, где жило четверо хозяйских слуг.

Я лег, выспался, а к вечеру, хорошо пообедав и поужинав, почувствовал себя столь крепким, как будто бы ничего не произошло.

1 Се человек! (*лат.*)

Стоит, однако, разразиться над кем-нибудь несчастью, как оказывается, что бедам нет конца, ибо следуют они одна за другой, точно звенья цепи.

Слуги явились ложиться спать и, поздоровавшись со мною, осведомились, не болен ли я часом, что лежу в кровати. Я рассказал им о случившемся, и они тут же, как будто не замышляя ничего дурного, начали креститься.

– Даже у лютеран такого не приключилось бы! – говорили они. – Экая пакость!

Кто-то из них заметил:

– Ректор виноват, что не прекращает таких безобразий. А вы узнали бы виновных?

Я отвечал, что нет, и поблагодарил их за сочувствие. Тем временем они разделись, улеглись, погасили свет; я заснул и увидел во сне, что нахожусь с отцом и братьями.

Было часов двенадцать ночи, когда один из слуг разбудил меня, изо всех сил вопя:

– Убивают, убивают! Разбойники!

По его кровати в это время кто-то как будто ударял хлыстом. Я поднял голову и спросил:

– Что там такое?

Стоило мне только немного высунуться из-под одеяла, как по моей спине стала гулять здоровенная, точно плетка с хвостами, веревка. Я застонал, хотел подняться, другой слуга тоже стонал, а били меня одного.

– Правый боже! – кричал я, но удары сыпались на меня столь часто, что мне – покрывало с меня стащили – оставался один путь к спасению: забраться под кровать.

Так я и сделал, и вслед за тем остальные трое слуг тоже принялись вопить, а коль скоро все еще были слышны удары плетьми, то я решил, что это кто-то чужой явился и разделывается со всеми нами. В это время мой проклятый сосед забрался ко мне на кровать, нагадил в нее, прикрыл все это покрывалом и вернулся восвояси. Удары прекратились, все четверо, сердито ворча, выскочили из постелей и начали ругаться:

– Что за безобразие! Это нельзя так оставить!

Я все еще лежал под кроватью, скуля, как собака, попавшая между дверьми, и скрючившись, точно борзая в судорогах. Соседи мои сделали вид, что закрыли двери, я выбрался из моего прибежища и улегся на кровать, осведомившись, не причинили ли им какого-либо зла. Все они отчаянно стонали.

Я устроился поудобней, завернулся в одеяло и снова заснул, а так как во сне поворачивался с боку на бок, то, проснувшись, оказался по горло в нечистотах. Когда все поднялись, я под предлогом полученных побоев решил не одеваться. Вряд ли нашлась бы даже дьявольская сила, которая сдвинула бы меня тогда с места. Мне было стыдно, что ненароком, от страха и смущения, я, сам того не заметив, во сне сотворил подобную гадость. В общем, я чувствовал себя и виноватым, и невиновным и не знал, как мне оправдаться. Товарищи мои подошли ко мне и, время от времени притворно морщась от боли, с самым участливым видом стали расспрашивать о моем здоровье. Я отвечал, что чувствую себя совсем плохо, ибо меня здорово избили. Пробовал я разузнать у них, что бы это такое могло быть, и они отвечали:

– Он от нас не удерет. Нам на него укажет математик. Пока оставим это в покое, а теперь давайте посмотрим, не ранены ли вы: уж что-то здорово вы стонали.

Говоря так, они начали стягивать с меня простыню в намерении совсем меня осрамить. В это время появился дон Дьего со словами:

– Что же это такое, Паблос? С тобой нет сладу. Уж восемь часов, а ты все валяешься. Вставай сейчас же, черт тебя побери!

Все остальные, дабы еще больше меня надуть, рассказали дону Дьего обо всем происшедшем и просили разрешить мне еще поспать. Один из них заметил:

– Если твой хозяин не верит, поднимись, Паблос! – и начал стаскивать простыню.

Я уцепился за нее зубами, дабы не обнаружить скрытой под ней мерзости. Видя, что со мной не справиться, один из слуг воскликнул:

– Черт возьми! Ну и вонь же здесь!

Дон Дьего сказал то же самое, и это была сама истина. Тут они стали смотреть, не забыли ли в комнате ночной горшок, иные уверяли, что этого не может случиться, и наконец кто-то из слуг заметил:

– Ничего себе положение для людей, которым учиться надо!

Осмотрели постели, убрали их, чтобы проверить, что под ними, наконец сказали:

– Это, верно, под кроватью у Паблоса. Перенесем-ка его на одну из наших постелей и посмотрим.

Видя, что спасения нет и что мне не вырваться из их когтей, я прикинулся, будто бы у меня сердечный припадок, уцепился за кровать и стал корчить рожи. Они же, зная мою тайну, схватили меня, восклицая: «Какое несчастье!» Дон Дьего взял меня за средний палец, и в конце концов впятером они меня подняли. Как только откинули простыни, в постели моей обнаружили даже не голубят, а основательных голубей, и раздался такой громогласный хохот, что у нас чуть не обвалился потолок.

– Бедняга! – ломали дурака эти великие плуты; я же сделал вид, что лишился чувств. – Дергайте его, ваша милость, посильнее за палец!

Дон Дьего, думая помочь мне, дернул так сильно, что вывихнул его. Они еще собирались перетянуть мне ляжки веревкой, приговаривая:

– Бедняжка! Это с ним сталось, конечно, когда его хватил припадок.

Кто передаст, что я пережил, сгорая от стыда, с вывихнутым пальцем и под угрозой, что в довершение всего мне перетянут жгутом ноги!.. Наконец, из страха, как бы они не приступили к этой жестокой операции, ибо они уже перевязывали мне ляжку, я притворился, что пришел в себя. Как я ни торопился, злодеи, прекрасно понимавшие, что они делают, успели оставить на каждой ноге по рубцу в два пальца шириной. Наконец они отпустили меня со словами:

– Господи Иисусе, ну и слабый же вы!

Я плакал от досады, а они еще дразнили меня:

– Нас менее беспокоит то, что вы обмарались, чем ваше здоровье, успокойтесь!

Затем они снова уложили меня в постель, предварительно обмыв, и убрались.

Оставшись один, я думал о том, что в Алькала за один день со мной приключилось больше несчастий, чем за все то время, что я пробыл у Кабры. К полудню я оделся, пообчистил, как мог тщательней, свою сутану и, выстирав ее как самое грязное тряпье, стал поджидать своего хозяина. Он пришел и спросил о моем здоровье. Все сели обедать. Пообедал и я, но ел мало и неохотно. Потом, когда все собрались поговорить в коридоре, слуги, сначала поиздевавшись надо мною, рассказали о своей проделке. Все долго потешались над нею, а мне стало вдвойне стыдно, и я подумал: «Будь начеку, Паблос, берегись!» После этого я решил начать новую жизнь и с тех пор, подружившись со всеми, жил как среди братьев. Ни в классах, ни на университетском дворе никто меня больше не обижал.

Глава VI

О жестокостях ключницы и о моих изворотах

Пословица говорит, и говорит правильно: с волками жить, по-волчьи выть. Глубоко вдумавшись в нее, пришел я к решению быть плутом с плутами, и еще большим, если смогу, чем все остальные. Не знаю, преуспел ли я в этом, но уверяю вас, ваша милость, что сделано мною для этого было все возможное. Прежде всего я заранее присудил к смертной казни и подвергал ей всех свиней, попадавших в наш дом, и всех цыплят, заходивших со двора в мою комнату. Однажды случилось, что к нам завернули два кабана столь совершенных статей, каких я не видывал в моей жизни. Я в это время резался в карты с другими слугами и, услыхав хрюканье, сказал одному из них:

– Пойди посмотри, кто это хрюкает у нас в доме.

Он посмотрел и доложил, что это два борова. Узнав об этом, я столь разгневался, что пошел к ним, назвал безобразием и нахальством привычку являться хрюкать в чужие дома и с этими словами, закрыв двери, проткнул грудь каждого из них шпагою. Тут же мы их прикончили, а чтобы не было слышно их визга, сами орали во все горло, как будто бы пели хором, и они испустили дух на наших руках. Потом мы их выпотрошили, собрали кровь и поджарили их на соломенных подстилках на заднем дворе, так что, когда явились хозяева, все уже было проделано, хоть и плохо, только вот из кишок мы не успели наделать кровяных колбас, хотя торопились так, что, по правде говоря, оставили в них половину содержимого. Об этой проделке узнали дон Дьего и домоправитель и так разозлились, что другим жильцам, которые не могли удержаться от смеха, пришлось за меня заступиться. Дон Дьего спрашивал, что я скажу, если меня притянут к ответу и я попаду в руки правосудия, я же отвечал, что сошлюсь на голод – прибежище всех студентов, а если это не поможет, то расскажу, как свиньи без спроса влезли к нам, как к себе домой, и я принял их за наших собственных. Эти оправдания вызвали общий смех, и дон Дьего заметил:

– Поистине, Паблос, ты за словом в карман не лезешь!

Нужно заметить, что хозяин мой был благочестив и честен, я же – изворотлив и плутоват, так что добродетели одного оттенялись пороками другого, и наоборот.

Ключница наша души во мне не чаяла, ибо мы с ней стакнулись, составив заговор против запасов провизии. Я стал настоящим Иудой – хранителем казны и в этой должности воспылал невероятной страстью к утайке хозяйского добра. В руках ключницы мясо не соблюдало правил риторики, ибо из большего делалось меньшим, и если ей это удавалось, то вместо баранины она подсовывала козлятину или овечье мясо, а если имелись под рукой кости, то о мясе не было и речи. Она варила какие-то чахоточные, совсем тщедушные похлебки, бульоны, из которых, если бы

они застыли, можно было бы сделать хрустальные четки. На рождество и на пасху, дабы отметить праздники, она, стараясь сделать похлебку пожирней, подбрасывала туда огарки сальных свечей. Хозяину в моем присутствии она говорила:

— Вот уж верно, не найти другого такого слуги, как Паблос, не будь он только так плутоват. Берегите его, ваша милость, ибо плутовство его можно терпеть за его преданность. Он всегда приносит с рынка все самое лучшее.

А я говорил про нее то же самое, и так мы надували весь дом. Когда покупалось сразу много угля или сала, половину всего этого мы припрятывали, по мере надобности заявляя:

— Умеряйте, господа, ваши расходы, ибо при такой расточительности нам не хватит и королевского состояния. Вот уже нет ни угля, ни масла — так поторопились они исчезнуть. Надо прикупить еще, и тогда все пойдет по-иному. Прикажите дать денег Паблосу.

Деньги я получал, и мы им продавали удержанную нами часть, а из вновь купленного снова утаивали половину. Так мы поступали решительно со всем, а если мне случалось купить что-нибудь на рынке за настоящую цену, то мы с ключницей нарочно спорили и ссорились. Она восклицала, будто бы в сердцах:

— Не говори мне, Паблос, что тут на два куарто салата!

Я притворялся, будто плачу, поднимал крик и шел жаловаться моему хозяину, требуя, чтобы он послал домоправителя на рынок проверить цены и тем самым заткнуть рот ключнице, которая, дескать, нарочно наговаривает на меня. Домоправитель шел на рынок, устраивал проверку, все убеждались в моей честности и оставались довольны моими стараньями и усердием ключницы.

— Вот если бы Пабликос был столь же добродетелен, сколь и предан, — говорил дон Дьего домоправителю, весьма мною довольный, — все было бы очень хорошо. Что вы о нем скажете?

Мы же продолжали делать свое дело и сосали хозяина, как пиявки. Готов биться об заклад, что вы, ваша милость,

пришли бы в изумление от той суммы денег, какую мы выручили к концу года. Сумма эта была весьма велика, но никто и не думал ее возвращать законным владельцам. Хотя ключница исповедовалась и причащалась каждую неделю, но ей никогда не приходило в голову вернуть что-либо, и поступков своих она не стыдилась. Такой уж была она святой человек. На шее у нее висели столь большие четки, что вместо них легче было таскать на себе вязанку дров. К четкам этим было прицеплено множество образков, крестиков, встречались там и зерна крупнее других — они служили для молитв за души в чистилище. Она уверяла, что еженощно перебирает их все, молясь за своих благодетелей. Среди святых она насчитывала сто с чем-то своих заступников, и, вправду сказать, ей нужна была помощь их всех, чтобы очищаться от своих прегрешений. Спала она в комнате над помещением моего барина и на сон грядущий бормотала больше молитв, чем какой-нибудь нищий слепец. Начинала она с «Судьи праведного», а заканчивала «Cunquibult»[1] и «Salve, Regina»[2]. Читала она молитвы по-латыни, — нарочно, чтобы выставить напоказ свою простоватость, так как она их безбожно коверкала, отчего мы чуть не лопались со смеху. Обладала она и иными талантами: потрафить всяким желаниям и угождать разным вкусам, то есть, попросту говоря, быть сводней. Передо мной она оправдывалась тем, что это у нее наследственное свойство, подобное дару французского короля исцелять от золотухи.

Ваша милость, быть может, решит, что мы с нею жили всегда в добром согласии. Но кому не ведомо, однако, что друзья, коль скоро они корыстные, будут стремиться обмануть один другого? Ключница наша разводила на дворе кур. Мне захотелось полакомиться одной из них. У этой курицы было двенадцать или тринадцать уже порядочных цыплят, и вот однажды ключница стала созывать их на кормежку, крича: «Пио, пио!» Услыхав этот зов, я закричал, в свою очередь:

1 Всякий, кто хочет (*искаж. лат.*).
2 Радуйся, царица небесная (*лат.*).

– Черт побери, хозяйка, убей вы человека или обворуй короля, я бы еще промолчал, но промолчать о том, что вы тут делаете, нельзя! Горе и мне и вам!

Узрев меня в столь крайнем и как будто бы непритворном волнении, ключница несколько встревожилась.

– А что же, Паблос, я такого сделала? – спросила она. – Брось шутки и не огорчай меня.

– Какие тут шутки, черт возьми! Я-то ведь не могу не дать знать обо всем этом инквизиции, иначе меня отлучат от церкви!

– Инквизиции? – переспросила она и начала дрожать. – А разве я сделала что-нибудь во вред нашей вере?

– Похуже того, – отвечал я. – Лучше не шутите с инквизиторами, лучше признайтесь им, что вы оговорились по глупости, но не отпирайтесь от богохульства и дерзости.

– А если я покаюсь, Паблос, меня накажут? – со страхом спросила она.

– Нет, – успокоил я ее, – тогда они дадут вам отпущение.

– Так я каюсь, – сказала она, – только объясни мне – в чем, ибо сама я этого не знаю, клянусь спасением души моих покойников.

– Неужели вы этого не знаете? Уж не знаю, как и сказать вам, дерзость-то ваша меня прямо в ужас приводит. Разве вы не помните, что позвали цыплят: «Пио, пио», а Пио – это имя пап, викариев господа бога и глав церкви! Разве это малый грех?

– Я и в самом деле так сказала, Паблос, – помертвев, призналась она, – но пусть не простит меня господь, если это было по злому умыслу. Я каюсь, а ты подумай, нет ли какого способа избегнуть обвинения; ведь я помру, коли попаду в инквизицию.

– Если вы поклянетесь перед святым алтарем, что не имели злого умысла, я, пожалуй, на вас и не донесу, но нужно, чтобы вы отдали мне тех двух цыплят, что вы кормили, подзывая святейшим именем первосвященников, а я отнесу их на сожжение одному слуге инквизиции, ибо они уже осквернены. Кроме того, вы должны будете присягнуть, что никогда не повторите ничего подобного.

– Забирай же их, Паблос, сейчас же, – возрадовалась она, – а присягу я принесу завтра.

– Плохо только то, Сиприана (так звали ключницу), – сказал я ей для вящего правдоподобия, – что в этом деле я сам подвергаюсь большой опасности. А вдруг инквизиция решит, что провинился-то я, да и наделает мне неприятностей? Лучше отнесите вы их сами, а то я, ей-богу, боюсь.

– Паблос, – взмолилась она, – бога ради, смилуйся надо мной и отнеси их сам, с тобой ничего не может приключиться.

Я дал ей время как следует попросить меня и наконец сделал так, как хотел: забрал цыплят, спрятал их в своей комнате, прикинулся, что ушел со двора, а затем вернулся и сказал:

– Все обошлось лучше, чем я думал, он было хотел пойти со мною, чтобы взглянуть на виновную, но я его ловко обдурил и все устроил.

Она наградила меня тысячей поцелуев и еще одним цыпленком, а я направился туда, где были уже спрятаны его товарищи, и заказал одному харчевнику приготовить из них фрикасе, которое и было съедено в компании других слуг. Ключница и дон Дьего, однако, дознались об этой проделке. Весь наш дом был от нее в восхищении. Владелица же цыплят расстроилась чуть не до смерти и с досады едва не выдала все мои покражи и утайки, но ей все же пришлось умолчать.

Видя, что отношения мои с ключницей ухудшаются, я, не имея больше возможности надувать ее, стал приискивать новые способы развлекать себя и принялся за то, что студенты называют «хапаньем на лету».

Тут со мной приключились забавнейшие происшествия. Шествуя как-то около девяти часов вечера, когда прохожих уже бывает мало, по главной улице города, увидел я кондитерскую, а в ней на прилавке корзину с изюмом. Я вскочил в лавку, схватил корзину и пустился наутек. Хозяин кинулся за мною, а за ним его приказчик и соседи. Таща тяжелую добычу, я понял, что хотя расстояние между нами и

порядочное, но они меня непременно догонят, а потому, завернув за угол, уселся на корзину, поспешно прикрыл ногу плащом и, держась за нее обеими руками, прикинулся нищим и начал причитать:

— Ой, как он отдавил мне ногу! Но, господи, прости ему.

Преследователи, услыхав это, подбежали ко мне, а я стал бормотать: «Ради царицы небесной» и то, что обычно говорят попрошайки, о недобром часе и об отравленном воздухе. Они попались на удочку и стали допытываться:

— Не пробегал ли тут один человек, братец?

— Пробежал до вас, — отвечал я, — и чуть не раздавил меня, хвала всевышнему!

Тут они бросились дальше в погоню, а я, оставшись один, дотащил корзину до дому, рассказал о своей проделке, и, хотя все весьма ею остались довольны, никто, однако, мне не поверил. Поэтому я пригласил всех на следующий вечер полюбоваться моим налетом на такой же короб, и они собрались, но, увидев, что короба стоят в глубине лавки и что их нельзя достать с улицы руками, решили, что представление не состоится. К тому же хозяин, наученный горьким опытом владельца изюма, был начеку. Подойдя на двенадцать шагов к лавке, я выхватил порядочных размеров шпагу, вбежал туда с криком: «Умри!» — и сделал выпад, целясь прямо в торговца.

Тот повалился на землю, моля отпустить его душу на покаяние, а я пронзил шпагой один из коробов, подцепил его и был таков. Приятели мои обомлели от этой выходки и чуть не померли со смеху, когда лавочник стал просить их освидетельствовать его, ибо он, дескать, вне всякого сомнения, ранен человеком, с которым только что повздорил. Но, оглядевшись и увидев, что при похищении короба соседние с ним оказались смещенными, он догадался, что стал жертвой надувательства, и начал без конца осенять себя крестным знамением.

Признаюсь, редко что выходило у меня столь удачно. Приятели мои уверяли потом, что хватило бы меня одного, чтобы пропитать весь дом моими набегами, или, выражаясь более грубо, кражами.

Будучи молод и видя, как восхваляют мои таланты и умение ловко выпутываться из всяких переделок, я пускался и на другие подвиги. Каждый день я притаскивал полный пояс кувшинов, которые выпрашивал у монахинь, чтобы напиться воды, но не возвращал обратно. Кончилось это, правда, тем, что мне перестали их одалживать без залога.

Однажды я дошел до того, что пообещал дону Дьего и всем моим приятелям как-нибудь украсть шпаги у ночного дозора. Мы сговорились и вышли все вместе во главе со мною. Обнаружив дозор, я вместе с другим слугой подошел поближе и спросил с весьма встревоженным видом:

— Стражи закона?

Они ответили, что да.

— А где коррехидор?

Они сказали, что здесь. Тогда я преклонил колена и обратился к нему с речью:

— Сеньор, в руках вашей милости — мое спасение, мое отмщение и великая польза для государства. Соблаговолите, ваша милость, выслушать два словечка наедине, и вам будет обеспечен изрядный улов.

Он отошел в сторону, корчете уже схватились за шпаги, а альгуасилы — за свои дубинки, и я сказал ему:

— Сеньор, я прибыл из Севильи следом за шестью величайшими злодеями на свете, грабителями и человекоубийцами. Один из них лишил жизни мою мать и моего брата, дабы их ограбить, чему я имею доказательства. Все они находятся в сообществе — и это я слыхал от них самих — с каким-то французским шпионом, коего подослал, — тут я совсем понизил голос, — Антонио Перес.

При этих словах коррехидор даже подскочил и заорал:

— Где они?

— В публичном доме, сеньор! Не медлите, ваша милость, души моей матери и брата воздадут вам молитвами, а король — само собою...

— Господи Иисусе! — заторопился тот. — Какое тут может быть промедление! Следуйте все за мною, дайте мне щит!

— Сеньор, — тут я снова отвел его в сторону, — коли вы так будете себя вести, то у вас ничего не получится. Сначала пусть все по одному войдут туда без шпаг, ибо они сидят по комнатам с пистолетами и, заметив, что у вас шпаги, какие бывают только у стражников, примутся стрелять. Лучше было бы напасть на них с кинжалами и похватать всех втихомолку, у нас для этого народу предостаточно.

План этот встретил одобрение коррехидора, жаждавшего схватить преступников. Мы подошли к указанному месту, и он велел всем попрятать шпаги в траву, что росла на лугу у самого дома. Стражники так и сделали и двинулись дальше. Я пошел вслед за ними, предварительно научив своего спутника, как только шпаги останутся без присмотра, схватить их и тащить домой, что и было сделано в один миг. Когда дозор входил в дом вместе с другим людом, я нарочно замешкался, а затем дал тягу и помчался по переулку, ведущему к монастырю святой Анны, с такой быстротою, что меня не догнала бы и гончая собака. Войдя в дом и никого там не обнаружив, кроме студентов и всякого сброда, что, впрочем, одно и то же, стражники принялись искать меня, однако нигде не нашли и, заподозрив, в чем тут дело, бросились к своим шпагам, но тех уже и след простыл! Кто изобразит волнение, которое пережили в ту ночь ректор и коррехидор? Они обошли все дворы, всматривались во все лица, обыскивали все кровати, побывали и в нашем доме, а я, дабы меня не опознали, улегся в постель в ночном колпаке, взял в одну руку свечку, а в другую — распятие, а рядом поставил вместо духовника одного из товарищей, который как бы помогал мне переселиться в другой мир. Остальные же запели отходную. Явились ректор и стражники и, увидев подобное зрелище, ушли прочь. Им и в голову не пришло, что и на этот раз их провели за нос. Они никуда не заглянули, а ректор даже прочитал надо мною несколько слов молитвы и осведомился, могу ли я еще говорить. Ему ответили, что нет. После этого они удалились в полном отчаянии, что не нашли никаких следов воровства. Ректор клялся и божился, что предаст в руки правосудия того, кто

ему попадется, а коррехидор — что повесит его, будь он хоть сыном гранда. Я воскрес из мертвых, и в Алькала до сих пор удивляются этой моей проделке.

Дабы не удлинять рассказа, я не буду повествовать о том, как я превратил городской рынок в место столь небезопасное для торговцев, словно это был густой лес, и как изъятым у стригачей сукном, у ювелиров и у зеленщиц — ибо не мог я забыть обиды, нанесенной мне, когда я был королем петухов, — поддерживал почти целый год наш очаг. Умолчу я и о той дани, которую я наложил на все окрестные огороды и виноградники. Все эти подвиги стяжали мне славу самого ловкого и пронырливого пройдохи. Ко мне благоволили все кабальеро, и каждый из них стремился переманить меня к себе на службу, но я оставался верным дону Дьего, коего неизменно чтил за его ко мне великую благосклонность.

Глава VII

Об отъезде дона Дьего, об известиях о смерти моих родителей и о решениях, которые я принял на будущее

В это время дон Дьего получил от своего отца письмо, в которое было вложено послание ко мне моего дяди Алонсо Рамплона, человека, украшенного всеми добродетелями и весьма известного в Сеговии своею близостью к делам правосудия, ибо все приговоры суда за последние четыре года исполнялись его руками. Попросту говоря, был он палачом и настоящим орлом в своем ремесле. Глядя, как он работает, хотелось невольно, чтобы и тебя самого повесили. Этот самый дядя и написал мне из Сеговии в Алькала нижеследующее письмо.

Письмо

Сынок мой Паблос! (Он очень меня любил и так меня называл.) Превеликая занятость моя в должности, препоручен-

ной мне его величеством, не дала мне времени написать раньше это письмо, ибо если и есть что плохое на коронной службе, то разве только обилие работы, вознаграждаемой, однако, печальной честью быть одним из королевских слуг. Грустно мне сообщать малоприятные вести. Батюшка твой скончался неделю тому назад, обнаружив величайшее мужество. Я свидетельствую это как человек, самолично ему в этом помогавший. На осла он вскочил, даже не вложив ногу в стремя. Камзол шел ему, точно был сшит на него, и никто, видя его выправку и распятие впереди него, не усомнился бы, что это приговоренный к повешению. Ехал он с превеликой непринужденностью, разглядывая окна и вежливо приветствуя тех, кто побросал свои занятия, чтобы на него поглазеть. Раза два он даже покручивал свои усы. Исповедников своих он просил не утомляться и восхвалял те благие напутствия, коими они его провожали. Приблизившись к виселице, он поставил ногу на лестницу и взошел не столь быстро, как кошка, но нельзя сказать, чтобы медленно, а заметив, что одна ступенька поломана, обратился к слугам правосудия с просьбой велеть ее починить для того, кто не обладает его бесстрашием. Могу сказать без преувеличения, что всем он пришелся по душе. Он уселся наверху, откинул складки своего одеяния, взял веревку и набросил ее себе на кадык. Увидев же, что его собирается исповедовать некий театинец, он обернулся к нему и сказал: «Я уже считаю себя отпетым, отче, а потому скорехонько прочтите «Верую» и покончим со всем этим», — видно, ему не хотелось показаться многоречивым. Так оно и было сделано. Он попросил меня сдвинуть ему набок капюшон и отереть слюни, что я и исполнил. Вниз он соскочил, не подгибая ног и не делая никаких лишних движений. Висел же он столь степенно, что лучшего нельзя было и требовать. Я четвертовал его и разбросал останки по большим дорогам. Один господь бог знает, как тяжело мне было видеть, что он стал даровой пищей для ворон, но думаю, что пирожники утешат нас, пустив его останки в свои изделия ценою в четыре мараведи. О матушке твоей, хоть она пока и жива, могу сообщить примерно то же самое, ибо взята она толедской инквизицией за то, что откапывала мертвецов, не будучи злоречивой. Говорят также, что каждую ночь она прикладывалась нечестивым лобызаньем к сатане в образе козла. В доме у нее нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне; наименее же тяжкое из предъявляемых ей обвинений — это обвинение в подделывании девственниц. Говорят, что она должна выступить в ауто в троицын день и получить четыреста смертоносных плетей. Весьма печально, что она срамит всех нас, а в особенности меня, ибо в конце концов я слуга короля и с такими родичами мне не по пути. Тебе, сынок, осталось кое-какое наследство, припрятанное твоими родителями, всего около четырехсот дукатов. Я твой дядя, и все, что я имею, должно принадлежать тебе. Ввиду этого можешь сюда приехать, и с твоим знанием латыни и риторики ты будешь неподражаемым в искусстве палача. Отвечай мне тотчас же, а пока да хранит тебя господь и т. д.

Не могу отрицать, что весьма опечалился я нанесенным мне новым бесчестием, но отчасти оно меня и обрадовало. Ведь родительские грехи, сколь велики бы они ни были, утешают детей в их несчастьях.

Я поспешил к дону Дьего, занятому чтением письма своего отца, в котором тот приказывал ему вернуться домой и, наслышавшись о моих проделках, велел не брать меня с собою. Дон Дьего сообщил, что собирается в путь-дорогу, рассказал об отцовском повелении и признался, что ему жаль покидать меня. Я жалел еще больше. Предложил он устроить меня на службу к другому кабальеро, своему другу, а я на это только рассмеялся и сказал:

— Другим я стал, сеньор, и другие у меня мысли. Целю я повыше, и иное мне нужно звание, ибо если батюшка мой попал на лобное место, то я хочу попытаться выше лба прыгнуть.

Я рассказал ему, сколь благородным образом помер мой родитель, как его разрубили и пустили в оборот и что написал мне обо всем этом мой дядя-палач, а также и о делах моей матушки, ибо ему, поскольку он знал, кто я такой,

можно было открыться без всякого стыда. Дон Дьего весьма опечалился и спросил, что я намерен предпринять. Я поделился с ним своими замыслами, и после всего этого на другой день он в глубокой скорби отправился в Сеговию, а я остался дома, всячески скрывая мое несчастье. Я сжег письмо, дабы оно не попало кому-либо в руки, если потеряется, и стал готовиться к отъезду с таким расчетом, чтобы, вступив во владение своим имуществом и познакомившись с родственниками, тотчас же удрать от них подальше.

Глава VIII

О путешествии из Алькала в Сеговию и о том, что случилось, со мною в пути до Рехаса, где я заночевал

Пришел день моего расставания с наилучшей жизнью, которую я когда-либо вел. Одному богу ведомо, что перечувствовал я, покидая моих приятелей и преданных друзей, число коих было бесконечно. Я распродал для дорожных расходов все свои припрятанные пожитки и с помощью разных обманов собрал около шестисот реалов. Нанял я мула и выехал из дому, откуда мне оставалось только забрать свою тень.

Кто поведает мне печаль сапожника, поверившего мне в долг, вопли ключницы из-за наших расчетов и ругань хозяина, не получившего квартирной платы? Один сокрушался, говоря: «Всегда я это предчувствовал», другой: «Не зря твердили мне, что он мошенник». Словом, я уехал, столь удачно рассчитавшись со всем населением города, что одна половина его по моем отъезде осталась в слезах, а другая смеялась над ее плачем.

Дорогой я развлекал себя мыслями обо всем этом, как вдруг, миновав Тороте, нагнал какого-то человека, ехавшего верхом на муле. Человек этот с великим жаром что-то доказывал сам себе и был так погружен в свои мысли, что не заметил меня даже тогда, когда я с ним поравнялся. Я обратился к нему с приветствием, он ответил; тогда я спросил его, куда он едет, о том же спросил и он меня, и, обменявшись ответами, мы принялись рассуждать, затеют ли турки войну и каковы силы нашего государя. Спутник мой начал объяснять мне, каким способом можно завоевать Святую землю и завладеть Алжиром. Из этих объяснений я понял, что он помешан на делах государственных и правительственных. Мы продолжали беседовать о том, о сем, как это полагается у бродячих людей, и наконец добрались до Фландрии. Тут спутник мой стал вздыхать.

— Это государство стоит мне больших расходов, чем королю, — промолвил он, — ибо вот уже четырнадцать лет, как вожусь я с одним проектом, который хоть и неисполним, но привел бы все в порядок, если бы его можно было осуществить.

— Какой же это проект, — полюбопытствовал я, — и почему он неосуществим, несмотря на столь великие его выгоды?

— А кто сказал вам, ваша милость, — возразил мой собеседник, — что он неосуществим? Он осуществим, но не исполняется, а это совсем не одно и то же, и если это вам не будет в тягость, я бы поведал, в чем тут секрет. В свое время, впрочем, вы это узнаете, ибо я собираюсь теперь напечатать его вместе с другими моими сочинениями, в коих я, между прочим, указываю королю два способа завоевать Остенде.

Я попросил его изложить мне эти два способа, и он, вытащив из кармана и показав мне большой план неприятельских и наших укреплений, сказал:

— Вы видите ясно, ваша милость, что вся трудность заключается в этом кусочке моря. Ну вот, я и велел бы высосать его при помощи губок и убрать прочь.

На эту глупость я разразился хохотом, а он, взглянув на меня, заметил:

— Все, кому я это рассказывал, приходили в такой же восторг, как и вы.

— Ваша идея, — ответил я, — столь нова и столь тщательно обдумана, что в этом я нимало не сомневаюсь. Примите

только во внимание, ваша милость, что чем больше вы будете высасывать воду, тем больше нагонит ее с моря.

— Море этого не сделает, — возразил он, — ибо я его считаю весьма истощившимся, и остается лишь приступить к делу, а кроме того, я придумал способ углубить его поодаль на двенадцать человеческих ростов.

Я не осмелился возражать ему из страха, чтобы он не принялся излагать мне способ спустить небо на землю. Никогда еще в жизни не доводилось мне видеть такого чудака. Он сообщил мне, что изобретения Хуанело ничего не стоят и что сейчас он сам разрабатывает проект, как поднимать воду из Тахо в Толедо более легким способом, и на мой вопрос, как именно, сказал, что способ этот заключается в заклинании. Слыхана ли была на свете такая чушь, ваша милость?

Наконец он объявил мне:

— Я и не думаю привести все это в исполнение до тех пор, пока король не пожалует мне командорства, которое мне вполне подойдет, ибо я происхожу из достаточно знатного рода.

В таких беседах прошел путь до Торехона, где он покинул меня, ибо ехал туда навестить какую-то свою родственницу.

Помирая со смеху от тех проектов, которыми занимал свое время мой спутник, я направился далее, как вдруг еще издали увидел посланных мне богом и счастливым случаем мула без седока и спешившегося около него всадника, который, уставившись в книгу, чертил на земле какие-то линии и измерял их циркулем. Он перескакивал и перепрыгивал с одной стороны дороги на другую и время от времени, скрестив пальцы, проделывал какие-то танцевальные движения. Признаюсь, за дальностью расстояния я сначала принял его за чернокнижника и даже не осмеливался к нему подъехать. Наконец я решился. Он заметил меня, когда я уже был близко от него, захлопнул книгу и, пытаясь вдеть ногу в стремя, поскользнулся и упал. Я помог ему подняться, а он объяснил мне:

— Я плохо рассчитал центр соотношения сил, чтобы сделать правильную описывающую дугу при восхождении.

Уразумев его речь, я пришел в смущение тем более законное, что он действительно оказался самым сумасбродным человеком из всех, когда-либо рожденных женщиной. Он спросил, направляюсь ли я в Мадрид по прямой или по окружно-изогнутой линии, и я, хоть и не понял этого вопроса, поспешил ответить, что по окружно-изогнутой. Тогда он поинтересовался, чья рапира висит у меня на боку. Я ответил, что моя собственная. Он посмотрел на нее и сказал:

— У таких рапир поперечина у рукояти должна была бы быть гораздо больше, чтобы легче было отражать режущие удары, приходящиеся на центр клинка, — и завел тут такую длинную речь, что в конце концов заставил меня спросить, чем он занимается. Он пояснил, что является великим мастером фехтования и может доказать это в любых обстоятельствах.

Еле сдерживая смех, я сказал ему:

— А я, признаться, увидав вас издали, попервости решил, что вы колдун, чертящий магические круги.

— А это, — объяснил он мне, — я исследовал обман с большим переходом на четверть окружности так, чтобы одним выпадом уложить противника, не оставив ему ни единого мига для покаяния, дабы он не донес, кто это сделал. Прием этот я хотел обосновать математическим путем.

— Неужели для этого нужна математика? — спросил я его.

— И не только математика, — ответил он, — но и богословие, философия, музыка и медицина.

— Что касается медицины, я нисколько не сомневаюсь в этом, раз дело идет о человекоубийстве.

— Не шутите, — возразил он мне, — я сейчас изучаю парад при помощи широкого режущего удара, заключающего спиральное мулине.

— Из того, что вы мне говорите, я все равно ни слова не понимаю.

— Все это разъяснит вам, — успокоил он меня, — вот эта книга, именуемая «Величие шпаги», книга весьма хорошая и

содержащая в себе истинные чудеса. А чтобы вы всему этому поверили, в Рехасе, где мы сегодня с вами остановимся на ночлег, я покажу вам чудеса при помощи двух вертелов. Можете не сомневаться, что всякий, кто изучит эту книгу, убьет кого ему будет угодно. Ее написал, само собой разумеется, человек великой учености, чтобы не сказать больше.

В подобных разговорах добрались мы до Рехаса и спешились у дверей какой-то гостиницы. Он, видя, как я схожу с мула, поспешил громко крикнуть, чтобы я расставил ноги сначала под тупым углом, а затем свел их к параллелям, дабы опуститься перпендикулярно к земле. Заметив, что я смеюсь, хозяин гостиницы также расхохотался и спросил, не индеец ли, часом, этот кабальеро, что столь чудно выражается. Я думал, что сойду с ума от смеха, а фехтовальщик подошел к хозяину и обратился к нему с просьбой:

– Дайте мне, сеньор, два вертела для двух-трех геометрических фигур, я их вам незамедлительно возвращу.

– Господи Иисусе! – воскликнул хозяин. – Давайте, ваша милость, эти фигуры сюда, и жена моя вам их зажарит, хоть я и не слыхал никогда про таких птиц.

– Это не птицы! – Тут спутник мой обратился ко мне: – Что вы скажете, ваша милость, о таком невежестве! Давайте сюда ваши вертела. Они нужны мне только для фехтования. Быть может, то, что я проделаю у вас на глазах, принесет вам больше пользы, чем все деньги, что заработали вы за всю жизнь.

Вертела, однако, были заняты, и нам пришлось удовольствоваться двумя огромными поварешками. Никогда еще не было видно ничего столь достойного смеха. Фехтовальщик подпрыгивал и объяснял:

– Меняя место, я сильно выигрываю, ибо под этим углом могу атаковать противника в профиль. Чтобы парировать его удар в среднем темпе, мне достаточно замедленного движения. Таков должен был быть колющий удар, а такой вот режущий.

Он и на милю не приближался ко мне, а вертелся вокруг со своей ложкой, а так как я спокойно оставался на месте,

то все его выпады походили на возню кухарки около горшка с убегающим на огне супом.

– Вот это настоящее фехтование, – заметил он, – а не те пьяные выкрутасы, которые выписывают и коим учат всякие жулики под видом мастеров шпаги, ибо они умеют только пить горькую.

Не успел он договорить эти слова, как из соседней комнаты вышел здоровенный мулат с оскаленными зубами в широченной, точно прибитой к зонтику шляпе, в колете из буйволовой кожи под расстегнутой куцей курткой, увешанной лентами, кривоногий, точно орел на императорском гербе, с физиономией, отмеченной per signum crucis de inimicis suis[1], острой бородкой, усами, торчащими, как перекладина на рукояти меча, и со шпагой, украшенной более частой решеткой, нежели решетки в приемных женских монастырей. Мрачно уставя глаза в пол, он сказал:

– Я дипломированный маэстро фехтования и клянусь солнцем, согревающим хлеба, что изрежу на куски каждого, кто плохо отзывается о людях моей профессии.

Видя, какой оборот принимает дело, я встал между ними и принялся уверять маэстро, что разговор наш его не касался и что ему нечего обижаться.

– Так пусть берет шпагу, если она у него имеется, бросит ложки, и мы посмотрим, кто владеет настоящим искусством!

Тут мой незадачливый спутник открыл книгу и громко заявил:

– Про это написано в данной книге, а напечатана она с дозволения короля, и я буду доказывать, что все в ней истинная правда, и с ложкой и без ложки, и здесь и в любом ином месте. Если же нет – давайте измерим. – Тут он достал циркуль и начал: – Этот угол – тупой...

Тогда новоприбывший маэстро, вытаскивая шпагу, сказал:

– Я не знаю ни Угла, ни Тупого и в жизни своей не слыхивал таких прозвищ, но вот этой шпагой я разрежу вас на кусочки.

1 Крестным знамением врагами его (*лат.*).

Тут он набросился на моего беднягу и начал наносить ему удары, а тот пустился в бегство, прыгая по всему дому и крича:

— Он не сможет меня ранить, ибо я могу разить его в профиль!

Я, хозяин и все присутствующие утихомирили их, хотя я едва мог пошевелиться от смеха.

Несчастного отвели в его комнату, где поместился и я. Все обитатели гостиницы отужинали и легли спать, а он в два часа ночи поднялся с кровати и в одной рубашке стал бродить в потемках по комнате, время от времени вытворяя какие-то прыжки и бормоча на своем геометрическом языке всякую ерунду. Не удовольствовавшись тем, что это меня разбудило, он спустился к хозяину, чтобы забрать у него свечку, ибо, по его словам, нашел верную точку для нанесения колющего удара через радиус в хорду. Хозяин послал его ко всем чертям за то, что тот потревожил его сон, и обозвал сумасшедшим. Тогда фехтовальщик поднялся ко мне и предложил, если я захочу встать с кровати, показать мне изумительный прием, который он придумал против турок с их ятаганами, присовокупив, что в ближайшее время отправится обучать короля, дабы прием этот послужил на пользу католикам. Тем временем наступило утро; мы все оделись, заплатили за постой, помирили нашего сумасброда с мулатом, и тот, прощаясь с ним, заметил, что книга моего спутника, конечно, хороша, но что по ней мастерству не научишься, а скорее сойдешь с ума, ибо большинство ни аза в ней не поймет.

Глава IX

О том, что произошло при встрече с одним поэтом по дороге в Мадрид

Я двинулся по направлению к Мадриду, а фехтовальщик простился со мною, так как ехал другой дорогой, уже отдалившись на порядочное расстояние, он с большой, однако, поспешностью вернулся и, громко окликнув меня, прошептал мне на ухо в открытом поле, где нас и так никто не слыхал:

— Умоляю, сеньор, не открывайте никому тех глубочайших тайн фехтовального искусства, которые я вам сообщил. Храните их про себя, ведь вы человек с умом.

Я пообещал ему так и сделать. Он повернулся и поехал прочь, а я посмеялся над его удивительными тайнами.

Так я проехал больше мили, не повстречав ни души. Ехал я, обдумывая и передумывая то великое множество трудностей, кои стоят на пути чести и добродетели, ибо я должен был сначала скрыть, сколь малая толика совершенств украшала моих родителей, а затем украсить себя оными в той степени, чтобы их слава не перешла на меня. Мысли эти казались мне столь достойными, что я благодарил за них сам себя и думал: «Больше всего я должен быть доволен самим собой, так как не у кого было мне научиться добродетели, коей люди обычно научаются у своих предков».

Я все еще продолжал рассуждать и размышлять, как вдруг столкнулся с одной престарелой особой духовного звания, следовавшей верхом на муле по мадридской дороге. У нас с ним завязалась беседа, и он спросил меня, откуда я еду. Я сказал, что из Алькала.

— Да проклянет господь, — воскликнул он, — столь гнусных людей, коими населен этот город, ибо среди них нет ни одного просвещенного человека.

Я полюбопытствовал, почему так худо отзывается он о городе, в котором собрано столько ученейших мужей, и он в большом гневе ответствовал мне:

— Ученейших! Столь ученых, скажу я вашей милости, что вот уже четырнадцать лет, как я сочиняю в Махалаонде, где состою сакристаном, песнопения к празднику тела господня и к рождеству, а они не удосужились отметить наградой ни одного моего стишка. А чтобы вы, ваша милость, убедились в их несправедливости по отношению ко мне, я

вам кое-что почитаю. Убежден, что я доставлю вам удовольствие.

Мучиться нетерпением он меня не заставил и тут же обрушил на меня целый поток вонючих строф. По этой первой вы можете составить себе мнение, каковы были остальные.

Пастухи, не прелестная ль шутка,
Что снисходит до наших желудков
Тот, кто всех непорочнее агнцев?
Святой Корпус Кристи,
Из пречистых пречистый,
Днесь спускается в чрево испанцев.
Пусть то поводом будет для танцев!
Заиграй, сакабуча,
Чтоб отметить сей случай,
И да вторят свирель ей и дудка!
Пастухи, не прелестная ль шутка, и т. д.[1]

— Что лучшее мог бы сочинить сам изобретатель острословия? — спросил он. — Обратите внимание, сколь много тайн заключает в себе одно только это слово: «пастухи». Оно стоило мне больше месяца работы.

Здесь я не мог уже сдержать смеха, который с клокотанием вырывался у меня из глаз и из ноздрей, и, давясь от хохота, сказал:

— Удивительные стихи! Но я только позволю себе спросить, почему ваша милость употребила выражение «святой Корпус Кристи»? Ведь Corpus Cristi — тело господнее — это не святой, а день установления таинства причастия.

— Вот это мило! — ответил он мне со смехом. — Да я вам покажу календарь, и вы увидите — закладываю свою голову, — что это канонизированный святой!

Я не мог спорить с ним из-за душившего меня при виде столь неслыханного невежества смеха, но все же признал, что стихи достойны любой награды и что мне не доводилось до сих пор читать или слышать столь изящное произведение.

1 Перевод И. Лихачева.

— Не доводилось? — подхватил он. — Так послушайте же, ваша милость, небольшой отрывок из книжечки, которую я сочинил в честь одиннадцати тысяч дев-мучениц, из коих каждой я посвятил по пятидесяти октав. Это удивительное произведение!

Дабы уклониться от выслушивания стольких миллионов октав, я умолил его не читать мне божественных стихов, и тогда он принялся мне декламировать комедию, в которой было больше хорнад, чем в пути до Иерусалима. Он пояснил мне:

— Эту комедию я сочинил в два дня, и это у меня черновик.

Комедия занимала собою до пяти дестей бумаги, и называлась она «Ноев ковчег». В ней действовали петухи, мыши, лошади, лисицы и кабаны, как в баснях Эзопа. Я похвалил ее замысел и выполнение, на что он ответил мне:

— Это все моя выдумка, и другой такой комедии нет на всем свете. Самое важное — это ее новизна, и если мне удастся поставить ее на сцене, то это будет великое событие.

— Как же можно будет играть ее на сцене, — полюбопытствовал я, — если в ней должны выступать животные, которые ведь не умеют говорить?

— В этом и состоит трудность, — ответил он, — а не будь ее, разве могло бы поспорить с ней какое-либо другое произведение? Впрочем, я подумаю о том, чтобы поручить исполнять ее попугаям, сорокам и дроздам, — они ведь умеют говорить, а в интермедиях мы займем обезьян.

— Да, конечно, это будет великое произведение.

— У меня есть и другие, еще более великие, — не унимался он. — Их я написал для одной женщины, в которую я влюблен. Полюбуйтесь-ка на девятьсот один сонет и двенадцать редондилий, — все это выглядело так, будто он разменивает эскудо на мараведи, — кои я сложил к ногам моей дамы.

Я спросил его, видал ли он их в природе. Он ответил, что его сан этого ему не позволил, но что сонеты его их про-

зревали. По правде говоря, хотя мне и было забавно его послушать, но я убоялся такой массы плохих стихов, а потому начал переводить разговор на другие предметы и заметил, что вижу зайцев.

— Так я вам начну, — живо подхватил он, — с того стиха, где я сравниваю ее с этими зверьками.

И тотчас же начал. Я, чтобы отвлечь его, спросил:

— Видите вы, ваша милость, вон те звезды, что заметны и днем?

На это он отвечал:

— А вот я закончу этот сонет и прочту вам тридцать третий, где я сравниваю ее со звездой. Но оценить его можно только тогда, когда вы знаете, с какой целью они все написаны.

Я весьма опечалился, поняв, что нельзя ничего назвать и ни о чем упомянуть, по поводу чего он не сочинил бы какой-нибудь глупости, но, видя, что мы приближаемся к Мадриду, возрадовался всей душой, ибо понадеялся, что теперь он замолчит от стыда. Но случилось наоборот, так как, желая обратить на себя внимание, он при въезде в город только возвысил свой голос. Я умолял его прекратить эту декламацию и предупреждал, что если дети пронюхают в нем поэта, то не останется ни одной кочерыжки, которая бы своим ходом не понеслась нам вдогонку, ибо поэты объявлены сумасшедшими в некой прагматике, изданной одним из их собратий, удалившимся от занятий поэзией в доброчинную жизнь. Он, весьма взволновавшись, попросил меня прочесть ему эту прагматику, если она у меня имеется. Я пообещал сделать это в гостинице. Мы направились к той из них, где он имел обыкновение останавливаться, и натолкнулись у ее дверей на целую дюжину слепцов. Одни узнали его, видимо, по запаху, другие — по голосу и громко его приветствовали. Он обнял каждого из них, и тогда одни стали просить у него побуждающую к щедрости молитву праведному судье, писанную торжественными и нравоучительными стихами, другие — молитву за души в чистилище.

Они тут же принялись торговаться. Получив от каждого по восьми реалов задатку, он попрощался с ними и сказал:

— Эти слепцы приносят мне больше трехсот реалов дохода. С позволения вашей милости, я теперь ненадолго уединюсь, дабы сочинить для них кое-что, а потом, после обеда, послушаем прагматику.

О, несчастная жизнь! Ибо нет никого несчастнее безумцев, которые зарабатывают себе на пропитание своим собственным сумасшествием!

Глава X

О том, что я делал в Мадриде и что случилось со мною вплоть до прибытия в Серседилью, где я и заночевал

Стихотворец уединился на некоторое время, чтобы заняться сочинением всякой ереси и глупостей для слепцов. Тем временем наступил час обеда. Мы пообедали, и тотчас же поэт попросил меня прочесть прагматику. Не будучи занят ничем другим, я достал ее, прочитал и теперь помещаю здесь, ибо она показалась мне соответствующей тому, что автор ее поставил себе целью обличить. Гласила она следующее:

«ПРАГМАТИКА РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОТИВ ПОЭТОВ СКУДОУМНЫХ, МНОГОРЕЧИВЫХ
И ЛИШЕННЫХ ИЗЮМИНКИ»

Заглавие это вызвало у сакристана взрыв самого громкого, какой только раздавался в мире, хохота, и он сказал:

— Раньше бы сказал, в чем дело! А то я, ей-богу, подумал, что этот указ касается меня, а выходит, что он относится только к поэтам без изюминки.

Эти слова его весьма умилили меня, ибо он произнес их так, словно у него кладовые ломились от сабзы и кишмиша. Я опустил вступление и стал читать прямо с первого пункта, где значилось:

— «Принимая во внимание, что тот род пресмыкающихся, коих именуют поэтами, — наши ближние и христиане, хотя и плохие, ввиду того, что они круглый год заняты обожанием бровей, зубов, шелковых лент, волос и туфелек, совершая к тому же еще большие прегрешения, повелеваем, чтобы на страстной неделе все площадные поэты и песельники были собираемы, подобно женщинам предосудительного поведения, порицаемы за их ошибочный образ жизни и увещеваемы обратиться на истинный ее путь. Местом для этого назначаются исправительные дома.

Item[1]: принимая во внимание обилие жару в не знающих прохлады стихах поэтов, иссушенных, как изюм, бесчисленными солнцами и светилами, кои идут на их сочинительство, обязываем их к строгому молчанию по поводу небесных явлений, определив месяцы, запретные для муз, подобно тому, как существуют запретные месяцы для охоты и рыбной ловли, дабы не исчерпать природные запасы и вышепоименованных.

Item: принимая во внимание, что адская секта людей, осужденных на вечный консептизм, разрушителей слов и извратителей мысли, заразила своей поэтической лихорадкой и женщин, объявляем, что сия последняя напасть есть справедливое возмездие за то зло, которое причинила Адаму прародительница наша Ева. А поелику век наш оскудел и испытывает нужду в драгоценностях, повелеваем стихотворцам сжечь свои сочинения, подобно старым бахромам, дабы извлечь из них сии благородные металлы, ибо в большинстве стихов они дам своих превращают в некие подобия статуй Навуходоносора, из всевозможных металлов изваянных».

Тут мой сакристан не стерпел и, вскочив, воскликнул:

— Еще и достояния нашего лишить нас хотят! Бросьте читать дальше, ваша милость. Ибо если дело дошло до этого, я поеду к папе и растрачу все, что у меня есть. Неужели же мне, духовной особе, прилично перенести подобное оскорбление? Я докажу, что стихи поэта духовного сана не

1 То же (*лат.*).

подчиняются подобной прагматике. Сейчас же иду подавать жалобу в суд!

Меня разбирал смех, но, дабы не задерживаться — было уже поздно, — я сказал ему:

— Сеньор мой, эта прагматика написана шутки ради, она не имеет ни силы, ни обязательности, ибо не исходит от власть имущих.

— Бедный я грешник! — воскликнул он в сильном волнении. — Надо было предупредить меня об этом, и тогда я был бы избавлен от величайшего огорчения на свете. Представляете ли вы себе, ваша милость, что это значит — написать восемьсот тысяч строф и выслушивать нечто подобное? Продолжайте же, ваша милость, господь да простит вам тот страх, который меня обуял.

Я продолжал:

— «Item: обращаем внимание на то, что, благодаря святому таинству крещения, добрая половина их писаний стала ложью, и истина в оных проявляется лишь тогда, когда они поносят друг друга.

Item: принимая во внимание, что они ни о чем здраво судить не могут, решив, что все равно все будет рассужено в долине Иосафатовой, и оставили там свой рассудок, постановляем, чтобы разрешали им проживать в государстве не иначе, как с особой отметиной, а буйных бы вязали, давая им, однако, пользоваться всеми льготами, положенными умалишенным, дабы, если случится им где напроказить, упоминания того, что они поэты, если они представят тому доказательство, было им достаточно, чтобы не только избавиться от наказания, но еще и заслужить благодарность за то, что они ничего худшего не натворили.

Item: замечая, что, перестав быть маврами, хотя и сохранив кое-что от прошлого, стихотворцы превратились в пастухов, и скот по этой причине тощает, так как питается их слезами и иссушивается огнем их пламенеющих душ, и перестал пастись, так как упоенно слушает их музыку, повелеваем им оставить это занятие, отведя уединенные места для любителей отшельничества, а остальным предписав

освоиться с веселым ремеслом погонщиков мулов, которым и соленое словцо употребить не страшно».

— Какой-то шлюхин сын, содомит, рогатый муж или иудей выдумал все это, — вскричал сакристан, — и если бы я узнал, кто он, я бы сочинил на него такую сатиру, которая бы задала жару и ему, и всем его читателям. Подумайте сами, пристало ли отшельничество таким безбородым людям, как я? Почтенному сакристану, имеющему дело со священными сосудами, — и вдруг стать погонщиком мулов! Как хотите, сеньор, но это страшное оскорбление!

— Я уже вам объяснил, ваша милость, — сказал я, — что это всего лишь шутки, и как шутки их и следует слушать.

Затем я продолжал:

— «Item: во избежание великих хищений запрещаем ввоз стихов из Арагона в Кастилию и из Италии в Испанию под страхом для поэта быть наряженным в хорошее платье; а если провинность повторится, то и ходить чистым и умытым в течение целого часа».

Это очень понравилось моему слушателю, ибо он носил поседевшую от старости сутану с таким количеством грязи на подоле, что если бы потребовалось предать его погребению, то достаточно было бы стряхнуть ее на его останки; плаща же его хватило бы на унавоживание двух полей.

Посмеиваясь над моим поэтом, я сказал ему, что прагматика повелевает считать повинных в смертном грехе отчаяния всех женщин, влюбляющихся исключительно в поэтов, и отказывает им в церковном погребении, как это делается с повесившимися и бросившимися в пропасть.

«Item, — добавил я, — имея в виду великие урожаи редондилий, канцон и сонетов, которые имели место за последние плодородные годы, повелевается: охапки рукописей, которые из-за плохого качества бумаги избегнут бакалейных лавок, должны быть отправлены без всякой пощады в отхожие места».

Наконец я дошел до последнего пункта, гласившего:

— «Однако, милостиво принимая в соображение, что в государстве имеется три рода людей, столь несчастных, что

они не могут жить без поэтов, а именно — слепцы, комедианты и сакристаны, объявляем, что допускается существование нескольких лиц, занимающихся этим искусством, при условии наличия у них экзаменационного свидетельства, выданного им местным поэтическим касиком, вместе с тем обязываем поэтов, пишущих для комедиантов, не кончать интермедий ни избиением палками, ни появлением чертей, а комедий — свадьбами; пусть также для привлечения публики не рассчитывают они на объявления, будь то на листках или изустные под звуки труб. Поэтам же для слепцов возбраняется местом действия их романсов избирать Тетуан и для того, чтобы срифмовать "Христа ради", не вспоминать "о награде", повелев им изгнать из своего словаря следующие речения: "возлюбленный христианин", "человечный" и "дело чести"».

Всем, кто прослушал эту прагматику, она показалась превыше всяких похвал, и каждый из слушателей попросил у меня ее копию. Один лишь сакристан стал клясться торжественной вечерней, «Introibo»[1] и «kyrie»[2], что эта сатира направлена против него, судя по тому, что в ней говорилось о слепцах, и добавил, что в своем деле он разбирается не хуже всякого другого.

— Я лицо, — заявил он под конец, — которое проживало в одной гостинице с Линьяном, лицо, которое не один раз обедало вместе с Эспинелем, лицо, бывшее в Мадриде в такой же близости к Лопе де Веге, как и он ко мне, видевшее дона Алонсо де Эрсилью тысячу раз, имеющее в своем доме портрет божественного Фигероа и купившее штаны, оставшиеся от Падильи, когда тот пошел в монахи, штаны, носимые и теперь, хотя они и прохудились.

Он показал эти штаны, чем так рассмешил всех собравшихся, что они не хотели уходить из гостиницы.

Однако было уже два часа, а так как ехать все равно надо было, мы покинули Мадрид. Я распрощался не без сожаления с сакристаном и направился к горному проходу. Богу

1 Войду в храм твой (*лат.*).
2 Господи (*греч.*).

было угодно, дабы я не предался дурным помыслам, послать мне на дороге какого-то солдата. Мы с ним немедленно вступили в беседу. Он спросил, не следую ли я из столицы. Я ответил, что был в ней проездом.

— Большего она и недостойна, — сказал он на это, — я предпочту — клянусь господом богом! — просидеть в осаде, по пояс в снегу, вооруженный с ног до головы, как человечек с башенных часов, и питаться корой, нежели переносить всякие мерзости, творимые там над честным человеком.

На это я указал ему, что, насколько можно судить, в столице имеется все, что угодно, и что там весьма почтительно обращаются с каждым порядочным и удачливым человеком.

— Почтительно обращаются! — воскликнул он в великом раздражении. — Я проторчал там полгода, хлопоча о чине прапорщика за двадцать лет подвигов и за то, что проливал свою кровь на службе у короля, о чем вопиют мои раны!

Тут он показал мне шрам величиной с ладонь в паху, происхождение коего от бубона было ясно, как солнце, а также две отметины на пятках, сказав, что они сделаны пулями, и кои я, поскольку и у меня было две таких же точно, признал за отмороженные места. Потом он снял шляпу и показал мне свое лицо. Оно было украшено шестнадцатью швами, и шрам этот рассек ему нос надвое. Если прибавить к этому шраму еще три, что у него были, не покажется удивительным, что лицо у него смахивало на географическую карту, так оно было исчерчено.

— Этим, — объяснил он, — меня наградили в Париже на службе богу и королю, истыкав мне все лицо, а теперь мне тычут в нос любезные речи, заступившие ныне место злых дел. Прочтите эти бумаги, заклинаю вас жизнью лисенсиата, из которых вы увидите, что никогда не ходил в бой — клянусь Иисусом Христом! — человек — разрази меня господь! — столь отмеченный заслугами.

В этом он, пожалуй, был прав, ибо отмечен он был основательно. Тут он стал вытаскивать какие-то жестянки и

совать мне бумаги, наверняка принадлежавшие кому-то другому, чье имя он себе присвоил. Я прочитал их, расточив тысячи похвал воину, с подвигами которого сравняются лишь деяния Сида и Бернардо дель Карпио. Услыхав это, он подскочил и воскликнул:

— Как так сравняются? Разрази меня господь, но со мной не сравняются ни Гарсиа де Паредес, ни Хулиан Ромеро, ни кто-либо другой из героев! Черт побери, тогда-то ведь еще не было артиллерии! Клянусь господом богом, в наше время Бернардо не выдержал бы и часа сражения! Спросите-ка во Фландрии про подвиги Корзубого, услышите, что вам понарасскажут.

— Не вы ли этот самый Корзубый, ваша милость? — спросил я.

Он ответил:

— А кто же еще. Разве не заметно, скольких зубов не хватает у меня во рту? Но оставим этот разговор, ибо неприлично мужчине восхвалять самого себя.

Коротая время в таких беседах, мы настигли ехавшего на ослике отшельника с бородой столь длинной, что он вывозил ее в дорожной грязи, тощего и одетого в серое сукно. Он приветствовал нас обычным «Deo gratias»[1] и начал расхваливать тучные пажити — знак великой благости божьей. Солдат подскочил и воскликнул:

— Э, отче! Я видел более густую щетину пик, направленных на меня, и, клянусь богом, все же не сплоховал, когда мы громили Антверпен. Да-да, свидетель мне всевышний!

Отшельник упрекнул его в том, что он столь часто клянется именем господним. На это солдат ответил:

— Сразу видно, отче, что вы не были солдатом, раз попрекаете меня моим собственным ремеслом.

Меня весьма рассмешило его понятие о солдатском ремесле, и я смекнул, что это просто-напросто какой-нибудь трус и проходимец, ибо для сколько-нибудь выдающегося

1 Благодарение господу (*лат.*).

воина нет более отвратительной привычки, да, пожалуй, и для всех солдат вообще. Мы достигли горного прохода. Отшельник молился, перебирая свои четки, сделанные из здоровенных обрубков дерева, так что при каждой «аве Марии» они стучали, как кегельные шары. Солдат шествовал, сравнивая скалы с замками, кои ему довелось видеть, и воображая, где могут быть возведены на них укрепления и где следовало бы разместить артиллерию. Я ехал, разглядывая их обоих, в равной мере боясь и четок отшельника, и солдатского вранья.

– Эх, взорвал бы я порохом большую часть этого прохода, – хвастался солдат, – и сделал бы доброе дело для путешественников.

В этих и тому подобных разговорах – добрались мы с наступлением темноты до Серседильи и все трое направились на постоялый двор. Заказали ужин – была пятница, – и отшельник в ожидании его предложил:

– Займемся-ка делом, ибо безделье – мать пороков. Сыграем-ка на авемарии!

С этими словами он извлек из своего рукава колоду карт. Меня весьма рассмешило это зрелище, в особенности когда я подумал о его четках.

Солдат сказал:

– Нет, сыграем на деньги, но только по-дружески, не больше, как на сто реалов, которые при мне.

Я из алчности к деньгам согласился на эту сумму, а отшельник, дабы не расстроить компанию, сказал, что имеет при себе лампадного масла на двести реалов. Признаюсь, я понадеялся, что буду совой, которая это масло у него выпьет, но надеждам этим суждено было осуществиться так же, как и замыслам турецкого султана. Решили мы сыграть в парар, и самое забавное было то, что отшельник сказался незнакомым с этой игрой и попросил научить его. Потом он благодушно дал нам выиграть две партии, а затем обобрал нас так, что на столе не осталось ни полушки. Он сделался нашим наследником еще при нашей жизни, и больно было видеть, как он сгребает ладонью наши денежки. Он

проигрывал карты, на которые мало было поставлено, и вознаграждал себя дюжиной крупных ставок. При каждом его выигрыше солдат разражался дюжиной клятв и стольким же количеством ругательств, подкрепленных проклятиями. Я грыз себе ногти, в то время как отшельник загребал своими руками мои капиталы. Не было ни одного святого, которого я не призывал бы себе на помощь. Счастливой карты мы ждали, как евреи ждут мессии, и столь же тщетно. Отшельник начисто нас обчистил, мы хотели играть под заклад вещей, но он, выиграв у меня шестьсот реалов, составлявших все мое достояние, а у солдата – сотню, сказал, что играл с нами лишь для забавы, что мы его ближние и что он не хочет больше нас обыгрывать.

– Никогда не клянитесь, – поучал он, – мне повезло, потому что я поручил себя господу богу.

Мы же, ничего не зная о ловкости его рук от пальцев до запястья, ему поверили. Солдат дал клятву больше никогда не клясться, и я последовал его примеру.

– Вот незадача! – горевал бедный прапорщик – в разговоре со мною, он присвоил себе этот чин. – Бывал я среди лютеран и мавров, но так меня еще никто не грабил.

Отшельник в ответ только ухмыльнулся и снова стал перебирать четки. Я, оставшись без гроша, попросил его угостить меня ужином и оплатить до Сеговии постой за нас двоих, ибо мы были обречены на путешествие почти in puribus[1]. Он пообещал сделать это и, заказав яичницу из семидесяти яиц – в жизни я не видал ничего подобного! – заявил, что отправляется спать.

Мы провели ночь в общей зале с другими путниками, ибо отдельные комнаты были уже заняты. Я лег в великой печали, а солдат призвал хозяина и препоручил ему жестянку со своими бумагами и пакет с изношенными – сорочками. Мы улеглись. Отец пустынник осенял себя крестами, мы же открещивались от него. Он заснул, а я бодрствовал, обдумывая способ лишить его денег. Солдат во сне бормо-

1 Нагишом (*лат.*).

тал что-то о своих ста реалах, точно они еще у него не сгинули.

Наступило время вставать. Я попросил поскорее подать свет. Хозяин принес его, захватив и сверток с рубахами для солдата и позабыв про бумаги в жестяной банке. Незадачливый прапорщик чуть не обрушил дом своими криками, требуя принести ему его самонужнейшие списки.

Хозяин переполошился, а так как все мы кричали, чтобы он принес требуемое, он опрометью притащил три ночные вазы и сказал:

— Вот для каждого из вас своя. Может быть, вам нужно еще?

Наверное, он думал, что у нас разболелись животы. Тут солдат вскочил с кровати и в одной сорочке бросился со шпагой за хозяином, клянясь, что убьет его за насмешки над его особой, которая была в сражении у Лепанто и в битве при Сен-Кантене и которой вместо бумаг подают ночные горшки.

Хозяин оправдывался:

— Сеньор, ваша милость попросила самонужнейшие списки, а я полагал, что на солдатском языке так называются ночные вазы.

Мы успокоили их и вернулись в залу. Подозрительный отшельник остался в кровати, сказавшись от страха больным. Он заплатил за нас, и мы двинулись вдоль горного прохода, озлобленные поступком отшельника и неудавшимся замыслом отобрать у него наши деньги.

Дорогою мы встретились с одним генуэзцем, иначе говоря — с антихристом для испанских денег, который направлялся в горы в сопровождении пажа и под зонтиком, как весьма богатый человек. Мы вступили с ним в беседу. Говорить он мог только о мараведи, ибо люди его племени рождаются лишь для денежных дел. Начал он рассказывать о Безансоне и о том, выгодно или нет одалживать Безансону деньги, и говорил об этом столь подробно, что мы с солдатом спросили, что это за кабальеро Безансон. На это он со смехом ответил:

— Это город в Италии, где собираются деловые люди (коих мы здесь называем жуликами по писчей части) и устанавливают цены на деньги.

Из этого мы заключили, что в Безансоне задают тон всем ворам и грабителям. Он развлекал нас по дороге рассказами о своих убытках, так как лопнул один банк, задолжавший ему более шестидесяти тысяч эскудо, и все время клялся своею совестью, хотя я полагаю, что совесть у купцов — это то же самое, что непорочность у публичной девки, продающейся и без ее наличия. Из людей этого ремесла почти никто совестью не обладает: поскольку народ этот наслышан, что она способна терзать человека за самую малость, они предпочитают расстаться с нею вместе с пуповиной при рождении.

Беседуя таким образом, мы увидели стены Сеговии, и взор мой возрадовался, несмотря на то, что воспоминания о Кабре портили мне настроение. Я достиг города и при входе в него увидел четвертованного отца моего, ожидавшего того мгновения, когда, преображенный в звонкую монету, он в кошельке отправится в долину Иосафатову. Я расчувствовался и вошел в город, не будучи узнан, ибо возвращался не таким, каким его покидал, — теперь у меня уже пробивалась бородка и был я хорошо одет. Я оставил своих спутников и стал прикидывать, кто, кроме виселицы, мог бы знать моего дядю, но никого не нашел. У многих я спрашивал об Алонсо Рамплоне, и никто мне ничего не мог о нем сказать, все уверяли, что не знают его. Я весьма обрадовался, что в моем родном городе есть еще так много честных людей, как вдруг услыхал голос глашатая, возвещавшего публичное бичевание, и узрел моего дядюшку за работой. Он шествовал за пятью обнаженными людьми с непокрытыми головами и лениво наигрывал на них пассакалью, только лютней служили ему их спины, а струнами были веревки. Я стоял рядом с тем человеком, которого я спрашивал о моем дяде и которому назвал себя, на его вопрос, знатным кабальеро, как вдруг увидел, что достойный мой дядюшка, проходя мимо, устремил на меня свой взор,

а затем раскрыл объятия и бросился ко мне, называя меня своим племянником. Я чуть не умер со стыда, даже не простился со своим собеседником и пошел за дядей. Он сказал мне:

— Ты можешь пройтись с нами, пока я покончу с этим народом. Потом мы вернемся и вместе отобедаем.

Я представил себя на коне в этой компании, что при данных обстоятельствах выглядело немногим лучше, чем быть поротым, и сказал, что обожду его. Встреча эта так меня устыдила, что, не будь мой дядюшка хранителем причитавшегося мне наследства, я ни за что не заговорил бы с ним больше при посторонних и не показался бы вместе с ним в людном месте.

Он закончил обработку спин осужденных, возвратился и повел меня в свой дом, где я и остался и где мы пообедали.

Глава XI

О пребывании моем у дяди, о его гостях, о получении денег и возвращении моем в Мадрид

Обиталище доброго моего дядюшки находилось около боен, в доме какого-то водовоза. Мы вошли туда, и он сказал мне:

— Ну, конечно, жилье мое — не Алькасар, но будь уверен, племянничек, что оно как раз подходит для успешного ведения моих дел.

Мы поднялись по лестнице, и мне оставалось только дождаться, что будет со мною наверху, чтобы увидеть, отличается ли она чем-нибудь от ступеней эшафота. Затем мы вступили в столь низкое помещение, что ходить там можно было только словно под благословением, с головами, опущенными долу. Он повесил бич на стену, куда было вбито еще несколько гвоздей, с которых свешивались веревки, петли, ножи, крюки и другие принадлежности ремесла моего дядюшки. Он спросил меня, почему я не снимаю плаща

и не усаживаюсь Я ответил, что это не в моих правилах. Один бог знает, что я испытал при виде всех этих гнусных инструментов. Дядя заметил, что мне изрядно посчастливилось и что я попал к нему в весьма удачный день, ибо мне предстоит хорошо поесть: у него должны быть в гостях несколько друзей.

В этот момент в дверях появился завернутый до самых пят в фиолетовое одеяние один из тех, что собирают деньги на вызволение душ из чистилища, и, потрясая кружкой, в которой звенели монеты, сказал:

— Такой же доход принесли сегодня мне души в чистилище, как тебе наказанные кнутом. Забирай!

Они ласково потрепали друг друга по щекам, бездушный вызволитель душ откинул полы своей одежды — оказалось, что у него кривые ноги в коротких полотняных штанах старинного покроя, — и стал приплясывать и спрашивать, не пришел ли Клементе. Дядя мой ответил, что его еще нет. Тут по воле господа бога и в добрый час вошел завернутый в какую-то тряпку, и притом весьма грязную, игрок на желудевой свистульке, иначе говоря — свинопас. Я узнал его, извините за выражение, по рогу, который он держал в руках. Ему недоставало только носить его на голове, чтобы быть как все люди. Он приветствовал нас по-свойски, а за ним вошел некий мулат, левша и косоглазый, в замшевом камзоле и в шляпе с тульей, которая отнюдь не тулилась, напротив, и с полями поистине необозримыми. Шпага его имела с дюжину дужек на гарде. Лицо его напоминало вязанье, так изобиловало оно дырками, обведенными ниточками кожи. Он вошел, сел, поклонился находившимся в комнате, а дяде моему сказал:

— По правде говоря, Алонсо, недешево отделались Курносый и Крючконосый.

При этих словах тот, что занимался душами, вскочил и заметил:

— Четыре дуката дал я Флечилье, палачу в Оканье, чтобы он подгонял осла и не орудовал треххвостым бичом, когда мне прописали трепку.

— Свидетель бог, — сказал тут корчете, — слишком дорого заплатил я Хуансо в Мурсии, так как ослик его, когда вез меня, подражал черепашьему шагу, и этот подлец успел отлупить меня так, что вся спина моя превратилась в один сплошной пузырь.

Свинопас, поеживаясь, присовокупил:

— Мои-то плечи пока что девственны.

— Каждой свинье приходит день ее святого Мартина, — заметил сборщик пожертвований.

— Могу похвалиться, что я такой кнутобойца, — вставил тут свое слово мой добрый дядюшка, — который сделает тому, кто его ублаготворит, все, что потребуется. Шестьдесят дали мне сегодняшние и ушли с побоями чисто дружескими, простым бичом.

При виде того, какими почтенными особами были собеседники моего дядюшки, сознаюсь, краска бросилась мне в лицо, и я не мог скрыть моего стыда. Корчете заметил это и сказал:

— Это не тот ли куманек, кого прошлый раз двинули разок-другой по оборотной стороне?

Я возразил, что не принадлежу к числу тех людей, кои привычны к тому, к чему привычны здесь собравшиеся.

Тут дядя мой встал и сказал:

— Это мой племянник, магистр из Алькала, важная персона.

Тогда они попросили у меня прощения и всячески обласкали. Мне страшно хотелось наесться, забрать мое достояние и удрать от дядюшки.

Накрыли на стол и при помощи веревки, подобно тому как заключенные в тюрьме притягивают к себе милостыню, из трактира, что находился позади дома, подняли в чьей-то шляпе обед на обшарпанных тарелках, а выпивку — в бутылках и кувшинах с отбитыми горлышками. Невозможно себе представить то чувство досады и стыда, которое меня охватило. Сели обедать, сборщик — на почетное место, а остальные — как попало. Не скажу, что́ мы там ели, а только скажу, что вся еда возбуждала жажду. Корчете выдул три посудины чистого красного и пил за мое здоровье, я же отвечал ему, разбавляя вино водой. Свинопас болтал и пил здравиц больше нас всех. О воде никто из них и не вспоминал, да никто ее и не хотел. Появились на столе пять пирогов, по четыре мараведи, и все, окропив себя святой водой, после того как была снята верхняя корка, дружно возгласили «Requiem aeternam»[1] тому покойнику, чья плоть послужила начинкой для этого пирога.

Дядя мой сказал:

— Ты, наверное, помнишь, племянник, то, что я писал тебе о твоем отце.

Я, конечно, припомнил. Они ели, а я ограничился нижней коркой; с тех пор это даже вошло у меня в привычку, и теперь, всякий раз, как мне случается есть пироги, я читаю «Аве Мария» за того, кто пошел на них.

Они благополучно усидели два кувшина общей емкостью в ведро с лишним; корчете и спаситель душ допились до того, что когда принесли блюдо сосисок, похожих на пальцы негров, то один из них спросил, для чего подали курительные свечки. Дядя мой был в таком состоянии, что, протянув руку и схватив одну из них, произнес голосом несколько грубым и хриплым, с глазами, плавающими в сусле:

— Племянник, клянусь этим хлебом, который создал господь по своему образу и подобию, что никогда ничего более вкусного не едал.

Я же, видя, что корчете, протянув руку, взял солонку и сказал: «И горяч же этот бульон!» — а свинопас, набрав полную горсть соли, заметил: «Чем острее, тем лучше пьется» — и отправил ее себе в рот, — одновременно и хохотал, и злился.

Принесли бульон, и душеспаситель, обеими руками взяв миску, возгласил:

— Благослови господь честных людей.

Затем, вместо того чтобы поднести ее ко рту, поднес к щеке и, перевернув, обварился бульоном, облившись свер-

1 Вечный покой (*лат.*).

ху донизу так, что смотреть на него было противно. Он попробовал встать, и так как голова его была тяжелее ног и тянула к земле, то он оперся на стол (который не принадлежал к числу устойчивых), опрокинул его и испачкал всех остальных. После этого он заорал, что его-де толкнул свинопас. Свинопас, видя, что тот обрушился на него, оглушил его своим рогом. Тут они подрались, кулаки их заработали, сборщик вцепился зубами в щеку свинопаса, а свинопас в суматохе извергнул все, что съел, на бороду сборщика. Дядя мой, который был все же трезвее других, громко вопрошал, кто это привел в его дом стольких священников. Я, видя, что они стали уже множить, вместо того чтобы складывать, утихомирил и расцепил дравшихся, а корчете, в великой печали плакавшего в луже вина, поднял с пола. Дядю моего я уложил в постель, и он низко поклонился круглому деревянному столику, который стоял рядом, приняв его за одного из своих гостей. У свинопаса я отнял его рог, ибо хотя все другие уже спали, он все еще в него трубил и требовал, чтобы ему оставили этот музыкальный инструмент, так как, мол, нет и не бывало на свете, кроме него самого, такого человека, который умел бы играть на нем столько песен, и что он нисколько не уступает органу. Словом, я оставался с ними до тех пор, пока они не заснули.

Тогда я вышел из дому и весь день развлекал себя обозрением родных мест, зашел, между прочим, и в дом Кабры и узнал, что он умер от голода. Убив кое-как четыре часа, я вернулся домой вечером и увидел одного из дядиных гостей проснувшимся, ползавшим по комнате на четвереньках и жаловавшимся на то, что в доме этом он совсем заблудился. Я поднял его, остальных же не стал будить, и в одиннадцать часов они проснулись сами. Потягиваясь, мой дядя спросил, который час. Свинопас ответил, что он не проспал еще хмеля и сиеста, верно, еще не кончилась, ибо стоит невыносимая жара. Сборщик попросил, как умел, чтобы ему отдали его кружку.

— Как порадовались души чистилища, что смогли поддержать мое существование, — заметил он и, вместо того

чтобы идти к дверям, пошел к окну; увидев звезды, он стал громко сзывать всех остальных, уверяя, что небо покрыто звездами в полдень и что наступило великое затмение. Все начали креститься и прикладываться к полу. Видя эту мерзость, я был страшно возмущен и обещал себе в будущем сторониться подобных людей. Из-за всех тех подлостей и гнусностей, свидетелем которых мне пришлось быть, все сильнее становилась во мне тяга к обществу людей порядочных и благородных. Гостей я отослал восвояси одного за другим так вежливо, как только мог, а своего дядюшку, который хоть и не был пьян вдрызг, но все же нализался порядочно, уложил спать. Сам же я устроился на моих собственных вещах и на груде других лежавших тут же одежд, которые остались без хозяев, перебравшихся в мир иной, — да будет им царство небесное!

Таким образом провели мы ночь, а на следующее утро попробовал я узнать у моего дядюшки, каков мой капитал, и получить его. Дядюшка, проснувшись, стал жаловаться, что чувствует себя совсем разбитым и не знает, отчего это. Вся комната превратилась в вонючую лужу. Эти свиньи полоскали себе рты и выплевывали воду на пол, мочились они тут же. Наконец он встал, и мы долго говорили о моих делах, что было нелегко, ибо дядюшка нимало не протрезвился, да и не отличался к тому же сообразительностью. В конце концов я вытянул из него сведения хоть о некоторой части моих денег, и он отчитался мне примерно в трехстах дукатах, заработанных добрым моим батюшкой собственными своими руками и оставленных на хранение у одной милой женщины, под крылышком которой мирно совершались кражи на десять миль в окружности. Наконец я получил свои деньги, которые дядюшка еще не успел пропить, что было не так уже плохо, принимая во внимание то, с каким человеком я имел дело. Дядя был уверен, что на них я мог бы получить ученую степень и сделаться кардиналом, что он считал делом нетрудным, поскольку в его власти было обращать человеческие спины в красные мантии. Видя, что я уже вступил во владение моими деньгами, он сказал:

— Сынок Паблос, уж это будет твоя вина, коли не станешь ты хорошим человеком, ибо есть тебе с кого брать пример. Деньги у тебя имеются, так как все, что я зарабатываю на службе, все это пойдет тебе, для себя я бы не старался.

Я горячо поблагодарил его за эту жертву. Мы провели с ним день в глупейших разговорах, а вторую половину дня дядя мой посвятил игре в бабки со свинопасом и сборщиком; последний ставил на кон мессы, словно ничего удивительного в таких ставках не было. Надо было видеть, как они смешивали бабки, как ловко принимали их на лету от тех, кто их подбрасывал, и, скатив их на запястье, снова сдавали назад. Бабки, как и карты, служили им предлогом для выпивки, поэтому кувшин с вином всегда стоял у них посреди стола. Наступила ночь, они убрались, мы с дядей легли каждый на свою кровать, так как я успел раздобыть себе матрац. На рассвете, раньше чем дядя успел проснуться, я встал и отправился на постоялый двор, так что он даже не слыхал, как я ушел. Я вернулся, чтобы закрыть дверь снаружи, а ключ просунул внутрь через отверстие для кошки. Как уже было сказано, я отправился на постоялый двор, чтобы найти там пристанище в ожидании случая уехать в Мадрид. Дома я оставил дядюшке закрытое письмо, в котором объяснял ему причины моего ухода и советовал не разыскивать меня, так как он не должен меня больше видеть до конца своих дней.

Глава XII

О моем бегстве и о том, что случилось со мною по дороге в Мадрид

В то же утро с постоялого двора выезжал с грузом в столицу один погонщик мулов. Я нанял у него осла и стал ждать его у городских ворот. Погонщик подъехал, и началось мое путешествие. Я мысленно восклицал дорогою по адресу моего дядюшки: «Оставайся здесь, подлец, посрамитель добрых людей и всадник на чужих шеях!»

Я утешал себя мыслью, что еду в столицу, где никто меня не знает, и это-то больше всего придавало мне бодрость духа. Я знал, что смогу там прожить благодаря моей ловкости и изворотливости. Решил я, между прочим, дать отдых моему студенческому одеянию и обзавестись коротким платьем по моде. Обратимся, однако, к тому, что поделывал мой вышеупомянутый дядюшка, обиженный письмом, которое гласило:

«Сеньор Алонсо Рамплон! После того как господь оказал мне столь великие милости, а именно лишил меня моего доброго батюшки, а матушку мою запрятал в тюрьму в Толедо, где, надо полагать, без дыма дело не обойдется, мне оставалось только увидеть, как с вами проделают то самое, что вы проделываете с другими. Я претендую на то, чтобы быть единственным представителем моего рода — а двум таковым места на земле нет, — если только мне не случится попасть в ваши руки и вы не четвертуете меня, как вы делаете это с другими. Не спрашивайте, что я и где я, ибо мне важно отказаться от моего родства. Служите дальше королю и господу богу».

Не стоит перечислять те проклятия и оскорбительные выражения, которые он, надо думать, отпускал на мой счет. Вернемся к тому, что случилось со мною по пути. Я ехал верхом на ламанчском сером ослике, мечтая ни с кем не сходиться по дороге, как вдруг увидел издали быстро шагавшего в плаще, при шпаге, в штанах со шнуровкою и в высоких сапогах некоего идальго, на вид хорошо одетого и украшенного большим кружевным воротником и шляпой, один край которой был заломлен. Я подумал, что это какой-нибудь дворянин, оставивший позади свой экипаж, и, поравнявшись с ним, поклонился ему. Он взглянул на меня и сказал:

— Должно быть, господин лисенсиат, ваша милость едет на этом ослике с большим удобством, чем я шествую со всем моим багажом.

Я, думая, что он говорит о своем экипаже и о слугах, которых он опередил, ответил:

— По правде говоря, сеньор, я полагаю, что гораздо покойнее идти пешком, нежели ехать в карете, затем что хотя бы вы и ехали с большей приятностью в карете, что осталась позади вас, однако тряска и опасность перевернуться всегда вызывают беспокойство.

— Какая такая карета позади меня? — спросил он весьма тревожно, и в тот момент, когда он обернулся, чтобы посмотреть на дорогу, от быстроты его движения у него свалились штаны, ибо лопнул поддерживающий их ремешок. Надо думать, что только на нем они и держались, ибо, видя, что я прыснул со смеху, кавалер обратился ко мне с просьбой одолжить ему мой ремешок; я же, заметив, что от рубашки его осталась только узкая полоска и седалище прикрыто лишь наполовину, сказал:

— Бога ради, сеньор, обождите здесь своих слуг, ибо я никак не смогу вам помочь — у меня у самого тоже всего лишь один ремень.

— Если вы, ваша милость, шутите со мной, — сказал он, поддерживая одной рукой свои портки, — то бросьте это, ибо я совсем не понимаю, о каких слугах вы говорите.

Тут стало мне ясно, что человек он очень бедный, так как не успели мы пройти и с полмили, как он признался, что если я не разрешу ему хоть немного проехаться на моем ослике, то у него не хватит сил добраться до Мадрида: настолько утомило его пешее хождение в штанах, которые все время надо было поддерживать руками. Движимый состраданием, я спешился, и так как он не мог отпустить их, боясь, как бы они снова не упали, я подхватил его, чтобы помочь ему сесть верхом, и ужаснулся, ибо, прикоснувшись к нему, обнаружил, что то место, прикрытое плащом, которое находится у людей на оборотной стороне их персоны, было у него все в прорезях, подкладкой коим служил голый зад. Огорчившись, что я все это увидел, он почел, однако, благоразумным совладать с собою и сказал:

— Господин лисенсиат, не все то золото, что блестит.

Должно быть, вашей милости при виде моего гофрированного воротника и всего моего обличья показалось, что я какой-нибудь герцог де Аркос или граф де Бенавенте, а между тем сколько мишуры на свете прикрывает то, что и вашей милости пришлось отведать.

Я ответил ему, что действительно уверился в вещах, противоположных тому, что видел.

— Ну, так вы еще ничего не видали, ваша милость, — возразил он, — так как во мне и на мне решительно все достойно обозрения, ибо я ничего не скрываю и ничего не прикрываю. Перед вами, ваша милость, находится самый подлинный, самый настоящий идальго, с домом и родовым поместьем в горных краях, и если бы дворянское звание поддерживало меня столь же твердо, как я его, мне нечего было бы желать. Но дело в том, сеньор лисенсиат, что, к сожалению, без хлеба и мяса в жилах добрая кровь не течет, а ведь по милости божьей у всех она красного цвета, и не может быть сыном дворянина тот, у кого ничего нет за душою. Разочаровался я в дворянских грамотах с тех пор, как в одном трактире, когда мне нечего было есть, мне не дали за счет моего дворянства и двух кусочков съестного. Говорите после этого, что золотые буквы моей дворянской грамоты чего-нибудь да стоят! Куда ценнее позолоченные пилюли, чем позолота этих литер, ибо проку от пилюль больше. А золотых букв, однако, теперь не так уж много! Я продал все, вплоть до моего места на кладбище, так что теперь мне и мертвому негде приклонить голову, так как все движимое и недвижимое имущество моего отца Торибио Родригеса Вальехо Гомеса де Ампуэро — вот сколько у него было имен — пропало из-за того, что не было выкуплено в срок. Мне осталось только продать мой титул дона, но такой уж я несчастный, что никак не могу найти на него покупателя, ибо тот, у кого он не стоит перед именем, употребляет его бесплатно в конце, как ремендон, асадон, бландон, бордон и т. д.

Сознаюсь, что хотя рассказ о несчастьях этого идальго был перемешан с шутками и смехом, меня он тронул до глубины души. Я полюбопытствовал, как зовут его и куда он

шествует. Он ответил, что носит все имена своего отца и зовется дон Торибио Родригес Вальехо Гомес де Ампуэро-и-Хордан. Никогда я не слыхивал имени более звонкого, ибо кончалось оно на «дан», а начиналось на «дон», как перезвон колоколов в праздничный день. После этого он объявил, что идет в столицу, ибо в маленьком городке столь ободранный наследник знатного рода, как он, виден за версту, и поддерживать свое существование в таких условиях невозможно. Поэтому-то он и шел туда, где была родина для всех, где всем находилось место и где всегда найдется бесплатный стол для искателя житейской удачи. «Когда я бываю там, кошелек у меня никогда не остается без сотенки реалов и никогда не испытываю я недостатка в постели, еде и запретных удовольствиях, ибо ловкость и изворотливость в Мадриде — философский камень, который обращает в золото все, что к нему прикасается».

Передо мной словно небо раскрылось, и, чтобы не скучать по дороге, я упросил его рассказать, как, с кем и чем живут в столице те, кто, подобно ему, ничего не имеет за душой, ибо жить там казалось мне делом трудным в наше время, которое не довольствуется своим добром, а старается воспользоваться еще и чужим.

— Есть много и таких, и других людей, — ответил он. — Ведь лесть — это отмычка, которая в таких больших городах открывает каждому любые двери, и, дабы тебе не показалось невероятным то, что я говорю, послушай, что было со мной, и узнай мои планы на будущее, и тогда все твои сомнения рассеются.

Глава XIII,

в которой идальго продолжает рассказ о своей жизни и обычаях

— Прежде всего должен ты знать, что в столице находит себе место все самое глупое и самое умное, самое богатое и самое бедное и вообще имеются крайности и противоположности во всем; дурное там ловко скрыто, а доброе — припрятано; есть там и такой сорт людей, как я, о которых неизвестно, от какого корня, корневища или лозы они произошли. Друг от друга отличаемся мы прозвищами. Одни из нас именуются кавалерами-пустоцветами, другие — яйцами-болтунами, фальшивыми монетами, пирожками ни с чем, доходягами и огоньками, и так далее. Защитницей нашей жизни является изворотливость. Большую часть времени проводим мы с пустыми желудками, так как добывать себе обед чужими руками — вещь трудная. Мы помогаем уничтожать угощения, мы — всепожирающая моль трактиров, незваные гости; живем мы, питаясь чуть ли не одним воздухом, — тем и довольны. Мы те, кто ест один порей, а делает вид, что сожрал целого каплуна. Если кто-нибудь придет к нам с визитом, то обнаружит в наших комнатах разбросанные бараньи и птичьи кости и кожуру от фруктов, на пороге наших дверей увидит он горы куриных и каплуньих перьев и старые винные мехи, сложенные для отвода глаз. Все это мы собираем по ночам на улицах, дабы днем пускать людям пыль в глаза. Придя к себе домой, мы кричим на хозяина: «Неужели всей власти моей недостаточно, чтобы заставить служанку подмести? Извините за беспорядок, ваша милость, здесь обедал кое-кто из моих друзей, а эти слуги...» и тому подобное. Кто нас не знает, тот верит, что это действительно так, и принимает весь этот хлам за остатки званого обеда.

Но что мне сказать о способах обедать в чужих домах? Поговорив с кем-нибудь две минуты, мы выведаем, где он живет, и идем туда как бы с визитом, но непременно в обеденный час, когда знаем, что он собирается сесть за стол, говорим, что привели нас пылкие дружеские чувства к хозяину, ибо такого ума и такого благородства, как у него, нигде больше на свете не встретить; когда нас спрашивают, обедали ли мы, то, если хозяева еще не сели обедать, мы отвечаем, что нет, и не дожидаемся вторичного приглашения, так как от подобных ожиданий приходилось нам другой раз

терпеть великий пост. А если там уже обедают, то мы заявляем, что поели, и начинаем хвалить хозяина за то, как он ловко режет птицу, хлеб, мясо или что бы там ни было. Для того чтобы отведать подаваемые блюда, мы говорим: «Нет, уж позвольте, ваша милость, поухаживать за вами, ибо я помню, что такой-то, царство ему небесное (тут мы называем имя какого-нибудь умершего герцога, маркиза или графа), великий мой покровитель, предпочитал смотреть, как я режу, чем обедать». Сказав это, мы берем нож и разрезаем кушанье на мелкие кусочки, а затем восклицаем: «Какой чудный запах, какой аромат! Не попробовать такого блюда — значит обидеть ту, которая его готовила, а у нее, видно, золотые руки!» За словом следует дело, и так, на пробу, съешь полблюда: репку — потому, что это репка, свинину — потому, что это свинина, и вообще все — потому, что оно чем-нибудь да является. Когда такой возможности у нас нет, то мы ходим по монастырям и пробавляемся супом, раздаваемым беднякам, но едим его не на глазах у всех, а потихоньку, заставляя монахов верить, что делаем это не столько из нужды, сколько из набожности.

Стоит посмотреть на кого-нибудь из нас в игорном доме, стоит посмотреть, с каким старанием прислуживает он за зеленым столом, ставит свечи и снимает с них нагар, таскает урыльники, приносит карты и радуется за выигравшего, и все это только для того, чтобы заполучить в награду хоть один реал с кона.

Что касается нашей одежды, то мы наперечет знаем все изъяны нашего тряпья, и как у иных установлены часы для молитв, так у нас установлены часы для его штопки и латанья. Стоит посмотреть, как мы проводим наши утра: поскольку злейшим нашим врагом мы почитаем солнце, ибо оно делает заметным все лоскуты, штопки и заплатки, мы расставляем ноги под его лучи, и по теням, отбрасываемым на земле, видим, какие между ляжками свешиваются у нас нити и лохмотья, и ножницами подстригаем бороды нашим порткам. А так как всего более изнашиваются штаны, мы вырезаем подкладку из-под надрезов сзади, чтобы

переставить ее наперед, после чего задница наша, отныне прикрытая одной фланелью, принимает самый мирный вид, поскольку уже не кажется исполосованной ножом; но ведомо это одному лишь нашему плащу, ибо среди бела дня мы остерегаемся порывов ветра, боимся всходить по освещенным лестницам или садиться на коня. Мы изучаем способы сидеть и стоять против света, разгуливаем днем, стараясь не раздвигать ног, и приветствуем знакомых не расшаркиваясь, а лишь прищелкивая каблуками, ибо, если раздвинуть колени, сразу бросятся в глаза окна в нашем одеянии. На теле нашем нет ни одной носильной вещи, которая в прежнее время не была бы чем-нибудь совсем иным и не имела своей истории. Verbi gratia[1], ваша милость, вероятно, обратила внимание на мою короткую куртку — ну, так знайте, что сначала я носил ее в виде широких штанов до колен и что она является внучкой накидки и правнучкой большого плаща с капюшоном, каковой и был ее родоначальником, а теперь надеется обшить подошву моих чулок и пойти еще на многое другое. Легкие матерчатые туфли были у нас раньше носовыми платками, а еще раньше — полотенцами и рубашками, родными домами простынь; после всего этого мы сделаем из них бумагу для письма, а из нее — средство для оживления почивших башмаков, ибо я сам видел, как безнадежно больная обувь с помощью подобных медикаментов бывала возвращаема к жизни. А чего стоят все те приемы, с помощью которых мы в вечернее время избегаем света, чтобы не видно было наших оплешивевших накидок и полысевших курток? На них ведь остается столько же ворсу, сколько на голом камешке, ибо господу богу угодно, чтобы волоса у нас росли на подбородке и вылезали из плащей. Чтобы не тратиться на цирюльников, мы поджидаем, пока вырастет щетина еще у кого-нибудь из нас, и тогда бреем ее друг у друга, ибо сказано в Евангелии: «Помогайте друг другу как добрые братья». И еще мы стараемся не ходить в те дома, где бывают наши товарищи, если

1 Например (*лат.*).

знаем, что знакомые у нас общие. Надо знать, что такое муки ревнивого желудка.

Мы обязаны проехаться верхом хотя бы раз в месяц, хотя бы на осленке, по самым людным улицам, раз в год прокатиться в экипаже, хотя бы на козлах или на запятках. Но если уж нам удалось проникнуть внутрь кареты, то садимся мы обязательно у самой дверцы, выставив всю голову в окошко, и раскланиваемся направо и налево, чтобы нас видели все, и заговариваем с друзьями и знакомыми, даже если они смотрят в другую сторону.

Если нам нужно почесаться в присутствии дам, то мы владеем целой наукой делать это на людях самым незаметным образом. Если у нас чешется бедро, то мы заводим рассказ о том, что нам случалось видеть одного солдата, разрубленного отсюда досюда, и показываем руками то место, где у нас чешется, незаметно его почесывая. Если дело происходит в церкви и у нас зачесалась грудь, то мы бьем себя в нее, как это делают при «sanctus»[1], хотя бы читали «Introibo». Если чешется спина, то мы прислоняемся к углу дома или здания и, приподнимаясь на цыпочках и как бы разглядывая что-то, успеваем почесаться.

Рассказать ли вам о лжи? Правда никогда не исходит из наших уст. В свой разговор мы вставляем герцогов и графов, выдавая одних за наших друзей, других – за родственников, но стараясь выбрать между ними лиц, кои уже умерли или находятся в далеких краях.

Особо следует заметить, что мы никогда не влюбляемся бескорыстно, а лишь de pane lucrando[2], ибо устав наш запрещает ухаживать за жеманницами, и потому мы волочимся за трактирщицей – ради обеда, за хозяйкой дома – ради помещения, за гофрировщицей воротников – ради нашего туалета, и хотя при столь скудной пище и столь убогом существовании со всеми не управишься, однако каждая из них бывает вполне довольна, что наступила ее очередь.

1 Свят (*лат.*).
2 Из-за куска хлеба (*лат.*).

Глядя на мои высокие сапоги, как можно догадаться, что они сидят на голых ногах, без чулок или чего-либо в том же роде? Глядя на этот воротник, можно ли узнать, что я хожу без рубашки? Ибо все может отсутствовать у дворянина, сеньор лисенсиат, все, кроме роскошно накрахмаленного воротника, с одной стороны, потому что он служит величайшим украшением человеческой личности, а затем еще и потому, что, вывернутый наизнанку, он может напитать человека, ибо крахмал есть съедобное вещество и его можно посасывать ловко и незаметно. Словом, сеньор лисенсиат, дворянину нашего полета надлежит воздерживаться от всего лишнего еще строже, чем беременной на девятом месяце, и тогда он проживет в столице. Правда, в иную пору он процветает при деньгах, а в иную валяется в больнице, но в конце концов жить можно, и кто умеет изворачиваться – тот сам себе король, хоть мало чем и владеет.

Мне так понравился у этого идальго его необычайный способ существования и я так был упоен всем этим, что, увлекшись его рассказами, не заметил, как добрался до Лас-Росас, где мы и заночевали. Идальго, у которого не было ни гроша, поужинал со мною, я же считал себя многим обязанным ему за его советы, ибо с их помощью у меня открылись глаза на многое, и я склонился к его обманному образу жизни. Прежде чем мы легли спать, я заявил ему о желании моем вступить в их братство. Он бросился меня обнимать, говоря, что не сомневался в должном действии своих слов на столь умного и тонкого человека. Он предложил познакомить меня в столице с остальными членами шайки и поселиться у них. Я согласился воспользоваться его любезностью, однако умолчал о моих эскудо и упомянул только о сотне реалов, их оказалось достаточно вместе с тем добром, которое я ему сделал и продолжал делать, для того чтобы он почувствовал себя обязанным мне за мое дружеское к нему расположение. Я купил ему три ремня, он привел в порядок свою одежду, ночь мы проспали спокойно, встали рано и пустились в путь к Мадриду.

Глава XIV

О том, что случилось со мною в столице после того, как я туда прибыл, и вплоть до наступления ночи

В десять часов утра мы вступили в столицу и, как было условлено, направились к обиталищу друзей дона Торибио. Добрались мы до его дверей, и дон Торибио постучал; двери открыла нам какая-то весьма бедно одетая дряхлая старушенция. Дон Торибио спросил ее о своих друзьях, и она ответила, что все они отправились на промысел. Мы провели время одни, пока не пробило двенадцать часов: он — наставляя меня ремеслу дешевой жизни, а я — внимательно его слушая. В половине первого в дверях появилось нечто вроде привидения, с головы до ног закутанного в балахон, еще более потрепанный, чем его совесть. Они поговорили с доном Торибио на воровском языке, после чего привидение обняло меня и предложило себя в полное мое распоряжение. Мы немножко побеседовали, и мой новый знакомый вытащил перчатку, в которой находилось шестнадцать реалов, и какую-то бумагу, которая, по его словам, представляла собой разрешение нищему просить милостыню и принесла ему эти деньги. Опорожнив перчатку, он достал другую и сложил их, как это делают доктора. Я спросил его, почему он не надевает их, и он объяснил, что обе они с одной руки и этой хитростью он пользуется, когда ему нужно добыть себе перчатки. Усмотрев тем временем, что он не снимает своего балахона, я (как новичок) полюбопытствовал узнать причину, которая заставляет его все время ходить закутанным, на что он ответствовал:

— На спине у меня, сын мой, находятся дыра, суконная заплатка и пятно от оливкового масла. Этот кусок плаща прикрывает их, и я могу с ними выходить на улицу.

Он освободился от своего огрызка плаща, и я увидел, что балахон его странно пузырится. Я подумал, что это от

штанов, ибо выпуклость имела их очертания, как вдруг он, готовясь давить вшей, подобрал нижнюю часть своей одежды, и под ней оказались два привязанных к поясу и приложенных к бедрам круга из картона, скрывавших его наготу, ибо ни штанов, ни сорочки на нем на самом деле не было и искать какую-либо живность в швах и складках ему почти не представлялось возможности. Он вошел в вошебойку, предварительно перевернув на двери табличку вроде тех, которые бывают на ризницах, дабы открылась надпись «занято» и никто больше туда не вошел. Великую благодарность следует воздать господу богу за то, что он людям небогатым дарует столь великое хитроумие!

— Я, — сказал в это время мой добрый друг, — вернулся из путешествия с больными штанами, и мне нужно найти, чем бы их исцелить.

Он спросил у старухи, нет ли у нее каких-нибудь лоскутьев. Старуха (она занималась тем, что дважды в неделю собирала на улице разное тряпье — так же, как собирают его на бумагу, — дабы врачевать этим тряпьем негодные вещи своих кабальеро) сказала, что у нее ничего нет и что из-за отсутствия тряпок вот уже две недели как валяется в постели дон Лоренсо Иньигес дель Педросо, у которого захворало его платье.

В это время появился еще кто-то в дорожных сапогах, в бурой одежде и в шляпе с загнутыми полями. Он узнал от остальных о моем приезде и вступил со мною в весьма сердечную беседу. Когда он скинул свой плащ, то обнаружилось — кто бы мог это подумать, ваша милость! — что одежда его была сделана из бурого сукна только спереди, сзади же она была из белого полотна, потемневшего от пота. При этом зрелище я не мог сдержать смеха, но он с великим спокойствием заметил:

— Будете обстрелянной птицей, так перестанете смеяться. Бьюсь об заклад, что вам и в голову не приходит, почему я ношу эту шляпу с загнутыми полями.

Я ответил, что, вероятно, из франтовства и дабы не мешать глазам смотреть.

— Наоборот, — возразил он, — именно для того, чтобы мешать им видеть. Знайте же, что у моей шляпы нет ленты вокруг тульи, а так этого никто не замечает.

Сказав это, он вытащил больше двадцати писем и столько же реалов и объяснил, что не имел возможности вручить всю корреспонденцию по принадлежности. На каждом было помечено, что почтовый сбор составляет один реал. Все это изготовлялось им самим. Подписывал он их любым именем, которое ему приходило в голову, писал всякие небылицы, разносил их в лучшие дома и взимал мнимый сбор за пересылку. Этим он занимался каждый месяц. Я весьма удивился столь новому для меня способу наживы.

Вскоре вошли еще двое, один в суконной куртке длиною до колен и в таком же плаще с поднятым воротом, дабы не было видно его рваного воротника. Его широченные валлонские шаровары, насколько их было видно из-под плаща, были сшиты из камлота, верх же надставлен цветной байкой. Он вошел, споря со своим спутником, у которого был не гофрированный, а отложной воротник, а рукава бутылками возмещали отсутствие плаща. Он опирался на костыль, и, за неимением одного чулка, одна его нога была обернута в какие-то тряпки. Выдавал он себя за солдата и в самом деле был таковым, но только плохим и в боях не участвовал. Он рассказывал о своих необыкновенных заслугах и на правах военного умел пролезать всюду.

Тот, кто был в куртке и, как казалось, в штанах, требовал:

— Вы должны мне отдать по крайней мере половину, если не большую часть, а если не отдадите, то клянусь господом богом...

— Не клянитесь именем господним, — сказал другой, — ибо дома я перестаю быть хромым и могу здорово отколотить вас этим костылем.

С криками «Отдайте!» — «Не отдам!» и с обычными упреками во вранье они накинулись друг на друга, и при первой же схватке лохмотья их одеяний остались у них в руках. Мы помирили их и стали расспрашивать о причине ссоры.

— Вы что, шутите со мною? — заорал солдат. — Не достанется вам ни полушки! Надо вам знать, ваши милости, что, когда мы стояли на площади Спасителя, к этому несчастному подошел какой-то малец и спросил, не я ли прапорщик Хуан до Лоренсана. Тот, видя, что мальчишка держит что-то в руках, подтвердил это, подвел его ко мне и, назвал меня прапорщиком, сказал: «Вот, ваша милость, вас спрашивает этот мальчик». Смекнув, в чем дело, я подтвердил, что меня действительно так зовут. Тогда мальчишка вручил мне сверток с дюжиной носовых платков, которые его мать велела отнести какому-то Лоренсане. Теперь он требует у меня половину, но я скорее позволю разорвать себя на куски, нежели соглашусь на это. Всех их должен до дыр сносить мой нос.

Дело было решено в его пользу, но без права сморкаться, платки велено было передать старухе в общий котел, дабы она понаделала из них воротников и манжет, вид которых должен был обозначать у нас наличие отсутствующих рубашек. Сморкаться по уставу здесь было запрещено, разве что пальцами, впрочем, здесь чаще шмыгали носом, дабы ничто ценное не расточалось. Так и порешили.

Наступила ночь. Мы улеглись в две постели, прижавшись один к другому, как зубцы в гребешке. Ужин был отложен на утро. Большинство легло не раздеваясь, а в том платье, в каком ходили они весь день, следуя тем самым правилу спать нагишом.

Глава XV,

в которой продолжается начатый рассказ и происходят разные необычные вещи

Послал нам господь бог утро, и мы взялись за оружие. Я уже так привык к моим новым товарищам, точно все они были моими братьями, ибо легкость знакомства и поверхностная дружба всегда неразрывны с дурными делами. Стоило

полюбоваться, как один из нас в двенадцать приемов надевал свою рубашку, расползающуюся на двенадцать кусков, приговаривая над каждым из них молитву наподобие облачающегося священника. Кто-то блуждал ногой в закоулках и тупиках штанов и находил дорогу там, где ей вовсе не следовало пролегать. Кто-то звал помощника, чтобы надеть свою куртку, и полчаса возился с нею, причем ему никак не удавалось изловчиться ее напялить.

Когда это достойное удивления зрелище окончилось, все взялись за иголки и нитки, чтобы зашить продранные места. Один изогнулся глаголем, штопая себе дыру под мышкой, другой, став на колени и видом своим напоминая перевернутую цифру пять, латал штаны в том месте, где они образовывали складки, третий просовывал голову между ног и превращался в какой-то узел. Такие удивительные позы не изображал, насколько я помню, даже сам Босх. Все зашивали и заштопывали сто тысяч прорех, а старуха подавала лоскуты и лохмотья разных цветов, — те, что притащил солдат. Когда кончился час лечения, как называлась у них эта работа, они стали осматривать друг друга, не осталось ли чего-нибудь без починки, и наконец решили двинуться на промысел. Я попросил подобрать и для меня какую-нибудь одежду, ибо мог затратить на это сто реалов и бросить свою сутану.

— Э, нет, — объявили они. — Деньги пойдут в общую кассу, вас же мы тотчас оденем из нашего гардероба и укажем тот приход в городе, где вы только и будете промышлять и рыбачить.

Это мне понравилось. Я отдал деньги, и в мгновение ока они превратили мою сутану в подобие траурной куртки из сукна, а плащ наполовину окорнали. Получилось хорошо. Остатки моего одеяния они обменяли на старую, перекрашенную шляпу, украсили ее тулью клочками вымазанной чернилами ваты, сняли с меня воротник, а вместо моих штанов дали мне такие, у которых прорези были только спереди, так как бока и зад были от замшевых. Шелковые чулки нельзя было назвать чулками, ибо они спускались от

колен вниз только на четыре пальца, остальное прикрывали сапоги, плотно прилегавшие к цветным чулкам. Воротник по праву можно было назвать открытым — так он был изодран. Надели они его на меня со словами:

— Воротник этот порядком изношен и сзади, и с боков. Если на вас будет смотреть один человек, то поворачивайтесь вокруг него, как подсолнух за солнцем, если же их будет двое и они подойдут к вам с боков, то отступите, а для тех, кто окажется сзади вас, — сдвигайте шляпу на затылок, прикрывая ее полями воротник и открывая лоб. Если же вас спросят, почему вы ходите в таком виде, то отвечайте, что не боитесь всюду ходить с открытым лицом.

Потом они дали мне коробку с черными и белыми нитками, шелком, шнурками, иглами, наперстком, кусками сукна, полотна, атласа, лоскутами других материй и ножиком. К поясу они прицепили чашку для сбора денег, а также кожаный кошель с трутом, огнивом и кремнем, сказав:

— С этим ящиком вы можете обойти весь свет, не нуждаясь ни в друзьях, ни в родных; в нем заключены все наши средства к существованию, возьмите и берегите его.

Для промысла мне отвели квартал Святого Луиса, и я начал мой трудовой день, выйдя из дому вместе со всеми. По причине моей неопытности ко мне, точно к церковному служке, был приставлен для начала тот, кто меня привел и обратил в их веру, он и стал моим наставником в мошеннических делах.

Мы вышли из дому медленным шагом, с четками в руках, и направились к указанному кварталу. Всех встречных мы учтиво приветствовали, — перед мужчинами снимали шляпы, думая про себя, что не худо было бы поснимать с них самих плащи; женщинам отвешивали поклоны, ибо это всегда им нравится. Одному мой любезный спутник говорил: «Деньги мне принесут завтра». Другого он успокаивал: «Подождите, ваша милость, еще немного, банк дал мне слово со мной рассчитаться». Кто просил вернуть ему плащ, кто торопил отдать пояс, и из всего этого я заключил, что спутник мой был столь большим другом своих друзей, что

не имел ничего своего. Путь наш извивался змеею от одной стороны улицы к другой, дабы не проходить вблизи домов наших заимодавцев. Один из них просил вернуть деньги за наем помещения, другой — за данную напрокат шпагу, третий — за простыню и сорочки. Словом, я убедился, что спутник мой был кавалером напрокат, вроде наемного мула. Вдруг он издали усмотрел какого-то человека, который, должно быть, готов был выдрать у него долг вместе с глазами. Денег у него с собою, конечно, не было, и, чтобы тот его не узнал, он мигом зачесал себе волосы вперед из-за ушей, что придало ему вид назареянина, смахивающего не то на образ нерукотворного Спаса, не то на лохматого кабальеро, налепил на один глаз пластырь и начал говорить со мной по-итальянски. Все это мой спутник успел проделать, так как тот человек не сразу заприметил его — он заговорился с какой-то старушкой. Вы не поверите, как он вертелся потом вокруг нас, точно собака, что собирается укусить, крестился чаще, чем заклинатель бесов, и приговаривал:

— Господи Иисусе! Я подумал было, что это он. У кого корову украли, всюду слышит колокольчики!

Я помирал со смеху, глядя на моего друга. Когда гроза миновала, он зашел в подворотню, чтобы расчесать свою гриву и снять пластырь, и сказал:

— Так вот избегают платить долги. Учитесь, брат мой! Вы увидите много подобных вещей в этом городе.

Мы пошли дальше и на одном из углов спросили у какой-то торговки сухого варенья и водки — она же отпустила нам все это даром, как только поздоровалась с моим наставником.

— Теперь, — сказал мой спутник, — мы уже можем не заботиться о еде, тем более что в ней недостатка не будет.

Я опечалился и, движимый требованиями моего желудка, выразил сомнение, что у нас будет обед; он же успокоил меня:

— Мало веруешь ты в бога и в орден собачьего промысла. Господь бог печется о воронах и сойках, даже о судейских писцах, так неужели же он позабудет о жаждущих и алчущих? Видно, что в брюхе твоем еще мало мужества.

— Это правда, — согласился я, — только страшновато мне, что еды в нем будет еще меньше.

Тем временем пробило двенадцать, а так как я был еще новичком в своем ремесле, это мало понравилось моему желудку, и я ощутил такой голод, как будто бы никакого сухого варенья я еще не ел. Пища снова пришла мне на ум, и я обратился к моему другу с такими словами:

— Голод, брат, жестокий искус для послушника. Человек создан, чтобы насыщать свою утробу, а меня заставляют поститься. Если вы не ощущаете голода, то это не удивительно, ибо, привыкнув к нему с детства, как тот царь, что привык к яду, вы, видно, насыщаетесь им. Не вижу, чтобы вы особенно деятельно раздобывали себе съестное. Я же буду искать его сам, как умею.

— Черт вас подери! — ответил он. — Еще только полдень, а вам уже не терпится. Слишком точный у вас аппетит, а нужно привыкать терпеть задержку платежей. Не жрать же, в самом деле, круглый день! Скоты, правда, кроме этого ничего не делают, но мне что-то нигде не приходилось читать, чтобы благородного кабальеро когда-либо прохватил понос; уж скорее от него можно ожидать обратное, поскольку в него ничего не поступает. Я уже говорил вам, что господь бог никому не откажет, а если вам так не терпится, то я пойду отведать похлебку у монастыря святого Иеронима, где живут откормленные, как каплуны на молоке, монахи, и там напитаюсь. Если угодно, следуйте за мною, а если нет — пусть каждый идет своей дорогой.

— Прощайте, — сказал я, — потребности мои не столь малы, чтобы я мог удовольствоваться чужими остатками. Пусть каждый из нас пойдет своей дорогой.

Приятель мой отправился твердым шагом, смотря себе под ноги. Из коробочки, всегда бывшей при нем для такого случая, он вынул несколько крошек хлеба и посыпал ими себе бороду и костюм, дабы казаться человеком, уже отобедавшим. Я шел, ковыряя время от времени в зубах,

приводя в порядок усы и стряхивая несуществующие крошки с плаща, так что встречные принимали меня за человека, плотно закусившего; на самом же деле, если кто чем-либо закусывал, так только вши моею грешной плотью.

Я рассчитывал на несколько своих эскудо, хотя совесть моя угрызалась преступлением против правил нашего ордена, возбранявших питаться на свои деньги тому, у кого кишки вольные: хотят — едят, хотят — постятся. Однако я твердо решил нарушить свой пост и с этим намерением добрался до угла улицы Святого Луиса, где торговал один пирожник. С его прилавка на меня глянул пирог ценою в восемь мараведи, а запах печенки так ударил мне в нос, что я мгновенно как шел, так и остановился, подобно собаке на стойке, и вперил в этот пирог свой взор. С такой страстью смотрел я на него, что он, наверное, засох, точно от дурного глаза. В голове моей то строились планы, как бы его похитить, то возникало решение его купить.

Между тем пробило час дня. На меня напала такая тоска, что я решился было найти приют в каком-нибудь кабачке. И тут, когда я уже нацелился на один из них, господу было угодно, чтобы я на пути столкнулся с лисенсиатом Флечильей, моим приятелем по Алькала, который спешил куда-то, со своим прыщавым от обилия крови лицом и в таком грязном платье, что походил на ходячую помойку в сутане. Хотя меня и трудно было признать, однако он тотчас же бросился ко мне. Я обнял его; он спросил, как идут мои дела. Я ему ответил:

— О чем только я не рассказал бы вам, сеньор лисенсиат, если бы, к несчастью, мне не надо бы уезжать сегодня вечером.

— Это меня весьма огорчает, — молвил он, — и не будь так поздно да не торопись я обедать, так как меня ждут сестра с ее супругом, я бы провел время с вами.

— Как, здесь находится сеньора Ана?! Тогда бросим все дела и идем к ней. Я долгом своим почитаю ее приветствовать.

Я воспрянул духом, узнав, что он еще не обедал, и увязался за ним. По пути я завел с ним разговор про одну бабенку, которой он очень интересовался в Алькала, и сказал, что знаю, где она находится, и могу ввести его к ней в дом. Это предложение сразу пришлось ему по сердцу, и я из хитрости завел с ним беседу о приятных ему вещах. Толкуя таким образом, мы добрались до его дома. Я рассыпался в любезностях перед его зятем и сестрой, а они, убежденные в том, что я явился к обеду по приглашению лисенсиата, стали просить прощения, что, не предупрежденные о столь высоком госте, ничем не успели запастись.

Воспользовавшись случаем, я пустился в уверения о моих давних дружеских чувствах к их семье, доказывая, что я свой человек и нехорошо было бы разводить со мной всякие церемонии.

Они сели за стол; сел и я, а чтобы лисенсиат не выказал недовольства — ему ведь и в голову не приходило меня приглашать, — время от времени поддразнивал его упомянутой дамочкой, цедя сквозь зубы, что она-де расспрашивала меня о нем, и прочее тому подобное вранье. Это примирило его с моим обжорством, ибо того разгрома, который я учинил закускам, не могло произвести и пушечное ядро. Подали олью, и я уничтожил ее почти всю в два глотка — без злого умысла, но с поразительной быстротой. Можно было подумать, что, даже когда она была у меня во рту, я все еще боялся, как бы ее у меня не отняли. Да простит меня бог, но даже кладбище Антигуа в Вальядолиде не пожирает тела мертвецов с такой быстротой — а уже через сутки от них ничего не остается, с какой я пожирал во всю силу своих челюстей подвертывавшиеся мне кушанья. Хозяева, вероятно, не могли не заметить тех огромных глотков, какими я втягивал в себя бульон, вычерпывания до дна суповой посуды, преследования, которому я подвергал кости, и истребления мяса. Сказать по правде, я, между прочим, успел набить всякой всячиной и свои карманы. Наконец убрали со стола. Мы с лисенсиатом удалились к окну, чтобы потолковать о паломничестве к названной особе, которое я взял-

ся устроить. Сделав вид, будто меня окликнули с улицы, я отозвался: «Вы меня, сеньора? Сейчас иду», — и попросил позволения у лисенсиата покинуть его на минутку. Надо полагать, что с того времени он мог бы поджидать меня до сих пор, ибо, уничтожив весь хлеб и заметив, что все встали из-за стола, я исчез навеки.

Потом я с ним встречался много раз и имел случай оправдаться, наговорив кучу выдумок, не относящихся, однако, к моему рассказу.

Пошел я куда глаза глядят, добрался до Гвадалахарских ворот и уселся на одну из скамеек, которые ставят обычно у дверей лавок. Богу было угодно, чтобы в это самое время к лавке подошли две девицы из числа тех, что пускают в оборот свои личики. Были они закутаны по самые глаза и разгуливали в сопровождении своей старухи и маленького пажа. Они спросили меня, нет ли в продаже бархата какой-нибудь особой выделки. Я — лишь бы начать с ними беседу — принялся плести всякую чепуху, играя словами и расточая любезности. По моей непринужденности они решили, что кое-что из лавки им может перепасть, я же предложил им выбрать все, что понравится, ибо в этом не было для меня никакого риска. Они стали отказываться и уверять, что никогда ничего не принимают от незнакомых людей. Я сказал, что с моей стороны было бы дерзостью ничего им не предложить, и я надеюсь, что они окажут мне милость и примут несколько кусков тканей, выписанных мною из Милана, которые вечером принесет им на дом мой слуга. Тут я указал как на своего на какого-то лакея, стоявшего напротив нас и ожидавшего своего хозяина, который зашел в другую лавку, почему слуга этот стоял с непокрытой головой. А дабы они приняли меня за человека из хорошего общества и за лицо известное, я только и делал, что снимал шляпу перед всеми проходившими мимо советниками и кавалерами и, не будучи ни с кем из них знаком, учтиво с ними здоровался, словно я с ними на короткой ноге. Девицы весьма этому обрадовались; их также ослепила сотня золотых эскудо, которую я

извлек из кармана, когда в их присутствии у меня попросил милостыню какой-то нищий. Они решили, что я весьма знатная персона. Тут, спохватившись, что им пора идти домой, ибо уже вечерело, они предупредили меня, что лакея следует прислать не иначе как тайком. Я попросил у них в знак особой милости, как бы в залог непременной завтрашней встречи, дать мне отделанные золотом четки, которые держала в руках самая из них хорошенькая. Девицы сначала поломались, я же предложил им, со своей стороны, в залог сто эскудо и попросил сказать, где они живут. В намерении нагреть меня в дальнейшем на большую сумму они отказались от залога, дали мне свой адрес, поинтересовались, где я живу, и предупредили еще раз, что лакей не может явиться к ним в любое время, ибо они — дамы высшего света. Я пошел проводить их по Большой улице и в начале улицы Тележной выбрал, как мне показалось, самый лучший и самый большой дом, у дверей которого стояла карета без лошадей, и сказал девицам, что это мое обиталище и что дом, карета и сам хозяин всего этого готовы к их услугам. Назвался я доном Альваро де Кордоба и на глазах у моих девиц скрылся в дверях этого здания. Вспоминаю также, что, когда мы выходили из лавки, я с важным видом подал знак одному из лакеев подойти ко мне и сделал вид, будто велю ему и другим лакеям оставаться здесь и ждать меня. Девиц я в этом убедил, на самом деле я спросил его, не находится ли он в услужении у моего дяди командора. Он ответил, что нет. Таким способом я ловко присвоил себе, как истый кабальеро, чужих слуг.

Наступила темная ночь, и все мы сошлись в нашем доме. Там я встретился с солдатом-тряпичником, притащившим восковую свечу, которую ему дали подержать на похоронах и с которой он улизнул. Звали его Маргусо, и родился он в Олиасе, исполнял роль полководца в некой комедии и сражался с маврами в каком-то балете. Когда он беседовал с кем-нибудь из побывавших во Фландрии, то рассказывал о своей службе в Китае, а когда его собеседниками оказыва-

лись лица, побывавшие в Китае, то он хвастался своими подвигами во Фландрии. Порой он поговаривал поставить все у нас на военную ногу, как в лагере, но, видимо, сам мог только давить вшей; он называл замки, но сам видел их разве только на монетах. Он восхвалял память дона Хуана, и я не раз слыхал, как он говорил, что имел честь быть другом самого Луиса Кихады. Он рассказывал о турках, о галионах и о полководцах все то, о чем поется в песнях. Ничего не смысля в морских делах, он рассуждал о том сражении, которое дал дон Хуан при Лепанто, полагая, что Лепанто — это какой-то весьма воинственный мавр, и нисколько не подозревая, что это название морского залива. Мы мерли со смеху.

Вскоре явился и мой спутник с разбитым носом, с перевязанной головой, весь окровавленный и грязный. Мы спросили его, что было причиной этому, и он рассказал о паломничестве к похлебке святого Иеронима и о том, как он попросил удвоенную порцию для неких благородных, но бедных особ. Эту порцию ему дали, обделив других нищих, а они в досаде отправились следом за ним и обнаружили его в укромном уголке за воротами, где он храбро разделывался со своим котелком. Начался спор о том, хорошо ли обманывать всех, чтобы нажраться одному, лишая других пищи ради собственной своей пользы. За спором в ход были пущены и палки, а вслед за палками на бедной голове моего спутника появились шишки и кровоподтеки. Атаковали его и глиняными кувшинами, а урон его носу был нанесен деревянною мискою, которую кто-то дал ему понюхать с несколько большим азартом, чем требуется. Шпагу у него отняли. На крики выбежал привратник, но и он не мог добиться мира и тишины. В конце концов приятель мой, увидав себя в столь великой опасности, взмолился:

— Я отдам вам все, что съел!

Но этого оказалось недостаточным, ибо на него обрушились за то, что, прося якобы для других, он скрыл, что

сам являлся таким же охотником на даровую похлебку, как и все остальные.

— Взгляните на этого оборванца, на эту тряпичную куклу! Выглядит он грустней, чем лавка пирожника во время поста, дыр на нем больше, чем у флейты, заплат — чем пятен у пегой лошади, а пятен — чем в ящме! — вопил какой-то нищий студент с корзинкой для подаяний. -- Тут за похлебкой стоят люди, которые могли бы стать епископами, а какая-то голытьба осмеливается ее пожирать. Я бакалавр философии из Сигуэнсы!

Привратник, услыхав, как один старикашка заявил, что хотя он и пользуется даровым супом, но тем не менее происходит от Великого Полководца и имеет знатную родню, кинулся их разнимать.

Тут я и оставлю его, ибо мой приятель удалился разбинтовывать свои мослы.

Глава XVI,

в которой речь идет о том же, пока все не попадают в тюрьму

Явился Мерло Диас со своим поясом, превратившимся в ожерелье из глиняных кувшинчиков и склянок, которые он насобирал по женским монастырям, прося у монашек напиться и без зазрения совести присваивая себе посуду. Его перещеголял Лоренсо дель Педросо, вернувшийся с промысла в роскошном плаще, который он обменял в одной бильярдной на свой столь облезлый, что тому, кому он достался, не придется больно в нем красоваться. Обычно он снимал свой плащ, как бы собираясь вступить в игру, клал его вместе с другими, а затем, сделав вид, что не нашел, с кем составить партию, уходил, прихватывая с собой тот плащ, который ему больше всех приглянулся. Проделывал он это и там, где играли в арголью и в кегли.

Все это, впрочем, оказалось пустяком в сравнении с доном Косме, который явился окруженный толпою золотушных, больных язвами, проказой, раненых и покалеченных мальчишек: он превратился в знахаря и лечил своих больных крестными знамениями и молитвами, коим его научила какая-то старуха. Этот дон Косме зарабатывал за всех, ибо если он не замечал под плащом у приходивших к нему страждущих какого-нибудь свертка или не слыхал звона денег в карманах либо писка цыплят или каплунов, то о лечении не заходило и речи. Обобрал он половину королевства, заставляя верить всему, что было ему угодно, ибо не родился еще такой искусник в обманах и лганье, как он; даже по рассеянности он не говорил правды. Он вечно поминал младенца Иисуса, входил в дома, произнося «Deo gratias» и «Дух свят да пребудет со всеми». При нем всегда были атрибуты лицемерия – четки с гигантскими зернами и выглядывавший как бы ненароком из-под плаща и омоченный в крови из носу кончик бича, коим он якобы себя бичевал. Когда он чесался от укусов вшей, то делал вид, что его терзает власяница, вынужденную же свою голодовку он выдавал за доброхотный пост и воздержание. Он перечислял, каким искушениям он подвергался; упоминая дьявола, всегда приговаривал «Да оборонит и сохранит нас господь»; при входе в церковь целовал пол, называя себя недостойным грешником, не поднимал на женщин глаз, но подолы им заворачивал. Этими выходками он так действовал на народ, что все препоручали себя его предстательству, а это было все равно что препоручать себя дьяволу, ибо он был не просто игроком, а еще и искусником, чтобы не сказать шулером. Имя господа бога он употреблял не только всуе, но и впустую, а что касается женщин, то у него было семь детей и две обрюхаченные его трудами святоши.

Пришел после этого с превеликим шумом Поланко и попросил дать ему мешок, большой крест, длинную накладную бороду и колокольчик. В таком виде он бродил по вечерам, возглашая: «Не забывайте про смертный час и уделите

что-нибудь на души чистилища» и так далее. Таким способом собирал он порядочную милостыню. Он забирался также в дома, двери которых были открыты, и если не встречал помехи или лишних свидетелей, то забирал все, что плохо лежит, а если на кого-нибудь и натыкался, то звонил в свой колокольчик и возглашал: «Не забывайте, братья» и так далее.

Все эти воровские уловки и необычайные способы существования я изучил, пробыв в этой компании месяц.

Вернемся теперь к тому дню, когда я показал моим друзьям полученные от девиц четки и рассказал их историю. Товарищи весьма хвалили мою ловкость, а четки были вручены старухе, с тем чтобы она продала их за ту цену, какую найдет подходящей. Старуха эта отправилась с ними по домам, говоря, что четки эти принадлежат какой-то бедной девушке, которая продает их, так как ей нечего есть. На всякий случай у нее были припасены свои уловки и извороты. Она то и дело плакала навзрыд, ломала руки и горестнейшим образом вздыхала. Всех она называла своими детками и носила поверх очень хорошей сорочки, лифа, кофты, нижних и верхней юбок рваный мешок из грубого холста, принадлежавший ее другу-отшельнику, обитавшему якобы в горах близ Алькала. Старуха вела хозяйство всей нашей братии, была нашей советчицей и укрывательницей краденого. Дьяволу, который никогда не дремлет, если дело касается его рабов, было угодно, чтобы в один прекрасный день, когда наша старуха поплелась продавать в какой-то дом краденое платье и разные вещицы, владелец их узнал свое имущество и привел альгвасила. Старуху, называвшуюся мамашей Лепрускас, зацапали, и она тут же созналась во всех своих делах, рассказала о нашей жизни и о том, что мы являемся рыцарями легкой наживы.

Альгвасил посадил ее в тюрьму, а затем явился к нам на дом и застал всех нас на месте. С ним было с полдюжины корчете, этих пеших палачей, и они поволокли всю нашу жульническую коллегию в тюрьму, где ее рыцарская честь оказалась в великой опасности.

Глава XVII,

в которой описывается тюрьма и все, что случилось в ней, вплоть до того, когда старуху высекли, товарищей моих поставили к позорному столбу, а меня отпустили под залог

На каждого из нас при входе в тюрьму надели наручники и кандалы и погнали в подземелье. По дороге туда я решил воспользоваться бывшими при мне деньгами и, вытащив один дублон, сказал тюремщику:

— Сеньор, я хочу сказать вам кое-что по секрету.

А чтобы он меня выслушал, я в виде задатка дал ему поглядеть на золотой. Увидев монету, он отвел меня в сторону.

— Молю вашу милость, — обратился я к нему, — о сострадании к порядочному человеку.

Потом я нашел его руки, и так как ладони его были созданы для того, чтобы принимать подобные приношения, заключил в их тиски двадцать четыре реала. Он сказал:

— Я посмотрю, что это за болезнь, и если она не серьезна, подземелья вам не миновать.

Я понял всю тонкость его обращения и весьма смиренно что-то ему ответил. Он оставил меня наверху, а товарищей моих всех отправил вниз.

Не буду подробно рассказывать о том веселье и смехе, которые сопутствовали нам, пока нас вели по городу и доставляли в тюрьму. Шли мы связанные, подбадриваемые пинками, одни без плащей, другие волоча их за собою. Любопытное зрелище являли собою наши персоны, облаченные в заплатанные и весьма пестрые одеяния. Иного из нас, не имея возможности схватить за что-нибудь мало-мальски надежное, придерживали просто за голое тело. Другого и за тело было невозможно схватить — так он исхудал от голода. Некоторые шли, оставив в руках у полицейских куски своих расползшихся курток и штанов. Когда же развязали веревку, которой все мы были скручены,

она лишила нас последних наших лохмотьев, напрочно к ней прилипших.

С наступлением ночи меня положили спать в общую камеру. Мне дали койку. Стоило посмотреть, как некоторые заключенные заваливались спать не раздеваясь, между тем как другие одним движением скидывали с себя свой скудный наряд. Кое-кто занялся игрою. Нас заперли и погасили свет. Мы позабыли о своих кандалах.

Параша была расположена как раз у моего изголовья. То и дело ею приходили пользоваться ночью. Прислушиваясь к издаваемым звукам, я сначала думал, что это раскаты грома, и начинал креститься, поминая святую великомученицу Варвару, но потом, различив запах, понял, что раскаты эти совсем не небесного происхождения. Воняло так, что я чуть не помер. Кого просто несло, а кого — как на пожар. В конце концов я вынужден был потребовать, чтобы посудину перенесли куда-нибудь в другое место. По этому поводу произошел обмен крепкими словечками. Я не заставил себя ждать и одного из тех, кто обеспокоил мой сон, не долго думая, смазал по физиономии ремнем. Он подскочил и опрокинул посудину. Все проснулись и начали в темноте лупить друг друга ремнями; вонь стояла такая, что все повскакали. Поднялся великий шум, и начальник тюрьмы, полагая, что от него удрал кто-нибудь из его вассалов, примчался, вооруженный, со всем своим войском. Открыли дверь, внесли свет, и он осведомился, что произошло. Все свалили вину на меня. Я оправдывался, доказывая, что всю ночь мне не давали сомкнуть очей, так как все поочередно открывали свое очко. Тюремщик, считая, что я скорее дам ему еще дублон, нежели погружусь в подземелье, воспользовался этим случаем и велел мне идти вниз. Я же решил лучше пойти в подземелье, но только не отдавать свой кошелек на полное разграбление. Меня отвели вниз, где я был встречен ликованием и радостью моих друзей.

Эту ночь я спал тревожно. Наконец господь послал нам утро, и мы выбрались из подземелья. Мы посмотрели друг

на друга, и первое, что нам велели наши соседи, — это внести некую мзду на наведение чистоты, до чистоты непорочной девы Марии никакого отношения не имеющей, иначе они всыплют нам по первое число. Я тотчас же выложил шесть реалов, товарищам моим нечего было дать, и им пришлось остаться в подземелье на следующую ночь.

Вместе с нами сидел некий парень — кривой, долговязый, усатый, с мрачным лицом, с согнутой спиной, на которой были заметны следы плетей. Железа на нем было больше, чем в Бискайе, — две пары кандалов и цепь у пояса. Называли его Дылдой. Он говорил, что сидит за прегрешения по ветряной части. В моем воображении последовательно возникали мельницы, кузнечные мехи, веера. Но когда ему задали вопрос, что из этого послужило причиной его ареста, он сказал, что не это его погубило, а то, что он зады повторял; я сначала решил, что сидит он не впервой и все за те же преступления, и лишь потом сообразил, что он имеет в виду мужеложество. Когда начальник тюрьмы ругал его за какие-либо провинности, тот огрызался, обзывая его кладовщиком палача и смотрителем погреба человеческих вин. В преступлениях своих он покаялся, но не раскаивался, и был настолько отчаянным, что мы вынуждены были принять особые меры предосторожности, и никто даже шептуна не решался пустить, боясь напомнить ему о месте, где кончается спина. Парень этот водил дружбу с другим молодцом, по имени Робледо, а по прозвищу Сверленый. Тот говорил, что сидит за вольнолюбие, ибо руки его без стеснения забирали все, что подвертывалось. Драли его больше, чем почтовую лошадь, и не было палача, который не испытал бы на нем силу своих рук. Лицо у него было исполосовано ножевыми ранами, число ушей не парным, а ноздри зашиты, но не столь ловко, как были рассечены они надвое ножом. С этими двумя молодыми людьми водило компанию еще четверо — столь же дерзких на вид, как львы на гербах, с ног до головы закованных в цепи и осужденных на галерные работы. Они говорили, что скоро смогут похвалиться своей службой королю на суше и на море. Трудно поверить, с какой радостью ожидали они своей отправки.

Вся эта компания, раздосадованная тем, что мои товарищи не платят тюремных податей, решила ночью, как говорится, напустить на нас змей, то есть отодрать предназначенной для этой цели веревкой. Наступила ночь. Нас запрятали в самый дальний карман тюрьмы и погасили свет. Я тотчас забрался под нары. Двое из молодцов начали посвистывать по-змеиному, а третий — работать веревкой. Наши бедные рыцари, увидав, что дело приняло такой оборот, тесно прижались друг к другу своими телами, которые для вшей и коросты составляли и завтрак, и обед, и ужин; они целым клубком завалились в щель между нарами, вроде гнид в волосах или клопов в кровати. От ударов веревок трещали доски, а избиваемые молчали. Мерзавцы, не слыша воплей своих жертв, перестали лупить их веревками и принялись забрасывать кирпичами и всякими обломками. Один из них угодил в темя дону Торибио и раскроил ему башку. Тот заорал, что его убили. Дабы никто не услыхал криков, мошенники стали петь хором и лязгать кандалами. Дон Торибио же, ища спасения, силился подлезть под своих соседей. Стоило послушать, как от этих усилий стучали их кости — точь-в-точь как трещотки святого Лазаря. Одежда их окончила свое существование, нигде не осталось ни лоскутка. Камни и другие метательные снаряды сыпались в таком изобилии, что в скором времени в голове названного дона Торибио оказалось больше дыр, чем в его платье. Не находя никакого укрытия от этого града небесного и чувствуя, что ему приходит мученический конец святого Стефана, хотя святостью его он не обладал, он взмолился, чтобы его отпустили, обещая заплатить выкуп и отдать в залог свое платье. Это было ему разрешено, и, к огорчению всех остальных, кои за ним прятались, он еле-еле выполз с пробитой головой и перебрался на мою сторону. На головы остальных, хотя обладатели их и поспешили принять то же решение, успело обрушиться больше черепичных обломков, чем росло на них волос. В уплату подати они предложи-

ли свое платье, справедливо рассудив, что лучше лежать в постели из-за отсутствия одежды, нежели из-за ранений. В эту ночь их поэтому оставили в покое, а утром потребовали, чтобы они разделись. Они разделись, но тут выяснилось, что всего их тряпья не хватило на подшивку и пары драных чулок.

Всем им пришлось остаться в кровати под лохматым шерстяным плащом, завернувшись в который обычно давят вшей. Прикрытие это скоро дало знать о себе, ибо последние набросились на них, как голодные собаки. Были там вши-великаны и такие, что смогли бы впиться в ухо быка. Злополучные товарищи мои уже боялись быть съеденными заживо. Пришлось скинуть этот несчастный плащ и, проклиная судьбу, до крови царапать себе тело ногтями. Я выбрался из подземелья, попросив у них прощения за то, что вынужден с ними расстаться, еще раз сунул в руку тюремщика три реала по восемь мараведи и, узнав, кто из судейских писарей ведает моим делом, послал за ним мальчишку на побегушках. Тот явился, мы с ним уединились, и я, рассказав о своем деле, упомянул, что у меня есть кое-какие деньги, и попросил его взять их на хранение, а если представится случай, то и заступиться за несчастного идальго, который обманом был вовлечен в преступную шайку.

– Поверьте, ваша милость, – сказал он, клюнув на мою приманку, – тут все зависит от нас, и если в нашей компании окажется негодный человек, то он может натворить много зла. Я просто так, ради удовольствия присудил к галерам больше невинных, чем бывает букв в судебном протоколе. Доверьтесь мне и будьте покойны, что я вытащу вас отсюда целым и невредимым.

С этим он ушел, однако в дверях обернулся и попросил у меня чего-нибудь для добрейшего альгвасила Дьего Гарсии, которому следует, мол, заткнуть рот серебряным кляпом, и еще для какого-то докладчика по делу, дабы помочь ему проглотить все пункты обвинения.

– Докладчик, сеньор мой, – объяснил мне писарь, – может одним лишь нахмуриванием бровей, возвышением голоса или топаньем ноги, посредством чего он привлекает внимание обычно рассеянного судьи, – словом, одним движением сжить со света любого христианина.

Я сделал вид, что понял его, и добавил еще пятьдесят реалов. В благодарность за это он посоветовал мне поднять воротник моего плаща и сообщил два средства от простуды, которую я схватил в холодной тюрьме. На прощание он сказал, взглянув на мои оковы:

– Не печальтесь. За восемь реалов начальник тюрьмы окажет вам всякие послабления. Это ведь такой народ, который добреет только тогда, когда это ему выгодно.

Мне понравился этот совет, и по уходе писаря я дал начальнику эскудо, и тот снял с меня наручники.

Он пускал меня к себе в дом. У него была жена – настоящий кит – и две дочки, дуры и уродины, но тем не менее крайне склонные к распутству. Случилось, пока я был там, что начальник, которого звали Бландонес де Сан Пабло (жена его прозывалась донья Ана де Мора), пришел однажды к обеду, задыхаясь от бешенства. Есть он не захотел. Супруга его, подозревая большую неприятность, так пристала к нему со своими назойливыми расспросами, что он в конце концов вскричал:

– А что же делать, если этот негодяй и вор Альмендрос, апосентадор, когда мы поспорили с ним относительно арендной платы, сказал мне, что ты нечиста?

– А он что, подол мне чистил, что ли? – вскипела она. – Клянусь памятью моего деда, ты не мужчина, раз не вырвал ему за это бороду! Позвать мне разве его служанок, чтобы они меня почистили? Слава богу, – тут она обернулась ко мне, – я не такая иудейка, как он. Из тех четырех куарто, что ему цена, два – от мужика, а остальные восемь мараведи – от еврея. Честное слово, сеньор Паблос, если б он сказал это при мне, я бы напомнила ему, что на плечах у него мотовило святого Андрея!

Тогда весьма опечаленный начальник тюрьмы воскликнул:

— Ах, жена, молчи, ибо он сказал, что на мотовиле этом есть виток-другой и твоей пряжи и что нечиста ты не потому, что свинья, а потому, что не ешь свинины.

— Значит, он назвал меня иудейкой? И ты так спокойно об этом говоришь? Так-то ты бережешь честь доньи Аны Мора, внучки Эстебана Рубио и дочери Хуана де Мадрида, что известно богу и всему свету?

— Как, — вмешался тут я, — вы дочь Хуана де Мадрида?

— А как же, — ответила она, — дочь Хуана де Мадрида из Ауньона.

— Клянусь богом, что тот, кто оскорбил вас, — сам иудей, распутник и рогоносец! Хуан де Мадрид, царствие ему небесное, — продолжал я, — был двоюродный брат моего отца, и я всем докажу, кто он такой, ибо это задевает и меня. Если меня выпустят из тюрьмы, я заставлю этого мерзавца сто раз отказаться от своих слов. У меня в городе есть особая грамота, касающаяся и отца, и дяди, писанная золотыми буквами.

Все чрезвычайно обрадовались новому родственнику и воспрянули духом, узнав про грамоту. Грамоты, впрочем, такой у меня не было, да я и понятия не имел, кто они такие. Супруг пожелал в подробностях осведомиться о нашем родстве, а я, дабы он не уличил меня во лжи, клялся, божился и делал вид, что все еще не могу прийти в себя от ярости. Тогда они стали успокаивать меня и уговаривать не думать и не говорить об этом деле. Я же время от времени нарочно и как бы невзначай восклицал: «Хуан де Мадрид? Все, что он про него наплел, — это же курам на смех!» Или: «Хуан де Мадрид? Так ведь его отец был женат на толстой Ане де Асеведо!» А затем снова на некоторое время умолкал.

В конце концов начальник тюрьмы дал мне в своем доме стол и постель; а писец по его просьбе и благодаря моему подкупу обстряпал все так удачно, что старуху вывезли из тюрьмы на всеобщее рассмотрение верхом на некоем сером животном, коего тащили на поводу, между тем как шествие возглавлял певец ее провинностей. Оповещение о ней было таково: «Женщине сей за воровство». Такт марша

отбивал ей по спине палач, согласно предписанию сеньоров в судейских мантиях. За нею следовали мои товарищи, без шляп, с открытыми лицами, на водовозных клячах. Их поставили к позорным столбам, причем оттого, что на них были одни лохмотья, срам их усугублялся, ибо каждый мог его обозревать, а потом выслали каждого из Мадрида на шесть лет. Я был выпущен под залог по милости писца, да и докладчик по моему делу не сплоховал: он взял тоном ниже, говорил тихо и долго; читая мое дело, ловко перепрыгивал через основания обвинения и проглатывал целые параграфы.

Глава XVIII

О том, как я водворился в гостинице, и о несчастье, которое меня там постигло

Выйдя из тюрьмы, я очутился один-одинешенек и без друзей. Хотя они и дали мне знать, что пойдут по севильской дороге, прося милостыню, присоединиться к ним я не пожелал.

Решил я поселиться в гостинице, где и познакомился с одной девицей — рыжеволосой, беленькой, веселой, охотно вмешивающейся в чужие дела, порой сдержанной, а порой весьма сговорчивой и услужливой. Девица эта немножко сюсюкала и пришепетывала, боялась мышей, была уверена, что у нее красивые ручки, и, чтобы все ими любовались, всегда сама снимала нагар со свечей и разрезала еду за столом. В церкви она сидела, сложив руки на груди, на улицах указывала пальчиком, кто в каком доме живет, в гостиной постоянно поправляла в волосах шпильку, если же играла, то только в пи686спириганью, ибо и тут можно было показать ручки. Время от времени она нарочно позевывала, чтобы показать зубки и иметь повод перекрестить ротик. Одним словом, все в доме было ее ручками так щупано и перещупано, что она уже надоела собственным родителям. Они меня очень хорошо приняли в своем доме, ибо я пого-

варивал, что хотел бы снять его. Кроме меня, здесь жили один португалец и какой-то каталонец. И тот, и другой обошлись со мной весьма учтиво. Девица показалась мне годной для развлечения от скуки, и это было тем более удобно, что я проживал с нею под одной крышей. Я начал с того, что не спускал с нее глаз, рассказывал разные разности, которых понабрался для приятного времяпрепровождения, сообщал всяческие новости, хотя нигде их и не узнавал, короче говоря — оказывал ей и ее родителям множество услуг, которые мне самому ничего не стоили. К тому же я сообщил им, что сведущ в колдовстве и что могу, если пожелаю, сделать так, что всем покажется, будто их дом горит, и всякую другую ерунду, которую они принимали всерьез, так как были очень легковерными людьми. Одним словом, я завоевал всеобщее расположение, но не сумел еще покорить девицу, ибо не был одет как нужно, хотя несколько и улучшил свое платье при содействии начальника тюрьмы, которого продолжал навещать, поддерживая с ним родственные связи в обмен на мясо и хлеб. Из-за плохой одежды меня не ценили в должной степени.

Дабы меня принимали за человека, скрывающего свои богатства, я подсылал в гостиницу в свое отсутствие разных приятелей. Сначала пришел один из них и спросил сеньора дона Рамиро де Гусмана, как я назвал себя, ибо друзья убедили меня, что переменить имя ровно ничего не стоит и весьма полезно. Он спросил «дона Рамиро, делового человека, богача, который только что выхлопотал себе три подряда у короля». Хозяйки не узнали меня по этому описанию и ответили, что у них живет некий дон Рамиро де Гусман, но не столь богатый, сколь оборванный, низкий ростом, некрасивый лицом и бедный.

— Так это он и есть, — объявил мой приятель, — и я не пожелал бы иметь большей ренты на службе господу богу, чем тот доход в десять тысяч дукатов, который он получает.

Он понарассказал им еще всякого вздору, от коего они пришли в полнейшее изумление, и ушел, попросив передать мне к акцепту подделанный вексель на девять тысяч эс-

кудо. Тут и дочка, и мать поверили в мое богатство и заранее стали прочить меня в мужья. Я пришел домой с совершенно невозмутимым видом, а они уже в дверях вручили мне вексель и сказали:

— Деньги и любовь трудно скрыть, сеньор Рамиро. Почему же вы, ваша милость, таились от нас, зная о нашем к вам расположении?

Притворившись недовольным, что они узнали о векселе, я удалился в свою комнату. Нужно было видеть, как, поверив в мое богатство, стали они уверять, что все мне идет, восхищаться моим красноречием, находить, что ни у кого, кроме меня, нет такого изящества! Убедившись в том, что они попались на удочку, я объяснился девчонке в любви, и она выслушала меня с огромным удовольствием, наговорив мне, в свою очередь, тысячу самых лестных вещей. Мы разошлись, и в один из ближайших вечеров я, дабы еще больше утвердить их в мысли о моем богатстве, заперся в своей комнате, которая отделялась от их помещения всего лишь тонкой переборкой, и, достав свои пятьдесят эскудо, пересчитал их столько раз, что на слух можно было принять их за шесть тысяч. Окончательно уверившись тогда в моей денежной наличности, они сна лишились, чтобы угодить мне и исполнить все мои желания.

Португальца звали senhor[1] Васко де Менезес, fidalgo[2] ордена Христа. Он носил длинный шерстяной плащ, высокие сапоги, низенький воротник и огромные усы. Кавалер этот сгорал от любви к донье Беренгеле де Робледо — так звали мою девицу, и пытался влюбить ее в себя, чаще вздыхая за разговором, чем святоша за проповедью великим постом. Он скверно пел и вечно ссорился с каталонцем, самым скучным и жалким из всех божьих созданий. Обедал он, как перемежающаяся лихорадка, через два дня на третий и довольствовался столь черствым хлебом, что его едва мог укусить самый злоречивый человек. Он строил из себя весьма бравого мужчину, но разве только яиц не нес, ибо

1 Сеньор (*португ.*).
2 Кавалер (*португ.*).

во всем остальном был совершенной курицей и хвастался как курица, только что снесшая яйцо. Заметив, как быстро подвигаюсь я вперед, оба стали злословить на мой счет. Португалец говорил, что я вшивый мошенник и голодранец, а каталонец называл меня трусом и подлецом. Я все это знал и порой слыхал собственными ушами, но был не расположен им отвечать.

В конце концов девица стала тайком со мной беседовать и принимать мои записки. Начинались они, как обычно: «В этой моей дерзости повинна ваша превеликая красота...» Дальше я предлагал ей себя в рабы, а вместо подписи изображалось сердце, пронзенное стрелой. Мало-помалу мы перешли на ты, и я, дабы дать новую пищу ее вере в мое высокое положение, в один прекрасный день вышел из дому, нанял мула, прикрыл лицо плащом и, изменив голос, подъехал к гостинице и спросил о себе самом: не живет ли здесь его милость сеньор Рамиро де Гусман, владетель Вальсеррадо и Велорете.

— Да, здесь живет невысокого роста кабальеро, которого зовут именно так, — откликнулась девушка.

Я сделал вид, что сообщенные ею приметы меня убедили, что он и есть, кого я ищу, и попросил передать ему, что дон Дьего де Солорсано, его управляющий, приезжал собирать причитающиеся ему доходы и заезжал, дабы поцеловать ему ручки. После этого я удалился и вскоре пришел обратно в своем настоящем виде. Хозяева встретили меня с необычайной радостью, упрекнув, зачем я скрыл от них свои владения в Вальсеррадо и Велорете, и передали поручение управителя.

Этот случай совсем сразил мою девицу, возжаждавшую столь богатого мужа, и мы сговорились с нею о свидании в час ночи в ее комнате, в которую можно было попасть через коридор, выходивший на крышу, куда было обращено ее окно. Всепроницательный дьявол устроил так, что когда я с наступлением ночи, обуреваемый желанием насладиться представившимся случаем, вышел в коридор и стал выбираться на крышу, то поскользнулся, полетел и грохнулся

на крышу соседнего дома, где жил какой-то судейский писец, с такой силой, что перебил все черепицы. От шума проснулся весь дом, и, думая, что это воры — судейские обо всех судят по себе, — люди полезли на крышу. Заметив их, я попытался спрятаться за трубу, но тем только усилил их подозрения. Писец, его брат и двое его слуг поколотили меня палками и связали, не оказав мне никакого уважения, и все это на глазах моей дамы. Она, видя все это, только заливалась смехом, ибо, как я уже сказал, считала меня магом и волшебником и вообразила, что это все шутка и некромантия, а потому начала просить меня подняться к ней на крышу: она, мол, посмеялась вдоволь и предостаточно, Я выл под палками и тумаками, но самое обидное было то, что она, думая, будто все это устроено мною нарочно, не переставала хохотать.

Писец тут же стал вести дознание и, услыхав бряцанье ключей в моем кармане, признал их за отмычки и так и записал в протоколе, хотя ясно было видно, что это ключи. Когда я назвал себя доном Рамиро де Гусманом, он весело расхохотался. Удрученный тем, что меня колотили палками на глазах моей возлюбленной, схватили без всякого основания и считают вором, я не знал, как мне поступить. Я преклонял перед писцом колени, но ни этим, ни каким-либо иным способом ничего от него не добился.

Все это происходило на крыше, а судейские способны и черепицы на крыше призвать в свидетели обвинения. Меня велели спустить вниз, что и сделали через окно комнаты, служившей кухней.

Глава XIX,

в которой идет рассказ о том же и о разных других происшествиях

Всю ночь я не сомкнул очей, размышляя о своем несчастье, заключавшемся не столько в падении на крышу, сколько в

том, что я попал в руки судейского писца. Вспоминая же найденные будто бы в моем кармане отмычки и исписанные по этому поводу листы дознания, я понял, что ничто не разрастается так в своей величине, как вина под властью судейского крючкотвора. Ночь напролет я измышлял всяческие планы. Мне приходило в голову молить его именем Иисуса Христа, но, вспомнив, что эти книжники сотворили с Христом, я отказался от этой мысли. Много раз пробовал я освободиться от пут, но писец тотчас слышал, что я ворочаюсь, и вставал проверять узлы. Ему, пожалуй, больше не терпелось засудить меня, чем мне освободиться. Чуть только забрезжило утро, писец оделся и, пока в доме все еще спали, явился вместе со своими свидетелями, взялся за ремень и хорошенько прогулялся им по моей спине, обвиняя меня в пороке воровства с таким усердием, с каким может обвинять лишь тот, кто сам предается этому пороку. Так мы проводили время: он – одаряя меня ударами, а я – подумывая о том, чтобы одарить его деньгами – этой кровью невинного агнца, лишь с помощью которой можно обрабатывать самые твердые алмазы; как вдруг, подвигнутые просьбами моей возлюбленной, которая видела мое падение и убедилась в том, что это не волшебство, явились португалец и каталонец. Писец, видя, что они разговаривают со мной, навострил перо и решил тут же пришпилить их, как моих соучастников. Португалец не стерпел этого и довольно неучтиво с ним поспорил, заявив, что он благородный fidalgo de casa du rey[1] и что я – home muito fidalgo[2] и безобразие и подлость держать меня связанным. Тут он принялся освобождать меня от уз, писец поднял крик о сопротивлении властям, слуги же его – нечто среднее между полицейскими и крючками, – поскидав и потоптав ногами свои плащи и порвав на себе воротники, что делается, дабы изобразить не имевшую места драку, стали призывать заступничество королевской власти. Наконец португалец

1 Идальго из придворных (*португ.*).
2 Человек весьма благородного происхождения (*португ.*).

и каталонец развязали меня. Тогда писец, видя, что ему никто не помогает, заявил:

– Со мной, клянусь богом, так поступать нельзя, и, не будь ваши милости тем, кем вы являетесь, это могло бы вам дорого обойтись! Велите-ка удовлетворить этих свидетелей и примите во внимание, что я остаюсь без всякой выгоды.

Я сразу смекнул, в чем тут дело, вытащил восемь реалов и отдал их. Хотелось мне возвратить писцу полученные удары, но, решив промолчать о них, я оставил эту мысль и ушел со своими заступниками, принося им свою благодарность за освобождение и избавление. Лицо мое было все в синяках, а плечи выражали недовольство палочной расправой.

Каталонец очень смеялся и советовал моей девице выходить за меня замуж, дабы перевернуть пословицу «Сначала рогатый, потом побитый» на «Сначала побитый, потом рогатый». Называли они меня смельчаком и решительным мужчиной, играя двумя значениями слова sacudido, значащим еще и «человек, из которого выбили пыль». Стоило мне войти в комнату, где они находились, как тотчас же начинался разговор о палочных ударах или же о батогах и кольях. Все это меня весьма изводило. Видя, что я становлюсь предметом насмешек и оскорблений, и заметив, что вера в мое богатство пошатнулась, я начал подумывать о том, как бы удрать из этого дома, а для того, чтобы не заплатить за еду, постель и прожитие, что составляло изрядное количество реалов, и благополучно вынести мои пожитки, сговорился я с неким лисенсиатом Брандалагасом, родом из Орнильоса, чтобы он с двумя своими приятелями в одну из ближайших ночей явился меня арестовать. Они пришли в назначенный час и заявили хозяевам, что посланы святейшей инквизицией и что в сем случае требуется сохранение полной тайны. Все перетрусили, ибо я выдавал себя здесь за некроманта. Когда меня потащили, хозяева молчали, но когда дело дошло до моих вещей, то они попросили оставить их им в обеспечение моего долга, но получили в

ответ, что это достояние инквизиции. На это ни одна душа не пикнула. Инквизиторы спокойно убрались вместе со мною, а хозяева сказали только, что они всегда этого опасались. Каталонцу и португальцу они рассказали, что, видно, те, кто раньше приходил за мною, были демоны и что я с ними водился на свою погибель, а когда я, дескать, пересчитывал свои деньги, то это только так казалось, а на самом деле никаких денег не было. Те поверили всему этому, а я унес с собою и мои вещи, и то, что должно было обеспечить мое пропитание.

По совету моих освободителей я переменил одежду на штаны с лентами и модное платье с большим гофрированным воротником, а кроме того, завел себе лакея, так сказать, разменной монетой, ибо, собственно, вместо одного лакея у меня было два пажа, что в то время было принято. Друзья поощряли это расточительство, рисуя все выгоды, которые меня ожидают, если меня примут за богатого жениха, и уверяя, что подобные случаи нередки в столице. Обещали они также направить меня туда, где все дальнейшее будет зависеть уже только от моей предприимчивости. Я, как человек ушлый и жаждущий подцепить какую-нибудь даму, без труда решился на подобный шаг.

Я походил по распродажам и купил себе жениховский наряд. Узнал я также, где берут напрокат лошадей, и воссел на одну из них, но в первый день лакея я себе еще не нашел. Я двинулся по Большой улице и остановился у шорной лавки, как будто бы собираясь что-то присмотреть. В это время подъехали два всадника, за каждым из которых следовали по два лакея, и спросили, не собираюсь ли я купить серебряную уздечку, которую я держал в руках. Мы вступили в беседу, и я, наговорив им кучу любезностей, несколько задержал их. Наконец они сказали, что собираются ехать на гулянье в Прадо, а я попросил, если это не будет им в тягость, принять меня в свою компанию. Купцу я велел, когда явятся мои пажи и лакей, послать их в Прадо, описал ему их ливреи и отправился в путь вместе с двумя всадниками. Я сообразил, что никто из видящих нас не в силах будет разобрать, кому принадлежат сопровождавшие нас пажи и лакеи и кто из нас их не имеет. Я весьма смело завел разговор о конных состязаниях в Талавере, о том, что у меня есть белая с синим отливом, словно фарфоровая, лошадь и весьма хвастался жеребцом, которого мне будто бы должны доставить из Кордовы. Встречая какого-нибудь пажа, ехавшего верхом, или лакея, я их останавливал, расспрашивая, у кого они служат, распространялся по поводу их ливреи и осведомлялся, не собираются ли хозяева продать этого коня. Я просил их раза два проехать туда и обратно по улице и непременно находил у лошади или придумывал какой-нибудь изъян во рту и советовал, как его исправить. Подобных случаев подвернулось мне несколько, и я заметил, что спутники мои были удивлены и как будто бы спрашивали друг друга: «Что это за хвастливый дворянин?», и, так как один из них носил на груди орденский знак, а другой был украшен бриллиантовой цепью, что само по себе уже свидетельствовало о его высоком положении, я объяснил им, что присматриваю хороших лошадей для себя и своего двоюродного брата, потому что мы собираемся принять участие в неких празднествах.

Мы достигли Прадо. Я, вынув ноги из стремян, выставил пятку наружи и стал гарцевать, закинув плащ за одно плечо и держа шляпу в руках. Все меня разглядывали. Кто-то сказал: «Мне он где-то попадался пеший», другой: «Ого, недурно устроился, пройдоха!», но я делал вид, что ничего не слышу, и ехал дальше.

Оба моих спутника подскакали к карете с какими-то дамами и попросили меня позанять их шутливым разговором. Я предоставил им развлекать молодых девиц, а сам заехал с того боку, где сидели мать с теткой. Они оказались бойкими старушками, одна лет пятидесяти, а другая несколько моложе. Я расточал перед ними тысячи нежностей, и они выслушивали меня, ибо нет такой женщины, как бы стара она ни была, у которой самомнения было бы меньше, чем годов. Я пообещал им кое-какие подношения и осведомился о молодых дамах, и они ответили, что это

девицы; это, впрочем, можно было понять и из их разговоров. Я, как полагается, выразил желание, чтобы они были устроены так, как того заслуживают их достоинства. Старушкам весьма понравилось слово «устроены». Они спросили меня, чем я занимаюсь в столице. Я ответил, что скрылся здесь от своих родителей, которые против моей воли хотели женить меня на уродливой, глупой и неважного рода женщине, польстившись на ее приданое, а я, сеньоры, предпочитаю иметь супругу чистой крови, а не богатую еврейку, ибо по милости божьей майорат мой дает мне сорок тысяч дукатов дохода, а если я выиграю еще выгодный для меня процесс, то больше мне ничего не потребуется.

– Ах, сеньор, как бы мне этого хотелось! – поспешила тут вставить свое слово тетка. – Не женитесь иначе, как по своему выбору, на девушке из хорошей семьи. Уверяю вас, хоть я и не очень богата, но до сих пор не соглашалась выдать мою племянницу замуж, несмотря на весьма выгодные предложения, ибо не находила ей достойной партии. У нее, бедняжки, всего только шесть тысяч дукатов приданого, но родовитостью своей она поспорит со всякой.

– Этому я охотно верю, – ответил я.

Тут девицы прервали разговор, попросив моих друзей чем-нибудь их угостить.

Один посмотрел на другого,
И оба, смутясь, задрожали...

Поняв причину их затруднения, я поспешил высказать сожаление, что при мне нет моих слуг, которых можно было бы послать домой за коробками со сластями. Дамы поблагодарили меня за любезность, а я тут же пригласил их на следующий день в Каса-дель-Кампо, заодно испросив разрешения прислать им на дом каких-нибудь сластей. Они тотчас приняли это приглашение, сказав мне, где живут, и спросили мой адрес. Карета их отъехала, а я с моими спутниками направился домой. Заметив, что я щедр на угощение, мои новые приятели прониклись ко мне нежными чувствами и, дабы оказать мне внимание, пригласили вечером

откушать с ними. Я заставил их немножко себя упрашивать, но все же отужинал, время от времени посылая за моими якобы замешкавшимися слугами и клянясь выгнать их из дому. Пробило десять часов, я сказал, что мне нужно спешить на некое любовное свидание, и попросил разрешения откланяться. Распрощавшись, мы условились, что завтра вечером встретимся в Каса-дель-Кампо.

Я возвратил коня его хозяину и поспешил домой, где застал моих товарищей за игрой в кинолу. Я рассказал им о моем знакомстве и о том, что сговорено на сегодня и на завтра, и мы решили без промедления отослать дамам различных угощений, затратив на это двести реалов, после чего легли спать. Признаюсь, всю ночь я не мог заснуть, так как был озабочен мыслями, что мне делать с приданым. Больше всего меня тревожил вопрос, обзавестись ли домом или же пустить его в оборот под проценты. Я не знал, что будет лучше и выгоднее для меня.

Глава XX,

в которой продолжается рассказ о том же и о разных примечательных событиях и несчастьях

Наступило утро, и мы проснулись; нам надо было позаботиться о слугах, посуде и кушаньях. В конце концов, так как деньги созданы, чтобы всем повелевать, и нет никого, кто не питал бы к ним уважения, я, заплатив сколько следует буфетчику одного сеньора, получил от него посуду в придачу с ним самим и тремя слугами. День прошел в хлопотах и приготовлениях, а к вечеру я уже взял напрокат лошадку и в назначенный час пустился в путь в Каса-дель-Кампо. За пояс у меня было заткнуто несколько бумаг, как бы важных мемориалов, шесть пуговиц моего камзола были расстегнуты, и из-под него тоже выглядывали бумаги. Когда я прибыл на место, там уже оказались поджидавшие меня дамы и кавалеры. Первые встретили меня очень радушно, а вто-

рые в знак короткого знакомства стали обращаться ко мне не «ваша милость», а просто на вы. Я сказал, что меня зовут доном Фелипе Тристаном, и затем все время только и было разговору, что о доне Фелипе во всех его видах. Я пустился в рассказы о том, что, занятый по горло делами его величества и счетами по моему майорату, я боялся не исполнить своего обещания и вот теперь приглашаю их немедленно приступить к угощению. Тут появился буфетчик со всем своим снаряжением, посудой и слугами. Все присутствующие, в том числе и дамы, молча смотрели на меня. Я велел приготовить ужин в беседке, пока мы погуляем у прудов. Старушки состязались в любезностях по моему адресу, а девушки, к моему удовольствию, открыли свои лица. С того мига, как бог меня создал, я не видел ничего столь прекрасного, как та, которую я наметил себе в супруги: она была белолица, с золотистыми волосами, румяными щечками, маленьким ротиком, мелкими частыми зубками, правильным носиком, большими черными глазами, высокая ростом, с красивыми руками и немножко пришепетывала. Другая была также недурна, но более развязна и показалась мне уже довольно опытной в поцелуях. Мы прошлись к прудам, осмотрели там все, и из разговора я понял, что моя невеста во дни Ирода-царя подвергалась бы величайшей опасности, ибо по части ума была совершенным младенцем. Она ни о чем не имела никакого понятия, но так как я не ищу в женщинах ни советчиц, ни забавниц, а люблю их только за то, что с ними можно спать, а спать с уродинами или слишком умными – это то же, что ложиться в кровать с Аристотелем, или Сенекой, или какой-либо другой книгой, то для искусства греха я выбираю хорошеньких. Мы вернулись к беседке, и я, проходя мимо куста, разорвал себе о ветку воротник. Девица тотчас же поспешила застегнуть его серебряной булавкой, а ее матушка попросила завтра же прислать им этот воротник на дом, чтобы его починила донья Ана – так звали ее дочку. Все блюда, как горячие, так и холодные, фрукты и сладости, были в полном порядке и изобилии. Мы весело поужинали, я рассыпался в

любезностях по адресу моих гостей, а они не оставались в долгу. Когда убрали со стола, я увидел, что по парку шествует какой-то кавалер в сопровождении двух слуг. Каково было мое изумление, когда я распознал в нем моего доброго дона Дьего Коронеля. Он подошел ко мне и, видя меня в богатом платье, то и дело поглядывал на меня. Разговаривая с девицами, которых он называл двоюродными сестрами, он не спускал с меня глаз. Я в это время занялся с буфетчиком, а два других кавалера, оказавшиеся друзьями дона Дьего, пустились с ним в оживленную беседу. Он их спросил, как это выяснилось потом, кто я такой, и они сказали, что я дон Фелипе Тристан, весьма благородный и богатый человек. Тут он, я заметил, перекрестился, а потом на глазах у всех подошел ко мне и сказал:

– Простите меня, ваша милость, но, ей-богу, я принимал вас, пока не узнал вашего имени, совсем за другое лицо, ибо в жизни моей не видел столь великого сходства, которое вы являете с моим бывшим слугой Паблосом, сыном сеговийского цирюльника.

Все громко засмеялись, а я, силясь не выдать себя краской, которая заливала мне лицо, сказал, что очень бы хотел взглянуть на этого человека, ибо с разных сторон я только и слышу, что о нашем необычайном сходстве.

– Господи Иисусе! – воскликнул дон Дьего. – Какое там сходство! Фигура, голос, манеры... Это что-то невиданное. Уверяю вас, сеньор, я ничего подобного не встречал!

Тогда старушки, тетка и мать, заметили, что столь знатный кабальеро, как я, не может походить на какого-то там мошенника, а одна из них, дабы снять всякое подозрение, заявила:

– Я очень хорошо знаю дона Фелипе, ибо это он принимал нас по просьбе моего супруга в Оканье.

Я понял ее намерение и сказал, что единственное мое желание – это по мере моих слабых сил неизменно служить им. Дон Дьего со своей стороны уверил меня в своей преданности и попросил извинения за обиду, нанесенную мне сравнением с сыном цирюльника, добавив:

— Вы не поверите, ваша милость: мать его была колдуньей, отец — вором, дядя — палачом, а он — самым негодным и злоумышленным пронырой на свете.

Что должен был переживать я, когда мне в лицо говорились столь оскорбительные вещи? Чувствовал я себя, хотя и скрывал это, точно на жаровне. Решили возвратиться в город. Я и двое других кавалеров распрощались с дамами, а дон Дьего поместился в их карете. Он спросил их, с чего это затеяно было угощение и как они оказались в моем обществе. Мамаша и тетка рассказали о моем майорате со множеством тысяч дукатов ренты, о том, что меня хотят женить на Анике, и предложили ему справиться обо всем этом, дабы убедиться, что это верное дело и к тому же весьма почетное для всего их рода.

В таких разговорах они доехали до своего дома, который находился на Песочной улице у церкви святого Филиппа, а я, как и в прошлый вечер, отправился к моим приятелям. Надеясь очистить мои карманы, они предложили мне перекинуться в картишки. Я понял их цель и сел за игру. Достали карты, конечно крапленые; я сначала проиграл, потом передернул и нагрел их на триста реалов. На этом я распрощался с ними и отправился домой.

Дома я застал моих товарищей лисенсиата Брандалагаса и Перо Лопеса, погруженными в изучение разных ловких приемов с игральными костями. Завидев меня, они бросили это занятие и стали расспрашивать, как прошел день. Я был хмур и озабочен и сказал им только, что очутился в весьма затруднительном положении; тут я поведал им о встрече с доном Дьего и о том, что из этого вышло. Они утешали меня, посоветовали продолжать притворство и никоим образом не отступать от моих намерений.

Тут мы узнали, что в соседнем доме у аптекаря идет игра в парар, или в пинты. В этой игре я кое-что смыслил; у меня были в запасе разные ловкие штуки и искусно приготовленная колода. Мы решили пойти туда и, как говорится, прикончить кого-нибудь, то есть начисто обобрать его кошелек. Я послал вперед моих друзей, они вошли в комнату,

где сидели игроки, и спросили, не угодно ли им будет помериться силами с неким монахом-бенедиктинцем, который только что приехал сюда для лечения и остановился в доме своих родственниц, привезя с собою на врачей и лекарства порядочное количество реалов по восемь мараведи и эскудо. У игроков разгорелись глаза, и они закричали:

— Ладно, пусть приходит!

— Человек этот пользуется немалым почетом в своем ордене, — добавил Перо Лопес. — Теперь, на свободе, ему хочется немного развлечься, а главное — провести время в приятной беседе.

— Пусть приходит и делает что хочет!

— Только для сохранения тайны не надо пускать никого со стороны, — заметил Брандалагас.

— Об этом нечего и говорить, — сказал хозяин.

Это их окончательно убедило, и ложь была принята за чистую монету. Между тем пособники мои пришли за мною. У меня на голове уже красовался ночной колпак, одет я был в монашеское платье, случайно мне доставшееся, на нос нацепил я очки и приладил бороду, которая была подстрижена и посему не мешала мне играть. К игрокам я вошел в высшей степени смиренно, сел, и мы начали игру. Они снимали неплохо. Трое из них действовали заодно против меня, но я, смысля немного больше в искусстве, чем они, угостил их такими штуками, что в течение трех часов обобрал их больше чем на тысячу триста реалов. Я роздал полагающиеся с выигрыша подарки, сказал им на прощание «Хвала всевышнему!» и удалился, посоветовав не смущаться тем, что я принял участие в игре, так как играли мы только для развлечения, а не ради чего-либо иного. Они же, проиграв все, что у них было, ругали себя на чем свет стоит. Я откланялся, и мы вышли.

Вернулись мы домой в половине второго ночи и, разделив добычу, улеглись спать. Я несколько пришел в себя после того, что со мной случилось, и утром отправился нанять себе лошадь, но безуспешно, из чего я заключил, что подобных мне было много, но ходить пешком мне, в особенности

в моем положении, казалось непристойным. Я пошел к церкви святого Филиппа и нашел там лакея одного адвоката, отправившегося послушать мессу и поручившего своего коня его заботам. Я сунул лакею четыре реала и попросил, чтобы он, пока его хозяин будет в церкви, дал мне коня, дабы разочка два прокатиться по улице, где живет моя дама. Лакей согласился. Я сел на коня и два раза проехался туда и обратно по Песочной улице, но ничего не высмотрел. На третий раз донья Ана выглянула в окно. Узрев ее, я, не зная повадок своего коня и не будучи хорошим наездником, решил, однако, отличиться и два раза угостил животное хлыстом и дернул уздечку. Конь встал на дыбы, а потом несколько раз вскинул задние ноги, рванулся вперед и сбросил меня через голову в лужу. Оказавшись на глазах моей дамы в таком положении и окруженный сбежавшимися со всех сторон мальчишками, я начал ругаться:

– Ах ты шлюхин сын, разве ты не валенсуэла? Эти дурачества плохо для тебя кончатся! Говорили мне о твоих штуках, да я не хотел им верить!

Тут лакей успел схватить лошадь, и она мигом успокоилась. Я снова сел на нее. На шум выглянул дон Дьего, который жил в доме своих двоюродных сестер. Увидев его, я онемел. Он спросил меня, что случилось. Я ответил, что ничего особенного, хоть я и повредил себе ногу. Лакей торопил меня сойти с коня, так как боялся, что вернется и увидит все это его хозяин, который должен был ехать во дворец! На мое несчастье, пока я с ним препирался, сзади, откуда ни возьмись, появился этот адвокатишка и, узнав своего коня, набросился на лакея и стал угощать его зуботычинами, во весь голос крича, что отдавать лошадь чужим людям – черт знает что такое. Хуже всего было, что, обратившись ко мне, он потребовал, чтобы я немедленно, если боюсь бога, слез с лошади. Все это происходило в присутствии моей дамы и дона Дьего. Такого срама не испытывал даже ни один из тех, кого приговаривали к публичной порке. Я был крайне обескуражен, испытав два столь великих несчастья на одной лишь пяди земли. В конце концов мне

пришлось спешиться. Адвокат вскочил в седло и уехал. Я же из притворства продолжал переговариваться с улицы с доном Дьего:

– Никогда в жизни не садился я на столь злобную скотину. Тут у церкви стоит мой соловый конь, невероятно горячий и способный понести, едва его пришпоришь. Я описывал, как останавливаю его на всем скаку. Мне сказали, что есть лошадь, с которой я этого не проделаю, та самая, что принадлежит этому лисенсиату. Я захотел попытать свое умение, но никак не мог предположить, что у нее столь крутые бока и такое плохое седло. Удивительно еще, что я не разбился насмерть.

– Да, удивительно, – согласился дон Дьего. – А все-таки мне сдается, что у вас побаливает, ваша милость, вот та нога.

– Да, побаливает, – ответил я ему, – и я думаю пойти за своей лошадью и отправиться домой.

Девица осталась вполне удовлетворена моими объяснениями и весьма, как я заметил, близко приняла к сердцу мое падение, но дон Дьего заподозрил что-то неладное и по виду адвоката, и по всему, что произошло на улице. Это подозрение и стало причиной моего несчастья, помимо всего другого, что со мной случилось.

Самой большой и главной бедой оказалось следующее. Когда я вернулся домой и заглянул в шкатулку, в которой хранились все мои деньги – и те, что остались от полученного наследства, и те, что я выиграл в карты, не считая ста реалов, которые я имел при себе, – то обнаружил, что добрый лисенсиат Брандалагас и Перо Лопес забрали их и исчезли, не оставив ни гроша. Я чуть не умер, я не знал, что делать и как помочь горю. Мысленно я говорил себе: «Горе тому, кто доверяется нечестно заработанным деньгам, ибо они уходят так же, как и пришли! Горе мне! Что же я буду делать?»

Я не мог сообразить, следует ли мне искать похитителей самому или заявить правосудию? Последнее, впрочем, не показалось мне удачным, так как в случае задержания воров они живо донесли бы о моей проделке с монашеским

одеянием и о других делах, а это означало бы погибнуть на виселице. Бежать же за ними вдогонку я не решался, ибо не знал куда.

В конце концов, дабы не упустить невесты, на чье приданое я возлагал все свои надежды, я рассудил за благо никуда не бежать, а торопиться со свадьбой. Я пообедал, вечером нанял лошадку и выехал на улицу, а так как у меня не было лакея, то, дабы не обнаружить этого, задерживался на всех углах в ожидании какого-нибудь человека, который мог бы сойти за моего слугу. Когда такой человек появлялся, я двигался следом за ним и, таким образом, без его ведома превращал его в своего прислужника. Добравшись до конца улицы, я снова прятался за угол и ждал до тех пор, пока не появлялся еще один подходящий человек.

Не знаю, сама ли очевидность, свидетельствовавшая, что я и есть тот самый бродяга, которого я напоминал дону Дьего, или же подозрительная история с лошадью и лакеем адвоката, или же что-либо другое, но что-то заставило дона Дьего разведать, кто я такой и на какие средства живу. Он стал меня выслеживать и в конце концов напал на истину самым неожиданным образом, ибо я уже сильно продвинул дело с необходимыми для свадьбы бумагами, а на него всячески наседали дамы. Однажды, разыскивая меня, он наткнулся на лисенсиата Флечилью — того самого, что пригласил меня отобедать у своей сестры, когда я жил вместе с угодившими потом в тюрьму кавалерами. Рассерженный тем, что я не вернулся закончить с ним разговор, Флечилья в беседе с доном Дьего, зная, что я был у того в слугах, рассказал ему о нашей случайной встрече, о том, как он повел меня обедать, и прибавил, что дня два назад он встретил меня верхом на коне, хорошо одетым, и я-де сообщил ему о своей близкой женитьбе на богатой невесте. Дон Дьего, не теряя времени, поспешил домой и, встретив на площади у Пуэрто-дель-Соль двух знатных кавалеров — моих друзей: одного с орденским знаком, а другого с цепью, — рассказал им обо всем и попросил быть готовыми к тому, чтобы подкараулить меня на улице и намять мне бока. Он предуведо-

мил их, что на мне будет его плащ и что по этому плащу они меня распознают. Столковавшись и свернув на Песочную улицу, они повстречали меня, столь ловко скрыв все трое свои истинные намерения, что я почувствовал, как никогда, их дружеское ко мне расположение. Мы поговорили о том, что́ можно было бы предпринять вечером до звона к «Аве Мария», потом друзья мои распрощались, а мы с доном Дьего направились к церкви святого Филиппа. Дойдя до улицы Мира, дон Дьего сказал:

— Ради бога, дон Фелипе, давайте переменимся плащами: я должен пройти здесь неузнанным.

— Извольте, — ответил я, ничего не подозревая; взял его плащ и в недобрую минуту отдал ему свой. Я предложил ему свои услуги, чтобы уберечь его от удара в спину, но он, у которого только и было на уме, как отыграться на моей, сказал, что ему следует идти одному и пусть я иду своей дорогой. Не успел я, завернувшись в его плащ, отойти на несколько шагов, как вдруг — видно, сам дьявол так распорядился — два молодца, поджидавшие дона Дьего, чтобы рассчитаться с ним за какую-нибудь бабенку, приняв меня за него, кинулись на меня с мечами и обрушили на мою спину и голову град ударов плашмя. Я поднял крик. По голосу и моему виду они поняли, что я не дон Дьего, и удрали, оставив меня избитым посреди улицы. Я постарался прикрыть свои синяки, но некоторое время не осмеливался двинуться с места. Наконец в полночь, в обычное время моих свиданий с невестой, я добрался до ее дверей, как вдруг навстречу мне выскочил один из тех кавалеров, которых подговорил дон Дьего, и свалил меня на землю двумя ударами дубины по ногам. В это время подскочил другой, полоснул меня кинжалом по лицу от уха до уха, отнял плащ и, оставив лежать на земле, промолвил:

— Так рассчитываются с подлыми обманщиками и плутами.

Я начал кричать и просить священника для исповеди, не ведая, откуда свалилась на меня такая напасть. По смыслу сказанных слов мне казалось, что это мог быть и хозяин

того дома, который я покинул при помощи выдумки с инквизицией, и обманутый мною начальник тюрьмы, и мои удравшие приятели. Со стольких сторон мог я ожидать расправы, что не знал, куда мне кинуться, — один лишь дон Дьего был у меня вне подозрений. Я кричал: «Караул! Грабят!» На крик явилась полиция. Меня подняли и, видя, что на лице моем красуется рытвина длиною в ладонь и плащ украден, и не зная, в чем дело, потащили врачеваться к какому-то цирюльнику, и он оказал мне необходимую помощь. Затем полицейские спросили, где я живу, и отвели меня домой.

Меня уложили в постель, и всю эту ночь я провел в необычайном смущении и в раздумьях. Физиономия моя была разрезана на две части, тело избито и измолочено, ноги столь изувечены палкой, что я не мог держаться на них. Я был изранен и оборван, да так, что не мог уже ни вести дружбу с моими знакомыми, ни готовиться к свадьбе, ни оставаться в столице, ни выехать из нее.

Глава XXI

О моем излечении и других удивительных событиях

И вот на другое утро, вместе с восходящим солнцем, появилась над моим изголовьем хозяйка дома, старуха весьма почтенного возраста (ей стукнуло пятьдесят пять — набери она столько очков, играя в примеру, она бы выиграла), с крупными четками и с лицом, похожим не то на сушеный персик, не то на ореховую скорлупу — так было оно изборождено морщинами. Сумев приобрести у местных жителей добрую славу, она могла ложиться спать со спокойной совестью, а также со всеми теми, кто испытывал склонность утолить ее желания. Прозывалась она Марией Наставницей, дом свой отдавала внаем, а также была на побегушках у всех, кто желал снять себе на время другое помещение. Жильцы не переводились на этом постоялом

дворе круглый год. Стоило посмотреть, как учила она какую-нибудь девчонку кокетничать, прикрываясь плащом, и что советовала оставлять открытым. Ту, у которой были красивые зубы, учила она смеяться всегда, даже выражая соболезнование; ту, чьи руки славились красотой, она обучала постоянно фехтовать ими, как шпагами; русой советовала почаще встряхивать волосами и стараться, чтобы из-под плаща или шляпки выбивался локон или прядка волос; девушек с красивыми глазами она учила ловко ими стрелять, а тех, у кого был томный взгляд, учила их щурить или возводить к небу. Так как была она опытна в делах косметических, то приходили к ней женщины от природы черные как галки, и она так отделывала им лица, что по возвращении домой из-за белизны лика их не узнавали собственные мужья. А уж в чем она была истинным мастером, так это в деле восстановления утраченной девственности. За какую-нибудь неделю, что пробыл я в ее доме, своими глазами насмотрелся я, как она все это проделывала. Сверх того, обучала она женщин, как облапошивать доверчивых людей, да притом с какими присловьями это делать. Она учила их также, как выклянчивать подарки: молодых девчонок — так просто, взрослых женщин — требуя их как нечто должное, а старух — используя чувство уважения и благодарности. У нее были одни приемы для выпрашивания денег и другие — для выманивания колец и цепочек. Как на высшие авторитеты, она ссылалась на Виданью, свою конкурентку в Алькала, и на Пласиосу из Бургоса — женщин, способных провести всех и вся. Все это рассказывается здесь, чтобы меня пожалели, узнав, в какие руки я попал, и взвесили должным образом те слова, которые мне сказала старуха. Начала она, по своей привычке изъясняясь пословицами, следующим образом:

— Где все берут да не кладут, сынок дон Фелипе, там скоро и до дна дойдут; из чего пыль — из того и грязь; какова свадьба — таковы и оладьи. Я тебя не понимаю, не знаю я и твоих жизненных правил, человек ты молодой, и не удивит меня нисколько, если ты иной раз и выкинешь какую-нибудь шалость, невзирая на то что и во сне мы спешим к мо-

гиле. Я сама не больше чем горсть праха, а оттого и могу так говорить с тобой. Все говорят мне, что ты, сам не зная как, растратил большое состояние и что тебя видели здесь то студентом, то жуликом, то кавалером, и все по милости людей, с которыми ты заводил знакомства. Скажи мне, с кем ты водишься, сынок, и я скажу тебе, кто ты; каждой овечке свой барашек. Знай, сынок, что пока несешь ко рту ложку супа, он может пролиться! Послушай-ка, дурачок: если уж тебе так приспичило иметь бабу, знай, что в наших краях я главный оценщик этого товара и что живу я на доходы с этой работы. Хочешь жить правильно и разумно, сынок, не бегай ты то с тем, то с другим проходимцем за какой-нибудь размалеванной шлюхой или продувной бестией, которая снашивает юбки с тем, кто дает ей на новые рукава. Клянусь тебе, ты сумел бы сохранить не один дукат, вовремя обратившись ко мне, ибо я совершенная бессребреница; и еще клянусь моими дорогими покойничками, и да будет мне самой ниспослана мирная кончина, не попросила бы я тебя уплатить мне нынче за постой, не будь мне нужды в деньгах на разные свечечки и травки.

Дело было в том, что она бойко торговала всякими снадобьями, не будучи аптекарем, и если ее подмазывали, то и она, в свою очередь, умащивала себя, что давало ей возможность ночью упархивать через дымовую трубу.

Видя, что болтовня и проповедь ее закончились просьбой о деньгах и что, хотя таково было ее главное намерение, она этой просьбой заключила, а не начала свою речь, как сделали бы ей подобные, я не удивился ее визиту, тем более что за все время, что я у нее жил, она ни разу меня не навещала, а только однажды явилась объясниться по поводу якобы дошедших до меня слухов о ее занятиях колдовством и о том, что ее разыскивали, но она успела скрыться. Пришла она, чтобы рассеять мои подозрения насчет всего этого и сказать, что дело касается совсем другой старухи, тоже по прозвищу Наставница. После этого мы не должны удивляться, что с такими наставниками все мы бредем отнюдь не по прямой дороге.

Я отсчитал ей денежки, но, пока она их получала, злая судьба, которая меня не забывает, и черт, который обо мне всегда помнит, захотели, чтобы ее пришли арестовать за незаконное сожительство, будучи уверены, что дружок ее находится у нее в доме. Вошли в мою комнату и, увидев, что я лежу в постели, а она – рядом со мной, набросились на нас обоих, дали мне пять-шесть здоровенных тумаков и сбросили с кровати. Ее же в это время держали двое других, обзывая сводней и ведьмой. Кто бы мог подумать такое о женщине, которая вела вышеописанный образ жизни! Услыхав крики альгуасила и мои громкие жалобы, ее приятель-фруктовщик, находившийся в задней комнате, пустился наутек. Они же, увидев это и узнав от другого постояльца, что я не был ее дружком, бросились за тем плутом и поймали его, я же остался с выдранными волосами и весь избитый. Несмотря на все мои мучения, я смеялся над тем, что эти негодяи говорили старухе. Один из них, глядя на нее, уверял:

– Сколь хороши вы будете, матушка, в митре, и до чего мне будет весело смотреть, как в вас запустят, тысчонки три реп за ваши услуги!

Другой:

– Уж у господ алькальдов перья подобраны что надо, Дабы украсить вас как положено.

Наконец привели и того плута и обоих связали. У меня попросили прощения и оставили меня одного.

Я вздохнул с некоторым облегчением, видя, как обернулись дела моей хозяйки. Таким образом, у меня не оставалось иной заботы, как только подняться с одра болезни вовремя, чтобы запустить в нее апельсином, хотя, судя по тому, что говорила одна из оставшихся в доме служанок, пребывание в тюрьме моей хозяйки представлялось сомнительным, ибо служанка толковала что-то о ее способности летать по воздуху и о других вещах, которые не очень-то мне понравились. Я оставался на излечении в этом доме еще неделю и даже после этого едва-едва мог выбраться на улицу. Пришлось наложить мне двенадцать швов на лицо и обзавестись костылями.

Я оказался без денег, ибо мои сто реалов ушли на лечение, еду и постой. Поэтому, дабы больше не тратиться, так как денег у меня не было, решился я выползти из дому на костылях и продать мою одежду – куртки и воротники, вещи все до одной очень хорошие. Так я и сделал и на вырученные деньги обзавелся старым колетом из дубленой кожи, отличной курткой из грубого рядна, залатанным и широким нищенским плащом, гетрами и огромными башмачищами. На голову накинул я капюшон, и на грудь повесил бронзовое распятие. Обучил меня необходимому жалобному тону и причитаниям нищего один бедняк, который отлично разбирался в этом искусстве, в коем я и начал упражняться на улицах. Оставшиеся у меня шестьдесят реалов я зашил в куртку и стал изображать из себя нищего, полагаясь на свойственное мне красноречие. Целую неделю бродил я по улицам в таком виде, завывал самым жалобным голосом и попрошайничал с молитвами: «Подайте, добрый христианин, слуга господень, бедному калеке, покрытому язвами, ибо вижу пред собой вожделенное, а достигнуть его не могу». Это я говорил в будние дни, а в праздники заводил на другой лад: «Правоверные христиане, преданные служению господнему, ради царицы небесной, матери бога нашего, подайте милостыню бедному калеке, пораженному рукою всевышнего». Тут я на мгновение останавливался, что было весьма важно, и затем прибавлял: «Ядовитый воздух в недобрый час, когда я трудился на винограднике, сковал мне члены, а раньше был я таким же здоровым, каким вижу вас и дай вам бог всегда быть!»

В ответ на меня так и сыпались, спотыкаясь друг о друга, мараведи. Я отлично зарабатывал и, быть может, имел бы еще больше дохода, не попадись на моей дороге уродливый, без обеих рук и без одной ноги молодчик, который кружил на тележке по тем же улицам, что и я, и собирал больше милостыни, так как выпрашивал ее менее учтивым образом. Говорил он хриплым голосом, переходившим под конец в визг: «Вспомните, рабы Суса Христа, о том, кого покарал господь за грехи; подайте бедняку, и да будет угод-

на господу ваша жертва». Потом он прибавлял: «Подайте ради доброго Суса», – и зарабатывал так, что любо-дорого было смотреть. Я это заметил и перестал говорить «господи Иисусе Христе», а начал говорить «господи Сусе Христе», отбросил начальное иже, чем пробуждал в слушателях большое сострадание. В конце концов я изменил кое-какие выражения и стал зарабатывать огромные деньги.

Ходил я на костылях, засунув обе ноги в кожаный мешок и перевязав их. Спал я в подворотне дома одного костоправа вместе с нищим с ближайшего перекрестка, – это был один из самых великих мошенников, которых когда-либо создавал господь бог. Был он богатейшим человеком и являлся чем-то вроде нашего ректора, так как зарабатывал больше нас всех. У него была большая грыжа, кроме того, он туго перевязывал себе веревкой плечо, так что вся рука казалась распухшей, воспаленной и недействующей. Он ложился на спину грыжей кверху, а была она такая же большая, как самый большой шар для игры в шары, и приговаривал: «Взгляните на нищету и на то, чем одарил господь бог христианина». Если проходила женщина, он говорил: «Прекрасная сеньора, да пребудет господь в душе вашей». Большинство из них подавали ему милостыню за то, что он называл их красавицами, и старались пройти мимо него, хотя путь их лежал совсем в другую сторону. Если проходил солдатик, он говорил: «Ах, сеньор капитан!», а если другой какой человек, то: «Ах, сеньор кабальеро!». Если кто-нибудь ехал в карете, то он обращался к нему или «ваше превосходительство», или «ваша светлость», а если проезжал священник на муле, то величал его не иначе как «ваше преосвященство». Словом, льстил он всем ужасно. В праздник каждого святого он имел особо приноровленную к нему манеру просить. Я так с ним подружился, что он открыл мне секрет, благодаря которому мы разбогатели за два дня. Дело же было в том, что на этого бедняка работало трое мальчишек, собиравших на улицах милостыню и воровавших все, что попадало им под руку. Они отчитывались перед ним, а он все это загребал себе. Кроме того, вхо-

дил он в долю к двум молодцам по части церковных кружек и получал положенное от кровопусканий, которые эти кружки претерпевали.

Я решил последовать его примеру, и народ повалил ко мне. Меньше, чем через месяц, я сколотил себе больше двухсот реалов чистоганом. Этот же нищий наконец открыл мне, имея в виду пригласить меня работать на пару, свой величайший секрет в высшем искусстве нищенства, и этим искусством занялись мы оба. Состоял же он в том, чтобы красть маленьких детей, каждый день двоих или четверых, а то и пятерых. О пропаже их объявлялось во всеуслышание на улицах, и тогда мы шли по адресам родителей и заявляли:

— Ну конечно, сеньор, я его нашел, а если бы не я, то его переехала бы повозка; сейчас же он у меня дома.

Нам давали награды за находку, и мы богатели с такой быстротой, что скоро у меня оказалось пятьдесят эскудо. К этому времени ноги у меня зажили, хотя я еще перевязывал их. Я решил уехать из столицы и направиться в Толедо, где ни я никого не знал, ни обо мне никто не ведал. В конце концов я собрался в путь, купил себе одежду темного цвета, воротник и шпагу и, распрощавшись с Валька́саром — так звали нищего, о котором я рассказывал, — стал искать по заезжим домам, на чем мне добраться до Толедо.

Глава XXII,

в которой я становлюсь странствующим комедиантом, поэтом и ухаживателем за монахинями, чьи свойства обнаруживаются самым приятным образом

На одном постоялом дворе нашел я труппу странствующих комедиантов, направлявшихся в Толедо. У них были три телеги, и провидению было угодно, чтобы среди них оказался один мой бывший сотоварищ по учению в Алькала, отрекшийся от науки и занявшийся актерским ремеслом. Я сказал

ему, что мне необходимо уехать в Толедо и выбраться из столицы. Человек этот едва узнал меня, настолько я был исполосован, и не переставал творить крестные знамения, видя, как здорово я был окрещен чьим-то клинком. В конце концов за мои деньги он оказал мне любезность, отвоевав у остальных местечко для меня, чтобы я мог ехать вместе с ними. Ехали мы в телегах вперемежку, мужчины и женщины, и одна из них, а именно танцовщица труппы, которая, кроме того, играла роли королев и всяких важных особ, показалась мне весьма занятной тварью. Случилось так, что муж ее оказался рядом со мною, и я, понятия не имея, с кем говорю, подстрекаемый вожделением, спросил:

— С какой стороны подступиться мне к этой женщине, чтобы истратить на ее милость двадцать или тридцать эскудо? Она мне кажется красивой.

— Мне не подобает ни говорить про это, ни соваться в такие дела, так как я прихожусь ей мужем, — сказал этот человек, — но, говоря беспристрастно, ибо никакие страсти меня не волнуют, на нее можно было бы истратить любые деньги, ибо ни другого такого тела, ни другой такой резвушки в делах любовных нет на всей земле.

Сказав это, он соскочил с нашей телеги и сел в другую, как кажется, для того только, чтобы дать мне случай заговорить с ней. Мне понравился ответ этого человека, и я заметил себе, что к нему применимо выражение одного негодяя, который, употребляя слова апостола Павла в дурном смысле, говаривал, что для таких людей что иметь жену, что не иметь ее — все едино. Я воспользовался случаем заговорить с нею, и она, спросив меня, куда я направляюсь, поинтересовалась слегка моей жизнью. В конце концов, выяснив все, мы отложили наши дела до приезда в Толедо,

По дороге мы здорово веселились. Случайно я стал представлять отрывок из комедии об Алексее Божьем Человеке, которую помнил с детства, и разыграл этот отрывок так, что у моих собеседников возникло желание привлечь меня в свою труппу. Когда же я рассказал моему другу ехавшему вместе с нами, о моих несчастьях и неприятностях, он

спросил меня, не желаю ли я тоже стать комедиантом; при этом он расписал мне жизнь странствующих комедиантов такими заманчивыми красками, что я, не зная, куда бы мне приткнуться, и к тому же увлеченный этой красивой бабой, подписал на два года контракт с директором. Я дал ему подписку в том, что останусь в его труппе, и он обещал содержать меня и, кроме того, платить мне за каждое представление; так мы доехали до Толедо.

Мне дали выучить три лоа и несколько ролей стариков, для чего голос мой оказался весьма подходящим. Я все выполнил с большим старанием и в Толедо впервые выступил с прологом. Речь в нем шла о корабле — как это часто бывает в прологах, — потерпевшем крушение и оставшемся без провианта. Я говорил: «Се гавань», называл зрителей «сенатом», просил у них прощения «за наши недостатки», взывал к их вниманию и наконец ушел с подмостков. Меня проводили одобрительным гулом; словом, на подмостках я оказался на своем месте.

Мы играли комедию, сочиненную одним из наших актеров, и я очень удивился, что из актеров могут выходить поэты, ибо полагал, что сочинять комедии могут только мудрые и ученые, а не такие невежды. Однако в наше время нет такого директора труппы, который не писал бы комедий, или актера, который не сочинил бы своего фарса о маврах и христианах. Раньше же, помню, если комедия не была сочинена славным Лопе де Вега или Рамоном, то ее и не ставили. Словом, комедия нашего актера была разыграна в первый же день, и никто ничего в ней не понял. На второй день мы поставили ее снова. Судьбе было угодно, чтобы начиналась она войной, и я вышел на сцену вооруженный и с маленьким круглым щитом, и это было мое счастье — иначе я бы погиб под градом гнилой айвы, кочерыжек и огурцов. Такого дождя всякой дряни еще не было видано на свете, но комедия заслуживала именно этого, потому что в ней был выведен ни к селу ни к городу король Нормандии в одежде отшельника, затем, для того чтобы рассмешить публику, два лакея, а к концу все действующие лица успевали

пережениться и повыходить замуж — вот и все. Словом, получили мы по заслугам. После этого мы набросились с упреками на нашего товарища-сочинителя, и больше всех я. Я посоветовал ему принять во внимание все то, чего мы чудом избежали, и в следующий раз думать о том, что делаешь. На это он поклялся всевышним, что в комедии не было ни слова, принадлежащего ему, а что он сшил ее, как плащ бедняка, взяв один кусок из одной комедии, другой — из другой, и что вся беда произошла оттого, что швы не везде сходились. Он признался мне, что когда комедианты берутся писать комедию, они остаются у многих в долгу, ибо невольно делают своим то, что уже когда-то играли, что дело это отнюдь не трудное и что жажда нажить триста или четыреста реалов вводит их в соблазн и заставляет пускаться на такой риск. С другой стороны, постоянно разъезжая по разным городам, они встречаются со всякого рода авторами и забирают у них комедии как бы на просмотр, а на самом деле просто воруют их, и, подставив свою чепуху вместо чего-нибудь удачно сказанного, выдают за свое сочинительство. Сказал он мне также, что испокон веку не было на свете комедиантов, которые умели бы сочинять стихи иным способом. Способ этот показался мне неплохим.

Сознаюсь, я почувствовал склонность к такому занятию в силу природного влечения моего к поэзии, тем более что я был уже знаком с некоторыми поэтами и читал Гарсиласо. Таким образом, решил я посвятить себя этому искусству.

Итак, я проводил дни, занимаясь поэзией, актеркой и актерством. Уже месяц, как мы находились в Толедо, и за это время состряпали много хороших комедий, тем самым исправляя ошибку наших прошлых дней. Вскоре я приобрел уже некоторую известность и назывался теперь Алонсете, ибо в начале знакомства сказал актерам, что меня зовут Алонсо. Вместо фамилии меня называли Жестоким, так как это была роль, в которой имел я большой успех у мушкетеров и прочей черни. Теперь было у меня уже

три костюма, и находились даже директора других трупп, пытавшиеся сманить меня к себе на службу. Я уже мог говорить, что разбираюсь в комедиях, находил недостатки в лучших из них, критиковал мимику Пинедо, подавал свой голос за спокойную естественность Санчеса, а Мoралеса считал лишь ничего себе; моего совета просили при украшении театрального зала, со мною же советовались и по части декорации и машин. Если кто-нибудь приходил к нам читать новую комедию, то выслушивал ее прежде всего я.

Ободренный этим успехом, нарушил я наконец девственность моего поэтического дарования романсом, а потом написал интермедию, и оказалось, что вышло неплохо. Рискнул я написать и комедию, а чтобы она получилась божественной во всех отношениях, то сочинил я ее на тему о богоматери с четками. Начиналась она звуками свирелей, действующими лицами были души чистилища и черти, которые тогда были в большой моде. Зрителям очень понравилось в виршах упоминание о сатане, и то, что говорилось тут же о его падении с неба, и тому подобное. Наконец комедия моя была представлена и имела успех.

У меня было столько работы, что просто рук не хватало, то и дело являлись ко мне влюбленные — кто за стихами о бровях, кто за поэмами о глазах, кто просил сонета о руках или романса о волосах. Каждое такое произведение расценивалось по таксе, хотя, в силу того что имелись и другие лавочки, торговавшие подобным товаром, старался я брать дешевле, чтобы привлечь покупателей. Из-за рождественских вильянсико кишмя кишели вокруг меня сакристаны и монашки, ходившие по домам; слепцы поддерживали мое существование молитвами, которые я писал для них по восьми реалов за штуку. Помнится мне, что в то время сочинил я молитву к Судье праведному столь торжественную и звучную, что не подать после нее милостыню было совершенно невозможно. Для одного слепца я написал, а он потом выдал его за свой, тот знаменитый духовный стих, который начинается так:

Милости яви мне, дева,
Дочь предвечного отца,
Чье Христа носило чрево и т. д.

Я был первый, кто ввел обычай заканчивать духовные стихи, на манер проповедей, просьбой об отпущении грехов в этой жизни и о блаженстве на том свете, как произносилось в молитве тетуанского пленника:

Молим, полные смиренья:
«Ты, Христос, что всех невинней,
За раденье наше ныне
Отпусти нам прегрешенья,
Дай блаженство по кончине. Аминь».

Плыл я на всех парусах по морю сочинительства, богатый и благополучный настолько, что подумывал уже сам стать директором труппы. Дом мой был отлично прибран и украшен, ибо, для того чтобы недорого обить чем-нибудь его стены, я пустился на дьявольскую хитрость: купил, обойдя таверны, куски материи с чужими гербами и развесил их потом у себя. Обошлись они мне реалов в двадцать пять или тридцать, были из себя виднее, чем те, что красуются у короля, уже потому хотя бы, что сквозь мои было видно решительно все — настолько они были дырявые, а сквозь королевские ничего усмотреть нельзя.

Однажды приключилась со мной очень смешная история, и хотя случилась она к вящему моему позору, но рассказать ее я должен. Сочиняя как-то комедию, я забрался на чердак того постоялого двора, где жил, и проводил там все время; приходила туда служанка с обедом, ставила его рядом со мной и уходила. У меня было обыкновение представлять все сочинения в лицах и декламировать громким голосом то, что я писал. Дьяволу взбрело на ум устроить так, что именно в тот час и тот момент, когда служанка поднималась по узкой и темной лестнице, держа тарелку с ольей в руках, я как раз сочинял то место комедии, где у меня говорилось об охоте, и принялся восклицать громким голосом:

Эй, спасайся кто как может!
На меня медведь нагрянул,
Задерет тебя он тоже[1].

Что ж подумала служанка, которая была родом из Галисии, когда услышала мой возглас: «Эй, спасайся, кто как может!»? Она решила, что все это правда и я хочу предупредить ее об опасности. Тут бросается она бежать, в смятении запутывается в собственных юбках и катится вниз головой по всей лестнице, пролив олью и перебив тарелки; с криком выбегает на улицу, говоря всем, что медведь задирает человека, и, как я ни торопился, несясь вслед за ней, уже застал всех соседей в сборе. Все спрашивали, где медведь, и даже после того, как я объяснил им, что все произошло от невежества служанки, ибо то, что я говорил, относилось к комедии, никто из них мне не поверил. В этот день я так и не пообедал. Об этом узнали мои товарищи по труппе, и сплетня о медведе пошла по всему городу. Такие вещи случались со мною неоднократно. Пока продолжал я заниматься поэзией, от неприятностей отбоя не было. Случилось однажды, что к директору моей труппы — все они этим кончают, — узнав, что в Толедо дела его шли хорошо, приступили некие люди с требованием уплатить какой-то долг. Он был посажен в тюрьму, и после этого труппа наша распалась и каждый пошел своей дорогой. Я, говоря по правде, хоть и приставали ко мне мои товарищи, желая ввести меня в другие труппы, только и думал, как бы поразвлечься, поскольку одет я был хорошо и денежки у меня водились, а к подобной профессии я больше не стремился, ибо работа моя у них была вызвана только жестокой необходимостью. Я распростился со всеми, они уехали, а я, решив, что заживу прилично, как только перестану быть бродячим комедиантом, сразу попал — да простит меня ваша милость — в обожатели при монастырской решетке, или, говоря яснее, стал покушаться на роль папаши антихриста, или, что все равно, воз-

1 Перевод И. Лихачева.

дыхателя при монахинях. Мне представился случай влипнуть в эту кашу потому, что я связался с одной черницей, по просьбе которой сочинил множество рождественских стихов и которая влюбилась в меня на представлении действа в праздник тела Христова, где я исполнял роль евангелиста Иоанна. Ухаживала эта монахиня за мной самым старательным образом. Однажды она сказала мне, что единственно; чем она расстроена, так это тем, что я стал актером. Сказано это было потому, что я наврал ей, будто я сын весьма знатного дворянина, и тем самым внушил ей сострадание. Наконец я решился написать ей следующее письмецо.

Письмо

Больше для того, чтобы угодить вашей милости, нежели ради собственного моего удобства, покинул я компанию моих товарищей по труппе, ибо всякая компания без вас является для меня одиночеством. Теперь, принадлежа больше самому себе, тем более буду я принадлежать вам. Сообщите мне, когда в монастыре очередной день свидания, и я буду знать, когда я буду иметь счастье, и т. д.

Это письмецо отнесла дежурившая у входа послушница. Трудно вообразить себе, до чего обрадовалась моя милая монашка, узнав о перемене в моем положении. Ответила она мне следующим образом.

Ответ

Радостные события в вашей жизни заставляют меня думать, что вы сами не замедлите поздравить себя с принятым решением, поэтому не поздравляю вас с ним. Мне было бы очень грустно, если бы мое желание не совпало с вашим благом. Можно сказать, что вы обрели самого себя. Теперь вам остается проявить такую же настойчивость, какую проявляю я. Боюсь, что сегодня приемного дня в монастыре не будет, но да не преминет ваша милость прийти к вечерне, так как там мы сможем увидеться, а затем можно будет поговорить и че-

рез окно. Быть может, мне удастся обмануть бдительность настоятельницы, а пока прощайте.

Мне очень понравилась эта записка; видно было, что эта женщина все понимает с полуслова. К тому же была она весьма красива. Я отужинал и надел на себя костюм, в котором обычно играл роль первых любовников в комедиях. Затем я пошел в церковь, помолился и начал внимательно осматривать все завиточки и дырочки монастырской решетки. Смотрел я во все глаза, дабы не проморгать ее появления, и в добрый час, когда было угодно богу, или, скорее, в недобрый час, по воле черта, услыхал я древний как мир сигнал покашливанием. В ответ я стал кашлять сам, и пошел тут у нас такой кашель, что можно было подумать, будто по всей церкви рассыпали перец. Наконец, когда я устал кашлять, из-за решетки выглянула кашляющая старуха. Тут познал я всю глубину моего несчастья, затем что знак кашлем в монастырях — вещь весьма опасная, ибо если для молодых женщин он служит лишь сигналом, то у старухи является привычкой, и горе тому мужчине, который, думая, что это призыв соловья, обнаруживает, что это карканье вороны. Долгое время я проторчал в церкви; наконец началась вечерня. Прослушал я ее всю до конца: ведь за это людей, ухаживающих за монахинями, называют «торжественными воздыхателями» — по торжественным вечерням, кои им приходится прослушивать. Кроме того, для них все время длится вечер любви, поскольку ночь любви так и не наступает. Невозможно сказать, сколько пришлось мне переслушать этих вечерних служб. Шея моя стала на добрых два аршина длиннее, чем была до ухаживания, — так сильно приходилось мне вытягивать ее, чтобы лучше видеть. Я очень подружился с сакристаном, а также со служкой, хорошо относился ко мне и викарий, человек характера довольно жесткого. Держался он столь прямо, что казалось, будто за завтраком он проглатывал вертел, а за обедом ест одни лишь арбалетные стрелы.

Сходил я и постоять под окнами монастыря. Туда, даром что площадь была просторная, приходилось посылать

кого-нибудь занять места загодя, часов с двенадцати дня, словно на представление новой комедии. Тут все кишело набожными поклонниками. В конце концов нашел и я себе местечко. Стоило сходить туда, чтобы полюбоваться диковинными позами влюбленных кавалеров. Один, положив руку на рукоять шпаги, а в другой держа четки, стоял и смотрел, не мигая, словно каменное изваяние с надгробного памятника. Второй, протянув руки вперед и раскрыв ладони, словно для получения стигматов, пребывал в позе истинно серафической; третий, у которого рот был открыт шире, чем у нищей попрошайки, не произнося ни слова, показывал предмету своей страсти собственные внутренности через глотку; четвертый, прилепившись к стене, жал на кирпичи так, словно хотел измерить свой рост у выступающего угла; иной прогуливался, как будто его должны были полюбить за его поступь, словно мула; кто-то еще стоял с письмецом в руке, похожий на охотника, который кусочком мяса приманивает своего сокола. Ревнивцы составляли группу другого рода; одни держались кучками, посмеиваясь и глядя на монахинь, другие читали стихи и показывали их предмету своей любви; кто-то для уязвления прогуливался на площадке перед монастырем с женщиной, иной разговаривал с мнимой служанкой, которая якобы принесла ему записку. Так было внизу, то есть там, где находились мы. Но стоило посмотреть и на то, что творилось наверху, там, где находились монахини. Смотрины состояли в том, что монахини появлялись в сквозной башенке с такими ажурными украшениями, что казалась она не то песочницей, не то резным флакончиком для духов. Все отверстия ее пестрели различными сигналами. Здесь виднелась ручка, там ножка, в другом месте был настоящий субботний стол: головы и языки, только мозгов недоставало, а дальше была истинная лавка щепетильника: одна показывала свои четки, другая махала платком, в третьем месте высовывали перчатку, поодаль мелькала зеленая ленточка. Одни говорили довольно громко, другие кашляли, а одна, подражая продавцу шляпами, двигала пальцами, как паучьими лапами, и присвистывала.

Надо видеть, как летом несчастные поклонники не то что греются на солнышке, а прямо-таки опаляются дневным светилом. Весьма забавно наблюдать, как в то время как из воздыхателей получается чуть ли не жаркое, их дамы сохраняются в первоначальной свежести. Зимой от сырости у иного из нас на теле начинает прорастать всякая зелень и заводится кресс-салат.

Нет снега, который на нас не падал бы, ни дождя, который бы нас не мочил. И все претерпевали эти муки всего лишь для того, чтобы видеть какую-то женщину за решеткой и стеклом, наподобие мощей. Это все равно что влюбиться в дрозда в клетке, если женщина болтлива, а если молчалива — все равно что в портрет. Все ее ласки ограничиваются прикосновениями, которые никогда ни к чему не приводят, — это всего лишь барабанная дробь пальцами. Они просовывают головы свои в решетки, и любовные жалобы доходят до них только через узкие, высокие окна, напоминающие бойницы. Любят они тайком. Так ли приятно слушать, как слова любви произносятся шепотом, точно молитва? Или терпеть ворчанье старух, помыканье привратниц, вранье дежурных послушниц и — самое мучительное — выдерживать сцены ревности из-за тех женщин, которые нам доступны, выслушивать, что только их любовь — настоящая, и видеть, к каким дьявольским ухищрениям они прибегают, чтобы доказать это нам.

Под конец я уже звал настоятельницу просто сеньорой, викария — отцом, а сакристана — братцем, то есть достиг всего того, чего с течением времени добивается безнадежный влюбленный. Мне стали уже надоедать привратницы, меня отгонявшие, и монахини, к себе зовущие. Я подумал о том, как дорого мне стоил тот самый ад, который другим достается столь дешево, и притом здесь же, на земле, без всякого труда; видел я, что душа моя гибла из-за пустяков и шла прямо в геенну огненную по одной лишь тропе осязания. Если я и разговаривал, то для того, чтобы меня не слыхали остальные, находившиеся у той же решетки, мне приходилось так плотно прижиматься к ней головой, что на

лбу моем два дня спустя были еще видны следы от железных прутьев, и говорить так тихо, как иерей, освящающий святые дары. Всякий, кто меня видел, не мог пройти мимо, не сказав: «Будь ты проклят, монастырский любовник», и многое другое, еще того хуже.

Все это заставляло меня не раз задумываться, и я уже готов был навсегда покинуть мою монахиню, хотя это и лишало меня поддержки. Окончательно решился я на это в день Иоанна Богослова, ибо тут только я убедился воочию, чего эти монахини стоят. Достаточно будет сказать вашей милости, что все черницы общины Иоанна Крестителя к тому дню нарочно охрипли, и голоса у них были такие, что, вместо того чтобы пропеть мессу, они ее всю простонали. Они даже не умыли себе лица и оделись во все старое, а поклонники монахинь этой общины, желая умалить значение другого святого Иоанна, натащили в церковь деревянных скамеек вместо стульев и привели с собой множество голодранцев с толкучего рынка.

Когда я увидел, что каждая монахиня стоит за своего святого, а чужого поносит зазорными словами, то забрал у моей монашки, будто бы для лотереи, на пятьдесят эскудо разного монастырского шитья, шелковых чулок, мешочков с янтарем и сластями и направил стопы свои в Севилью, опасаясь, если бы я стал еще медлить, как бы в приемной монастыря не выросли мандрагоры. Что переживала монахиня — не столько из-за моего исчезновения, сколько из-за пропажи своих вещей, — да вообразит себе набожный читатель.

Глава последняя

О том, что случилось со мной в Севилье до отплытия в Индию

Совершил я путь из Толедо в Севилью вполне благополучно, тем более что деньги у меня не переводились. Дело в том, что я уже овладел основами шулерской игры, и у меня

были кости, начиненные грузом так, что я мог по желанию выбросить большее или меньшее количество очков, да к тому же правая рука моя занималась укрывательством одной кости, поскольку, беременная четырьмя, она рожала их только три. Кроме этого, у меня, был изрядный запас шаблонов разнообразной формы, дабы по ним подрезать карты для разных шулерских приемов.

Не буду рассказывать вам и о всяких иных благоухавших хитростью штуках, ибо, услышав о них, вы бы приняли меня за букет цветов, а не за человека. К тому же лучше предлагать людям какой-нибудь положительный пример для подражанья, чем соблазнять их пороками, от коих они должны бежать. Тем не менее, если я изложу кое-какие приемы и принятые среди шулеров выражения, я смогу просветить несведущих и оградить их от обмана, а если кто окажется облапошенным и после этого, пусть уж пеняет на себя.

Прежде всего не думай, что если ты сдаешь карты, ты уже застрахован от шулера, – тебе их могут подменить, пока будут снимать нагар со свечи. Далее, не давай ни ощупывать, ни царапать, ни проглаживать карты, ибо таким образом обозначают плохую карту. Если же ты, читатель, принадлежишь к разряду слуг, то имей в виду, что на кухнях и на конюшнях дурные карты отмечаются или при помощи прокалывания булавкой, или при помощи загибания уголка, чтобы узнавать их на ощупь. Если ты вращаешься среди людей почтенных, то берегись тех карт, которые зачаты были во грехе еще в печатне, так как по их рубашке опытный глаз умеет различить, какая карта на обороте. Не доверяйся и совсем чистым картам, ибо для того, кто глядит в оба и запоминает, самая чистая карта оказывается грязной. Смотри, чтобы при игре в картету сдающий не слишком сгибал фигуры (за исключением королей) по сравнению с остальными картами, ибо это верный гроб для твоих денег. За игрой в примеру следи, чтобы при сдаче тебе не подсовывали карт, отброшенных сдающим, и старайся подметить, не переговариваются ли твои противники какими-нибудь условными жестами или произнося слова, начинающиеся с той же буквы, с которой начинается нужная им карта. Больше я не стану тебя просвещать; сказанного достаточно, чтобы ты понял, что жить нужно с великой осторожностью, ибо нет сомнения в том, насколько бесконечны всякого рода надувательства, о которых мне приходится умалчивать. «Угробить» означает на языке подобных игроков – и означает справедливо – вытянуть из вас все деньги; «играть наизнанку» – это значит обжуливать своего ничего не подозревающего приятеля; «пристяжным» именуется тот, кто заманивает в игру простаков, чтобы их общипали настоящие удильщики кошельков; «белыми» зовут простодушных и чистых, как белый хлеб, людей, а «арапами» – ловкачей, которых ничем не проведешь.

Подобный язык и подобные штуки довели меня до Севильи; деньгами своих встречных знакомых я оплатил наемных мулов, а хозяев постоялых дворов я обыгрывал на еду и постой. Достигнув своей цели, я остановился в гостинице «Мавр» и повстречал здесь одного из своих сотоварищей по Алькала; звали его Мата – имя, которое, за недостатком звучности, он переменил на Маторраль. Он торговал людскими жизнями и был продавцом ножевых ударов. Дело у него шло неплохо. Образцы своего ремесла он носил на собственном лице, и по этим образцам он договаривался с заказчиком о глубине и размере тех ударов, которые он должен был нанести. Он любил говорить: «Нет лучшего мастера в этом деле, чем тот, кто сам здорово исполосован», – и был совершенно прав, так как лицо у него было что решето и кожа казалась дубленой. Он-то и пригласил меня поужинать с ним и его товарищами, обещав, что они проводят меня потом до гостиницы.

Мы отправились, и, войдя в свое обиталище, он сказал:

– Эй, скинь-ка плащ, встряхнись и будь мужчиной, нынче ночью увидишь всех славных сынов Севильи. А чтобы они не приняли тебя за мокрую курицу, растрепли-ка свои волосы, опусти свой воротник, согнись в плечах, волочи свой плащ по земле, ибо всегда мы ходим с плащом, волоча-

щимся по земле, рожу криви то в одну сторону, то в другую, и говори вместо «р» — «г» и вместо «л» — «в»: гана, гемень, гука, вювовь, кговь, кагта, бутывка. Изволь это запомнить.

Тут он дал мне кинжал, широкий, как ятаган, который по длине своей вполне заслуживал названия меча и только из скромности так не назывался.

— А теперь, — сказал он, — выпей пол-асумбре этого вина, иначе, если ты от него не взопреешь, за молодца ты не сойдешь.

Пока мы занимались всем этим и я пил вино, от которого у меня помутилось в голове, явились четверо его друзей с физиономиями, изрезанными как башмак подагрика. Шли они вразвалку, ловко обернув плащи свои вокруг пояса. Шляпы с широченными полями были лихо заломлены спереди, что придавало им вид диадем. Не одна кузница истратила все свое железо на рукояти их кинжалов и шпаг, концы которых находились в непосредственном общении с правыми их каблуками, глаза их таращились, усы топорщились, словно рога, а бороды были на турецкий лад, как удила у лошади. Сначала, скривив рот, они приветствовали нас обоих, а затем обратились к моему приятелю и каким-то особенно мрачным тоном, проглатывая слова, сказали:

— 'аш с'уга!

— 'аш кум, — отвечал мой наставник.

Они уселись и не проронили ни одного звука, дабы узнать у Маторраля, кто я такой; только один из них взглянул на него и, выпятив нижнюю губу, указал ею на меня. Вместо ответа мой покровитель собрал в кулак свою бороду и уставил глаза в пол. Тогда они с превеликой радостью повскакали со своих мест, обняли меня и принялись чествовать. Я отвечал им тем же, причем мне показалось, что я отведал вина разного сорта из четырех отдельных бочек.

Настал час ужина. Прислуживать явились какие-то проходимцы. Все мы уселись за стол. Тотчас же появилась закуска в виде каперсов, и тут принялись пить здравицы в мою честь, да в таком количестве, что я никак не мог думать, что

в столь великой степени обладаю ею. Подали рыбу и мясо, и то и другое с приправами, возбуждавшими жажду. На полу стояла бадья, доверху полная вина, и тот, кто хотел пить, прямо припадал к ней ртом. Я, впрочем, довольствовался малым. После двух заправок вином все уже перестали узнавать друг друга. Разговоры стали воинственными, посыпались проклятья, от тоста к тосту успевало погибнуть без покаяния чуть ли не тридцать человек. Севильскому коррехидору досталась едва ли не тысяча ударов кинжалом, добрым словом помянули Доминго Тиснадо, обильно было выпито за упокой души Эскамильи, а те, кто был склонен к нежным чувствам, горько оплакали Алонсо Альвареса. Со всем этим у моего приятеля, видно, выскочил какой-то винтик из головы, и, взяв в обе руки хлеб и смотря на свечу, он сказал хриплым голосом:

— Поклянемся этим господним ликом, а также светом, что изошел из уст архангела, что, если сие будет сочтено благоугодным, нынешней ночью мы рассчитаемся с тем корчете, что забрал нашего бедного Кривого.

Тут все подняли невообразимый гвалт и, повытаскав кинжалы, поклялись, возложив руки на края бадьи с вином и тыкаясь в нее ртами:

— Так же, как пьем мы это вино, мы выпьем кровь у каждой ищейки!

— Кто такой этот Алонсо Альварес, чья смерть так всех опечалила? — спросил я.

— Молодой парень, — ответил один из них, — неустрашимый вояка, щедрый и хороший товарищ! Идем, меня уже тянут черти!

После этого мы вышли из дому на охоту за корчете. Отдавшись вину и вручив ему власть над собою, я не соображал, какой опасности себя подвергаю. Мы дошли до Морской улицы, где лицом к лицу с нами столкнулся ночной дозор. Едва только наши храбрецы его завидели, как, обнажив шпаги, бросились в атаку. Я последовал их примеру, и мы живо очистили тела двух ищеек от их поганых душ. При первых же ударах шпаг альгвасил доверился быстроте сво-

их ног и помчался вверх по улице, призывая на помощь. Мы не могли броситься за ним вдогонку, так как весьма нетвердо держались на ногах, и предпочли найти себе прибежище в соборе, где и укрылись от сурового правосудия и выспались настолько, что из наших голов выветрились бродившие там винные пары. Уже придя в себя, я не мог надивиться тому, как легко правосудие согласилось потерять двух ищеек и с какою резвостью бежал альгвасил от той виноградной грозди, какую мы собой представляли.

В соборе мы знатно провели время, ибо, учуяв запах таких отшельников, как мы, явилось туда несколько шлюх, которые охотно разделись, чтобы одеть нас. Больше всех полюбился я одной из них, по имени Грахаль, которая нарядила меня в свои цвета. Жизнь мне эта пришлась весьма по вкусу, больше чем какая-либо другая, и я порешил до самой смерти претерпевать с моей подругой все муки любви и тяготы сожительства. Я изучил воровские науки и в короткий срок стал самым ученым среди всех других мошенников. Правосудие неутомимо искало нас, и, хотя дозоры бродили вокруг храма, это не мешало нам выбираться после полуночи из нашего укрытия и, переодевшись так, что нас невозможно было узнать, продолжать свои набеги.

Когда я убедился, что эта канитель будет еще долго тянуться, а судьба еще больше будет упорствовать в преследовании меня, то не из предосторожности – ибо я не столь умен, – но просто устав от грехов, я посоветовался первым долгом с Грахаль и решил вместе с ней перебраться в Вест-Индию, дабы попробовать, не улучшится ли с переменой места и земли мой жребий. Обернулось, однако, все это к худшему, ибо никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не меняет своего образа жизни и своих привычек.

Висенте Эспинель

Жизнь Маркоса де Обрегон

Высокопреосвященному сеньору кардиналу — архиепископу Толедскому дону Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, отцу бедных и прибежищу добродетели, — маэстро Висенте Эспинель

Маркос де Обрегон не будет первым болтуном эскудеро, какого видело ваше высокопреосвященство, ни также первым, который смиренно простирался поцеловать ногу того, кто так хорошо умеет подать руку, чтобы поднять упавших; но он будет первым эскудеро, который признал себя невеждой, по крайней мере желая исследовать и перекапывать глубокие архивы превосходств и преимуществ, унаследованных и благоприобретенных, какие открываются в этой великодушной и доблестной груди: несокрушимой правдивости, источника столь безмерных и славных добродетелей, какие сияли и сияют в вашем высокопреосвященстве с момента вашего счастливого рождения; искреннего и неподражаемого сочувствия. Когда во время бедствий сеньора дона Гонсало Чакон, вашего брата, ваше высокопреосвященство, смягчив самого Бога, истратив и расточив все свое имущество, все же не успокоилось, пока не лишилось всего, поступив так, что не было глаз, которые не увлажнились бы, ни сердца, которое не смягчилось бы: здесь сочетались справедливость с кротостью, щедрость с благоразумием, милосердие с нежностью и все дру-

гие добродетели, связанные с божественной добродетелью благоразумия.

Героические деяния, совершенные вашим высокопреосвященством по склонности вашего святого сердца, как материальные, так и духовные, — кто в них сравнится с вами, со времен Сан Эухеньо и Сан Ильдефонсо, если все величие и все добродетели предков собрались и сосредоточились в груди вашего высокопреосвященства? Столь великие милостыни, какие раздаются во всем архиепископстве руками ваших благочестивых слуг, достигают суммы более семидесяти тысяч дукатов; но разве это чудо, если ваше высокопреосвященство, еще будучи каноником Севильи, половину своей ренты раздавало в виде милостыни? А материальные подвиги, совершенные в столице и в других церквах архиепископства, а этот последний подвиг обновления или перестройки дарохранительницы в Толедо, стоивший такой большой суммы золотом и серебром, как это видно из того, что написал лисенсиат дон Педро де Эррера языком изящным и правдивым, хотя и простым. Святой и богатый монастырь, построенный по повелению и за счет вашего высокопреосвященства с такой рентой и такими издержками в Алькала-де-Энарес, чтобы в Божьей овчарне были заперты дочери слуг Божьих, служащие своему супругу, Иисусу Христу, — монастырь, столь же богатый праведными и святыми уставами, как и доходами и произведениями искусства. Превосходный по строению, святости и благочестию монастырь капуцинов, творящий в силу добродетели такие чудеса в городе Толедо, возносящий к небу души, молящие за ваше высокопреосвященство. Чудесное создание или перестройка святой часовни, где Святейшая Дева оказала такую честь своему рабу Ильдефонсо своим удивительным нисхождением, которой вы принесли в дар ценнейшую ризу и которая снова так сияет и будет сиять всегда. Но зачем мне тратить время и слова на перечисление того великолепия, каким все это наполнено? И поэтому мой эскудеро не осмеливается и не дерзает вступить в такое огромное море, а так как по результатам познаются

причины, то, кто увидит растения, возделанные и выросшие в обширной тени столь плодовитой пальмы, тот заметит добродетель и доблесть, какие распространяются от нее по свету: он заметит скромность, благоразумие и любезность Бернардо де Овьедо, секретаря нашего повелителя короля и вашего высокопреосвященства, и ту чистоту и правдивость, с какими он выполняет свои обязанности; точность, проницательность и столь бескорыстную отзывчивость Луиса де Овьедо, камергера вашего высокопреосвященства; энергию и правдивость Франсиско Сальгадо, старшего альгвасила святой инквизиции, и других живых камней, получивших свет от сияния, исходящего от этого краеугольного камня.

Я не хочу утомлять ваше высокопреосвященство, ибо Бог создал вас столь враждебным к выслушиванию восхвалений. Я подношу вашему высокопреосвященству этот скромный и ничтожный труд не для защиты его, а ради чести и поддержки его автора, ибо, если бы он оказался плохим, он будет плохим и моим, а если хорошим, то будет принадлежать Богу и вашему высокопреосвященству, которому и т. д.

Маэстро Висенте Эспинель

Пролог к читателю

Много дней и несколько месяцев и лет я находился в сомнении, выпустить ли мне в свет этого бедного Эскудеро, лишенного достоинств и богатого бедствиями, ибо уверенность и недоверие вели во мне ожесточеннейшую внутреннюю войну. Уверенность, полная заблуждений; недоверие, смущенное страхами; одна – очень надменная, а другое – очень униженное; одна – кружа голову, а другое – ослабляя силы; итак, я решился сделать посредником скромность, которая столь приятна не только взорам Бога, но также и взорам самых строгих в мире судей. Я посоветовался с лисенсиатом Тривальдосом де Толедо, великим латинским и испанским поэтом, знатоком греческого и латинского языка и языков живых, человеком совершенной правдивости; и с маэстро фрай Ортенсио Фелисом Парависино, ученейшим в науках божественных и мирских, великим поэтом и оратором; и в некоторой части с падре Хуаном Луисом де ла Серда, чья ученость, добродетель и прямота очень известны и восхваляемы; и с божественным гением Лопе де Вега, ибо как он в своей юности заставлял себя подчинять свои стихи моему исправлению, так я в моей старости заставил себя пройти через его оценку и суждение; с Доминго Ортисом, секретарем Верховного совета Арагона, человеком выдающегося ума и замечательной рассудительности; с Педро Мантуано, юношей высокой добродетели и очень

начитанным в серьезных авторах, – все они придали мне бодрости больше, чем у меня было; и я подчинился суждению не только их, но и суждению всех, кто находил что-нибудь заслуживающим упрека, и я прошу, чтобы мне указывали на это, потому что я смиренно приму такой упрек.

Моим намерением было попробовать, не удастся ли мне написать в прозе нечто, что принесло бы пользу моей стране, развлекая и поучая, согласно совету моего учителя Горация; ибо появились некоторые книги людей, очень сведущих в науках и авторитетных, которые охватывают все одним только поучением настолько, что не оставляют места, где ум мог бы оживиться и получить удовольствие; а другие настолько погружены в самомнение, что развлекают интермедийными шутками и рассказами, так что, после того как их книги перелистаешь, прочтешь и опять рассмотришь, они оказываются настолько ничтожными и пустыми, что не доставляют ничего существенного и никакой пользы для читателя и ни славы, ни хорошей репутации для своих авторов. Падре маэстро Фонсека превосходно написал о божественной любви, и хотя тема эта столь высока, в книге много такого, на чем ум может развиваться и блуждать с приятностью и удовольствием, так что нет надобности всегда прибегать к строгости поучения, ни всегда руководиться легкостью развлекательности; нравоучение оставляет место для наслаждения, а наслаждение – пространство для поучения; потому что добродетель, рассматриваемая вблизи, доставляет большое удовольствие тем, кто ее любит, а наслаждение и развлечение дают много поводов для размышления о смысле вещей.

В то время, когда я еще не принял решения – как вследствие страданий от подагры, так и по причине моей неуверенности – вывести на публичное зрелище моего Эскудеро, один кабальеро, мой друг, попросил у меня несколько листов из него, и когда таким путем до сведения одного дворянина, которого я не знаю, дошел рассказ о поминальном помосте святого Хинеса, то он, полагая, что этот рассказ не появится на свет, счел его своим, говоря и утверж-

дая, что с ним самим все это случилось; ибо некоторые способны настолько не уважать себя, что пускаются развлекать готовых их слушать тем, что следует признать им не принадлежащим.

Если кому-нибудь не понравится, что я говорю о живых людях и ссылаюсь на факты известные и происходящие в настоящее время, то я скажу, что я застал испанскую монархию столь полной и изобилующей людьми выдающимися в военных делах и в науках, что я не думаю, чтобы монархия римская имела более выдающихся, и я даже решаюсь утверждать, что она не имела ни стольких, ни столь великих. Я не буду касаться подвигов, совершенных испанцами во Фландрии, столь превосходящих подвиги древних и описанных Луисом де Кабрера в его «Совершенном государе», а упомяну только о тех, какие каждый день видели наши глаза и к каким прикасались наши руки, – как подвиги, с таким невероятным мужеством совершенные доном Педро Энрикесом графом де Фуэнтес: взятие и разграбление Амьена, что описал в своих «Комментариях» дон Диего де Вильяловос, бывший там доблестным капитаном копейщиков и пехоты, – когда шесть капитанов при помощи телеги с сеном и мешка орехов взяли такой большой город, защиту и опору всей Франции; готовность и решимость, с какой испанцы спешат служить своему королю, подвергая свои жизни опасности потерять их, как это видно теперь на событиях в Ма́мора, когда испанцы плыли всю ночь, не встречая ни корабля, ни земли, где они могли бы укрыться, так что мужество их превосходило их счастье, – все это дела, не виданные в римской монархии. Какие древние авторы превосходят тех писателей, что породила Испания за немногие годы, когда она освободилась от войн? Какие ораторы были выше, чем дон Фернандо Каррильо, дон Франсиско де ла Куэва, лисенсиат Беррьо и другие, что прекрасным стилем и возвышенными идеями убеждают в несомненности своих дарований? Из того, что не читают умерших авторов и не замечают у ныне живущих тайн, какие они облекают в то, что они высказывают, возникает не воздаяние

им заслуженной похвалы; ибо надлежит рассматривать не только внешнюю оболочку, но и проникать гораздо глубже взорами мысли. Авторы не потому лучшие, что они более древние, не потому они менее полезны и уважаемы, что они более современны. Тот, кто удовольствуется только внешней оболочкой, не извлекает плода из труда автора; но тот, кто рассматривает произведение духовными очами, извлекает чудесный плод.

Двое студентов шли в Саламанку из Антекеры: один очень беззаботный, другой очень любознательный; один большой враг труда и знания, другой очень усидчивый и пытливо изучавший латинский язык; и хотя очень различные во всем, они в одном были равны: оба были бедняками. Проходя однажды летним вечером по этим равнинам и долинам, умирая от жажды, они дошли до колодца, около которого, освежившись, увидели маленький камень с надписью готическими буквами, наполовину стертыми древностью и ногами животных, приходивших сюда пить; эти буквы гласили дважды: «Conditur unio, conditur unio»[1]. Тот, который знал мало, сказал: «Для чего этот пьяница высек два раза одно и то же?» Потому что невеждам свойственно быть стремительными. Другой промолчал, так как он не удовольствовался внешней оболочкой, и потом сказал: «Я устал и боюсь жажды, я сегодня больше не хочу утомляться». – «Так оставайся, как лентяй», – сказал первый. Тот остался и, рассмотревши буквы, после того как очистил камень и изощрил ум, сказал: «Unio значит союз, и unio значит драгоценнейшая жемчужина; я хочу посмотреть, что здесь за тайна»; и, работая изо всех сил рычагом, он поднял камень и под ним нашел союз любви – тела двух любовников из Антекеры, а у нее на шее драгоценную жемчужину, крупнее ореха, с ожерельем, что принесло ему четыре тысячи эскудо. Он опять положил камень на место и пошел другой дорогой.

Рассказ несколько многословен, но важен для того, чтобы показать, как надлежит читать авторов, потому что

1 Скрывается союз, скрывается жемчужина.

и времена меняются, и возрасты преходящи. Я хотел бы, чтобы никто не довольствовался поверхностным чтением того, что я пишу, потому что во всем моем «Эскудеро» нет ни одной страницы, которая не имела бы особой цели, помимо того что она гласит. И не только теперь я это делаю, но по природной склонности я делал это в расточительной юности в шутках и в серьезном, в возрасте, который гнетет мою душу, будучи он уже пройден мной, и да будет угодно Богу, чтобы раскаянием я мог искупить грехи.

Первый рассказ о жизни Эскудеро Маркоса де Обрегон

Это длинное рассуждение о моей жизни или краткий рассказ о моих бедствиях, который задумал я предложить взорам всего света, для наставления юности, а не ради одобрения моей старости, — хотя главная цель, к какой он направлен, это облегчить на некоторое время утешением и удовольствием бремя, которое в силу ваших благих намерений лежит на плечах вашего высокопреосвященства, — заключает в себе также некоторый секрет, немаловажный для той цели, какую я всегда ставил и ставлю, а именно — показать на моих несчастиях и злоключениях, насколько важно для бедных или малоимущих эскудеро уметь преодолевать мирские трудности и противопоставлять мужество опасностям времени и судьбы, чтобы с честью и славой сохранить столь драгоценный дар, каким является жизнь, дар, предоставленный нам божественным Владыкой, чтобы воздавать Ему благодарения и восторгаться, созерцая и восхваляя этот чудесный порядок небес и стихий, точное и неотвратимое течение звезд, рождение и создание вещей, чтобы достичь истинного познания единого Творца всех вещей. И хотя это намерение явилось у меня в последние годы жизни, как у человека, которому, ради его старости и усталости, оказали милость, предоставив ему столь почетное место, как должность в Санта-Каталина-де-лос-Донадос в этом королевском городе Мадриде, где я живу как могу, — в промежутках, какие мне предоставляет подагра, я буду продолжать мое повествование, всегда соблюдая краткость

и скромность. Это будет соответствовать, во-первых, моему характеру и природной склонности, а во-вторых, долгу всех тех, кто по милости Божьей принял воду крещения, религию, которая такую чистоту, скромность и непорочность исповедовала, исповедует и будет исповедовать от своего возникновения и до последнего конца этого мира. И с Божьей помощью я постараюсь, чтобы стиль мой был настолько согласован с общими вкусами и настолько мало нарушал бы вкусы отдельных лиц, что его не считали бы тяжелым и не осуждали бы, как смешной. И так, насколько хватит моих сил, я буду продолжать, развлекая читателя и вместе с тем поучая его, подражая в этом предусмотрительной природе, которая, прежде чем произвести плод, какой она создает для пищи и сохранения человека, показывает приятную для взора зелень и потом цветок, услаждающий обоняние; а плоду она дает цвет, аромат и вкус, чтобы он понравился тому, кто его ест и получает от него питание, которое его ободряет и обновляет, чтобы он мог продолжать и сохранять свой род. Или поступлю как великие врачи, которые, придя к больному, не начинают сейчас же мучить его насилием ревеня или другими стремительно действующими лекарствами, но сначала подготовляют соки мягкостью и нежностью сиропов, чтобы потом применить очистительное, которое должно оставить пациента чистым и избавленным от мучившей его болезни. И хотя эти сравнения с врачами и лекарствами очень избиты, ими вполне можно воспользоваться ради их простоты и понятности, тем более что, обладая превосходным даром исцелять при помощи заговоров, я могу пользоваться этими заговорами так, как пользуюсь ими по профессии, что доставляет мне такое одобрение и признание всего города, обусловленное занимаемым мною хорошим положением, а также тем, что я ношу очень крупные четки, перчатки из выдры, огромные очки, которые кажутся более подходящими для лошади, чем для человека, и другие вещи, какие придают вес моей персоне; я пользуюсь такой известностью, что все простые люди этой столицы и окружных селений прибегают к моей помощи с детьми, у которых болят глаза, с девушками, страдающими бледной немочью, или с полученными в голову или другие части тела ранами и с тысячей других болезней, желая получить здоровье; но я лечу с такой нежностью, мягкостью и удачей, что из тех, кто попадает в мои руки, умирает не более половины, на чем и основывается моя хорошая репутация; ибо мертвые не говорят ни слова, а те, кто выздоравливает, расхваливают меня на тысячу ладов, хотя и остаются предрасположенными к новому приступу болезни, так как все уходят без лекарства. Но больше всего благословениями меня осыпают те, которым я лечу глаза, и так как все они или большинство из них — бедняки и нуждающиеся, то посредством одной смеси, какую я умею приготовлять из цинковой мази, медянки и других составных частей, и милостью моих рук я за пять или шесть раз делаю их способными к работе, которой они зарабатывают на жизнь очень честно, восхваляя Бога и Его святых многими благочестивыми молитвами, какие они выучивают, не умея читать их.

Глава I

Несколько дней назад, когда я стоял со смиренно поднятыми к небу глазами, с серьезным и спокойным лицом, положив руки на очень белый платок на ушах больного, и очень тихо произносил слова заговора, прошел какой-то придворный и сказал:

— Не могу выносить плутовства этих обманщиков.

Я промолчал и с обычным видом продолжал свою целительную молитву, а когда я окончил ее, мой спутник сказал мне:

— Разве вы не слыхали, что этот дворянин назвал вас обманщиком?

— Он говорил не со мной, — сказал я, — и я не обязан ни обижаться, ни обращать внимания на то, что говорится не мне прямо.

И я хочу убеждать в этом тех, кто, по малой опытности или по природному испорченному и вспыльчивому характеру, считают себя обиженными невежественными дерзостями людей, не имеющих смелости сказать их открыто; ибо эти дерзости не имеют характера оскорбления и не доказывают ни храбрости, ни мужества в том, кто их произносит; это великое невежество, введенное людьми, которые всегда носят в руках честь и жизнь; мне не нужно убеждать себя в том, что, когда со мной не говорят прямо, меня не оскорбляют, хотя бы и было намерение сделать это; потому что выстрелы, какие делают эти люди, похожи на выстрелы из ружья, заряженного порохом и лишенного пули, которые шумом спугивают дичь и больше ничего. Оскорблений не следует принимать на себя, если они не направлены вполне открыто, и даже надо воздерживаться от этого, насколько возможно, заглушая в себе страсть и обдумывая про себя, являются они таковыми или нет, как это чрезвычайно благоразумно сделал дон Габриэль Сапата, настоящий кабальеро и придворный, прекрасно воспитанный. Получив в шесть часов утра письмо с вызовом на поединок от другого кабальеро, с которым он имел ссору накануне вечером, и будучи разбужен своими слугами, так как им дело показалось важным, он, прочтя письмо, сказал принесшему:

– Передайте своему господину, что даже ради дел, доставляющих мне большое удовольствие, я не имею обыкновения вставать раньше двенадцати часов дня; почему же он хочет, чтобы ради грозящей мне смерти я поднялся так рано?

И, повернувшись на другой бок, он опять заснул, и хотя потом он исполнил свой долг как настоящий кабальеро, этот ответ считается очень рассудительным.

Когда Фернандо де Толедо, – которого за его остроумнейшие проделки звали пи́каро, – возвращаясь из Фландрии, где он был доблестным солдатом и полководцем, выходил в Барселоне из фелюги, окруженный многочисленными капитанами, один из бывших на берегу двух пи́каро сказал настолько громко, что он мог слышать:

– Вот этот – дон Фернандо Пи́каро.

Обернувшись к нему, дон Фернандо сказал:

– Из чего ты это заключаешь?

Пи́каро ответил:

– До сих пор из того, что слышал об этом, а теперь из того, что вы не стыдитесь этого.

Дон Фернандо сказал, умирая со смеху:

– Ты мне оказываешь большую честь, раз ты считаешь меня во главе такой почетной профессии, как твоя.

Так что даже при тех оскорблениях, которые прямо направлены к тому, чтобы оскорбить нас, мы должны стараться, пользуясь тем же оружием, сделать из яда противоядие, из досады удовольствие, из ссоры шутку и смех из оскорбления. Если человек старается постичь, по каким направлениям идет шпага, постичь круги и центры, силу и слабость, нападение и защиту и упражняется в этом с большой настойчивостью, пока не сделается очень ловким, чтобы его не убили или не ранили, – то почему не упражняться ему в том, что поможет ему не прийти в столь жалкое состояние, то есть в терпении? Так как когда гнев дошел до предела и две шпаги обнажены, та и другая должны ранить или заставить бежать, что всегда считалось столь позорным у всех народов мира; и если с гораздо меньшим трудом и упражнением может человек сделаться искусным в терпении, то есть таким, который обуздывает животные порывы гнева, силу могущественных, отвагу храбрецов, грубость высокомерных невежд и избегает тысячи других неприятностей, – почему не добиваться этого, чтобы избежать другого? В Италии говорят, что терпение – это пища лентяев, но под этим понимается терпение порочное, потому что тот, кто им пользуется, чтобы есть, пить и бездельничать, испытывает вещи, какие людям недостойно и представить себе. Здесь речь идет о терпении, которое изощряет и украшает добродетели, которое обеспечивает жизнь, спокойствие духа и покой тела и которое научает не считать оскорблением то, что таковым не является и не заключает в себе ничего такого, что давало бы возможность

считать это оскорблением, потому что, только пользуясь этой божественной добродетелью, можно научиться, как должно отвергать скрытые оскорбления, как должно противостоять оскорблениям открытым, как надлежит относиться к тем, какие говорятся в отсутствие, потому что это тоже достойное внимания заблуждение, распространенное среди людей, которые не умеют терпеть и не хотят этому учиться и потому чувствуют себя обиженными таким скрытым оскорблением так же, как и ударом шпаги по лицу, как будто существует на свете кто-нибудь, как бы праведен он ни был, о ком за спиной не говорили бы какой-либо клеветы. И так как эта тема сама по себе несколько скучна, я хочу сделать ее более интересной, рассказав о том, что со мной случилось, когда я был на службе у самого безрассудного, вспыльчивого человека в мире; ибо, пройдя через многие бедствия, какие я испытывал всю свою жизнь, я под старость оказался в нужде, так что должен был, чтобы меня не задержали, как бродягу, отдаться под покровительство одного моего друга, певца епископской капеллы, — потому что эти певцы знают все, кроме самих себя, — и он устроил меня в качестве эскудеро и наставника у врача и его жены, столь похожих друг на друга хвастовством своею храбростью и красотой, что им не оставалось ничего, кроме как поделиться этим со своими соседями; с ними у меня произошли случаи, вполне достойные быть известными.

Глава II

Звали его доктор Сагредо, это был человек молодой, очень веселого нрава, несколько болтливый и даже сумасбродный, более вспыльчивый и легче раздражающийся, чем собака булочника, чванный и самовлюбленный и — чтобы не погибали два дома, а только один, — женатый на женщине с таким же характером, молодой и очень красивой, высокой ростом, с тонкой талией, худой, но не тощей, стройной, с очень изящными движениями, с большими черными

глазами с длинными ресницами, с каштановыми, немного рыжеватыми волосами, пылкой и достаточно гордой, тщеславной и надменной.

Привел меня добрый доктор к себе в дом, и первое, что я там встретил, это был очень тощий мул в стойле, так пригнанном к нему, что даже если бы у меня были крылья, то я уже не мог бы проникнуть внутрь. Мы поднялись по лесенке, и я сразу оказался в зале, где находилась сеньора донья Мерхелина де Айвар, ибо так она называлась, на которую я посмотрел с большим удовольствием, потому что, хотя старик и не способен на подобные желания, как по разуму, так и по возрасту, я смотрел на нее как на красавицу, так как красота приятна для всяких глаз.

— Вот кому вы должны служить, это моя жена, — сказал доктор.

— Конечно, столь красивая дама вполне заслуживает такого кавалера, — ответил я ему.

Будучи красивой, но невежественной женщиной, она ответила, или, лучше сказать, спросила:

— Кто вас просит вмешиваться в это?

— Сеньора, — сказал я, — пусть ваша милость обратит внимание, что, называя вас красивой, я не хотел сказать, что вы не христианка, а только что у вас очень изящная талия и фигура.

— Я очень хорошо вас поняла, — сказала она, — но я не хочу, чтобы кто-нибудь осмеливался говорить мне любезности.

— Это сама скромность, — сказал доктор, — служите ей с охотой и вниманием, и я буду оплачивать это очень хорошо.

Я осмотрел дом очень медленно, хотя это можно было сделать очень быстро, потому что во всем доме я увидел только очень большое зеркало на очень маленькой подставке у окна и несколько флакончиков около него да малюсенькую шкатулку; а взглянув в угол, я увидал двуручный меч и несколько фехтовальных шпаг, кинжалов, боевых шпаг, щит и еще круглый щит. Доктор сказал мне:

– Как вам нравится моя гардеробная? Посмотрите ее хорошенько, потому что в Алькала страшились этой шпаги.

– Я смотрел только, – сказал я, – где находятся ваши книги, я большой любитель их.

– Вот это, – сказал он, – мои Галены и мои Авиценны, так как ни в черной, ни в белой не было в Алькала равного мне и не нападал на меня ночью человек, который ушел бы невредимым из моих рук.

– Значит, ваша милость, – сказал я, – лучше научилась убивать, чем исцелять.

– Я изучил то же, – ответил он, – что и другие врачи; а так как я недавно окончил свои занятия, я еще не задумывался о книгах, потому что больше пристало профессорам факультетов, чтобы каждый имел книги по своей специальности. Но оставим это, и проводите свою госпожу к обедне, потому что уже поздно.

Моя сеньора донья Мерхелина надела плащ, и я повел или сопровождал ее до церкви Святого Андрея, потому что они жили в старом мавританском квартале, и дорогой, по обычаю, многие из попадавшихся навстречу говорили ей что-нибудь о ее красивом лице и стройности; на это она отвечала столь язвительно, что все уходили обиженные ее ответами. Я говорил ей:

– Вот, сеньора, если уж вы не отвечаете любезно, так, по крайней мере, вы должны были бы молчать как знатная женщина, потому что в молчании нечего порицать.

– Я не такая женщина, – говорила она, – к которой кто-нибудь может потерять уважение.

Если кто-нибудь говорил ей, что она очень красива, она ему отвечала: «А он – прекрасный дурак». Однажды какой-то недурной собою щеголь сказал ей: «Так у меня блохи завертятся в постели»; на что она ему ответила очень удачно: «Наверное, поросенку приходится спать в каком-нибудь свинарнике».

Она была настолько невежлива и груба, что все бежали от ее ответов, и она оставалась с моими упреками. Одному моему знакомому, клирику церкви Святого Андрея, человеку маленького роста и большой души, который был очень изящен в своем белоснежном стихаре, когда тот сказал ей, не вышла ли она из дома служить заупокойную службу, – она ответила: «Тоже разговаривает, надутый навозный жук»; несмотря на эту грубость, в ней было много изящества и привлекательности во всем. Часто упрекая ее за ее тщеславие, я однажды отважился высказать ей откровенно свое мнение, потому что, хотя она и была уверена в правильности своего поведения, я хотел посмотреть, не смогу ли я повлиять на нее, и я сказал ей:

– Ваша милость пользуется своей красотой как нельзя хуже; ведь вы могли бы быть любимы и восхваляемы всеми, а вы хотите, чтобы вас все ненавидели. Когда говорят о красоте, то говорят о приветливости, кротости, мягкости характера и обращения, а сочетая красоту с гордостью и грубостью, превращают в ненависть то, что должно быть любовью; ведь такой превосходный дар, как красота, полученный по милости Божьей, по справедливости должен иметь некоторое соответствие с душой, потому что если одно не похоже на другое, то это обозначает плохое разумение или недостаточную благодарность за милость, оказанную Богом тому, кого Он этим даром наделил. Красота при дурном характере – это прозрачнейший источник, охраняемый ядовитой змеей, это конверт и рекомендательное письмо, при вскрытии которого внутри обнаруживается демон. Разве найдется в мире человек, который хотел бы, чтобы его ненавидели? Разве найдется такой, кто хотел бы, чтобы к нему относились пренебрежительно? Конечно нет. Так если кто-нибудь обладает тем, за что его могут любить и ценить, почему же он хочет, чтобы его ненавидели и презирали? Разве необходимо, чтобы красота сопровождалась тщеславием, позорилась невежеством и оберегалась безрассудством? Почему, смотрясь в зеркало, ваша милость не добивается, чтобы внутреннее было похожим на внешнее? Ведь я обращаю внимание вашей милости, что время и даже Бог обычно так карают тщеславие, что горы сравниваются с долинами и башни падают на землю. Сколько ви-

дели и видят каждый день в этом мире красоты, побежденной тысячью несчастий и бедствий вследствие отсутствия руководства и благоразумия! Ведь хотя красота, в то время пока она длится, пользуется любовью и ценится, но когда она увядает, у нее не остается ничего, кроме того, что она успела приобрести, и той репутации и дружбы, какие она завоевала благодаря своим добрым качествам, когда была в расцвете и силе. И свет обладает столь низким характером, что никого не жалует за то, что кто-нибудь имел, а только за то, что он имеет. Видана ли такая красота, которой не вредило бы время? Какое тщеславие не наталкивается на тысячу неожиданных препятствий? Какое самолюбие не испытывает тысячи случайностей? Конечно, хорошо, если бы, как существуют для женщин учителя танцев, были также учителя разочарования, чтобы обучались твердости духа так же, как обучаются движениям телесным. Я говорю, и далее советую вашей милости, то, что мне, как человеку опытному, кажется правильным и имеющим основания. Смотрите, как бы вы не были наказаны за свое самомнение и чрезмерную оценку самой себя.

Это и многое другое сказал я ей и говорил каждый день; но она всегда оставалась при своем, а кто не принимает советов, чтобы учиться на чужом опыте, тот будет принужден учиться на своем, следуя лишь собственным склонностям, как это случилось с сеньорой доньей Мерхелиной, для которой ее желания были законом, а иногда и собственным палачом, и случилось это следующим образом.

Почти каждый вечер ко мне в гости приходил молоденький цирюльник, мой знакомый, обладавший хорошим голосом; он приносил с собой гитару, под звуки которой, сидя на пороге двери, пел песенки, причем я присоединял к этому плохой, но хорошо поставленный низкий бас, — ибо нет двух голосов, какие не показались бы хорошими, если они поют верно и дружно, — так что этой согласованностью и недурным голосом юноши мы привлекали соседей слушать нашу музыку. Паренек все время играл на гитаре, не столько для того, чтобы показать свое уменье, сколько чтобы этим движением чесать кисти рук, которые были у него покрыты собачьей чесоткой.

Моя хозяйка всегда приходила слушать музыку на галерейку, а доктор, приходивший усталым от своих посещений больных, — хотя их было мало, — не замечал ни музыки, ни того внимания, с каким приходила ее слушать его жена. Так как этот паренек приходил петь неотступно каждый вечер, то, если в один из вечеров его не было, моя хозяйка замечала это и спрашивала о нем, говоря, что ей нравится его голос. Ей так нравилось пение, что, когда юноша повышал голос, она понижала свою важность, так что подходила к самому порогу двери, чтобы возможно ближе слышать созвучия; ведь инструментальная музыка в зале тем более имеет мягкости и неясности, чем меньше говора и шума; поэтому судья, каким является ухо, будучи очень близко, лучше и внимательнее воспринимает направляемые в душу созвучия, образованные спокойным тоном неполного голоса.

Юноша не приходил пять или шесть вечеров из-за какого-то средства, которым он лечился; а самые обыкновенные вещи, когда их недостает, становятся очень нужными, и поэтому моя хозяйка каждый вечер спрашивала о нем. Я ей ответил скорее из вежливости, чем из-за его отсутствия:

— Сеньора, этот паренек служит у цирюльника, а так как он служит, то он не может быть всегда свободным; кроме того, теперь он лечит свою небольшую чесотку.

— Что вы делаете, — сказала она, — зачем вы хотите унизить и уничтожить его?.. Паренек... цирюльник... чесотка... но, право, каким бы вы его ни изображали, есть люди, которые его очень любят.

— Вполне возможно, — сказал я, — потому что бедняжка скромен и всегда готов исполнять, что ему захотят поручить; и верно, что я часто берегу для него из своей порции кусочек на ужин, потому что ужинает он не всегда.

— Поистине, — сказала она, — в таком хорошем деле я вам помогу.

И с тех пор всегда она приберегала для него какое-нибудь угощение, когда он приходил. В один из вечеров он

пришел, жалуясь, что его из окна облили чем-то скверно пахнущим; на его жалобы моя хозяйка вышла на галерею и спустилась в патио, где юноша чистился, и с большой нежностью помогла ему очиститься и обкурила его какой-то благовонной таблеткой, посылая тысячу проклятий тому, кто с ним так поступил.

Юноша ушел со своей бедой, а сеньора донья Мерхелина, столь же полная гнева, как и сочувствия, была очень огорчена этим происшествием и гораздо более явно, чем я этого хотел бы, превозносила терпение юноши и отягчала вину того, кто его запачкал, столь чрезмерно, что заставила меня спросить ее, почему она этим так огорчена, когда это случилось непреднамеренно и без злого умысла. На это она мне ответила:

– Разве вы хотите, чтобы я не страдала из-за обиды, нанесенной такому ягненку, как он, беззлобному голубю, мальчику, столь скромному и тихому, что он даже не умеет жаловаться на такой дурной поступок? Право, я хотела бы в этом деле быть мужчиной, чтобы отомстить за него, а потом уже женщиной, чтобы развеселить и приласкать его.

– Сеньора, – сказал я ей, – что это за новость? Что за перемена от суровости к неясности? С каких это пор вы жалостливы? С каких пор чувствительны? С каких пор ласковы и нежны?

– С тех пор, – ответила она, – как вы явились в мой дом, привели с собой этот яд, облеченный в гитару, с тех пор, как вы попрекнули меня пренебрежением, с тех пор, как, видя мой грубый и резкий характер, вы захотели посмотреть, не могу ли я остаться на дозволенной и приличной середине, а я из одной крайности перешла в другую: из резкой и презрительной стала тихой и ласковой, из равнодушной и холодной стала мягкосердечной, из жесткой и гордой стала скромной и спокойной, из надменной и тщеславной стала покорной и уступчивой.

– Ох, я несчастный, – сказал я, – ведь теперь мне придется нести это столь тяжкое бремя! Как я могу быть виновен в злоключениях вашей милости или иметь отношение к

вашим наклонностям? Разве кто-нибудь может быть господином чужой воли? Разве может кто-нибудь быть пророком в том, что должно случиться со склонностями и желаниями? Но раз я являюсь виновником, то я должен предотвратить несчастье, чтобы оно не увеличилось, сделав так, чтобы он больше не приходил в этот дом, или мне надо уйти в другой; потому что если был повод возникнуть тому, чего я не мог предполагать, то, когда будет уничтожен этот повод, все придет в свое прежнее положение.

– Я этого не говорю, – сказала она, – потому что, отец моей души, вина в этом моя, если бывает вина в поступках, вызванных любовью. Не сердитесь за мое легкомыслие, потому что я сейчас в состоянии делать и говорить многое, лучше подивитесь, что вы видели и слышали этого легкомыслия во мне так немного, и не делайте того, о чем говорили, если вам так же дорога моя жизнь, как дорога моя честь, ибо я в таком состоянии, что из-за немного большего противоречия совершу какой-нибудь позорный поступок, который запятнает мою репутацию и сделает ее чернее моей судьбы. Я не хочу, чтобы вы меня покидали, я не хочу выслушивать упреки, я хочу только просить помощи и поддержки. Вы хорошо мне сказали, что мое самомнение и тщеславие должны будут пасть со своего трона. Все, что вы можете мне повторить и напомнить, я считаю правильным и признаюсь в этом, помогите мне, и не покидайте меня в таком состоянии, и не убивайте меня, говоря, что уйдете из этого дома.

Говоря это и многое другое, она, закрыв лицо платком, заплакала столь горько, что немного не хватало, чтобы кто-нибудь утешал нас обоих. И если велики были упреки, какие я делал за ее гордость, еще больше было утешение, каким я успокаивал ее в печали; но, побуждая себя к тому, что было более разумно, и повинуясь моей обязанности, ее утешению и чести ее дома, я сказал ей, стараясь быть как можно убедительнее:

– Возможно ли, чтобы в таком необыкновенном характере могла произойти такая перемена и чтобы из глаз,

столь полных красоты и презрения, потекли столь смиренные слезы, чтобы по таким стыдливым щекам бежала эта драгоценная влага, которая, будучи способной смягчить сердце самого Бога, проливается и растрачивается из-за какого-то жалкого человека? И если уж подвергать себя опасности, и бросаться очертя голову, и отрекаться от самой себя, то почему вы не выбрали человека лучших качеств и достоинств? И если уж сдается та, которая не могла быть побежденной, так неужели этим победителем должен быть такой несчастный червяк? Ведь здесь красота покоряется безобразию, чистота — грязи и нечистоплотности, и я не знаю, что вы мне можете сказать о таком выборе и столь отвратительном вкусе.

— О, в каком заблуждении, — сказала она, — находятся мужчины, думая, что женщины влюбляются по выбору, или из-за изящества фигуры или красоты лица, или из-за больших или меньших природных качеств, знатности рода, высоты положения, богатства! Я говорю о том, что действительно является любовью... Так вот, чтобы открыть мужчинам глаза, пусть они знают, что у женщин любовь — это продолжающееся желание, рождающееся от взгляда и благодаря взгляду растущее, — в общении оно зарождается и сохраняется, не делая выбора между тем или другим, и та, которая не поостережется этого, падет, без всякого сомнения; из этой постоянности желания родилось мое пламя и благодаря ей разрослось, пока не стало таким огромным, что сделало мои глаза слепыми для всего другого, уши закрытыми для упреков, а волю не способной ни к чему другому. И чем больше вы его черните и унижаете, тем сильнее разгорается любовь и желание. Разве цирюльники из иного теста, чем остальные мужчины, что вы так принижаете занятие, оказывающее столь большую услугу мужчинам, превращая их из стариков в юношей? Вы называете его паршивым из-за нескольких похожих на листья гвоздики царапинок на руках? Разве вы не видите скромности этого лица, кротости его глаз, изящества, с каким он владеет своим голосом? Не унижайте его передо мной, не упрекайте меня за мой вкус, так как бесполезно противоречить этому или стараться не допустить этого.

— Если бы, — сказал я, — это было мячом, который я мог бы задержать и отбросить! Но раз это зашло так далеко, то я поступлю с вашей милостью так же, как поступаю со своими друзьями, а именно — при выборе советуя им лучшее, что я знаю, а когда выбор сделан, всеми силами помогая им.

Я сказал ей это, чтобы не доводить ее до отчаянья, чтобы постепенно прошло увлечение, которое могло бы привести ее к оскорблению Бога и ее мужа, и с этим я ушел от нее в тот вечер, пораженный зрелищем могущества любви и думая о том, как дурно поступают мужчины, которые, имея дома сокровище, заставляющее их страдать, допускают частые посещения или длительные связи; и насколько хуже поступают отцы, дающие своим дочерям учителей танцев, музыки или пения, если им приходится при этом отсутствовать, и даже меньше будет вреда, если они этого не будут иметь: ведь если они выйдут замуж, с них достаточно доставлять удовольствие своим мужьям, воспитывать своих детей и управлять домом, а если они сделаются монахинями, они научатся этому в монастыре, так что основание для некоторых быть недовольными, возможно, заключается в том, что они уже имели на стороне общения по склонности, которые, как бы скромны они ни были, и у мужчин и у женщин подчиняются общему закону природы.

Глава III

На следующий день юноша пришел раньше, чем обыкновенно, надев воротник по моде, как человек, заметивший благосклонность к себе такой изящной женщины. Через три или четыре дня случилось, что пришли позвать доктора Сагредо, ее мужа и моего хозяина, лечить одного иностранного кабальеро, лежавшего больным в Караманчеле, предлагая ему большое вознаграждение за лечение, чем он был очень обрадован из-за выгоды, а она еще больше из-за

своего удовольствия. Он взял своего мула и лакея и всегда сопровождавшую его легавую собаку и в четыре часа дня отправился в Караманчель.

Она, видя удобный случай, велела мне приготовить как можно лучше ужин, поощряя меня словами и обещая мне подарки, не думая, что я помешал бы выполнению ее дурного намерения. В сумерки пришел юноша, и когда он начал петь, как обычно, она ему сказала, что петь у двери, когда ее мужа нет дома, неприлично и это не понравится соседям, и велела ему войти в дом. Она приказала юноше сесть за стол, желая, чтобы ужин был коротким, а вечер долгим. Но едва начался ужин, как вбежала собака и принялась ласкаться к хозяйке, тыкаясь носом и виляя хвостом.

– Идет доктор, – сказала она, – ах, я несчастная! Что нам делать? Ведь он не может быть далеко, раз прибежала собака.

Я схватил юношу и спрятал его в угол зала, прикрыв доской, которая, вероятно, служила полкой для книг, так что его нельзя было заметить, когда в дверь вошел доктор, говоря:

– Видано ли подобное мошенничество, посылают за таким человеком, как я, и в то же время зовут другого врача? Ей-богу, если бы это случилось несколько лет тому назад, они не стали бы шутить со мной.

– Неужели, супруг мой, – сказала она, – это вас огорчает? Разве не лучше спокойно спать на своей постели, чем провести бессонную ночь, дежуря около больного? Разве у вас есть дети, которые просят хлеба? Вы пришли в очень добрый час, потому что, хотя я и думала провести вечер совсем иначе, мне все же пришло на ум, что так может случиться, и на всякий случай для вас был приготовлен ужин.

– Разве найдется еще такая женщина на свете? – сказал доктор. – Вы уже лишили меня всего раздражения, с каким я пришел. Пусть они убираются к дьяволу со своими деньгами, потому что для меня видеть вас довольной гораздо дороже всех денег в мире.

«Сколько таких обманов, – сказал я про себя, – существует в мире, и сколько женщин, благодаря хитрости и притворной доброте, делаются главами своих домов, хотя они заслуживают, чтобы их собственные головы были сняты с плеч!»

Доктор спешился, а лакей, отведя мула в стойло, пошел с женой в свое жилье, так как он получал на руки свой паек и жалованье. Доктор сел ужинать без всякой досады, восхваляя заботливость своей жены. Но чертова собака, благодаря силе обоняния, свойственной этим животным, только и делала, что обнюхивала доску, скрывавшую паренька, царапаясь и ворча, так что доктор заметил и спросил, что такое находится за доской.

Я проворно ответил:

– Там, вероятно, лежит кусок мяса.

Собака опять принялась скрести и ворчать и даже лаять немножко громче; мой хозяин посмотрел туда более внимательно, чем раньше. Я видел, какая беда может произойти, если в это не вмешаться, и, зная характер доктора, я напал на хороший способ предотвратить это. Я сказал, что иду за севильскими оливками, большими любителями которых оба они были, и остановился внизу у лесенки, выжидая, на что он решится.

Собака не переставала скрести и лаять, так что мой хозяин сказал, что он хочет посмотреть, почему так упорно лает собака. Тогда я подошел к двери и начал кричать:

– Сеньор, у меня отнимают плащ! Сеньор доктор Сагредо, разбойники срывают с меня плащ!

Он, с обычной своей яростью и естественной поспешностью, вскочил, схватил на бегу шпагу и, в два прыжка очутившись у двери, спросил о разбойниках; я ему ответил, что лишь только они услышали произнесенное мной имя доктора Сагредо, как бросились бежать с быстротой молнии вверх по улице. Он тотчас же бросился их преследовать, а она выпустила из дома юношу без плаща и без шляпы, положив за доску кусок мяса, как я уже подсказал ей. До сих пор дело шло хорошо, но паренек был так взволнован, так преисполнен страха и трепета, что не мог дойти до две-

ри на улицу настолько быстро, чтобы мой хозяин, возвращаясь, не столкнулся с ним. Здесь необходимо было прибегнуть к быстроте, чтобы предотвратить эту вторую беду, которая была более явной, чем первая, и поэтому, прежде чем доктор спросил что-нибудь, я ему сказал:

– С этого бедного мальчика тоже стащили плащ и хотели убить его, поэтому он, убегая, проскользнул сюда в дом и от страха не решается идти к себе домой; видите, ваша милость, какое несчастье.

И так как сочувствие очень свойственно вспыльчивым, мой хозяин выказал его к юноше, сказав:

– Не бойтесь, вы находитесь в доме доктора Сагредо, где никто не осмелится вас обидеть.

– Обидеть? – сказал я. – Да когда они только услыхали имя доктора Сагредо, у них словно крылья на ногах выросли.

– Я вас уверяю, – сказал доктор, – что, если бы я их догнал, я отомстил бы за вас и моего эскудеро так, что они больше никогда бы не воровали плащей.

Моя хозяйка, стоявшая до сих пор на галерее взволнованная и дрожащая, увидев, что беда так быстро предотвращена и что грозившая кровопролитием ярость превратилась в сочувствие, очень охотно поддержала сострадание мужа, сказав:

– Бывают же такие несчастья! Не отпускайте этого бедного юношу; хватит с него тех бед, в которых он побывал; а то его убьют эти разбойники.

– Я его не отпущу, – сказал доктор, – пока сам не провожу его. А как это случилось, молодой человек?

– Шел я, сеньор, – ответил юноша, – по поручению моего хозяина Хуана де Вергара, предвкушая удовольствие пустить кровь из щиколотки одной сеньоре, но так как этот ангел с орлиными ногами не дремлет, случилось то, что ваша милость видела.

– У вас не будет недостатка в возможностях пустить кровь, – сказала сеньора, – успокойтесь теперь, братец, находясь в доме доктора Сагредо.

– Поднимитесь сюда, – сказал доктор, – а после ужина я отведу вас домой.

Хотя собака и побежала за воображаемыми разбойниками, однако шум не помешал ей вернуться опять к ее доске, и если раньше она царапала ее из-за юноши, то теперь она это делала потому, что мясо искушало ее обоняние. Видя такое упорство собаки, мой хозяин подошел к доске, нашел за ней кусок мяса, и на этом успокоился, расхваливая чутье своей собаки. Жена его, хотя и счастливо избавилась от этих опасностей, все еще не оставляла своего намерения и дала мне понять, чтобы я не отпускал паренька, что тяготило меня больше всего.

Они ужинали, – и тот, кто сначала возглавлял стол, потом ел, словно ястреб с руки, а не как кавалер за столом, ибо необходимость сильнее желания. Поужинав, доктор хотел отвести его домой, но хотя я поддержал его, моя хозяйка сказала, что ей не хочется, чтобы доктор подвергал себя риску встречи с разбойниками, в особенности когда придется проходить через проход у Святого Андрея, где обычно укрывается столько разбойников.

– И хотя это, – сказала она, – ничтожно для вашей храбрости, для меня это будет очень вредно, потому что я подозреваю, что я беременна, и если что-нибудь случится или я испугаюсь, то моя жизнь подвергнется опасности; ведь этот мальчик может переночевать с эскудеро, потому что это его знакомый, а утром он отправится к себе домой.

– Довольно, – сказал доктор, – раз вам это доставит удовольствие, пусть так и будет; а я хочу лечь, потому что немного устал.

Они пошли в постель вместе, причем он, как всегда, вел жену впереди; но так как она была охвачена иными мыслями, она не заснула, пока не составила дьявольский план, который стоил ей досады, а мог бы стоить жизни.

Комната была настолько мала, что между нашими кроватями не было и четырех шагов, и всякое движение, сделанное на одной, было слышно на другой, поэтому ей не удалось осуществить здесь свое намерение. Она знала, что

мул был очень беспокойным и, оказавшись на свободе, переполошил бы всех соседей, прежде чем смогли бы поймать его. Сеньоре донье Мерхелине представилось, что она сможет отвязать его и вернуться в постель, прежде чем проснется ее муж, чтобы пойти усмирить его, а тем промежутком времени, какой ему пришлось бы потратить, чтобы поймать и стреножить мула, она могла бы воспользоваться, чтобы дать свободу себе. И так как женщины всегда быстры в своих решениях, то, заметив, что муж спит, она потихоньку встала с постели и, отправившись в стойло, отвязала мула, рассчитывая, что она сможет вернуться в постель раньше, чем мул поднимет шум и проснется муж, что дало бы ей возможность осуществить свое намерение. Но мул и муж точно сговорились: мул быстро выскочил, стуча копытами, из стойла, а муж услышал это так быстро, что в тот же момент встал с постели, посылая к дьяволу мула и того, у кого он его купил, — и если бы жена не вошла в стойло, то муж столкнулся бы с ней. Он схватил хорошую айвовую палку и наградил ею мула так, что тот, спасаясь бегством в свое узкое стойло, едва поместился там из-за гостьи, которую он там нашел. Из-за тесноты ей некуда было укрыться, кроме как за самого мула, так что благодаря гибкости палки ей досталась большая часть обильных ударов, которыми он изо всех сил осыпал это белое и нежное тело.

Я стоял на лестнице, словно ожидая палача, который меня с нее сбросит, смущенный и беспомощный, так как я видел все происходящее, не имея возможности помочь. Собака, услышавши шум и почуяв новое тело на моей постели, начала изрядно кусать паренька и лаять на него, так что женщина в руках мужа, а юноша в зубах собаки расплатились за то, чего они еще не совершили. Видя, что доктор охвачен яростью и не сознает, что делает, я сказал ему:

— Посмотрите, ваша милость, что вы делаете: ведь все удары, какие вы наносите мулу, оскорбляют мою сеньору, которая так его любит, — потому что ваша милость ездит на нем, — что самому солнцу не позволяет касаться его.

— Благодари, сеньор мул, что он напомнил мне о твоей хозяйке, а то я бил бы тебя до утра. Есть чем стреножить этого мула?

— В этой сараюшке, — ответил я, — ваша милость найдет веревку, — у меня болит бок, так что я не решаюсь выйти.

Когда он пошел за веревкой, я встал у двери, загораживая сеньору, и она, избитая, молча легла в постель.

Так как я всегда старался, чтобы оскорбление не было приведено в исполнение, то, хотя и не очень охотно, я взял у доктора, когда он вышел, веревку и послал его в постель. Я стреножил мула и поднялся, чтобы лечь на свою, где нашел жалующегося на собаку юношу, а ее плачущей на своей; а когда муж спросил ее о причине, она ответила очень сердито:

— Все ваша ярость и порывистость; вы так внезапно вскочили, а я в это время так сладко спала, что, испуганная внезапностью, я упала за кровать и угодила лицом прямо в тысячу находящихся там всяких ненужных вещей, о которые очень сильно поранилась.

Супруг успокоил ее, как только мог, а мог он очень хорошо, потому что честные женщины, когда они спотыкаются и не впадают в ошибку, хватаются за покаянные четки, которые очень тонки; и так как она увидела, что в трех случаях ее постигла неудача и для нее это кончилось плохо, она не захотела пробовать четвертого. У юноши от всех опасностей и зубов собаки как рукой сняло любовь и тщеславие, которых было у него немного.

Глава IV

Так как вся ночь была до сих пор настолько беспокойна и полна огорчений, досады и волнений — результатов, свойственных подобным мечтаниям, основанным на бесчестье, оскорблении и грехе, то остаток времени до утра все спали так крепко, что, привыкнув вставать обычно очень рано, я не просыпался, пока утром не постучали в дверь, вызывая

доктора на какой-то очень неотложный визит. Я поднял голову и увидел, что солнце уже заглядывало в мое помещение, однако я никогда еще не смотрел на него с таким неудовольствием. Я окликнул огорченного юношу, который как будто скорее был в забытьи, чем спал, и, узнав, что он решил не возвращаться больше к прежним проказам, я сказал ему:

— Ведь самая большая опасность еще впереди, если ты не будешь жить осторожно и скромно, потому что, хотя ты в настоящее время, правда, не нанес оскорбления этому дому, — а желания хотя и пятнают совесть, но не наносят ущерба чести, — все же, ради ее репутации и собственной безопасности, следует хранить тайну, которую, будучи малоопытным юношей, ты мог бы разгласить, если тебе покажется, что это были происшествия, вполне заслуживающие стать известными, и что когда ты будешь таинственно рассказывать о них, люди не поймут, что это ложь, в какую впадают все болтуны; итак, заметь себе, что для тебя дело идет не меньше как о жизни, если ты сможешь молчать, или о смерти, если захочешь болтать. Ни одного преступления не совершено из-за молчания, а из-за болтовни каждый день их совершается много. Болтовня — это достояние всех людей, а молчание свойственно только благоразумным; я уверен, что сколько ни происходит убийств, все они вызваны оскорблениями, нанесенными языком, о чем виновники этих убийств даже не знают. Хранить тайну — это добродетель, и того, кто не хранит ее из добродетели, заставляют ее хранить из страха. Вовремя молчать очень похвально, тогда как противоположное — отвратительно; болтовня о том, о чем нужно молчать, подвергает нас опасности и смерти, а противное защищает нас от всякого вреда и обеспечивает нам жизнь и спокойствие. Никто не видал себя лопнувшим из-за хранения тайны или подавившимся, проглотив то, что собирался сказать; пчелы жалят того, кого им вздумается, но при этом теряют жало и жизнь, — и с теми, кто разбалтывает тайну, о которой им следовало молчать, происходит то же самое. И в заключение скажу, что

молчание — это добродетель самая высокая и настолько почитаемая среди людей, что подобно тому, как восхищаются, видя хорошо говорящего попугая, который раньше не умел этого, так же восхищаются, видя хорошо молчащего человека, который умеет говорить. И чтобы не утомлять тебя больше, я скажу, если ты не хочешь молчать, потому что это правильно, — так молчи из-за опасности, которой ты себя подвергнешь, затронув честь столь храброго человека, как доктор.

Сказав ему это и многое другое, я отправил его домой больше со страхом, чем с любовью, или более напуганным, чем влюбленным. Доктор оделся столь поспешно, что не имел времени взглянуть на пораненное лицо своей жены, которая первое, что сделала, не одеваясь и не теряя времени, чтобы сунуть ноги в мулильи, — это посмотрелась в зеркало и, увидя, что ее лицо расписано несколькими полосами, настолько огорчилась этим, что в течение многих дней не снимала с лица покрывала, а так как она была такой кроткой и нежной, то казалось, будто она носила его не по необходимости, а как наряд. Когда я мог с ней поговорить, я пришел туда, где она занималась украшением своего страшного лица, и, высказав сочувствие по поводу многих синяков, которые я на ней увидел — у людей с очень белой кожей они появляются от всякой причины, — я сказал ей, насколько мог и умел мягче:

— Что вы думаете о вашей счастливой судьбе? Ведь она была именно такой, потому что, сколько раз вы ее ни испытывали, она заботилась, чтобы замыслы не перешли в исполнение и чтобы, таким образом, ваша честь, уже готовая пасть, оставалась невредимой в столь затруднительном положении, ибо когда вы бросались в опасность с таким определенным желанием, она ставила вам столько препятствий для падения и давала столько возможностей для раскаяния. Если бы вы упали в очень глубокую реку и вышли из нее, не замочив платья, разве вы не считали бы это чудом и делом никогда не виданным? Если бы вы бросились на тысячу обнаженных шпаг и не получили раны, разве вам не показа-

лось бы, что это дело руки Божьей? Так верьте и будьте уверены, что это было вполне очевидное проявление божественного милосердия по отношению к вашей милости и вашему супругу, так как оно избавило вас от вашей собственной воли, а самая могущественная сила, какая существует против нас, это наша собственная воля; она нас одолевает и делает рассудок своим рабом настолько, что даже не оставляет ему свободы, чтобы он мог руководиться здравым смыслом или, по крайней мере, обратиться к нему. Так как порочная воля покорила столь невинную душу, то эта воля сама, с помощью раскаяния и разума, должна вернуть ей ее свободу. Раскаяться и одуматься свойственно доблестным душам; опыт нас делает осторожными, как решимость — бесстрашными. Когда воля нас дерзко толкает на что-нибудь, дурное последствие исправляет это страхом; *лучше рано раскаяться, чем поздно плакать.* Пресеченное вначале зло улучшает середину и обеспечивает конец; лучше, думая об этом дурном последствии, остановиться, чем, упорствуя, надеяться, что оно будет лучшее. Счастлив тот, к кому опыт приходит раньше, чем вред. Дурные намерения, не выполненные вначале, порождают осторожность впоследствии. Кто не ошибается, тому не в чем исправляться, а кто ошибается, тому есть в чем делаться лучше, — ведь Бог счел за лучшее, чтобы зло существовало, — ибо за дурными делами следует раскаяние, — чем иметь мир без зла; так что Его величие больше проявляется в том, чтобы извлекать доброе из злого, чем сохранять мир без зла. Дай Бог, чтобы все, что ни случается дурного, имело бы такое же неудачное начало, как это, потому что зло было бы меньше вследствие таких возмездий. Ваша милость приходит в себя, ценя свою красоту наравне со своей честью; а эту беду я предотвратил и предотвращу еще больше.

Пока я все это ей говорил, по ее румяным щекам бежали капли слез столь скромных и стыдливых, что они могли бы растрогать самого жестокого палача на свете. Но, подняв разбитое лицо и осушив платком смочившую его влагу, немного приглушенным голосом она сказала мне следующее:

— Я хотела бы иметь возможность вынуть свое сердце и положить его в ваши руки, чтобы было видно действие, какое произвел на него ваш справедливый упрек, и для меня было бы некоторым облегчением моих несчастий, если бы вы поверили мне, как я поверила вам, готовая не только выслушивать совет, но и повиноваться ему и приводить его в исполнение; ведь кто слушает охотно, тот хочет исправиться. Я не говорю, что меня это происшествие совершенно не трогает, ведь жажда таких приключений коренится в душе и поэтому не может так быстро ее покинуть; но так как любовь и ненависть никогда не останавливаются на полдороге — потому что в способе зарождаться они идут по одному и тому же пути, — то и я перехожу из одной крайности в другую, так как когда я увидела, что мое лицо покрыто синяками и оскорблено тем, благодаря кому все мне оказывают столько почтения и любезности, во мне возникла смертельная ненависть к тому, кто был причиной этого. Кроме того, этой ночью, за то короткое время, когда мои глаза отдыхали, я видала во сне, будто я сорвала с дерева прекрасное и ароматное яблоко и, в то время как я сжала яблоко пальцами, из него вышло много дыма и такая большая змея, что она два раза обернулась вокруг моего тела около сердца и так сильно меня сдавила, что я подумала, что умру; и, между тем как никто из окружавших не решался избавить меня от нее, один старик подошел и убил ее лишь своей слюной, плюнув в голову змеи, которая в тот же момент упала мертвой, освободив меня, — и я пробудилась от сна. И, размышляя об этом сне, я вскоре растолковала его таким образом, что благодаря дурному началу и вашему доброму содействию я восстановила свою честь и жизнь, а мое сердце перешло от крайности любви к крайности ненависти благодаря вашим хорошим и целительным советам. Поэтому, если до сих пор вы были моим эскудеро, то впредь вы должны быть моим отцом и наставником; и если вы усмотрели во мне что-нибудь, на ваш взгляд заслуживающее одобрения, ради этого я прошу и умоляю вас не оставлять и не покидать меня ни из-за этого случая, ни на

весь остаток вашей жизни, потому что любовь, какую я питаю к вам, так же велика, как и заботливость, проявленная вами к моеей чести. Разочарование меня постигло раньше, чем наслаждение успело погубить меня; хотя воля была сломлена, честь осталась невредимой. Если бы желание было делом, я сочла бы свою слабость позором: тот, кто имеет мужество ухватиться, споткнувшись, будет также иметь его и для того, чтобы подняться, упавши; тот, кто раскаивается, близок к исправлению. Я не падаю духом, будучи слабой, и не пугаюсь, будучи униженной. Если во мне есть, что могло меня унизить, почему этого не найдется, чтобы поднять меня? Без совета я сдалась, но с помощью совета я освобожусь. Если я дала себя увлечь без чужого убеждения, почему я не приду в себя благодаря вашему убеждению? Чтобы упасть, я была одна, а чтобы мне подняться — нас двое, вы и я. Больной больше благодарит за лекарство, которое его вылечивает, чем за совет, который его предохраняет; я не приняла сначала вашего полезного совета и теперь отдаюсь в плен вашего лечения. Больному, который не помогает себе, лекарства не идут на пользу; но того, кто подбодряет себя и заботится о себе, все успокаивает и восстанавливает ему силы. Милосердие надо начинать с себя самой; если я не люблю себя достаточно, то какое мне дело, что меня любит кто-то помимо меня? Если я пренебрегаю здоровьем, то напрасны труды того, кто старается мне его дать; но если я хочу выздороветь, то половина дела уже сделана. Кто подчиняется наставлению, тот хочет достичь цели, и кто не возражает на упреки, тот не далек от обращения на путь истинный. Когда змея сбрасывает кожу, она хочет обновиться. Нет более верного признака появления плода, как отпадение цветка, ни больших доказательств раскаяния, как отвращение к пороку и познание разочарования. Я его знаю, отец души моей, и у меня есть желание подняться и решимость не падать вновь. Помогите мне своим советом и утешением, чтобы я пришла в себя, собрала растерянное, исправила прошлое, чтобы собралась с духом в настоящем и приготовилась к будущему.

Наказанная горьким опытом красавица собиралась говорить еще, но так как супруг постучал в дверь, то необходимо было оставить более чем приятное прощение или исправление. Вошел доктор, и она притворилась сердитой, закрыв пострадавшее, но все же прекрасное лицо и немного покапризничав притворно, чтобы он ее успокоил, что сделать ему было очень легко, так как он нежно любил ее. Он посмотрел ее лицо и огорчился гораздо больше, чем она, и, кротко попросив у нее прощения, сказал:

— Дорогая, я пущу тебе немного крови.

— Зачем нужно пускать кровь? — спросил я.

— Из-за падения, — ответил доктор.

— Так разве она упала, — спросил я, — с башни Сан Сальвадор, чтобы пускать ей кровь?

— Вы мало понимаете, — сказал доктор, — потому что от этой контузии при падении, если сдвинулись ипохондрические части и почки, могло произойти непоправимое profluvium sanguinis[1], а от ливора на лице может остаться вечный шрам.

— А потом, — сказал я, — полуденный артур вступит в метафизическую окружность телесной вегетативности и кровь печени извергнется.

— Что такое вы говорите, — сказал доктор, — я вас не понимаю.

— Не понимаете меня? — сказал я. — Но еще меньше ваша жена понимает вашу милость; неужели для того, чтобы сказать, что удар при падении может вызвать какое-нибудь кровоизлияние и оставить знак на лице, нужно произнести столько педантичных ученых слов, как контузия, ипохондрия, профлувиум, ливор, шрам! Приложите немного бальзама, или белой мази, или сока листьев редьки и можете смеяться над всем остальным.

— Я тоже думаю, что это будет лучше, — смеясь, сказала она, — но хуже то, что у меня пропало желание есть.

— Положи, — сказал доктор, — немного полыни в устье желудка и поставь клистир; после этого и фрикации ниж-

1 Кровоизлияние (*лат.*).

них частей, вместе с эксонерацией желудка, все это прекратится.

— Опять? — сказал я. — Этих молодых врачей, должно быть, не заставишь говорить на понятном языке!

— Так что же, вы хотите, — сказал доктор, — чтобы люди ученые говорили так же, как и невежды?

— Что касается сущности, — сказал я, — конечно нет; но в смысле языка — почему им не говорить так, чтобы их понимали?

— Графа Лемос, дона Педро де Кастро, человека очень здорового, когда он отправился посетить свои владения в Галисии, от дорожной усталости захватила болезнь, которую врачи называют геморроем, так как он был очень крупным и толстым и пил очень много воды; и так как при нем не было врача, Диего де Осма сказал ему: «Здесь есть один врач, который уже несколько дней хочет пощупать пульс вашей сеньории». — «Так призовите его», — сказал граф. Позвали его, и добрый человек, знавший болезнь, очень обдумал медицинскую риторику, рассчитывая этим путем приобрести благосклонность графа. И, надев на себя очень потертое и полинявшее черное платье и огромный перстень, похожий на наконечник вертела, он вошел в зал, где находился граф, со словами: «Целую руки вашей сеньории»; а граф ему: «Пусть будет в добрый час ваш приход, доктор». Врач продолжал: «Мне говорили, что ваша сеньория страдает от болезни орифисио». Граф, чрезвычайно любивший простоту, сейчас же распознал его и спросил: «Доктор, что вы хотите сказать этим орифисио — золотых дел мастер или что-нибудь другое?» — «Сеньор, — сказал доктор, — орифисио — это та часть тела, через которую истекают, освобождаются и извергаются внутренние нечистоты, остающиеся от переваривания пищи». — «Объясните получше, доктор, а то я вас не понимаю», — сказал граф. А доктор говорит: «Сеньор, слово “орифисио” происходит от os, oris[1], и facio, facis[2], приблизительно os faciens[3]; потому что как у нас есть рот, через который входит пища, так есть и другой, через который выходит остаток». Граф, хотя и больной, умирая со смеху, сказал ему: «Так это называется по-кастильски вот как, — и назвал это настоящим именем, — уходите, вы плохой врач, потому что вы все превращаете в пустую риторику». Так что медик погубил себя тем, чем думал приобрести доверие графа. Он убежал, а граф так смеялся, что заставил дрожать постель и даже зал; и я твердо уверен, что для больных является облегчением, если врач говорит на понятном для них языке, чтобы не повергать в беспокойство бедного пациента. Кроме того, врачи обязаны быть мягкими и приветливыми, с веселым лицом и ласковыми словами; хорошо, если они расскажут больным несколько острот или коротеньких анекдотов, чтобы развлечь их; пусть они будут любезны, чисты и благоуханны и настолько внимательны к больному, чтобы казалось, что они заботятся об одном только этом посещении; пусть они посмотрят, хорошо ли сделана постель больного в смысле опрятности и чистоты, и поступают, как доктор Луис дель Валье, который всех, даже в то время когда их соборовали, ободрял, давая им надежду на выздоровление; потому что бывают врачи, настолько невежественные в обращении и простой вежливости, что, даже когда человек не болен, они, чтобы поднять цену своему труду и увеличить свой доход, говорят больному, что его состояние опасно, чтобы оно действительно стало таким; и хорошо, чтобы, раз они считают себя слугами природы, они были ими вполне. Я не говорю о тысяче небрежностей, какие бывают в их распознавании болезней и в применении лекарств.

— Это очень свойственно старым врачам, — сказал мой хозяин, — подходить к делу исподволь, как вы этого хотите, и обращать внимание на эти пустяки. Мы же, неотерики, идем другим путем; для лечения у нас есть метод очищения желудка и пускания крови, вместе с несколькими эмпирическими средствами, чем мы и пользуемся.

— И все-таки из-за этого, — сказал я, — я избегаю лечиться у молодых врачей, потому что у меня был один друг, мо-

1 Рот, устье (*лат.*).
2 Настоящее время от латинского глагола facere — «делать».
3 Букв.: «делающий рот».

лодой по возрасту и по опытности, очень ученый, пользовавшийся моим доверием благодаря разным изречениям Гиппократа, приводимым им наизусть в подходящих случаях и произносимым с некоторым жеманством, и я отдался в его руки, когда меня впервые схватила подагра. Я вышел из этих рук с двадцатью потами и втираниями, и он мне задавал бы их до сегодня, если бы я сам не нашел у себя пульса с интеркаденциями. Тогда, сказав, что мы ошиблись в лечении, — как будто я тоже в этом ошибался, — он меня покинул и ушел от меня со смущением и стыдом; но я, будучи здорового телосложения и хорошо заботясь о себе, поправился и, по выздоровлении, встретился с ним на площади Ангела лицом к лицу, причем его лицо было цвета перца, а мое желтушным, и я обошелся с ним так, что он вышел из-под моего языка хуже, чем я из его рук. Великие врачи, каких я знал и знаю, приходя к больному, с большим вниманием стараются узнать происхождение, причину и состояние болезни и преобладающие соки пациента, чтобы не лечить холерика, как флегматика, и сангвиника, как меланхолика; и даже, если это возможно — хотя не существует науки об индивидуальных особенностях, — узнать тайные свойства больного; в таком случае лечение достигает цели, а врачи приобретают доверие.

— Никогда еще за свою жизнь, — сказал доктор, — не видывал, чтобы эскудеро был таким лисенсиатом.

— Но у меня еще больше дерзости, — сказал я, — потому что, видя истину беззащитной, я бросаюсь ей на помощь, не думая о жизни и душе.

— Что вы знаете об интеркаденциях, — сказал доктор, — и какие у вас признаки подагры, так как вы избежали одного и не страдаете от другой?

— Интеркаденции, — отвечал я, — у меня были и после того, так как я перенес тяжкие болезни, но я не падал духом, а даже ободрял одного молодого и очень учтивого врача, который меня лечил в Малаге, потому что он очень смутился, обнаружив их в моем пульсе, так что в данном случае я был врачом, а он пациентом; и хотя мне говорят, что это

особенное свойство моего пульса, он имеет все признаки интеркаденций. А когда я избавился от этой жесточайшей лихорадки, от которой я вылечился кувшином холодной воды, вылив ее себе на грудь, у меня появились огромнейшие скопления газов в животе, от которых мне этот врач дал немецкое средство, такое, что, если бы я применял его, надо мной издевались бы ребята, как я издевался над ним, потому что человеку холерическому и родившемуся в жарком климате он велел никогда в жизни не пить ни капли воды. А от подагры он предохранил меня советом Цицерона, гласящим, что истинное здоровье заключается в употреблении пищи, идущей нам на пользу, и в избежании причиняющей вред. Я не употребляю влажной пищи, не пью во время еды, не ужинаю, пью воду, а не вино, каждое утро, прежде чем встать с постели, я делаю очень сильное растирание, начиная с головы и проходя по всем членам до ступней, а когда чувствую тяжесть в желудке, то вызываю рвоту; всем этим и воздержанностью в других вещах я предохраняю себя от подагры.

Пусть ваша высокопреосвященная сеньория простит мне, если я утомляю вас этими пустяками, случившимися со мной у этого врача, но я говорю о них потому, что, может быть, их прочтет кто-нибудь, кому они принесут пользу.

Тогда доктор сказал мне:

— Ради вашей жизни, скажите мне, учились ли вы и где, потому что ваше поведение настолько приятно во всем и вы так мне нравитесь, что, будь я знатным принцем, я никогда не расставался бы с вами.

— О том же самом, — сказала жена, — прошу вас и я, отец моей жизни, — и пусть Бог даст вам очень долгую, — расскажите нам о своей жизни; потому что вы ведете себя так, что этот рассказ будет, наверное, чрезвычайно занимательным: для доктора по содержательности, а для меня из расположения к вам.

— Рассказывать часто о несчастьях, — сказал я, — нехорошо; вспоминая о бедствиях, тот, кто в них впал, может прийти в отчаянье. Есть разница между счастьем и несча-

стьем: именно воспоминание о бедствиях в несчастье опечаливает еще больше, а в счастье увеличивает удовольствие. Того, кто еще находится в жалком положении, не следует просить рассказывать о пережитых бедствиях, потому что, вспоминая то, о чем он хочет забыть, он будет этим растравлять уже заживающую рану. Тот, кто спасся от бури, не удовлетворяется только тем, что видит себя вне ее, он хочет поцеловать землю, но тот, кто все еще терпит кораблекрушение, помнит только о необходимости избавления в настоящем; потому что, хотя я нахожусь в положении бедняка, я обладаю духом богача, и, если я не теряю бодрости при падении, мне нечем воодушевляться, поднявшись, и мои бедствия не для того, чтобы о них часто рассказывать.

Глава V

Но так как всякое лишение чего-либо оказывает сильное влияние на женщин, по той же самой причине, по какой я в этом отказывал, моя хозяйка еще сильнее настаивала, чтобы я рассказал о себе, ибо, обладая благородным сердцем и считая, что она чем-то обязана мне, она черпала силы в слабости и изыскивала способы, чтобы дать мне понять, насколько она мне благодарна. Ведь различие между сердцем простым и искренним и сердцем дурным и неблагодарным заключается в том, что хороший человек благодарит даже за воображаемое добро, тогда как грубый и черствый не только не благодарит, но даже ищет способов быть неблагодарным за добро полученное. Но чем больше моя хозяйка старалась дать мне понять свою признательность, тем больше сердился я на то, что она думала, будто я что-нибудь делал, желая услужить ей; ведь знание чужих слабостей, которым или мы все подвержены, или по природе предрасположены к ним, не должно давать права меньше уважать тех, о чьих слабостях мы знаем. Знание чужой тайны бывает или случайным, или благодаря доверию, какое к нам питают: если оно случайно, то сама при-

рода учит нас, что то же самое может случиться и с нами, а если оно вызвано доверием, то хранить тайну заставляет уже репутация того, кто ее знает. Скрывать чужие ошибки свойственно ангелам, а раскрывать их — собакам, которые лаем больше всего вредят. Желание знать чужие тайны рождается в недостойных сердцах, так как то, чего они не могут заслужить сами, они хотят заслужить на чужой счет. Кто хочет знать чужие ошибки, тот хочет быть в дурных отношениях со всеми и хочет, чтобы разглашали об его ошибках. Счастливы те, до сведения которых не дошли чужие ошибки, потому что такие никого не оскорбят и сами не будут оскорблены! Существуют люди, стоящие настолько вне естественного порядка, что им кажется, будто они приобрели огромную драгоценность, узнав о какой-нибудь ошибке своего ближнего; но пусть тот, кто имеет такой отвратительный обычай, не старается убедить себя, что против подобных нечестивых проделок не найдется соответствующего возмездия; ибо за всяким преступлением, как тень, следует наказание, и нет такого дурного умысла, который не вызывал бы в ответ подобного же или еще худшего.

Один благонамеренный монах, хотя и не очень ученый, спрошенный при одном расследовании, не знает ли он проступков или оплошностей своих товарищей, ответил, что не знает; потому что, если он слышал о них, он или не обращал на них внимания, или позабыл; а если о них сообщали другие, он или не слушал, или не поверил. А другой, лишивший доверия всех товарищей, чтобы приобрести доверие для себя, оказался на расследовании виновнее всех.

Этот арсенал слов я привлек, чтобы сказать об опасении, какое, вероятно, было у моей хозяйки, думавшей, что я могу разоблачить ее тайну или что я хочу, по крайней мере, как говорят, поставить ногу ей на затылок. Поэтому, продолжая следовать своему намерению, она сказала, что, желая мне блага и дружески относясь ко мне, она хотела бы, чтобы я навсегда остался в их доме и был бы ей вместо отца, и что она хочет женить меня на одной своей родственнице, девице очень привлекательной и молоденькой; и

когда она высказала это при своем муже и при мне, восхваляя доброту и добродетель девушки и указывая, как мне было бы хорошо для утешения в моей старости жениться на ней, я сказал ей:

— Сеньора, ни за что на свете я не сделаю этого, потому что тот, кто женится стариком, быстро отправляется на тот свет.

Видя, что она смеется, я продолжал, говоря, что в Италии есть тоже похожая поговорочка: тот, кто женится стариком, подвержен болезни козленка — он или скоро умирает, или становится козлом.

— Иисусе! — сказала хозяйка. — Да разве может это воображать себе такой почтенный человек, как вы?

— Сеньора, — сказал я, — я вижу и всегда видел, что у старика, который женится на молодой, все члены тела истощаются, кроме лба, растущего все больше. Девушки веселы сердцем и развлекаются в обществе, всегда играют и резвятся, как лани, а мужья, будучи старыми, — как олени. Зайца не так преследуют борзые, как жену старика всякие бездельники; во всем городе не найдется юноши, который не был бы ее родственником, ни старой ханжи, которая не была бы ее знакомой; во всех церквах у нее обеты, служащие предлогом или чтобы убежать от мужа, или чтобы посетить сводню; если муж беден, она жалуется на него; если он богат, она живо оставляет его таким же, как зима оставляет кусты козерога, — с одним только плодом на лбу. В моей молодости я отказался взвалить эту тяжесть на свои плечи, а теперь я должен взять это на свою голову? Бог да сохранит мой рассудок; мне хорошо и одному, я уже умею управляться в одиночестве; я не хочу погружаться в новые заботы; довольно легкомысленных советов.

От всего этого доктор умирал со смеху, а его жена обдумывала возражение, какое хотела мне сделать; и наконец с большим изяществом и непринужденностью сказала своему мужу и мне:

— Каждый день мы видим что-нибудь новое; хорошо жить, чтобы испытывать характеры. Вы — первый старик,

которого я видела и слышала отказывающимся жениться на молоденькой. Все стремятся к прибавлению молодой крови для сохранения своей. Старые деревья омолаживают новой прививкой; растения, чтобы они не замерзали, защищают покрытием, — пальма, если около нее нет ее товарища, не приносит плода; одиночество, — что хорошего может оно принести, кроме меланхолии и даже отчаяния? Все животные, разумные и дикие, стремятся к обществу. Не будьте таким, как тот тупой философ, который, когда его спросили, какой возраст хорош для женитьбы, ответил, что когда молод, то рано, а когда стар, то поздно. Подумайте, ведь помимо того, что это будет для меня большим удовольствием, жить под защитой будет хорошо для вашего благополучия.

— Признаюсь, — сказал я, — что такие тонкие доводы, высказанные с таким изяществом и уменьем, убедили бы всякого, не обладающего такой опытностью в мирских делах и не свыкшегося так с одиночеством, как я; но столь непреложные истины не допускают риторических убеждений, потому что старику жениться на молодой девушке, если она такова, какой должна быть, — это значит оставить детей сиротами и нищими и в немного лет стать обоим одинакового возраста, потому что природа всегда заботится о своем сохранении и старик сохраняет свою природу, поглощая молодость бедной девушки. А если дело обстоит не так, то ее взоры направлены на то, что она должна унаследовать, а воля и желание — на мужа, которого она должна избрать. Но как бы выглядел я со своими сединами рядом с белокурой и белокожей девушкой, красивой и хорошо сложенной, если, подняв глаза, чтобы взглянуть на мою прическу, она нашла бы ее более гладкой, чем пятка, углы лба голыми, как темя у случая, а бороду более курчавой и седой, чем борода Сида?

— Об этом вам нечего беспокоиться, — сказала она, — потому что у Хуана де Вергара есть краска такая черная и прочная, что всех приходящих к нему с сединами мужчин и женщин он делает такими, что по выходе от него их и не узнаешь.

— Благодаря такому обману, — сказал я, — даже они сами себя не узнают, и я твердо уверен, что эта слабость рождается из незнания нашей внешности; потому что я не знаю, для чего нужно скрывать и прятать свои седины, разве только для занятия кожевников, так как они не отказываются ходить с руками, похожими на португальское черное дерево. И действительно, те, кто об этом знают, обладают такой удачей, что не обманывают никого, кроме самих себя; потому что все знают об этом и поэтому прибавляют им гораздо больше лет, чем им есть на самом деле, а они не сознаются в своей ошибке до тех пор, пока из-за какой-нибудь болезни не перестанут краситься и, посмотрев на себя, находят свою бороду похожей на повешенную сороку. А если краска не вполне совпадает с цветом волос, — что очень обычно, — то, попав на солнце, борода переливает как радуга. Если бы, покрасившись, можно было восстановить ослабевшее зрение, возместить отсутствие зубов, придать прежнюю силу ногам и рукам или уменьшить годы, чтобы обмануть смерть, — мы все это сделали бы. Но смерть поступает с окрашенными, как лиса с ослом из Кум, который надел на себя шкуру льва, чтобы пугать зверей и пастись в безопасности, а лиса, увидя его ходящим так медленно, посмотрела ему на ноги и сказала: «Ты осел». Так же и смерть смотрит на покрасившихся и говорит им: «Ты старик». Пусть красится, кто хочет, а мне нравится светлое больше темного, день больше ночи, белое больше черного. Я больше хочу быть похожим на голубя, чем на ворона, и слоновая кость красивее черного дерева. Если бы бороды, вместо того чтобы становиться из черных белыми, делались из белых черными, насколько они были бы ненавистнее из-за темного цвета! В конце концов, серебро веселее черного дерева; значит, недостаточно жениться, а надо еще и почерниться?

— Ну, — сказала моя хозяйка, — ведь этим утаивается несколько лет, а без этого их нельзя отрицать.

— Хотя хорошие люди, — сказал я, — никогда не должны лгать, ложь может принести пользу во всех случаях жизни, кроме лет и игры; потому что ни годы не становятся меньше от скрывания их, ни выигрыш не исчезнет, если в нем не признаться. Но, возвращаясь к нашему делу, я скажу, что брак является делом самым святым, этого нельзя отрицать, и я этого не отрицаю, ведь то, что я не хочу его, происходит от моей непригодности, а не от его совершенств; пусть к этому стремится тот, кто находится в надлежащем возрасте и расположен к этому, с тем равенством, какого требует сама природа, чтобы не были оба детьми или оба стариками, ни он стариком, а она ребенком, ни она старухой, а он ребенком. По этому поводу среди философов существуют различные мнения, и наиболее правильное то, что мужчина должен быть старше женщины на десять или двенадцать лет; но если мне пятьдесят лет, а моей сеньоре жене будет пятнадцать или шестнадцать, то это все равно что хотеть, чтобы низкий бас и сопрано пели одним и тем же тоном, тогда как они обязательно должны идти на расстоянии восьми пунктов один от другого.

— Так, значит, вы никогда не были влюблены? — сказала моя хозяйка.

— Был, и даже до такой степени, — сказал я, — что сочинял песенки и дрался на дуэлях; ведь молодость полна тысячи необдуманностей и сумасбродств.

— Наверное, это было не так, — сказала она, — ведь люди рассудительные судят о вещах иначе, чем остальные.

— Я отрицаю, — сказал я, — поведение, которое должно превратить человека в сову, заставить его пребывать на кладбищах, испытывать холод и вечернюю росу, неудобства и опасности, столь обычно случающиеся ночью, и даже вещи, о которых следует молчать. Кто ходит по ночам, тот видит чужие пороки и не знает своих, быстро расточает молодость и к старости лишается доверия. По ночам можно видеть вещи, которые считаются дурными, не будучи таковыми; каких только страхов и ужасов не рассказывают те, что разгуливают по ночам, тогда как, увиденное днем, это заставило бы нас смеяться!

Я вспоминаю, что у меня были некие любовные дела в квартале Сан-Хинес, так как в те времена я рассуждал ина-

че; во вторник карнавала сеньора прислала сказать мне, чтобы я принес чего-нибудь хорошего для прощания с мясной пищей, так как в эти дни позволяется просить об этом и даже допускается в этом отказывать, но чтобы быть любезным, так как это было первое, что я делал, служа своей даме, я продал несколько очень нужных мне вещиц и, когда кончился шум спринцовок и ударов апельсинами и собачье мученье, причиняемое привязанными палками, – от которого, неизвестно почему, они бегают до изнеможения, – я направился в обжорную палатку, где набрал в полотенце паштет и пару куропаток, кролика и коржиков, и, хорошенько завязав покупки, я пошел передать все это через окно не позже одиннадцати часов ночи; а так как следующий день – покаянная среда – был днем большого уединения (хотя все прошедшее было радостью для мальчишек и бедствием для собак), то стояла полная тишина; таким образом, хотя я шел хорошо нагруженным, видеть меня не мог никто. Достигнув площади Сан-Хинес, я заметил, что идет ронда, и укрылся под навес, где обычно находится катафалк для поминовений и погребений, и, прежде чем люди из ронды могли достичь меня, я сунул полотенце, как оно было завязано, в большое отверстие, находившееся в нижней части катафалка, и, вынув четки, которые всегда ношу с собой, притворился молящимся. Подошла ронда, и, думая, что это какой-нибудь укрывающийся преступник, стража схватила меня, спрашивая, что я здесь делаю. Подошел алькальд и, увидев четки и то, что я не смутился – ибо очень важно при всяком случае не смущаться, – сказал, чтобы меня отпустили и чтобы я уходил. Я сделал вид, что ухожу, а когда ронда скрылась, вернулся за своим полотенцем и ужином к черному катафалку, где все это оставил, и хотя ночной час и одиночество внушали мне некоторый страх, я засунул туда всю руку, насколько мог далеко, но не нащупал ни полотенца, ни того, что в нем было. От этого меня бросило в дрожь и холод, и можно представить себе, какой ужасный страх причинило мне такое поразительное обстоятельство на кладбище, под катафалком, после одиннадцати часов ночи

и при таком великом безмолвии, что казалось, будто умер весь мир. А в то же время я услыхал внутри катафалка столь сильный лязг железа, что мне представились тысячи цепей и множество душ, томящихся в чистилище и находящихся сейчас именно здесь. Мое смущение и беспокойство были так велики, что я позабыл о любви и об ужине и хотел бы находиться за тысячу лиг отсюда. Но самое лучшее, что я мог, или наименее дурное, что мне удалось сделать, – я повернулся спиной и медленно пошел, прижимаясь к стене, причем мне казалось, что за мной следовало целое полчище покойников; но, идя в таком беспокойстве, я почувствовал, что сзади кто-то тянет меня за плащ, и я до такой степени потерял присутствие духа, что всей своей персоной растянулся на земле, ударившись лицом об эфес шпаги; я обернулся посмотреть, не был ли это какой-нибудь уже бесплотный скелет, но не увидел ничего другого, кроме собственного плаща, зацепившегося за гвоздь голгофы, находившейся в этой стене. Тут я немного перевел дух и пошел, набравшись храбрости и забыв о страхе, причиненном гвоздем и плащом, но не о страхе, причиненном катафалком.

Я сел и огляделся кругом, чтобы посмотреть, не следует ли за мной кто-нибудь, и чтобы отдохнуть, потому что устал так, что нуждался в этом, ибо не более утомился бы, пройдя сотню лиг по горам и обрывам Сьерра-Морены. Я обдумал происшедшее, размышляя, каким я выказал бы себя на следующий день, рассказывая о случившемся и не видев ничего существенного; потому что рассказывать о таком ужасном страхе, не доискавшись его причины, – это значило лишиться доверия и ославить себя трусом или лгуном; ничего не говорить об этом значило бы остаться во мнении сеньоры моей дамы скупым, так как я не мог бы сказать, какой конец имели утраченные покупки, которых она не получила. С другой стороны, для меня было ясно, что если бы это был какой-нибудь покойник, то он не нуждался бы в моем бедном ужине, а человек не мог так укоротиться, чтобы я не наткнулся на него, когда протянул руку.

В конце концов, я решил следующим образом: если это дьявол, то он убежит, когда ему покажешь знак креста; если это душа, то я узнаю, не просит ли она какой-нибудь помощи; а если это человек, то у меня такие же хорошие руки и шпага, как и у него; и с таким решением я храбро направился к катафалку, обнажал шпагу и, обмотав плащом руку, сказал с большой твердостью: «Я тебя заклинаю и приказываю именем святого этой церкви, если ты злой дух, уйти из этого священного места, а если ты душа и бродишь в муках, то открой мне, чего ты желаешь или в чем нуждаешься, — лязг железа с моим заклинанием сделался еще резче, — единожды, и дважды, и трижды я тебе говорю это и повторяю». Но чем больше я говорил, тем больше ударов железа звучало в катафалке, и это заставляло меня дрожать.

Видя, что мое заклинание оказывалось недействительным, и чувствуя, что если решимость моя остынет, то страх опять лишит меня храбрости, я взял шпагу в зубы и обеими руками ухватился снизу за отверстие катафалка; и когда я его поднял, между моих ног проскочила огромная черная собака с привязанным к хвосту колокольчиком; убегая от мальчишек, она забралась отдохнуть в это святое убежище; а так как, отдохнув, она почуяла еду, она притянула ее к себе и удовлетворила свой голод; но, благодаря большому и неожиданному шуму, какой она, выбегая, произвела, испуг мой был настолько велик, что, как она побежала в одну сторону, я пустился бы в другую, если бы не удар по колену, какой она, выскочив, нанесла мне колокольчиком, так что я не мог быстро двигаться; но мне было до такой степени смешно, что, когда прошла боль, я разразился хохотом, и всегда, когда я вспоминаю об этом, хотя бы я был и один на улице, я не могу удержаться от смеха.

Чтобы продолжать речь и довести ее до цели, ради которой я привел этот рассказ, нужно было, чтобы доктор и его жена перестали смеяться, и когда они похвалили рассказ, я сказал им:

— Нельзя поверить, как я радовался, что разрешил это сомнение, которое держало бы меня в таком смущении, когда я стал бы рассказывать о том, чего не видал, отчего пошла бы дурная слава об этом месте, как это делали многие другие, которые, не выяснив своих страхов или их причину, тысячу мест лишили доверия и сами навсегда остались лишенными доверия как трусливые и пугливые, хотя для этого не было причины; но, увидав что-нибудь необыкновенное и не проверив этого, они починают рассказывать тысячу небылиц и несуразностей. Один рассказал, что видел коня, всего в цепях и без головы, а на самом деле это была лошадь, шедшая с пастбища домой с железными путами.

Рассказывается бесконечное количество подобного вздора, так что не найдется селения, где не было бы места, пользующегося славой страшного, и никто не говорит правды, разве только в шутку или ради остроты. В Ронде есть проход, ставший страшным после того, как однажды ночью обезьяна залезла на черепичную крышу, своей цепью и колом для привязи зацепилась или застряла в желобе и бросала оттуда черепицами в проходящих; и все в таком роде. Я нашел только две вещи, могущие причинить ночью зло, — это люди и росы, потому что одни могут отнять жизнь, а другие — зрение.

Глава VI

В то время, когда мои отношения с доктором Сагредо и моей сеньорой доньей Мерхелиной де Айвар были наилучшими вследствие любви, какую они ко мне питали, — так как судьба моя всегда была изменчива и я приучился и привык к переменам счастья, испытывая их в течение всей моей жизни, — доктор Сагредо получил приглашение из одного города Старой Кастилии на большое жалованье, от которого он не мог отказаться, так как нуждался в нем. Это давало ему также лучшую возможность применять на практике то, что он изучил, ибо ни величие ума, ни постоянное изучение не делают человека ученым, если у него отсутствует опытность, так как именно она дает созреть школьному

обучению, умеряет болтливость, делающую ум доверчивым к многословию диалектики; и действительно, мы не можем сказать, что обладаем полным познанием науки, пока не знаем причин и следствий, чему нас научает опыт, ибо с ним начинается познавание истины. Больше знает человек опытный без теории, чем книжный ученый без опытности, которой недоставало и доктору Сагредо, и поэтому ему было выгодно принять такое предложение и по этой причине, и чтобы обеспечить себя всем необходимым для сохранения человеческой жизни.

Когда условие было принято, они со всей возможной настойчивостью просили меня отправиться вместе с ними, что я и сделал бы, если бы у меня не было причины не отваживаться на холода Старой Кастилии; ибо человек, будучи на склоне жизни, не должен рисковать делать то, что он делает в молодости. Холод – это враг природы, и даже, если кто-нибудь умирает от сильнейшего жара лихорадки, в конце концов он делается холодным. Действия старика медлительны из-за недостатка жара; в то время как юность горяча и влажна, старость холодна и суха; вследствие недостатка тепла наступает старость, и поэтому старики должны избегать холодных областей, как это и сделал я, оставшись без службы, чтобы не идти туда, где холод покончил бы со мной в короткое время.

Они уехали, и я остался один и без прибежища, которым я мог бы воспользоваться, ибо те, что дают пройти молодым годам, не думая о старости, принуждены претерпевать это и другие величайшие бедствия и нужду. Никто не должен обольщать себя надеждами на жизнь или думать, что может обеспечить ее без старания, ибо от юности до старости столь же близко, как от старости до смерти; этому может поверить только тот, кто всю свою жизнь отодвигал надежды на будущее время. Каждый день, проходящий в праздности, является потерянным в жизни, и много таких потерянных дней благодаря образующейся привычке.

Когда лисенсиат Алонсо Родригес Наварро, муж исключительного ума и рассудительности, был студентом в

Саламанке, я застал его однажды ночью спящим над книгой и сказал ему, чтобы он посмотрел, что он наделал, потому что он сжег себе ресницы, – он ответил, что прибегнет к помощи времени, чтобы выросли другие; но если бы он потерял время, то ему не к кому было бы обратиться за помощью и он мог бы только раскаиваться. Он же, спрошенный, каким путем он сделался столь любимым в своем городе, в Мурсьи, ответил, что достиг этого, доставляя удовольствие и не замечая не благодарностей, но при этом никогда не могло зародиться в его сердце раскаяния в том, что он сделал добро; ибо хорошие люди не должны делать вещей, в которых им пришлось бы раскаиваться. Поэтому, если раскаяние приходит поздно и хорошо принято, оно служит для исправления жизни, так как, когда раскаяние является следствием бедствий, случившихся по собственной вине, оно всегда сопровождается признаками добродетели, рожденной из горького опыта и поддержанной благоразумием. Но нет раскаяния, которое приходило бы слишком поздно, если оно будет хорошо принято.

Четыре следствия обычно являются результатом дурно истраченного и еще хуже проведенного времени: вред самому себе, отчаяние в возможности наверстать потерянное, стыдливое смущение, добровольное раскаяние. Два последних доказывают добрую волю и близость исправления; но следует знать, что, как заблуждение было во времени, так и раскаяние не должно быть без времени; ибо если долгое время прошло быстро, то короткое пролетит незаметно, и поздно наступит раскаяние; как время, проводимое небрежно с удовольствием, не считается часами, так и время, проводимое в труде, не заметно, пока оно не прошло.

Я остался одиноким и нищим, и, чтобы удовлетворить мои потребности, судьба столкнула меня с одним идальго, удалившимся на житье в деревню и явившимся теперь отыскать учителя или воспитателя для двух своих малолетних детей. Когда он спросил меня, не хочу ли я воспитывать их, я ответил, что воспитывать детей было обязанностью нянек, а не эскудеро; он засмеялся и сказал:

— Вы остроумны, и, честное слово кабальеро, вы должны отправиться со мной; разве вам не будет хорошо в моем доме?

— Сейчас — да, а потом не знаю, — ответил я.

— Почему? — спросил идальго.

— Потому что, пока не испытаешь чего-нибудь, — сказал я, — нельзя отвечать утвердительно; и слуг следует спрашивать не о том, хотят ли они служить, а умеют ли они служить, ибо желание служить доказывает нужду, а умение служить доказывает способность и опытность в той должности, какую они хотят получить. И от этого происходит, что многие слуги через несколько дней службы или сами увольняются, или их увольняют, потому что они поступили на службу по необходимости, а не по способности, как это бывает и с некоторыми сбившимися с пути студентами, которые, видя свое положение безнадежным, вступают в религиозный орден столь же полными невежества, как и нужды, и после немногих приключений или оставляют рясу, или ряса их оставляет. Сначала надлежит исследовать и испытать, хорош ли слуга и пригоден ли для должности, какую хотят ему дать, а не только имеет ли он желание служить, потому что обладание слугами праздными и не умеющими взяться за обязанности, для которых они были наняты, помимо напрасного расхода, влечет за собой другие, еще большие неудобства. Некий вельможа этих королевств ответил своему дворецкому, сказавшему, чтобы он преобразовал свой дом, потому что у него много непригодных слуг: «Непригодны вы, потому что бездельники меня благодарят и почитают, а эти другие, хотя им платят, считают, что, служа мне, они оказывают мне большую милость; и кого добрые дела не обязывают, тот не любим и не любит, а в добрых делах человек подобен Богу».

— Мне кажется, — сказал идальго, — что тот, кто знает это, сумеет также нести ту службу, какую ему поручат, в особенности потому, что мой старший сын сможет вам когда-нибудь сделать добро, так как он имеет право и надежду на майорат со стороны матери, которым ныне владеет его бабушка; а от старшего сына, к которому он перейдет, у нее только двое болезненных внучат, и когда умрут они и их отец, наследником остается мой сын.

— Это, — сказал я, — то же самое, что случилось с одним человеком, который, желая всласть поесть фиников, отправился в Берберию за пальмовым деревом, купил там кусочек земли, где посадил его и все еще ждет, чтобы оно принесло плоды. Так и мне нужно переждать три жизни, между тем как моя подходит к концу, ради небольшой милости, которую может оказать человек, который даже еще не имеет надежды оказывать ее; ведь эта надежда живет между уверенностью и страхом, поэтому необходимо, чтобы долгой жизнью обладал тот, кто поддерживает себя ею, ибо нет ничего, что поглощало бы жизнь больше, чем очень отдаленная надежда; и надо думать, что тот, кто собирается провести свою жизнь среди дубов и кустарников, не считает эту надежду ни очень близкой, ни очень достоверной, и, чтобы мне не мучиться вместе с такими людьми и чтобы не оказаться постигнутым неудачей, в какую они повергают тех, кто следует за ними, я всегда считал за лучшее и более надежное обняться с бедностью, чем обниматься с надеждой.

— Это, — сказал идальго, — расчет погибших людей, которые, чтобы не надеяться и не страдать, хотят всю жизнь оставаться бедными.

— А насколько большая бедность, — сказал я, — быть в вечных хлопотах, строить планы, сокращая жизнь и ускоряя смерть, живя без радости с этим неутолимым голодом и постоянной жаждой поисков богатств и почести! Ведь богатство приходит благодаря или необычайному усердию, или полученному наследству, или прихоти благодетельного случая. Если благодаря старанию — оно не оставляет места никакой другой добродетели, а если по наследству — оно является обычно в сопровождении пороков и зависти родственников; если по прихоти или капризу случая — оно заставляет человека забыть о том, чем он был раньше, и каким бы путем это ни было, умирая, все неохотно расстаются с бо-

гатством и почестями, какие им из-за него оказывают. Одно различие нахожу я между смертью богатого и бедного: что богатый всех оставляет недовольными, а бедный — сожалеющими.

Глава VII

— Мне кажется, — сказал идальго, — что мы уклонились от главного предмета нашего разговора, а именно — о воспитании и обучении моих детей, которое заключается в том, чтобы они утвердились в добродетели, были мужественны и уважаемы, а также научились бы обхождению с людьми, ибо это вещи, которыми должны блистать люди благородные и знатные.

— На тему о воспитании детей, — сказал я, — можно так много сказать и привести столько наблюдений, что даже их собственным отцам, их породившим, часто нельзя доверить обучение, в каком они нуждаются; потому что нравы родителей, испорченные или плохо укоренившиеся в самом главном, портят наследников семей благородных и простых. Если дети знают, что предки были охотниками, дети хотят быть такими же; если они были отважны, дети поступают так же; если они дали себя увлечь какому-нибудь пороку, о чем известно детям, дети следуют тем же путем; и чтобы исправить и уничтожить пороки, унаследованные от старших, следует, и даже необходимо, чтобы они не знали родителей; поэтому было бы более целесообразным похоронить память о некоторых фамилиях, так как благодаря этим воспоминаниям дети подражают тому, что слышали о своих предках, тогда как важнее, чтобы они об этом не слышали и поэтому не подражали им. А отсюда происходит то, что одни поднимаются в добродетели и своих достоинствах, не имея образцов для подражания в своей семье, благодаря достойному воспитанию, повлиявшему на них в молодые годы, а другие погружаются в самую глубину слабости и человеческого ничтожества, отступая

от унаследованной добродетели или благодаря искаженному подражанию предкам, или благодаря порочному наставлению, повлиявшему и заложенному в нежные годы, ибо оно настолько могущественно, что из такой скромной травки, как цикорий, благодаря воспитанию получается такое прекрасное растение, как эскарола, а из высокого и стройного кипариса, если посеять или посадить его в цветочный горшок, получается карликовое и жалкое деревцо, так как оно было лишено помощи хорошего воспитания.

Если животных, по своей природе свирепых, когда они рождены и воспитаны в диких лесах и зарослях, как кабаны, медведи, волки и другие им подобные, воспитывают и держат среди людей, то они становятся ручными и общительными; а если домашним животным предоставляют свободу уйти в леса и воспитываться там, не видя людей, они делаются столь же дикими, как и настоящие хищные животные. Во времена могущественнейшего короля Филиппа Третьего одна львица разгуливала по патио Советов, и пажи играли с нею, а если они причиняли ей боль, она искала убежища у ног человека. Я видел, как она ложилась у ног детей, и, так как они не боялись ее, она бросалась к их ногам. А во времена мудрейшего Филиппа Второго в городе Гибралтаре один поросенок убежал в лес, находящийся над городом, и за четыре или пять лет, что он провел на свободе в лесу, он стал настолько диким, что рвал всех собак, которых бросали на него, чтобы его убить. Ибо воспитание настолько могущественно, что дурное превращает в хорошее, а хорошее — в еще лучшее; из дикого и некультурного делает воспитанного и кроткого и, наоборот, из послушного и покорного — непослушного и дикого.

— Я хорошо знаю, — сказал идальго, — что чрезвычайно важно позаботиться о хорошем воспитании детей, потому что от этого зависит их жизнь и честь и спокойствие и отдых их родителей, которые, желая сохранить в них свое собственное бытие и род, любя их, хотят видеть в их поведении и обращении подражание их предкам. Известно, что македонский царь сказал, что он считает такой же великой

милостью неба рождение своего сына во времена Аристотеля, чтобы тот мог быть его наставником, как и самое рождение наследника его царства.

— Наставники или воспитатели, — сказал я, — должны быть таковы, чтобы они примером своей жизни и нравов обучали больше, чем нравственными поучениями, наполненными излишней суетностью; ибо очень часто наставник обучает больше тем, что внушает доверие к себе, и высказыванием хвастовства, чем выказыванием добродетели и укреплением ученика в мужестве, благонравии и скромности; наставление, полное этим святым желанием достигнуть пути истины, совершенствует хороший характер и исправляет дурные наклонности. Сына кабальеро надлежит обучать вместе с науками и добродетелям, так, чтобы они сообщали о древнем происхождении его предков, научали скромности с доблестью, самоуважению без надменности, вежливости с высшим, дружественности с равным, простоте и доброте с низшим, величию духа в делах тяжелых и трудных для исполнения, охотному пренебрежению тем, что не может увеличить его достоинств.

Однажды лиса открыла школу для обучения охоте; и, так как волк был стар и не мог сам промышлять охотой, он попросил лису, чтобы та обучила его сына, так как он считал, что сын должен быть храбрым, чтобы содержать его и свою мать, когда они состарились; лиса, найдя на чем отомстить за причиненные ей волком обиды, с большой поспешностью и очень охотно приняла воспитанника. Первое, что она сделала, — это было отучить его от смелых наклонностей, состоявших в нападении на крупных животных, и научить его лисьим уловкам, обычным для нее, по ее природному инстинкту; и она проявила такое уменье, что меньше чем в год из волчонка вышел величайший охотник за курами. Она отправила его к отцу как очень искусного и ловкого в своем ремесле; отец и мать обрадовались, думая, что теперь их сын должен зарезать целое стадо скота. Они отправили его на промысел, чтобы утолить мучивший их голод, и через полтора дня он вернулся с курицей и следами многих укусов и палочных ударов, которыми его наградили. Видя, какую плохую науку он прошел, волк сказал: «В конце концов, никто не может научить тому, чего не знает сам; я дал себя обмануть лисе, чтобы мне самому не возиться со своим сыном, потому что лень охотно поддается обману, и теперь для меня стало очевидным то, на что я не могу смотреть с одобрением. Сын, пойди сюда». И, показав ему на несколько телят около хутора, волк сказал: «Вот добыча, какую ты должен брать и на что должен охотиться». Лишь только отец показал их ему, как он легкомысленно напал на них, между тем как матери, уже почуявшие волков, в один момент согнали детей в середину и все, ставши в круг, образовали изгородь из своих рогов, и бедный волчонок, думавший принести добычу, сам стал добычей, потому что они его приняли на пики или на острия своего оружия и подбросили его так высоко, что когда он упал, то уже больше не мог подняться. Отец, не могший, по своей старости, отомстить за смерть сына, вернулся в свое логовище, говоря: «От дурного воспитания нет лекарства; привычки дурного наставника делают ребенка несчастным». С тех пор осталась навсегда непоколебимая ненависть между лисой и волком, и поэтому лиса выходит на добычу лишь туда, куда не осмеливается волк, то есть в селения, потому что там они не могут встретиться.

— Мне это очень понравилось, — сказал идальго, — ибо вы так кстати привели рассказ, что мы продолжим еще этот разговор, чтобы выяснить, как можно было бы выбрать наставника, который должен быть руководителем тела и души чужого ребенка, которого он должен воспитать с большей заботливостью, чем если бы это был его собственный, и научить его следовать по истинному пути, ведущему его к совершенству кабальеро-христианина, ибо мы уже знаем всеми принятые внешние признаки кабальеро.

— Эта категория кабальеро, — сказал я, — очень обременена обязательствами, благодаря значению, каким они обладают, о чем можно будет поговорить после, если нам позволит время, потому что тема эта не любит краткости, а у

меня нет сейчас времени, чтобы быть пространным. И, продолжая начатый разговор, я говорю, что первое и главное, чем надлежит обладать тому, кто должен быть наставником какого-нибудь государя или высокого кабальеро, — это опытность и зрелый возраст, по крайней мере, уже растраченный пыл юности, возраста, когда человек с трудом может быть мудрым и благоразумным, ибо только время делает нас предусмотрительными и осторожными. Но если это будет юноша, то пусть он будет таким, чтобы его восхваляли испытанные в науке и благонравии старики, хотя юность так подвержена изменчивости, нетерпению, неистовству и другим необдуманным и неподобающим поступкам, что, если он не обладает большим достоинством и совершенством в испытанной и известной добродетели, я считал бы за лучшее избрать в качестве наставника старика, утомленного жизнью и с хорошей репутацией, чем юношу, который вступает в жизнь и подает хорошие надежды, ибо, в конце концов, по отношению к первому есть уверенность, которой достаточно, а ко второму — доверие, которое может измениться. В стариках всегда возрастает трезвость взглядов и знание, и в то время, как уменьшается сила, — увеличивается рассудительность, а в юноше возрастает самонадеянность и тщеславие, сила и самодовольство, — так что он нуждается в чужом совете и дружеском обуздывании, что в наши времена видно было по некоторым лицам, достойным уважения по своему происхождению, но настолько преисполненным, пороков и погруженным в несчастия благодаря неблагоразумию молодых наставников, беспорядочных и развратных, — что ужасно вспоминать о них. Таких несчастий не допускает руководство наставника старого, уставшего наносить и получать теперь уже зажившие раны в мирских отношениях и столкновениях. Поручая детей наставникам, не избранным по способности и природным данным, подходящим для такой должности, а юношам, принятым из милости и по просьбам, уснащенным некоторой долей лицемерия, — обычно впадают в положения, какие непристойно даже представить себе.

Наставник должен быть исполнен кротости в сочетании с серьезностью, чтобы его одновременно любили и уважали, чтобы он добивался такого же результата в воспитаннике, не теряя его ни на минуту из вида, кроме времени, избранного для удовольствия его родителей или когда ребенок находится со своими сверстниками. И во время забав ребенка должен присутствовать наставник, поощряя его и указывая ему, как он должен вести себя во время развлечения. Не следует делать того, что делал при мне один педант, воспитатель знатного кабальеро, сына одного знатного вельможи, ребенка с выдающимися способностями, который со своими ровесниками по возрасту и положению устроил в один из дней карнавала петушиную игру; невежественный педант также появился в своем каписайо или доспехах из тисненой кожи поверх сутаны, с бородой длиннее, чем у Эскулапа, и обратился к детям: «Dextrorsum heus sinistrorsum»[1]. Потом, обнажив свою короткую кривую саблю из обода решета, он с бледным лицом двинулся против петуха с такой яростью, словно шел против Морато Арраэса, громко крича: «Non te peto, piscem peto, cur me fugis, galle»[2]. Он был очень доволен этим педантством и весел, и все слышавшие его сильно смеялись и шутили над ним. Я подошел к нему и сказал: «Смотрите, сеньор лисенсиат, ведь у петухов плохая память, и они позабыли латынь». Он очень проворно ответил мне: «Nunquam didicerunt, nisi roncantes excitare»[3]. Этот, со своей бесконечной неподходящей болтовней, полной грамматического невежества, оставил кабальеро, испортив его хороший характер. Дали ему другого наставника, умного, мало или совсем неразговорчивого, скромного и добродетельного, и в несколько дней он удалил те пороки, каким научил его первый, испортивший его многими правилами, плохо ему самому известными и еще хуже внушенными и громко повторяемыми, а этот другой немногими и очень немногословными настав-

1 Справа или слева (*лат.*).
2 Не тебя ловлю, рыбу ловлю, почему ты бежишь от меня, галл? (*лат.*)
3 Они никогда не учились ничему, кроме как будить храпящих (*лат.*).

лениями все это исправил. Они были похожи на двух братьев — один очень вспыльчивый, а другой очень хладнокровный и полный святости, — которые зарабатывали себе на жизнь с помощью одного осла; вспыльчивый кричал на него и бил палкой, и, несмотря на это, осел не двигался быстрее, чем раньше; хладнокровный не говорил ему ничего, кроме: «Но! помогай тебе Христос!» — и втыкал ему в круп острие палки, длиной в четверть, чем заставлял его лететь, как на крыльях.

Скромность наставника и другие хорошие качества производят впечатление и являются как бы зеркалом, в которое глядится воспитанник, а неблагоразумие и недостаточное достоинство служат причиной неуважения к наставнику и неуменья обходиться со всеми остальными, поэтому то, что должно быть обучением, превращается в препровождение времени, а если время проходит, ребенок не может сосредоточиться. В это немногое время можно кратко обучить его латинскому языку, не обременяя его правилами, так как сами наставники или не знают их, или забыли их, но таким образом, что, умея только склонять и спрягать, они читали бы им книги, важные как для латинского языка, так и для нравов, а все остальное я считаю напрасно потраченным временем, ибо различия или особенности имен и глаголов могут быть объяснены при чтении книг, и не нужно поступать так, как делают врачи, задерживающие выздоровление больного, чтобы продолжался их заработок. Ведь в этом, в самом деле, повинны учителя языков, изучаемых по правилам, потому что нет говорящих на них; ибо обыкновенные разговорные языки легко изучаются при помощи слушанья говорящих на них, и те, кто изучает их, чтобы их знать, а не изучать их только, — понимая книгу, которую читают, будут знать больше, чем их учителя.

Возвращаясь к примеру лисы, я скажу: пусть наставник будет хорошего происхождения или воспитания, спокойным, стыдливым, правдивым, молчаливым, скромным, с достоинством, сдержанным, не льстец и не болтун, чтобы,

как я сказал уже, он больше обучал своей жизнью и поведением, чем словами, или, по крайней мере — что похоже одно на другое, — чтобы он не бросал прочно унаследованные умственные наклонности ученика на то, что плохо усвоено благодаря невежественному наставлению; ибо добродетель должна расти вместе с воспитанником таким образом, чтобы, обучая его скромности, его не обучили робости, которая ослабила бы мужественную доблесть, с какой он родился.

Воспитание кабальеро должно быть похоже на воспитание соколов, потому что сокол, который воспитывается взаперти, не становится таким ловким и храбрым, каким делается тот, которого воспитывают, давая ему воздух, как воспитывали его родители. Воспитывать сокола надлежит на высоком месте, где, пользуясь чистотой воздуха, он мог бы видеть птиц, которых потом он должен будет бить. Тот, что воспитывается взаперти, помимо того что он делается более медлительным в деле, для какого его воспитывают, не обладает такой отвагой и решимостью, как другой, воспитанный на воздухе. Так и у кабальеро, который должен быть воспитан, чтобы подражать величию своих предков, хотя и воспитывается исполненным добродетели и скромности, сдержанность не должна быть душевной робостью, а, как я сказал выше, он должен обладать собственным достоинством со скромностью, гордостью без тщеславия, вежливостью и осмотрительностью во всех своих поступках, — таким образом, чтобы не было недостатка ни в чем для совершенного сеньора; ибо это и будет обозначать кабальеро, так как это слово слагается из слов cabal и hero, что по-латыни значит сеньор. А так как кабальеро есть совершенный герой или совершенный сеньор, то в нем не должно быть недостатка ни в чем, чтобы быть таким, и пусть другие говорят что хотят, ибо христианская философия дает нам возможность и позволение придать ей такой смысл, чтобы она приобрела характер добродетели.

— Большое удовлетворение и удовольствие, — сказал идальго, — получил я от вашего хорошего рассуждения:

удовлетворение от поучения, действительно направленного к христианской истине, а удовольствие от невежества этого педанта. Но что касается происхождения слова «кабальеро», то достоверно известно, что оно происходит от слова «кабальо» — конь, потому что они содержат коня, ездят на коне и сражаются на коне.

— Если бы это было так, — сказал я, — то кабальеро назывался бы также и продавец свежей рыбы или погонщик, перевозящий макрелей от моря, и так же назывался бы тот, кто едет на осле или на вьючном животном, потому что он едет верхом, хотя в действительности это не конь, и мне кажется, что это мнение не подходяще.

— Кабальеро называли также, — сказал идальго, — eques, от латинского слова equus, что значит конь.

— Я так же не согласен, — сказал я, — с одним, как и с другим; потому что римляне всегда давали вещам названия, которые обозначали самое дело, для какого эти вещи предназначались. Так консулам они дали это название consulo, что значит советовать и наблюдать за благом государства. Поэтому я думаю, что кабальеро дали это название не от equus — конь, а от прилагательного aequus, aequa, aequum, что значит равный, совершенный и справедливый, так как таким обязан быть тот, кто должен быть главой и образцом нравов, каким должны подражать низшие члены государства, хотя в действительности некоторые уклоняются от выполнения своих обязанностей, может быть, считая, что кабальеро — это значит алькабалеро, то есть собиратель налогов с торговцев, извлекая это значение из своего собственного поведения и их настойчивости и твердости, какую надлежит соблюдать во всех своих действиях; ибо поэтому бастион и называют кабальеро, что он должен быть всегда устойчивым и не поддаваться усилиям противников и натиску артиллерии, как кабальеро должен быть готов отразить все несправедливости и обиды, какие причиняются низшим и угнетенным; а поступая противно этому, они идут против своего достоинства и против обязанностей, унаследованных от своих предков.

Глава VIII

Весь этот разговор, или беседа, произошел, когда этот идальго и я находились на Сеговийском мосту, опершись грудью на каменные перила и смотря по направлению Каса-дель-Кампо, откуда к нам приближалось большое стадо коров, что прервало наш разговор. Заметив их, я сказал:

— Эти коровы должны пройти через мост более плотной толпой и быстрее, чем идут там, поэтому не будем дожидаться здесь натиска, с каким они должны проходить.

— Не бойтесь, — сказал идальго, — я охраню и вас, и себя.

— Берегитесь сами, — сказал я, — так как меня защитит эта стена, спускающаяся от моста к реке; ибо я не связываюсь с народом, который не разговаривает, и не умею биться с тем, у кого двойное оружие на лбу, помимо того что говорят: «Боже, избави меня от негодяев в шайке». Надлежит биться с тем, кто поймет меня, если я скажу ему: «Становись там». Драться с грубым животным — это значит дать случай посмеяться тому, кто смотрит на это, а когда благополучно выходишь из этого дела, то оказывается, что ничего не сделал. Человек не должен подвергать себя опасности, не имеющей для него большого значения; защищаться от опасности свойственно людям, а подвергать себя ей — животным. Страх — это сторож жизни, а безрассудство — вестник смерти. Какую честь или выгоду можно извлечь из убийства быка, если оно случайно совершено, кроме обязанности уплатить стоимость владельцу? Если я могу быть в безопасности, зачем мне свою безопасность подвергать опасности?

Несмотря на все, что я ему сказал, он остался, поставив в позицию ноги, а я со своими возможно скорее убрался за угол. Впереди по мосту шел мул с двумя бурдюками вина из Сан-Мартина и примостившимся между ними негром, и хотя он шел немного скорее перед быками, но так как те шли со стремительностью благодаря тому, что их подгоняли пастухи, мул оказался в середине их, как раз в то время, когда они поравнялись с моим несчастным идальго. Мул был

злобный, и, увидя себя окруженным рогами, он начал бить передними ногами и брыкаться, так что сбросил негра и оба бурдюка на рога очень веселого молодого быка, который, начав пользоваться своим оружием, сбросил один бурдюк с моста в реку, в середину толпы прачек. Идальго, чтобы спасти негра и защитить себя, схватился за шпагу и, встав в позицию против быка, нанес ему удар шпагой сверху вниз, сделав при этом две дырочки в другом бурдюке, очень обрадовавшие лакейскую челядь, но это не прошло бы ему даром, если бы бык не ухватил его спереди рогами за чулки, которые, будучи совсем изношенными, порвались, не будучи в состоянии выдержать силы рогов, и он остался прижатым к перилам моста с несколькими шишками на голове, говоря: «Если бы на мне были новые чулки, я попал бы в хорошую переделку».

Когда стадо прошло — это было в одно мгновенье, — сбежались передовые молодцы из всадников и, напав на бездыханное тело, через отверстия в боках в один момент оставили его без капли крови.

Прачки поспешили к тому, которое упало в реку, каждая со своим кувшинчиком, так что, унося один в животе, а другой в руке, они оставили мех пустым, и сеньор бурдюк замолчал; наполовину разбитого негра посадили на мула, и я не знаю, что с ним потом стало. Я поспешил к моему идальго, не для того чтобы упрекнуть его, что он не послушался моего совета, а чтобы почистить его и утешить, говоря, что он поступил как очень храбрый идальго. Ибо это заблуждение — упрекать огорченного и пристыженного за то, чего нельзя поправить; никому не следует говорить, причиняя новое огорчение: «Ведь я тебе говорил», — потому что, когда поступок совершен, поспешное порицание дурно; тому, кто сокрушается о своем поступке, не следует колоть глаза тем, что он только что сделал, ибо в нем самом есть наказание за его ошибку; и в подобных случаях смущение и стыд являются надежной карой. Он очень холодно отнесся к моему утешению, с которым я обратился к нему, восхваляя его сумасбродство, хотя стало заметно смущение

на его лице. Тем не менее он поблагодарил меня за то, что я сказал ему, и чтобы развеселить его, я указал ему на осушение бурдюка, произведенное челядью, и на радость прачек, посылавших тысячу благословений бычку, моля Бога, чтобы каждый день происходило то же самое. А когда те и другие покончили с лишением мехов души, они вернулись к своему прежнему занятию: лакеи — злословить о своих хозяевах и правителях государства, а прачки — сплетничать о девушках и монахах. Как жаль, что, проводя всю жизнь в бедности, труде и ничтожестве, — чем они могли бы снискать благословение Божие, — они ищут утешения и отдыха в объятиях сплетни! В нашей природе так мало смирения, что обычно бедность подчиняется зависти, как будто распределение высших благ зависит только от человеческого старания, без установленного божественной волей порядка, и люди гнушаются, считая позорным то, что так возлюбил Творец жизни. Бедные жалостливы по отношению к другим беднякам, но не по отношению к богатым; а если бы они рассмотрели духовными очами, насколько больше, чем бедняки, обременены богатые обязанностями и заботами, то они, без сомнения, не променяли бы своей участи на судьбу богатого; ибо богатому все стараются причинить вред, а бедняку никто не завидует. И, несмотря на все это, их величайшее утешение — сплетничать о том, кто возвышается или находится в лучшем положении, чем они. Но оставим теперь слуг управлять миром, а прачек — уничтожать и разрушать лучшее, что в нем есть.

Идальго, хотя и несколько раздраженный происшествием, начал с большой уверенностью убеждать меня, чтобы я отправился с ним, а я — обдумывать, хорошо ли это было для меня; потому что, во-первых, я замечал, что скитаться и оставаться праздным было пагубно для сохранения репутации и поддержания жизни; и что, хотя действительно служба изнуряет тело, но праздность утомляет дух; и тот, кто работает, думает о том, что он делает доброго, а праздный о том, что он может сделать дурного, — и необходимы милость неба, чтобы праздный занялся доброде-

тельными делами, и большая сила дурных наклонностей, чтобы занятый делом предался пороку. Часто я слышал, как доктор Сетина, великий судья, говорил, что он ненавидит занятия своей должности, не желая знать чужих проступков и в то же время желая их, чтобы не быть праздным. Во-вторых, я считал, что не было благоразумным уходить из Мадрида, где всего в изобилии, чтобы отправиться в деревню, где во всем недостаток; ибо в больших городах тот, кого знают, если и заночует без денег, то может быть уверен, что на следующий день ему не придется умирать с голода. В маленьких селениях, при недостатке своего собственного, нет надежды на чужое; собака, которая не подбирает у многих столов, всегда ходит тощей. Если у кролика два выхода в его норе, он может спастись; но если у него только один — он тотчас же будет пойман. Человек, не умеющий плавать, тонет в луже; но тот, кто умеет нырнуть и опять подняться, не потонет и в море. В-третьих, — я видел, что добрый идальго настолько склонен взять меня с собой, — а я так признателен всякому, кто желает мне добра, — что я не мог отказать ему в этом; ибо признательность за любовь и благодеяния свойственна благородным сердцам, а неблагодарность — тиранам; неблагодарный не заслуживает иметь друзей: у людей нет ничего, что не было бы получено ими, и поэтому с самого нашего рождения мы должны начинать быть благодарными.

Со всех этих точек зрения я рассмотрел свое положение и естественное обязательство по отношению к себе самому. Идальго был не очень богат, и его поступки обнаруживали черствое сердце; он не казался щедрым; хотя бедность и скупость одного человека распространяются на другого, я не хочу, чтобы они распространялись на меня. Я, по природе своей, враг нужды и даже считаю, что сама природа питает к ней отвращение, будучи расточительной в своих дарах; а было заметно, что этот идальго был скуп не потому, что беден, а по склонности; но, несмотря на все это, я отважился не отказывать ему в том, о чем он меня просил.

Я пошел с ним в один знатный дом, с владельцем которого он находился в родстве или дружбе. Он нуждался в некотором отдыхе, вследствие смешного положения, в какое он попал с быком; и когда мы вошли в дом, он сказал эконому, чтобы тот угостил меня; но он, без сомнения, понял, что мне нужна умеренность в пище, и потому угостил таким образом, что от полного воздержания у меня грудь почти сошлась с позвоночником. Было уже поздно, и упомянутый эконом указал мне столовую для слуг, где ели наиболее значительные слуги дома, как состоявшие на службе дворяне и пажи. Наступил час ужина, а столовая была темнее, чем трюм корабля.

Вошел некий кавалерчик, невысокий ростом, но достаточно видный, смуглый лицом, бровь дугой, почти формы бабочки шелкопряда, хорошо работающий язык, мало смысла и много слов, больше преисполненный голосом, чем идальгией. И, увидя помещение столь темным, сказал:

— Эй, подай сюда свечей!

Вошел какой-то поваренок, на котором было больше лохмотьев, чем на бумажной мельнице, с огарком португальской свечи и воткнул его в отверстие самого обеденного стола, а если бы в доске не было сучка, он воткнул бы огарок в стену. На стол положили несколько скатертей, изрезанных так, что они походили на фартук кожевника. Тогда кавалер вытащил из кармана салфетку, не более чистую, но более продырявленную, чем крышка песочницы, и с важностью сказал:

— Больше двадцати лет, как я ношу ее с собой, во-первых, чтобы не запачкаться об эти скатерти, а во-вторых, потому что мне дала ее одна сеньора, и я не хочу говорить ничего больше.

Каждому положили по редьке, листья которой служили салатом, а сама редька — желудочной печатью. Я им сказал, что они могут быть уверены в тяжелом страдании мочой как благодаря употреблению листьев, так и благодаря воздержанию в еде; пусть им дают на ужин только легкие, приправленные сажей и солью с перцем. Тот хвастун ответил:

— Всегда в доме моих родителей я слышал восхваление этой добродетели воздержания, и, будучи в ней воспитан, я воздержан во всех своих поступках.

— Кроме болтовни, — сказал другой дворянин. А тот продолжал:

— Идальго, столь почтенные и благородно рожденные, как я, должны учиться не быть обжорами, так как они не знают, в каком положении они окажутся в мире или на войне. Не бывало, чтобы мой отец ел больше одного раза в день, и с большой умеренностью, — кроме тех случаев, когда его приглашал герцог Альба, большой его друг, — и тогда он ел больше всех присутствовавших за столом; он был великим придворным, таким остроумным и разговорчивым, что один развлекал полный зал народа, и, несмотря на все это, оставил нас очень бедными.

— Я этому не удивляюсь, — сказал я, — ибо если все состояние его заключалось в словах, то в результате остался ветер; потому что когда говорение не сопровождается деланием, то, оставаясь при первом, никогда не увидишь плодов второго. Легкость и изящество языка настолько удовлетворяют его обладателя, что все превращается в тщеславие для него и в бесчестье для других. И в заключение, язык является наиболее верным признаком содержания души, ибо большая болтливость не оставляет в ней ничего, что не было бы выброшено наружу.

Между тем я все еще дожидался своего ужина, и по тому, что он задерживался, мне казалось, что я уже служу во дворце. Появился мой эконом с небольшой чашкой требухи, более холодной, чем любезности Мари Анголы. Я взял это и разорвал руками на куски, так как разрезать было нечем, и при запахе, какой поднялся от плохо промытой требухи, этот болтун сказал:

— Видя этот род пищи, я чувствую янтарный запах, который ласкает мою душу, потому что это блюдо мы всегда ели у нас в деревне, приготовленное руками одной из моих сестер; и если бы не несколько упавших туда волос, более рыжих, чем золото, это мог бы съесть отшельник.

Для меня же это пахло так, что мне очень хотелось, чтобы поваренок убрал это от меня, и я предложил блюдо этому идальго, говоря, что я уже поужинал. Он попробовал это и одобрил, и, похваливая остроту перца и лука и чистоту рук, которые это готовили, быстро управился с едой. В тот же момент потух догоревший огарок свечи, и тогда он сказал:

— Поваренок, подай сюда свечей.

— Каких свечей? — спросил поваренок. — Проваливайте и оставьте в покое свечи!

— Честное слово идальго, — сказал этот дворянин, — мне придется сделать так, чтобы тебя лишили твоего кошта.

— Это было бы возможно, — сказал поваренок, — если бы мне его давали, но трудно лишить того, что не было дано; ведь вам известно, что в этом доме уже больше четырех месяцев не давали кошта.

— Ах ты, невежа, — сказал другой, — позорить добрых людей! И ты смеешь так говорить? Люди низкого происхождения, как этот, позорят дома сеньоров, ибо они не умеют обладать терпением или переждать дурной день, они немедленно выносят недостатки на улицу, они не довольствуются уважением, какое к ним питают, благодаря их службе тому, кому они служат. Вы вряд ли смолчали бы о том, о чем молчал я, и терпели бы то, что вытерпел я, и не сделали бы того, что сделал я, пополняя их недостачу, тратя мое состояние, давая взаймы мои деньги, и говоря много лжи, чтобы оправдать их небрежность. Люди благородного происхождения считаются со многими обязанностями сеньоров: если у них нет сегодня, завтра у них в изобилии, и они платят сразу то, чего не давали понемногу.

— Сеньор, — сказал поваренок, — я не обладаю такими познаниями, как ваша милость, ведь вы ходите по игорным домам.

Дворянин сейчас же прервал его, говоря:

— Это правда, я часто играю, так что даже не дальше как сегодня днем я выиграл деньги, несколько драгоценностей и золотую цепочку.

— Так как же у вас нет на свечи? — сказал поваренок.

— Потому что, — ответил тот, — я роздал все деньги присутствовавшим при выигрыше.

— Это немного, — сказал поваренок, — если это правда, потому что, сколько бы раз вы ни получали, вы даете только однажды.

— Разве я мошенник? — сказал щеголь.

— Как ваш отец, — ответил поваренок.

— Мой отец, — сказал кавалер, — брал это потому, что ему давали, и он этого заслуживал.

— А ваша милость, — сказал поваренок, — потому, что этого просите и не заслуживаете этого.

Во время этой ссоры и другой, какая завязалась между двумя пажами относительно давности службы, темная столовая оставалась в полном мраке, и я, испугавшись, сказал парнишке, чтобы он замолчал и был почтительным, ибо не должно так дерзить тем, кто занимает высшие должности в доме сеньоров.

— Оставьте это, ваша милость, — сказал другой дворянин, — ведь если поваренок говорит, так он говорит за всех; потому что, если во время игры этот человек замечает, что игра складывается не в его пользу, он тотчас говорит, что это делают, чтобы дать ему от выигрыша. Кроме того, он всех нас ссорит с сеньором, он главный льстец, он восхваляет все, что говорит сеньор, и смеется ему в угоду; он наушничает, он источник сплетен, вестник того, о чем все замалчивают. Если он что-нибудь говорит, он хвалится этим и хочет, чтобы его все за это восхваляли; если другой говорит или делает что-нибудь хорошее, он старается это разрушить и уничтожить; если это будет дурное, он встречает это громким хохотом, а если ему покажется, что кто-нибудь входит в милость к сеньору, он стремится расстроить это тысячью способов. Это и многое другое я сказал ему прямо в лицо, с пятью пядями клинка в руках.

В то время как я ожидал сильной ссоры, болтунишка разразился громким смехом, от чего другой возмутился еще больше и сказал:

— Разве это неправда, то, что я сказал?

А первый, с деланным смехом, сказал ему:

— Правда и это, и еще больше; но ваша милость мало знает дворец, ибо здесь уместны фальшь и притворство: здесь нет истины, а есть только лесть и обман, и тот, кто ими не пользуется, не может занять положения во дворце. С самого рождения я вырос в нем, и, хотя мой отец сам учил меня этому, я никогда не видел его процветающим, разве только когда он дурно говорил о ком-нибудь отсутствующем, так как это, будучи сказано остроумно, — как он это умел говорить, — веселит дух, услаждает слух, привлекает благосклонность и вызывает смех из меланхолических грудей.

— И пусть заберет дьявол, — сказал я, — того, кто это говорит, и того, кто это слушает, и того, кто подстрекает так говорить, и того, кто держится такого низкого мнения, и того, кто это допускает, имея возможность помешать говорить такие вещи. И чье-либо желание сделать законом в дворцовых делах свой дурной характер и нрав — большая ошибка, достойная наказания, ибо все это — поступки, ведущие свое происхождение и являющиеся потомками древнейшего рода зависти, страсти позорной, порожденной в сердцах людей, думающих, что чужое благо должно служить им во вред, лишенных хороших качеств и достоинств; такая зависть наиболее пагубна из всех, потому что она основана на огорчении из-за блага другого, и все время, пока у одного длится процветание, у другого длится озлобление, без меры и границ, потому что тот, в ком есть такая гнусная наклонность, противопоставляет себя всем: меньшему, потому что тот ему не равен, и равному, потому что он не оставляет того позади себя, и высшему, потому что он не может подчинять и угнетать его.

— Как вы по-старинному умеренны! — сказал болтун.

— И как он по-современному невоздержан! — сказал я. А он продолжал:

— Разве вы можете отрицать, что между монахами и монахинями не является очень обычной зависть из-за выборов настоятелей и должностных лиц?

— Если она бывает, то бывает редко, — сказал я, — и, в конце концов, по поводу дел почтенных, большой важности и значения для их религии, и каждый примыкает к партии, какую считает наиболее подходящей для столь важных дел. Но из-за чего зависть во дворце, как не из-за старых чулок, которые сеньор бросил потому, что они стары, или из-за того, что кого-нибудь сделали хранителем такой тайны, которая на устах у всех? Я и хочу, чтобы придворные болтуны и интриганы поняли — так как своей мишурой они могут обольстить сеньора, поскольку он, благодаря своему юному возрасту, позволяет управлять собой льстецам, — что они все-таки потомки родов, вскормленных добродетелью и духовной силой, и должны скорее поступать обдуманно, чем впадать в ошибку, и знать, что такое добро и зло, и вознаграждать то и другое в соответствии с целью, ради которой это сделано.

— В таком случае вельможа, — спросил этот дворянин, — не должен иметь слуг, которые ради репутации сеньора умели бы устно договориться с купцами и отвлечь кредиторов, которым должны?

— Это, — сказал я, — менее важно для сеньоров, ибо такие слуги лгут не для того, чтобы поддерживать уловки своих сеньоров, а чтобы отдалить те, какие они совершили помимо этих. Но я спрашиваю, разве неизбежно, что человек, чтобы быть праздным и порочным, должен всю жизнь служить, подчиняясь устарелым обычаям тех, кто не стремится ни к чему, кроме как жить и умирать, и чтобы вставать поздно и предаваться лени, они должны целый день подпирать стены, словно душа картонного великана в дверях таверны? Я хорошо знаю, что не должны все быть солдатами или все быть студентами, чиновниками и священниками; ибо люди должны пользоваться другими людьми; а вельможи — людьми, которые были бы настоящими людьми и не прибегали бы к лести, чтобы есть и бездельничать. Пусть они учатся, читают, научаются чему-нибудь добродетельному, ибо не должно все ограничиваться снискиванием расположения сеньора, унижая ради этого одного,

лишая доверия другого, и угрожая этому, и раздражая всех, в особенности тем, что они не способны ни на что другое, кроме как есть и бездельничать, а под старость рассказывать истории, которых не видели, не читали, может быть, даже не слыхали, ибо нужда делает их изобретательными.

У меня уже распустился язык против придворной жизни, так как желудок был безработным, и части моего организма действовали более независимо, когда вошли с зажженными факелами, освещая весь дом, так что посещение гостей послужило к тому, что через узкую бойницу свет упал на стол двенадцати пажей, и, между тем как каждый из них поспешил к своим обязанностям, я остался совсем один, так что мог оставить мои обязанности в столовой и выскользнул, насколько мог осторожнее, ни с кем не попрощавшись, не сказав ни слова, оборачиваясь время от времени назад, чтобы посмотреть, не преследовали ли меня из-за издержек, какие я причинил благодаря требушиному угощению, которого я не ел и не съел бы; и, видя себя свободным от этой свалки голых костей, я подумал, что спасся бегством из какой-нибудь подземной тюрьмы в Алжире.

Я пошел в свою комнату, где — хотя она и мала — оказался с дюжиной друзей, которые возвратили мне свободу, — ибо книги делают свободным того, кто их очень любит. С ними я утешился в готовившемся для меня пленении и удовлетворил голод куском хлеба, сохранившимся в салфетке, а скудость пищи возместил главой, в которой нашел восхваление поста. О книги, верные советники, друзья без лести, пробудители разума, наставники души, управители тела, руководители для хорошей жизни и стражи для хорошей смерти! Сколько людей от темной земли вы подняли к высочайшим вершинам мира! А скольких вознесли до небесных престолов! О книги, утеха моей души, облегчение моих бедствий, поручаю себя вашему святому наставлению!

Поспал я в эту ночь очень мало, потому что сон, существующий для отдыха тела, образуется от горячих и влажных паров, поднимающихся от желудка и пищи к мозгу, а я

был почти натощак, и мой сон был так краток, что в шесть часов утра я был уже одет. Перекрестился и, поручая себя Творцу жизни, пошел к часовне святого ангела-хранителя, находящейся по другую сторону Сеговийского моста. День наступил ясный, а солнце взошло большое и ярко-желтого цвета. Кроме того, в стаде овец, какое я встретил около моста, я увидел, что бараны натыкаются друг на друга и по временам поднимают морды к небу; я заметил, что днем угрожала разразиться буря, и поторопился, чтобы поскорее вернуться. Я вошел помолиться, а когда я кончил, ко мне подошел отшельник, показавшийся человеком очень рассудительным, и сказал мне:

– Сегодняшний день не будет таким хорошим, каким был день блаженного Сан-Исидро, если ваша милость находилась здесь.

– Да, я был здесь, – сказал я, – и я тоже нашел те же самые признаки непогоды, из-за которой этот день не будет похож на тот праздничный день.

– Действительно, – сказал отшельник, – я смотрел с этого холма, и мне представился, благодаря большому количеству экипажей и парадных карет, прекрасный флот высокобортных кораблей, напомнивший мне некоторые флоты, какие я видел в Испании и вне ее.

– Такое же впечатление, – сказал я, – было и у меня в тот день, ибо я шел с небольшой подагрой, с остановками и медлительностью, неизбежными при этой болезни, и мне вспомнился флот Сантандера, имевший такой прекрасный вид и такую несчастную судьбу.

– Когда я достиг середины моста, меня пригласили сесть в экипаж два кабальеро в духовном облачении, с очень живым умом, которому сопутствовали благоразумие и доброта. Я сел, и едва я оказался в экипаже, как лошади начали беситься вследствие оскорбления, какое нанес один всадник пешему идальго с очень хорошими манерами, потому что тот помешал ему с удобством разговаривать с группой в сотню женщин, занимавших наемный экипаж, ибо когда берут экипаж напрокат, в него вмещается вся родня и все соседки. Когда сбился в кучу весь флот карет, виновник суматохи оказался около нас, очень довольный тем, что он наделал. Тогда сказал ему один из этих двух кабальеро, Бернардо де Овьедо:

– Если бы людям было позволительно делать все, что они могут, то ваша милость не смеялась бы над совершенной вами несправедливостью.

– Ваша милость, должно быть, не знает, что значит быть влюбленным, – ответил тот.

– Во всяком случае, – сказал Бернардо, – я знаю, что любовь не учит совершать безобразные поступки.

Случайно там проезжал со своим мулом маэстро Франко и сказал зачинщику:

– Пусть ваша милость не огорчается, ибо вы, по крайней мере, приобрели расположение двенадцати женщин, так как благодаря этому подвигу и расходу на двенадцать пирожков они будут говорить, что ваша милость – это Александр и Сципион.

– Надо мной потешаться? – сказал храбрец. – Так клянусь Богом, что, если бы это не были духовные лица, дело пошло бы дальше.

– Ну, так значит, – сказал маэстро Франко, – Бог устроил все к лучшему, ибо ваша милость, не подвергаясь отлучению, дала нам полную возможность посмеяться.

Все это заставило вспылить одного находившегося там дворянина, который умел хорошо разговаривать, но был легкомыслен, и он сказал:

– Возможно ли, чтобы этот идальго обладал таким терпением и не отомстил за нанесенное ему оскорбление, хотя бы его разорвали в клочки?

– За такое оскорбление? – сказал Бернардо. – Он поступил очень хорошо, не проявляя поспешности там, где это не пошло бы ему на пользу, а оскорбления, которые не касаются сущности, не затрагивают чести и даже одежды, хотя и возмущают душу. Во время игры проигрывающие обычно говорят тысячу глупостей, как, например, если ктонибудь радуется, что он проигрывает, он лжет, что он рого-

носец. Это смешно, потому что никто не дает повода для опровержения. А сущностью называется причина нанесенного словами или действием оскорбления, на которое падает мщение. Если, когда бьют палкой осла, удары случайно достаются человеку или если во время игры в мальо или труко ударят человека, ему не на что обижаться, ибо такое оскорбление не коснулось сущности; и терпение в подобных случаях доказывает большую силу духа.

— Ну, сеньор, — сказал другой, — ведь терпение в столь общеизвестных обидах обнаруживает мало храбрости в том, кто обычно им обладает.

— Благодаря трем причинам, — сказал Луис де Овьедо, — обладает человек замечательным терпением: или вследствие плохого понимания мирских обстоятельств, или вследствие природной мягкости характера, или вследствие добродетели, приобретенной на основании многих действий; и тот, кто без этих трех причин может стерпеть обиды, которых не в состоянии устранить, тот проявляет непреодолимое мужество по отношению к ним и презрение к тому, кто их наносит.

Кончая этот разговор с отшельником, я увидел, что все небо было покрыто мрачными тучами. Я собрался проститься и уйти, а он удержал меня, говоря, что буря застигнет меня прежде, чем я перейду мост. Почти сейчас же разразилась столь сильная гроза с громом и молниями, что меньше чем в полчаса поднявшаяся вода почти закрывала пролеты моста и необходимо было запереть двери часовни, так как под порывами ветра они с трудом выдерживали его напор.

— Вашей милости лучше здесь, — сказал отшельник, — чем было бы в пути.

— Лучше, — сказал я, — ибо, находясь в доме самого защитника наших душ и тел, сотворенного для этого по неизреченной благости вечного Отца, мы будем защищены гораздо лучше, чем вне этого дома; это хранитель, которого не только знает и почитает мир христианский, но даже и древность, слепая к свету веры, высоко чтила его, посвящая ему храмы и воздвигая ему алтари под именем гения,

ибо так называли древние благословеннейшего ангела-хранителя. Иисусе, а какие раскаты грома, непрерывные и ужасные! Какой крупный град! Как это долго продолжается! С тех пор как я прибыл в Кастилию, я никогда не думал, чтобы она была настолько подвержена таким неистовым бурям, какие я видывал часто, ибо в моей земле, полной больших гор, очень высоких и подверженных силе ветров, не приходится особенно удивляться таким внезапным ливням, смешанным с ветром и градом.

— Ваша милость откуда родом? — спросил отшельник.

— Я, сеньор, — ответил я, — из Ронды, из города, расположенного на очень высоких скалах и крутых утесах, обыкновенно очень подверженного яростным западным и восточным ветрам; так что, если бы там были здания, подобные этим, бури их снесли бы.

— Я никогда до сего времени не знал, — сказал отшельник, — откуда родом ваша милость, хотя был знаком с вами в Севилье и встречался с вами во Фландрии и Италии.

Я внимательно посмотрел на него и, припомнив, узнал его, так как он был солдатом в названных им местах. Я обрадовался и обнял его и узнал от него, что он несколько лет назад удалился в пустынность гор, чтобы служить Богу, а заболев, пришел в населенную местность, чтобы поблизости от города вести отшельническую жизнь, посвящая Богу то время, что ему осталось прожить.

Хотя ярость бури с ветром и грозой продолжалась не больше часа, последовавший за ней дождь длился, не переставая, до следующего дня, с сильными порывами ветра. Добрый отшельник разыскал уголь, зажег жаровню и заставил меня остаться поесть с ним того, что послал ему Бог руками благочестивых людей, которыми так изобилует Мадрид.

Глава IX

Когда двери часовни были заперты для защиты от ветра и уголь зажжен для защиты от холода, это место стало спо-

койным и тихим; потому что гармония, какую образует воздух с шумом воды по канавам, производит созвучие, приятное для ушей, хотя и не для тела, ибо в этом заключается различие между слухом и осязанием, — так что есть вещи, которые хороши, когда к ним прикасаешься, и неприятны, когда их слышишь, и наоборот. Мы поели и оставались запертыми целый день, в темноте, так что ночь и день были для нас сплошной ночью.

Отшельник опять повторил свой первый вопрос, и так как нам нечего было делать и мы были заперты, то, не имея никакой иной работы, мы говорили о чем пришлось. Он спросил меня, где я учился и каким образом я столько скитался по свету, происходя из города, столь удаленного от обыкновенной сутолоки и, по краткости человеческой жизни, обладающего достаточными и даже чрезмерными удовольствиями, чтобы провести эту жизнь с некоторым спокойствием.

Я ответил ему на все, о чем он меня спросил:

— Хотя эти высокие скалы и вздымающиеся утесы, из-за отсутствия сообщения, пробуждающего от праздности и зарождающего дружбы, не очень известны, несмотря на это, они создают столь энергичные души, что они сами стремятся к общительности больших городов и университетов, которые очищают умы и начиняют их наукой, почему и существуют живущие в наше время мужи, — здоровью которых можно радоваться, — столь признанные людьми учеными, что они не нуждаются в признании моем. Там у нас был великий учитель грамматики, по имени Хуан Кансино, не из тех, которых теперь называют учителями, а из тех, которым древность дала название грамматиков и которые обладали глубокими познаниями во всех науках, — ученейший в гуманитарных науках, добродетельный в нравах, образец, заставлявший подражать этим нравам, которым он обучал вместе с латинским языком, на котором писал очень изящные стихи. Он был от природы лишен обеих рук, но принадлежал к числу наиболее уважаемых и внушающих страх благодаря собственной добродетели; этого он

достиг, научая больше молчать, чем говорить, ибо часто он повторял, что слова нужны в случаях необходимости, а молчание всегда. В этом и в латинском языке если я не был из лучших учеников, то не был также и среди худших.

Когда я был достаточно обучен латинскому языку, настолько, что я мог понять одну эпиграмму и сочинить другую, и, кроме того, обладал небольшим знанием музыки, — ибо эти две области всегда имели между собой нечто родственное, — то по природному беспокойству, каким я всегда обладал и обладаю, мне захотелось отправиться туда, где я мог бы научиться чему-нибудь, что украсило бы меня и усовершенствовало бы природное дарование, каким наделили меня Бог и природа. Мой отец, видя мое желание и склонность, не препятствовал мне, а далее обратился ко мне, по своей манере, с прямотой, какая там обычна, и сказал:

— Сын мой, моего состояния не хватает, чтобы сделать больше, чем я сделал, иди сам искать свое счастье. Пусть Бог руководит тобой и сделает из тебя хорошего человека.

С этими словами он благословил меня, дал мне, что мог, а также шпагу из Бильбао, которая весила больше, чем я сам, и во время всего путешествия служила мне только помехой.

Я отправился в Ко́рдову и прибыл туда в целости; там часто бывает погонщик мулов из Саламанки, и туда сходятся со всей той округи студенты, желающие направиться в названный университет. Я пошел на постоялый двор Жеребенка, где останавливался названный погонщик, и, будучи юношей, склонным скитаться по свету, наслаждался, видя равнинную Кордову. Я сейчас же пошел посмотреть собор, чтобы послушать музыку, и там я познакомился с несколькими лицами, как чтобы нарушить мое одиночество, так и для того, чтобы иметь общение с людьми, у которых можно поучиться; ибо, в самом деле, благодаря малой опытности и будучи недавно разлучен с моими родителями и братьями — обстоятельство, порождающее робость в самых энергичных душах, — видя, что к этой отлучке я был вынужден и что судьба нападает на нас, наделяя трусостью, — я

ободрял себя, как только мог, говоря: бедность извлекла меня или, лучше сказать, выбросила меня из дома моих родителей, какой же отчет дал бы я о себе, если бы я возвратился в него? Если бедняки не воодушевляют и не одобряют себя сами, то кто же должен ободрять и воодушевлять их? И если богатые борются с трудностями, то почему бедным не бороться против трудностей — даже против невозможных, если это возможно? Я испытываю неясность при воспоминании о своих братьях и сестрах; но ее нужно забыть, если хочешь иметь возможность сделать им добро; а если бы я не смог этого, то, по крайней мере, я сделаю со своей стороны все возможное, что я обязан сделать. Ничто не дается без труда; кто трусливо не решается, тот остается в начале трудности; если я не сделаю больше, чем мои соседи, я останусь таким же невежественным, как и они. Смелее, ведь Бог должен помочь мне.

Я пошел в свою гостиницу, или на постоялый двор Жеребенка, и принялся есть все, что мог, ибо это был день рыбных блюд. Едва я сел за стол, ко мне подошел какой-то большой мошенник — они в Ко́рдове очень ловки, — который, вероятно, был бродягой и слышал мой разговор в соборе, или в нем говорил сам дьявол, и обратился ко мне со словами:

— Сеньор солдат, ваша милость, вероятно, думает, что ее не знают, — так знайте, что молва о вас распространилась здесь уже много дней назад.

Будучи немного тщеславен, и даже немало, я поверил этому и сказал ему:

— Ваша милость знает меня?

А он мне ответил:

— По имени и молве уже много дней. — И, говоря это, он сел рядом со мной и сказал: — Вашу милость зовут так-то, и вы большой латинист, и поэт, и музыкант.

У меня еще больше закружилась голова, и я пригласил его поесть, если ему угодно. Он не заставил себя просить и запустил руку в блюдо с яйцами и рыбой и съел их, я спросил еще, а он сказал:

— Сеньора хозяйка, — ибо он не квартировал в этой гостинице, — ваша милость не знает, кто находится в вашем доме, — так знайте, что это самый способный юноша во всей Андалусии.

Этим он придал мне еще больше тщеславия, а я ему еще еды, и он сказал:

— Так как в этом городе всегда живет много хорошо одаренных людей, то они имеют сведения о всех хороших людях, какие есть во всей этой округе. Ваша милость не пьет вина?

— Нет, сеньор, — отвечал я.

— Вы плохо делаете, — сказал он, — потому что вы уже почти взрослый мужчина, а в дороге и в вентах, где обыкновенно бывает плохая вода, следует пить вино, помимо того что ваша милость направляется в Саламанку, местность чрезвычайно холодную, где кувшин воды обычно губит человека; вино, разбавленное водой, придает храбрость сердцу, румянец лицу, уничтожает меланхолию, подкрепляет в дороге, дает мужество самому трусливому, сдерживает вспыльчивость и заставляет забывать о всех тягостях.

Он столько наговорил мне о вине, что я велел принести пол-асумбры лучшего вина для него, так как я не отважился пить. Славный малый выпил и опять принялся расхваливать меня, а я очень охотно слушал эти похвалы и, смакуя их, велел принести еще еды; он опять стал пить и приглашать других таких же пройдох, как и он, говоря, что я был Александром, а потом сказал, глядя на меня:

— Я не могу досыта насмотреться на вашу милость, ведь ваша милость имярек? Здесь есть один идальго, так любящий талантливых людей, что он дал бы двести дукатов, чтобы увидеть вас в своем доме.

Я уже не вмещался в себе, раздутый такими похвалами, и, когда покончили с едой, я спросил его, кто такой был этот кабальеро. Он сказал:

— Пойдемте к нему в дом, я хочу познакомить с ним вашу милость.

Мы пошли, и за ним последовали эти друзья его и вина, и, придя в квартал Сан-Педро, в одном большом доме мы нашли слепого, который казался человеком знатным, и негодяй сказал мне, смеясь:

— Вот идальго, который даст двести дукатов, чтобы увидеть вашу милость.

Раздраженный шуткой, я сказал ему:

— А я очень охотно дал бы их, чтобы видеть вас на виселице.

Они ушли со смехом, а я был очень рассержен и наполовину оскорблен такой шуткой, хотя он и сказал правду, потому что слепой охотно отдал бы все, что у него было, чтобы видеть меня.

Это был первый урок моего горького опыта и начало познания, что не следует доверять никому с льстивыми словами, немедленно влекущими за собой наказание. С чего мог я возгордиться, раз я не обладал приобретенной мною добродетелью, на которой мог бы основать мое тщеславие? Малый возраст полон множества заблуждений и ослеплений; те, кто мало знают, легко поддаются лести. Я дал себя обмануть тем, что желал бы иметь в себе, — но нет ничего удивительного, что человек наивный и неопытный был обманут хитрецом, однако он будет достоин наказания, если даст себя обмануть вторично. Мне не из-за чего было стыдиться того, что произошло, но было чему поучиться, чтобы впредь избавиться от пристрастия к мирским делам; но, в конце концов, шутка меня огорчила настолько, что, не будучи приверженцем мести, я хотел попробовать свои силы, чтобы посмотреть, смогу ли я составить такой план, чтобы этот шутник поплатился мне за это.

Двое других студентов дожидались того же погонщика; я подружился с ними, и мы начали прогуливаться вместе. Я снял с себя дорожное платье и оделся в короткую сутану и черный ферреруэло из очень красивого сеговийского сукна, тканого в двадцать две, и накинул его так, чтобы студенты могли хорошо его запомнить, а потом опять оделся по-

дорожному. Негодяй шутник пришел вечером, он громко смеялся, а я еще больше; чтобы он не подумал, что я сердит, я сказал ему, что хотел бы иметь своим другом такого остроумного человека; и мы оба, и его друзья смеялись над притворством, с каким он ел и говорил. Он имел знакомство — не очень близкое — в одном доме, где можно было прилично поесть и за умеренную цену, и поэтому он мне предложил, чтобы я всегда там столовался, потому что с нами там будут очень хорошо обходиться. Я сказал ему:

— Я это сделаю с тем условием, чтобы ваша милость ела там вместе со мной, но я дожидаюсь одного купца, который бывает на ярмарке в Ронде и к которому у меня есть чек на сто дукатов, и пока он не явится, я не могу вполне располагать деньгами.

— Пусть ваша милость не беспокоится, — сказал он, думая, что ему подвернулся хороший случай, — потому что я устрою так, что вам поверят в кредит, сколько хотите.

— Это нет, — сказал я, — я боюсь и давать в долг, и пользоваться кредитом, потому что на этом разорился мой отец; я дам вашей милости очень хороший залог, под который нам дадут в долг, пока приедет этот купец.

— Ну, в добрый час, — сказал добрый человек.

Я пошел к себе домой, сложил получше этот ферреруэло из двадцатидвойного сукна и, позвав его одного, чему он сильно обрадовался, отдал ему одежду, чтобы он отнес ее в заклад, причем сам я пошел вместе с ним. Я видел, как он отдал его, и мы начали на это есть, я, мошенник и двое студентов; а я все время очень следил, чтобы он не смог когда-нибудь войти без меня в дом, где мы ели, и чтобы не мог устроить мне никакой ловушки, как он замышлял, ибо не имел никакого подозрения о моей. Прибыл погонщик из Саламанки, и мы договорились отправиться с ним. Так как этот пройдоха не мог устроить никакой проделки, благодаря моей бдительности, он все-таки выпросил у доброй женщины дюжину реалов под ферреруэло, сказав ей, что собирается уехать; он не мог сказать этого так, чтобы я не слышал. Я сказал ему:

— Так как ваша милость уезжает, то скажите этой сеньоре, чтобы она отдала мне ферреруэло, когда я приду за ним с деньгами.

Он это сделал, ибо его намерением было скрыться до ухода погонщика и потом получить залог. Он скрылся, а я пошел к судье и сказал ему с большим чувством, в словах, которые могли бы тронуть его, и так как он тоже был когда-то студентом, то было легко убедить его, начав жаловаться:

— Сеньор, я студент и направляюсь в Саламанку, причем уже пятнадцать дней нахожусь здесь, дожидаясь погонщика; у меня украли ферреруэло, который стоил мне двадцать дукатов, но мне известно, что он находится в одном доме; я умоляю вашу милость, чтобы мне не лишиться возможности отправиться с погонщиком, — ибо вашей милости, как столь знаменитому студенту и ученому, известно, чем кончаются такие вещи, — прикажите судом возвратить мне ферреруэло, так как тот, кто украл его, ожидал неудобного для меня момента, чтобы у меня не было времени захватить его и он мог бы воспользоваться своим мошенничеством.

— Это ему не удастся, — сказал судья, — потому что в подобных проделках я умею прийти на помощь с правосудием и усердием. Какая низость, что бедного студента, у которого, может быть, не было ничего другого, чем похвастаться в Саламанке, хотели лишить необходимого, присвоив себе украденное у него имущество!

Он сейчас же поручил альгвасилу и писцу заняться этим делом. Я разделил между ними обоими восемь реалов, отчего они воспылали желанием исполнить приказание судьи. Я пошел вместе с двумя студентами к доброй женщине — да простит мне это Бог — и, оставив у дверей писца и альгвасила, сказал ей, чтобы она вынесла мне ферреруэло. Она принесла его, студенты его увидели и признали за мой. Вошли альгвасил и писец, и, когда были выслушаны показания свидетелей, женщина сказала, что она хотела бы отдать ферреруэло только тому, кто его закладывал, ибо это был ее знакомый, человек очень почтенный. Писец взял себе вещь на

хранение, и, когда пришли к судье с докладом, он приказал передать мне мой ферреруэло и отдал приказание посадить мошенника в тюрьму, так что если раньше тот не показывался из-за того, что хотел он сделать, то после он не показался из-за того, что хотели сделать с ним. Мы отправились с погонщиком и всю дорогу смеялись над тем, что мы ели за счет этого мошенника и оставили его в таком неприятном положении.

Я не хвалю себя за то, что проделал эту злую шутку, которая, в конце концов, была местью, делом, недостойным благородного сердца, и в теперешнем моем возрасте я ее, конечно, не проделал бы; но тот, кто причиняет зло человеку, который этого не заслуживает, чего он может ожидать, как не мести и наказания? Эти люди, бродяги и бездельники, которые хотят содержать и прокармливать себя чужой кровью, заслуживают того, чтоб вся страна была их обличителем и палачом.

Бездельник всегда думает о том, как бы причинить зло или защититься от уже причиненного им, а когда он об этом не думает, он грустен и печален. Меланхолия чрезвычайно легко охватывает лодырей. Как доволен бывает каждый из них, когда он привел в исполнение какую-нибудь низость, и как быстро он опять возвращается к злым умыслам! Самая жизнь, какую ведет бездельник, увлекает его; я считаю более несчастным праздного человека, чем больного, потому что последний имеет надежду на выздоровление и добивается его всеми возможными средствами, а бездельники и бродяги никогда не желают выйти из своего дурного состояния. Как пробывший многие годы на галерах чувствует себя странно вне этого жалкого состояния, так и бездельник, когда ему дают работу, чувствует себя странно вне своей низкой жизни. Какую досаду он испытывает, когда играет и проигрывает! Какое чувствует отчаяние, когда видит добродетельных обеспеченными! Какая адская тоска охватывает его, когда он видит себя неспособным заслужить то, чего достигает другой! Избави нас Боже от такого отвратительного порока, источника и начала

бедности, неуважения, забвения чести и оскорбления Божьего величия!

Глава X

Мы отправились в путь с погонщиком, совершая половину пути пешком, а другую половину — наподобие вьюков с рыбой, когда погонщику это было угодно, ибо это был парень с жестким характером, грубый, научившийся не питать никакого уважения к студентам-новичкам. Поэтому в одном маленьком селении он захотел сыграть с нами шутку и отчасти выполнил ее, с одной стороны, чтобы не утомлять своих мулов, а с другой — потому что рассчитывал, оставшись один, сломить упорство одной очень хорошенькой женщины, — которая путешествовала в нашей компании, — лишив ее таким образом покровительства и помощи, какой она пользовалась со стороны одного чиновника, который должен был жениться на ней.

Он притворился, что у него украли кожаную сумку с деньгами, и убедил нас, что служители правосудия схватят нас всех и будут пытать, пока не дознаются, кто это сделал. А вместе с этим он поклялся, что оставит нас в тюрьме и уйдет со своими мулами, как можно дальше. Для неопытных мальчиков достаточно было даже одного из этих страхов. Мы поверили этому, как будто это была доказанная истина, а он преувеличил это настолько, что заставил нас пройти за эту ночь, — кроме того, что мы прошли за день накануне, — пять или шесть лиг, — и не шагом, а бегом через луга и горы, без дороги, без проводника, который мог бы сказать нам, куда мы шли; а он остался, смеясь и докучая ухаживаниями и дурным языком бедной женщине, одинокой и беззащитной. Но у него не вышло так, как он думал, потому что слух, какой он пустил, был подстроен при помощи одного альгвасилишки, его приятеля; а женщина, будучи храброй, после того как защитилась от насилия, какое он хотел применить к ней, нашла способ ускользнуть от него и, отправившись к

алькальду, рассказала ему с величайшей силой слова и чувства, что этот погонщик прибегнул к хитрости и очень опасной интриге, чтобы овладеть ею и лишить ее всякой защиты, какая у нее была. Добрый человек этому поверил — как потому, что знал бесстыдство и дурное поведение погонщика, так и потому, что хотел предотвратить беду, какая могла случиться с бедной женщиной, и порицая этот случай и бесчеловечность, с какой было поступлено со студентами. Он приказал погонщику оставить залог в том, что он будет очень вежливо обращаться с женщиной, не причиняя ей ни обиды, ни оскорбления, и сказал ему, что он его не наказывает очень тяжко только из-за того, чтобы не лишать студентов возможности продолжать путь; и предупредил его, чтобы он следил за своим поведением, ибо он накажет его со всей строгостью, ничего не принимая во внимание, если в пути он будет вести себя дерзко; и кроме того, алькальд приказал ему отправиться в путь утром очень рано, чтобы скорее подобрать усталых и голодных студентов.

О погонщики, народ нечестивый и лишенный человеколюбия! Жестокие к своей собственной природе! Они не признают никого, кроме тех, у кого отнимают деньги. И поэтому наказывает их Бог, ибо у них много остановок на постоялых дворах и мало друзей. Все сорта людей любят сочувствие, только не эти. Им не по себе, если они в этот день не выкинут какой-нибудь шутки с путешественниками. Они общаются с животными, поэтому изменяются в своей природе. Невиданно, чтобы, ведя животных без поклажи, они облегчили какому-нибудь несчастному трудности пути; как будто у них отсутствует действие естественного разума, как и у нашего погонщика, так как не мог бы никто проделать с нами более невероятного и противного закону мошенничества, как заставить нас бежать ночью, усталых от путешествия за день накануне, ради того, чтобы он мог совершить два огромных злодеяния.

Мы бежали, и, чтобы не быть замеченными, идя группой, мы разделились, и каждый пошел там, где ему казалось лучше. Я направился по глухой тропинке, хорошо скрытой

деревьями, со своей стороны я делал все, что мог, чтобы не остаться позади других, но моя усталость была такова, что вскоре я уже не слышал никого из всех своих спутников. Я приложил ухо к земле, ибо таким образом лучше слышны шаги, хотя бы они были довольно далеко: я не слышал ничего, что составило бы мне компанию. Я немного подремал, а потом поспешно пошел, повернув назад и думая, что идя вперед, поэтому чем дальше я шел и чем больше торопился, тем меньше имел надежды настигнуть своих спутников. Мне казалось, что я слышу довольно далеко позади себя лай собак, которые могли быть потревожены моими спешившими спутниками. Так как я был неопытен в путешествиях и намучился за день накануне, сон — как общий отдых всех членов — требовал своих положенных часов, и, не будучи уже больше в состоянии совладать с собой, я покорился усталости и сну.

Мне попался пробковый дуб с очень широким стволом, с одной стороны окоренным, так что он образовывал опору вроде ниши, где я мог прислониться и опереться разбитой от усталости спиной. Я заснул, но так как сидя хорошо не спится, то я свалился на бок, как мертвый. Через некоторое время я проснулся, потому что мне показалось, что по лицу у меня бегают муравьи; я смахнул их рукой и повернулся на другой бок; я опять проснулся, потому что почувствовал то же самое, но так как усталость была так сильна, а сон так глубок, — хотя и несколько тревожен из-за одиночества, в котором я был, — то я в третий раз упал на то же самое место. Немного спустя, — хотя сон не измеряет времени, — я проснулся от необыкновенно грустного и очень жалобного возгласа «ай!», который словно выходил из внутренности земли и который создал такую гармонию в моих внутренностях, что на короткое время у меня захватило дыхание и я обмер; но, затаив дыхание, как из-за страха, так и чтобы опять внимательнее прислушаться к скорбному голосу, я услышал другой возглас, более близко от меня, но, так как тут было несколько довольно высоких кустов, я не видал издававшего его инструмента.

Я уже готов был испустить дух или допустить какую-нибудь слабость, недостойную храброго человека, когда очень близко от меня, настолько, что я видел очертания фигуры, в третий раз раздался голос, восклицавший:

— Горе мне, более несчастной и одинокой, чем все те, что терпят плен и рабство в подземных тюрьмах жестоких и безжалостных мавров! Горе мне, более несчастной, чем те, которые видели, как в их присутствии разрывали на части их детей! Ах, я более беспомощна и безутешна, чем уже осужденные приговором сурового судьи! О, проклятое место, анафемское дерево, свидетель двух смертей, за которые я отдала бы тысячу жизней, если бы имела их! Какие похороны может устроить тот, кто желает умереть без них, будучи убийцей самого себя! С каким рыданием смогу я предать себя яростной смерти, что так убегает от меня? Сколько дней и ночей прихожу я смотреть, не могу ли я сопровождать эти разрозненные члены?

Я поднялся, и так как она была очень близко от меня и была недвижима, а я дрожал, она сказала мне:

— Может быть, ты призрак, который пришел, посланный из страны мертвых, чтобы взять меня в общество моего супруга и моего друга? Если ты оттуда, то ты уже знаешь, что на этом самом месте, где ты стоишь, — мой возлюбленный, без моего согласия, причинил смерть моему супругу, чтобы наслаждаться мною одному и без помехи, и что на этом самом дереве возлюбленный, оставшийся мне в утешение, заплатил за вину своего преступления. Ты видишь его здесь, висящим над тобой и служащим пищей для птиц и животных.

Я, ошеломленный, поднял голову и увидел, — ибо уже начинало светать, — того, чьи черви ползали по моему лицу, когда я думал, что это муравьи; и признаюсь, что от ужасного зрелища безутешной женщины и от вонючего пугала на дереве я упал бы замертво, сраженный и обессиленный, если бы не было света; но не сделать это мне помогло то, что я услыхал бубенчики и колокольчики каравана погонщика, который уже вышел из селения; потому что, — как

я сказал выше, – думая идти вперед, я шел назад, а его заставили выйти гораздо раньше, чем обычно, так как он должен был подобрать обманутых студентов.

А несчастная женщина продолжала говорить:

– А если ты принадлежишь к этому миру, беги от этого отвратительного места и оставь меня продолжать мои привычные похороны, безнадежную пищу, какой я завтракаю каждое утро.

У безутешной женщины вполне могло явиться сомнение, – не призрак ли я, не страшное ли видение из забытых могил, ибо страх втянул мне щеки, вытянул лицо, согнал с него краску и сделал соломенного цвета; отсутствие сна заставило мои глаза провалиться до самого затылка, голод вытянул шею на полтора локтя, а усталость ослабила ноги и руки; ферреруэло был тюрбаном повязан на голове: как же такую фигуру не считать выходцем с того света? А об остальном я не говорю ради своей чести. Я не мог ответить ей ни слова, ни предложить ей какой-либо помощи, потому что я сам нуждался в помощи. Я был не в состоянии оторваться от этой более чем ужасной женщины с покрасневшими и ввалившимися глазами, с длинным носом, с покрытым морщинами и голодным лицом, желтыми зубами, черными губами, с заострившимся подбородком, с шеей, похожей на коровий язык; она ломала руки, казавшиеся двумя связками змей, и все остальное было в том же роде.

Страх парализовал мой разум, а разум остальные действия, какими я мог бы воспользоваться, чтобы уйти от нее. Но, ободряя себя как можно лучше, – а мог я это очень плохо, – я пошел, передвигая ноги, как бык с подрезанными поджилками, проклиная одиночество и того, кто хочет путешествовать без компании, и размышляя о том, какое благо она может принести с собой, если она не сопровождается такими вещами и другими еще худшими? каких страхов не влечет за собой одиночество? каких фантазий не порождает? каких зол не причиняет? каким отчаяньем не наделяет? Те, кому опротивела жизнь, ищут одиночества, чтобы

быстро покончить с ней; кто избегает компании, тот не хочет, чтобы ему давали советы в его беде. Разве есть что-нибудь более приятное, чем общество, и что-нибудь более ненавистное, чем одиночество? Сколько несчастий, сколько грабежей, сколько смертей случается каждый день из-за того, что путешествуют без компании! Сколько отмщений приводится в исполнение, которые не были бы выполнены, если бы не одиночество! У одинокого никого нет под рукой в беде, никто не поможет ему в добром. Горе одинокому! Ибо если он упадет, некому помочь ему подняться! Пусть кто хочет ходит в одиночестве, ибо одиночество хорошо только для святых или для поэтов, так как одни беседуют с Богом, который их сопровождает, а другие со своим воображением, которое кружит им головы.

Глава XI

С этими одинокими размышлениями я вышел на дорогу, где погонщик, увидя меня, с более ласковыми словами, чем обычно, остановил караван и любезно и приветливо предложил мне сесть на мула и очень сожалел, что нам пришлось вытерпеть дурную ночь.

– Хотя вам это было заранее хорошо известно, – сказал я.

И когда я спросил шедшую с ним женщину, что это была за новость, она ответила мне то, что уже рассказано. Остальных, вместе с мужем доброй женщины, мы нашли уже вполне выспавшимися и поевшими; хотя меня спрашивали, каким образом я остался позади, – я ответил только, что сбился с дороги. Я не сказал им ни слова о случившемся со мной, во-первых, думая, что это могло быть наваждением со стороны врага рода человеческого, во-вторых, потому, что столь необычайные вещи производят различные действия на тех, кто о них слушает, и наиболее правильное – это рассмеяться и поиздеваться над тем, кто их рассказывает. О том, что может быть подвергнуто сомнению, не следует

говорить никому, кроме самых близких друзей или людей благоразумных, которые это принимают так, как это было на самом деле. Не все обладают способностью выслушивать серьезные вещи. Об истинах, которые могут ошеломлять или возмущать души, не следует говорить, когда в этом нет необходимости. Мне ужасно хотелось говорить, но я соображал, что могу подвергнуться опасности, что мне не поверят. Лучше молчать, чем дать повод к недоверию или злословию. Удивление дает повод к молчанию; и на этом случае я хотел посмотреть, могу ли я научиться молчать.

Мы продолжали наш путь без всяких достойных внимания происшествий; я молча, а остальные расспрашивая меня о причине этого молчания; я отвечал только, что таков мой природный характер; но всю дорогу не исчезали из моего воображения женщина, дерево, плод и наполненное червями ложе, пока мы не достигли Саламанки, где величие этого университета заставило меня забыть обо всем происшедшем.

Возрадовалась моя душа, что глаза могли наслаждаться тем, чем обладали уши, наполненные гордой славой этих академий, которые заставили умолкнуть все другие, какие есть на свете. Я увидел эти четыре столпа, на которых опиралось господство над всей Европой, — основы, защищающие католическую истину. Я увидел отца Мансьо, чье имя было и остается распространенным по всему открытому миру, и других превосходнейших лиц, благодаря учению которых факультеты сохраняют свою силу и значение. Я увидел аббата Салинас, слепца, мужа наиболее ученого в области теоретической музыки, какой когда-либо был известен, не только в родах диатоническом и хроматическом, но также и в гармоническом, о котором так мало известно теперь; его преемником потом на том же месте был Бернардо Клавихо, ученейший в знаниях и творчестве, теперь органист Филиппа Третьего.

Начав пить воду из Тормеса, необычайно холодную, и есть местный вкусный хлеб, я схватил чесотку, как это слу-

чается со всеми хорошими едоками, так что однажды вечером, когда я учил урок начальной логики, я начал чесать ляжки, наслаждаясь теплом от нескольких угольков, горевших в черепке кувшина. Когда я решил отдохнуть, я нашел ноги так изодранными, что благодаря жидкости, которая сочилась из них, я превратился в перегонный куб, и на пятнадцать дней они отказали мне в повиновении и уважении, — несчастье, в какое обыкновенно попадают в Саламанке новички, потому что хлеб бел, чист и хорошо выпечен, а вода вкусна и холодна, и они без рассуждений едят и пьют, пока не заполучат одни собачью чесотку, другие обыкновенную. Поэтому необходимо, чтобы новички в Саламанке начинали жить с осторожностью в этом городе, потому что они также часто подвергаются обыкновенно довольно опасным кровавым поносам, и хотя повсеместно, где есть перемена воды и пищи, надлежит с осторожностью приступать к употреблению их, в особенности следует это делать в Саламанке, во-первых, из-за холодности и чистоты воды и, во-вторых, потому, что студенты прибывают сюда привыкшими к иной пище у себя в родительском доме и в своей местности и более легко подвергаются опасности благодаря малому возрасту; помимо того, что нужно приступать с такой осторожностью, именно умеренность сохраняет здоровье и возбуждает ум.

Излишества в пище и питье неспособны помогать разуму и благоразумию, а умеренность действительно придает пище больший вкус, чем тот, каким она обладает, умеренностью сдерживается в юношах распутство; но я так неумеренно обращался с хлебом и водой Саламанки, что на Рождестве нашего Спасителя меня захватила сильнейшая лихорадка. Я позвал доктора Медина, ученейшего профессора примы в этом университете, и первое, что он сделал, — он велел убрать от меня воду. Я сказал ему, чтобы он обратил внимание на то, что я холерик и с очень разгоряченной кровью, а он мне ответил, словно он говорил о своем большом подвиге:

– Уж известно, что доктор Медина лишает больных воды.

Увеличивался жар, но не исцеление; он начал давать мне ячменные отвары, которые не приносили пользы, потому что лечение холериков от лихорадки заключается только в давании им вовремя холодной воды и в умеренных кровопусканиях, и в то время, как мое спасение заключалось в том, чтобы не лишать меня воды, мне не оставили ее во всей комнате. Мне устроили несколько ванн с двадцатью лечебными грязями и оставили там корыто, в котором мне их делали; я был так нетерпелив, так измучен жаждой, что с большим трудом встал, чтобы отыскать воды, и, не найдя ее, натолкнулся на корыто с водой, которая была холодна как лед. Я выпил ее в два приема, оставив только на дне, а брюхо мое раздулось, словно латинский парус при попутном ветре; но это длилось недолго, потому что через десять минут в желудке поднялась тошнота и он выбросил такое количество рвоты, что опустевший живот накладывался, как складка, одной стороной на другую. Утром пришел доктор и увидел, что корыто полнее, чем он его оставил, потому что именно в него разразилась гроза. Он спросил меня, как я себя чувствую, и я ответил ему, что умираю от голода. Он пощупал пульс и нашел его без лихорадки; он удивился, заметив такую перемену, и сказал:

– О, чудодейственное купанье! Во всем мире не было изобретено такого лекарства: кому бы я ни прописывал его, оно всем приносило замечательную пользу.

– Вероятно, они принимали его, как я, – сказал я.

– Это купанье, – сказал доктор, – ободряет и освежает, укрепляя внутренние и внешние органы.

– А как ваша милость прописывает это лекарство другим? – спросил я.

– Теплым, – ответил он, – и смачивая все тело снаружи.

– Так пропишите его, – сказал я, – холодным и внутрь, потому что так принял его я, и оно будет помогать им гораздо лучше.

И когда я рассказал ему, как было дело, он сказал: «Rectum ab errore»[1], – повторив это четыре или пять раз, и, крестясь, он ушел, оставив меня здоровым.

Существуют такие жестокие врачи, что допускают, чтобы у бедного больного, пылающего холерика, сгорела печень и высохли кости, так как им кажется, что, лишая его воды, они скорее покончат с болезнью и с больным. Поговорку, гласящую: «Тому, кто живет, вода служит лекарством», – следует понимать таким образом, что это – живет – есть форма причастия, то есть значит, кому надлежит вода; и тому, кому надлежит вода, она служит лекарством, а не другому. А если так, то кому же она надлежит больше, как не холерику в лихорадке? А этот другой, обыкновенный, смысл я сохраняю ради шутки и манеры говорить остроумно.

В Ронде я знал одного кирпичника, которому было сорок четыре года и который не пробовал ни капли воды, так как он остроумно говорил, что ему не подобает пить жидкости, где пачкались лягушки. Один раз он пришел с такой усталостью и жаждой, что для утоления ее выпил кувшин холодной воды, которая в двадцать четыре часа положила его, как глину, с которой он имел дело. Этому вода не надлежала, во-первых, потому, что он не привык к ней, во-вторых, потому, что его желудок не был желудком холерического человека, – а тому, кому надлежит вода, она служит лекарством.

Глава XII

Если бы бедствия и нужды, испытываемые студентами, не преодолевались хорошим возрастом, на какой они приходятся, то не было бы жизни, способной претерпеть такую нищету и неудобства, каким они обычно подвергаются; но, будучи в детском и отроческом возрасте, в возрасте столь

1 Правильно по ошибке (*лат.*).

свободном от забот и огорчений, огорчение они превращают в удовольствие, нужду — в смех и развлечение, между тем как проходит то время, когда созревает и наполняется ученостью разум, так что благодаря надежде на награду все делается выносимым. Не найдется ни одного, кто в первые годы не надеялся бы на что-то большое, потому что, начиная находить удовольствие или сердиться из-за дурной переписки, вследствие медлительности погонщиков или забывчивости родителей и родственников, по большей части робеют и падают духом, в особенности те, которые, будучи бедными, не имеют никого, кто помог бы им в необходимом или хоть в части его; ибо, конечно, нужда сильно ослабляет того, кто с добрыми намерениями приступает к учению. Недостаток пищи, отсутствие книг, нагота, малое уважение, которое влекут за собой эти обстоятельства, делают многие и большие умы лишенными бодрости, забитыми в угол, далее рассеянными, благодаря лишению несбывшихся их надежд.

Я признаюсь о себе, что мое природное нетерпение вместе с малой помощью, какую мне оказывали, подломили мне силу воли, чтобы трудиться столько, сколько следовало. А так как в этом возрасте силы юности очень требуют питания, то никогда не видно сытого человека.

Я вспоминаю, что, съев рацион в пансионе Гальвеса, я съел шесть пирогов по восемь в превосходной паштетной, находившейся в десафьядеро. Вот какие это были способности для саламанкской нужды. Потом нас было трое товарищей в квартале Сан-Висенте, так изобиловавших нуждой, что наименее лишенным королевских гербов был я благодаря нескольким урокам пения, какие я давал; даже я их дарил, потому что они оплачивались так плохо, что скорее они были дареными, чем оплаченными; и даже подаренными дьяволу. Мы утешались одинаковостью нашего положения, и хотя ребячества кажутся недостойными этого места, и даже того, чтобы их вспоминать и говорить о них, я должен рассказать о некоторых, чтобы не унывали те, кто окажется со способностями и в бедности, и с желанием знания,

ибо, делая удовольствие из нужды, можно уничтожить нужду, которая обычно случается во время занятий; вид того, что другие подвергаются еще гораздо большим затруднениям, уменьшает силу наших. Чужие нужды и бедствия, — хотя бы они были рассказаны для примера, — отчасти утешают удрученных. Какие бедствия может испытывать студент, как не самые тяжелые? Бедствия и нужда, которые затрагивают многих — и многие их испытывают, — делаются выносимыми, облегчают и сокращают бремя всех. Тем более что для того, кто бодро встречает затруднение, половина дела уже сделана, и, в конце концов, бодрые духом преодолевают неизбежную нужду. Я утверждаю это, потому что те бедствия, какие испытали мои товарищи и я, были таковы, что могли бы утешить самых несчастных студентов во всем мире, и среди других я расскажу об одном, которое может и заставить смеяться, и послужить утешением.

В один из многих других подобных вечеров мы оказались настолько без денег и терпения, что вышли из дома, наполовину отчаявшись, без ужина, без свечи, чтобы осветить комнату, без огня, чтобы согреться, хотя стоял такой холод, что выплеснутая на улицу вода превращалась в стекло. Я пошел в дом к одному ученику, и он дал мне пару яиц и хлебец; очень довольный, я пришел домой и нашел своих товарищей, дрожащими от холода и умирающими от голода, — как говорят мальчики, — потому что они не рисковали помешать немного горячей золы, которая сохранялась на всякий случай. Я сказал, что я принес, и они вышли поискать какого-нибудь хворосту, чтобы раздуть золу; они быстро вернулись, очень довольные, так как нашли очень длинное полено; мы положили его на небольшое количество оставшейся золы, и все трое дули изо всех сил, а полено не хотело загораться; мы опять и опять принимались дуть, но полено не загоралось, а комната наполнилась очень вонючим дымом.

Я бросил в золу бумагу, чтобы осветить комнату, и, когда бумага загорелась, я обнаружил, что полено было дочиста обглоданной большой костью ноги мула, что заставило

нас едва сдержать тошноту; и если раньше мы не ужинали, потому что у нас не было чем поужинать, то теперь мы не ужинали из-за этого открытия и из-за тошноты, поднявшейся в наших желудках, так что одного из нас прочистило с двух концов, хотя у нас не было ни обеда, ни ужина, и у него через рот пошла наконец кровь, а тот, кто принес эту кость, хотел отрезать себе руку. Я вполне признаю, что эти вещи не таковы, чтобы о них рассказывать; но так как они предназначаются для утешения удрученных и мое главное намерение — научить иметь терпение, переносить бедствия и терпеть несчастья, то можно представить себе остальное, чего я не рассказываю. Все, что пишется, пишется для нашего поучения, и, хотя бы это касалось вещей низменных, это надлежит принять ради указанной цели.

И мы не должны думать, что всегда есть польза в примерах событий великих или что поучение отсутствует в ничтожном. Так же хорошо принимаются басни Эзопа, как и военные хитрости Корнелия Тацита. Винная ягода вкуснее тыквы, поэтому я рассказал такой пустяк, как этот; ибо, чтобы рассказать о нищете студента, которая заключается в голоде, отсутствии одежды и недостатке во всем, рассказы тоже должны быть примерами бедности, чтобы утешить тех, кто ее испытывает.

Однако на этом наше несчастье в тот вечер не кончилось, потому что, когда мы стояли около двери на улице, не будучи в состоянии выносить отвратительной вони топлива из мула, прошел, совершая обход, коррехидор, — которым в то время был дон Энрике де Боланьос, знатный кабальеро, любезный и очень воспитанный, — и спросил нас:

— Что за люди?

Я снял шляпу и открыл лицо и ответил, почтительно кланяясь:

— Мы студенты, и наш собственный дом выгнал нас на улицу.

Мои товарищи оставались в шляпах и со своими торбами, не оказывая почтения представителю правосудия. Коррехидор возмутился и сказал:

— Отведите этих наглецов в тюрьму.

Они, словно невежды, сказали:

— Если нас поведут в тюрьму, нас заставят подчиниться силе.

Их схватили и повели вниз по улице Санта-Ана. Я с величайшей почтительностью обратился к коррехидору:

— Я умоляю вашу милость соблаговолить не вести в тюрьму этих несчастных, так как если бы ваша милость знала, в каком они состоянии, то вы не винили бы их.

— Я должен посмотреть, — сказал коррехидор, — не могу ли я научить учтивости некоторых студентов.

— Этих, — сказал я, — если вы дадите им поужинать и избавите их от холода, ваша милость сделает более учтивыми, чем мексиканского индейца. — И тут же заметив, что он охотно меня слушает, я рассказал ему о происшествии с яйцами и облаками дыма, возникшими из жертвоприношения вьючной скотины. Он посмеялся рассказу, ибо обладал большой добротой, и за счет нескольких шпаг, отнятых у каких-то бродячих школяров, набил студентам животы пирогами и свининой и всем, что было в маленькой харчевне, а мне он оказывал с тех пор много милостей.

Своим товарищам я сказал:

— Друзья, вы очень дурно обошлись с коррехидором.

— Почему? — спросили они. — Разве он наш судья?

— Потому, — ответил я, — что с лицами, облеченными высшим званием, мы обязаны обходиться почтительно и учтиво, будут они или не будут нашим начальством; и не только с такими лицами, но и со всеми более могущественными или по должности, или по знатности, или по богатству, потому что, будучи с ними вежливыми и скромными, мы известным образом уравниваем их с нами, а поступая иначе, мы становимся врагами тех, кто может вполне безопасно оскорблять нас. Бог сотворил мир с этими степенями превосходства, потому что на небе существуют некоторые ангелы, стоящие выше других, а в мире люди подражают этим самым степеням, так что мы, низшие, должны повиноваться высшим. И так как мы не способны познать самих се-

бя, то будем способны познавать тех, кто больше нас имеет силы, значения, богатства. Эта почтительность и вежливость необходимы, чтобы сохранить спокойствие и обеспечить жизнь. Очень большое заблуждение — желать мериться нашими силами с силами могущественных, тягаться при стесненности нашего положения с теми, с кем более достоверна потеря, чем выигрыш. Почтительность с могущественными является основой спокойствия, а гордость — это уничтожение нашего покоя, ибо в конце концов они могут в стране делать все, что хотят.

В такой жизни провел я три или четыре года, пока мне не было предоставлено место в коллегии Сан-Пелайо, где в то время были сеньор дон Хуан де Льянос де Вальдес, — который сейчас, когда это пишется, состоит в Верховном совете инквизиции, — вместе со своими братьями, столь же выдающимися учеными, как и кабальеро, и сеньор Вихиль де Киньонес, который в силу добродетели и заслуг состоит теперь епископом Вальядолида. Там каждую субботу у нас бывали конклюзии, и я мог бы преуспевать, если бы нужда моих родителей и мое желание служить им не вызвали меня домой, так как они писали мне, чтобы я приехал получить наследство, которым хотел одарить меня один родственник, или занять место капеллана.

Глава XIII

Я вышел из Саламанки без денег, какие были необходимы, чтобы перестать быть пешеходом, и так как я был принужден быть им, то, вспоминая о малой населенности Сьерра-Морены после Инохосы, где на пятнадцать лиг не бывало поселка, и чтобы не упустить случая посмотреть Мадрид и Толедо, я отправился по придуманному мной плану; я прошел через Толедо и Сьюдад-Реаль, где одна очень добродетельная и знатная монахиня, по имени донья Ана Каррильо, позаботилась о моем пребывании там и помогла на дорогу. По выходе из Сьюдад-Реаля я встретился с юношей

очень приятной наружности, который казался чужестранцем; мы пошли вместе до Альмодовар-дель-Кампо и по дороге столкнулись с двумя учтивыми мужчинами, у которых был на двоих один очень хороший мул, на котором они по очереди, через некоторое время, сменяли друг друга. Мы завязали с ними беседу, и казалось, что они были склонны не оставлять нас позади себя. Из их поведения я вывел заключение, что они имели сведения о двух купцах, направлявшихся с порядочными деньгами на ярмарку в Ронду, — чему я порадовался, потому что мое путешествие было туда же. Но мне не понравилось поведение этих людей, и я с большим вниманием следил за их руками и губами. Мы вошли в один и тот же постоялый двор, и так как я подметил хитрость и был настороже, то они не могли произнести ни одного слова, какое я, притворившись спящим, пропустил бы. Один из них только и делал, что входил и выходил с постоялого двора, пока не нашел другого постоялого двора, где остановились купцы.

На рассвете один из них взял верховую лошадь и отправился вперед, надев для известной цели очень красивое кольцо, — ибо они не могли составить плана так, чтобы я его не слыхал. Этот передовой отправился в качестве слуги, а другой остался как сеньор. Очень рано утром он приготовил своего мула и очень беспокойно ожидал, чтобы проехали купцы; когда они проезжали, он вышел им навстречу и с большой учтивостью спросил их, куда они направляются, а когда они ему ответили, что едут на ярмарку в Ронду, он стал выказывать свою необычайную радость, говоря:

— Мне больше посчастливилось, чем я думал, встретившись с таким знатным обществом; потому что я направляюсь на ту же самую ярмарку, чтобы купить небольшое стадо в двести или триста коров, и так как я не ездил этой дорогой, по крайней мере дальше от Новых Вент, я ехал с некоторым беспокойством из-за тысячи опасностей, каким обычно подвергаются те, кто имеет при себе деньжата, а встретившись с вашими милостями, я поеду очень успоко-

енный, как из-за приятного общества, так и потому, что ваши милости дадут мне хороший совет на ярмарке, так как вы больше меня понимаете в том, что я собираюсь покупать.

Они обещали ему помочь и оказать содействие на ярмарке, так как в городе их хорошо знали.

Эти два негодяя, шедшие по следам купцов, — как я узнал потом, — принадлежали к разряду шулеров, которые среди них называются донильеро. Они, смеясь, ехали по дороге, потому что мошенник был большим болтуном и рассказывал им сказки, которыми развлекал их с большим искусством и остроумием. Я, чтобы не потерять их из вида, пока не узнаю, чем это кончится, шел насколько мог быстрее, хватаясь время от времени за стремя или за гриву мула, так как я сказал, что иду на ярмарку в Ронду и сам уроженец этого города, и поэтому купцы меня ободряли и по временам поджидали. Доехав до одной венты, которая половину года бывала покинутой и находилась на склоне холма по правую руку от дороги, по которой мы поднимались, шулер вынул из кармана какое-то миндальное печенье, которое благодаря большому количеству пряностей на расстоянии мушкетного выстрела вызывает жажду, и дал по одному каждому купцу, и так как это был май месяц, то, когда они поравнялись с полуразрушенной и безлюдной вентой, они уже умирали от жажды, и мошенник сказал:

— Там внутри есть очень холодный родничок, войдем, чтобы залить это печенье; а если вашим милостям угодно, то здесь у меня бурдюк с очень хорошим вином из Сьюдад-Реаля, которым мы можем удовлетворить позывы жажды.

Они спешились, и шулер первым вошел в венту, подошел к роднику и, сопровождаемый купцами, наклонился пить и воскликнул с величайшим изумлением:

— Ах! что это такое я здесь нашел? — и поднял кольцо, которое разбойник, его товарищ, оставил в роднике.

— О, какое красивое кольцо! — сказали купцы. — Несомненно, какой-нибудь кабальеро снял его, чтобы вымыть руки, и забыл его здесь; каждый обрадовался бы такой находке.

— Все трое, — сказал негодяй шулер, — мы нашли его, и оно должно принадлежать всем троим.

— Но что же мы сделаем с ним? — сказал один из купцов.

— По приезде в венту мы разыграем его в кинола, — сказал мошенник, — и кому Бог его даст, тому святой Петр благословит его.

— Правильно говорит ваша милость, — сказали купцы, — и, честное слово, если его выиграет кто-нибудь из нас двоих, он сможет хорошо им воспользоваться.

Действительно, колечко было очень завидное, потому что кругом на нем было двенадцать алмазов, хотя маленьких, но очень чистых, а посередине, на месте камня, рубин в форме сердца, который понравился бы каждому, и все было сделано с необычайным изяществом. Все отправились с большим желанием заполучить кольцо, причем всю дорогу купцы говорили о беспечности того, кто его потерял, а негодяй говорил о беспокойстве того, кто его оставил, и делал при этом с кольцом тысячу шалостей, чтобы еще сильнее возбудить в них алчность.

Достигли Новых Вент и, не останавливаясь в первой, доехали до второй, потому что она была ближе к перевалу. Спешились, и негодяй достал бурдюк старого вина из Сьюдад-Реаля, которому было больше лет, чем листов у Калепино, и они выпили его с большим удовольствием. Поспешно закусив, из-за алчности, какую в каждом вызывало не дававшее им покоя кольцо, еще с куском во рту, они спросили у хозяина, нет ли у него карт, чтобы разыграть его. Он сказал, что нет, а разбойник, товарищ первого, притворившись дурачком, сказал:

— У меня здесь есть не знаю сколько колод, которые мне поручили привезти в моем селении, и из-за многих споров, какие там возникают благодаря им, я их везу не очень охотно. Я вам их дам, если ваши милости заплатят мне за них.

— Покажите их, — сказал шулер, — эти сеньоры и я — мы вам заплатим за них очень хорошо.

Тот дал им колоду, сделанную по их способу; а так как влага из Сьюдад-Реаля так тяжело ложится на сердце и испа-

ряется в мозг, они обрадовались и с большим удовольствием раскинули игру на четыре кинола. Шулер дал каждому из них взять по три, не взяв ни одной для себя, и в двух прикупных, которые он бросил, одну со своей руки, другую с руки соседа, он сделал четыре и схватил кольцо, громко крича от радости.

Они рассердились на это и сказали:

– Сыграем на деньги.

Мошенник, с некоторой хитростью, сначала отказывался, говоря, что он не хотел бы подвергать опасности свои деньги или коров, которые должны быть на них куплены; но наконец он дал себя уговорить и стал играть, причем выигрывал больше он, чем другие, так как умело сказанными словами он подзадоривал их. Он просил их пить из ароматного бурдюка, положенного в прохладном месте, и, когда у них разгорелись уши, они бросали золотые монеты, как град; таким образом, они провели весь день за игрой, причем иногда выигрывал шулер, давая другой раз выиграть купцам, чтобы скрыть мошенничество; и, жалуясь иногда, он говорил:

– Ваши милости, вероятно, выиграли у меня здесь за этот день четыре или пять тысяч эскудо, настолько я увлечен игрой.

В тот момент, когда мы с юношей пришли в венту, нам сказали, что там не принимают постояльцами людей, не имеющих верховых животных. Мы приняли это извещение с покорностью и остановились немного отдохнуть. Мой спутник, огорченный, спросил:

– Так что же нам делать, чтобы дождаться окончания и результата этого крупного происшествия?

– Предоставьте мне, – ответил я ему, – я буду заклинать хозяйку венты так, что она нас не выгонит отсюда.

– Разве она одержимая, – сказал он, – или ведьма?

– По крайней мере, – сказал я, – она похожа на ведьму, но я буду пользоваться только заклятием, общим для всех женщин.

– Какое же это? – спросил тот.

– Сейчас увидите, – сказал я.

Я подошел к хозяйке венты; это была женщина хромая и дурно сложенная; нос у нее был настолько тупой, что, когда она смеялась, он совершенно исчезал; глаза были похожи на прорезы в колпаках кающихся; сквозь поредевшие и побуревшие зубы она испускала испарение чеснока и вина, достаточное, чтобы обратить в бегство всех змей в Сьерра-Морене; ее руки казались горстями картофеля; что касается ее чистоты, то казалось, словно она только что вышла из беды графов де Каррьон. Несмотря на все это, я подошел к ней и сказал:

– Что за несчастье привело в эту пустыню столь привлекательную женщину, как ваша милость?

– Что за бездельник сеньор студент! – сказала она.

– Верно только то, – ответил я, – что с того момента, как прибыл сюда, я не свожу глаз с вашей милости, чтобы найти для себя утешение за усталость от пути.

– Не насмехайтесь над плохо одетыми, – сказала она.

– Я этого не делаю, только ваша милость кажется мне очень красивой.

– Красива, как кошка со слезящимися глазами, – сказала она.

Мне показалось, что она уже начала верить, и я сказал ей:

– Вот видите, с каким изяществом и остроумием вы отвечаете. Верно, что лицо похоже на речь, и все отличается большой приятностью.

– И слава Богу, – сказала она, – вот если бы вы знали сестру мою, трактирщицу в вентах Арколеи, то могли бы сказать это по правде; ведь чтобы только послушать, как она отпускает острые словечки, все проходящие заходят выпить к ней в дом.

– А ваша милость, – сказал я, – как это вы не переселитесь ближе к Ко́рдове?

– Потому что, сеньор, – сказала она, – одним счастье, другим злосчастье.

– Неужели это возможно, – сказал я, – чтобы не было никого, кто освободил бы вашу милость от столь дурного занятия?

А она ответила:

— Висит мясо на крюке, потому что кота нет.

— Так честное слово, — сказал я, — если бы я был в состоянии, я бы сделал это; потому что мне жалко видеть среди этих гор и скал такую богато одаренную женщину.

— Однако пусть ваша милость замолчит, — сказала она, — так как мой муж и я должны отнять деньги у тех, кто останется с нами, а утром мы поступим так, как нам захочется; а если случайно мой муж опять вечером станет говорить, чтобы вы уходили из венты, то пройдите через заднюю калитку двора, я ее для вас оставлю открытой.

Она ушла, а мой спутник спросил меня:

— Что же это за заклятие?

— Какого же вы хотите большего заклятия, — сказал я, — как назвать красивой женщиной животное, похожее на коровье брюхо с его сумахом и потрохами?

— Это такое заклятие, — сказал он, — которое может служить козырем во всем мире.

Пока мы были заняты этим разговором, наступила ночь и отчаяние купцов; потому что благодаря проделкам шулера и многочисленным глоткам сьюдад-реальского вина у них высасывалось серебро и золото и худели кошели, в которых были их деньги. Купцы были вне себя, и, проклиная венту и того, кто привел их в нее, они вернулись спать в ту, которую раньше проехали, намереваясь возвратиться в Толедо. Хозяин, не будучи глупым, очень хорошо понял мошенничество; я едва удерживал в себе то, что слышал прошлой ночью и что видел теперь. Я решился разоблачить это мошенничество, потому что если купцы возвратятся, то я лишусь тех благ, какие они мне обещали на время путешествия; но я сообразил, что рассказать о тайне, которая была столь сомнительна, это значило лишить мошенников доверия, а себя подвергнуть опасности; ибо, когда что-нибудь не известно достоверно, мы обязаны молчать об этом, храня естественную тайну. Безопасность заключается в молчании, и в этих случаях, и в других, им подобных, надлежит иметь в виду опасность с обеих сторон. Я молчал против своей воли, а хозяин венты, бывший продувным мошенником, тоже притворился и молчал, как я и мой товарищ.

Сеньоры шулера остались очень довольны, но были настолько скупы, что никому не сделали подарка от выигрыша, отчего у хозяина венты возросло желание присвоить себе их выигрыш, а у меня — желание возвратить его настоящим владельцам. Хозяин венты, который в самом деле был доволен, дал им понять, что он получил большое удовольствие, видя купцов ограбленными; и, отвешивая низкие поклоны, он предоставил им приготовленную было для купцов комнату, где стоял очень большой шкаф с тремя ключами, которые он им отдал, чтобы они могли запереть там свои деньги и платье. Шкаф был из очень крепкого дерева и из толстых досок, служивших стеной конюшне, что заставило меня задуматься, представляя себе, какую хитрость мог он применить, чтобы похитить у них деньги из шкафа, запертого тремя ключами, который никаким образом не мог быть сдвинут с места. Он таинственно поговорил с женой, с беспокойством поглядывая, не видят ли их разговаривающими. Поужинав очень торжественно, мошенники, набив животы куропатками и сьюдад-реальским вином, задвинули в своей комнате засов и заперлись так, что даже ведьма не могла бы пробраться к ним.

Прошел час с наступления ночи или немного меньше, когда хозяин венты сказал:

— Те, у кого нет верховых животных, пусть уходят из венты, так как, раз нет погонщиков, мы хотим спать спокойно.

Этот паренек и я, мы вышли и, обойдя венту задами, нашли открытой калитку двора и вошли на гуменник. Я тщательно обдумывал, как, каким способом или при помощи какой хитрости могли эти дьяволы причинить вред мошенникам; я видел, что они не могли войти в комнату, потому что те очень хорошо заперлись, и там шкаф превосходно охранялся. Привести для этого грабителей было делом неверным и очень опасным; войти и убить их они не могли,

потому что они были слабее тех; наконец, взорвать комнату порохом было опасно для всех. И я не мог придумать способа, пока наконец между одиннадцатью и двенадцатью часами, когда мошенники спали крепким сном, пришли хозяин и хозяйка венты, крадучись шаг за шагом, причем она светила огарком свечи; муж в полном молчании начал отбрасывать огромную кучу навоза, находившуюся в стойле, примыкавшем к комнате шулеров.

Вскоре открылась доска шкафа, служившая стеной комнаты. Я очень внимательно посмотрел и увидел, что доска шкафа была с верхней стороны прикреплена на трех или четырех петлях, а внизу двумя винтами по углам. Хозяин венты вывинтил винты и, вынув их, приказал жене унести отсюда свечу, чтобы свет не проник в комнату. Она унесла свечу, а я очень тихо подошел к хозяину в тот момент, когда доска была у него поднята, а кошели в руках, и очень тихим голосом, или, лучше сказать, сквозь зубы, сказал ему:

— Давайте сюда эти кошели и завинчивайте винты.

Он отдал их мне, думая, что это была его жена, и я вышел с ними и со своим спутником через заднюю калитку двора, ибо, пока он приваливал на место кучу навоза, времени хватило на все, и мы поспешно пошли назад, каждый со своим кошелем, но не по большой дороге, а поверху около нее, соблюдая возможную тишину. Когда мы были уже почти напротив другой венты, куда купцы вернулись спать, мы сели немножко отдохнуть, ибо опасение и страх увеличивают усталость.

Я сказал своему спутнику:

— Как вы думаете, что мы несем здесь? — наше полное уничтожение, потому что никуда мы не сможем прийти, где не спросили бы у нас очень строгого отчета в этих деньгах, и так как они сами по себе желанны и вызывают алчность, то кто-нибудь или из-за доли, какая может достаться ему из этих денег, или чтобы снискать для себя расположение, сообщит правосудию о двух юношах, путешествующих пешком, усталых и голодных, но с двумя кошелями денег; и пытка будет неизбежна, если не дать правдивого ответа на

заданный вопрос; если спрятать их, чтобы потом вернуться за ними, мы так же мало найдем, как и другие; а много бродить здесь — вызовет подозрение в каком-нибудь злом умысле, и самое вероятное, что с нами может случиться, — это что мы попадем в руки двух разбойников, которые лишат нас денег и жизни. Подвергать опасности себя, чтобы добыть деньги, — это делают многие; но подвергать опасности жизнь, честь и деньги — ни один разумный человек не должен этого делать; поэтому моим основным намерением было вернуть эти деньги их владельцам, чтобы получить из них такую же часть, какая придется и им, без опасности для жизни и без ущерба для совести; и сюда вполне подходит: кто крадет у вора, и т. д.

Это и многое другое сказал я ему, чтобы уничтожить в нем определенное желание, которое в нем зародилось, потому что то, что он нес на спине, каким-то образом сроднилось с кровью сердца; но в конце концов ему мое намерение очень понравилось.

Мы пошли в венту и, хотя было еще очень рано, постучали в дверь, говоря, что пришли с известием, очень важным для находившихся здесь сеньоров купцов из Толедо. Они это услышали и велели хозяину венты открыть. Он зажег свет, и мы вошли в комнату нагруженные, и не говоря им ни слова, бросили кошек на стол, и если бы они были альгальскими, они не доставили бы их ноздрям такого наслаждения, какое эти доставили ушам.

— Что это такое? — спросили купцы.

— Ваши деньги, — ответил я, — ибо кесарю возвращено то, что ему принадлежало. — Мы рассказали им, как было дело, и я сказал им, что, прежде чем в другой венте поднимутся, нам нужно пройти перевал. На мое большое счастье, в Севилью шли обратные мулы. Купцы, обрадованные и чрезвычайно благодарные за это дело, наняли двух мулов для меня и для другого юноши, мы прошли через перевал так, что этого и не заметили в вентах. Мы поднялись на перевал и спустились к другой венте, расположенной в самом низу; в ней были недурные запасы, и мы пробыли там весь

день, отдыхая и отсыпаясь, потому что купцы столь же нуждались в сне, как и мы, вследствие короткого сна и большой досады, какую им причинила потеря их денег; а к вечеру мы узнали, что хозяин венты, — так как, допытываясь от своей жены, он не узнал обстоятельств покражи, потому что она не решилась сказать, что оставила нас в доме, — подозревая, что шулера провели его хитростью, которой он не мог понять, пошел сообщить в Эрмандад о жизни и поведении этих людей и что у них было два кошеля денег, нечестно выигранных. Эрмандад пришла, и так как не нашла ни денег, ни кошелей, находившихся, по словам хозяина венты, в шкафу, то, не раскрыв тайны, она заставила оплатить расходы: хозяина — как глупца или сумасшедшего или потому, что он слишком нагрузился; мошенников — как подозрительных людей, которые так поздно находились в венте; а женщину — как нерешительную и молчавшую, так как она не могла дать отчета в своем поведении.

Мы очень веселились по поводу этого происшествия, так что купцы хотели непрерывно слушать об этом, ибо, как оказалось, в кошелях они нашли больше денег, чем они там оставили; и один из них весело говорил:

— Не угодно Богу, чтобы я обладал чужими деньгами, их надо истратить по дороге на куропаток и кроликов, так как я не хочу, чтобы они возмещались, — и так и делалось под общее одобрение.

Я размышлял наедине сам с собой и даже сообщил об этом одному из купцов, — как дурно пользоваться нечестно добытым и насколько хуже еще пользоваться приобретенным при помощи фальшивой игры, где без обеспечения выигрыша подвергается опасности репутация, которая находится в зависимости от всех, кто эту фальшь видит, от всех, кто ее воображает, и даже от отсутствующих, которых затрагивает дележ добытого мошенничеством. То, что скудно достается им при этом на долю, они тратят в трактирах на обжорство, на празднества в честь Бахуса и на жертвоприношения Венере; им не приносит пользы почтительность и притворная любезность, какими они пользуются,

чтобы обмануть того, с кого они хотят содрать или уже содрали шкуру. Если бы простодушные люди захотели обратить внимание на лукавства, обманы и интриги этих прикидывающихся кроткими волков, то они заметили бы, что любезность не вовремя, дружба некстати и без знакомства, необычная вежливость, неподобающие церемонии — все это влечет за собой больше вреда, чем пользы для того, к кому они применяются; потому что если люди обладают таким низким характером, что даже на надлежащую вежливость неохотно отвечают тому, кому они обязаны, то почему не следует считать, что внезапность любезностей чрезмерных и необычайных влечет за собой какую-нибудь тайну, в особенности если эти любезности ничем не вызваны?

Шулера имеют также свою организацию, потому что они обманывают или сами, или через друзей, которые назначаются и избираются для этого дела; они располагают гостиницами или постоялыми дворами, откуда им дают сведения о новых людях, на которых они могут нападать. У них есть также своя кассовая или памятная книга для всех тех, кто оказывает им помощь в их ремесле во всех больших или малых селениях, ибо это занятие распространено по всей Испании, а в больших городах они имеют связь со сводниями и получают сведения от этих лисиц, чтобы высасывать кровь у невинных ягнят. И хотя эти лукавые змии обладают столь сложными приспособлениями для того, чтобы высасывать кровь из тех, в которых они замечают склонность к игре и которые не могут подчинить себя известной умеренности и уберечься от их хитростей, — несмотря на все это, я говорю, что всего, что было бы уверенной и необычной сноровкой, следует бояться даже у самих друзей в делах игры, потому что они продадут друг друга. Когда один знакомый приглашает другого играть, ведя его в незнакомое место, то пусть этот другой идет с осторожностью, все равно, будет ли это публично или тайно; и мне кажется, что в данном случае не будет плоха поговорка: «Если ты меня очень любишь, то обращайся со мной как обыкновенно».

Мы продолжали наш путь со всем возможным удовольствием, — мои купцы и я, — отыскивая по дороге поводы, чтобы получать это удовольствие. Мы прибыли в Конкисту — это маленькое селеньице, которое тогда только еще возникало, — в воскресенье утром; мы пошли послушать обедню, которую служил священник, произносивший латынь как галисиец. Месса была заупокойная, потому что в это утро хоронили одного бедняка, и священнику помогал причетник, на котором поверх темного и очень нарядного кафтана был надет холщовый стихарь. Когда кончилась обедня, священник, читая над гробом молитву по усопшем, закончил словами: «Да упокоится в мире, аллилуйя, аллилуйя». Причетник ответил ему со многими переливами в горле: «Аминь, аллилуйя, аллилуйя». Я подошел к доброму человеку и сказал ему:

— Падре, ведь в заупокойной обедне не бывает аллилуйя.

Он ответил мне очень уверенно:

— Ну вот, сеньор студент, разве вы не видите, что это между одной Пасхой и другой?

Всю дорогу мы ехали, падая со смеху.

Глава XIV

Так как путешествие, как бы приятно оно ни было, всегда влечет за собой некоторую скуку, потому что обыкновенно путешествуют или из-за нужды, или по неотложным делам, которые занимают память и рассеивают удовольствие, то мы старались найти удовольствие во всем, что встречали. Погонщики мулов занимались по своему обычаю: один — отпуская острые словечки, другой — насмехаясь над путешественниками, третий — распевая старинные романсы, каждый по своему характеру; мы — тем, что представлялось нашим взорам.

Мы встретили пастуха, который перегонял свое стадо из одного округа в другой, причем он и собаки умирали от

жажды, так как в Сьерра-Морене, в мае и в течение всего лета, днем деревья загораются от жары, хотя ночью становится прохладно. Но парень был настолько несведущ, что, страдая от жажды, держал собак на привязи, чтобы они не потерялись. Он спросил нас, не знаем ли мы, где есть вода; я ему ответил:

— Как же вы спрашиваете об этом, имея при себе собак? Отвяжите их, они быстро найдут воду.

— А это действительно так? — спросил купец.

— Это очень известная вещь и много раз испытанная, — сказал я и обратился к пастуху: — Отвяжите собак или одну из них и привяжите ее на длинную веревку, держа которую вы и пойдете за ней, так как собака найдет родник, ручей или лагуну.

Пастух так и сделал, так что собака, отпущенная на длину веревки, помчалась вниз по склону, подняв морду, и побежала прямо к зарослям, находившимся у подножья скалы, где нашла воду, освежившую пастуха и утолившую жажду стада.

— Хочу я рассказать вашим милостям то, что мне рассказал в Ронде один кабальеро, одаренный очень тонким умом, по имени Хуан де Лусон, очень опытный в науках мирских и божественных. Среди многих других есть два селеньица в Сьерра-де-Ронде, одно зовется Баластар, а другое — если я верно припоминаю — Чукар. Между ними бродил мавр, козий пастух, пася свое стадо. Когда его мучила жажда и он не находил воды или какого-нибудь признака, по которому можно было бы ее найти, у него исчезла собака; через некоторое время она пришла, вся мокрая и очень довольная, виляя около хозяина хвостом и всячески ласкаясь к нему. Изумленный этим пастух очень хорошо накормил ее и привязал, дожидаясь, чтобы у нее опять появилась жажда, это самое действенное средство от лени. Тогда он привязал собаку на длинную веревку и пустил ее; а сам, следуя за ней, бежал, прыгая по кустам и скалам, расцарапывая себе лицо и руки; но, несмотря на все эти трудности, он бежал за ней по глухой чаще, пока не проскользнул через отверстие пе-

щеры, естественно образовавшейся под высокими скалами, с несколькими расщелинами, пропускавшими в нее необходимый свет. Посередине пещеры выходил из земли прозрачнейший ручей, разделявшийся на две части; мавр напился и наполнил свой мех; удивленный неожиданностью, он придумал план, показавшийся ему хорошим, но потом стоивший ему жизни. Этот план заключался в том, что он перегородил камнями один из этих ручьев, пустив всю воду в одну сторону, чтобы посмотреть на следующий день, куда она направлялась. Он пошел к своему стаду и на другой день обнаружил, что Чукар остался без воды. Мавр, знавший секрет, пошел в деревню, говоря, что если ему хорошо заплатят, то он даст им их воду, и далее еще больше, и при этом рассказал им все, что с ним произошло. Короткое время, когда они были лишены воды, поставило их в такое тяжелое положение, что они дали ему двести дукатов, чтобы он дал им их воду и воду другого селения. Получив свои деньги, он пошел в пещеру и пустил воду в эту сторону. Видя, что их вода так прибыла, и зная непостоянство и жадность пастуха, они, прежде чем обитатели Баластара успели подкупить его надеждой на большую выгоду, сговорились убить его дубиной, так что они остались со всей водой, а мавр лишился жизни, и до сегодняшнего дня неизвестно, где находится секрет; и теперь еще заметны следы, что когда-то там протекала вода, — на это указывают галька и камни. Обнаружило эту скрытую пещеру чутье собаки, преданного друга и верного спутника, открывающего врагов своих хозяев.

— Удивительная сила чутья! — сказал купец. — Ведь вода — вещество без запаха, а собака обнаруживает ее, подняв лишь на воздух свой нос, являющийся органом обоняния. Превосходные качества собак достойны удивления не по рассказам, какие передают о них, не считаясь лишь со старыми историями, а по тому, что мы видим и замечаем каждый день. Какая преданность! Какая привязанность! Какая понятливость!

— По крайней мере, — сказал я, — они обладают двумя

замечательными добродетелями, если можно применять к ним это выражение, и если бы у людей они были так же устойчивы в душе, как у них в их природном инстинкте, то люди жили бы в постоянном мире; эти добродетели — смирение и признательность.

— О, как верно замечено! — сказал купец. — О, какое замечательное рассуждение! О блаженном святом Франциско, который был сыном купца, говорят, что он очень восхвалял смирение собак, желая подражать им в этом, ради того великого смирения, каким обладал наш Учитель и Спаситель Иисус Христос.

— А что касается признательности, — сказал я, — то помимо того, что ей научает нас закон природы, мы обладаем ею по Его заповеди, так как, посылая своих святейших учеников проповедовать по свету, Он повелел им, чтобы в благодарность за добро, какое им делают там, где они останавливаются, они лечили бывших там больных.

— Разве найдется, — сказал купец, — кто был бы неблагодарным или кто не умел бы отблагодарить за добро, какое ему делают? Разве есть человек, который не считал бы, что он должен вознаградить за полученное благодеяние? Кто может не обладать такой замечательной добродетелью?

— Я думаю, — ответил я, — что никто, если только это не скряги и не гордецы, которые представляют собой две категории зловредных людей в стране; одни — потому что не умеют оказывать милосердия, а другие — потому что всегда идут против него.

— И так как представилась тема о столь превосходной и божественной добродетели, как признательность, то, пока мы подходим к Адамусу, я хочу рассказать о случае, достойном стать известным, какой произошел с автором этой книги на пути из Саламанки, так как не найдется жизни ни одного человека, сколько их ни бродит по свету, о которой нельзя было бы написать большой повести, и для нее нашлось бы довольно материала.

Это было, когда студенты расходились из Саламанки, вследствие известного столкновения, какое имел коррехи-

дор дон Энрике де Боланьос с университетом, и не с университетом, а со студентами, народом пылким и легко вызываемым на всякое волнение. Так как город остался почти без студентов, то автор, так же как и прочие, отправился к себе на родину, ибо, кроме того, очень близко были каникулы, желанное время отдыха для студентов. Нужда его была такова, что он молотил дорогу по-апостольски. Однажды к вечеру он подошел к вентам Мурги, и так как ему не хотели дать пристанища из-за того, что он принес бы вентам мало дохода, он пошел дальше один, распевая, чтобы самому составлять себе компанию, потому что человеческий голос обладает чудесным свойством составлять компанию тому, у кого нет денег, от которых его можно было бы освободить. К нему подошли четыре человека с четырьмя арбалетами и спросили его, откуда он идет. Он ответил, что из Саламанки.

— А кого вы оставили позади? — спросили они; и он ответил:

— Скорее меня все оставили, потому что я иду медленно.

— Так почему же вы не остались в вентах? — спросили они, а он ответил:

— Так как у меня нет ни денег, ни лошади, которые могли бы дать им прибыль, то они закричали мне, чтобы я уходил из венты, — поэтому я иду, крича Богу, чтоб Он был мне спутником и судил этих хозяев венты за жестокость.

На это самый маленький из арбалетчиков или стрелков сказал:

— Мы спрашиваем об этом, сеньор студент, чтобы узнать, не остался ли кто-нибудь позади, кто мог бы купить у нас дичь, которой у нас очень много и на которую мало покупателей.

И, обращаясь к своим товарищам, сказал:

— Большое сострадание возбудило во мне дурное обращение и жестокость этих хозяев венты по отношению к пешеходам, а еще больше — нужда, какую я увидал у студента. Возьмем его в наше пристанище, потому что когда-нибудь это милосердие послужит нам защитой перед Богом.

— Гораздо лучше будет, — сказал один из них, — убить его (я это узнал потом), чтобы он не рассказал, что встретил нас, и не спугнул бы путников.

Паренек спорил с ними, пока наконец они не взяли студента с собой, так как решили, что это было самым разумным для их дела. Паренек казался очень сострадательным, ибо даже если низкое общество заставляет совершать поступки, противные хорошим склонностям, то, может быть, природа толкает на воспоминание о первоначальном характере, так что, как бы этот характер ни забывался, он по временам возвращается к своему первоначальному состоянию. Студент пошел с ними, или, лучше сказать, они его повели по зарослям, потемкам и запутанным тропинкам, преисполненным поворотов и препятствий. Была уже ночь, где-то в глубине шумела падающая с высоты вода, сильный ветер яростно сотрясал деревья, и страх превращал для студента кусты в вооруженных людей, которые собирались сбросить его в эту адскую глубину; он шел с великим благочестием смотря на небо и спотыкаясь на земле; он шел с большим мужеством, разговаривая без признаков страха. Дошли наконец до их жилища, которое больше было похоже на лисью нору, чем на человеческое жилье, и, разгребя большое количество горящих углей, вероятно из очень хороших дубовых дров, они зажгли для освещения несколько смолистых щепок, дававших достаточно света, который им был нужен на всю ночь. Ужин состоял из добрых кусков дичи, если, может быть, это не были куски какого-нибудь бедного путника. Не зная, как отблагодарить их, студент рассказывал им сказки, развлекал их разными историями, восхвалял их житье в этом уединении, вдали от людского шума. Он говорил им, что охота — это занятие кабальеро и знатных сеньоров и что, несомненно, они происходят из какого-нибудь хорошего рода, раз у них такая склонность к охоте. Если они говорили какую-нибудь несообразность, он восхвалял это и превозносил, как нечто очень значительное. Одному он говорил, что у него красивое лицо; другому — что он хорошо ставит ноги; иному — что у него хоро-

ший ум; иному — что он очень рассудительно говорил: ибо в подобных столкновениях смирение, смешанное с приветливостью и рассудительностью, превращает души, сами по себе дикие и даже звериные, в кроткие и дружественные. В опасностях необходимость заставляет извлекать силы из слабости; а с людьми такого рода страх порождает подозрение, мужество же доказывает простодушие. Смущаться в том случае, когда вред, если и можно его опасаться, все же нам не причиняется, — это значит ускорять его, если он должен наступить; а если не бояться, то это значит поставить под сомнение и сделать недостоверной опасность этого вреда. Студент вел себя так хорошо с этими охотниками за мертвыми и начиненными кошками, что с ним хорошо обошлись, дали ему поужинать и две бараньи шкуры, на которых он мог бы спать, и, прежде чем рассвело, чтобы он не выходил оттуда при свете, ему дали позавтракать, и, выводя его на дорогу, тот паренек, младший из четырех, рассказал ему, в какой он оказался бы опасности, если бы не было его; и в отплату он просил студента, чтоб тот никому не рассказывал, что с ним случилось. Студент простился с ним и пошел своей дорогой, часто поворачивая голову назад, потому что ему все еще казалось, что он не был в полной безопасности от них. Если он встречал какого-нибудь путника, то говорил ему, чтобы тот не шел по этой дороге, потому что его преследовала здесь огромнейшая змея, — ибо он не осмеливался говорить ничего другого, так как ему казалось, что они могут услыхать его.

В конце концов, чтобы сократить рассказ, после того, как он странствовал по Испании и вне ее больше двадцати лет, он ограничился тем положением, какое определил ему Бог; отправился к себе на родину, это была Ронда; сделался священником, пользуясь капелланским доходом, которым наградил его Филипп Второй, мудрейший король Испании.

Через двадцать два или двадцать три года после происшествия с грабителями пришли разыскивать трех знаменитых разбойников, потому что о них были сведения, что

они находились в Ронде и что для грабежей пользовались такой хитростью: женщины — ибо они все были женаты — продавали вразнос мелочные товары, входили в дома, чтобы сбывать свой товар, осматривали эти дома очень внимательно и своим мужьям подробно описывали весь дом, — и наутро дом просыпался ограбленным. Этот донос дошел до Ронды, их посадили в тюрьму по распоряжению лисенсиата Моркечо де Миранда, который в это время исполнял должность коррехидора, будучи старшим алькальдом. И, чтобы сократить рассказ, я скажу лишь, что он подверг их пытке и они сознались во всем без околичностей. Он просил автора исповедать их, и, когда этот вошел к ним, он увидел одного из них, который заставил его душу содрогнуться, и, обратив внимание на это впечатление, он нашел, что это был тот, кто сохранил ему жизнь в Сьерра-Морене. Он стал изыскивать способ, как отблагодарить за сделанное ему некогда добро, и так как ему казалось, что дело зашло слишком далеко, чтобы просить за человека, уличенного по его собственному признанию, он пошел к судье и сказал ему, что если приговор над этим будет приведен в исполнение, то судья потеряет возможность узнать очень важную тайну. Судья распорядился относительно двух других и оставил этого, чтобы он раскрыл большой преступный план, о котором сообщил ему духовник. А когда судья потом стал настаивать, чтобы духовник заставил преступников сознаться, священник ответил ему:

— Сеньор, измученный сочувствием и движимый признательностью, я выдумал вашей милости то, что сказал вам. Этот человек избавил меня от смерти; он попал в мои руки, и я хотел бы отплатить ему за добро, какое он сделал мне, а так как судьям так же хорошо пристало милосердие, как и справедливость, то я умоляю вашу милость, ради Бога, выказать сочувствие к бедствиям человека, столь сострадательного, как этот.

— Я думаю о том, — ответил судья, — как мне удовлетворить вашу просьбу и мою репутацию и сделать добро этому человеку, который заслуживает этого по своей сострада-

тельности. Его приговор еще не утвержден, а в отношении уголовных дел у нас есть закон королевства, разрешающий нам своей властью заменять смертную казнь галерами. Я вижу, как горячо стремитесь вы отблагодарить его за сделанное вам добро, и хочу воспользоваться этим законом, раз нет другого способа, и отправить его на галеры, где он искупит свой грех.

Священник упал на колени, благодаря Бога и судью за такое благочестивое дело, и сообщил это известие почти мертвому заключенному, который ожил и пришел в себя, словно возвратившись от смерти к жизни, — автор же остался чрезвычайно довольным, что мог выказать свою признательность в столь тяжелом случае; ибо добрые дела всегда вознаграждаются на этом и на том свете.

— Удивительный и достойный запоминания случай! — сказали купцы. — Какое святое дело — творить добро! И, конечно, доброе дело — это достояние благородного сердца.

Какие хорошие плоды собирает тот, кто сеет добрые дела! Ведь подобно тому, как одежда покрывает тело, добрые дела служат покровом души. Какую радость, должно быть, испытывал этот человек, сделав такое добро! Как делается приятно руке, когда выстрел попадает в цель, так же приятно и душе, когда творится доброе дело.

С этими разговорами в одно и то же время окончился рассказ и открылся взорам Адамус, тихое селение, расположенное в начале или в конце Сьерра-Морены, в юрисдикции маркиза дель Карпьо. И в то же время открылись плодородные равнины Андалусии, столь знаменитой в древности благодаря Елисейским полям — месту упокоения блаженных душ. Мы остановились и отдохнули в эту ночь в Адамусе.

Глава XV

На следующий день по некоторым важным причинам я был принужден отделиться от купцов и направиться по дороге в Карпьо, чтобы сначала прибыть в Малагу, а потом уже в

Ронду; и они так хорошо обошлись со мной, что дали мне денег и одного из своих мулов, доверяя мне, чтобы я своевременно доставил им его на ярмарке, а сами они отправились дальше с обратными мулами, на одном из которых я ехал до сих пор. Мул был с большим норовом и не давал ни подковывать себя, ни седлать и постоянно ложился вместе с ношей, хотя в обществе несколько скрывал свой норов; но по выезде из селения, видя себя в одиночестве и по своим подлым привычкам, на первом же удобном месте он лег, прижав под себя мою ногу, так что если бы я в момент падения не бросился в другую сторону, то получил бы сильное повреждение; но благодаря этой предусмотрительности я мог встать, и, после того как провел его немного под уздцы, несмотря на его сильное упорство, боль у меня прошла и я не ощущал озноба, что могло бы случиться, не прояви я такого проворства.

Я заметил, что со своим животным я попал в скверную компанию; но на тот случай, если оно опять ляжет, я захватил дубинку, чтобы применить ее как средство исправления, так как я слышал, как об этом говорил один старик. Ибо, благодаря тому что старики научены опытом, они знают больше молодых, и в подобных случаях, не имеющих большого значения, можно с закрытыми глазами последовать их совету. Я поехал с большой осторожностью, чтобы мул опять не вздумал лечь, и, заметив, что он собирается упасть, я ударил его дубинкой между глаз с такой яростью, что, когда он падал, я видел, как выкатились у него белки глаз, и очень раскаивался, что сделал это, потому что подумал, что в самом деле убил его; быстро достав хлеб и намочив его в вине, я дал ему, и он пришел в себя, однако он был так наказан, что никогда больше не ложился, по крайней мере когда я сидел на нем, хотя и встречал песчаные места, где мог бы это сделать.

Я продолжал свой путь, и, достигнув лесочка около Карпьо, хотя и маленького, но изобилующего кроликами и другой дичью, на берегу Гвадалквивира, я спешился из-за известной естественной и неотложной надобности. Но,

прежде чем я начал ее отправлять, мул пустился бежать, испугавшись шума, произведенного большой змеей и лисицей, выскочившими из зарослей ежевики и очень густых кустарников, находившихся у самой дороги. Вероятно, они обе находились в одной пещере, ибо змея не ведет дружбы ни с одним животным, кроме лисицы. Лиса бросилась в одну сторону, а змея в другую, вслед за мулом, так как, как я узнал потом, она преследовала всех проходивших, потому что убили ее спутника; я бросил в нее камнем, не подумав, что может произойти то, что произошло, так как, летя по воздуху, камень пролетел быстрее змеи и попал ей в позвоночник, отчего она с такой яростью обратилась против меня, что, если бы я не бросился на другую сторону дороги, оставив посередине широкую полосу песку, мне пришлось бы плохо. Но, благодаря тому что на песке она не могла так же пользоваться щитками, служащими ей вместо ног, как на ровной и твердой почве, — она не осмелилась пересечь дорогу; но в то время как я бежал по одному краю дороги, она ползла по другому, больше чем на локоть подняв голову от земли, очень быстро двигая языком, так что казалось, что у нее их пять или шесть.

Я находился в таком положении, что думал уже не о потере мула, а только о преследовании змеи, потому что я задыхался, был покрыт потом и испытывал страшную усталость. Шипенье змеи не было ни сильным, ни резким, а тихим и продолжительным.

Я добежал до одного места дороги, где были камни, которыми можно было бросать в змею. Я остановился, как для того, чтобы отдохнуть, так и чтобы вооружиться камнями; но она, заметив мой страх, решила переползти по песку, чтобы броситься на меня; вследствие этого у меня появилась надежда освободиться от нее, так как, попав на песок, она не могла пользоваться щитками и могла двигаться только очень медленно. Ободрившись, насколько мог, я бросил в нее столько камней, что почти засыпал ее ими, и, попав в нее одним, после того как я несколько раз плюнул ей в голову — это для них яд, — я попал в нее камнем на пол-

локтя выше хвоста, в то место, где находится у нее главная сила движения, отчего она не могла больше двигаться, и, набросав на нее еще много камней, я раздробил ей голову и сел отдыхать. В это время прошли двое людей, шедших по направлению на Адамус, и рассказали мне то, о чем я сказал выше. Они измерили змею, и в ней оказалось десять футов длины, а толщиной она была больше нормального запястья. Они вскрыли ее и нашли в ней двух очень хорошеньких маленьких кроликов; ибо эти змеи очень прожорливы и мало пьют, хотя проводят много времени без пищи, и потому пищеварение у них происходит очень медленно; поэтому, когда она двигалась медленно, можно было ясно заметить ее тучность.

В то время, пока я отдыхал, я размышлял, сколько существует на свете вещей, которые направлены против человеческой жизни; ведь даже животное без ног и без крыльев преследует его и начало преследовать его с самого его появления, прежде всякого другого животного, или для того, чтобы не думал человек, что ему дано господство и право распоряжаться на земле без обязательств и без трудностей, или для того, чтобы он умел своим разумом отличать злое от доброго и остерегаться того, что может ему повредить; посредством этого разума он знает и умеет распознавать полезную пищу и отвергать вредную, бежать от животных диких и пользоваться покорными; но дикие и вредные животные предупреждают о зле, какое они могут причинить, или когтями, или рогами, или зубами, или клювами. Но чтобы животное без ног, без клюва, без когтей, без рогов — как это — было настолько страшным и отвратительным, что ужасает при одном только взгляде на него! Это было установлено Богом, чтобы смирить и унизить гордость человека при помощи самой грязи и нечистоты змеи, наводившей на меня ужас, даже когда я видел змею мертвой; и признаюсь о себе, что всегда, когда я вижу подобных гадин, они порождают во мне новый страх и ужас. Да и кто не ужаснется, видя, что нечто, похожее на сербатану или бревно, передвигаясь само по себе, мчится с быстротой ло-

шади? И когда, упираясь головой в землю, она наносит человеку такой сильный удар, что сбивает его с ног и даже убивает, нападая предательски, а не лицом к лицу? Когда она настолько хитра, что сбрасывает старую одежду и одевается в новую? Когда она лечит вызванную зимней сыростью слепоту своих глаз тем, что трется весной об укроп? Они настолько непохожи на всех других животных, что не ведут дружбы ни с кем, кроме лисы, — или потому, что обе всегда живут в земляных или каменных пещерах, или из-за того, что шкура лисицы служит им защитой от холода.

До сих пор отшельник молчал, а здесь ему было угодно спросить, как человеку, жившему в одиночестве и среди суровых гор, избегая людского сборища, живя и разговаривая с дикими зверями, — что это была за причина, по которой так страшны такие гады, как змеи, ящерицы, жабы, лягушки, ехидны, гадюки и другие им подобные, каких обыкновенно видишь. Я ответил ему:

— Во-первых, потому, что все, чего мы не видим и с чем не сталкиваемся часто, вызывает такого рода удивление. Во-вторых, потому, что в них так много от двух тяжелых стихий, какими являются вода и земля, и так мало от стихий легких, какими являются воздух и огонь, — что они почти не имеют ни родства, ни сходства с человеком, ибо человек обладает духовностью, в чем похож на ангелов, и телесностью, в чем походит на диких животных; а эти последние в этой части земной, влажной и холодной, подобны гадам, а гады — только сами себе и недрам земли. В-третьих и последних, потому, что все животные, какие могут зарождаться от гниения земли, без рождения от себе подобных, не могут служить ни на пользу, ни на удовольствие человеку, которому они должны повиноваться по повелению Божию; и они сами бегут от его лица, как от владыки, которого они ненавидят за превосходство и власть, какие он имеет надо всеми ими, или вследствие природного отвращения.

И довольно об этом, потому что потеря моего мула наделила меня заботой и беспокойством и заставила спешить отыскивать его.

Так как я уже отдохнул и вытер пот с лица, — так как не мог этого сделать изнутри, — я отправился на поиски моего мула, или, лучше сказать, мула купцов, по всему берегу и прибрежью Гвадалквивира, не встречая никого, кто мог бы указать мне его следы или сообщить сведения о нем. При этом я шел, нагруженный своим ферреруэло и шпагой, седельной подушкой и переметными сумами, ибо все это мул сбросил, кроме седла, съехавшего ему на живот, — таким образом, я был нагружен всем, от чего разгрузил себя мул, а больше всего меня обременяли насмешки, какие я слышал от всех встречных, сделавшись лошадью почтальона, ибо я терпел все, чтобы не бросать вещей. Я остановился отдохнуть минутку, перед тем как перейти реку, и увидел там такое обилие кроликов, что они покрывали берег реки гуще, чем гниды куртку погонщика; потому что весь день они не переставали приходить целыми стаями на водопой. Я переправился на другой берег реки и зашел отдохнуть на постоялый двор, находящийся перед входом в селенье, где также не смогли дать мне сведений о моем вороном муле, хотя я обещал вознаграждение за находку его, вызывая усердие лесных сторожей. Я подкрепился возможно лучше пищей и питьем, с умеренностью, какой требовала усталость.

Я поместился у ворот постоялого двора, чтобы посмотреть, не пройдет ли мул или кто-нибудь, кто сможет дать мне сведения о нем. Пока я там сидел, я смотрел на этот кусок земли, потому что я не видел ничего лучшего во всей Европе по плодородию и по мягкости климата, по красоте земли и воды; и чтобы восхвалить ее одним разом, я скажу, что это земля, дающая четыре урожая в год, если ее засеивать и обрабатывать, орошая при помощи водяной мельницы с тремя колесами, которая увлажняет ее чрезвычайно обильно. Здесь несколькими годами позже в моем присутствии произошло несчастье, вполне достойное быть рассказанным, чтобы видели, насколько обязаны дети следовать совету родителей, хотя бы им и казалось, что это противоречит их желанию.

Случилось так, что когда маркизом дель Карпьо был дон Луис де Аро, кабальеро, вполне достойный своего звания, личность выдающаяся, человек, украшенный добродетелями и качествами, заслуживающими полного уважения, — сюда пришли лесорубы из Сьерра-Сегуры с несколькими тысячами очень толстых бревен. Когда маркиз дал им разрешение и позволил прогнать плоты, то подняли плотину у рыболовной тони, чтобы вся вода собралась в обрыв или глубокое место, где должны были проплыть бревна. Все плотовщики были парни очень ловкие, с сильными руками и легкими ногами, прекрасные пловцы, привыкшие к воде, холоду и трудностям. Они захотели устроить маркизу праздник гусей, который заключался в том, что связанных гусей помещали между двумя бревнами шлюза рыболовной тони, и когда бревно сбрасывалось вниз силой огромной массы воды, стоявший на этом бревне плотовщик схватывал гуся за голову, и когда он тянул гуся за шею, тот выскальзывал из руки и плотовщик падал в глубину воды, выныривая далеко от этого места. При этом происходили очень забавные и смешные вещи, хотя не без опасности для того, кто доставлял это удовольствие и смех, ибо всегда падения забавны для тех, кто их видит, но не для тех, с кем они случаются, в особенности при упражнениях столь необычных, как это.

Среди этих плотовщиков был сильный парень с очень стройной фигурой, высокий ростом, белокурый, хорошо сложенный, очень предприимчивый, который между всеми другими пользовался известностью и уважением за свою репутацию и за большую ловкость во всех упражнениях, какими занимаются мужчины. Он попросил у своего отца, который находился в обществе других, позволения пойти сорвать только что подвешенного гуся; в этом разрешении отец ему отказал. Родители всегда бывают до некоторой степени пророками в отношении хорошего и дурного для своих детей, или потому, что они обладают большей опытностью, чем дети, или потому, что это были их создания и отцы знали их склонности, или потому, что

они вырастили их и знали, на какую ногу они хромают, или потому, что они глубоко их любят; и так этот никаким образом не соглашался позволить сыну принять участие в празднике; но сын, говоря, что ему не хочется, чтобы его считали менее мужчиной, чем остальных, — своим упорством добился от отца, что тот пустил его, хотя и очень неохотно. И так как некоторые порицали его за то, что он заставлял сына быть таким настойчивым, он ответил в моем присутствии несколькими словами, полными огорчения и скорби, сказав:

— Никто не знает, что значит подвергать опасности единственного выращенного сына.

Юноша пошел очень веселый, и на него были устремлены все взоры, когда он схватил гуся за шею, которую он думал легко вырвать благодаря сделанному им большому усилию. Он почти повис на руках, между тем как бревно уже доходило до края, и на конце или в головной части рука у парня соскользнула, он упал и, ударившись головой, погрузился в глубину тони и не появлялся больше до следующего дня, к великому ужасу и сожалению всех окружающих, приведя в исступление смотревшего на все это отца. Все плотовщики, ныряя, искали его и нашли его на следующий день, так что он оказался известным образом наказанным за неповиновение, какое он выказал по отношению к приказанию отца, и примером для всех, кто это видел. Он пошел наперекор наставлению и совету отца, в которых нуждаются все те, которые хотят преуспевать.

Произошел этот случай в этом самом месте и в присутствии маркиза дона Луиса де Аро и его сына, маркиза дона Диего Лопес де Аро, которые еще находятся в живых, когда пишется это, и более молоды, чем автор, находившийся в их обществе при этом несчастном происшествии. И так как в дальнейшем у меня не будет случая рассказать об этом, — это говорится здесь для того, чтобы предупредить детей, что хотя им и кажется, что они знают больше, чем их отцы, но по причине власти, какую Бог дал отцам над детьми — и так как отцы представляют образ истинного Отца

всех людей, — дети должны им повиноваться, и почитать их, и верить, что в отношении нравственных обычаев они знают больше детей; ибо в этом заслуга перед общим Отцом всех творений.

А возвращаясь к настоящему положению и к мучению, какое мне причиняло отсутствие моего мула, — в этот вечер я ничего не мог узнать о нем, и так я остался на эту ночь на постоялом дворе без надежды на возможность найти его.

Глава XVI

Утром следующего дня солнце встало с зеленовато-лимонного цвета лучами, признаками дождя, — а я без мула и без надежды найти его. В девять или в десять часов я пошел в селение и увидел нескольких цыган, продающих мула с расчесанной гривой и заплетенным хвостом, с вьючным седлом и прочей сбруей, причем они превозносили его кротость и ход в тысяче обманных слов. Цыган пускался на всевозможные хитрости относительно мула, так что было уже много охотников, хотевших его купить. Я подошел ближе и увидел, что мул был такой же масти, как и мой; но я не узнал его, видя его таким кротким и спокойным и с гривой и хвостом, делавшими его моложе. Я видел, что он давал трогать себя за все части тела, оставаясь спокойным, и поэтому я не решился подумать, что это мог быть мой. Ему поднимали передние и задние ноги, похлопывали руками по груди и крупу, а он выносил все это очень терпеливо и кротко. Я не верил, что это мог быть мой мул; но я незаметно прошел сбоку и встал перед ним, хотя позади цыгана, и, увидя меня, мул запрядал ушами, потому что узнал меня или из-за страха, какой он испытывал передо мной.

Я изумился такой внезапной и неожиданной перемене и увидел, что это действительно был мой мул; но я не мог представить себе, каким образом я мог бы получить его, не представив свидетелей или очевидного доказательства того, что он действительно был моим; поэтому я не решился сказать, что он был украден, и говорил сам с собой: возможно ли, чтобы эти цыгане были такими великими обманщиками, что меньше чем в двадцать четыре часа сделали мула вьючным и настолько изменили его, что заставили меня усомниться, был ли это действительно мой, и что они сделали его более кротким, чем овца, тогда как он был хуже тигра, и неужели у меня нет средства получить его обратно, доказав мое право? Но я помедлил немного и подошел вместе с другими посмотреть мула и, похвалив его, спросил, не из Галисии ли он. Цыган ответил:

— Ваша милость, сеньор мой, действительно хорошо знает животных и верно оценили достоинство лучших четырех ног, какие найдутся во всей Андалусии. Это не галисиец, сеньор мой, он из Ильескаса, потому что там выменял я его на небольшую кордовскую лошадку, и вот у меня и свидетельство.

«Оно, вероятно, поддельное», — сказал я себе, в то время как он показал его.

Мне пришел в голову план, чтобы легко получить мула обратно, и я подошел к одному идальго, к которому, как я видел, все относились очень почтительно, потому что это был один из старых слуг дома маркизов дель Карпьо, по имени Ангуло, и сказал ему:

— Сеньор, этого мула у меня украли эти цыгане; хотя на нем вьючное седло, он ходит под верхом, и хотя у них есть свидетельство, оно фальшивое.

На это идальго мне сказал:

— Смотрите, сеньор студент, мы давно знаем этого цыгана, и он всегда говорил нам правду.

— Ну а теперь, — ответил я, — он не говорит ее, и если ваша милость устроит дело, о котором я вас прошу, то ясно будет видна истина того, что я сказал; и ваша милость склонна купить его, потому что он кажется вам спокойным, тогда как он хуже дьявола.

— Так неужели может быть фальшивой такая кротость и спокойствие? — спросил идальго.

— Да, сеньор, — ответил я, — потому что его одурманили вином; а нет такого дикого или коварного животного, которое не сделалось бы смирнее овцы, если ему в брюхо вольют, добровольно или насильно, асумбру вина; и поэтому пусть ваша милость сделает то, о чем я прошу, и вы не поддадитесь этому обману, увидя, что мул с норовом и что он мой. И прежде всего я прошу вашу милость подойти покупать, и скажите цыгану так и так, — я сказал ему на ухо и указал все, что нужно делать.

После того как идальго был хорошо осведомлен, он пошел к цыгану и, осматривая мула, сказал ему:

— Мне очень нравится это животное, и я купил бы его, если бы у него было седло и узда, потому что мне нужно сделать очень длинное путешествие.

Цыган очень обрадовался этому и сейчас же принес седло и уздечку, говоря, что это был лучший ходок во всем свете и что он положил на него вьючное седло только потому, что думал таким образом скорее продать его в деревне. Когда идальго увидел седло и уздечку, он нашел, что они вполне согласовались с признаками, какие я ему указал, и, выполняя то, о чем я сказал ему на ухо, он отвел мула к себе домой, уверяя цыган, что он хочет его попробовать, и держал его запертым у себя дома до тех пор, пока на него перестали действовать винные пары. Когда этот момент наступил, он призвал цыгана и сказал ему, чтобы он сел на мула и проехал четверть лиги за селением. Хотя цыган и был очень ловким, он сел с большим трудом из-за беспокойности мула, так как, утратив вызванную вином кротость, он возвратился к своему подлому характеру, и, помчавшись как ветер, он, по выезде из домов, с тем же самым бешенством, как и раньше, бросился с цыганом вместе на землю и, придавив ему ногу, так перекувырнулся, что понадобилась вся ловкость цыгана, чтобы нога его не была сломана.

Подбежал к нему этот идальго, уже уверившийся в мошенничестве, и сказал ему, смеясь:

— Что же это за несчастье, Мальдонадо?

— Сеньор, — сказал цыган, — так как он застоялся и плохо подкован, он и упал с ношей.

И, смеясь еще большее, идальго сказал:

— Так подними ему ноги, посмотрим, нужно ли его ковать.

Цыган поднял ему ногу, и мул ударил его копытом в левую щеку так, что на ней обозначились и подкова и гвозди. Идальго сказал ему:

— Плохо знаешь животное, которое не самим выращено, друг Мальдонадо; если бы ты давно имел дело с этим животным и знал его, то ни сам не обманулся бы и нас бы не обманул. Обладание чужим добром недолго длится; ты действовал по поговорке: «Кто тебя не знает, тот тебя купит». Как ты думал, почему владелец мула спросил, не галисиец ли он, когда именно поэтому он должен был лягнуть, как он тебя и лягнул? Ты хотел подковать его, но он тебе не дался; вчера поймал мула и сегодня уж хотел продать его? Я рад узнать, что ты к тому же и чародей, так как за одну ночь прибыл из Ильескаса.

— Сеньор, — сказал цыган, — я поступил как цыган, а ваша милость должна простить как кабальеро; я правильно заметил, что этот сеньор знает толк в животных.

Когда покража была раскрыта со всей возможной очевидностью, мне отдали моего мула и я поспешил отправиться в Málагу, проехав через Лусену, где отдохнул и перекусил, — так как прибыл туда немного поздно, — и, думая приехать в этот вечер в Бенамехи́, дороги куда я не знал, я выехал с теми указаниями, какие мне там дали.

Лиги оказались длиннее, чем я думал; дорога была покрыта грязью, потому что накануне ночью шел очень сильный дождь. Как я ни спешил со своим мулом, ночь захватила меня не доезжая одной лиги до речки, протекающей между Лусеной и Бенамехи́. Я был смущен, потому что ночь была темная и ехать нужно было без проводника и без надежды кого-нибудь встретить и расспросить о дороге, так как это была ночь воскресенья, когда все крестьяне находятся по своим домам. Наконец потихоньку, часто спотыка-

ясь и иногда падая, я достиг реки, а переправившись через нее, не нашел дороги на другом берегу, вследствие существующего в этих краях у крестьян обычая перекапывать почву в тех местах, где путники обычно протаптывают тропу, чтобы таким образом отвадить путников и препятствовать им топтать их посевы. Мой мул вышел из реки очень хорошо и пошел направо, поднимаясь в гору, где было много овечьих или козьих тропинок. Он поднялся насколько можно было выше, а вершина горы поднималась настолько круто, что, так как тропинка кончилась, я не мог ни двинуться вперед, ни повернуть назад. Я оказался в большой опасности, потому что, если бы я захотел слезть с правой ноги, я покатился бы с горы вниз до самого соленого потока, где, если бы из него я благополучно выбрался, голова моя оказалась бы вся покрытой шишками. Я очень смиренно упрашивал мула, чтобы он оказал мне милость и стоял смирно, в то время как я слезал на другую сторону; но в тот момент, когда я приказал ему повернуться на тропинке, по которой он поднимался, он, будучи очень усталым, упал, а упавши, покатился до самого соленого потока, так как гора была очень крута. Я пошел назад по тропинке, пока не достиг ручья, и подошел к моему несчастному мулу, помог ему, насколько было сил, подняться, потому что он был до такой степени разбит, что его нужно было подбодрить намоченным в вине хлебом, и, возможно медленнее, ведя его под уздцы, я шел, размышляя, что все это случилось со мной потому, что я отнесся без уважения к празднику, отправившись в путь и совершая путешествие, что мог бы сделать и в другой день; потому, наконец, что праздники существуют для возношения благодарений Богу, а не для того, чтобы делать переходы, когда я не могу иметь спокойствия, чтобы обращаться к Богу не торопясь. Ибо если работают в дни, которые церковью посвящены Богу, то не только не увеличивается польза, но тысячью путей приходит вред, как случилось со мной в эту ночь, так как, когда я шел с нижней стороны, чтобы подбадривать мула, он поскользнулся и придавил меня, хотя не причинил большого

вреда, потому что я легко смог вылезть и, дав ему намоченного в вине хлеба, мог подниматься, пока не обнаружил на вершине горы крестьянского хутора, куда явился со всей смиренностью; я долго стучал, но мне не отвечали, хотя там было много народа, собравшегося там в этот вечер по случаю праздничного дня.

В конце концов я стучал так долго, что мне ответил один парень, и когда я рассказал ему, с какими затруднениями я пришел, он ответил мне, чтобы я шел в добрый час дальше; и когда я опять стал звать, подошел хозяин хутора, который по всем своим поступкам показался очень хорошим человеком, и, открыв мне ворота, он поспешил помочь моей нужде и усталости моего мула и сказал мне:

– Прошу вашу милость простить меня, что я не мог так быстро ответить, потому что я кричал из-за корзины с фигами, которые эти мальчишки у меня разворовали.

– Ну, если это только из-за этого, – сказал я, – то не беспокойтесь об этом, потому что я вам скажу, кто у вас их украл.

– Ваша милость, вероятно, ангел, – ответил он, – а не человек, если вы мне так говорите.

– Дайте мне отдохнуть, – сказал я, – и я вам это скажу.

Я отдохнул немного, а мой мул поужинал как нельзя лучше; я превосходно поужинал холодной похлебкой, так как более вкусной вещи не видал за всю свою жизнь, потому что пища бывает настолько хороша, насколько желудок голоден и нуждается в ней. Кроме того, оливковое масло в этих местах, и вино, и уксус – самые лучшие во всей Европе. Когда мы поужинали и все парни собрались вокруг нас, я сказал хозяину:

– Эта деревянная миска, из которой мы ужинали, должна раскрыть кражу фиг.

– Дьявол, должно быть, принес этого студента, – сказал сквозь зубы один из парней.

Я попросил у доброго человека немного масла и красной охры и так, чтобы парни этого не видели, намазал дно миски смесью, какую сделал из масла и охры, и попросил у

него коровий колокольчик. Положив его под миску, я сказал настолько громко, чтобы все слышали, поставив миску в глубине двора, где находился гуменник:

– Пусть все пройдут по одному и хлопнут рукой по дну миски, и когда ударит тот, кто украл фиги, колокольчик зазвонит.

Они все пошли один за другим, и каждый ударил своей ладонью по охре, а колокольчик не зазвонил, хотя все ждали этого звона. Я позвал их всех и сказал им, чтобы они показали ладони, которые оказались испачканными краской у всех, кроме одного, – тогда я им всем сказал:

– Этот благородный человек украл фиги, так как он не решился положить руку на миску, чтобы не зазвонил колокольчик.

Он стоял, красный как шиповник, а остальные всю ночь надрывались от смеха и издевались над ним, а хозяин хутора был очень признателен, что нашлись его фиги, а я был очень доволен хорошим приемом; и за радушное гостеприимство я оставил ему два ножа с насечкой, чтобы он ими немного обрезал уши похитителю фиг.

Глава XVII

Отдохнув в эту ночь, сколько я считал достаточным по испытанным моим мулом бедствиям, я пошел к нему попросить его ободриться, а он, ворча, поднял ногу, и в тот же момент я ударил его палкой, чтобы напомнить ему прошлую беду. Он сейчас же успокоился, и я оседлал его. Я поехал в Бенамехи́, находившийся очень близко, и, хотя я собирался проехать так, чтобы меня не видел владелец Бенамехи́, негодный мул бросился к его дому, и я был принужден немного отдохнуть там.

Наконец – чтобы сократить рассказ – я достиг Ма́лаги, или, лучше сказать, остановился в виду города на вершине холма, который зовется склоном Самбара. Было так велико удовольствие, доставленное мне видом города и благоуха-

нием, какое приносил ветер, проносившийся по этим чудесным садам, полным всевозможных сортов апельсинов и лимонов и в течение всего года цветущих апельсинных деревьев, что мне показалось, будто я вижу кусочек рая, – потому что во всей окружности этого горизонта нет ничего, что не услаждало бы всех пяти чувств.

Вид моря и земли, полной такого разнообразия красивейших деревьев, радовал глаза, как бывает повсюду, где произрастают подобные растения; вид самого города и зданий, – как частных домов, так и превосходнейших храмов, в особенности собора, так как не известно более радостного храма во всем мире. Уши услаждает великим восхищением изобилие птичек, которые, подражая друг другу, ни днем ни ночью не прекращают своей нежнейшей гармонии, с безыскусственным искусством, которое, не имея ни консонансов, ни диссонансов, представляет собой приятнейший беспорядок, побуждающий к созерцанию всеобщего Творца всех вещей. Пища обильная и питательная для вкуса и здоровья. Обхождение людей спокойное, приветливое и любезное, и все это таково, что можно было бы написать большую книгу о превосходных качествах Малаги, но в мои намерения не входит браться за это.

Я устроил то, ради чего прибыл в эту святую церковь, где можно найти много лиц для должностей епископов и аудиторов и для того, чтобы управлять миром; среди них я встретил одного моего друга, пользующегося доходами с церковного прихода, человека благородного происхождения с большими и превосходными способностями, вполне достойного уважения, который был раздражен тем, что его оскорбили во время его отсутствия люди, ни в каком отношении не могущие равняться с ним; ибо как зависть существует или вырастает только в душах, забывших о хорошем воспитании и о природных данных, точно так же нападают всегда на тех, кто ими обладает и блистает в деяниях науки и добродетели; ибо им кажется, что признать превосходство и преимущество за тем, кто ими обладает, – это значит потерять право на грубость, имеющееся у тех, кто вырос в

подчинении, благодаря отсутствию хороших способностей и излишку злой воли. Он жаловался, что, когда он облагодетельствовал человека, который всегда видел мало добра или совсем не видел его, и когда он избавил его от того, от чего тот никогда не нашел бы ни способа, ни возможности избавиться, этот человек не только не благодарил его, но изыскивал способы, какими он мог бы очернить полученные благодеяния. Я видел, что мой друг принял решение изменить свое отношение и возможно чувствительнее отомстить ему; но я прервал его замечанием, что раскаянье в совершенных благодеяниях не должно найти места в благородных душах.

— Ведь причинять зло тому, — сказал я, — кому вы сделали добро, — это доказывает недостаток твердости и наличие непостоянства в силе духа. Мстить посредством трибуналов — это ужасная ошибка, потому что оскорбления никогда не позорят до тех пор, пока не дойдут до этого жалкого состояния; в особенности если вы мне говорите, что это человек, лишенный украшения хороших качеств, унаследованных или приобретенных, — какую же признательность будет он чувствовать к вам, когда он не благодарит Бога, что Тот привел его в такое состояние, какого он не заслуживал и не думал заслужить? И я спрашиваю вас, кто поступил дурно, он или вы?

— Конечно, он, — ответил он мне.

— Так пусть он и досадует, — сказал я, — что совершил такой дурной поступок, как неблагодарность; тогда как вам, не сделавшему ничего дурного, не о чем сожалеть, — вам только есть от чего быть очень довольным. И не желайте обесценить перед Богом доброе дело, какое вы сделали.

Он утешился так, что если до сих пор он был моим другом, то благодаря этому совету дружба наша возросла еще гораздо больше. И действительно, спокойствие духа не допускает случайных измен верности слову и намерений у тех, в ком плохо устанавливается мир и спокойствие души. Они должны избегать подобных столкновений всеми возможными способами; а если общение неизбежно, — как это

бывает в городах, — то они должны ограничиваться в нем только теми случаями, когда нельзя этого избежать, всегда руководствуясь истиной и справедливостью таким образом, чтобы те, кто живет, боясь найти что-нибудь, на чем можно споткнуться, стыдились и смущались; и когда не случается так, как желательно и как было бы правильно, то, по крайней мере, тот, кто так поступал, останется вполне спокойным за свою совесть и будет избавлен от досады. Ибо человек стойкий и обладающий спокойствием духа должен бояться самого себя и остерегаться себя больше, чем врагов. Если его оскорбляют справедливо, то пусть он молчит ради самого себя и заглаживает свою вину; а если бы его стали злословить несправедливо, то пусть он утешается, видя себя свободным от того, в чем обвиняет его клевета. Таким образом, молчание во всех случаях является убежищем и защитой от злостных оскорблений.

Но, возвращаясь к началу, я сказал ему:

— Почему — как вы думаете? — обыкновенно говорят: никогда нет недостатка в Хиле, который бы меня преследовал, — почему не говорят дон Франсиско или дон Педро, а именно Хиль? Это потому, что преследователи всегда только люди низкие, как Хиль Мансано, Хиль Перес. И для должностей палача и комитра подыскивают именно людей бесчестных и низких, врагов милосердия, кровожадных зверей, не имеющих ни стыда, ни совести, готовых преследовать людей, которых видят возвышающимися в добродетельных поступках, как этот жалкий человек, на которого вы сетуете. Общение с такими не хорошо ни с какой стороны, потому что они неспособны творить добро и не могут перестать творить зло, и это можно предотвратить тем, чтобы не знаться с ними, чтобы они не могли причинять зла.

— Ведь он обыкновенно проходит мимо меня, — сказал он, — не снимая передо мной шляпы.

— Это, — сказал я, — вероятно, или по небрежности, или по невежливости. Если по невежливости, то пусть он сердится, как я уже сказал, на себя самого, потому что по-

ступил дурно, но не сердитесь вы из-за проступков другого, который был невежливым и дурно воспитанным, ибо вам нет нужды беспокоиться, раз вы не виноваты; а если это делается по небрежности, это влечет за собой извинение, потому что тех, кто впадает в такую оплошность, мы не можем осуждать, если они идут задумавшись или будучи заняты соображениями о делах, — что может случиться по многим обстоятельствам, — и они невиновны потому, что мы не можем быть судьями и иметь уверенность и основание, чтобы обижаться или волноваться. И в отношении вежливости нам не из-за чего сердиться. Во-первых, потому, что невыполнение ее по отношению к нам происходит не по нашей вине. Во-вторых, потому, что кто дает, тот не дает больше того, что имеет, и если кто-нибудь не обладает вежливостью, то не важно, что он ее не оказал; и общее правило таково, что никаким образом мы не должны питать отвращение к тому, что происходит не по нашей вине; ибо невежливые находят свое возмездие около тех, кто их знает.

Глава XVIII

При выезде из Малаги я остановился среди этих апельсинов и лимонов, ароматный запах которых с великой неясностью ободряет сердце, и стал смотреть и созерцать этот прекрасный город, превосходящий все другие города Европы как по влиянию климата, так и по расположению на земле, по той величине, какую занимает его округ. И, занятый этим созерцанием, я увидел, что ко мне приближается нечто, оказавшееся сидящим на муле человеком, который разговаривал сам с собой, сопровождая это движениями рук, мимикой и переменами голоса, как будто он разговаривал с целой дюжиной путников. Я повернул своего мула, пришпоривая его изо всех сил, чтобы возможно поспешнее уехать, прежде чем этот человек смог бы подъехать ко мне, потому что я распознал его болезнь; ибо, чтобы убежать от подобного болтуна, я хотел бы обладать не только

ногами борзой, но и крыльями голубя; и если бы они знали, до какой степени они ненавистны всем, кто их слышит, они бежали бы от самих себя; ибо болтливость, помимо того что она несносна и утомительна, легко обнаруживает слабость разума, звучит как пустой сосуд и выказывает малое благоразумие человека; и она настолько непривлекательна для людей, что они никогда не верят тому, что говорят болтуны, потому что даже если это правда, то она становится настолько же распыленной, утопленной и незнакомой среди стольких слов, как запах одной розы среди многих кустов руты. Эти болтуны подобны папоротнику, который не дает ни цветка, ни плода; они как мельничный поток, который всех оглушает и всегда мчится. Ни один выпущенный на арену бык не заставил бы меня так убегать, как подобный краснобай; и наконец, у них есть хороший момент, только когда они спят, как и произошло у меня с этим, так как, несмотря на большую поспешность, с какой я пустился бежать, он настиг меня и приветствовал, как хлыст, еще сзади, — и едва я ему ответил, как он спросил меня, куда я еду и откуда я.

На первый вопрос я ему ответил, но на второй он не дал мне возможности ответить и, продолжая, сказал мне:

— Я спрашиваю, откуда ваша милость, потому что я из королевства Мурсьи, хотя мои предки были горцами из рода, который носит имя Кольядос.

По крайней мере, не из рода молчаливых: я посмотрел на него, пока он насыщался говорением — если это могло быть. Он был довольно хорошо сложен, хотя обладал большим недостатком, так как он был левша, а хотел таким не казаться. Ибо, хотя уродство левши велико, я считаю худшим уродством скрывание или желание скрыть природный недостаток, потому что это доказывает фальшь и притворство в глубине характера; и так как этот род людей так же известен по этому недостатку, как евнухи по отсутствию бороды, то первые так же стремятся преследовать тех, кто не является левшой, как вторые тех, кто еще не достиг возраста, когда начинает пробиваться борода, но и те и другие, желая

отрицать или скрывать это, дают таким образом понять, насколько велик этот недостаток, раз они его отрицают.

Этот добрый человек, махая одной и другой рукой, поднимая брови, которые у него были большие, с двумя глубокими морщинами между ними, с глазами хоть и не маленькими, но всегда закрытыми, когда он говорил, — как будто он глазами слушал себя, — и со всем лицом, похожим на морду козла, я хочу сказать — с лицом дерзким, заносчивым и бесстыдным, говорил тысячу несуразностей, на что я совершенно не обращал внимания, потому что распознал его тотчас же. Он рассказал о своих отважных подвигах, к чему я отнесся с таким же вниманием, как и ко всему остальному, и так как от сколького говорения у него израсходовалась вся влажность мозга, губ и языка, он совершенно не дал мне возможности ответить ему на то, о чем он меня спросил, до тех пор, когда — проехав две лиги — в одной венте, которую называют «вентой у столбика», он спросил кувшин воды; и в то время, как он начал пить, я ответил на его вопрос, сказав ему:

— Из Ронды.

Он отнял кувшин от рта и сказал мне:

— Я очень рад иметь такое приятное общество, потому что тоже направляюсь туда.

Он опять приставил кувшин ко рту, и, пока он не кончил пить, я сказал ему:

— Вернее, это самое скверное общество на всем свете, потому что я не скажу ни одного слова за всю дорогу.

— Ваша милость обладает этой добродетелью молчания? — сказал он. — Вероятно, вы благоразумны и очень уважаемы во всем мире, так как по малой разговорчивости познается благоразумие мудрых, ибо это добродетель, с помощью которой человек предотвращает вред, какой может произойти только по его собственной вине. Я не любитель говорить: когда кого-нибудь пытают, то, если он не говорит и не признается на пытке, его считают доблестным, потому что он молчал о том, что должно было бы ему повредить. На пиршестве молчаливые едят больше и лучше,

чем другие, и говорят меньше, ибо блеющая овца теряет то, что держит во рту; поэтому я не любитель говорить. Сон, столь важный для здоровья и жизни, должен сопровождаться молчанием. Когда кто-нибудь скрывается, как это обычно бывает, в чужом доме, то он спасается благодаря молчанию, хотя у него и вырвется иногда чиханье. Ведь молчание — это добродетель, которая достигается без труда, потому что нет нужды утомляться над книгами, чтобы молчать. Молчаливый замечает, что говорят другие, чтобы потом попрекнуть их этим. Я не любитель говорить.

Этим вздором и другими столь же бессмысленными речами он продолжал восхвалять молчание, и, утомляя меня и следуя своей склонности, он сказал:

— Я не любитель говорить; только чтобы развлечь в дороге вашу милость, так как вы мне кажетесь человеком знатным, я стараюсь разогнать вашу скуку.

Я изыскивал тысячу способов, чтобы избавиться от него и продолжать свой путь в одиночестве, но отвязаться от него было невозможно, и наконец я сказал ему:

— Сеньор, мне необходимо расстаться с вами и, свернув налево, переправиться через эту реку, потому что у меня есть дело в Койне.

— Неужели ваша милость считает меня столь необщительным, — сказал он, — что я не должен вас сопровождать?

Он продолжал говорить, а так как моя попытка не закончилась для меня удачно, я ехал, развлекаясь соловьями, которые по дороге устраивали нам музыку, причем я удивлялся, видя, с какой старательностью они выступали перед людьми, чтобы те слушали мелодию их пения, иногда выводя кантилену со спокойствием тенора, а потом переходя на сопрано, приглашая контрабас составить основание, на котором голоса выделяются, иногда не думая о контральто. Концерт неподражаемый, но поучительный для людей, которым они служат с великим старанием доставить им удовольствие, потому что на берегу этой реки и повсюду, где они были, они показывали свое искусство с тем большим совершенством, чем ближе находились от людей.

Благодаря этому я мог скрывать и выносить столь большую неприятность в продолжение болтовни этого назойливого болтуна, пока мы не доехали до венты, где необходимо было поесть. Когда мы покончили с едой, я притворился больным, чтобы избавиться от него, но он сказал:

— Вместе выехали мы из Малаги, вместе должны мы и достичь Ронды.

Так как я молчал, а он говорил сколько хотел, то я показался ему хорошим попутчиком. Я чувствовал себя усталым, разбитым и раздраженным, потому что хотя я должен признаться, что умею пользоваться терпением во многом, но я знаю, что не обладаю им для того, чтобы выслушивать, когда говорят много и многоречиво; поэтому я решился применять против болтунов средство, заключающееся в том, чтобы говорить больше, чем они.

Когда этот добрый человек кончил есть, он, потянувшись с громким зевком, начал говорить:

— Здесь прошел король дон Фернандо со своим войском, когда, после взятия Ронды, он двинулся на Малагу, и так как у него недоставало продовольствия, вследствие возросших расходов и вследствие того, что окрестные селения были разорены постоянными стычками, маневрами и военными хитростями, какие он применял, чтобы взять Ронду, то солдаты два или три дня не получали пищи, так что они думали, что им придется погибнуть от голода.

Я здесь яростно прервал его, говоря:

— И я даже вспоминаю, что слышал, как рассказывал мой прадед, что привели с пастбищ окрестных христианских селений вокруг Ронды большое стадо свиней, которые теперь тут в большем изобилии, чем во всей Испании, для продовольствия лагеря. Так как был уже прикончен весь рогатый скот и оставалось несколько свиней, король-католик приказал, чтобы ему сохранили дюжину из них на племя, так как они были большими и толстыми. Солдаты, народ нетерпеливый, чувствовали, что они умирают с голода, а ожидавшееся продовольствие запаздывало. Хотя они были окружены окопами и осаждены врагами со всей долины

Малаги и принуждены были жить там с большой осторожностью, но однажды два или три товарища увидели, что эти свиньи отбились от стада и направились в чащу вот этих деревьев по берегу реки, ибо никто их не трогал, потому что они были в безопасности и пользовались полной свободой. Один мушкетер из этой компании подбежал и сквозь ветки влепил две пули в одну из этих свиней. «К оружию! — закричали все. — К оружию! Враги! К оружию!» Весь лагерь схватился за оружие; солдаты же притащили свинью в свою палатку и засунули ее в сундук под одежду. Побежали во все стороны, где можно было опасаться слабости или опасности; потому что в подобных случаях никто, кроме часовых, не имеет права стрелять из мушкета; и так как обнаружили, что все было спокойно, то было приказано, чтобы старший сержант произвел расследование, где и почему выстрелили из мушкета: выяснилось, что это было сделано ради убийства свиньи. Трое солдат ногами затерли след крови, и, завернув борова в свое платье и белье, они засунули его на дно сундука, который и послужил ему гробницей, пока не явился старший сержант и, обследуя палатку за палаткой, не подошел к палатке этих солдат. Так как они отрицали убийство свиньи, старший сержант подошел посмотреть за сундуком, и когда он сдвинул его, то боров издал громкое басистое хрюканье из самой глубины своего чрева, так как он не был мертв, и затем повторил его еще громче.

Старший сержант, разузнав, в чем дело, и так же страдая от голода, как и они, посмотрел на них, не говоря ни слова. Они стояли с вставшими дыбом волосами, с дрожащими руками и смущенными лицами, так как поняли, что их должны были повесить или наложить на них другое очень тяжелое наказание, но старший сержант, приложив палец к губам, сказал им: «Пришлите мне мою долю, и мы все поедим». С большим притворством он стал продолжать свой обыск из палатки в палатку, а когда пришел в свою, то среди грязных тряпок нашел часть свиньи, показавшуюся ему упавшей с неба.

Тогда болтун сказал:

– Ну, так в связи с этим я расскажу...

И в этот момент я перебил его, говоря:

– Ведь я здесь не остановился и не рассказал даже половины рассказа.

И, говоря множество всякого вздора, вроде предыдущего, я одолел его настолько, что он забрал своего мула и отправился по дороге в Алору, даже не попрощавшись, а я остался в венте дона Санчо, отдыхая от того, что я так много говорил и так много говорения должен был вынести. Ибо хотя речь является средством, чтобы люди понимали друг друга, но излишество ее уничтожает благую цель, ради которой было предоставлено людям, а не другим животным общение при помощи речи и тонкость языка, обладающего столькими превосходными качествами, ибо он является истолкователем души, отвечает на то, о чем человека спрашивают. Язык является наставником в добре, утешителем в беде, верным передатчиком суждений, посредником в дружбе, приятным для слуха спутником в одиночестве, оратором, чтобы убеждать, и голосом, чтобы мы могли общаться.

Я оставляю в стороне много других полезных качеств, хотя и более материальных, но очень необходимых, как, например, то, что язык переносит пищу с одной стороны на другую, чтобы она остыла, если она очень горяча, и чтобы согрелась, если холодна, и опускает ее в желудок таким образом, что тот хорошо принимает ее. Но как грязен и слюняв был бы рот, если бы не было языка, который собирает слюну, своевольно сочащуюся из мозга и поднимающуюся из желудка? Как было бы возможно выбросить мокроту из груди, если бы не помогал язык? Кто станет отрицать изящество, каким он обладает, чтобы просить, и резкость, чтобы отказывать? Чудесными свойствами обладает он для материальных целей.

Глава XIX

Но кто или как сможет рассказать о свойствах языка, хотя он сам обладает свободной волей, не будучи зависимым от

другой части тела, чтобы говорить о себе? Некоторые говорят, что по форме он похож на наконечник копья, но ошибаются, потому что он не настолько широк в широкой своей части и не настолько остроконечен в конце. Мне же кажется, что он имеет форму змеиной головы, и кто захотел бы убедиться в этом, тот пусть посмотрит на язык, глядясь в зеркало, и он найдет то, что я говорю: он увидит, какой легкой подвижностью он обладает, более быстрой, чем все остальные части тела; как от собственного своего движения он удлиняется и сокращается, суживается и расширяется, с какой легкостью поднимается он вверх рта и опускается вниз и движется к одной губе и к другой; как он выходит наружу и возвращается внутрь, причем не видно, благодаря чему он удлиняется и куда он скрывается; и когда глядишь на него при всех этих изменениях, то он кажется змеей, находящейся у отверстия своей пещеры и могущей выйти из нее или не выходить. И, наконец, выходит, имея для своей охраны и защиты два заграждения из зубов и губ, которые препятствуют ему свободно говорить; но из-за этого он не перестает говорить все, что ему приказывают, а иногда и гораздо больше, чем ему приказывают. Гнусный порок, какой обыкновенно встречается у людей очень низкого происхождения, как у торговок рыбой и прачек; и если они люди, если они сходны по рождению и нравам, то они захотели бы скорее быть немыми, чем говорить столько и так дурно, если бы подумали, как это важно для мирной жизни и спокойной смерти. Тысячу раз я думал, почему их называют безъязычными, когда у них такой длинный язык? И, оставляя в стороне другие основания, я утверждаю, что раз они говорят так много и так дурно, то кажется, что они должны обладать языком изношенным и истощенным от говорения, и поэтому их называют безъязычными, между тем как они обладают языком и даже кислотой, потому что порождают кислость в том, кто от них страдает. Я сказал, что язык похож: на голову змеи потому, что он оказывается столь же готовым колоть или кусать, как и восхвалять или убеждать. Но как приятно гово-

рить хорошее! Сколько друзей приобретается этим и сколько врагов противоположным! Все ссоры, какие происходят в мире, были бы умереннее и сдержаннее, если бы они были только на языке, ибо языком ссорятся во всех ссорах, происходящих в общинах и капитулах. Как легко признать истину и как трудно противоречить ей! Потому что, в конце концов, невозможно найти подходящее основание, чтобы уничтожить ее. Противоречие истине тем, что каждый выступает — как говорят — со своей; это, очевидно, значит мало ценить истину и даже свою репутацию. Потому что, хотя по некоторым уважительным причинам ему позволяют выступать со своим намерением, но все наконец замечают ничтожность, какую он поддерживал, и он остается устыженным и раскаивающимся; и всех, кто дурно пользуется языком, немедленно вслед за этим постигает раскаяние. Горе тем, кто основывает свое право на доверии к своему низкому языку, ибо если они таким путем достигают этого, то всю жизнь они проводят с угрызением совести и ждет их безвозвратная смерть, — может быть, я заблуждаюсь.

Все раны, какие наносит человек рукой, остаются там, где они получены. Если оскорбление нанесено ударом ноги, то вред оттуда не переходит на другое место. Но рана, нанесенная языком, — как говорит ученейший Педро де Валенсья, — распространяется и расширяется таким же самым образом, как движение, вызываемое камнем в луже воды, которое распространяется во все стороны, или как звук, который разрастается и разносится по воздуху во все стороны; ибо слово, однажды сказанное, не может возвратиться к своему хозяину и не является господином того, что оно могло содержать в себе и что оно распространило. Несколько лет назад называли сатириком того, кто обладает низменным языком; но неправильно, потому что одно не родственно другому; ибо сатиры рождаются не из яда языка, а из ревностного стремления порицать порок, так как, хотя он и не чувствителен сам по себе, он порицается в том, кто его имеет. Но голод и жажда низменного языка не вызывают такого размышления, как то, какое составляет сатиру; а если бы он обладал им или временем, чтобы подумать о непристойностях, то он не нападал бы так легко на честь ближнего. Тот философ, который ответил, — когда его спросили, укус какого животного наиболее ядовит, — что из злых — клеветника, а из кротких — льстеца, — не объявил, кто поистине называется льстецом; ибо в действительности лесть — это ложь, любезно сказанная в похвалу присутствующему, как, например, если невежественного человека назвали бы ученым или безобразную женщину назвали бы красивой.

Это действительно ласкательство и признанная лесть, и большая низость произносить ее и еще большее невежество соглашаться с ней; но не назовется лестью, если женщину, которая обладает посредственной красотой и нравится, назвать очень красивой, или мужчине с приличной фигурой сказать, что он изящен; не будет лестью, если тому, кто своим пением доставляет удовольствие слушающему его, сказать, что он Орфей, или сказать очень посредственному поэту, что он Гораций: потому что должно быть кое-что преувеличено, чтобы души поощрялись продвигаться вперед в добродетельных поступках; ибо если честь есть награда за добродетель, а это действительно так, — то как узнает добродетельный мнение, какое существует о нем в народе, если оно не высказывается ему в глаза и если его не ободрят, чтобы он продолжал с каждым днем заслуживать все больше и больше? Поэтому сказать хорошее от себя самого тому, у кого есть на чем обосновать это, это значит не льстить, а поставить его в известность об этом, чтобы он не останавливался в своем добром намерении; и тот, кто это говорит, если он умеет это сказать, ведет себя как любезный человек и как судья, знающий, что приличествует хорошим качествам. Кто будет столь бесчеловечен, что сочтет за лесть сказать Лопе де Вега, что в древности не было более превосходного гения на том пути, по какому он следовал? Или кто будет столь глуп, что назовет кого-нибудь великим поэтом потому, что тот умеет остроумно бросить четыре остроумных строчки?

Все это является делом языка, который, если он подобен языку этого болтуна, все уничтожает и всему вредит, так же скрывая дурное, как и подрывая доверие к хорошему; потому что чрезмерность не может вместить в себя поступков справедливости, и в особенности, если большая болтливость присуща женщине невежественной и красивой, потому что для мужчины сосредоточенного и занимающегося наукой она делает в доме больше шума и мешает больше, чем курятник с двумя сотнями кур. Болтовня полна тысячи неудобств, и мало болтунов или даже ни одного я не видел исправившимся; потому что чем больше они живут и болтают, тем больше возрастает распущенность в болтовне и убеждение, что они могут это делать. Умеренная разговорчивость услаждает слух, порождает расположение и любовь в том, кто это слушает, и создает гармонию в слушателе, потому что нет четырех согласованных голосов, которые так захватывали бы.

Но что было бы из музыки голосов, если бы не было языка, который произносит слоги и образует ноты? Певцы уподобились бы коровам у ручья или подающим воду колесам в действии. И, хотя я плохо применяю даваемое мною наставление говорить мало, я не могу оставить без осуждения род людей, которые, начав говорить, уподобляются колесу из ракет, которое не останавливается, пока не израсходуется весь порох. Они невежливы, так как не слушают, что им отвечают, и становятся ненавистными для всех.

Надлежит говорить то, что необходимо, отвечая и своевременным или вызванным беседой молчанием, давая другим возможность отвечать; если возможно, то надлежит говорить остроумно и изящно; если же нет, то, по крайней мере, рассудительно, сдержанно и спокойно, не считая, что должно говорить все. Как божественно делает донья Ана де Суасо, пользующаяся языком, чтобы петь и говорить с изяществом, предоставленным небом для чуда на земле. Или как донья Мария Коррьон, которая, если бы она не обладала такими преимуществами в красоте, благодаря одной только рассудительности и изяществу своего

языка могла бы пользоваться уважением во всем мире. Я не хочу приводить в виде заключения таких великих ораторов, как маэстро Сантьяго Пикодоро, падре фрай Грегорио де Педроса, падре фрай Пласидо Тоссантос, и маэстро Ортенсио, божественный ум, и падре Салабланка, столь похожий по своей жизни на превосходные слова свои; и других превосходнейших и виднейших личностей, которые говорят как будто языками ангельскими, а не человеческими. Но, желая высказать порицание многословию, я сам говорил слишком много, чтобы убедить исправиться имеющих этот недостаток.

В эту ночь я отдохнул в селении, лежащем вблизи от дороги, которое называется Касаравонела и изобилует апельсинами и лимонами, обладает большим количеством воды и прохлады и расположено у подножья очень высоких скал.

Глава XX

Поутру я отправился в путь посреди этих неровностей скал и очень густых лесов, причем заметил одну странность среди многих, какие есть во всей этой округе. Из скалы бил большой фонтан воды, с огромной силой вырывавшийся наружу, как будто он был сделан руками человека; в фонтане, обращенном на восток, вода была очень теплая, скорее горячая, а с другой стороны скалы бил другой фонтан, соответствующий первому, с ледяной водой, — он был обращен на запад; в одном месте — цветущий розмарин, а в двух шагах — он еще без листьев, а другие с зелеными ягодами, а немного дальше — уже с черными ягодами. Все, что расположено в сторону Málаги, очень весеннее, а лежащее в сторону Ронды — очень зимнее; и так это всю дорогу.

Среди этих деревьев на дороге, изобилующей родниками и водопадами, падающими с высочайших, заросших кустарником скал и гор, среди очень густых дубов, мастиковых деревьев и каменных дубов, я был совершенно один и размышлял о странных вещах, какие создает природа, —

когда неожиданно столкнулся с переселением цыган на ручье, называемом Девичьим ручьем, что заставило бы меня повернуть назад, если бы они меня уже не увидели, потому что мне сейчас же представились убийства, случавшиеся в то время по дорогам и совершенные цыганами и морисками; и так как дорога была мало посещаемая, а я был один и без всякой надежды, что могут пройти люди, которые сопутствовали бы мне, я сказал им, собрав все свое мужество, в то самое время как они начали просить у меня милостыни:

— Добрый путь добрым людям.

Они в это время пили воду, а я предложил им вина и протянул им бурдюк с Педро Хименес из Малаги и бывший со мной хлеб, чему они очень обрадовались; но они не переставали говорить и просить еще и еще. У меня есть обычай, и каждый путешествующий в одиночестве должен его иметь, — именно: разменивать в городе серебро или золото, какое понадобится во время пути от одного города до другого, потому что весьма опасно доставать золото или серебро в вентах или по дороге, а имея в кармане мелочь, я вынул пригоршню, которую роздал, и каждого наделил милостыней — никогда за всю свою жизнь я не раздавал с большей охотой, — по моему мнению, достаточной. Цыганки ехали по две на кобылах и на очень тощих некрупных лошадях; дети — по трое и по четверо на нескольких хромых и разбитых осликах. Плуты цыгане шли пешком, свободные как ветер, и тогда они мне показались очень высокими и здоровыми, ибо страх делает вещи бóльшими, чем они есть на самом деле; дорога была узка и камениста, усеяна корнями множества очень густых деревьев, и мул спотыкался на каждом шагу. Цыгане хлопали его руками по крупу, и мне показалось, что им хотелось бы хлопнуть меня по самой душе; потому что я ехал по самой низкой и узкой части дороги, а цыгане по сторонам выше меня, по тропинкам, заплетенным тысячей кустов поросли каменного дуба и мастиковых деревьев, так что каждый момент мне казалось, что они уже собираются наброситься на меня. Среди этого

смущения и страха, когда я ехал, внимательно смотря по сторонам, двигая при этом только глазами и сохраняя неподвижным лицо, внезапно подошел цыган и схватил мула под уздцы у самой нижней челюсти, и когда я уже готов был броситься на землю, мошенник цыган сказал:

— Зубы уже закрылись, сеньор мой.

«Пусть для тебя будет закрыт, — сказал я про себя, — вход на небо, мошенник, что нагнал на меня такого страха».

Они спросили меня, не хочу ли я выменять мула. Измученный предыдущим несчастьем и напуганный тем, что могло случиться, но соображая, что их желанием было обокрасть меня и что я не мог заставить их отстать от меня иначе, как только надеждой на более крупную добычу, с самым спокойным видом, на какой я был способен, я вынул еще мелочи и, раздавая ее им, сказал:

— Конечно, друзья мои, я сделал бы это очень охотно; но позади я оставил своего друга, купца, так как у него устал мул, на котором он везет груз денег, и я еду в селение за вьючными животными, чтобы перевезти эту поклажу.

Услышав, что я говорю об одиноком купце, усталом муле, денежной поклаже, они сказали:

— Поезжайте, ваша милость, в добрый час, а в Ронде мы заслужим вам милостыню, которую вы нам подали.

Я пришпорил мула и заставил его бежать по этой заросшей кустарником скалистой местности гораздо быстрее, чем ему хотелось бы.

Они остались, разговаривая на своем тарабарском языке, и, вероятно, дожидались или подстерегали купца, чтобы выпрашивать у него подаяние, как они обыкновенно это делают, так что, если бы я не прибегнул к этой хитрости, мне пришлось бы плохо. Бог знает, сколько раз я пожалел, что покинул компанию болтуна, так как хотя он много болтал бы и раздражал бы меня, но, в конце концов, я не подвергся бы опасности, в какой только что находился. Ибо действительно для путешествия компания, как бы несносна она ни была, имеет больше хороших сторон, чем дурных, и даже если она будет очень скверной, ее может

сделать хорошей хороший спутник, разговаривая только о вещах вполне разумных. А чтобы разговаривать о том, что видишь по дороге, хороша всякая компания. Как хорошо дал нам Бог понять эту истину, когда одной руке дал спутником другую, одной ноге другую ногу, глаза и уши и другие члены человеческого тела, которые все удвоены, кроме языка, чтобы человек знал, что он должен слушать много, а говорить мало.

Я ехал, часто оборачиваясь назад, чтобы посмотреть, не преследуют ли меня цыгане, ибо, так как их было много, одни могли последовать за мной, а другие остаться; но та же самая жадность, какая питала одних, удержала других, и поэтому они не последовали за мной. Я приехал в селение более усталым, чем приехал бы, если бы эти цыгане не нагнали на меня страха. После я видел, как в Севилье наказывали за разбой одного цыгана, а в Мадриде одну цыганку за колдовство; но потом, когда я успокоился и волнение прошло, в этих цыганах мне представилось бегство сынов Израиля из Египта. Некоторые цыганята были нагишом; другие в изорванном шпагами колете или в рваной куртке, надетой прямо на тело; некоторые упражнялись в игре в ремешок. Цыганки — одна была одета очень хорошо, с множеством серебряных медалей и браслетов, а другие наполовину одетые, наполовину обнаженные, с подолами, обрезанными до срамного места; они вели с собой дюжину хромых и слепых осликов, — но легких и быстрых как ветер, — которых они заставляли бежать свыше их сил.

Бог надоумил и внушил мне эту хитрость, потому что цыган было столько, что их хватило бы, чтобы разграбить селение в сотню домов. В этом селении я отдохнул и поел, а к вечеру прибыл в Ронду, где нашел моих купцов, очень желавших видеть меня и очень подвинувшихся в своих делах. То, что там произошло со мной, не представляется важным, потому что на такой богатой ярмарке случается столько проказ, приключений, краж и плутней, что для каждой из них понадобится целый рассказ. Я направлялся

сюда не торговать и не заключать контракты, а по делам своих занятий и чтобы навестить своих родных; но я служил купцам поводырем, чтобы показать им некоторые очень примечательные и достойные осмотра вещи, созданные природой или искусством, какие находятся в этом городе, как, например, знаменитый подземный ход к источнику, из которого всегда снабжались водой, когда город бывал осажден врагами.

Этот город был построен на развалинах Мунды, которую теперь называют Старой Рондой, города, где Цезарь подвергся такому натиску со стороны сыновей Помпея, что он сам признается, что всегда сражался, чтобы побеждать, а здесь — чтобы не быть побежденным. Город построен на такой высокой скале, что, как я могу заверить в этом, когда в городе светило солнце, то в глубокой пропасти, находящейся внутри самого города между двумя отвесными скалами, шел дождь на мельницах и сукновальнях, обслуживающих город, откуда люди поднимались вымокшими, — и когда их спрашивали, почему это, — они отвечали, что шел сильный дождь между двумя скалами, отделяющими город от предместья. Я говорю об этом потому, что когда этот город был построен, то вследствие недостатка родников наверху жители принуждены были сделать подземный ход, пробивая его в самой скале до реки, так что во всем этом ходе нет места, которое не было бы такой же твердости, как камень, и в нем около четырехсот ступеней, по которым спускались за водой несчастные пленники-рабы, причем от такой работы некоторые умирали. По древнему преданию считается, что крест, какой я видел на середине лестницы, сделал один христианин — которого эта работа довела до смерти — ногтем большого пальца, выцарапав так глубоко, что было бы недостаточно острия кинжала, чтобы сделать такой. Этот крест такой же величины, как Христос, находящийся в одной древней церкви Ко́рдовы и сделанный таким же способом руками другого святого пленника. Некоторые утверждали, что такая замечательная постройка, как этот подземный ход, могла быть

сделана только римлянами; но доказательством против этого служит большой камень, находящийся в фундаменте башни, называемой Поклонной, на котором имеется надпись латинскими буквами, и эти буквы перевернуты, — тогда как их не положили бы наоборот, если бы умели читать их. Кроме того, улицы все узкие, а дома, унаследованные от древности, низкие, что совсем необычно для римлян и испанцев. Как бы то ни было, устройство подземного хода потребовало большого труда и старания, и он является одним из достопамятных творений, оставшихся в Испании от древности. Что этот город был построен на развалинах Мунды, заметно по множеству находящихся там камней и по некоторым идолам, какие там есть, между которыми превосходны два из алебастра, сильно попорченные и находящиеся в домах дона Родриго де Овалье, которого я знал. Эти дома унаследованы им от его родителей и дедов, и в настоящее время он сам там живет. И, хотя я не собираюсь выполнять обязанности историка, я не могу не сказать мимоходом, что Амбросио де Моралес был введен в заблуждение сходством имен, утверждая, что Мунда находилась на месте маленького селения, построенного на склоне гор Сьерра-Бермеха, которое называется Монда, чего он не сказал бы, если бы видел эту местность. Потому что правильность этого согласуется с тем расстоянием, какое указывает Павл Гирций от Осуны до Мунды, и с существующим в настоящее время огромным колизеем, который я видел в восемьдесят шестом году, доказывающим, что здесь была римская колония. Вместе с этим я вспоминаю слышанное от Хуана де Лусона, кабальеро с очень тонким умом и образованием, и от одного идальго, внука и сына завоевателей, по имени Карденас, что на его хуторе, находящемся на самом месте расположения Мунды, при пахоте батраки нашли камень с надписью «Munda Imperatore Sabino»[1]. Вместе с тем, я слышал об этом от своих дедов, которые были сыновьями завоевателей и получили надел от королей-

1 Мунда императору Сабину (*лат.*).

католиков. Я говорю это для того, чтобы истинность этого сохранилась для потомства, так как вымирают те, кто об этом знает.

Этот город обладает, конечно, многим, посмотреть на что могут приходить за много лиг ради необычайности, а также ради причудливости этих высоких скал и утесов. Ронда весьма изобилует всем необходимым для жизни, и поэтому мало людей уходит из нее, чтобы посмотреть свет; но те, которые уходят, как в качестве солдат, так и в связи с другими профессиями, на всякой должности показывают себя с очень хорошей стороны. Но так как я не собираюсь выполнять обязанности историка, я прохожу мимо этих истин. Я показал купцам все, что мог, и покинул их с их намерением отправиться в Западную Индию.

Глава XXI

Я сделал все, для чего приезжал, и отправился в Саламанку, где оставался до тех пор, когда был снаряжен флот в Сантандере, откуда родом был генерал Педро Мелендес де Авилес, губернатор Флориды, превосходный моряк, которому было поручено командование флотом, когда он был готов к отплытию. Имея желание посмотреть свет, я бросил занятия и записался в отряд одного моего друга, капитана, который набирал людей для названного флота; так что если бы кто увидел людей, собравшихся во флоте из Андалусии и Кастилии, тот подумал бы, что его хватит для завоевания всего света. Но так как десница Бога управляет всем и без Его непостижимой воли не достаточно ни могущества королей, ни доблести генералов, ни ярости великих воинов, чтобы уничтожить слабость жалкого человека, то это могучее войско имело несчастнейший конец, — и не в битве, потому что до этого не дошло, а вследствие того, что среди солдат распространилась болезнь, от которой умерли почти все, не выходя из гавани. На корабли сели совершенно здоровые люди, молодые и крепкие, с большими

надеждами, какие им сулила беззаветная отвага. Я сел на одну сабру с отрядом, в котором состоял, хотя с другим капитаном, потому что произошла перемена, и у этого другого я был знаменосцем во флоте, о ком сказано: несчастная мать, у которой нет сына-знаменосца.

Адмиралом был дон Диего Мальдонадо, очень приветливый кабальеро, и я приобрел его милость, а в немилость не впадал никогда, — из уважения к нему второй капитан и поручил мне свое знамя. Меня захватила двойная трехдневная лихорадка, которая была очень распространена и на кораблях и на суше; и так как счастливым положением, как бы незначительно оно ни было, никогда нельзя пользоваться не возбуждая зависти, — ее возымел ко мне один дворянчик из того же отряда, который собрал восемь или десять товарищей, и они очень серьезно старались сшибить меня с должности знаменосца; но чем больше они давали мне поводов для осуществления их намерения, тем больше я уклонялся от того, чтобы на них поддаться; потому что, когда человек попадает в такие положения, он плохо может сопротивляться, и нет лучшего средства избежать зла, как не поддаваться обстоятельствам, в особенности в молодом возрасте, в каком я тогда находился, так как хотя я и не был очень юным, я был очень вспыльчивым, а болезнь сделала меня раздражительным. Чтобы избавиться от этого дворянчика, я пробыл несколько дней на суше, не являясь на корабль, так как все надлежит проделать, чтобы избежать ссор; и хозяйка, у которой я жил, лечила мою лихорадку, давая мне пить вино из Ривадавья с мышиным пометом, потому что больные во все это верят, как будто это может дать им здоровье. Так как я был горяч, то жар еще более разгорался, и больше разгоралась ненависть завистника, так что из-за него мне приказали явиться на корабль; я исполнил это, хотя был в жару. Так как он продолжал упорствовать в своих злых умыслах, то вместе со своими товарищами, с которыми бедняга очень проворно растрачивал то немногое, что у него было, он решил дать мне щедрой рукой повод для ссоры. Я умел плавать, а он нет; положение

было таково, что он принудил меня отвечать: стоя со своими товарищами у борта корабля, он стал изобличать меня во лжи. Внезапно мне представилось, что если я дам ему пощечину, то подвергнусь опасности и его товарищи бросятся на меня с кинжалами; поэтому, не говоря ни слова, я обхватил его и вместе с ним бросился в море, и, четыре раза ударив его ногой здесь, где товарищи его уже не могли прийти к нему на помощь, я погрузил его в воду, а сам, сделав два взмаха руками, ухватился за борт баркаса. Бедняга, наглотавшись воды, всплыл на поверхность, и первое, что он нашел, за что можно было ухватиться, это была моя нога, за которую он уцепился с такой силой, что многими ударами, какие я нанес ему другой ногой, невозможно было заставить его выпустить ее. Негодяи, на чью помощь и мужество он рассчитывал, решаясь на это, вместо того чтобы помочь ему и мне, стояли у борта корабля, умирая со смеху, видя его ухватившимся за мою ногу, а меня ухватившимся за баркас. Я крикнул матросам — потому что он не мог произнести ни слова, — чтобы они бросили конец; они бросили, и двое из них спустились и, словно мы были тунцами, втащили нас в баркас, хотя мне мешало вылезть из воды только то, что другой не выпускал моей ноги; но его вытащили наполовину захлебнувшимся, так как он оказался в незнакомой ему стихии.

Когда мы поднялись наверх, его несколько раз ударили ногой в живот, отчего его вырвало дурной водой, а я обсушился от той, какая промочила мою одежду; таким образом, для спасения жизни бедняге больше пользы принесла одна нога врага, чем дюжина рук его друзей, ибо небо устраивает все так, что дружба и покровительство, основанные на дурных намерениях, не приносят пользы при дурной цели. Никто не должен полагаться на то, что ему не принадлежит, ибо легко обещание помощи и сомнительно оказание ее; потому что каждый в таких случаях обращает внимание на вред для себя, а не на обязательство, в какое его поставили. Мое пренебрежение вместе с покровительством других придало ему смелости, и в этом самом пренебрежении он

нашел жизнь, которая благодаря этому покровительству находилась под сомнением. Я своей решительностью смыл нанесенное мне оскорбление, изгнал лихорадку и заставил смеяться весь флот. В надежде на чужую помощь никто не должен осмеливаться совершать дурные поступки.

Об этом узнал губернатор, сильно над этим смеявшийся. Пришел посмотреть на нас адмирал, узнав, что у меня произошла ссора, и очень весело сказал:

– Эту дружбу, прошедшую через воду и заключенную при посредстве Нептуна, я как адмирал утверждаю; однако знайте, сеньоры солдаты, что под знаменем не бывает оскорбления: тот, кто его нанесет, получит три вздергивания на дыбу, а тот, кто подвергнется оскорблению, будет считаться очень честным солдатом, уважаемым и рассудительным.

Он обласкал полумертвого от страха, а меня взял с собой обедать, рассказывая о моей проделке всем во флоте, который был столь несчастлив, что из двадцати почти тысяч солдат, севших на корабли очень здоровыми, осталось пригодными только триста, которых капитан Ванегас отвел, куда ему приказали, ибо не могло предотвратить этого несчастия старание графа Оливареса, выдающегося министра, способного управлять целым миром, благоразумного, проницательного и знающего во всех областях. Умер сам губернатор и другие выдающиеся слуги его величества, благодаря чему это огромное предприятие окончательно распалось.

Я ушел вместе с другими оставшимися в живых, чтобы поправить свое здоровье полным выздоровлением; потому что действительно все, кто не умер, были больны и поэтому считали, что какой-то вред произошел от пищи. Я покинул Сантандер и направил свой путь через Ларедо и Португалете; я прибыл в Бильбао, где счастье сопутствовало мне, как обычно. Хотя я шел не очень бодрым и здоровым, но на мне была солдатская форма, и так как этот флот вызвал много разговоров, то все рады были видеть солдат с него. В особенности женщины, как наиболее любопытные, сбегались посмотреть на каждого приходившего солдата.

Когда в Бильбао я был в одной церкви, на мне остановила свой взор одна очень красивая бискайка – среди них есть с необычайно красивыми лицами; я ответил на ее взгляд так, что, прежде чем уйти, она, после довольно продолжительной беседы и споров о некоторой бывшей у нее склонности отправиться в Кастилию, сказала, чтобы этой ночью я пришел к ее дому и подал бы знак. Я ответил ей, что обыкновенные знаки очень легко возбуждают подозрение, и поэтому чтобы она подошла к окну, когда услышит кошачий крик, так как это буду я. Она приняла это к сведению, и в двенадцать часов ночи, когда мне показалось, что народа не было, я пошел, прижимаясь к бросавшей тень стене, и бесшумно стал в уголке, находившемся под ее окном, где благодаря тени меня нельзя было увидеть, и тогда подал знак мяуканьем, на звук которого поднялось шумное возмущение собак и осел испустил свой контральтовый крик. С противоположной стороны шел человек, тоже выжидавший условленного часа, и когда он услышал кота и собак, между тем как я все внимание обратил на окно, чтобы видеть, не выглянула ли она, он схватил камень и сказал по-баскски:

– Черт бы побрал котов, пришедших выводить из себя собак! – и, взмахнув рукой с камнем, пустил его приблизительно в то место, откуда услышал кошачий крик, и попал мне камнем в спину, думая спугнуть кота. Я смолчал и по возможности стерпел боль, отвлекшую мое внимание от окна и далее мою любовь от девушки, потому что я решил, что Бог допустил этому случиться вследствие непочтительности к Нему в церкви, ибо я там уславливался о том, что должно было оскорблять Его. В местах священных страх и стыд должны быть уздой, чтобы не совершать подобных дерзостей, ибо если храмы предназначены для того, чтобы приносить Богу жертвы и просить у Него милостей, то как Он будет оказывать милости, если к Нему относятся непочтительно в Его собственном доме? И кто не чувствует страха и уважения в подобных местах, тот обнаруживает бесстыдную душу; потому что страх возникает в человеке

во славу Божию, а кто его не имеет, не сможет также иметь и мужества. Никто не должен обращать внимания на женщин в церкви, так как есть много мест, чтобы видеться с ними вне ее; потому что известно, что несли очень тяжкую кару люди, не бывшие почтительными к храмам, и получали очень большие милости те, кто убоялся в них поступать непристойно; и не только в истинной религии, но даже в культе ложных богов Бог истинный допускал совершаться с такими людьми великим бедствиям, потому что, обманутые демоном и считая свою веру истинной, они совершают святотатство по отношению к тому, что почитают за добро.

Я удалился вследствие этого неприятного происшествия и потому, что вещи, с которыми мало связан, не причиняют большого огорчения, когда их покидаешь; но так как у нее было желание отправиться в Кастилию, то она нашла способ сообщить мне через свою подругу – столь же неразговорчивую на кастильском языке, как я на баскском, – что так как я не хотел прийти к ее дому поговорить с ней, то чтобы я пришел к выходу из Бильбао по направлению к Витории, потому что там они будут со мной разговаривать. И мужчины, которые в незнакомых городах и не имея сведений об их нравах, решаются поступать по своему желанию, заслуживают того, чтобы подвергнуться опасности, какой подвергся я. Нет такой доверчивости, которая не была бы связана с какой-нибудь опасностью, и это великое заблуждение доверяться тому, в чем не было опыта. Если кто-нибудь в Кастилии говорит «бискаец», то он хочет сказать – человек простодушный, благонамеренный; но я полагаю, что Бильбао как столица королевства и как граница или побережье имеет и воспитывает бродяг, имеющих некоторое сходство с мошенниками Вальядолида и далее Севильи.

Я пришел на условленное место немного поздно и нашел там сеньору бискайку с ее подругой или спутницей; мы пошли, разговаривая, а по временам она пела по-баскски, потому что другая ни слова не знала по-кастильски, и благодаря разговорам об ее путешествии в Кастилию мы развлекались так, что вечер застал нас довольно далеко от города. Мы повернули назад и, дойдя до мельницы, встретили четырех подвыпивших мужчин, вышедших из таверны, где подают не сидр, а очень крепкое вино, ибо несколько таких таверн расположено выше этих мельниц. И, завидев с одним кастильцем двух бискаек, руководимые своими возбужденными вином головами, они встали двое с одной стороны и двое с другой и, взявшись за шпаги, начали наносить мне удары. Я не был господином своего положения, потому что с одной стороны находилась очень высокая гора, а с другой – довольно высокая стена, которая спускалась к водоприводному каналу мельницы.

Бискайки убежали, а я сделал все возможное, чтобы держать нападавших перед собой и иметь таким образом возможность лучше следить за ними; но негодяи были опытными убийцами и знали, как нужно было совершать подлый поступок. Видя, что благодаря силе я должен был оказаться в опасности, не имея возможности ни пройти вперед, ни подняться на гору, ни обойти стороной, я бросился на двоих, чтобы опередить их, и в то же время они все вместе напали на меня и бросили меня в канал этой мельницы. Я был так близко от мельничного колеса, что бешеное течение воды превратило бы меня в клочья, если бы я не ухватился за сваю или бревнышко, вбитое – хотя не очень прочно – около шлюза, который преграждал путь воде, направляя ее на мельничное колесо. Но я был так близко от колеса, а свая была так слаба, что гнулась под тяжестью, и я все более приближался к своей гибели. Негодяи ушли вслед за женщинами, видя, что я упал вниз, и так как при столь непредвиденных опасностях недостает совета, то я был совершенно беспомощным; свая все больше подавалась, а я приближался к колесу. Я повернул голову налево и увидел маленькое деревцо, росшее прямо из воды, и я подумал, что оно крепче сваи, но оно не обладало крепостью. Чтобы течение не унесло меня, я собрался с духом, оставил правую руку на свае, а левую протянул к деревцу и смог ухватиться за ветку. Разделив свою тяжесть между ними дву-

мя, — хотя я и не мог противостоять огромной ярости воды, так как ногами своими я почти достигал колеса, — я мог лучше удерживаться, но не имел возможности подняться наверх до тех пор, пока, вытягивая левую ногу, так как я был ближе к этой стороне, чем к правой, я не наткнулся в стенке на камень, на который мог очень хорошо опереться. Упираясь ногой и помогая себе силой рук, я улучшил свое положение, так что даже мог ухватиться за бревно, к которому был прикреплен шлюз водоотводного канала, и, держась за него левой рукой, правой я вынул кинжал, и, опустив руку под воду, я сдвинул кинжалом и приподнял дверцу шлюза настолько, что она наполовину открыла проход для воды, и, повторяя это, насколько я мог, всей правой рукой, я поднял дверцу шлюза так, что вся вода, с такой же самой яростью, с какой она стремилась на колесо, ринулась по своему естественному руслу, благодаря чему я мог воспользоваться своими ногами и подняться по всему каналу, придерживаясь за сваи, которые поддерживали мельничную плотину; и словно воскресши от смерти к жизни, без плаща, шпаги и шляпы, я шел, удивляясь, неужели это я находился в столь явной опасности; я бежал вниз мимо этих мельниц, словно вырвавшийся из тюрьмы, чтобы поскорее добраться туда, где я мог бы подкрепиться и переменить платье, чтобы эта сырость с одежды не проникла внутрь меня. Встречавшиеся мне заговаривали со мной по-баскски; вероятно, они спрашивали, не сошел ли я с ума, но я не отвечал ни слова, чтобы не подвергать себя простуде.

Когда я добрался до гостиницы, запястье правой руки было у меня от ушиба толще мускула. Я пробыл в постели восемь или десять дней, оправляясь от потрясения, вызванного во мне страхом уже охватившей меня смерти, ибо это была величайшая опасность из всех, испытанных мной, потому что она была вызвана тем, кто не умеет говорить, а может только делать и молчать. Я был удивлен, что между людьми, проявляющими столько доброты и скромности, могли вырасти такие великие негодяи, без жалости,

без справедливости и без разума. В то время, когда я лежал в постели, я обратил внимание на себя самого, говоря: «Сеньор Маркос де Обрегон, с каких это пор вы стали таким дерзким и храбрым? Что общего между учебными занятиями и отвагой? Очень хорошо вы соблюдаете правила жизни, каким научил вас ваш отец; разве вы не помните, что первым наставлением, какое он вам дал, было то, чтобы во всех человеческих поступках вы прежде исследовали то, что собираетесь предпринять; и во-вторых, когда вы что-либо предпринимаете, чтобы вы имели в виду, не может ли это обидеть другого; и в-третьих, чтобы вы сами с собой рассудили бы о конце, какой могут иметь хорошие или дурные начала? Очень хорошо вы воспользовались этими наставлениями; но как это хорошо, превратиться из студента в солдата — занятия, столь почетные, — а потом из солдата в мельника, и не в мельника, а в помол!» Как мало беспокойства доставило бы негодному мельничному колесу сделаться палачом и четвертовать меня! Я ощупывал свои ноги и руки, и так как находил их хотя и утомленными, но целыми и невредимыми, я воздавал тысячу благодарений святому ангелу-хранителю, ибо он по своей доброте является благоразумием людей, так как нашего благоразумия недостаточно, чтобы избавить нас от бедствий и несчастий, но его хватило бы, чтобы мы не подвергали себя им; однако эта божественная добродетель достигается так поздно и с такой опытностью в бедствиях и старости, что когда она приходит к людям, то кажется, что они уже больше не нуждаются в ней. А юность, естественно, так полна превратностей и перемен, что больше желает отдаться своему жребию и судьбе, чем подчиняться предусмотрительности. И я признаюсь, что малое количество благоразумия, каким я обладал, привело меня к тому, что я должен был жалким образом погибнуть там, где я стал бы пищей если не рыб, то водяных червей, — если бы не случилось так, что собаки с мельницы захотели бы устроить какое-нибудь пиршество, прежде чем это дошло бы до сведения хозяина. Я перенес мое несчастие как можно лучше, а мог я это очень плохо,

потому что у солдатни не водится много денег, хотя в нее превращаются люди, опытные в том, чтобы ценить мир, и храбрые, чтобы посвящать себя войне.

Глава XXII

Я ушел из Бискайи, воздавая ей тысячу благословений, насколько мог скорее, чтобы прибыть в Виторию, где нашел одного кабальеро, своего друга, по имени дон Фелипе де Лескано, и он приютил меня и ухаживал за мной, так что я мог оправиться от случившегося несчастья. И, чтобы не упускать случая повидать все, оттуда я отправился в Наварру, коннетаблем которой был тогда сын великого герцога Альбы, дон Фернандо де Толедо, но на этот раз с большей осторожностью, чтобы не попасть в какую-нибудь необдуманную историю; потому что в каждом королевстве, городе и селении есть различные обычаи, и тот, кто их не знает, должен считаться с местными условиями, живя хорошо и спокойно. И я всегда старался считаться с первым доказательством этого, какое дала мне неприятность на мельнице, если только я не забывал об этом, — ибо, будучи молодым, иногда спотыкался, главным образом, в таких делах, в которых можно поумнеть только с возрастом. Тем более необходимо выполнение обычая в таких делах, что эти обычаи с привычкой становятся легче, и если они не противны разуму, то не должно оставлять их, если только что-нибудь другое не заставляет сделать этого.

В конце концов я так вел себя в Наварре и Арагоне, что приобрел много друзей. И, по прибытии в Сарагосу, город и столицу древнего королевства Арагон, которая тогда не имела той доброй славы, какой заслуживала бы, я нашел столько и таких добрых друзей, что по любви, какую они обнаруживали ко мне, я казался скорее местным уроженцем, чем чужестранцем. Но я все время был очень осторожен и старался не заглядывать в окна, — потому что жители этого королевства ужасно ревнивы, — ни с кем не затевать

ссоры, не обращать внимания на малозначащие слова, ибо из этого возникает вражда и ненависть.

Мне оказал честь приглашением в свой дом на то время, что я там находился, один знатный вельможа, большой любитель музыки и всех проявлений ума и добродетели, окружая меня почетом и помогая в моей нужде. Поддержка, которую он мне оказал, была настолько значительна, что я стал развлекаться игрой больше, чем это было разумно, хотя до тех пор я этому не предавался, а этого оказалось достаточно, чтобы мне рассеяться и предаться этому пороку, что причинило мне еще больше беспокойства. Ибо я предался тому, чему предавались все, так как во дворце столь велика праздность и так мало поощряются литературные упражнения и занятия науками. Это порок против христианской любви, преисполненный необузданного гнева в том, кто выигрывает, и вынужденного смирения в том, кто проигрывает, — порок, так захватывающий того, кто ему предается, что не оставляет ему воли на что-либо другое. Один игру предпочитает чести, другой оставляет умирать с голоду жену и детей, — и это бедствия самые обычные, потому что есть еще много других, о которых нельзя и невыносимо говорить.

Один очень рассудительный идальго пускался на такие уловки ради игры и оказался настолько во власти этого обычая, — причем привычка уже превратилась в природу, — что даже когда его мать стала упрекать его и просить бросить игру, обещая отдать ему все свое состояние, которое было немалым, он ответил, что подобен человеку, пронзенному кинжалом и живущему, пока кинжал находится в ране, а если его вынуть, то он сейчас же умрет, — и что если его лишат игры, то он тоже должен будет умереть. Но так велико желание выигрывающего и так велико отчаянье проигрывающего, что ни первый не останавливается, пока не погибнет, ни другой не живет, пока не вознаградит себя. Один беспокоится из-за выигрыша, другой задыхается от надежды выиграть, и оба легко меняются положением; но обычно долго не удерживаются в одном положении, и

нельзя представить себе той адской ненависти, какую питает проигрывающий к выигрывающему, хотя он всячески скрывает ее, так что кажется, что в этом отношении у него не хватает познания основной причины, происходящей оттого, что он не может отомстить своему врагу. Тот, кто захотел бы посеять раздор между двумя большими друзьями, пусть заставит их играть друг против друга, ибо дьяволу не нужно больших усилий, чтобы сделать их большими врагами; такова сила ненависти, возникающей в игре: сколько из-за игры происходит гнусных убийств, совершенных с насилием и предательством, сколько краж и обманов! Я не хочу опять представлять себе то, что я видел происходящим во время игры и из-за игры; я хочу только сказать, что она обладает такой властью, что человек, стремящийся сосредоточиться, или чтобы писать, или чтобы читать, или ради других добродетельных занятий, если он один раз сядет за игру и проиграет, то он будет нуждаться в помощи неба, чтобы опять связать нить там, где он ее оборвал.

Я отвлекся этим рассуждением и сообщил его друзьям, которые предавались этому постыдному занятию; с одним из этих друзей у меня произошел случай, очень постыдный для меня и смешной для других. Однажды ночью он попросил меня сопровождать его, так как ему нужно было поговорить с одним лицом, и он хотел взять меня для своей безопасности. Я оделся по-ночному, со шпагой и маленьким щитом, надел полотняные штаны, или шаровары, короткий плащ с двойным подолом и другие вещи, чтобы изменить свой обычный вид, и таким образом мы отправились туда, куда он меня вел, к дому, у двери которого была скамья. Часы пробили одиннадцать, потом двенадцать, — это был назначенный час, — и он сказал мне, чтобы я дожидался его, сидя на этой скамье, так как он сейчас же выйдет. Я уселся поудобнее и, бормоча сквозь зубы, начал всячески разгонять сон, так как час его уже наступил. Следующий день был днем большого праздника апостолов; я слышал, как пробило два, потом три, а приятель мой не мог выйти, так как для этого была помеха; я падал от сна; я принялся

прогуливаться и молиться, понимая, что я прибегал к этому, чтобы не заснуть, тогда как это усыпляет больше всего на свете. Я опять сел, потому что устал от такой долгой прогулки, и, так как я давно уже переварил ужин, то, как я ни тер глаза слюной, я не мог совладать с собой до такой степени, что не знаю, как и каким образом, против желания, я заснул на скамье, где сидел, и спал, пока не зазвонили на следующий день к большой обедне и пока под звон праздничных колоколов и шум большого количества народа какие-то дамы, проходя мимо, не сказали: «Как здорово храпит эта свинья!» — и не велели эскудеро разбудить меня. Я проснулся и, подняв глаза с хорошим зевком, увидел солнце на середине улицы, и, услышав музыку колоколов, я закрылся плащом и пустился бежать не к своей гостинице, а на маленькую площадь Медичи, причем меня преследовало больше трех сотен собак. Заворачивая за какой-то угол, я столкнулся со слепым, несшим за пазухой дюжину яиц, и в тот же момент, как я столкнулся с ним, он поднял посох и ударил меня по левому плечу; а так как с него текли желтки яичницы, то говорили, что я разбил желчь у него во внутренностях. Хотя в своем бегстве я был уже поблизости от дома, где собирался укрыться, но благодаря поспешности, с какой я бежал и какую мне придавали собаки, я споткнулся и растянулся у дверей сеньоры столь благородного происхождения, что, когда я послал ей в подарок двух куропаток, она бросила их в нужник, потому что они были нашпигованы свиным салом.

Кажется, что этими мелочами умаляется цель, заключающаяся в этом рассуждении; но если рассмотреть внимательно, то именно для этой цели все это имеет большое значение, ибо здесь описываются не подвиги вельмож и храбрых генералов, а только жизнь бедного эскудеро, который должен был пройти через такие приключения и другие, подобные им, — а также чтобы порицать за столь большую оплошность, как совершенная этим другом и мной. Я считаю ошибкой брать с собой ночного спутника, когда кто-нибудь идет с определенным намерением: потому что

если он идет туда, где нет опасности, то не следует иметь свидетеля своих проказ; а если он идет, предполагая какую-нибудь опасность, ясно, что не следует желать позорить дом и в случае необходимости следует удалиться, — а чтобы легче было бежать, лучше идти одному, чем в сопровождении, потому что, в конце концов, не имеешь при себе никого, кто сказал бы, что ты бежал. И хотя самое мудрое и безопасное — не делать этого, но если это делается, то пусть это будет в одиночестве, без спутников: ибо дружба между людьми может кончиться, и тогда немедленно разоблачаются тайны. Вот любезность, которую я оказал, дожидаясь его и охраняя его персону, — кто скажет, что это не было глупостью?! Прошло два часа, приближался день, какая же была мне необходимость подвергать себя мучению, лишая себя сна? Разве какую-нибудь королевскую крепость мне было приказано охранять, а не пропащего человека, чтобы мне подвергаться опасности, кроме того позора, какой я испытал?

Если нужно подвергать человека таким большим опасностям, то это должно быть в том случае, если известна явная опасность для жизни или чести со стороны какого-нибудь лица, или повинуясь приказанию какого-нибудь знатного вельможи или правительства. Но что я подвергаюсь превратностям судьбы ради того, кто наслаждается, не больше заботясь о моем теле, чем о своей душе, — это я считаю излишней любезностью. Что потерял бы я в отношении моей чести или выгоды, если бы отправился вкусить покой и отдых, которых природа требует для своего сохранения? Если бы я чувствовал себя виноватым в том, что покинул его, я спросил бы его: разве я покинул его в какой-нибудь подземной тюрьме, откуда мог бы вытащить его своей рукой, или разве он оставил меня отдыхающим на моем ложе, или разве он оставался среди врагов веры, если он оставался среди не желавших блюсти ее? Говорят, как я всегда слышал, что тот, кто был спутником в несчастьях, должен быть также спутником и в наслаждениях; но здесь — удел бедствия был для меня, а удел наслаждения для него.

В заключение, я считаю заблуждением брать с собой товарища в подобных предприятиях, и еще гораздо большим — кого-либо сопровождать в них; ибо если кто-нибудь зовет товарища по малодушию, он играет жизнью того, кто его сопровождает, потому что при первом же случае сам он бежит, а того оставляет в руках врагов, которых тот не имел и не боялся. И пусть каждый обратит внимание, если с ним это случится, что он является соучастником вреда, какой наносит другой, кого-нибудь оскорбляя.

Я привел себя в порядок, переодевшись и поспав — хотя уже спал достаточно для порядочного человека — в том самом доме, куда прибежал и где я нашел одного из его обитателей преисполненным такой печали, что, хотя он видел, как я растянулся на земле, причем шпага отлетела в одну сторону, а плащ в другую, он не нашел этого случая смешным, как другие, видевшие мое падение, — ибо падение является причиной большой досады для того, с кем оно случается, и большого смеха для того, кто его видит. Несмотря на все это, добрый человек подошел, когда я лежал во всю свою длину в доме этой доброй женщины, любительницы свиного сала, и так как ему показалось, что я был огорчен, то он пришел как бы утешиться со мной, говоря, что все люди на свете испытывают бедствия и что он так же погружен в них, как и все живущие на свете. Я спросил его, в чем заключались несчастья, сделавшие его таким грустным, — потому что я всегда был сострадательным; а он ответил мне одним только словом:

— Ревность.

— Это несчастье у вас? — сказал я ему. — Я не хочу вас спрашивать, достоверно ли это или это только подозрение; но я хочу сказать вашей милости, что это болезнь неопытных юношей, потому что, будь они опытнее, они знали бы, что все ревнуют друг друга. И если бы они обратили внимание на то, что другой, к которому я ревную, ходит пожираемый ревностью ко мне, то я утешился бы его несчастьем и видя его страдающим и истощенным постоянной тревогой. Разве я могу найти какое-нибудь большее утеше-

ние, чем видеть моих недругов страдающими и смеяться над ними? Ибо думать, что женщина, развлекающаяся такими отношениями, должна удовольствоваться тем, что дает ей один, это все равно что думать, будто шулер должен удовлетвориться одним только выигрышем, который делает кого-то несчастным. Ревность вселяет дьявола в тело того, кто одержим ею, и кажется, будто такой человек носит его с собой, потому что ревность не причиняет вреда никому, кроме того, в ком она пребывает, и чем больше ее скрывают, тем сильнее она становится. Она держится на столь низменном основании, что, убедившись в истине, или умирают, или находится повод постепенно отделаться от нее, удаляясь от того, что ее вызывает. Я уверен, что есть много ревнивцев и они не знают, что находятся в одинаковом положении, и поверьте, что так обычно бывает. Если ревнуют собственную жену, то этим наносится ей оскорбление, ибо самая низкая женщина на свете больше уважает тень своего мужа, чем всех остальных мужчин.

Один вельможа в этом городе очень хорошо сказал, что такое ревность, и следует не вспоминать о столь неприятных вещах, а утешаться тем, о чем я сказал, а именно — видя, что из-за меня страдают так же, как я страдаю из-за других: ибо женщины пришли в столь несчастное состояние, что самую природу свою лишили той приятности, какой она их наделила. Они пользуются этим только для того, чтобы присваивать и похищать имущество, притворяясь любящими тех, с кого им хочется содрать шкуру, чтобы только сравняться в нарядах с теми, которые по своему происхождению, унаследованному от предков, родились благородными и почтенными, богатыми и знатными, — ибо им кажется, что не должно быть на земле различия и неравенства между женщинами и женщинами, как на небе есть различие между ангелами и ангелами. Я смешал здесь один вопрос с другим, потому что от этого порока проистекает общение с многими, из-за чего все ревнуют; и так как каждая имеет свою дюжину ангелов-хранителей, то они считаются ходячей и законной монетой.

Я простился с добрым человеком, несколько утешив его, и пошел в свою гостиницу, а через несколько дней отправился в Вальядолид, осмотрев предварительно Бургос и всю Риоху, область плодородную, с превосходным климатом, похожую немного на Андалусию.

Глава XXIII

В Вальядолиде я служил графу Лемос, дону Педро де Кастро, кабальеро, обладавшему большим влиянием, с превосходным воспитанием и свойственной только ему добротой, помимо унаследованной, так как он происходил, по меньшей мере, от крови судей Кастилии — Нуньо Расура и Лайн Кальво, соединенной с кровью португальских королей. Я снискал его расположение, делая для этого очень мало, потому что граф обладал характером таким великодушным, мягким и кротким, что без всякого старания был расположен ко всякому, кто любил его. Тем не менее сначала я не чувствовал себя очень хорошо, ибо мне недоставало того, что необходимо для службы во дворце, — то есть любезно польстить, воспользоваться обманом, передать вежливо и ловко низкую сплетню, притворяться в дружбе, скрывать ненависть; потому что плохо уживаются такие вещи в сердцах открытых и свободных. Я оставляю в стороне суровость и величие придворных, обладающих более напускной неприветливой важностью, а сами они таковы же, как и их слова.

Однако я заметил, что самое важное для слуги — это всегда в присутствии сеньора иметь веселое лицо и что в том, что ему приказывают, и даже не приказывают, надлежит быть старательным и услужливым и каждому точно исполнять свою обязанность. Что касается первого, а именно веселого лица, то плохо может это сделать меланхолик; но против этого есть средство, а именно — не показываться перед сеньором, иначе как когда у слуги хорошее настроение: ибо веселость слуг, помимо выполнения ими своих

обязанностей, помогает сеньору жить, и если ее не выказывают, он думает, что слуга недоволен своей службой и благодаря этому он у него пробудет недолго. Хотя этот вельможа выказывал настолько хорошее отношение к своим слугам, что сам заставлял их быть очень довольными и служить ему с очень приятным видом, потому что, делая все, что он мог и обязан был делать, он уважал их, где бы они ни находились. И всегда в этом древнейшем доме обладали и обладают таким величием души и любезностью, что проявилось и проявляется теперь в доне Педро де Кастро, обнаружившем с самого раннего детства такое превосходство ума и дарования, соединенных с прирожденными добродетелями, что, когда он был возведен своим королем в самые высокие звания и должности, какими располагает испанская монархия, он пожал чудесные плоды своей репутации, ибо он был в большой милости у своего короля, его очень любили все его подчиненные и его превозносили иностранные нации.

Когда я находился в этом доме в Вальядолиде, появилась большая комета, за много лет предсказанная великими астрологами и угрожавшая главе Португалии. Столько было рассуждений о ней, и некоторые до того неподходящие, что заставляли досыта смеяться; между ними было одно, гласившее, что все большое должно уменьшиться, а малое должно увеличиться. Это мнение дошло до одного маленького человечка, ибо это также касалось и его, так как он был очень недоволен своим малым ростом, потому что, даже нося башмаки на пяти или шести пробках, он все же не мог блистать среди людей. Он был всегда изящным и нарядным, влюбленным и разговорчивым, и даже болтуном не без напыщенности. Во время разговоров он старался не о том, чтобы его суждения могли сравняться с суждениями других, а чтобы его плечи находились на уровне плеч окружавших, а так как это было невозможно, то он, думая, что в этом виноваты поддерживавшие платье шнурки с металлическими наконечниками, поворачивался то одним, то другим боком, так что они все трещали. И вот, когда до него дошло, что комета истолковывается как знамение, что все малое должно увеличиваться, ему втемяшилось, что это говорилось о нем. Ибо мы легко поддаемся и верим в то, чего нам хочется, хотя бы это был такой вздор, как этот. Ему сказали, что я был колдуном и что если я захочу, то могу сделать так, что он вырастет на два-три пальца или больше; но это должно держаться в очень большой тайне, чтобы не узналось, что я обладал таким дьявольским искусством. Когда я проходил по площади, исполняя свои обязанности эскудеро, вместе с другими дворянами — слугами дома, ему указали на меня пальцем, чтобы он мог узнать меня. Те, что вскружили ему голову, не предупредили меня, и он пришел ко мне с хорошо обдуманной речью, предлагая мне дружбу и свое состояние и покровительство на всю жизнь, и в конце концов сказал:

— Ведь ваша милость видит, какую обиду нанесла природа человеку с моими дарованиями, дав таким высоким мыслям такое маленькое тело; я знаю, что, если только ваша милость захочет, она может устранить этот недостаток, чем сделает меня своим рабом на веки вечные.

— Это, — сказал я, — только один Бог может сделать, ибо это выше природы, а если ваша милость хочет вырасти в ногах, то подложите еще пробок, больше, чем вы носите; что же касается верхней части, от груди, то она удлинится на три-четыре пальца, если вы повеситесь.

— О, сеньор, — сказал он, — я пришел, уже предупрежденный, что ваша милость будет мне отказывать в этом благе; ради любви ко мне, согласитесь сделать это, а что касается остального, то режьте где хотите.

Я увидел, что он настолько неизлечим в своем безрассудстве, что я должен был указать ему на творения природы, сказав:

— Сеньор, вы стремитесь к невозможному, ибо это не только невыполнимо, но вас сочтут сумасшедшим все, кто не узнает, что вы впали в это заблуждение. Творения природы настолько совершенны, что не допускают исправлений; она ничего не делает напрасно, все основано на разумно-

сти; в ее созданиях нет ни излишества, ни недостатка в необходимом; природа подобна судье, который, после того как он произнес приговор, не может ни изменить его, ни переменить и не является уже больше господином в этом деле, если только не апеллируют к другому, высшему.

Природа, создав свои творения с теми качествами, какие она придала им, уже не является госпожой созданного ею творения, если только Бог как сила высшая не захочет изменить их; если она делает большое, большим это и должно оставаться; если малое, – должно оставаться малым; если создает уродом, так и должно оставаться без изменения. И не из-за чего никому понапрасну утомлять себя, помышляя о невозможном.

На это он возразил, говоря:

– Разве не гораздо труднее сделаться человеку невидимым, – а есть, кто это делает?

– Нет, – сказал я, – это чрезвычайно легко, так как человек делается невидимым, встав за стеной или скрывшись в облаке. А вы сделаете себя невидимым, стоит вам только держать перед собой москита.

– Хорошее утешение, – сказал он, – нашел я в том, кого я считал обладающим всем, чего я желал всю свою жизнь.

– Какое утешение может найти, – сказал я, – тот, кто хочет идти против созданного самой природой, между тем как она выполняет волю первого двигателя и Творца всех вещей? Ибо, хотя Он создал всех людей одинаковыми, это было не во внешнем проявлении, а в разуме души. Именно душа делает человека выше всех других животных, а не то, что он велик или мал ростом. Если бы природа создала вас с несоответствующими членами, как, например, давши вам эти ноги шавки, она дала бы руки великана, или на этом личике мандрагоры она поместила бы вам нос паяца, – вы могли бы сетовать на это, но не могли бы этого исправить. И, наконец, если вы малы ростом, вы так хорошо сложены и члены вашего тела так соответственны, что у вас уши больше, чем стопа ноги, и зачем тому, у кого пройдена уже половина пути к одной из самых важных добродетелей, ка-

кие сияют в людях, зачем ему искать кого-то, кто заставил бы его вырасти?

– Какой добродетели? – спросил он.

– Смирения, – ответил я, – ибо вы на полпути к достижению такой божественной добродетели благодаря своему телу, так как кажется, будто вы всегда стоите на коленях, и, смирив душу, вы достигнете всей добродетели полностью. Если бы вы родились во времена язычников, когда были в ходу превращения, то природа, разгневанная на вас за ваше недовольство ею и за гордость, превратила бы вас в головастика, чтобы смирить гордость души и сократить величину тела.

На все, что я сказал ему, он молчал, и наконец сказал:

– Я придерживаюсь мнения о знамении кометы, гласящего, что маленькие должны вырасти, а большие – уменьшиться; но так как ваша милость уже повеселилась, насмехаясь надо мной, то вы обязаны привести меня в такое состояние, чтобы надо мной не насмехались другие, ибо кто умеет говорить, тот должен уметь и делать. Что же касается того, чтобы быть смиренным, оставьте это для себя, так как мне есть из-за чего высоко ценить себя, ибо я идальго со стороны моей бабушки, которая, раньше чем выйти замуж за моего деда, была замужем за очень почтенным идальго, и у нее теперь хранится – и очень надежно – его дворянская грамота.

– Таким образом, – сказал я, – значит, из-за этого у вас тщеславие и нежелание быть смиренным? Вы, очевидно, подобны тем, которые блистают и наслаждаются благодаря чужому богатству. Теперь я говорю, что не удивляюсь вашей гордыне, тогда как вы имеете много оснований быть скромным и предаваться смирению, добродетели, которая никогда не имела соперников или завистников; ибо все достоинства, какие украшают человека, подвержены этой злой участи, кроме смирения и бедности, столь ненавистных людям и столь любезных Творцу жизни. Но если смирение рождается из познания самого себя, а этого в вас нет, – то как же вам быть смиренным?

— Я пришел, — сказал он мне, — не выслушивать о добродетелях, а испробовать колдовство или сверхъестественные вещи, чтобы осуществить мое желание.

Этот человек ушел, и сейчас же пришли ко мне четверо друзей, очень веселых и обладавших немалым лукавством, спрашивая, не обращался ли к моей помощи человек с такой просьбой. Я ответил им, что обращался и что я разубеждал его в этом вздоре и в столь великом заблуждении.

— Ради вашей жизни, не делайте этого, — сказали они, — ведь мы устраиваем над ним шутку, потому что он столь большой глупец, что дает себя убедить в том, что он может вырасти, и мы вытянем из него очень хорошее угощение и посмеемся немного на его счет.

— Ни за что на свете, — ответил я, — не сделаю я этого, потому что шутки, которые могут иметь последствием всеобщий скандал и повредить отдельным лицам, не являются ни в каком случае ни приличными, ни позволительными.

— Так знайте же, — сказали они, — что он — это сама скупость и жадность, и мы взялись за это дело, чтобы заставить его потратиться, из-за чего он будет скорбеть всей душой.

— Если у него такой характер, — сказал я, — то его не отучите от этого, хотя бы вы заставили его сравняться высотой с Хиральдой, ибо скупцы и пьяницы никогда не бывают вполне удовлетворены тем, чего они желают, и не утоляют неприятной жажды, какая их мучает. Я помню, как некие хитрецы, чтобы заставить одного человека раскошелиться, разместились в разных местах, и каждый из них говорил ему, что тот болен, — так что когда он пришел к последнему, то он уже был болен в самом деле, вследствие влияния, какое оказало на него его воображение, и его нужно было отнести к нему домой полумертвым; и из желания так грубо подшутить над ним родилось позднее раскаяние для всех них и серьезный вред для потерпевшего. А в данном случае это было бы еще больше, так как дело еще более невозможное; ибо, чтобы убедить в том, что настолько противно самой природе, нужно пуститься на большие обманы, кото-

рые не могут пройти без большого вреда для бедной жертвы, которая, как мышонок, не видит своего тела и не сознает своего невежества.

Все же они упорно настаивали на том, чтобы мы устроили обман, который имел бы вид колдовства.

— Если бы это случилось, — спросил я, — то кто окажется более пристыженным, он, поддавшись этому обману — после того как истина откроется, — или я, бывши автором этого обмана? Во всех случаях следует иметь в виду конец, какой они могут иметь, а эта выдумка и обман не могут долго оставаться в тайне; и что касается меня, то я считаю лучшим и более спокойным положение обманутого, чем уверенность обманщика; потому что в конечном счете первое доказывает простоту и добродушие, а другое — ложь и глубокую низость. Я не могу выносить ни лжи, ни обмана, потому что это бросает позорную тень на репутацию того, кого считают порядочным человеком. Шутки должны быть легкими, и без вреда для третьего лица, и таковы, чтобы далее тому, против кого они направлены, они нравились. Мы не знаем в этом отношении характера каждого, так что шутка, пригодная для одного, для другого будет очень тяжела. Шутки должно оценивать как дурные или худшие не со стороны того, кто их делает, а со стороны того, против кого они направлены; и если он принимает их хорошо, то они будут терпимы, а если он принимает их с досадой, то они будут весьма обидны. Над одним послушником издевались из-за сказанной им глупости, и когда он больше не мог уже терпеть, он сказал, что он хотел бы, чтобы совершил смертный грех тот, кто больше всех смеялся над ним.

Ведь мы видим каждый день, что обидные шутки вызывают оскорбления, о которых и не думали. Этот скряга не обладает такой способностью, чтобы вынести шутку столь обидную, как эта, которая неизбежно должна быть такой. Я не собираюсь вмешиваться в это, потому что я поступал бы против своего собственного мнения, ибо это несправедливый и дурной поступок; я не буду удивлен, что он даст себя обмануть тем, чего он желает, но меня удивил бы тот, кто

захотел бы обманывать его, не ожидая от этого большего удовольствия, чем совершить дурной поступок.

Они ушли и наконец сыграли с ним очень обидную шутку, выдав меня за ее автора. Они заставили его строго поститься три дня, питаясь только четырьмя унциями хлеба, двумя унциями изюма и миндаля и двумя глотками воды, а перед этим сняли мерку с его тела на очень белой стене, отметив его высоту вбитым маленьким гвоздиком или штифтиком. Он выполнял свою диету, а его сестры растирали ему по совету злых шутников руки и ноги каждый день утром и вечером; уставши, бедняжки спрашивали его:

— Брат, для чего это делается? — а он отвечал им:

— Дуры, не вмешивайтесь в мужские дела.

Все эти три дня воздержания и растираний он на рассвете поднимался на плоскую крышу и становился, обратясь в сторону восходящего солнца, делая известные жесты, какие они ему предписали, против туманов Вальядолида; это он проделывал весьма точно, как и все остальное. Когда истекли три дня, а мозги его наполнились туманом, он пришел к этим плутам с таким лицом, словно это была голова мандрагоры, и потому, что он был таким истощенным и худым, — он казался выше. Один из них пошел к белой стене, где его измеряли, и, переставив гвоздик на два пальца ниже, заткнул дырочку кусочком белого воска, который был только что сделан на свечной фабрике, белым и очень ровным. Послали его смериться, и так как он ударился затылком о гвоздик, он был вне себя от радости, считая, что он вырос настолько, насколько ниже был вбит гвоздь.

Он пришел, смеясь во весь рот, так что был похож на ободранную обезьяну, и бросился к ногам того, кто заставил его вырасти. Они сказали ему, чтобы он замолчал, потому что в противном случае прирост пропадет и что самое трудное ему еще предстоит сделать. Он сказал, что он готов сделать все, чтобы не уменьшиться в росте, хотя бы для этого нужно было спуститься в ад.

— Да не меньше того, — сказали они и велели ему в ту же ночь между одиннадцатью и двенадцатью часами прийти в

одно помещение в очень узком переулочке, проходившем под мрачными и темными домами, одному и без света, и там ему скажут, что ему надлежит делать. Он совсем смутился из-за предстоящей ему трудности, но наконец сказал, перепуганный до последней возможности:

— Я это сделаю, я это сделаю.

Ночью, когда он вошел в этот проход, у него волосы встали дыбом, отнялись руки и ноги, ибо не слышно было ни собаки, ни кошки, которые могли бы составить ему компанию, а когда он вошел в комнату, из-под кровати с четырех углов вылезли четыре маски дьяволов, каждая с маленькой свечкой во рту, так что благодаря испытанному им страху ему представилось, что перед ним ад; потому что все очень легковерные люди в то же время и пугливы; и когда демоны, поднявшись, скрылись, он остался на месте и, потеряв сознание и не будучи в состоянии двинуться с места, упал на пол, причинив ему столь великую порчу, что казалось, будто он и не постился, ибо потрясение извергнуло все, что удерживали миндаль и изюм. Он упал, а они, смущенные и даже раскаивающиеся, не знали, что делать, кроме как оставить его и скрыться. Через некоторое время он очнулся и нашел себя плавающим, но не в крови своей — отчего ему стало очень стыдно, — и настолько больным, что он в самом деле должен был прибегнуть к изюму и миндалю, чтобы не умереть, а они скрылись и не показывались на глаза.

Я обеспечил себе безопасность, рассказав об этом происшествии графу, который, по своему веселому нраву, очень восхвалял эту проделку и взял на себя примирение, рассказывая об этом случае всем, кто приходил в его дом. Дело заглохло благодаря влиянию такого знатного вельможи, хотя шутники долго пребывали в беспокойстве, потому что маленький человечек жаловался всем, а в особенности тем, кто мог бы наказать за такую шутку.

Когда представился удобный случай, я собрал их и с несомненностью объяснил им, как важно не делать дурного как в шутку, так и всерьез; ибо из-за того, что подшутили над

его безобразным видом и фигурой, он прибегнул к такому серьезному средству; ведь никто не хочет слышать о своих недостатках и, как бы вы ни заставляли себя терпеть и притворяться смеющимся, не найдется такого человека, которого не угнетало бы, когда о нем дурно отзываются; и это тем сильнее, чем больше похоже на правду то, что о нем говорят; ибо даже когда это неправда и не похоже на правду, это обжигает сердце того, кому говорят, все равно, будет ли это чтобы оскорбить или просто по злословию. А этот вельможа был таким врагом злословия, что, когда ему сообщали какую-нибудь дворцовую новость, он призывал того, о ком что-нибудь говорилось, и упрекал его в этом в присутствии сплетника; если тот презрительно пожимал плечами, отрицая это, граф говорил:

— Вот вы видите здесь такого-то, который мне сказал об этом.

Поэтому все были сдержанны на язык и в хороших отношениях с графом.

Глава XXIV

Так как у меня не будет другого случая рассказать об этом, я расскажу здесь, что этот вельможа был таким врагом сплетен и злостной болтовни, что когда в моем присутствии пришел некий льстец, чтобы сказать ему, будто бы один идальго в Вальядолиде дурно отзывался о его персоне, — и так как он старался преувеличить эту дерзость, — то граф спросил его:

— А вы как поступили при этом?

— Я, — сказал этот человек, — я немедленно пришел уведомить ваше сиятельство, чтобы вы тотчас же послали наказать его, как заслуживают оскорбления, нанесенные столь великому сеньору.

— Вы правы, — сказал граф. — Эй, дайте этому дворянину чек в виде полдюжины очень хороших палочных ударов.

— А за что же мне? — сказал добрый человек.

— Это не для вас, — ответил граф, — а чтобы вы передали их тому, кто дурно сказал обо мне, потому что, как вы сообщили мне о том, чего я не знал, так и ему передадите то, чего он не знает, — и сказал пажу: — Бермудес, беги и скажи такому-то, что, когда он будет дурно говорить обо мне, чтобы он не делал этого при таких низких людях, которые сейчас же приходят рассказать мне об этом, и что для его наказания достаточно ему знать, что я об этом знаю.

Оба были по заслугам очень хорошо вознаграждены, ибо, хотя чек и не был дан, бедняга был перепуган такой милостью.

Отшельник, однако, начал дремать и очень часто зевать, как человек, очень неохотно находящийся в приемной монахинь, ибо после обеда я все время говорил под звуки дождевых потоков, которые — хотя и немногочисленные — так сочетали свою мелодию с шумом и натиском ветра, что стало очевидно, что эта музыка на всю ночь. Мы поужинали тем, что было у доброго человека, и это, как бы мало ни было, помогло отдохнуть и предоставить достаточный простор сну не только для того, чтобы переварить пищу, но и чтобы увидеть во сне всякий вздор, соответствующий ужину и ненастной погоде; ибо на самом деле — хотя еще находятся некоторые любители предсказаний, до потери сознания отыскивающие толкования сновидений, — возникают сновидения, в большинстве случаев, в соответствии с погодой и пищей и подчиняясь преобладающим в организме сокам. Великое невежество браться за истолкование того, что происходит от соков горячих или холодных, влажных или сухих; а если что-нибудь случилось бы так, что в сновидениях была бы правда, то это будет или случайность, или наваждение ангелов добрых или злых. И незачем нам забавляться, доказывая истину этого, ибо мы знаем ее так ясно и очевидно.

Второй рассказ о жизни Эскудеро Маркоса де Обрегон

Хотя на рассвете следующего дня улеглась ярость дождя, всю ночь бившего в хижину отшельника или часовню, но вода в таком изобилии наполнила реку, что залит был мост и нельзя было пройти ни с одной, ни с другой стороны, — и не проходили, пока не спала на следующий день вода. Я хотел уйти, так как мне казалось, что отшельник уже досыта наслушался рассказов о моей жизни, а так как я по природе своей не склонен ни говорить много, ни слушать, когда много говорят другие, то мне показалось, что слишком продолжительный сон отшельника был порожден раздражением на то, что пришлось выслушивать меня. Так как болтуны — народ, не помнящий о том, что прилично, — столь ненавистны мне, я не хотел впасть в грех, который сам порицаю, ибо те, кто обладает этим недостатком — хотя бы вследствие излишка ничего не значащих слов, — обыкновенно бывают интриганами, льстецами, сплетниками, лгунами, которые из желания только говорить не замечают ложного или правдивого, не умеют отличать ложь от правды и таким же образом отрицают то, что утверждают; они любители разыскивать сплетню и передавать и распространять свое мнение, соединяя одну ошибку с сотней других, — и наименьший вред, какой они причиняют, это то, что они великие льстецы. Они не останавливаются и не отдыхают на чем-либо благодаря свойственной им легкости, не боятся впасть в ошибку или заслужить дурную репутацию, ибо в самом деле я видел, что этот порок влечет за собой другие, гораздо худшие.

Избегая заслужить репутацию болтуна, я хотел проститься с отшельником, несмотря на то что погода еще не позволяла этого, но он настоял, чтобы я не оставлял его одного вследствие великой печали, какую вызвал в нем приснившийся в эту ночь сон, ибо он говорил с полным убеждением, что, в то время как он скорее бодрствовал, чем спал, с ним разговаривал один умерший, при смерти которого он присутствовал в Италии. Я засмеялся и по возможности постарался рассеять в нем это заблуждение. Он спросил меня, почему я смеялся.

— Я смеялся потому, — ответил я, — что впечатление от сновидений бывает у некоторых лиц настолько сильным, что им кажется истиной то, что им снится, — обстоятельство, так осуждаемое самим Богом во многих местах Ветхого Завета, а также и в Новом, ибо это только воображение мозга, а теперь печаль, вызванная ненастной погодой вместе с недостаточной и нехорошей пищей, вероятно, обусловила этот результат и другие, еще более смешные.

— Я говорю вам, — ответил отшельник, — что еще сейчас мне кажется, будто я вижу его перед собой.

Я засмеялся еще пуще прежнего; он возразил мне:

— Так, значит, умершие не приходят разговаривать с живыми?

— Конечно нет, — ответил я, — кроме как если по случаю какого-нибудь очень важного дела Бог дает им позволение на это, как, например, в том столь поразительном и достойном знания случае, какой произошел с маркизом де лас Навас, говорившим с умершим, которого он лишил жизни; но тот явился вследствие обстоятельств, имевших большое значение для мира и упокоения его души. Это такой случай, что все другие, какие мы находим в старинных книгах, не обладают такой достоверной истинностью, как этот, — за исключением тех, о которых упоминает божественное Писание, — потому что он произошел в наши дни и с таким знатным кабальеро и таким другом истины, в присутствии свидетелей, из которых некоторые еще живы и теперь, —

так что ни ему, ни им ничего не стоит подтвердить это, хотя это и без того правда.

— Какой это маркиз? — спросил отшельник.

— Тот, который жив сейчас, — ответил я, — дон Педро Да́вила.

— Если вашей милости не будет утомительно, — сказал добрый человек, — да даже если и утомительно, расскажите, как это произошло, ибо это такой поразительный случай и произошел он в наши дни, поэтому хорошо, чтобы все о нем знали.

— Он очень широко известен, — сказал я, — но, чтобы он не был погребен в могиле вместе с умершим, следует рассказать о нем и сделать особенно памятным этот случай, имеющий такую видимость истинного; и я не был бы убежден в его достоверности, если бы не слышал об этом из уст такого благородного кабальеро, как сам маркиз, и его брата, сеньора дона Энрике де Гусман, маркиза де Повар, камергера могущественнейшего короля Испании дона Филиппа Третьего, во дворец которого никогда не проникали ни лесть, ни ложь. Случай этот произошел следующим образом.

Когда маркиз, по приказанию своего короля, находился в заключении в Сан-Мартин, в мадридском монастыре ордена Сан-Бенито, его посещали там друзья его, знатные кабальеро, которые часто или всегда оставались с ним на ночь, в особенности его брат сеньор дон Энрике, маркиз де Повар, и сеньор дон Филипп де Ко́рдова, сын сеньора дона Диего де Кордова, старшего конюшего Филиппа Второго; и в одну из ночей у маркиза и дона Филиппа явилось желание пойти на прогулку. Они отправились в квартал Лавапьес, и, поговорив под окном, маркиз сказал:

— Подождите меня здесь, я зайду в этот переулочек по естественной надобности.

Там он на двух углах встретил двух мужчин, которые не давали ему пройти. Маркиз сказал:

— Пусть же ваши милости знают, что я иду по такой-то надобности, — и собрался пройти против их воли. Один из них нанес ему удар шпагой, а маркиз ударил его самого; каждый из них подумал, что противник убит. Таким же стремительным движением, каким маркиз вытащил из него вошедшую в грудь по эфес шпагу, он нанес удар другому, которому раскроил голову. Оба остались на месте, ибо не могли двигаться; пронзенный шпагой был мертв, хотя и стоял на ногах, а раненый был без чувств. Маркиз ушел и позвал дона Филиппа, и они пошли в Сан-Мартин. Когда они были уже там, ему показалось, что было бы ошибкой спать, не выяснивши хорошенько, что произошло; он рассказал об этом, и они оба решили пойти. Маркиз пошел с ними, так как не хотел, чтобы они шли без него, и они нашли квартал в смятении, — говорили, что там убили двух мужчин. Они вернулись, не найдя на месте происшествия ничего, кроме двух окровавленных платков.

Получивший рану отправился в Толедо и оттуда прислал узнать, не умер ли маркиз, так как он узнал его, когда тот наносил ему удар шпагой; несмотря на самое заботливое лечение, он все же умер от раны; но раньше он составил завещание, и так как он узнал, что маркиз остался невредим — потому что удар шпагой только задел его, — то он назначил его своим душеприказчиком. Маркиз узнал об этом из рассказа монаха, пришедшего сообщить, кто был человек, назначивший его своим душеприказчиком.

Через пять или шесть дней после смерти этого человека, когда маркиз лежал в своей постели, а его брат дон Энрике и дон Филипп де Ко́рдова в той же комнате на другой постели и дверь была заперта на ночь, кто-то подошел к нему и сорвал одеяло с самой постели. Маркиз сказал:

— Перестаньте, дон Энрике, — а подошедший ответил хриплым и ужасным голосом:

— Это не дон Энрике.

Рассерженный маркиз поспешно вскочил и, обнажив лежавшую у изголовья шпагу, нанес ею столько ударов, что дон Филипп спросил:

— Что это?

— Это мой брат маркиз, — ответил дон Энрике, — он дерется на шпагах с мертвецом.

Он нанес столько ударов, сколько мог, пока не выбился из сил, но удары ни во что не попадали, только некоторые пришлись в стены.

Он открыл дверь, и за дверью опять увидел его, и с такой же быстротой пошел, нанося удары шпагой, пока не достиг угла, где было совсем темно, и тогда призрак сказал:

– Довольно, сеньор маркиз, довольно; идите со мной, ибо я должен вам нечто сказать.

Маркиз последовал за ним, а за маркизом оба кабальеро, – его брат и дон Филипп. Призрак повел его вниз, и когда маркиз спросил его, чего он хочет, тот ответил, чтобы маркиз приказал оставить их одних, так как он не может говорить при свидетелях. Этот, хотя и неохотно, сказал своим спутникам, чтобы они отстали, но они не захотели. Наконец призрак вошел в подземелье, где находились кости умерших; маркиз вошел вслед за ним, и когда он попирал ногами кости, по его собственным пробежал такой страх, что он принужден был выйти перевести дух и ободриться, что он сделал трижды. То, чего от него хотел призрак и что маркиз мог в своем смятении понять, заключалось в том, чтобы в отплату за причиненную тому смерть он оказал ему благодеяние, исполнив указанное в его завещании, – а именно – денежное возмещение и обеспечение приданым его дочери. Как говорили свидетели, об этом был спор между маркизом и призраком. И маркиз признается, что, будучи так же красив лицом, белым и румяным, как и его братья, с этой ночи он стал таким, каков он теперь, совсем бледным и с осунувшимся лицом. Он утверждает, что призрак еще несколько раз являлся говорить с ним и что перед тем, как он его увидит, его каждый раз охватывали холод и дрожь, которых он не мог сдержать. Наконец он исполнил требования призрака, и тот больше никогда не появлялся.

Пусть спорят сеньоры богословы, был ли это дух его самого, или его ангела-хранителя, или ангел добрый или злой, – для меня же достаточно было слышать это из уст столь знатного кабальеро, как маркиз, и его брата дона Энрике, чтобы считать этот случай вполне достоверным; потому что в таких важных случаях, когда дело касается спасения души, Господь неба и земли обыкновенно допускает подобные явления. Эти случаи не похожи на то, что некоторые языческие авторы говорят о вызывании душ, чтобы задавать им вопросы, как это делали Эмпедокл и Апион Грамматик, который вызвал тень Гомера и не осмелился сказать, что тот отвечал ему; ибо то было искусством некромантии, о котором Цицерон говорит, что оно выдумывало тела тех, которые уже истлели, и придавало им какую-нибудь форму или фигуру; потому что дух сам по себе не может быть видим, так что все это было хитростями дьявола, – и он являлся, когда его призывали, как могущего осуществить это, если ему дозволял это Бог, потому что без такого дозволения он не мог сделать этого. А что касается появления с Божьего допущения душ умерших, то нельзя отрицать, что это иногда случалось; но не потому, что они блуждают по миру, ибо они имеют для своего пребывания предназначенные им места или в раю, или в аду, или в чистилище.

А если я был в этом рассказе многоречив против своего обыкновения и манеры, так это потому, что о делах столь серьезных надлежит говорить с такой же простотой и откровенностью, с какой они происходили, ничего не прикрашивая и не изменяя.

– Случай этот поразил меня, – сказал отшельник, – и я решил окончательно отказаться от уединения, ибо, хотя я провел некоторое время в пустыне, я не видел ничего, что смутило бы меня, и, несмотря на это, я ушел из пустыни к населенным местам из-за страхов, какие я испытывал среди высоких скал Сьерра-Морены. Но оставим этот разговор и будем продолжать начатое, потому что благодаря изяществу стиля и приятности, с какой вы рассказываете, забудется печаль от сновиденья и от только что рассказанной правдивой истории.

Вскоре отшельник отправился в Севилью, где и живет теперь очень уединенно.

Глава I

Принимаясь вновь соединять или продолжать прерванную прошлую беседу, мы уселись около жаровни и я стал продолжать начатый мною рассказ, потому что отшельник, человек очень умный, так настойчиво упрашивал меня, что было очевидно, какое большое удовольствие доставляло ему слушать о превратностях моей жизни; и так как он обнаруживал большое внимание – а это всегда сильно ободряет рассказывающего, – я продолжал то, на чем остановился накануне вечером из-за сна отшельника, и начал это очень охотно, потому что таким же точно образом, как лишает удовольствия говорить невежливость, с какой некоторые невежды прерывают чей-нибудь рассказ, чтобы вставить какой-то вздор, некстати пришедший им в голову – так внимание дает силы и побуждает рассказчика не прерывать своего рассказа. Эта ошибка, в которую впадают многие, очень достойна порицания, ибо она доказывает дурной вкус или малый разум. Тот, кто не хочет слушать, что говорит другой, вполне может отойти в сторону и дать возможность слушать тому, кому это доставляет удовольствие; однако некоторые обладают таким необыкновенным характером или способностью, что стараются очень неразумно и еще менее учтиво прервать рассказчика, делая это или для того, чтобы испортить впечатление от его рассказа, или не понимая его, что вернее. Наградой того, кто хорошо говорит, служит внимание, какое ему оказывают, и даже если бы он говорил не очень гладко, все же очень большая неучтивость не одобрить, что он рассказывает, потому что, в конце концов, он старается, чтобы это понравилось, и говорит, насколько может и умеет лучше.

Есть род людей, говорящих с перебоями, вследствие недостатка связности и запаса сведений для темы разговора, так что после того, как им ответят, даже если бы изменился первый сюжет, они спешат с тем, что приходит им в голову, независимо от прежнего их намерения. Это – глупость и невнимательность, делающая неприятным того, кто так поступает, и таких следует избегать в беседе, ибо они являются помехой для того, кто говорит, и для тех, кто слушает; а если это делается со злым умыслом очернить рассказчика – ибо все это может делать зависть, – то это непростительная злонамеренность, заслуживающая столь же дурного отношения, так как это можно встретить только в людях пустых, как в отношении ума, так и образования. И это распространяется настолько, что даже в книгах, которые печатаются, не избегают позорного и имеющего дурное происхождение желания прибегать к хорошо известным, нарушающим благонравие выходкам. Книги, подлежащие изданию, должны доставлять поучение и удовольствие, чтобы они наставляли и развлекали, а те, кто не имеет таланта для этого, – так как они этого уже не достигнут, – пусть не поддаются соблазну говорить непристойности, оскорбляющие людей с добрым именем, или пусть не пишут; ибо не должно все быть танцами мечей, чтобы после них не оставалось никакой пользы и никакого воспоминания, какое сохранялось бы в душе. Книги, которые отдаются в печать, должны отличаться большой чистотой и безупречностью языка; чистотой в выборе слов и пристойности понятий и безупречностью в том, чтобы не примешивать никаких низостей, выходящих за пределы содержания, – как, например, клеветы или неуважения к тому, что делают другие, в особенности когда они направлены против того, кто умеет говорить и знает, что говорить, – и выраженных так плохо, что словно указывают пальцем, благодаря чему обнаруживается невежество авторов, подрывается доверие к их сочинениям, раскрывается их зависть и выказывается их злонамеренность.

Возвращаясь к вопросу о рассказывании, я скажу, что в беседах надлежит давать возможность говорить тому, кто говорит, а тот должен быть настолько осмотрительным, чтобы не распространяться излишне, не отклоняться от темы и не желать говорить только одному, ибо он должен дать возможность отвечать ему.

Я, повествуя о своей жизни, не подумал о том, что отшельник мог устать, слушая мою столь многословную речь. Но мне посчастливилось, ибо ему не только не надоело, но он опять начал побуждать меня, чтобы я продолжал осуществлять превосходное свое намерение, так как об этом он просил меня с самого начала; и, возвратившись к беседе с ним, я продолжал.

Глава II

Когда, или по предсказанию и знамению этой кометы, или потому, что так было ведомо и угодно Господу Богу, умер король Португалии дон Себастьян в той знаменитой битве, где сошлись три короля и все три были убиты, то наследовавший ему кардинал дон Энрике, дядя Филиппа Второго, призвал своего племянника унаследовать королевство, и вся Кастилия и Андалусия пришли в движение, чтобы служить своему королю с любовью и повиновением, какие Испания всегда питала к своим законным королям. Я прибыл из Вальядолида в Мадрид и, следуя изменчивости своего характера и общему мнению, отправился в Севилью, с намерением переправиться в Италию, так как я не смог прибыть вовремя, чтобы сесть на корабли, отправлявшиеся в Африку. Я наслаждался величием этого славного города, преисполненного тысячи преимуществ, сокровищницы и собирательницы неизмеримого богатства, посылаемого океаном, за исключением того, которое он оставляет для себя скрытым навеки в его глубоких песках.

Когда затихли или, правильнее сказать, были приведены в лучшее состояние португальские дела, я остался на некоторое время в Севилье, где среди многих случившихся со мной приключений было одно, в котором я выказал большую отвагу. В то время был — и думаю даже, что есть и теперь, — сорт людей, не похожих ни на христиан, ни на мавров, ни на язычников, а религия их заключается в по-

клонении богине хвастовства, так как им кажется, что раз они принадлежат к этому братству, то их будут считать и почитать за храбрецов не потому, что они были такими, а только потому, что такими казались.

Случилось мне, проходя по Генуэзской улице, столкнуться с одним из таких людей, причем я встретился с ним таким образом, что для того, чтобы мне пройти по сухому месту, я заставил его пройти по грязи. Он обернулся ко мне и с высоты своего величия сказал мне:

— Сеньор маркизище, вы не видите, как вы идете?

— Простите, ваша милость, — сказал я ему, — ибо я сделал это неумышленно.

— Так если бы вы сделали это умышленно, — возразил он, — разве вы не лежали бы уже в саване?

При мне не было шпаги, так как я шел в одежде студента — звание, которым я всегда гордился, — и поэтому я вел себя со всей возможной скромностью, а он со всем высокомерием, каким обладают люди такого сорта.

Я сказал ему:

— Преступление не было таким тяжким, чтобы заслуживать столь великого наказания.

Тогда он сказал мне:

— Прикидываясь дурачком, вы, вероятно, не знаете, с кем вы встретились; но будьте спокойны, я не хочу наказывать вас больше, чем отсчитав на ваших щеках сорок пальцев, — что, по моим расчетам, составляло восемь пощечин.

Я подождал его, и когда он подошел, подняв руки, чтобы привести в исполнение наказание, я воспользовался одним приемом, который у меня всегда хорошо удавался. И было так, что, когда он подходил, поглощенный своим делом, я сделал свое, — и, схватив его шпагу за эфес, я со всей возможной быстротой вытащил ее из ножен. В тот же самый момент я влепил ему в лицо свои пять пальцев и ранил эфесом шпаги в левую щеку.

Увидя себя обезоруженным, он пустился бежать к Градас, а несколько портных начали кричать:

— Победил, победил студент! — И они предупредили меня: — Уходите отсюда, потому что он пошел звать укрывшихся там, и они сейчас же вернутся сюда.

Я пошел в Сан-Франсиско, а этот негодяй, очень бледный, без шпаги, вошел в Апельсиновый корраль, волоча за собой плащ, с залитым кровью лицом, и когда его спросили, что произошло, он ответил, что его окружили тридцать человек и, схватив его, отняли у него шпагу, а когда они его ранили, он зубами отбился от них, откусив одному из них нос, а теперь он пришел за шпагой и щитом, чтобы искрошить их всех в куски. Они поспешили на то место, где произошла ссора, но все ремесленники говорили в мою пользу, на что один из пришедших, сгорбленный человек ниже среднего роста, левша, к которому все, казалось, относились с уважением, сказал:

— Ну ладно, у этого человечка, вероятно, хорошая печенка, поэтому нужно их сделать друзьями, потому что раненый — друг всех почтенных членов братства, не пройдет и двух часов, как он будет другом многих, если об этом узнают; позовите бедного малого.

Ремесленники позвали меня, привели также и другого, и, чтобы заключить дружбу, я должен был всех их повести в таверну Пинто и поставить им фанегу касальского; все тогда в один голос сказали:

— Хороший парень; он вполне достоин вступить в наше братство.

Глава III

Так как негодяй остался таким исходом дела очень недоволен, он искал случая отомстить мне и нашел очень хороший. Так как я был новичком и был мало опытен в обычаях Севильи, я был недостаточно осторожен; ибо в такие большие города надлежит вступать с предусмотрительностью, и тот, кто не знаком с ними и не обладает опытностью, должен пользоваться поддержкой обладающего ею, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

Я нацепил шпагу, и по обязательствам, какие налагает на себя опоясывающийся ею, с тщеславием отваги и почувствовав себя поэтом и музыкантом, — ибо одного из этих трех обстоятельств было бы достаточно, чтобы повредить лучший рассудок, чем мой, — я начал расправлять крылья больше, чем было хорошо для меня, и считать себя праздным подоконным ухаживателем и влюбляться в каждую встречную, так что не нашлось бы португальца медоточивее меня. В этом мой противник нашел мое слабое место, при помощи слабости одной красивой дамы, в дом которой он был вхож и был там полным господином.

Когда я, как ищущий самку олень, бродил между деревьями Аламеды, я услышал, что меня призывает лань, и, поспешая на призыв, сказал себе:

— Как это возможно, сеньор любезник, быть настолько небрежным, что ваша милость даже не замечает обращенных на нее взоров, более внимательных, чем обыкновенно?

Я взглянул на ее лицо и фигуру, и хотя она была исключительно хороша, я все же ей поверил, ибо я был настолько тщеславен, что готов был верить в возможность любой милости.

Она говорила:

— Ведь я дошла до такого состояния, что не обращаю внимания ни на собственное достоинство, ни на честь своего супруга! О, да будут прокляты неосторожные глаза, да будут прокляты ноги, переступившие, на мое несчастье, через порог его дома. Ведь я отдала свою свободу тому, кто, не знаю, будет ли уважать ее! Ведь я смотрю на того, кто не знает меня и кого я не знаю, и должна просить того, кто никогда не внимал ничьим просьбам! Лучше мне умереть, чем оказаться во власти того, кто, может быть, будет смеяться надо мной и презрительно отвергнет мои дары!

И при этом она притворилась проливающей такие трогательные слезы, что заставила меня потерять рассудок. И,

совершив свой обман, она покинула меня и ушла с величайшим изяществом и грацией.

Меня бросило в холод и жар от поспешности ее ухода и от ее слов, покоривших меня. Служанка сказала мне:

— В хорошем состоянии нашла ваша милость мою сеньору, ведь она всегда так печальна; от этого происходит ее дурной характер, так что никто в доме не может образумить ее. Следуйте за ней, ваша милость, только остерегайтесь, чтобы вас не заметил ее муж, потому что он очень знатный кабальеро и достаточно ревнив, хотя моя сеньора никогда не давала ему повода быть таким.

Я последовал за ней, удивленный и довольный тем, что, как мне казалось, я был достоин многого, внутренне ценя себя гораздо выше, чем это было разумно. Я дошел до ее дома, стоявшего на узкой улице, выходившей на Оружейную улицу, и она сейчас же оказала мне милость, показавшись у окна, и предупредила меня, чтобы я много не кружил здесь, так как она уведомит меня, что я должен был делать. Несколько дней я ходил, добиваясь увидеть ее, потому что мне казалось, что из уважения к себе она не хотела отдаться сейчас же.

О, мирские обманы, как легко верит человек тому, что ведет к его удовольствию или выгоде! Если бы мы так же ценили и взвешивали то, что касается нашего блага, как то, что направлено к нашему вреду, мы не впадали бы во столько пороков и несчастий, как это случается. При виде удовольствия, мы бросаемся на него с надеждой на благо и не остерегаемся в дурном, хотя конец одного так же опасен или сомнителен, как и другого. Более спокойно мы идем по пути порока, но неуверенно по пути пользы; потому что одно нас заставляет быть осторожными, а другое — беспечными; в одном может оказаться обман, а в другом — отсутствие обмана очевидно, как это случилось со мной, ибо, поверив обману этой женщины, я оказался в большой опасности; но кого не обманет красивое лицо и стройная фигура, в соединении с неясными словами и выразительными глазами?

Наконец я добился того, что она прислала мне самую нежную записку, гласящую, чтобы я пришел к ней в эту ночь. Я оделся возможно наряднее, взял свою шпагу и большой фонарь, который мог служить и щитом, и отправился прямо к ее дому, не думая ни о чем другом, кроме предвкушаемого наслаждения. Я нашел дверь и ее объятия раскрытыми, — она приняла меня со всеми ласками, на какие я мог надеяться по ее поведению притворным словам; она заперла дверь, и сейчас же в нее постучали. Она, не спрашивая, кто стучит, сказала:

— Друг мой, это стучит мой муж; войдите в эту кладовку, потому что он сейчас же опять уйдет.

Я вошел туда со своим зажженным фонарем, дверь кладовки задвинули на засов, и я оказался очень хорошо запертым. Почти все маленькое помещение было наполнено виноградными лозами и сухим тростником; там был колодец, который выходил наверх с подвешенной бадьей. Я принялся слушать, что говорили, так как из-за того, что заперли дверь за мной, я заподозрил недоброе. Сеньора спросила воображаемого супруга:

— Я уже заперла этого человека; что надо сделать?

Тот ответил — хотя и тихо — голосом, по которому я мог узнать, что это был мой противник:

— Сжечь его или утопить в этом колодце; потому что это тот, который вытащил у меня шпагу из ножен.

У меня сейчас же явился план, как выйти невредимым из его западни, ибо опасность — исследователь великих тайн и страх смерти поднимают воображение до выдумок, какие иначе никогда не пришли бы в голову. Я накрыл доской закраину колодца, а часть тростника и сухой лозы положил к двери кладовки и поджег их фонарем, так как еще не потушил его. Дверка была так суха, что сейчас же начала гореть с помощью этого топлива, причем сильное пламя от тростника выбивалось из-под двери. Я уселся в колодезную бадью и очень крепко ухватился за веревку, так что, раз колодец был закрыт, я был в безопасности. Весь собравшийся народ начал кричать:

— Пожар, пожар! Воды, достаньте воды из колодца!

Потянули веревку, чтобы достать воды, и так как бадья была слишком тяжела, потому что в ней находился я, то собралось много соседей, чтобы тянуть веревку, и тянули так долго и с такой силой, что наконец подняли меня кверху. Я крепко ухватился за верхнюю закраину колодца: вероятно, лицо у меня было бледным от волнения, и благодаря этому и тому, что я сделал им гримасу отвратительного демона, все отскочили в испуге, крича, что они вытащили из колодца дьявола.

Я вылез совсем и проскользнул между народом насколько мог проворнее — а мог я это сделать очень хорошо, потому что, будучи сильно возбуждены, они и не заметили меня, — оставив им горящий дом и унося свободной свою персону; ибо я нашел свою жизнь там, где было так легко потерять ее, а именно в колодце, и будучи заперт в такой тесноте, как в этой кладовке, полной тараканов.

Глава IV

Чтобы отомстить мне, мой враг избрал орудием красивую женщину, а женщины, в конце концов, все обладают прирожденной способностью трогать сердца — так же, как и дети, — притворством и слезами; но, так как они рождены, чтобы плакать, они умеют растрогать. Да будет проклята Богом их решительность, ибо они настолько готовы выполнять все, что приходит им в голову, что когда они не могут добиться чего-нибудь силой, то сделают это посредством коварства или плутовства. Они обладают такой большой силой, когда говорят все, что им вздумается, а мы такой слабостью, веря им, что кажется, будто мы только для этого и родились. Я видел многих очень праведной жизни; но даже в них я находил неуравновешенность характера; и я знал некоторых женщин, очень скромных самих по себе, однако они были такими лишь для того, чтобы говорить дурное о других женщинах, имеющих какую-нибудь слабость, и, в заключение, мало найдется таких, которые избегают какого-нибудь несчастья.

Я избавился от беды, какая могла случиться или в какой я уже был, но не избавился от рук альгвасила, явившегося на шум; а так как он увидел меня бегущим, то схватил меня; но я очень поспешно сказал ему:

— Что вы делаете, ваша милость? Вы хотите, чтобы мы оба погибли в руках этого демона, находящегося в том доме? Бегите и спасайтесь, потому что он убивает всех, кто ему попадается.

Он отпустил меня и бросился бежать, потому что, слышав уже молву про демона из колодца, он окончательно убедился в этом, когда я ему это подтвердил.

Я не останавливался, пока не достиг тени, в которой мог отдохнуть, падавшей от двух друзей, Геркулеса и Цезаря, поставленных на двух высочайших колоннах при входе на Аламеду, устроенную этим благородным кабальеро, доном Франсиско Сапата, графом де Барахас, который уничтожил в Севилье столько беспорядков. Но здесь не кончились беспорядки этой ночи; ибо, отдыхая, я услышал позади себя на улице Гарбансера очень сильный шум в цветнике из высоких мальв, какие здесь растут, причем мальвы шевелились, хотя не видно было, кто их шевелил, и это меня немного испугало, потому что время было ночное, а я находился в очень пустынной местности; но когда я с обнаженной шпагой подошел ближе, я не заметил ничего, кроме раскачивания мальв и какого-то шума между бывших в цветнике камней, пока оттуда не выскочили в драке змея и кот. Змея старалась обвиться вокруг тела кота, а кот, встав на задние лапы, царапал змею когтями между чешуей, и это продолжалось довольно долго. Наконец змея, не будучи в состоянии противостоять когтям кота, вернулась в свои мальвы, а кот, как тореро, сделав прыжок, преградил ей дорогу и, укусив ее за голову, в тот же момент отскочил назад, прежде чем змея могла охватить его всем своим телом, что она и сделала бы, если бы он не отскочил, но при этом она ударилась о камни той частью хребта, где у нее самая сила,

отчего не могла больше двигаться, и подошедший кот окончательно загрыз ее. Я удивлялся ловкости кота, видя, насколько вернее всех других животных наносит он раны, и с тех пор я стал за это любить котов, хотя всегда был их врагом. Хотя они и не обладают таким умом и привязчивостью, как собаки, но они очень надежны против всяких гадов, какие появляются в домах.

Я пошел спать в эту ночь, удивленный и пристыженный двуличием, с каким так оскорбительно обошлась со мной эта моя возлюбленная, точно это было от дьявола, и не от того, который вылез из колодца; я не могу еще вполне поверить, что приветливость, какую обещает лицо красивой женщины, может уживаться с таким тяжким обманом и что с такой легкостью женщина поддается дурному совету. Что мужчина имеет сострадание к слезам женщины, в этом большое благородство, но что она для дурной цели притворяется плачущей, — это кажется мерзостью. Подчиниться красоте — это дело естественное; но подчинять красоту обману — это противно разуму и даже противно природе. И то, что такое мужество, как мужество мужчины, который выступает против целого войска, подчиняется женщине, которая бежит от мышонка, — это поразительно. Избави меня Бог от ссор с ними и сохрани меня от их притворства, потому что даже помимо своего желания они обычно обладают им, чтобы дать понять, что они любимы и полны презрения; что их любят и что они этого не ценят; что их услаждают и что они насмехаются над тем, кто им служит.

Глава V

Я не был настолько спокоен относительно происшедшего, чтобы для меня не было необходимостью быть начеку, сильно опасаясь козней этого хвастуна; потому что если прежде он был раздражен похищением клинка, то после он сердился за то, что так обернулась против него шутка, которую он думал устроить мне. Я для своей большей безопасности прибегнул к убежищу в доме одного знатного кабальеро, расположенном рядом с Omnium Sanctorum[1] на Ферии и служившем для меня защитой и прибежищем во всех моих проказах и приключениях. Когда я находился в упомянутом доме сеньора маркиза дель Альгава, дона Луиса де Гусман, хвастун прислал мне вызов на дуэль через посредство одного своего друга, тоже хвастуна; а слуги маркиза, которых он имел много, и очень честных, избавили меня от этой обязанности, ибо они были моими друзьями, так как вследствие невежливости, выразившейся в потере уважения к дому, они отправили его домой с разбитым носом, оставив его шпагу, щит и кинжал кухонным мальчишкам, чтобы те купили себе на них закуски. Этот клеветник — дурной конец пусть пошлет ему судьба — устроил таким образом, что одному городскому судье, большому моему врагу — Бог знает, может быть, он был обманут — донесли, будто я поджег дом любовницы этого хвастуна, так что, несправедливо подозревая меня, он постоянно держал меня в страхе; и хотя я всегда старался превзойти его в вежливости и лишить его возможности мстить, которую он лелеял в своей груди, но, обладая, вероятно, малоблагородной душой, он не обращал внимания на учтивость и скромность, с какой я обходился с ним; ибо маловозвышенные души, видя превосходство врага над собой, стараются отомстить как только могут, не думая о том, хорошо это для них или плохо. Но души доблестные, будучи господами над мщением, считают величием не думать о мщении. Этот судья, о котором я говорю, видя, что благодаря сообщению, какое сделал ему мой враг, он мог удовлетворить свое жестокое желание, сейчас же принялся за осуществление своего злого намерения, сделавшись одновременно сыщиком и следователем, внимательно следившим за каждым моим шагом, о чем я узнал через посредство людей, бывших моими и его друзьями. Я узнал об этом и о том, что городской судья, преувеличив мое преступление и утверждая, что я был

1 Всех Святых (*лат.*).

поджигателем, не принимал ни предостережений, ни советов, какие ему давались, ибо он прислушивался к мнению только одной стороны, очень в этом заинтересованной. Он сказал, что он захватит меня в любой церкви, в какой бы я ни находился, потому что преступление поджигателя было очень тяжким. Этого не сделал бы тот, который теперь занимает эту должность, ибо Хустино де Чавес – справедливейший судья, благоразумный и настоящий христианин, тщательно обдумывающий все, что он говорит и делает, не опрометчивый и не решающий дело сплеча, но очень спокойный и осторожный во всех своих поступках. Но есть судьи, хотя и немногочисленные, которые не хотят оставлять преступления до божеского суда, так что кажется, что их избрал дьявол, чтобы их руками делать то, чего он не может сделать своими, потому что они связаны у него Богом.

Узнав, что этот судья так жестоко преследовал меня, я сменил платье на старую и плохую одежду, чтобы меня нельзя было узнать; я держал около него своего шпиона, который сообщал мне обо всем, так как я сам не отходил далеко от церкви Omnium Sanctorum, где сакристан был моим другом, с которым я договорился обо всем, что мне нужно делать, если за мной придут. Друг пришел уведомить меня об этом и сообщил, что для этого предприятия судья взял с собой Толеданильо, дьявольского сыщика, и я поклялся, что сыграю с ним шутку, так что он должен будет нести меня на себе ко мне домой. Судья сейчас же явился с такой поспешностью, что еще немного, и я не смог бы выполнить своего плана. Я отдал сакристану плащ, куртку и шпагу и, надев грязную старую куртку и повязав голову очень рваным и окровавленным платком, замешался среди нескольких отвратительных нищих, просивших у дверей церкви подаяния. Он в ярости явился разыскивать меня в церкви, сакристан запер церковь еще до его прибытия и поклялся – и по правде, – что во всей церкви не было никакого укрывавшегося и никого другого, кроме этих нищих, которые никому не давали слушать обедню, и что, если ему угодно задержать какого-нибудь укрывающегося, он готов передать такого в его руки, выгнав всех нищих оттуда. Судья немедленно начал выгонять их, говоря:

– Вероятно, многие из вас большие преступники.

А меня, так как сакристан сказал, что я был паралитиком и не мог двигаться, он велел Толеданильо отнести отсюда, причем сакристан сказал ему, что у меня много денег, которые тот мог бы заработать, чем возбудил в нем жадность и желание нести меня на спине. В то время как его господин обыскивал алтари, и хоры, и под циновками ризницы, я говорил ему:

– Поистине, сеньор, я радуюсь, что вы не вошли туда, потому что этот человек, которого собираются задержать, поклялся убить вас, хотя известно, что вы очень мужественный человек, но он отважен настолько, что уже засолил двух сыщиков, и то же самое сделает с вами, если поймает вас.

– Мне очень хорошо и здесь, – сказал Толеданильо. А я:

– Поспешите, пока начальник не послал за вами.

Он сделал это очень охотно; ибо эти люди бегут от подобных опасностей или потому, что это не входит в их обязанности, или потому, что хотят сохранить свою жизнь.

Начальник не позвал Толеданильо, так как не нашел жертвы, которую искал, а также потому, что сакристан обещал ему отдать ее добровольно. Этот же донес меня, медленно пройдя по всей Аламеде и по кварталу Герцога, до улицы Сан-Элой, где была моя гостиница; я подбадривал его, говоря, что помимо очень хорошей платы, какую он получит за это, он творит дело милосердия.

За ним шли двое моих знакомых, умирая со смеху, а он не решался спросить их, над чем они смеются; наконец, дойдя до места, где, как ему показалось, он был уже вне опасности, он спросил их:

– Над чем смеются ваши милости?

Они, улыбаясь, ответили ему:

– Над грузом, какой вы несете, ибо это тот, кого вы собирались задержать в церкви.

Он в испуге сейчас же сбросил меня на землю, а я, встав перед ним, сказал ему:

– Так что же, негодяй думал, что получит с меня деньги? Пусть он будет благодарен, что я не исследовал его потроха через затылок, когда он нес меня на спине, превратившись в святого Христофора.

В это время сеньор судья спорил с сакристаном, чтобы тот выдал ему укрывающегося. Тот сказал:

– Я уже сдержал свое слово, отдав его Толеданильо, который унес его на собственной спине.

Присутствовавшие при этом так смеялись над шуткой, проделанной с Толеданильо, который был таким отважным сыщиком, что даже судья не рассердился на то, что затрагивало его в этой шутке, видя в этом только шутку, проделанную над его сыщиком; и, чтобы не дать заметить своего стыда, притворился, что эта шутка совсем его не касалась.

Я говорю это для того, чтобы служители правосудия понимали, что не должно все происходить так, как хочется им, а преступники не должны быть такими самоуверенными, как это обычно бывает в Севилье, и не должны оказывать сопротивления; ибо если это удается один раз, то не удается тридцать раз. Судьи никогда не должны терять уважения к храмам, потому что с ними может случиться то же, что с собаками, бродящими в поисках пропитания: хотя им часто удается поесть, но когда-нибудь их поймают в дверях. Судья должен обходиться с преступниками так, чтобы не было похоже, что правосудие и месть смешиваются ради одной цели: ибо надлежит устанавливать истину, выслушивая обе стороны; не следует верить, что кто-нибудь дурен, потому что это может говорить тот, кто сам нехорош. Судья не должен быть пристрастным в делах, касающихся его самого, потому что пристрастие преувеличивает преступления врага. Как трудно считать дурным то, что нас радует, так невозможно считать хорошим то, что нам неприятно, поэтому плохо сможет соблюдать власть закона тот, кто хочет приспособить его к своей выгоде, в ненависти или в

любви. В большом смущении оказывается судья, когда подают апелляцию на приговор, вынесенный им с пристрастием, когда он уже не властен больше этот приговор изменить.

Преступники должны использовать все человеческие и божественные средства, прежде чем оказывать сопротивление, и кто его оказывает, уверенно рассчитывая на покровительство, каким располагает, тот заслуживает, чтобы этого покровительства не оказалось, когда в нем будет необходимость, как это и случается. Не может быть причины, – если только не ради спасения жизни, – которая принуждала бы человека к столь тяжкому преступлению, какое встречается только у людей, потерявших веру в жизнь и честь. Смирение перед служителями правосудия доказывает мужество и благородство души, и в этом заключается основание мира и согласия. А если мы будем обращаться надменно с теми, которые убеждены, что в их власти все, что им угодно, как сможем мы уберечься от них? Бежать от них, когда они нас преследуют, – это не недостаток мужества, а признание их превосходства; и тот из них, кто достаточно благоразумен, будет радоваться, видя, что преступник питает уважение к нему, убегая или скрываясь, и не захочет ни преследовать его, ни притеснять больше, чем это законно и разумно.

Я не мог сделать хорошего друга из этого человека и поэтому решился, чтобы не сопротивляться и не бежать, проделать над ним эту шутку, которую можно было считать настолько же удавшейся, насколько смешной, благодаря чему он оставил меня в покое, а другой перестал преследовать меня. Я, чтобы быть совсем спокойным, решил прибегнуть к какому-нибудь могущественному покровительству, под сенью которого я мог бы отдохнуть. В то время в Севилье находился знатный вельможа, статный, очень хорошо сложенный, красивый лицом, обладавший очень мягким характером и исключительной добротой, скорее ангельской, чем человеческой; очень любящий делать добро, любимый и почитаемый всеми в этом городе за эти и многие

другие качества, какие украшали его персону; это был племянник бывшего тогда в Севилье архиепископа — маркиз де Денья. Я решил отыскать способ войти в милость этого вельможи и, разговаривая об этом с одним моим другом, сказал ему:

— Невозможно, чтобы этот знатный сеньор не принял меня под свое покровительство и милость.

— Из чего вы это заключаете? — сказал мой друг. А я ответил:

— Из того, что я питаю к нему величайшую любовь и являюсь неизменным повествователем об его достойных удивления добродетелях, и невозможно, чтобы созвездие, побуждающее меня к этой необыкновенной любви к нему, не склонило бы его к признательности ко мне.

Случилось так, как я представлял себе, потому что, находясь в Апельсиновом коррале, когда там проезжал этот знатный вельможа, я решился заговорить с ним, насколько мог и умел вежливее. Он остановил экипаж и, выслушав меня с величайшей благосклонностью, оказал мне желаемую милость и приказал посетить его. Когда я приобрел его расположение, то со мной в Севилье больше не случалось ничего дурного, и мои соперники не имели больше ни мужества, ни дерзости что-либо предпринимать против меня; ибо покровительство вельмож и знатных сеньоров обладает могуществом, дающим возможность жить спокойно тому, кто хочет прибегнуть к помощи высокого их положения и склониться в падающей от них тени. И благоразумно поступать так, хотя бы это было не больше чем ради возможности подражать их прирожденным нравам, которые далеко превосходят нравы обыкновенных людей. Подобно тому как лучше культивированные растения приносят лучшие и более обильные плоды, так и между людьми — лучше воспитанные дают лучший и более наглядный пример жизни и нравов; таковы вельможи и сеньоры, с детства воспитанные в похвальных обычаях, не растерянных среди невежества распущенного простого народа. Между кабальеро существует и употребляется истинная учтивость; от них на-

учаются хорошему обращению и учтивости, с какой должно относиться к каждому; в них можно найти благоразумное притворство и терпение и пример того, когда можно потерять его; ибо если всегда имеют дело с людьми, которые знают, как вести себя, то и все будут знать. Те, которые избегают общения с кабальеро, не могут познать истинного благородства, заключающегося в практике, а не в теории, и благодаря практике научаются почтительности, какой надлежит обладать, чтобы вести себя с благородством, не известным всему простому народу.

Глава VI

Я провел в Севилье некоторое время, живя ночью и днем беспокойно, с ссорами и враждой, — этими последствиями праздности, источника пороков и могилы добродетелей. Я оглянулся на себя и нашел, что я очень отстал во всем, чем я занимался; ибо в праздности не только забывается перенесенное, но и создается прочнейшая основа, чтобы опять вернуться к новым испытаниям. Тот, кто в дороге сбивается с истинного пути, чем дальше уходит, тем труднее ему опять попасть на нее; тот, кто приобретает привычку праздности, поздно или никогда не забывает того дурного привкуса, какой из нее проистекает. Праздный растрачивает жизнь в четырех делах: в спанье без времени, в еде не вовремя, в ухаживании за честными женщинами и в сплетничанье обо всех. Сердце мое плачет каплями крови, когда я вижу, что хорошие задатки доблестных капитанов и ученейших мужей приносятся в жертву столь располагающему к лени пороку, как праздность; бездельник сетует на свое несчастье и злословит о счастье того, кто благодаря великому старанию победил упорство своей судьбы; он завидует тому, что он сам мог бы приобрести настойчивостью. Бездельник не ест с удовольствием, не спит спокойно, не отдыхает в покое, так что слабость становится палачом и бичом небрежности и лени, карающим бездельника.

Я решил избавиться от этого располагающего к лени порока, которому я предавался в Севилье, и нашел средство для этого, а именно – отправиться в Италию, поступив на службу герцога Мединасидонья, который на одном рагузском галионе отправлял многих своих слуг в Милан. Так как эта большая милость была мне оказана, я задержался в Севилье еще до времени отъезда. В этот промежуток времени прибыло несколько португальцев из тех, которые в Африке участвовали в этом несчастном столкновении короля Себастьяна, многих из которых выкупил Филипп Второй. С некоторыми из них я подружился и превосходно проводил с ними время, так как они обладают такой быстротой и живостью ума.

Один португальский кабальеро, мой друг, приводил в порядок свою бороду у плохого мастера, который дурной рукой и еще худшей бритвой брил его так, что сдирал кожу с лица. Португалец поднял голову и сказал ему:

– Сеньор цирюльник, если вы сдираете шкуру, то сдираете нежно; но если вы бреете, то бреете очень скверно.

Когда я с одним из своих друзей находился у дверей церкви, которая называется Omnium Sanctorum, прошел португальский кабальеро с шестью пажами и двумя очень хорошо, по кастильской моде, одетыми лакеями, и когда он снял шапку перед церковью, мы сняли из учтивости свои перед ним.

Он обернулся, словно оскорбленный, и сказал мне:

– Смотрите, сеньор кастилец, я снял шапку не перед вами, а перед Святыми Дарами, – а я на это ответил:

– Но я снял свою перед вашей милостью.

Сокрушенный этим ответом, португалец сказал:

– Так я тоже снял перед вами, сеньор кастилец.

По улице Атамбор проходили португалец с кастильцем, и так как португалец шел, влюбленно посматривая на окна, он не заметил ямы, куда оступился и растянулся лицом вниз. Кастилец сказал ему:

– Помоги вам Бог, – а португалец ответил:

– Он уже не может помочь.

Когда трое кастильцев играли с одним португальцем в кинола, он обманул их чрезвычайно ловко; ибо, когда у него на руках оказалось пятьдесят пять очков, после игры без флюса и кинолы, он, пренебрежительно смотря на карты, сказал про себя, но так, что это можно было расслышать:

– Годы Магомета.

Остальные, имея на руках хорошую игру и видя, что она пропадает, понтировали свою ставку; он принял, и когда один сбросил пятьдесят, а другие то, что у них было, португалец бросил свои пятьдесят пять очков и перехватил у них ставку. Один из них сказал:

– Как же ваша милость сказала, что у вас число лет Магомета, – а это сорок восемь лет, – тогда как у вас было пятьдесят пять?

Португалец ответил:

– А я думал, что Магомет был старше.

Я мог бы привести еще другие превосходнейшие рассказы и остроты, но оставляю их, чтобы избежать многословия.

В это время в Севилье появилась сильнейшая чума, и правительством было поэтому предписано убивать всех собак и кошек, чтобы они не переносили заразы из одного дома в другой. Я, заботясь о спасении своей жизни, отправился в Сан-Лукар, в дом герцога Мединасидонья, и когда я плыл по реке, то на протяжении всех этих пятнадцати лиг было такое множество утопленных кошек и собак, что иногда приходилось останавливать лодку или направлять ее по другой стороне.

Глава VII

Мы сели в Сан-Лукаре на корабль не при очень благоприятной погоде. Прошли в виду Гибралтара по проливу, который был местами настолько узок, что казалось, будто можно достать рукой до того и другого берега. Увидели Кальпе, столь достопамятный по своей древности и еще более за-

мечательный по сторожу или дозорному, какой был там в то время и еще много лет спустя, обладавшему таким невероятно острым зрением, что за все время, пока он нес эту службу, берегам Андалусии не было нанесено никакого вреда со стороны берегов Тетуана, потому что, когда в Африке вооружались галеоты, он видел их с Пеньона и сообщал об этом сигнальным огнем или дымом. Я был свидетелем, как однажды, когда на Пеньоне было несколько кабальеро из Ронды и Гибралтара, Мартин Лопес — ибо так звали дозорного — сказал:

— Завтра к вечеру будет нападение, потому что вооружаются галеоты на реке Тетуан, — а это было больше чем в двадцати лигах оттуда, и я думаю, что как бы ни превозносили то, что делал со своим зрением Линсе, который был человеком, а не животным, как некоторые думают, — это не превосходит подвигов Мартина Лопеса; действительно, корсары боялись его больше, чем тех судов, какие по его сигналам выходили против них.

Попутно я хочу разъяснить одно недоразумение, очень распространенное между людьми, мало привязанными к чтению и заблуждающимися, думая, что то, что называют Геркулесовыми столпами, есть действительно несколько столбов, которые Геркулес сам поставил в Гибралтарском проливе, — и другое, еще большее заблуждение, именно — когда говорят, что это те колонны, которые велел поставить на севильской Аламеде дон Франсиско Сапата, первый граф де Барахас. На самом же деле эти два столпа такие: один — это Пеньон Гибралтара, столь высокий, что проходящие проливом высокобортные корабли оттуда кажутся совсем маленькими. Другим столпом является другая очень высокая гора в Африке, причем обе горы соответствуют одна другой. Так говорит об этом Помпонио Мела («De situ orbis»).

Возвращаясь к своему рассказу, я скажу, что мы прошли вдоль берега у Марбельи, Малаги, Картахены и Аликанте и наконец, выйдя в открытое море, достигли Балеарских островов, куда нас не допустили из-за дурных слухов о чуме на

западе; так что с Майорки в нас даже сделали три или четыре выстрела. У нас не было ветра, и мы лавировали около этого берега, пока не увидели, что зажглись пятнадцать огней, повергнувших нас в большую тревогу; потому что, когда распространилась в Алжире молва о богатстве, какое вез галион такого знатного вельможи, на каперство вышли, разыскивая нас, пятнадцать галеот, которые наносили большой ущерб всему побережью и могли бы причинить вред и нам, если ветер будет для них благоприятен и если допустит это Бог. Получив это предупреждение, сделанное нам с дозорных башен, мы вышли в открытое море, укрепляя корпус корабля и другие нуждавшиеся в этом части мешками с шерстью и другими вещами, которые находились на судне для этой цели. Были распределены места и посты, как это считали нужным капитаны и старые солдаты, бывшие на галионе. Приготовившись таким образом, мы стали дожидаться галеот, которые уже подходили, построившись полумесяцем, и так как галиону не хватало ветра, а они плыли, сильно ударяя веслами, то они подошли настолько близко, что мы могли стрелять по ним из пушек.

Уже решившись умереть или потопить их, наш галион выстрелил из двух пушек так счастливо, что эти выстрелы заставили исчезнуть одну из пятнадцати галеот, и в тот же самый момент мы получили такой яростный ветер с кормы, что мы в один миг потеряли галеоты из вида. Ветер до такой степени усилился, что сломал нам бизань-мачту, разорвав паруса и такелаж на остальных, и захватил нас с такой яростью, что меньше чем в двенадцать часов пригнал нас к городу Фригус во Франции. Но здесь нас захватил другой, противный, ветер с носа, и мы совсем сбились с пути, возвращаясь назад с такой же быстротой, с какой мчались туда. Галион был очень ходким парусником, достаточно прочным, чтобы нам не погибнуть, и с одной только фок-мачтой в носовой части мы могли управляться благодаря большой крепости галиона. Но на третий день бури корма начала расползаться и скрипеть, как будто человек, который жалобно стонет. Благодаря этому моряки начали приходить в

уныние и решили покинуть нас, тайком перебравшись на большую лодку, которая была привязана за кормой. Но так как их заметили солдаты, не страдавшие морской болезнью, то им помешали осуществить это.

Видя опасность, все мы решили исповедаться и поручить себя Богу. Но когда мы собрались, чтобы выполнить это при помощи двух находившихся на галионе монахов, то они до того страдали от морской болезни, что их рвало прямо нам в бороду и грудь, и так как волны наклоняли судно то на одну сторону, то на другую, – то стоявшие у одного борта падали на стоявших у другого, и сейчас же эти падали на тех. Одна обезьяна прыгала со снасти на снасть и с мачты на мачту, болтая на своем языке, пока прокатившаяся по судну огромнейшая волна не унесла ее и не оставила нас всех хорошо освеженными. Бедная обезьяна очень долго держалась на поверхности воды, прося помощи, но в конце концов море ее поглотило. Моряки везли с собой попугая, который был посажен в прочную клетку, укрепленную на дозорной корзине, и который все время говорил: «Как поживаешь, попка? Как пленник, собака, собака, собака»; никогда в жизни он не говорил этого более верно, чем тогда. На этом обратном пути Бог направил нас вторично мимо Майорки к гавани на одном маленьком островке, называемом Кабрера, и когда мы заворачивали за мыс, чувствуя себя уже немного ободренными, горы воды нас опять отбросили в открытое море, где мы снова должны были страдать от той же самой бури.

Несколько моряков чрезмерно нагрузились вином и растянулись около корабельного очага, чтобы немного поспать; налетел такой сильный порыв ветра, что выбросил на них пламя, которое держали с большими предосторожностями, так что некоторым оно обожгло тело, а другим опалило бороды и лица, лишив их сна и сразу отрезвив их. Я оказался в смертельной опасности, потому что в то время сломалось дерево бизань-мачты, к которой из боязни ветра мои товарищи и я привязали койки; когда же она сломалась, она подбросила койки вверх и всех разбросала по

сторонам. Я ухватился за борт галиона, повиснув на руках с наружной стороны борта, и если бы мне быстро не пришли на помощь, то я оказался бы в глубине моря; а если бы мачта переломилась на четыре пальца ниже, то сломанным концом она подбросила бы нас до облаков.

Страдали от морской болезни все моряки, или большинство из них. Мы были без управления, хотя среди моряков был старший боцман, очень отважный, с бородищей, доходившей ему до пояса, которой он очень кичился. Когда он поднимался по снастям к дозорной корзине, чтобы спасти своего попугая, у него из-за сильного ветра распустилась его подвязанная бородища и зацепилась за одну из веревок снастей, так что он повис на бороде, как Авессалом на своих волосах. Но, ухватившись, как опытный моряк, за рею, он благодаря качке три раза погружался в воду с одной стороны посередине судна и погиб бы, если бы другой моряк не поднялся по тем же снастям и не обрезал ему бородищу, так что он спустился живым, хотя и очень сконфуженным, оказавшись без своей бороды, оставив ее висеть там, где он ухватился и где ее отрезали.

Мы опять начали двигаться, насколько это было возможно, против ветра, причем корма все время стонала, и наконец вошли в гавань Кабреры, пустынного островка, лишенного обитателей и не сообщавшегося с остальным миром, кроме Майорки, когда привозили оттуда продовольствие для четырех или пяти человек, охранявших этот сильный и высокий укрепленный замок больше из-за того, чтобы турки не заняли этого острова, чем потому, что этот замок был на что-нибудь нужен.

Все это время страдал морской болезнью управляющий, или казначей, который заведовал слугами герцога, и когда он пришел в себя, он сейчас же пошел осматривать все, что находилось на его ответственности, и, недосчитавшись нескольких голов сахара, он сказал, не найдя их:

– Я быстро узнаю, кто их съел, если они съедены.

Так оно и было, потому что на следующий день начали подходить к борту все, которым не удалось опорожниться

от того, чем они обильно начинили себя, потому что, наевшись сахара, они расстроили себе желудки до такой крайности, что за пятнадцать дней не могли прийти в свое нормальное состояние.

Мы долго не видели лица старшего боцмана из-за того, что он лишился своей бородищи, потому что в Греции, вероятно, считается очень почетным хвост фризона в качестве человеческой бороды.

Наконец нас приняли на этом островке, ибо вследствие отсутствия сношений его обитатели не знали, что мы были из зачумленной местности, да даже если бы они и знали об этом, они приняли бы нас, чтобы только увидеть людей, потому что их держали там насильно, и они никого не видели и не говорили ни с кем, кроме этих глухих волн, которые постоянно бьются о скалы, где построен этот замок. Мы пробыли там пятнадцать или двадцать дней или больше, делая мачты, исправляя снасти, чиня паруса и страдая от жары в конце мая и в начале июня, не находя на всем острове ни места, где можно было бы укрыться от сильной жары, ни источника, где освежиться, кроме водоема или цистерны, откуда пили заброшенные сюда несчастные. Этот островок имеет шесть или семь лиг в окружности, он весь из камней, и на нем очень мало земли, да и та без деревьев, только несколько кустиков, которые не поднимаются выше пояса. Водятся там большие черные ящерицы, которые не убегают от людей; птиц очень мало, потому что они не остаются там из-за отсутствия воды, годной для питья.

Глава VIII

Так как жара была настолько сильна, а я всегда был разгоряченным, то я позвал одного друга и мы пошли, прыгая с утеса на утес, отыскивать какое-нибудь место, где была бы зелень или влага и мы могли бы вздохнуть и прийти в себя после плавания и пережитых бедствий, из которых мы вышли очень измученными. Когда мы шли, перепрыгивая с

одной скалы на другую, пораженные видом такой скудной природы, наделившей это место столь утомительным бесплодием, порыв ветра вдруг принес такой божественный аромат жимолости, что показалось, будто послал его Бог, чтобы облегчить и утешить нас в нашей усталости. Я повернулся лицом к востоку, откуда шло благоухание, и увидел посреди этих нагроможденных повсюду скал чудесную свежую площадку, зеленую и цветущую, потому что еще издали было видно цветы жимолости, такие же крупные, приятные и душистые, как повсюду в Андалусии. Мы подошли, прыгая с камня на камень, как козы, и нашли пещеру, у входа в которую росли эти нежные кусты с божественным запахом. И хотя пещера у входа была узкой, дальше внизу она простиралась на большое пространство, причем во многих местах с потолка пещеры капала вода, такая чистая и холодная, что заставила нас послать на галион за веревками, чтобы можно было спуститься и освежиться там. Хотя и с трудом, мы спустились и нашли внизу помещение очень приятное и прохладное, потому что капающая вода образовывала различные предметы и делала природу совершеннейшей благодаря разнообразию таких странных фигур: там были орга́ны, фигуры патриархов, кролики и разные другие вещи, которые возникали чудесным образом благодаря непрерывно падающей воде; от этого непрестанного капанья образовывался ручеек, который протекал среди очень мелкого золотистого песка и соблазнял пить из него, что мы и сделали с величайшим удовольствием. Место было восхитительным, потому что когда мы смотрели наверх, то видели отверстие пещеры, закрытое цветами жимолости, которые свешивались вниз, распространяя по всей пещере благоухание неземного аромата. Когда мы смотрели вниз, на место, где мы находились, мы видели свежую и даже холодную воду и пол с сиденьями, на которых могли отдохнуть во время такой чрезмерной жары; здесь было достаточно просторно, и мы могли прогуливаться. Мы послали за нашим обедом и гитарой, благодаря чему с величайшим удовольствием провели время, распевая и играя,

как сыны Израиля в своем изгнании. Вечером мы отправились спать в замок, хотя на галионе всегда оставалась стража. Мы рассказали кастеляну, как мы нашли эту пещеру. Это был человек ужасного вида, с налитыми кровью глазами, неразговорчивый и не смеющийся; о нем говорили, будто он был атаманом разбойников и поэтому его держали в этом замке в качестве сторожа. И хотя он ответил нам на очень непонятном каталонском языке:

— Берегитесь, потому что турки тоже знают эту пещеру, — это предостережение не заставило нас перестать каждый день посещать это приятное убежище, обедать там и проводить сиесту. Мы это делали десять или двенадцать дней подряд.

Однажды, отдыхая после обеда, мы увидели, что в отверстии пещеры показались красные чалмы и белые алькисели; мы вскочили, и в тот же момент, как они нас увидели, — потому что они не ожидали там найти нас, — один из них сказал на очень чистом и правильном кастильском языке:

— Сдавайтесь, собаки.

Мои товарищи были изумлены, видя при кастильском языке турецкие чалмы; и один из них сказал:

— Это, вероятно, люди с нашего галиона, желающие подшутить над нами.

— Сдавайся сейчас же, мы турки, — заговорил другой турок на ломаном языке.

Трое товарищей схватились за шпаги, желая защищаться, но я сказал им:

— К чему послужит эта защита, когда они могут нас здесь засыпать одними камнями, тем более что у них ружья, как мы видим, — и, обращаясь к туркам, сказал: — Я сдаюсь тому, кто говорил по-испански, и все сдаемся всем вам; и ваши милости могут спуститься сюда, чтобы освежиться, если же нет, то мы вынесем вам воды, ведь мы ваши рабы.

Испанский турок сказал:

— Не нужно, потому что мы уже спускаемся.

Покоряясь нашей судьбе, мы внутренне молили Бога, чтобы об этом происшествии узнали на галионе. Мои товарищи были очень печальны, а я постарался примириться с положением, потому что во всех несчастиях, какие случаются с людьми, нет лучшего лекарства, чем терпение. Я хотя и обладал им, но, стараясь казаться веселым, чувствовал то, что может чувствовать человек, который, бывши всегда свободным, попадал в рабство. Судьбу надо побеждать мужеством: нет человека более несчастного, чем тот, который всегда был счастлив, потому что ему гораздо тяжелее переносить несчастья. Я говорил своим товарищам, что, для того чтобы ценить благо, нужно испытать какое-нибудь бедствие и переносить это бедствие надо терпеливо, чтобы оно было меньшим. Я пошел навстречу спускавшимся туркам с очень приветливым видом и, подойдя к тому, который говорил по-испански, обратился к нему с величайшей почтительностью и смирением, называя его знатным кабальеро, давая ему таким образом понять, что мне это было известно. Он был этим очень доволен и сказал сопровождавшим его туркам, что я считал его благородным и знатным; он действительно, как я узнал потом, был из рода наиболее уважаемых морисков королевства Валенсии, но отрекся от христианства, увезя с собой очень большое количество серебра и золота. Заметив, что для меня было выгодно польстить ему, назвав его кабальеро и благородным, я продолжал говорить ему приятное для его тщеславия, потому что он был начальником двух своих галеот, уцелевших из тех пятнадцати благодаря тому, что они укрылись от неблагоприятной погоды в маленькой бухте; на эти галеоты нас привели со связанными руками в тот же самый день, так как у нас не было тогда никакого средства избежать этого. И когда я бренчал на гитаре, мой господин отозвал меня в сторону и сказал по секрету:

— Продолжай так, как ты начал, потому что я начальник этих галеот и мне это будет выгодно для моей репутации, а тебе — для хорошего обращения с тобой.

Я в точности исполнил это, рассказывая, как будто он не слыхал этого, что он происходил от очень знатных родителей, благородных кабальеро.

Наша судьба была настолько несчастлива, что сейчас же поднялся благоприятный для них ветер и, повернув галеоты носами к Алжиру, они поплыли с попутным ветром, не трогая весел. С нас сняли испанское платье и одели нас как жалких невольников; и в то время как остальные мои товарищи были брошены на весла, меня начальник оставил для своих услуг.

Чтобы не молчать при гнавшем нас легком ветре, мой господин спросил меня, как меня зовут, кто я и какая у меня была профессия или ремесло. На первое я сказал ему, что я назывался Маркос де Обрегон, сын горцев из долины Кайона.

Остальные, будучи заняты слушаньем одного турчонка, который превосходно пел, не могли слышать, о чем мы говорили; и поэтому, прежде чем ответить ему, я спросил, был ли он христианином или сыном христиан, потому что его внешность и вид и красота мальчика, сына его, указывали, что они были испанцами. Он ответил мне очень охотно, во-первых, потому, что ему было приятно иметь дело с христианами, во-вторых, потому, что остальные очень внимательно слушали маленького певца. Он сказал мне, что он был крещен, был сыном родителей-христиан и что он переселился в Алжир не потому, что он отвергал христианскую религию, — так как он хорошо знал, что это была религия истинная, в которой должны были спастись души, — а по другой причине.

— Я, — сказал он, — родился с душой и сердцем испанца и не мог перенести оскорблений, какие получал каждый день от людей, стоявших гораздо ниже меня, насилий, какие применяли по отношению ко мне и к моему богатству, — которое было немалым, — ибо я происходил из рода старинных христиан, подобно другим, которые также переселялись и переселяются каждый день не только из королевства Валенсии, откуда я родом, но и из королевства Гранады и из всей Испании. Меня сильно огорчало, как и других, что я не был допущен к званиям и должностям магистратов и к высшим почестям, и я видел, что это бесчестье будет продол-

жаться вечно и что для того, чтобы уничтожить эту несправедливость, недостаточно обладать внешними и внутренними признаками христианина. Потому что человек, который ни по происхождению, ни по унаследованным или приобретенным качествам не возвышался над землей и на два пальца, осмеливался поносить позорными именами человека, который был настоящим христианином и настоящим кабальеро; и в особенности потому, что видел, как недосягаемо было всякое средство против всего этого. Что можешь ты сказать мне на это?

— Во-первых, — ответил я, — что церковь уже очень тщательно обсуждала это; и, во-вторых, что тот, кто приобщен крещением к христианской вере, не должен поддаваться или настолько терять бодрость ни из-за какого случая или несчастья, какое с ним приключится, чтобы отпадать от этой веры.

— Во всем этом я с тобой согласен, — сказал турок. — Но какое человеческое терпение может вынести, чтобы человек низкий, без достоинств и неродовитый, происхождение которого настолько темно, что в стране забыли о начале его рода и потерялась память о его предках, — чтобы такой человек возгордился, становясь выше людей с большими заслугами и достоинствами, чем его?

— Так как Бог — праведный судья в таких делах, — ответил я, — то, если Он допускает оскорбление здесь, Он не откажет в награде там, хотя я утверждаю, что такое оскорбление может заключаться не в статутах, касающихся церковных дел, потому что там все это очень точно определено, а только в порочном намерении того, кто хочет обесчестить людей, которых он видит возвышающимися и преуспевающими на высоких и наиболее почитаемых поприщах.

— Они, — сказал мавр, — не будучи в состоянии сравняться с людьми, обладающими столь великими достоинствами, пользуются случаем, чтобы преступать статуты благодаря своей злонамеренности, и делают это не для того, чтобы укрепить их, не для того, чтобы служить Богу или

церкви, а чтобы кичиться старыми грамотами, как они говорят. И они почитают великим подвигом пустить клевету, они распространяют молву, которую зависть переносит с языка на язык, пока не уничтожат того, кого видят стоящим выше их, — а так как их происхождение было всегда настолько темным, что в нем не видно было ничего, что облагораживало бы их, и так как нищете никто не завидует, то их оставляли в покое, не зная, кто они, считая их за старых христиан, потому что их не знали и даже не имели сведений, что такие люди существовали на свете.

— Церковь, — сказал я, — устанавливает статуты не для того, чтобы лишать чести ближних, а для того, чтобы служить религии как можно лучше, соблюдая ее в добродетели и положенном благочестии.

Мой господин собирался мне ответить, но так как турчонок перестал петь, он велел мне замолчать и опять спросил меня о том, с чего начал. Я коротко ответил ему на все, сказав:

— Я горец из окрестностей Сантандера, из долины Кайона, хотя родился в Андалусии; зовут меня Маркос де Обрегон; не знаю никакого ремесла, потому что в Испании идальго этому не обучаются, ибо они скорее предпочитают терпеть нужду или служить, чем быть ремесленниками; благородство гор было добыто оружием и сохранялось военной службой королям; и не должно марать его, занимаясь низкими ремеслами, потому что там довольствуются тем немногим, что имеют, испытывая самое худшее, но сохраняя законы идальгии, заключающиеся в том, чтобы ходить рваным и обтрепанным, но в перчатках и в чулках с подвязками.

— Ну, я сделаю так, — сказал мой господин, — что вы очень хорошо научитесь ремеслу.

Тогда один из моих товарищей, ставший гребцом, ответил:

— Этого, по крайней мере, не сделаю я, потому что не должны в Испании говорить, что идальго из рода Мантилья занялся в Алжире ремеслом.

— Как, собака, — сказал мой господин, — ты на веслах и продолжаешь думать о тщеславии? Дать этому идальго полсотни палок.

— Я умоляю вашу милость, — сказал я, — простить его невежество и тщеславие; потому что он больше ничего не умеет, он не идальго и не имеет к идальго большего отношения, чем это самомнение, состоящее у него не в поступках, подобающих идальго, а только в разговорах об этом, для того чтобы есть, не трудясь. И это не первый бродяга, какие бывали в этой семье, если он из нее. — А ему я сказал: — Глупец, разве сейчас подходящее время и положение, чтобы мы могли отказываться от того, что нам прикажут? Теперь мы должны научиться быть смиренными, потому что повиновение подчиняет нашу волю желанию другого. Подчиненная воля не может иметь выбора. В тот момент, когда человек теряет свободу, он перестает быть господином своих поступков. У него есть только одно средство, чтобы быть немного свободным, — это приучить себя к терпению и смирению, а не ждать, чтобы нас принудили делать то, что неизбежно придется делать. Если мы теперь же не начнем привыкать к терпению, то мы сделаем это благодаря наказанию. Ибо повиноваться высшему — это значит сделать его нашим рабом. Как смирение порождает любовь, так гордость порождает ненависть. Расположение к рабу должно рождаться из благосклонности господина, а она приобретается кротким смирением. Здесь мы рабы, и если мы смиримся, чтобы исполнить нашу обязанность, с нами будут обращаться как со свободными, а не как с рабами.

— О, как ты хорошо говоришь! — сказал наш господин. — И как я рад, что встретился с тобой, ибо ты можешь стать наставником моего сына, потому что пока я не встретил такого христианина, как ты, я не мог найти для сына наставника, так как здесь нет никого, кто знал бы правила, которым у христиан обучают малолетних.

— Действительно, — сказал я, — он такой прекрасный ребенок, что я хотел бы быть пригодным и знать много, чтобы сделать его большим человеком; но ему недостает

одной вещи, чтобы стать таким совершенным и выдающимся.

К этому разговору внимательно прислушивались другие мавры, и отец спросил:

– Чего же ему недостает?

– Того, что лишнее для вашей милости, – ответил я.

– Что же для меня лишнее? – сказал отец.

– Крещение, – ответил я, – потому что оно перестало быть вам нужным.

Он схватил палку, чтобы ударить меня, но в тот же момент я схватил мальчика, чтобы прикрыть себя им. Палка выпала у него из рук, на что все рассмеялись, а у отца смягчился гнев, из-за которого он мог бы ударить палкой собственного сына. Он притворился очень рассерженным, чтобы не уронить себя перед товарищами или солдатами, которые считали его в самом деле великим блюстителем собачьей или турецкой веры, хотя я почувствовал, несмотря на то что очень мало знал его, что он склонен вернуться к католической истине.

– Ради чего, по-вашему, – сказал он, – я прибыл из Испании в Алжир, как не для того, чтобы опустошать все эти берега, как я делал всегда, когда мог? И я буду причинять гораздо больше зла, чем причинял до сих пор.

Так как думали, что он рассержен, то хотели отправить меня на весла, но он сказал:

– Оставьте его, потому что каждый обязан заступаться за свою религию; и, будучи турком, он поступил бы точно так же, как поступает теперь.

– Да, поступил бы, – сказал я, – но не будучи мавром.

И чтобы еще больше успокоить свое раздражение, он велел мне взять гитару, которую мы захватили из пещеры; я сделал это, вспоминая о пении сынов Израиля, когда они шли в свой плен. В то время как я пел под звуки своей гитары, они плыли с попутным ветром, очень веселые, не встречая ни перемены на море, ни помехи со стороны врагов, пока не показались башни на берегу Алжира, а потом и город. Так как их считали уже погибшими, то, увидев, что

это были галеоты ренегата, их встретили с великим ликованием. Они вошли в гавань, и когда там узнали, что он возвратился и даже с добычей, радость была так велика, что его встретили громкими радостными криками, играли на трубах и хабебах и других инструментах, какие у них в употреблении, больше производя беспорядочный шум, чем доставляя удовольствие ушам. Встретить ренегата вышли его жена и дочь, настоящая испанка по внешности и изяществу, белая и белокурая, с красивыми зелеными глазами, так что она в самом деле больше была похожа на уроженку Франции, чем на выросшую в Алжире; она обладала немного орлиным носом, веселым и очень приятным лицом и прекрасной фигурой. Ренегат, бывший человеком разумным, всех своих детей обучил испанскому языку, на котором с ним и заговорила с большой нежностью его дочь, причем слезы бежали по ее зарумянившимся щекам, ибо раньше им сообщили дурные вести, а теперь радость вызвала эти слезы из сердца. Я выказал им очень большую почтительность, дочери прежде, чем матери, потому что природа склонила меня к ней с великой силой. Я сказал своему господину:

– Я считаю, сеньор, очень счастливым свой плен, так как помимо того, что я встретил столь благородного кабальеро, он сделал меня рабом такой дочери и жены, скорее похожих на ангелов, чем на земные создания.

– Ах, отец мой, – сказала девушка, – до чего же учтивы испанцы!

– Они могут, – сказал отец, – научить учтивости все народы света. А этот невольник в особенности, потому что он благородный дворянин из горных провинций и очень рассудительный.

– Это заметно, – сказала дочь. – Но почему же он так дурно одет? Пусть ваша милость велит ему одеться по-испански.

– Все это будет, дочь моя, – ответил отец, – мы теперь хотим отдохнуть от утомительного морского пути, раз мы вернулись свободными и невредимыми.

Глава IX

Я нашел очень приятное покровительство в дочери и матери; но в особенности в дочери, потому что, слыша, как много хорошего ее отец говорит об Испании, — так как всегда более желанно то, чего нет, — она очень стремилась видеть вещи из Испании и ее обитателей, ибо природа влекла ее по этому пути. Она обращалась со мной ласковее, чем с другими невольниками; но я служил более охотно, чем они, как потому, что я видел, так и потому, что не шел в Алжир неохотно, рассчитывая увидеть своего брата, бывшего там пленником, и мне посчастливилось, так как еще прежде, чем я осведомился о нем, я узнал, что он подговорил других рабов убить своих хозяев, а потом сесть в лодку и положиться на судьбу или, лучше сказать, на волю Божью. Так как остальные не решились на это, он один привел в исполнение свой замысел, и у него так хорошо все вышло, что он прибыл в Испанию и умер потом около Хателета; так что если бы узнали, что это был мой брат, то, может быть, это плохо отразилось бы на мне.

Я служил своим господам, насколько мог, с величайшей охотой и старанием, и моя служба была для них более приятна, нежели услуги других невольников, потому что необходимость она превращала в добродетель; и так как с самого начала я приобрел их благосклонность, я легко сохранил ее потом. Я обращался с ними с большой почтительностью и учтивостью, насилуя свою волю и принуждая ее к тому, к чему я не имел склонности, то есть к службе. Но время и необходимость научают людей, по природе своей свободных, тому, что они должны делать. Я больше страдал из-за того, чему научил меня мой характер; ибо я думаю, что подчиняться силе — свойственно характерам мужественным и благородным. Мало доблести и еще меньше благоразумия имеет тот, кто не умеет вовремя повиноваться. Для того, кто принужден служить, служить хорошо — значит овладеть своей судьбой; а плохо повиноваться высшему — значит подвергать опасности свое спокойствие и

жизнь. И в конце концов спокойно живет тот, кто, служа, делает, что может. Хотя я был обласкан своими господами, я не переставал из-за этого разделять милости с другими пленниками, а они со мной свои бедствия. Чтобы успокоить зависть, надлежит прилагать эти старания и другие, еще большие. Ибо нет людей, которые больше руководились бы завистью, чем невольники, преследующие равных себе и пренебрегающие честью и имуществом своих господ. Из тех, которые прошли через это несчастное положение, я видел немногих, не имеющих какой-нибудь позорной привычки.

Я заметил, что девушка, моя госпожа, помимо ее хорошего обращения со мной, всегда, когда она проходила там, где я мог ее видеть, изменялась в лице и у нее дрожали руки, так что иногда казалось, будто она ударяет по клавишам. Сначала я приписал это ее большой скромности; но благодаря постоянству, с каким это происходило, и той опытности, какой я обладал в подобных случаях, — а она была немалой, — я распознал ее болезнь. Каждый день она отдавала мне миллион приказаний, отдавать которые было не ее дело и не мое дело исполнять; но я признаюсь, что я радовался в душе возможности услужить ей и хотел, чтобы она приказывала мне еще больше. Всевозможные безделушки, какие попадали в мои руки или я сам делал, оказывались в ее руках, причем она говорила, что они были из Испании; дошло до того, что однажды, остановившись с красным как мак лицом, она сказала мне, что, если бы из Испании не прибыло ничего другого кроме того, кто ей давал эти вещи, ей было бы достаточно и этого; и сейчас же бросилась бежать и спряталась.

Я этими милостями был чрезвычайно тронут; но я подумал о положении, в каком я находился, и о том, что, когда мне нужно было думать о свободе для тела, я мог потерять свободу души и что наименьшей бедой, какая могла случиться со мной, было бы остаться в доме в качестве зятя. Я одумался и в одиночестве упрекал себя; но чем больше я возражал себе, тем меньше я находил в себе стойко-

сти. Средство против этих страстей скорее заключается в том, чтобы оставить их, как они есть, чем копаться в них, ища забвения или пути к нему. Я замечал, что в то время, когда эти страсти входят в человека, они охватывают его настолько, что делают не способным ни к чему другому. Я убеждал себя, что я мог бы нести это приятное бремя, чтобы развлечься, но опытность уже научила меня, что любовь — это король, сила которого увеличивается, если дать ему власть. И я возражал себе в своих собственных мыслях, что не может быть неблагодарным тот, кто всегда хвастался противным. Хотя при этом мне представлялось подозрение, которое могло бы появиться у родителей, если бы они заметили какое-нибудь доказательство взаимной склонности; меня отталкивало от этого еще то, что я находился среди врагов моего народа и веры, что я дурно ответил бы на любовь, какую выказывал ко мне отец, поручивший мне своего сына, чтобы я воспитал его, и кроме того и больше всего то, что она не была крещена. В конце концов я решил, что, хотя бы я сгорел от страсти, я не должен засматриваться на нее.

Бедная девушка, заметив во мне перемену, приняла ее с большой печалью в сердце, чувствах и глазах, этих желобах и светочах души; румянец сбежал с ее лица, появилась молчаливость и робость в обращении. Ее спрашивали, что с ней, и она отвечала, что это болезнь, какой у нее никогда не было раньше и какой она не знала и не могла сказать, что это такое. Ее спрашивали, не хочет ли она чего-нибудь. Она отвечала, что то, чего ей хотелось, — было невозможно, ибо ее единственным желанием было видеть Испанию. Так между смехом и грустью это превращалось в меланхолию до такой степени, что, против своей воли, она слегла в постель, вследствие чего она не могла увидеться с тем, кого она желала видеть, и туда никто не входил к ней, кроме одних только женщин и этих евнухов, бдительнейших людей, которые служат с великим старанием, словно потому, что сами лишены наслаждения.

Девушки не имеют мирской опытности и не умеют управлять своими страстями и желаниями. Когда им недостает того, что им нравится и чего они желают, то им кажется, что им недостает неба и земли, и они готовы на какой-нибудь позорный поступок, чтобы удовлетворить мучающее их томление. Поэтому для тех, которые привыкли, чтобы за ними ухаживали, самое полезное — выдать их замуж или лишить их возможности видеть мужчин и быть видимыми; сильнее влияет страсть на нетронутую кровь, чем на сердца, которые знают, от чего должны они оберегаться. Если посевам не хватает воды, когда они наливаются, это им не приносит большого вреда, но если ее не хватает, когда они нежные, то они сейчас же увядают и становятся желтыми. И все в природе следует по этому пути. Девушки, не умеющие любить и забывать, от какой-нибудь неприятности увядают, как случилось и с этой девушкой, которую я любил больше, чем она думала.

Глава X

Наконец начали эту девушку лечить от меланхолии, применяя тысячу лекарств, которые приносили ей вред; а так как она пользовалась большой любовью за свою красоту и характер, то по всему Алжиру распространилась весть об ее болезни, сильно всех огорчившей.

Зная причину ее меланхолии так же хорошо, как и причину моих страданий и притворства, и размышляя, как бы мне можно было увидеть и утешить ее, я решил, что мне нужно сказать ей о своей любви в присутствии отца и матери так, чтобы они этого не заметили, и что они сами должны меня привести к ней для этого. Решившись на это, я сказал своему господину, что в Испании от одного великого мужа я научился некоторым словам, которые, будучи сказаны на ухо, исцеляют от любой меланхолии, как бы глубока она ни была; но что эти слова должны быть приняты с великой верой и сказаны на ухо так, чтобы их не слышал никто, кроме больного. Отец сказал мне:

— Излечи мою дочь, каким бы способом это ни было.

Мать с такими же жадностью и желанием попросила меня, чтобы я сейчас же сказал ей эти слова.

Одевшись возможно чище и наряднее, потому что чистота и опрятность всегда помогают возбудить любовь, я вошел туда, где женщины окружали больную; и когда я входил, отец и мать сказали ей:

— Дочь, ободрись и отнесись с большой верой к этим словам, потому что вот идет Обрегон исцелить тебя от твоей меланхолии.

И, приказав всем удалиться, я с большой почтительностью и вежливостью приблизился к уху больной и произнес ей следующее заклинание:

— Госпожа моя, притворство этих дней было вызвано не забвением, не равнодушием, а лишь осторожностью и уважением к вашей чести, потому что я люблю вас больше жизни, которая меня поддерживает.

Сказав ей это, я отошел от нее; и сейчас же с небесной прелестью она открыла свои божественные очи, отчего возрадовались сердца всех присутствовавших, а она сказала:

— Возможно ли, что до такой степени могущественны испанские слова? — потому что уже шесть дней она не произносила ни одного слова.

Но все это имело своим последствием мое недовольство, потому что когда молва о способе лечения распространилась, то другие, ставшие меланхоличками по различным причинам, захотели, чтобы я их лечил, причем я не знал, ни как я мог бы это сделать, ни происхождения их болезней, как это было в данном случае.

Все радовались и восхваляли силу слов, вежливость и скромность, с какой я их произнес. Девушка хотела немедленно встать благодаря целительному действию заклинания; но я сказал ей:

— Ваша милость уже начала выздоравливать, и нехорошо, что вы так быстро ведете себя как здоровая; будьте спокойны, потому что я опять приду сказать эти слова и еще

другие, гораздо лучшие, когда вашей милости будет угодно и мой господин даст позволение.

Так что я повторил это много раз, прежде чем она встала, и создал себе славу, что я обладал даром излечивать меланхолию. Все радовались, видя ее здоровой, а я гораздо больше всех, потому что я неясно любил ее.

В это самое время была больна меланхолией одна знатная сеньора, молодая и очень красивая, бывшая замужем за одним очень могущественным кабальеро города. И так как болезнь усиливалась, то она впала наконец в такую глубокую меланхолию, что не хотела никого видеть и с кем-либо разговаривать. И вот, когда до ушей мужа дошла весть о здоровье, возвращенном дочери моего господина, он прислал сказать, чтобы к нему привели этого невольника, который умеет исцелять от меланхолии. Мой господин, чтобы доставить ему удовольствие, сказал мне:

— Ты должен быть счастлив, потому что такой-то — выдающийся кабальеро, имеющий большое влияние в Алжире и у Великого Турка, — прислал сказать мне, чтобы я привел тебя лечить от меланхолии его жену; тебе доставит удовольствие увидеть ее, так как она любезна и красива.

— О сеньор, — сказал я, — пусть ваша милость мне этого не приказывает, потому что если я один раз сделал это, так потому, что видел, как ваша милость мучилась из-за болезни дочери; и ваша милость хорошо знает, как плохо здесь принимается то, что говорится и делается благодаря силе истинной веры.

— Необходимо, — сказал он, — сделать это, ибо для меня очень важно приобрести расположение этого человека.

— Сеньор, — сказал я, — пусть ваша милость извинит меня перед ним, потому что не на всех эти слова производят одинаковое действие; ибо необходимо иметь такую же веру в них, какую имела дочь вашей милости, а эта сеньора может не обладать ею.

Оправдывая себя, я привел ему еще много других причин, чтобы посмотреть, не смогу ли я избавиться от этого. Он пошел говорить с этим кабальеро, чтобы освободить меня, но чем больше он старался избавить меня, тем больше

тот настаивал на этом и наконец сказал, что если я не захочу идти, то он пригонит меня палочными ударами.

— Ах я несчастный! — сказал я. — И кто сделал меня хирургом или врачом меланхолии? Что я знаю о рецептах и заклинаниях? Как я теперь смогу выйти из этого столь затруднительного положения? Ведь или она должна избавиться от меланхолии, или я принужден буду страдать ею всю свою жизнь. Говорить ей о любви, как этой, ни я не смогу, ни она меня не поймет, ни болезнь ее не относится к этому роду; а говорить ей на ухо о святых и об истинной вере — это значит еще удвоить для нее болезнь, а для меня палочные удары, хотя Бог и обладает могуществом, чтобы превращать камни в хлеб, а язычников в христиан.

Наконец я ободрился и решился, причем я взял своего господина в качестве языка, а он меня в качестве жабьей травы. А чтобы сделать лечение более удачным, я взял под сальтамбарку гитару, стараясь всеми возможными средствами справиться с лечением и для этого применить все необходимые лекарства; поэтому, войдя с очень непринужденным видом и ободряя себя, я сказал ей:

— Ваша милость, сеньора, без сомнения, выздоровеет, потому что слова, какие я говорю, годны только для излечения очень красивых, а ваша милость — прекраснейшая. Я надеюсь, что ваша милость будет вполне здорова и мое лечение будет успешным.

Она хорошо приняла это заклинание, которое действует на женщин особенно сильно. И потом я сказал ей:

— Пусть ваша милость сильно поверит в эти слова и вообразит, что болезнь уже изгнана.

Этим я заставил ее укрепиться в сильной вере, а всех окружающих привел в изумление. Подойдя к ней, уже очень поддавшейся своему воображению, я сказал ей на ухо величайший вздор, который заучил, слушая логику в Саламанке:

Barbara Clarent Darii Ferio Baralipton
Celantes Dabitis Fapesmo Frisesomorum[1].

1 Непереводимо. См. в комментариях.

И потом, достав гитару, я спел ей тысячу всякого вздора, которого она не понимала, а я ей не объяснял. Была так велика сила ее воображения, что еще раньше, чем я вышел оттуда, она смеялась и просила меня, чтобы я почаще приходил к ней и дал бы ей эти слова, написанные на ее языке

Я воздал благодарение Богу, видя, что избавился от этого затруднения, и искал способа, чтобы мне больше не лечить. Но так как я приобрел известность, то, если иногда приходили за мной, я притворялся, что у меня болело сердце, и таким образом избавлялся. Но мне остается рассказать о ревности, какая появилась у моей молодой госпожи, потому что, думая, что другой я сказал те же самые слова, что и ей, она плакала от ревности. Так как я мог говорить с ней, я успокоил ее, потому что она верила всему, будучи девушкой не многих лет и еще меньшей опытности; а так как я любил ее больше всего на свете, меня огорчало, если мои поступки могли причинить ей малейшее неудовольствие. Однажды, когда ее родителей не было дома, благодаря доверию, какое они мне оказывали, и так как мне было сказано, что я мог говорить при слугах, потому что они не понимали испанского языка, я сказал ей:

— Госпожа моя, какое несчастье для вас и какая счастливая судьба для меня сделали так, что вы, будучи ангелом по красоте, по нежному возрасту и очень зрелому благоразумию, отдали вашу любовь и желание человеку, обремененному годами, лишенному достоинств и заслуг? Как, будучи достойной самого лучшего и выдающегося человека на свете, вы не отказались принять на служение вам человека побежденного и подавленного всеми бедствиями, какие судьбе угодно было причинить ему? Как этот выброшенный яростью моря червь, раздавленный ударами судьбы, в жалком рабстве, смог найти в вашем невинном сердце столь высокое убежище? Как та цель, на которую направлены взоры и помыслы всех, могла обратить свои взоры на того, кто удовольствовался бы долей вечно быть ее рабом? Ведь само собою разумеется, что никогда я не мог вообразить себе, что я мог бы запятнать ваше целомудрие или что жела-

ние будет простираться так далеко, — но благодаря таким великим и незаслуженным милостям я возношусь до мысли, будто я представляю собой нечто, не будучи достойным того, чтобы ваши глаза снисходили взирать на меня.

Ее лицо загорелось нежнейшим кармином, руки ее начали дрожать, и со стыдливой застенчивостью она ответила мне таким образом:

— На первый вопрос я скажу вам, сеньор мой, что я не знаю, что отвечать, потому что все это возникло без старания, без выбора, неведомо почему и как. А на второй я скажу, — не обращая внимания на то, что здесь могло бы быть хорошо для меня, — что, после того как я узнала от моего отца, что была крещена, я сейчас же почувствовала отвращение к тому, что могло ждать меня здесь. И если бы я была так счастлива, что могла бы стать христианкой, я не желала бы ничего, кроме этого и того, чем обладаю в настоящее время.

И, достав платок, как бы для того, чтобы вытереть лицо, она закрылась им, словно порицая себя за откровенный ответ. Она была словно белая лилия среди роз, а я молча только смотрел и созерцал это влюбленное целомудрие, производившее такое необычайное действие.

Я пришел в себя, заслышав на улице шаги ее родителей, и, взяв свою гитару, запел:

Ах, сбылись мои чудесные мечты!

Мои хозяева обрадовались, застав меня поющим, ибо, храня в душе воспоминания об Испании, валенсианец наслаждался, слушая испанские песни. Я заметил из слов девушки и по другим признакам, какие я замечал и которых не упускал из вида, что за мной ухаживали как за будущим обладателем дочери и галеот. Я продолжал обучать сына и как можно лучше наставлял его в христианских правилах, причем отец не отвергал этого, хотя боролся против христиан, причиняя огромный вред берегам Испании и Балеарским островам. Благодаря этому я пользовался некоторыми удобными моментами, чтобы поговорить с дочерью с большой вежливостью и осмотрительностью, так что нельзя было заметить ничего, что не было бы очень пристойно и скромно.

Но так как никогда такими отношениями не наслаждаются и не пользуются без случайностей и неприятностей, то и на этот раз дьявол вселился в сердце одной старой, обремененной годами невольницы отвратительного вида, с большим ртом, с отвисшей, как у овцы, губой, с немногими коренными зубами или совсем без них, с гноящимися глазами, сгорбившейся и с таким скверным характером, что она вечно жаловалась на хозяев, говоря, что они морили ее голодом. И так как я ничем не угощал ее и не давал ей того, чего у меня не было, она начала распространять дурную молву относительно скромности девушки и вежливости моего обращения с ней, вследствие чего родители заставили девушку прекратить беседы со мной, вместе с тем сильно стеснив ее и лишив прежней свободы. Благодаря этому проклятая старуха вообразила, что, снискав таким путем расположение хозяев, она станет жить лучше, чем жила до сих пор. Но все случилось иначе, чем она думала, потому что любовь обладает великой способностью раскрывать тайны, и при помощи немногих приемов я обезвредил сплетню рабыни и в то же время сделал так, что об этом узнала дочь, которую ее родители настолько любили, что поверили всему, что она говорила против рабыни, так что та больше никогда не входила туда, где находились женщины, и не ела и не пила с удовольствием все время, пока я был там; это было справедливым возмездием за сплетню.

И если бы плохо принимали и еще хуже вознаграждали всех, кто распространяет сплетни, то люди жили бы в большем мире и спокойствии. Потому что если бы сплетники знали, какими уйдут они от того, кому передают сплетню, они тогда скорее предпочли бы быть немыми, чем болтунами. А те, которые их слушают, если они хотят быть в курсе дела, скоро ясно заметят, что сплетники передают сплетню не потому, что желают добра выслушивающему ее, а лишь желая зла тому, о ком они говорят, и чтобы отомстить за ненависть к ним чужими руками. Сплетня — это лесть, заро-

дившаяся в низких душах, которая приносит досаду тому, кто ее слушает, и лишает доверия того, кто передает ее. Все люди на свете, кроме сплетников, считают справедливым хранить тайну. Трех лиц оскорбляет сплетня: того, кто ее говорит, того, кому она говорится, и того, о ком говорится. Эта сплетня огорчила родителей, сделала ненавистной старуху, причинила страдания бедной девушке, а меня на время лишила того расположения, какое выказывали ко мне, и уважения, с каким обращались со мной. Ренегат был человеком рассудительным, и хотя обошелся с дочерью так строго, но по отношению ко мне он притворился, ничем не обнаруживая своего гнева против меня, пока не убедится в правильности дела. Однако он заставил меня опуститься до унизительных работ, как, например, носить воду и выполнять другие подобные обязанности, скорее, впрочем, чтобы видеть мое огорчение или смирение, чем для того, чтобы долго держать меня на такой работе.

Очень хорошо поняв его, я делал с величайшей охотой и покорностью все, что он мне ни приказывал, плохое или хорошее, стараясь рассеять подозрение, с которым он жил; ибо, чтоб вырвать из сердца подозрение, задевавшее честь, необходимо пользоваться тысячей хитростей, которые не были бы похожи на истину и не были бы очень далеки от нее. Принять грустный вид — это новость, которая бросается в глаза. Оказывать услуг больше, чем обычно, — значит дать повод убедиться в правильности подозрения. Середина, которую должно соблюдать, достигается только смирением и терпением, и даже это не должно выходить за пределы обычного поведения. Я делал все, что мне приказывали, не изменяя того доброго желания и печали, с какими я делал это раньше.

Очень покорно с большим смирением я ходил за водой к источнику, который называется источником Бабасон, вода которого очень приятна и очень ценится в этом городе. От этого источника питается огромное количество садов, виноградников и оливковых рощ, доставляющих большую пользу и удовольствие. Когда я был там, один турок расска-

зал мне, что неизвестно, где рождается и откуда идет эта вода, потому что когда два турка и два пленника с величайшей опасностью провели ее с высот этих гор и хребтов, то бывший в то время король или вице-король вознаградил их за труд гарротой, чтобы они никогда не могли разгласить тайны, благодаря которой они могли бы лишить их столь полезной для города воды; потому что во время осады крепости самый большой вред, какой могут причинить ей, чтобы она сдалась или была взята, — это лишить ее воды. И они живут там с такой осторожностью, что всякий вице-король старается узнать какое-нибудь новое изобретение, чтобы лучше укрепить город, до такой крайности, что по пятницам, когда жители идут в свои мечети, они оставляют женщин и невольников запертыми, чтобы предохранить себя от измены, потому что только мужчины идут в храм, оставляя хорошо запертыми свои дома и своих жен в безопасности.

По этому только рассказу может показаться, что было очень легко говорить с девушкой, когда она была заперта снаружи, а невольники входили прислуживать женщинам, тоже запертым. Но это не так, потому что хозяева уходят настолько уверенными в невозможности причинить им вред, тайный или открытый, оставив для защиты своих домов такую сильную охрану, что даже если бы дьявол захотел дать возможность осуществить такое желание, то было бы легче разграбить весь город, чем совершить предательство в одном частном доме. Потому что они оставляют в качестве охраны такой род мужчин, которые не являются мужчинами, пригодными для этой цели, и непохожи на мужчин лицом; или ради того, чтобы похвастаться своей исключительной верностью, или чтобы не дать возможности другим сделать то, что сделать сами они лишены возможности и что могло бы случиться, хотя и не случается, — но они настолько бдительны в охране порученного им, что никаким путем не допускают ни небрежности, ни обмана. И хотя я желал бы воспользоваться обманом, но, имея уже сведения и познания о непреодолимой бдительности этих

искусственных уродов, я не захотел подвергать себя испытанию этого, прежде чем сам евнух или хранитель дам не упрекнул меня за то, что я не хотел войти туда, где находились женщины, как человек, который уже пользовался доверием в этом. На это я отвечал ему, что не надлежит мне делать того, что не принято в моей стране, где не допускалось, чтобы мужчины были вместе с женщинами. И в заключение я обходился с этим шпионом с такой любезностью, что не нашли к чему придраться, чего именно и желал мой господин; а евнух, несмотря на свой дурной характер, всегда был хорош со мной, — хотя этот род людей очень оклеветан в нашей стране как злонамеренный, но я не знаю, справедливо ли это, потому что откровенность, с какой они не скрывают своего состояния, я думаю, вызвана тем, что это состояние скорее заставляет их всегда оставаться детьми, чем быть злонамеренными. Это относится к тем, которые не занимаются музыкой, потому что среди занимающихся ею я встречал многих очень умных и талантливых, каким был Примо, имевший приход в Толедо, и каким является Луис Онгеро, капеллан его величества, и другие такого же характера и способностей, так что я умолкаю, чтоб избежать многословия.

Глава XI

Так как мой господин был очень доволен здоровьем своей дочери и удовлетворен моей верностью, все вернулось в свое первоначальное положение, а я опять приобрел репутацию и уважение, с какими ко мне обычно относились. Девушка на самом деле была немного меланхоличной, а мать очень раскаивалась, видя ее расстроенной настолько, что дочь удалялась от нее, становясь раздраженной и капризной. Мать все думала о том, как бы доставить ей удовольствие, изыскивая способы, чтобы развеселить и успокоить ее, потому что та ходила нахмуренная, а это всех нас очень тревожило — меня из-за любви, а остальных из-за бо-

язни, что она может опять заболеть от этой тоски. Наконец, так как они прилагали все старания, чтобы вернуть ей хорошее расположение духа и веселость, мать сказала моему господину, чтобы он приказал мне повторить дочери те слова против меланхолии, потому что она не находила другого средства, чем бы развеселить ее; он приказал мне это, а я им сказал:

— Без сомнения, эта грусть должна быть вызвана каким-нибудь огорчением, и поэтому нужно будет часто повторять ей эти слова, чтобы вырвать у нее из сердца причину ее болезни, при этом нужно будет задать ей несколько вопросов, из ответов на которые лучше можно определить ее страдания.

Поэтому мне предоставили достаточно времени говорить с нею и сказать ей и первое заклинание, и другие, еще лучшие, на что она отвечала очень рассудительно, оставшись очень довольной, когда я сказал ей, что истинное здоровье, и радость, и душевный покой должны прийти к ней от воды крещения, которым пренебрег ее отец. И, хорошенько наставив ее в этом, я удалился от нее, после того как я говорил, а она отвечала в течение получаса. Мать обрадовалась тому, что видела; она попросила меня, чтобы я обучил ее этому заклинанию, на что я ей ответил:

— Госпожа, эти слова может произносить только тот, кто побывал в Гибралтарском проливе, на Рязанских островах, на Геркулесовых столпах, на сицилийском Монхибело, в бездне Кабры, в подземной галерее Ронды и в коррале де ла Пачека, ибо в противном случае появятся адские призраки, которые ужаснут каждого.

Я сказал это и много другого вздора, чем отбил у нее охоту узнать заклинание.

Хотя у меня и было благодаря этому некоторое развлечение, все же я чувствовал себя лишенным свободы, в жалком рабстве, среди врагов истинной веры и без надежды на освобождение. Поэтому любовь возрастала у девушки и уменьшалась у меня, ибо это страсть, которой нужны сердца и души праздные и беззаботные, свободные от всякого

труда и хлопот; какое же действие может оказать праздная любовь на погруженную в труды душу? Какое удовольствие может найти тот, кто сам живет безрадостно? Как может ухаживать за своей дамой тот, кто сделался любовником благодаря ударам судьбы? Как могут выходить нежности из уст, через которые входит столько глотков горечи? Наконец, любовь стремится к уединению и хочет, чтобы к ней подходили только молодые, без обязанностей, без благоразумия и без принуждения, и хотя эти юноши таким образом предаются пороку и распущенности, нарушающим спокойствие тела и души, то тем более это касается человека, находящегося под властью стольких бедствий, наблюдаемого столькими глазами, робкого из-за стольких свидетелей.

Я был очень грустен, хотя очень услужлив по отношению к своему господину и исполнял все его приказания с таким усердием и любовью, что обязанности с каждым днем увеличивались вместе с любовью моих хозяев; но его огорчало видеть меня грустным и огорченным, что было заметно по лицу, хотя и не обнаруживалось в моей службе. Поэтому, когда наступил июньский Иванов день, в который мавры или из подражания христианам, или благодаря тысяче заблуждений, какие существуют в этой секте, устраивают празднества, сопровождающиеся величайшим весельем, с новыми развлечениями на конях и пешими, ренегат сказал мне:

— Пойдем со мной не как невольник, а как друг, потому что я хочу, чтоб ты на свободе повеселился на этих празднествах, какие сегодня устраиваются в честь пророка Али, которого вы называете Иоанном Крестителем, чтобы ты развлекся, видя таких превосходных наездников, столько праздничных одежд, шелковых, горящих золотом марлот, тюрбанов, ятаганов, молодцеватых всадников, потрясающих копьями в обнаженных и красных от бирючины руках. Посмотри на благородных дам, блистающих одеждами и драгоценными камнями, с большим достоинством оказывающих милости кавалерам, показываясь у окна, делая им подарки и выказывая иными способами свою благосклонность, посмотри на группы благородных рыцарей, которые под предводительством своего вице-короля украшают собой весь берег как моря, так и рек; как ловко играют они копьями и, метнув их, с какой легкостью они подхватывают их с земли, не сходя с коня.

На все это я разразился слезами, не будучи в состоянии ни сдержать, ни скрыть страданий и огорчений, причиненных мне этими празднествами. На это мой господин, обернувшись ко мне и видя меня заливающимся слезами, сказал:

— Что это, в то время как все радуются не только среди мавров, но и во всем христианском мире, и в то утро, когда все теряют рассудок от преизбытка веселья, ты проливаешь слезы? Когда кажется, что даже само небо дает новые примеры ликованья, ты празднуешь это плачем? Что ты находишь в этом такого, что может тебя огорчать или что не может доставить тебе большого удовольствия?

— Этот праздник, — ответил я, — чудесно хорош, и до такой степени, что, будучи самым веселым, он заставляет меня вспоминать о многих, какие я видел при дворе величайшего в мире монарха, короля Испании. Я вспоминаю о богатстве и блеске, о нарядах и одеждах, о цепях и драгоценностях, какие в это утро сверкают на знатных вельможах и кабальеро. Я вспоминаю, как в такое же утро, как это, я видел появление герцога де Пастрана на коне. С лицом скорее ангела, чем человека, на высоком седле он был похож на кентавра, на тысячу ладов проявляя свою ловкость и влюбляя в себя всех, кто смотрел на него. Вспоминаю знатного придворного, дона Хуана де Гавирья, утомлявшего коней, одетого в роскошное платье, показывавшего себя очень храбрым и отважным кабальеро; вспоминаю об его одаренности, потому что в молодые годы он поднялся на вершину того, чего можно желать в отношении верховой езды. Вспоминаю дона Луиса де Гусман, маркиза де Альгава, который заставлял дрожать арены, где он встречался с необузданной яростью ревущих быков; его дядю, маркиза де Ардалес, дона Хуана де Гусман, образец отваги и ловкости

для всего рыцарства; такого знатного вельможу, как дон Педро де Медичи, который с пикой в руках или убивал быка, или покорял его; графа Вильямедиана, дона Хуана де Тасис, отца и сына, потому что вдвоем они шпагами разрывали быка в клочья. Вспоминаю о множестве молодых кабальеро, изумлявших смелостью, побеждавших ловкостью, очаровывавших любезностью. А так как за этим утром следовало на другой день празднество быков, я вспоминаю обо всем смутно. Празднество, какого не устраивал и не устраивает ни один народ, кроме испанского, потому что все считают крайним безрассудством отваживаться выступать против животного, настолько свирепого, что, будучи раненым, оно бросается на тысячу людей, на лошадей и на копья и пики, и чем больше наносят ран этому животному, тем яростнее оно становится. Ведь никогда в древности не было празднества, представлявшего такую опасность, как это; и настолько отважны и смелы испанцы, что, даже будучи ранены быком, они возвращаются к столь явной опасности, как пешие, так и всадники. Если бы мне пришлось рассказать о всех подвигах, какие я видел на подобных празднествах, и вспоминать благородных кабальеро, равных только что названным во всем, как в доблести, так и в достоинстве, то поблек бы и этот праздник, и все, какие устраиваются на свете.

Здесь отшельник сказал мне:

– А как же не упомянула ваша милость о том празднике, какой устроил в Вальядолиде дон Филипп Любимый, по случаю рождения принца, нашего сеньора?

– Потому что я не должен был, – ответил я, – рассказывать, как бы пророчествуя о том, что тогда еще не произошло; но это празднество было самым оживленным и пышным, какое видели смертные и в котором проявилось величие и процветание испанской монархии. Потому что если другой, развратный император велел покрыть золотыми опилками землю, по которой он ступал, выходя из своего дворца, то золотом, какое вышло в этот день на арену, можно было бы покрыть ее всю, как песком. И если говорят, – чтобы возвеличить отвагу Рима, – что в битве при Каннах, в Пулье, наполнили три мойо перстнями знатных воинов, то цепями, перстнями и пуговицами в этот день можно было бы наполнить тридцать фанег, – это не считая того, что оставалось под охраной в частных домах. В этот день все послы королей и государств ожидали грандов Испании и цвет и красу рыцарства, ибо они были изумлены и восхищены при виде ловкости, с какой все владели пиками, поворачивая коней; потому что хотя ранить быка сзади – большая ловкость, и так поступают другие народы в охоте на львов и других зверей, но в этот день были и такие, которые у самых ворот загона для быков ждали, когда с наибольшей яростью и быстротой выскочит бык, и убивали его пикой, лицом к лицу, как, например, дон Педро де Баррос. Хотя в этом играет большую роль смелость и счастье, но играет также роль умение и искусство, чему научает соединенная с глубоким размышлением опытность. В конце концов эти празднества привели в восхищение послов и всех присутствовавших, в особенности же вид молодого короля – дона Филиппа III Любимого, который, находясь во главе своей квадрильи, руководил с такой великой точностью, благоразумием и отвагой, что часто исправлял схватки на копьях, в которых делали ошибки очень опытные рыцари. Было такое множество коней и квадрилий, что все рыцари не могли поместиться на арене и благодаря этой тесноте иногда были недостаточно внимательны в забаве и только при помощи зрелой рассудительности молодого короля все приходило к первоначальному совершенству, так что казалось, будто им в самом деле руководят ангелы; так что в конце концов он был лучшим всадником, какой в тот день появился на арене. С тех пор усовершенствовались очень молодые и очень искусные знатные кабальеро, как дон Диего де Сильва, кабальеро, обладающий большим мужеством, проворством и изяществом, отважнейший с пикой в руках, и его храбрый брат, дон Франсиско де Сильва, который несколько дней назад, служа своему королю, умер как храбрейший солдат, и вместе с ним многие добродете-

ли, какие его украшали. Граф Кантильяна, с величайшим мужеством кладущий быка копьем насмерть; дон Кристобаль де Гавирья, превосходнейший рыцарь, и много других, о которых я молчу, чтобы не отклоняться от своей цели.

Мы продолжали смотреть на празднество турок и мавров, среди которых были превосходные наездники; но они не так велики в этом, как дон Луис де Годой, или как дон Хорхе Морехóн, алькальд Ронды, или как молодой граф Оливарес. Однако праздник был в высшей степени веселым; ибо, не имея иной радости, кроме настоящей, народ наслаждается ею со всей свободой, какой можно желать. Наконец я увидел моих сеньор, когда празднество уже подходило к концу, и мне стало от этого тяжело на душе, не потому, что я увидел их, а потому, что увидел их так поздно, — при этом девушка все время обращала взоры не на празднество, а в сторону своего отца, потому что, видя его, она видела меня. Я не мог лишить природу той бодрости и радости, какие она получает от подобных встреч. Я притворился не замечающим ее взгляда и предложил своему господину уходить, зная, что он должен был мне ответить, как он и сделал, сказав:

— Мы подождем мою жену и дочь, чтобы проводить их.

Они спустились с балкона, где находились, и мы пошли, сопровождая их; дочь шла с дрожащими руками и изменившимся цветом лица, говоря прерывающимся голосом. Отец сказал ей:

— Видишь, здесь твой врач, поговори с ним и поблагодари его за здоровье, которое он тебе обычно дает.

Мать спросила меня, как понравился мне праздник.

— Пока я не увидел моих сеньор, — ответил я, — я не видел ничего, что мне понравилось бы, хотя это и было хорошо; потому что таких изящества, красоты и стройности, как у моей госпожи и ее дочери, я больше не вижу в Алжире.

Отец рассмеялся, а они остались очень довольны; мать, которой я таким образом доставил удовольствие, охотно предоставила мне разговаривать с дочерью. Девушка попросила у меня четки, по которым я читал молитвы; я отдал их ей и, имея возможность разговаривать с нею, сказал, для чего предназначены четки и что если она действительно посвящала свое желание Святой Деве, то перед ней открывается широкий и легкий путь к достижению такого блага, как получить благодать святого крещения, чего девушка страстно желала. Я сказал ей также, что я потребую у нее отчета в этих четках, так что она должна получше хранить их и каждый день молиться по ним, и она обещала мне это делать.

Глава XII

В это время случилась замечательная и необыкновенная кража, — преступление, особенно строго наказуемое у этих людей, — которая привела в возбуждение весь город и явилась причиной большого смятения, потому что была произведена у короля или вице-короля и из денег, какие хранились у него для отправки великому властелину. И хотя были приложены величайшие старания, никаким путем нельзя было заподозрить или представить себе, кто мог быть виновником, несмотря на то что великий любимец короля обещал тому, кто раскроет это, огромнейшую сумму денег, освобождение от повинностей и свободу. Были приняты меры, чтобы тайно и без шума обыскать все дома, не позволяя никому выходить из города, и когда все это не привело ни к чему, мой господин сказал мне:

— Если бы ты нашел какой-нибудь тайный способ, чтобы раскрыть виновника этой кражи, — если я тебе скажу, кто ее совершил, — но так, чтобы ни один человек не был замешан в этот донос, — я дам тебе свободу и денег.

— Разве не годится для этого способ, — сказал я, — с подметным письмом, без подписи или с подписью?

— Это то, что я должен отвергнуть, — сказал мой хозяин, — потому что если письмо будет с подписью, то убьют того, кто подпишет и передаст его, а если оно будет без подпи-

си, то будут пытать весь город, чтобы дознаться, чье это письмо, — потому что всякое сообщение должно будет сначала попасть в руки вора, и ни в какие другие, ибо этот вор и есть именно любимец короля. Если об этом донесет какой-нибудь свободный человек, то его задушат гарротой, а если невольник, то его сожгут. Имеющиеся у меня доказательства достоверности этого велики, а характер его и его жестокость я знаю уже много лет, так как здесь больше, чем короля, боятся Гасана — его любимца; и поэтому при раскрытии этой кражи всякий обыкновенный способ послужит причиной большого несчастья. А так как он — злейший враг, какой есть у меня, и даже у всей страны, я не доношу на него и не хочу, чтобы доносил ты; это вызвало бы необычайные бедствия.

— В таком случае, — сказал я, — пусть ваша милость разрешит мне, — потому что у меня уже есть план, чтобы отомстить за вашу милость и раскрыть кражу так, чтобы никто не пострадал, — и предоставьте мне делать это, как я захочу, дав мне разрешение делать это по-моему.

Он мне позволил, и, выбрав подходящего дрозда, со всеми качествами, какими он должен обладать, чтобы хорошо говорить, я запер его в клетке в комнате, где он не мог слышать птиц, которые мешали бы ему, и там всю ночь и день учил его говорить: «Такой-то украл деньги, такой-то украл деньги». Мне пришла в голову такая хорошая хитрость, а он обладал такими хорошими данными, что через пятнадцать дней, проголодавшись, он говорил, прося есть: «Такой-то украл деньги». Таким образом, он пользовался тем, чему я его обучил, всякий раз, когда был голоден или хотел пить, потому что он забыл свою природную песню. Для большей уверенности я продержал его еще восемь дней, — чтобы дрозд лучше затвердил выученное, а я мог лучше подготовить план, какой я собирался осуществить. Его удачное выполнение имело огромное значение, чтобы освободить более сотни человек, посаженных в тюрьму в связи с кражей, невиновных в этом злодеянии, среди которых было много пленников-испанцев и итальянцев и других наций. Поэтому, видя, что мой дрозд должен стать освободителем стольких христианских узников, в одну из пятниц, когда король должен был отправиться в мечеть, я выпустил дрозда и дал ему свободу, чтобы он дал ее другим узникам.

Он взлетел на башню вместе с многими другими дроздами, и среди бессмысленной болтовни других он очень скоро начал говорить: «Гасан украл деньги», — не переставая говорить это целый день очень часто, так как видел себя на свободе, которой он так желал. Дошло до ушей короля то, что на башне говорил дрозд. Он изумился, а когда наступил час отправиться в мечеть, то первое, что он услыхал, это была новая песня моего дрозда, который очень часто повторял: «Гасан украл деньги, Гасан украл деньги». Он сейчас же подумал, что раз это преступление было таким таинственным, то в этом крике дрозда должна быть доля истины, и ему пришло в голову, что если существуют прорицатели в делах великой важности, то великий Магомет мог послать какого-нибудь духа из тех, каких он держит около себя, чтобы раскрыть это дело, дабы не страдало столько невинных. Но, чтобы не приниматься без совета за расследование этого дела, он созвал некоторых прорицателей или астрологов, уже знавших о том, что было возвещено дроздом, и потребовал, чтобы они сказали ему свое мнение. Они высказали свое суждение, и оно так хорошо совпало с мнением дрозда, что король приказал схватить своего любимца, и после того, как тот на пытке сознался и были найдены все деньги, он лишил любимца своей благосклонности и казнил его, что вызвало большое одобрение и радость во всем городе, потому что к нему дурно относились не из-за того, что знали бы о причиненном кому-нибудь зле, так как до такого злодеяния не доходила его злобность, а из-за того, что им казалось, будто все строгости, какие применял к ним вице-король, были внушены советами этого любимца.

Это бедствие распространяется на всех, занимающих высшие должности, потому что зависть или их сбрасывает,

или лишает их доверия; а раз это так, то настоящие приближенные, достигнув благодаря любви и покровительству своих государей же данного величия, сейчас же спешили бы закрепить то, чего они достигли, действуя на благо государства. Однако в больших монархиях эта истина не может легко распространиться и достичь тех, которые могут быть судьями в этом и которые могли бы провозгласить ее без того, чтобы кто-нибудь не осмелился искать виновника бедствий или неурядиц, происходящих в государстве или из-за грехов людских, или по приговорам Божиим, недоступным для нашего понимания.

Один современный политик, ссылаясь на политиков древних, говорит, что государь не должен поддаваться влиянию своего приближенного, то есть не должен доверять ему своих мыслей и своих поступков. Это требование противоречит самой природе; ибо, если какой-нибудь частный человек, естественно, желает иметь и имеет друга, с которым, любя его, он отдыхает и которого посвящает в некоторые свои заботы благодаря своему общению с ним, то почему же государь должен быть лишен этого блага, которым обладают другие? Доблестный государь, благоразумный и справедливый, должен иметь около себя приближенных безупречной жизни; потому что, если они такими не будут, он или удалит их от себя, или они запятнают его добрую славу. Но когда признается и принимается со всеобщим одобрением мнение государя как святое и правильное, в приближенном отыскивается, за что можно было бы упрекнуть его, — это я считаю свойственным душам мятежным и даже злонамеренным, так же как и то, что принимается дурно, когда влияние приближенного усиливается и он процветает в благах и благосостоянии, которых не могут достичь другие.

Надо принять во внимание, что в такой богатой монархии, как испанская, тех крошек, какие выбрасываются со стола государя, с излишком хватит не только, чтобы возвеличить фамилии, уже существующие и высокие, но и на то, чтобы поднять их из самой глубокой нищеты к высочай-

шим положениям. Великие монархи, короли и государи родятся подчиненными общему закону природы и подвластными страстям любви и ненависти и должны иметь друзей, к которым питают естественную склонность; ибо звезды обладают силой склонять к одному другу больше, нежели к другому. Так как такие дружбы вызываются единственно выбором, то они не носят того характера, как другие, и, будучи на самом деле высшими, государи должны выбирать приближенного не по чужому вкусу, а только по своему; а раз это будет так, то это будет также по вкусу подданных, благо которых зависит от хорошо направленной воли государя. А государь, стараясь не осуждать ни одного, ни другого и не судить, хорош он или плох, должен сам быть образцом, которым должны руководиться в деяниях правосудия, в управлении государством и милостях подданным, в награждении добрых и наказании злых. Тем более что, раз у этих приближенных два ангела-хранителя, а сердце короля находится в руке Господней, следует думать, что эти ангелы будут склонять их к общественному благу и общему миру. Ибо дела, которые случайно кажутся зависящими от прихоти этих людей, совершаются и зависят не от воли и деятельности приближенного, а только лишь от небесных движущих сил, какие являются вторичными причинами, коим первопричина передала свою высшую власть, если только в ее высшем суде не предустановлено чего-нибудь другого.

Очень хорошо мне признался один малорассудительный и еще хуже понимающий в хорошем способе суждения человек, который сообщил, что тридцать или сорок лет он был дружен с тем, кто — или по своим заслугам, или благодаря своему старанию, или по своему счастью — достиг положения приближенного, и что он всегда восхвалял его как добродетельного, кроткого и рассудительного любителя делать добро. Когда же тот сделался приближенным, то, хотя он гораздо лучше мог осуществлять свою склонность, он изменил свое поведение и стал презирать то, что раньше ценил и почитал. Если выяснить, на чем основывается потеря им уважения, или, лучше сказать, его непостоянст-

во в дружбе, которую он питал раньше к этому возвысившемуся человеку, то он мог бы только ответить, что это род зависти, основанной на чужом благе, или потому, что он не делится с ним, или потому, что ему досадно, что тот обладает им, или из-за плохого разумения и еще худшей воли. Приближенные великих монархов не могут помнить о всех знакомых, — достаточно, если они будут помнить о тех, кто старается об этом, ибо те, которые находятся в моем положении, не имеют основания жаловаться на приближенного, так как их благо должно проистекать из их работы и старания, а если их нет, то жалоба совершенно несправедлива.

Есть два рода приближенных: одни — это те, которые из скромного положения поднялись, чтобы стать достойными войти в милость своего государя, и такие хотят все благо получить для себя. Другие, будучи знатными сеньорами, были очень хорошо приняты и очень любимы своим королем; такие, будучи рождены вельможами, хотят разделить благо со всеми. Но и те и другие должны быть со своим королем, как плющ с деревом, за которое он цепляется, и хотя дерево всегда растет в объятиях плюща, никогда не освобождаясь от него, несмотря на это плющ никогда не служит помехой для плода, какой дерево по природе своей приносит; так же делают и приближенные, которые с самого начала были знатными сеньорами, ибо никогда они не служат для государя помехой в его поступках, к каким его обязывает положение, в какое поставил его Бог. Поэтому я думаю и, по сказанным основаниям, считаю, что кажется, будто король не может обмануться в выборе приближенного, но мог бы обмануться приближенный в выборе тех, кого он собирается предложить своему государю как способных для исполнения должностей или для управления, считая их таковыми по своим сведениям, — между тем как на самом деле они не таковы. Это ошибка, в какую он, как и всякий человек, может впасть, и поэтому для него важно, чтобы сохранить свое влияние и репутацию, вести себя осторожно, осведомляясь у тех, которые могут быть судьями

в таких делах, для того чтобы, если выбор окажется не столь удачным, как это желательно, по крайней мере не считали бы, что это было не случайно, а по дружбе или по прихоти. Но, возвращаясь к первоначалу, я скажу, что это жестоко, когда политики хотят лишить государя такого великого удовольствия, как дружба приближенного, к которому государь питает естественную склонность, потому что у всех людей на свете склонность всегда действует и направлена на одну цель больше, чем на другую, и в этом находит отдохновение и утешение.

Глава XIII

Иногда случайно возникают вопросы, отвлекающие от основного намерения, как и случилось со мной в этом отступлении, когда я оставил свое повествование и говорил о вещах, которые не являются моей специальностью, а скорее они излагаются и обсуждаются сообразно самой природе. Когда, к моему счастью, случилось благодаря языку моего дрозда то, чего добивались, мой господин сдержал свое слово, после того как вице-король сдержал свое. Он был поражен таинственностью и осторожностью, с какой ренегат вел себя в этом деле, благодаря чему избавил от бедствий столько находившихся в заточении людей, потому что если бы не его остроумная выдумка и если бы он не прибегнул к этому способу, то он первым погиб бы, а с ним и многие из невинных заключенных.

Он очень охотно дал мне свободу, хотя и против желания своей дочери, которую я видел уже очень склонной к истинной вере, — так же как и ее брата, которого я убеждал в той же истине, — настолько, что оба они имели желание креститься; отец подозревал это, хотя и не показывал вида, что все это он знает, потому что, без сомнения, желал этого, хотя и молчал. Мальчика звали Мустафа, а сестру его Алима, — хотя после того, как я смог бывать с ней и наставлять ее в католической истине, она назвала себя Марией. Я

имел возможность вдоволь говорить с ней наедине, но не о развратных вещах, ибо никогда не имел намерения оскорбить ее, и наконец уверил ее, что по прибытии в Испанию я найду какой-нибудь способ уведомить ее о своем положении и укажу ей, что ей надлежит делать, чтобы стать христианкой, как она желала. Взволнованная больше из-за этого своего главного намерения, чем из-за меня, она пролила несколько слез, охваченная христианской кротостью и целомудренной любовью, после чего я попрощался с ней, так как это было в последний раз, что я мог говорить с ней наедине, а она, часто целуя подаренные ей мною четки, сказала, что сохранит их навсегда. Потом мой господин очень ласково сказал мне:

– Обрегон, я не могу не сдержать слова, которое я тебе дал, потому что ты это заслужил, и еще вследствие обязанности, какую на меня налагает испанское происхождение, и вследствие тех следов, какие остались у меня от крещения, – и он огляделся кругом, не слушает ли его кто-нибудь, – которые я храню в глубине души, ибо ни один из всех, кого ты видишь во всем Алжире, – я говорю о маврах, – не сдержал бы ни обещания тебе, ни слова и не отблагодарил бы тебя за сделанное. И если король Алжира отблагодарил меня и сдержал по отношению ко мне свое обещание как раскрывшему кражу, так это потому, что он сын родителей-христиан, которые непреложно хранят истину и данное слово. А здесь этот варварский народ говорит, что держать слово пристало лишь купцам, а не рыцарям. И хотя я исполняю данное тебе обещание, я делаю это против своего желания, потому что, в конце концов, пока ты был здесь, у меня было с кем отдохнуть, беседуя о предметах, о которых здесь не с кем говорить. Но так как это уже необходимо и ты не склонен остаться в Алжире, как я мечтал, я хочу сам отвезти тебя в Испанию на своих галеотах и оставить тебя там, где ты можешь свободно исповедовать свою религию. Теперь благоприятное время, когда все выходят на каперство, я пойду отдельно от других, чтобы высадить тебя на каком-нибудь из наиболее близких к Испании островов, ибо

я не рискну идти дальше на запад, так как за мной очень следят по всему побережью, где я часто причинял очень значительный ущерб; и если бы галиону, на котором ты плыл, не посчастливилось получить попутного ветра, то все вы оказались бы здесь.

Мой господин приготовился совершить свое путешествие, взяв с собой нескольких очень отважных и испытанных в пиратстве турок, и, выбрав благоприятную погоду, он направил нос корабля на Балеарские острова, оставив на берегу горько плачущих свою жену и дочь, причем одна поручала его великому пророку Магомету, а другая – очень громко и безутешно призывала Деву Марию, выражая то, что она чувствовала, потому что поблизости не было никого, кто мог бы упрекнуть ее за это.

Я плыл, устремив взоры на город и моля Бога, чтобы мне когда-нибудь можно было возвратиться в него, когда он будет христианским, ибо, оставив в этом городе самую лучшую частицу самого себя, я плыл хотя и свободный, но скорбя, что оставил среди этой сволочи сокровище, которое готов был выкупить кровью своего сердца, так как она желала приобщиться к крови Христа. Хотя мне удалось оставить ее очень довольной и уверенной в моей любви, внутри меня происходила борьба, которая не давала мне приняться ни за что другое, кроме размышления; потому что я упрекал себя за жестокость и неблагодарность, терзался из-за того, что уехал, и обвинял себя за то, что оставил христианскую душу среди маврских тел; но какая-то уверенность убеждала меня, что я еще увижу ее христианкой.

Однако мы счастливо плыли с попутным ветром; и так как господин мой видел, что я повернулся лицом к городу, он сказал мне:

– Обрегон, мне кажется, что ты смотришь на Алжир и посылаешь ему проклятия, видя его столь наполненным христианскими пленниками, и поэтому называешь этот город разбойничьим притоном; однако я уверяю тебя, что тот вред, какой причиняют корсары, не является наибольшим, потому что, в конце концов, они рискуют сами, и иногда

они отправляются за шерстью и не только не возвращаются, настригши шерсти, но и никогда больше не смогут стричь. Величайшим же бедствием является то, что многие, видя, что их хорошо принимают в Алжире, по собственному желанию приходят со своими мушкетами со всех границ Африки, или потому, что они стремятся к свободе, или из-за недостатка средств, или вследствие дурных наклонностей и легкомыслия, — прискорбно видеть, что по сказанной причине этот город полон христиан с запада и востока; и хотя я этим могу нанести ущерб собственной выгоде, я не могу не скорбеть о вреде, наносимом крещеной крови, и у меня сжимается сердце.

— Опять я заметил, — сказал я, — что ваша милость взволнована этим обстоятельством как человек набожный сердцем и благородный по крови; но я не вижу в вас ни перемены религии, ни намерения возвратиться к непоколебимой вере святого Петра, которую исповедовали предки вашей милости.

— Я не хочу говорить тебе, — ответил мой господин, — что любовь к имуществу, благородство свободы, или привязанность к моей жене и детям, или многие бедствия, какие я причинил своей собственной родине, отвращают меня от этого, но я хочу только спросить тебя, видел ли ты когда-нибудь, что я старался узнать, каким правилам обучал ты моих детей? Ибо из этого ты можешь усмотреть, какая должна быть вера у меня в душе. И уверяю тебя, что из всех могущественных, богатых рабами и имуществом ренегатов, сколько ты их ни видел, нет ни одного, который не сознавал бы своего заблуждения. Потому что та полная свобода, какой они пользуются, и те почести и богатство, какими им дается предпочтение перед остальными турками и маврами, — все это их удерживает, так как они чувствуют себя господами и могут приказывать что хотят и кому хотят, — но они хорошо знают истину. И в доказательство этого, пока погода благоприятствует нам своей свежестью, я хочу рассказать тебе, что произошло не так давно в Алжире.

Есть здесь один турок, обладающий огромным богатством и многочисленными невольниками, счастливый на море и испытанный на суше, по имени Мами Рейс, человек красивый, высокий ростом, щедрый и всеми почитаемый. Отправившись на каперство к берегам Валенсии, он провел несколько дней, не имев возможности найти добычи на море, так что у него стал ощущаться недостаток в провианте. Побуждаемые этой нуждой, он и его спутники вышли на сушу с большим риском и опасностью для себя, потому что по всему берегу были зажжены сигнальные огни и их настолько беспокоили, что они должны были опять выйти в море, сделав несколько выстрелов против преследовавших их отрядов. Вследствие поспешности бегства они оставили на берегу начальника галеоты и одного очень отважного солдата, его друга. Эти последние, считая себя погибшими, вошли на мельницу, где нашли только одну необычайно красивую девушку, которая от волнения не смогла убежать вместе с остальными людьми. Ей пригрозили, чтобы она не кричала, и, видя, что на берегу спокойно, они подали условный знак на галеоты, и с наступлением темноты те пришли к мельнице, и прежде чем созванные набатом люди вернулись, они забрали капитана и его товарища, доставив их на его галеоту вместе с захваченной в плен девушкой. Красота ее была такова, что говорили, — и справедливо, — что такого сокровища по стройности и лицу еще никогда не видывали в Алжире. Капитан, хозяин галеот, сказал, что он дороже ценил эту добычу, чем если бы разграбил всю Валенсию. Она была необычайно грустна и заливалась слезами, а он уговаривал ее, чтобы она не была неблагодарна к своей счастливой судьбе, потому что ей предстоит сделаться госпожой всего этого богатства и другого, гораздо большего и более важного, а не невольницей, как она думала. Но красота и миловидность ее лица, соединенные со спокойной серьезностью, были таковы, что можно сказать, что, хотя была ночь, она освещала всю галеоту, и этому свету все подчинились и смирились перед ним, как перед чем-то божественным, изумляясь, что Валенсия

могла создать такое высокое совершенство. Он утешал ее в течение всего плавания, так как этот турок умеет немного говорить по-испански. Это человек очень благородный и видный собой, очень счастливый во всех предприятиях, за какие он брался, очень богатый землями, драгоценностями и деньгами, пользующийся большим расположением у всех королей Алжира.

Чтобы сократить рассказ, я скажу только, что он решил высадиться не в городе, а у своего поместья, с привлекательными виноградниками и очень красивыми садами. Она, увидев себя окруженной такими послушными рабами и друзьями турка, как будто успокаивалась и забывала о горести, какую сначала причинило ей пленение. С течением времени она очень полюбила своего господина и вышла за него замуж, оставив свою истинную веру ради религии мужа, в которой и прожила с величайшим удовольствием шесть или семь лет, любимая, окруженная услугами и заботливостью, осыпаемая драгоценностями и жемчугом, и совсем позабыв, что была когда-то христианкой. В угоду ей были устроены и устраивались каждый день самые веселые состязания на копьях и другие развлечения, потому что ее характер был очень похож на ее лицо, а лицо ее выделялось из всех лиц в Алжире; так что если бы он скоро не женился на ней, то ее у него отобрали бы, чтобы послать Великому Турку.

И вот, в то время как она жила словно божество, окруженная всем этим поклонением, и ее желание было законом, по которому жили все, был там один невольник с Менорки, человек благородный, который, как и остальные, разговаривал с ней; прибыл его выкуп, и добрый человек пришел проститься с нею, а она спросила его, в каком месте он будет жить; он сказал ей это, и она приказала ему внимательно отнестись к тому, что могло случиться. Он, не будучи глупым, понял ее, и, отправившись на Менорку, оставался там все время, пока она нашла способ написать ему туда письмо, в котором говорила ему, чтобы он прибыл с хорошо оснащенным бригом в полночь, в такой-то день, к поместью ее мужа.

Когда наступило время, в какое все уходят из Алжира на каперство, — ее муж снарядил свои галеоты с тремя сотнями рабов, людей очень отважных, одетых по-испански, и отправился искать удачи, весело ударяя по волнам, в то время как его жена смотрела на это и посылала ему тысячу добрых пожеланий с башни его собственного дома. Погода стояла очень жаркая, и приближался день, условленный в письме. Она притворилась очень огорченной отсутствием мужа и жарой, и сказала своим невольникам и слугам, что она хочет отправиться в свое поместье и сады, чтобы там утешиться, и взяла с собой, как бы для того, чтобы пробыть там много дней, несколько сундуков, в которых находились платья, драгоценности и деньги, и все богатство золота и серебра, какое было у него в доме. Там она пробыла несколько дней, веселясь и одаряя своих невольников и женщин, так что если и раньше они очень любили ее, то теперь они ее обожали.

Наступила ночь, назначенная ею — в чем она не открывалась никому — с такой великой хитростью и тайной, что никто даже в мыслях не мог представить себе ее решения. Расположившись у окна, она ожидала до двенадцати часов ночи не засыпая и не смыкая глаз, пока не увидала неясные очертания приближавшегося с моря корабля; она подала условленный в письме знак, и поспешивший к ней идальго сказал:

— Ну, бриг стоит здесь.

Тогда решительная сеньора обратилась с самой краткой речью к своим невольникам, говоря:

— Братья и друзья, приобретенные кровью Иисуса Христа; мое решение таково: кто хочет быть свободным и жить как христианин, пусть следует за мной в Испанию.

За всех ответил пленник, великий воин, уроженец Málаги:

— Сеньора, все мы готовы повиноваться вашему приказанию, но обратите внимание на опасность, какой вы подвергаете себя и нас, потому что башни уже подают сигнал,

и на рассвете море будет кишеть галеотами и нас, без сомнения, будут преследовать.

Она ответила на это:

— Тот, Кто вложил мне это в сердце, выведет меня к спасению; а если бы этого не случилось, то я предпочитаю стать пищей ужасных морских чудовищ в неизмеримых безднах глубоких морских пещер, умерев христианкой, чем быть королевой в Алжире, изменив религии, какую исповедовали наши предки.

И, служа храбрым капитаном, эта прекраснейшая женщина так воодушевила своих рабов, что они в один момент перенесли на бриг сундуки и богатства, убив кинжалами одну негритянку и двух турчонков, которые кричали. Рабы — которые уже ими не были — вместе с находившимися на бриге людьми, — все народ благородный и отважный, — так ободряли друг друга, что бриг летел по воде силой весел и помогавшего ветра.

Когда об этом происшествии узнали в Алжире, — что было сейчас же, — за ними послали сорок или пятьдесят галеот, причем на каждой были часовые в дозорной корзине и на мачте, которые могли сейчас же заметить бриг; но словно Бог или вел его, или сделал невидимым; ведь кроме того, что была принята сказанная мера, ее муж Мами Рейс плавал около островов, и ни те ни другие не встретились с бригом, пока наконец на рассвете беглецы не оказались между двумя галеотами ее мужа, люди которого, чтобы высадиться на берег, были одеты по-испански. Она с великой поспешностью и проницательностью приказала, чтобы все остальные, находившиеся на бриге с бежавшими невольниками, переоделись турками, чтобы таким образом иметь возможность бежать под предлогом, что они убегают от испанцев. Решение было остроумным и хитрым, потому что Мами Рейс, видя, что от него убегают, обрадовался, говоря: «Без сомнения, мы похожи на испанцев, потому что этот турецкий бриг бежит от нас». И громким хохотом они приветствовали бегство брига, так что благодаря этой хитрости беглецы освободились и прибыли в Испанию, где

она живет теперь очень богатой и довольной, раздавая великие милостыни из имущества своего мужа. И хотя в Алжире произошел и другой случай, похожий на этот, — но при том располагали большей силой и он сопровождался меньшими осложнениями.

Ты уже знаешь, с какой целью я рассказал тебе этот случай, происшедший недавно, и, без сомнения, по-моему, не найдется никого, у кого в сердце не запечатлелась бы первая религия, какую он исповедовал, — я говорю о крещеных; но эта женщина даже больше всех обнаружила мужественное сердце и христианскую решимость.

— Я не удивляюсь, — сказал я, — что эта сеньора обладала такой великой отвагой в своем решении, так как женщинам очень свойственно приводить в исполнение все, что приходит им в голову; ни тому, что она превзошла смелостью мужчин, ни тому, что она составила план, чтобы выполнить свое намерение, — ибо всему этому можно поверить благодаря ее природным качествам. Меня удивляет только, что она обладала способностью столько времени хранить тайну, ибо для женщины гораздо труднее хранить тайну, чем сохранять целомудрие; потому что ни одна не избежит того, чтобы не иметь подруги, с которой могла бы говорить о прошлом, настоящем и будущем. Ибо все другое было не больше как вбить себе в голову, что она должна это сделать, потому что у нее недоставало рассуждения, необходимого в деле таком трудном, важном и опасном, — так как она отваживалась выступить против своего мужа, корсаров и всего Алжира, против всех волн и бурь Средиземного моря, против морских животных, никогда не виданных и не ведомых ни в своей стихии, ни вне ее, и все это не было таким великим подвигом, как то, что она не открыла столь важной тайны.

— Все это правда, — сказал мой господин, — но одно обстоятельство кажется мне более противоречивым, а именно: как она, будучи девушкой, не имела смелости убежать вместе с другими с мельницы, когда ее захватили в плен, а потом у нее появилось достаточно смелости, чтобы предпринять такой героический поступок?

— Ответ на это прост, — сказал я, — потому что когда эта сеньора была девушкой, то благодаря естественной холодности, какой все они обычно обладают, страх сковал ей члены и жилы тела так, что она не могла бежать, ни даже двинуться с места; но, после того как она вышла замуж и ей помогла сила жара мужа, ее природные качества улучшились и она собралась с духом, чтобы взяться за такое трудное предприятие. И обо всех женщинах, о каких упоминается в древности, не известно, чтобы это были девушки, — да и нельзя этого подумать.

— А разве об амазонках, — спросил мой господин, — не говорится, что они были девственницами?

— Нет, сеньор, — ответил я, — и даже пока они были таковыми, они не участвовали в битвах, а только упражнялись, но не в праздности или в обработке шерсти, а в охотах на диких зверей, в верховой езде, в употреблении копья, лука и стрелы; и чтобы сделаться более воинственными, они питались черепахами и ящерицами; а придя в соответствующий этому возраст, они вступали в браки с окрестными мужчинами, и, если от этого сожительства у них рождался мальчик, они или убивали его, или калечили его так, чтобы он не имел возможности выполнять обязанности мужчины; а если у них рождалась девочка, то, чтобы не было помехи для натягивания лука, ей вырывали или отрезали правую грудь, ибо это и обозначает слово «амазонки», то есть sine ubere — «без соска»; но ни одна из них в одиночку не совершала столь великого подвига, как эта валенсианка.

Глава XIV

Так как невольники и спутники дремали, мы — мой господин и я — имели возможность поговорить об этом и о других вещах, чем и разогнали сон. После того, как мы немного отдохнули, мы через часа два увидели Балеарские острова, Майорку и Менорку, Ибису и другие мелкие острова; но из-за бдительности, какая царит на этом острове, мы не приближались к берегам Майорки до наступления ночи. Мы дождались темноты, однако необходимо было спешить, потому что, хотя острова и показались быстро, нужно было хорошо потрудиться, чтобы добраться до них. Мы подошли к Майорке наилучшим образом, а для ренегата это было наихудшим, потому что, когда мы огибали скалу, с нее нас заметил часовой, который дал знать генуэзским галерам, плававшим здесь, чтобы захватить моего господина, и, хотя уже приближалась ночь, они начали с великой яростью грести по направлению к нам. Видя свою погибель, мой господин перешел на другую галеоту, взяв с собой наиболее испытанных людей из тех, какие были на обоих, и поручил мне наблюдать за той, на которой остался я с небольшим количеством людей. Он был уверен, что, говоря по-испански, я смогу соответствующим образом ответить, а его галеота имела бы некоторую возможность скрыться. Таким образом, он оставил меня в качестве помехи для преследования, чтобы я достался им в добычу, а он мог бы спастись.

Случилось так, как он и предполагал, потому что, будучи человеком хитрым и очень хорошо знающим весь берег, он направился не в открытое море, а к острову, и так как ночь почти уже наступила, он переплывал, прячась, из одной маленькой бухты в другую, а когда совсем стемнело, он вышел в море и скрылся. Так как на галеоте, на которой остался я, не было людей, которые могли бы грести, а было только очень немного самых негодных, то она шла так медленно, что галеры смогли дать выстрел, приказывая нам сдаться. Мы остановились, и когда они подошли ближе, я очень громко и на чистом испанском языке сказал: «Мы сдаемся». — «Вас-то мы и ищем», — сказали с галер, обзывая меня тысячью позорных имен; ибо в самом деле они считали меня за ренегата, так как галеота была той самой, на которой всегда плавал мой господин, а я говорил так чисто по-испански. Они бросили на весла всех турок, тот сброд, какой они нашли со мной, а мне, думая, что они захватили

того, кого искали, связали руки, чтобы доставить меня в Геную и там подвергнуть меня примерному наказанию. Капитан главного судна сказал мне по-итальянски:

— Сколько раз вы спасали свою жизнь, собака ренегат, теперь не уйдете от нас иначе как на виселицу.

— Сеньор, — сказал я, — пусть ваша сеньория обратит внимание, что я не ренегат, как думает ваша сеньория, а только бедный испанец, его невольник.

За защиту мне отпустили столько палочных ударов, что вынудили меня сказать:

— Говорят, что Генуя — это лишенная леса гора; но сейчас деревьев нашлось вполне достаточно для меня.

Два испанских музыканта, которых генерал вез на своей галере, рассмеялись на мое замечание, а еще больше на терпение, с каким я перенес это; одного из музыкантов я знал очень хорошо; остальные, которым музыкант перевел мои слова, тоже рассмеялись.

Я прижался в угол, со связанными руками и благодаря Бога за то, что столько раз мне приходилось испытывать бедствия и нужду; ибо несчастия заставляют нас вспоминать милосердие Божье, а не прегрешения, из-за которых мы заслуживаем этих бедствий; ибо если бы мы захотели обратить внимание, насколько это милосердие больше, чем бедствия, какие Бог нам посылает, то мы утешились бы и не жаловались бы на те орудия, какие Бог избирает для наказания нашего. Его замыслы настолько тайны и так велики, что заставляют нас очень внимательно размышлять о том, почему пришла к нам беда, а не почему мы этого заслужили, и Он настолько милосерден в наказании, что не хочет нас опозорить тем, чего мы заслуживаем, а хочет только причинить нам страдание тем, что мы испытываем, заставить терпеливо перенести то, в чем мы не согрешили. Его милосердие распространяется на все это, ибо Он упражняет нас на том, в чем мы не грешны, чтобы смягчить заслуженное нами наказание за грехи совершенные, а мы сейчас же возлагаем вину на тех, посредством чьей руки осуществляется справедливое наказание Божие. Таким образом, наказывая

за не совершенное нами, Он наказал нас за то, что мы совершили, настолько ценя нашу честь, что Он не хочет часто наказывать нас одними и теми же средствами, которые убивают нас внутренне, чтобы мы не приходили в отчаяние и не считали Его жестоким палачом.

Теперь я вспоминаю о несчастьях, какие преследовали меня с детства, и не вспоминаю о проступках моей юности. Мне приходит на память, сколько добра сделал я в этой жизни некоторым людям, но благодаря этим же людям со мной случилось много бед, потому что Бог избирает одинаковые орудия, чтобы устыдить и наказать за грехи, совершенные по неведению или со злым умыслом. Меня принимают теперь за ренегата, и, со связанными руками, я был несправедливо оскорблен как хитрый и предавшийся дьяволу, осужденный на адские мучения и преданный анафеме, а если я хочу оглянуться назад, то я вижу, что заслуживаю этого и других, еще больших наказаний от руки Божией.

В это время подошел негодяй боцман и сказал мне, ударив меня плетью:

— Что ты говоришь тут сквозь зубы, собака?

Я промолчал, чтобы он не повторил удара.

Сеньор Марсело Дориа, — ибо он был генералом, — движимый состраданием, сказал, чтобы со мной не обращались дурно, пока не выяснится, кто я. Я, увидя открывшийся путь к сочувствию, обратился к нему:

— Так как естественная защита предоставлена всем, то я умоляю ваше превосходительство, чтобы она была предоставлена и мне, потому что я уверен, что когда ваше превосходительство узнает, кто я, то я не только не пострадаю в руках такого знатного вельможи, но даже возлагаю надежду на Бога, что мне будет оказана почесть большая, чем я заслуживаю. В Генуе и даже на этой галере я представлю свидетелей, которые знали меня в столице католического короля, в то время как этот ренегат совершал набеги и опустошал все эти берега, — и одним из этих свидетелей будет посол, сеньор Хулио Эспинола.

Он приказал развязать меня и заговорил со мной, расспрашивая меня обо всем, что он хотел знать о ренегате. Я сказал ему о хитрости, при помощи которой тот ускользнул, чем я до некоторой степени разрешил сомнение в моей личности, он же возложил большую вину на тех, которые не продолжали погони.

Я вернулся в свой уголок — хотя уже не со связанными руками — и уселся на корточках, закрыв обеими руками лицо и опершись локтями на колени, чтобы меня не узнал музыкант, и стал думать о тысяче вещей.

Когда мы плыли, направляясь к Генуе, — так как мы знали, что до Алжира уже дошла весть о крейсирующих около берегов генуэзских галерах, — мы проходили Леонский залив с небольшой бурей, и когда мы пересекли его из конца в конец, генерал приказал музыкантам петь. Они взяли свои гитары, и первое, что они запели, это было несколько моих октав, которые оканчивались стихом:

Неверно счастье, зло лишь непреложно.

Дискант, которого звали Франсиско де ла Пенья, начал выделывать горлом превосходнейшие пассажи, и так как песня была сложной, он имел возможность делать их, а я испускать вздох на каждой каденции, какую они делали. Они спели все октавы, и на последнем такте, когда они произнесли:

Неверно счастье, зло лишь непреложно, —

я уже не смог сдержать себя и необдуманно сказал с естественным волнением:

— И все еще преследует меня это несчастье.

Так как это было сказано громко, Пенья взглянул и, не узнав меня раньше, — потому что я был настолько изменившимся в лице и в одежде, а он был близорук, — теперь, разглядев меня, не будучи в состоянии сказать мне ни слова, он, с увлажненными глазами, обнял меня и пошел к генералу, говоря:

— Как вы думаете, ваше превосходительство, кого мы везем здесь?

— Кого же? — спросил генерал.

— Автора этих стихов и музыки, — сказал Пенья, — и всех других, какие мы пели вашему превосходительству.

— Что вы говорите? Позовите его сюда.

Я пришел с большим стыдом, но с отвагой в душе, и генерал спросил меня:

— Как вас зовут?

— Маркос де Обрегон, — ответил я.

Пенья, человек, который всегда почитал истину и добродетель, подошел к генералу и сказал ему:

— Такое-то его настоящее имя, но, оказавшись в таком дурном положении, он принужден скрывать его.

Изумился генерал, видя человека, о котором он столько слышал, в такой смиренной одежде, окруженным столькими бедствиями и столь несправедливо связанного. Он спросил меня о причине этого, и я с большим терпением и смирением рассказал ему все, что произошло, потому что галион герцога Медина возвратился в Финаль. Он оказал мне большую милость, в особенности снабдив меня одеждой.

А по прибытии в Геную я посетил Хулио Эспинола, посла, дружбой которого я пользовался в столице Испании, и когда Марсело Дориа удостоверился в этой истине, они оба оказали мне милость, снабдив меня деньгами и лошадью для путешествия в Милан. Но сначала я хотел посмотреть этот город, столь богатый деньгами и древностями, благородными и древнейшими фамилиями, происходившими от императоров и знатных вельмож и из высшей знати Италии, каковы Дориа, Эспинола, Адорно, от благороднейшего рода которых есть одна ветвь в Херес-де-ла-Фронтера, породнившаяся со знатными испанскими кабальеро и отличенная облачением ордена Калатравы и других орденов, как дон Агустин Адорно, кабальеро столь же добродетельный, как и знатный. И так как моим намерением не было оставаться здесь, то я приготовился продолжать свое путешествие в Милан, ради которого я выехал из Испании.

Третий рассказ о жизни Эскудеро Маркоса де Обрегон

Увидев себя так внезапно превратившимся из пленника, невольника, подвергавшегося всяким оскорблениям, в человека с деньгами и хорошо одетого, я уже горячо желал прибыть туда, где мои друзья увидели бы меня свободным и узнали бы о бедствиях и милостях, какими наделяла меня судьба. Поэтому, осмотрев величие этого города и насладившись отдыхом, какого требовала столь великая усталость, я взял себе лошадь и викторино, или проводника, и, направляясь в Милан, поднялся на генуэзские горы, такие же суровые и высокие, как горы Ронды. И после того как мы прошли через Сан-Педро-де-Аренас, уже стало темнеть и нас застиг такой град и дождь, что мы сбились с дороги в местности, где было легко сорваться в глубокие реки, вздувшиеся благодаря большой прибыли воды и стремительно мчавшиеся в бушующее море; потому что потоки, образовавшиеся от бури с градом и дождем, слились в широкие реки и представляли еще большую опасность. Мы видели свет только глазами лошади, которая нас вела, ибо это самое скверное – для путешествия – животное на свете, хотя в Италии путешествуют с ними. И, так как она была очень непослушна, она прислонялась к каждому дереву, какое нам попадалось, или ложилась, где ей хотелось. Так что я спешился, и под деревьями, у которых были толстые стволы и густые переплетавшиеся одна с другой ветви, мы укрылись, чтобы переждать, пока кончится буря или мы увидим какой-нибудь просвет или свет, который вывел бы нас к

спасению. Викторино, хотя и знающий эту местность, так растерялся, что у него пропала всякая память, а у меня – надежда на возможность двинуться отсюда до утра. Вода бежала по нашим телам, как по выделанной коже, в течение весьма долгого времени этого бедствия; но мы не смогли насладиться прикрытием этих развесистых деревьев, потому что с них текло воды больше, чем с нас, ибо все побеждала невыносимая и бурная погода.

Когда мы находились в таком томительном состоянии духа, мы услышали, как около нас кто-то сказал: «Береги жизнь». Так как это прозвучало совсем близко, я взглянул между ветвями и увидел, что за деревьями показался свет, выходивший из трех домов, где лошадь, вероятно, иногда стояла раньше, потому что хотя и неуверенными шагами, но повела нас туда. Расстояние было небольшим, и, пробежав одно мгновение, мы оказались около домов, из которых с большой предупредительностью вышли предложить нам пристанище; и там, где мы не рассчитывали найти даже воды, мы нашли очень хороших каплунов, потому что все иностранные нации предоставляют это угощение путешественникам на постоялых дворах, обладая в этом преимуществом перед Испанией.

Мы очень хорошо поужинали; я спросил кружку воды, и мне принесли ее из родника, который бил около самых домов, горячую, испускающую пар; я велел поставить ее на окно, и хотя погода не была очень холодной, буря и град ее изменили, и кружка с водой в одно мгновение охладилась и даже обледенела. Я выпил ее, а хозяин привел сюда из других домов двух свидетелей и, видя, что я пью вторую кружку холодной воды, сказал им:

– Сеньоры, из-за этого я вас и привел: если этот сеньор испанец умрет от этих кружек холодной воды, так пусть не говорят, что я его убил.

Я рассмеялся, думая, что он говорил так потому, что питает отвращение к воде или любит вино, но это было сказано с полным основанием, которое трактирщик объяснил позднее. Будучи новичком в Италии, я спросил, по какой

причине он хочет, чтобы не пил воды человек, который почти всегда пил и пьет ее. Он мне ответил, что вода в Испании была гораздо мягче и более легко переваривалась, чем вода в Италии, обладающая большей влажностью. И очень вероятно, что в ней есть что-то вредное, потому что народ такого тонкого ума, как итальянцы, не решается пить ее без примеси.

Я знал одного итальянского кабальеро, который до приезда в Испанию не пил ни капли воды, а находясь в Испании – не пил ни капли вина. Вода, будь она из реки или из родника, приобретает хорошее или дурное качество от земли или минералов, через которые она проходит. Так как Испания настолько облагодетельствована солнцем и с такой силой поглощает влажность, то вода там очень здоровая, а кроме того, она проходит обычно через минералы, содержащие золото, как это происходит с водой в Сьерра-Бермехе, где сами горы такого же цвета, и вода там превосходнейшая; или вода проходит через минералы, содержащие серебро, эта вода тоже очень хороша, как, например, в Сьерра-Морене, что доказывается водой в Гвадальканале; или через минералы, содержащие железо, как в Бискайе, – такая вода целебна. И в результате не найдется в Испании воды, которая была бы вредна, будь она из родника или из реки, потому что воды из лагун, из озер или стоячих болот нет, и ее не пьют; скорее даже кажется, что для большего величия милосердия Божия около одной лагуны, величиной больше лиги, находящейся вблизи Антекеры и в которой всегда добывают соль, имеется рядом лучшая и самая здоровая вода, какая известна в мире, которая называется Каменным источником, потому что разрушает камень. А в Ронде есть другой родничок, который называют родником монахинь и который бьет на горе по направлению к востоку; от питья воды из него сейчас же разрушается камень и в тот же самый день выходит песком, и о ней можно было бы написать огромнейший том.

Но то, что сказал мне трактирщик, было настолько верно, что во все время моего пребывания в Ломбардии, – а

это было больше трех лет, – из-за воды, которую я пил, я всегда чувствовал себя нездоровым и страдал постоянными головными болями. И это подтвердилось уже на следующий день, потому что, когда я ехал, во всех лужах, образовавшихся после сильнейшего ливня, были всякие животные, как лягушки, головастики и другие твари, народившиеся в такой короткий промежуток времени вследствие сильной вредной влажности почвы. А во рвах Милана можно видеть в большом количестве клубки змей, порожденных грязью и гниением воды и чрезмерной влажностью самой почвы.

Глава I

Но, оставляя в стороне этот предмет и возвращаясь к моему рассказу, мы подвигались вперед через Генуэзскую область – мой проводник и я, – пока не столкнулись с несколькими земледельцами, которые на вопрос, как нам держать путь, – так как мы заблудились накануне ночью, – ответили нам несуразностью, чтобы обмануть нас и направить на неверный путь. Проводник понял шутку и сказал, что они нас обманывают. Однако я, не принимая этого за шутку, обругал их на дурном итальянском языке, а они, будучи в большом числе, схватились за камни. Я спешился и ранил одного из них шпагой. Проводник забрал свою лошадь и оставил меня среди них, потому что, принадлежа к этому же народу, не захотел быть свидетелем в этом деле; а так как я поскользнулся и упал на землю, они набросились на меня и, связав мне руки, повели меня в ближайшее селение, которое было очень большим и очень населенным. Показали в качестве улики кровь раненого и на меня надели цепь и очень тяжелые оковы.

На этот раз мне следовало жаловаться не на свое великое несчастье, а на свое недостаточное благоразумие; ибо, находясь в незнакомой мне стране, я захотел сделать то, чего не сделал бы в своей: потому что испанцы, находясь вне своей страны, считают себя неограниченными господами.

Так как мне было некому и не на кого жаловаться, я обратил против себя попреки или камни, какие мои противники могли бы бросить в меня. Я оказался под бременем оков, какие не угнетали меня в Алжире, тогда как там были враги веры и тех, кто ее исповедовал, и я не имел здесь возможности обратить взора к кому-нибудь, кто благосклонно взглянул бы на меня. Ибо по той же самой причине, по какой мы считаем себя владыками мира, мы во всех вызываем ненависть.

Тот, кто направляется в чужие страны, обязан вступать в них с большой осмотрительностью, потому что и законы здесь не те же, и обычаи не похожи, и не соблюдается дружба там, где нет знакомства. И достоверно известно, что хотя королевства и республики соблюдают уважение и дружбу, какие существуют между ними, однако того же самого не бывает между отдельными людьми, так что обыкновенно они чернят друг друга и враждуют между собой, и тем сильнее, чем больше считают себя, с основанием или без оного, угнетенными. Я заметил, что терпеливость является добродетелью, пригодной для всего на свете, но в особенности при сношениях с людьми незнакомыми. Чужестранец необходимо должен быть очень приветливым и вежливым с учтивостью и должен поступаться своим правом в делах, о которых он не знает, — считаются ли они там, где он находится, хорошими или дурными; с веселым лицом, обуздав свой гнев, он легко познакомится с тем, чего мы не знаем в странах, сведения об обычаях которых не дошли до нас.

Я чувствовал себя в высшей степени угнетенным, не видя, кому я мог бы сообщить о своих несчастьях. Меня называли свиньей очень близко от меня, и наиболее почетным приговором было, что меня должны тайно удушить. Тюремщик казался человеком сговорчивым, но я не находил, с какой стороны подойти к нему, чтобы мне утешиться при его содействии. Я размышлял, какой бы мне изыскать способ, и вспомнил, что эта нация отличается необыкновенной жадностью и что в этом направлении я мог бы применить какой-нибудь спасительный для меня план. В кармане платья у меня было несколько эскудо, взятых из Генуи. В тюрьме было двое очень милых детей — сыновей тюремщика, и, вспоминая, какое довольное лицо показывают родители тому, кто делает какое-нибудь добро их детям, я дал каждому ребенку по эскудо. На это широко открылись глаза у отца, и он очень, даже чрезвычайно, благодарил меня за это, что подало мне надежду на удачу задуманного плана. Он сказал мне:

— Ваша сеньория, должно быть, очень богата.

— Из чего вы это заключаете? — спросил я.

— По щедрости, — ответил он, — с какой вы дали этим детям монеты, какие мало знакомы здесь даже взрослым.

— Ну, если вы так цените такую мелочь, то что вы сделаете, когда познакомитесь с остальными? — И, достав деньги, я отдал их ему, сказав: — Так как вы кажетесь мне человеком благоразумным, то я хочу вам сказать, кто я, чтобы вы не придавали значения этим пустякам. Я достиг того, что отыскивают все философы и чего никак не могут найти; но сначала вы должны мне поклясться, что никогда не откроете моей тайны.

Он весьма торжественно сделал это и с великим любопытством спросил меня, что хотел я ему сообщить, и я ответил:

— Я умею делать философский камень, который превращает железо в золото, и благодаря этому я никогда не испытываю недостатка в том, что мне нужно; но я не решился никому сообщить об этом в Генуе, чтобы правительство не помешало мне продолжать мое путешествие, что они, без сомнения, сделали бы, потому что это божественное изобретение так заманчиво и желанно для всех, что все гоняются за ним; и если узнают, что кто-нибудь знаком с этим изобретением, то короли или республики задерживают таких против их воли, чтобы он применял свое искусство в их пользу и в ущерб себе, потому что, если в мире будет большое количество золота, оно будет цениться низко.

— Сеньор, — сказал тюремщик, — часто я слыхал разговоры об этих вещах; но никогда не видал и не слыхал, чтобы кто-нибудь достиг этого в наши времена, потому что, хотя ваша сеньория видит меня в этой должности, которую я исполняю, чтобы быть на покое и содержать своих детей, я ведь был в Испании на службе у генуэзского посла и по сказанной причине удалился в это селение, где я родился.

— Я очень рад этому, — сказал я, — потому что, будучи таким благоразумным, как вы, и слышав разговоры о таких вещах, вы поверите тому, что увидите собственными глазами.

— Если бы я мог, — сказал он, — научиться этому, я был бы большим человеком и командовал бы над всем моим селением, а вашу сеньорию свободно отпустил бы, куда вам угодно.

— На первое, — сказал я, — я вам отвечу, что изготовление этого камня заключается в точности, так что необходима большая осторожность, чтобы достичь этого, и потому я не рискую обучить вас этому; но я оставлю вас с таким количеством золота, что ни вам, ни вашим детям не придется нуждаться ни в чем. А на второе, — я не хочу, чтобы вы делали для меня что-нибудь такое, что когда-нибудь могло бы послужить вам во вред; потому что то же самое искусство химии даст мне способ освободиться, и этому я научу вас весьма легко, потому что вы увидите, хотя бы были слепым, как без вашей вины и без вашего согласия я освобожу себя, а вы останетесь без всякого наговора, богатым и довольным.

Он с великими церемониями бросился к моим ногам и стал снимать с меня цепь и оковы, против чего я возражал с величайшей искренностью, и когда наступила ночь, я сказал ему, чтобы больше уверить его в этом деле и таким образом лучше выполнить мое предприятие:

— Знайте, что неудача в завершении превращения металлов происходит от непонимания великих философов, которые трактуют об этой материи чрезвычайно тонко, как, например, Арнальдо де Вильянуэва, Раймундо Лулио и Гебор, по национальности — мавр, и многие другие авторы, которые пишут об этом шифром, чтобы не делать этого достоянием невежд. Я же, чтобы постичь эту истину, побывал в Африке в Фесе, в Константинополе и в Германии и, благодаря общению с великими философами, дошел до открытия истины, которая заключается в том, чтобы свести к первоначальному веществу такой неподатливый и твердый металл, как железо, потому что если привести его в эту его первооснову и в то семя, из которого оно возникло, и прибавлять к нему те же самые вещи и те же составные части, какие природа придает золоту, когда оно образуется или составляется, то железо должно превратиться в ту же субстанцию золота. Ибо, как все существа стремятся подражать — насколько это для них возможно — наиболее совершенному в их роде, точно так же железо и другие металлы стремятся подражать наиболее совершенному из них, каким является золото. И если придать железу все качества, какие создает природа при содействии всеобщего отца, каким является солнце, то оно меняет свою природу на природу золота, и это делается при помощи некоторых сильнейших и едких солей, принимая во внимание положение планет, в чем я очень опытен и сведущ. И чтобы вы видели некоторое подобие этого и убедились бы в этой истине, возьмите этой ночью кусок подковы, которая была бы очень стоптана и покрыта ржавчиной, полученной в навозных кучах, и, разломав ее на маленькие кусочки или распилив напильником, поставьте это в колбе в очень крепком уксусе на медленный огонь, и вы увидите, что получится.

Он исполнил это в точности и предоставил мне в эту ночь отдохнуть с полным удовольствием, причем я очень хорошо обдумал план, какой я приготовил, чтобы освободиться из тюрьмы.

Глава II

Наутро тюремщик пришел очень довольный, говоря, что он обнаружил, что железо превращается в вещество золо-

тистого цвета, как бы цвета золота, так что алчность влекла его к гибели.

— Теперь вы убедитесь, что я говорю вам правду.

Я дал ему денег, чтобы он принес мне некоторых веществ или некоторых составных частей едких и ядовитых, — которых я не называю, потому что в мое намерение не входит обучать делать дурное, — и, смешав с другими веществами, какие я к ним прибавил, я приготовил порошки, которые часто смачивал азотной кислотой, а когда они высыхали, опять смачивал их; они стали очень приятного золотистого цвета. Когда порошки были сделаны и приготовлены, как мне было нужно, я сказал двум мошенникам, которые были приговорены к галерам:

— Галеры стоят в Генуе, значит, ваше мучение приближается; если вы возьметесь в одну ночь доставить меня в страну короля, я вас выведу отсюда тихо и без всякого шума ни внутри, ни снаружи.

Они отвечали с великой решительностью:

— И даже на плечах отнесем вашу сеньорию, и прежде чем наступит рассвет, вы уже будете среди испанских солдат.

— В таком случае, — сказал я им, — будьте завтра ночью внимательны и, увидя меня с ключами в руке, спешите к своему и моему избавлению.

Бедняги обрадовались и страстно желали, чтобы поскорее наступил этот час.

Утром я сказал тюремщику, чтобы он принес несколько тиглей и, сколько сможет найти, обломков подков, так как все их я превращу в золото, и чтобы ночью, когда вся тюрьма утихнет, он разжег угли, но чтобы не было ни одного свидетеля, который мог бы на нас донести. Он так горячо взялся за это, что не оставил ни одного кузнеца, ни одной навозной кучи, не побывав там, и с наступлением ночи показал мне столько обломков подков, что, проданные на вес, они могли бы принести ему большую прибыль. Он запер своих людей и остальных узников, а те двое, которые должны были помогать мне, притворились спящими. Он зажег

свою жаровню, и когда все погрузилось в тишину, я достал свои порошки и показал их ему, и они показались ему настоящим золотом.

— Да вы понюхайте, — сказал я ему, — какой у них приятный запах, — и высыпал их ему на руку; он поднес их понюхать, а я с большим проворством ударил его по руке снизу, и они засыпали ему глаза, так что он упал без чувств и не будучи в состоянии произнести ни слова. Я схватил у него ключи, а мошенники, видевшие все это, сейчас же подбежали. Я открыл им двери, между тем как бедняга лежал без чувств, и мы вышли из тюрьмы и из селения так, что нас никто не видел, и наутро, пройдя через рощи, горы и трудно проходимые ущелья, я оказался в Александриа-де-ла-Палья среди испанских солдат, составлявших стражу дона Родриго де Толедо, губернатора этого города.

Добрым каторжанам, осужденным на галеры, показалось, что свобода свалилась им с неба, и они отправились разыскивать себе пропитание. Я от всей души радовался, что так удачно осуществился мой план, потому что хотя это и было за счет бедного тюремщика, но ради свободы все можно сделать.

Я был на этот раз словно демон, который искушает людей с той стороны, какую он замечает в них наиболее слабой: потому что он из-за алчности, а я из-за свободы — мы заключили очень хорошую сделку; ибо алчность настолько преобладает в душах, где она находится, — а таких душ много, — что заставляет их поддаться любой слабости. Добродетельные, которых нельзя поколебать заслугами, просьбами и подарками, когда на них нападает алчность, делаются податливыми, к удовольствию обеих сторон. У дурных, которые не поддаются ни насилию, ни хитрости, когда алчность показывает свое желтое лицо, смягчается твердость железных сердец. Сколько сдалось крепостей, сколько произошло измен, сколько было нарушено обетов затворничества, сколько целомудрия было развращено под натиском алчности! Все пороки, какие овладевают людьми, оставляют некоторую надежду на исправление в будущем, кроме

распутства и алчности, которые охватывают и ослепляют всякую способность рассуждать; легче обуздать ярость сумасшедшего наказанием, чем образумить посредством совета непреодолимое желание жадного. Жадные подобны губке, которая хотя и впитывает всю воду, какую способна впитать, однако не насыщается и не пользуется ею; и они так же неистовы в своих действиях, как голодная змея, которая набрасывается на все, хотя бы это была жаба, отравляющая ее своим ядом; ибо они, не обращая внимания, дозволено ли это или противно рассудку, набрасываются на все, лишь бы разбогатеть, и поэтому я думаю, что они наказаны призраком своей неутолимой жадности. Как этот несчастный тюремщик, который рассчитывал увидеть свой дом полным золота и остался без глаз, которыми мог бы это увидеть. Да позаботится Бог о корыстолюбцах и укажет им лекарство, которое сохраняет жизнь и успокаивает совесть.

Глава III

Я отправился в Милан, боясь, как бы не случилось со мной какого-нибудь несчастья, так как я был охвачен сильным желанием прибыть туда; ибо несчастливые должны жить, всегда опасаясь, что с ними что-нибудь может случиться и обыкновенно случается. Есть река, протекающая через город Александриа, называющаяся Танар, на которой я увидел несколько подвижных водяных мельниц из дерева, вероятно, имеющих в своем основании какие-нибудь колеса, которые приводят их в движение, — но я не расспрашивал об этом, потому что это не интересовало меня. Когда мы дождались лодки, чтобы переправиться через По, реку весьма многоводную, после того как она поглощает Танар, мы вошли в нее вместе с несколькими бедными странницами, и посередине реки случилось так, что по течению Танара плыла одна такая водяная мельница из тех, у которых, должно быть, не было основания, и столкнулась с нашей лодкой таким образом, что перевернула ее вверх дном.

Лошадь — так как эти животные очень отважно плавают — бросилась в воду, я сейчас же ухватился за хвост, странницы за меня, а проводник за последнюю из них, и, погружаясь и поднимаясь на поверхность, временами касаясь ногами песка, мы достигли берега, где лошадь нас окропила из заднего прохода, так как, вероятно, она объелась ячменя; но не поэтому я перестал держаться за хвост, лишь только заметив, что ступаю по берегу.

Там мы нашли переправившихся на другой лодке нескольких человек различных национальностей: французов, немцев, итальянцев и испанцев; и, чтобы мы могли понимать друг друга, мы все говорили по-латыни; но произношение у каждого было столь различным, что, говоря на очень правильном латинском языке, мы не понимали друг друга; это заставило меня очень задуматься над тем, что даже на одном и том же языке, распространенном по всей Европе, тяготеет до сих пор кара за Вавилонскую башню.

Мы прибыли в Павию, славящуюся университетом; меня ласково принял тогдашний кастелян, но так как желание мое влекло меня в Милан, то я не остановился, пока не увидел себя в этом чудесном городе, где всегда было столько великих святых, какими всегда продолжали быть прелаты этого превосходнейшего собора. В то время им управлял святейший кардинал Карлос Борромео, которого теперь называют Сан-Карлос, ибо жизнь его была такова, что его канонизировали через несколько лет после его смерти. Я прибыл в то время, когда совершались траурные торжества по случаю смерти святейшей королевы доньи Анны Австрийской, и так как искали, кому бы поручить составление рассказа и стихов о примерной жизни столь высокой сеньоры, то миланский магистрат, хотя имел возможность поручить их самым выдающимся умам, счел за благо поручить их автору этой книги — не как лучшему, а как наиболее желавшему служить своему королю и приоб-

рести навык в столь высоких предметах, учась у столь выдающихся дарований, и предложившему и указавшему магистрату на превосходнейшего Анибала де Толентино, который сделал бы это лучше всякого другого во всей Европе; однако, как находившемуся ближе всех, автору поручили, чтобы он это сделал. На этих похоронах я услышал проповедь блаженного Сан-Карлоса, которая была подобна самой его жизни. Я нашел своих друзей очень довольными и удивленными той быстротой, с какой я достиг свободы, и, желая узнать, как все это произошло, они заставляли меня рассказывать и сообщать об этом неоднократно. Ведь в самом деле бедствия, о которых рассказывают в благополучии или когда эти бедствия уже миновали, приобретают своеобразное удовольствие; ибо несчастья, как бы ни были они дурны, когда они происходят, становятся хорошими, когда прошли; бедствия похожи на рябину или кизил, которые, будучи зрелыми, терпки на вкус, но, после того как они перезреют и когда они уже начинают портиться, вместо терпкости в них появляется сладость. Они подобны тому, кто тонет в реке, так как он все время высовывает голову и прилагает всевозможные старания, чтобы выбраться из воды, но после того, как он выйдет из реки, он пьет ту же самую воду, которая хотела его утопить. Колет шипами кожура ореха, но после, разжевав его, получаешь удовольствие.

Я весьма обрадовался, увидев величие, плодородие и изобилие Милана, так как мне кажется, что мало городов в Европе может в этом равняться с ним, несмотря на то что он обладает большой сыростью или благодаря этим четырем сделанным руками человека рекам, по которым в него прибывает такое изобилие продуктов, или потому, что местность сырая по своей природе, — отчего я всегда ходил с сильнейшими головными болями; и хотя я родился подверженным им, в этой стране я страдал от них гораздо сильнее. Всегда меня преследовали три вещи: невежество, зависть и ревматизм; но мучившие меня здесь приступы ревматизма продолжались до самого возвращения в Испанию. Я провел

в Милане три года; но почти все время принужденный лежать в постели, триста раз пересчитывая балки на потолке, не делая ничего значительного, — с одной стороны, будучи всегда нерасположенным к этому, а с другой, потому что среди солдат мало упражняются в умственных занятиях. У меня явилось желание посмотреть Турин, и по грехам моим это было в декабре месяце, в такое время, когда дорог нет, а есть реки вместо них, так что, хотя и была хорошая погода во время моего отъезда, я обманулся, думая, что так будет и дальше; и когда я прибыл в Буфалорес, небо начало разражаться не дождем, а потоками воды, настолько непрерывными, что пропала возможность даже ощупью находить дорогу.

Я прибыл в Турин и, испытав по пути вздувшиеся потоки, пробыл там два месяца в обществе другого испанца; но туманы были настолько сильны, что люди сталкивались на улице, не видя друг друга; эти туманы порождались близостью — как там говорят — По, протекающей около города, помимо того что по самому городу протекает много потоков воды. Но ведь в Испании через Севилью протекает Гвадалквивир, более многоводный, чем По, и иногда так прибывает в нем вода, что затопляет большую часть города, и все поле Таблада превращается в море, по которому можно плавать, и я не видывал там таких туманов. И в Гранаде есть две реки, которые ее орошают, и много ручьев по улицам, и не появляется этот сумрак или туман.

Но, оставляя это в стороне, мы остановились — другой испанец и я — на постоялом дворе, где я оказался в величайшей опасности и имел наилучшую возможность быть счастливейшим — возможность, какой не имел никогда раньше и никогда в жизни не буду иметь. Так как там обедало много народа, то мой спутник и я — мы дожидались, когда они кончат, чтобы сесть, но в это время какой-то старик, лет пятидесяти, умышленно начал говорить о новой религии, о религии реформированной, часто повторяя это; и, хотя он был уроженцем Женевы, он говорил на чистом итальянском языке, причем, когда он увидел испанцев, ему показа-

лось уместным говорить громче, чем это было нужно. И, чокаясь кубками, они говорили ересь, вполне достойную людей, наполнившихся вином. Мой спутник говорил мне, чтобы я молчал, а они, поднимая кубки за здоровье своих покровителей, все возвращались к разговору о новой религии и о реформированной религии, так что вынудили меня спросить, что это была за религия и кто ее реформировал. Они ответили мне, что это была религия Иисуса Христа и что реформировали ее Мартин Лютер и Хуан Кальвин. Не слушая дальнейших слов, я сказал им:

– Хороша, должно быть, религия, реформированная двумя столь великими еретиками.

В трактире поднялось возмущение, и на меня и на другого испанца посыпалось столько ударов шпагами, что, если бы мы не поднялись на лестницу, нас искрошили бы. Хозяйка прекратила эту схватку, посоветовав им подумать о том, что они делают, так как мы были помещены здесь герцогом. Возмущение улеглось, потому что в то время еще не отказывали в повиновении герцогу Савойскому, хотя отказывались повиноваться римской церкви. Когда шум утих, этот старик сказал мне:

– Почему вы называете еретиками двух столь святых мужей, последователями мнения которых является столько людей?

– Почему, – ответил я, – вы зовете святыми и реформаторами религии Иисуса Христа двух людей, которые всем и во всем, в жизни и нравах, были против учения Иисуса Христа и его Евангелий, которые были людьми распущенными, порочными, бесстыдными, лживыми, обманщиками, возмутителями государств, врагами всеобщего спокойствия?

Старик опять хотел возобновить беспорядок, и так как ему опять напомнили о страхе и уважении к герцогу, он замолчал, сказав только:

– Много званых и немного избранных, и эти избранные – мы.

– Лучше вы сказали бы, – ответил я, – много схваченных и немного званых, потому что они не идут в руки папы.

Странная вещь! Есть люди, находящиеся настолько вне естественного порядка, что из-за одной только распущенности и лени они отклоняются от той самой истины, которую в душе знают и признают. И у них есть могущественные люди, которые покровительствуют их заблуждениям, так что те и другие следуют их дурному намерению. Могущественные – говоря, что следуют учению людей мудрых, а другие – говоря, что имеют поддержку в могущественных князьях, как будто в этом было оправдание для стольких пороков и гнусностей, какие они совершают под покровом той распущенности, с какой заставляют их жить их учителя, в губительных мнениях которых есть вещи настолько смешные, что кажется, будто они намеренно хотят заблуждаться.

Глава IV

Из Турина я вернулся в Милан, потому что, хотя я имел намерение отправиться во Фландрию, я не нашел подходящего случая для этого, а кроме того, узнал, что войска из Фландрии направлялись в Ломбардию. К тому же я уже был во Фландрии с этими самыми войсками при генеральном штурме Маастрихта, где со мной случилось очень забавное приключение, которое могло бы быть очень неприятным. При разграблении этого города я захватил небольшую лошадь, самую лучшую из всех, какие были в одном знатном доме, и сел на нее без седла – так как во время суматохи не обращают на такие вещи большого внимания, – но, в то время как я выезжал из города, за мной бежало больше трехсот коней, потому что взятая мной лошадь была кобылой в самой поре, и если бы я не соскочил с нее на землю, меня сильно избили бы передними ногами преследовавшие ее ухаживатели.

В конце концов я вернулся в Милан один, потому что спутник мой отправился во Фландрию; разыскивая, на чем бы мне совершить путешествие, я нашел повозку, на кото-

рой принужден был ехать в обществе четырех женевцев, столь же великих еретиков, как и другие. Но я решил молчать на все, что ни услышал бы от них, чем приобрел их расположение до такой степени, что, будучи большими врагами испанцев, они всю дорогу были очень любезны со мной, тысячу раз говоря мне, что я был очень хорошим спутником. Потому что, в самом деле, если в разговорах с ними не касаться религии, — они люди простые и приветливые в обращении и очень любят доставлять удовольствие. Они ухаживали за мной по дороге, а между двух рукавов Тесина они собрались направиться в сторону, к рощам и горам, где — как они сказали — они хотели посетить великого чародея, чтобы спросить его о некоторых очень важных тайнах. Так как я был молод и любитель всего нового, я обрадовался увидеть это, бывшее для меня столь новым. Мы прошли некоторое время по роще, пока не достигли подошвы гор, где открылся вход в пещеру с дверью из неотесанного дерева, запертой изнутри.

Они постучали, и изнутри ответили низким и грубым голосом, но с некоторой торжественностью. Дверь открылась, и появилась фигура чародея в темном одеянии, со многими нарисованными на нем пятнами, картами, змеями, небесными знаками, с надетой на голову высокой шапкой на волчьем меху и с другими вещами, делавшими его страшным, какими были также местность и жилище, где он обитал. С ним заговорили эти кабальеро из Женевы, сообщив ему о цели своего прихода, и сказали, что, осведомленные о его великой славе, они пришли посоветоваться с ним об очень важном деле. Хотя он начал сперва отпираться, но в конце концов с помощью просьб и врученных ему подарков, которые смягчают всех, они убедили его согласиться исполнить их просьбу. Пока они с ним говорили, я рассматривал пещеру, наполненную вещами, внушавшими изумление и страх: это были головы демонов, львов и тигров, фавнов и кентавров и другие вещи такого же рода. Они должны были внушать ужас входившим туда, — одни нарисованные, другие в виде фигур; этим он давал понять,

что он находился в сношениях и дружбе с каким-нибудь демоном. Он очень долго разговаривал с пришедшими, говоря им о своем великом могуществе, и показал много драгоценностей от разных людей и от знатных сеньоров, которые ему давали это за многочисленные тайны, какие он им открыл.

Когда они сговорились, он спросил их, почему я не принимал участия в разговоре, — так как я больше рассматривал искусство, с каким он украсил свою пещеру. Они ответили, что я испанец. Чародей сказал им:

— Я не хотел бы показывать моих тайн при испанцах, потому что они недоверчивы и проницательны.

На это они ответили:

— Вы вполне можете делать в его присутствии все что угодно, потому что хотя он и испанец, но он добросовестный человек и хороший товарищ.

Он решился сделать это и позвал своего помощника, столь безобразного и страшного, что он показался мне каким-то демоном. Мы прошли дальше в глубину пещеры, где он держал своего демона. Это было маленькое помещение, более темное, чем передняя часть жилища; оно было разделено оградой, за которой находилось нечто вроде налоя, а на нем большой стеклянный шар с азбукой, написанной по стеклу кругом большими буквами; внутри шара находился демон, это был маленький человечек железного цвета, с поднятой по направлению к буквам правой рукой, так что все действительно внушало страх. Чародей обратился к демону с очень длинной речью, напоминая ему давнюю дружбу, какую они питали друг к другу столько лет, чтобы этим заставить его охотнее отвечать на то, о чем он хотел его спросить. После того как вопрос был задан, он надел очень широкие перчатки и поднял правую руку, говоря ему:

— Ну, проворнее.

Демон повернулся и указал на букву. Чародей снял перчатку и записал эту букву, указанную демоном. Потом он опять надел перчатку и вновь поднял руку, сказав ему:

– Продолжай.

Демон опять повернулся, указывая другую букву; и таким образом он продолжал спрашивать его, пока не написал десять или двенадцать букв, в которых заключался доставивший большое удовольствие женевцам ответ на их вопрос.

Заметив, что он каждый раз снимал перчатку, чтобы написать указанную букву, я задал себе вопрос, что бы это могло значить; и хотя я подозревал, что все возмутятся моим поступком, все же, когда он собирался опять указать перчаткой, я решительно схватил его за указательный палец и, найдя в пальце очень большое затвердение, сначала спросил чародея:

– Ведь это магнит?

Изумленный и пристыженный, он сказал, обращаясь к другим:

– Ведь я говорил, что испанцы проницательны и что я не хочу ничего делать в их присутствии.

Секрет заключался в том, что этот демоненок был сделан из какого-то очень легкого материала, а его ручка была из стали и притягивалась магнитом, который был так же незаметен, как чародей ловок в указывании нужной ему буквы, чем и заставлял демоненка, поворачиваясь, показывать ее.

Женевцы были поражены как ловкостью, с какой этот чародей обманывал людей, так и моей проницательностью, с какой я распознал мошенничество. И хотя я заметил, что сначала они были огорчены, что не исполнится предсказанное ответом демона, которого они считали за настоящего дьявола, но потом они были очень довольны раскрытием обмана; а чародей просил их, чтобы они уговорили меня не губить его предприятия, потому что этим он добывал себе средства к жизни, не причиняя никому вреда и пользуясь репутацией великого человека.

Изобретение действительно было чрезвычайно остроумно и в полном соответствии с естественной философией, – и оно могло быть вполне допустимым в качестве фокуса; но неразумно, чтобы существовали и допускались столь противные истине и здравому рассудку вещи и

столь явные обманы. Мы ушли, оставив обманщика в отчаянии, а женевцы, недовольные происшествием, упрекали меня, что я опозорил его и лишил его бодрости продолжать свое мошенничество. Я им сказал:

– Разве вы не обрадовались, увидя эту тайну раскрытой?

Они ответили мне утвердительно, и я сказал им:

– Точно так же будут радоваться все, кто узнает об этом; потому что менее важно, что этот человек потеряет свою репутацию и занятие, чем допустить заблуждение, столь распространенное и пагубное, как это. И я, говоря по правде, всегда обращался и обращаюсь дурно с такими людьми, как чародеи, астрологи и подобные им; хотя этих астрологов я считаю худшими, потому что их лучше принимают в стране и они говорят меньше правды. Однако те из них, которые занимаются истинной астрологией, изучением движений небесных светил, – настоящие ученые, ибо они обладают глубокими познаниями в математике; таковы – Клавио Римский, испанцы – доктор Арьяс де Лойола и доктор Седильо, великие мужи по своим познаниям; что же касается других, то это обманщики, ничего не стоящие люди, о которых можно привести много рассказов, потому что из ста вещей, какие они говорят, они ошибаются в девяти десятках, а когда что-нибудь скажут правильно, так это по ошибке. Они создают себе славу при помощи женщин, которые приходят к ним спрашивать о своей судьбе, как у цыганок, и, в конце концов, это ничтожные люди, которые кончают столь же жалким образом, как и алхимики, потому что хотят постичь тайны, которые Бог сохранил для себя.

Среди этих и других подобных разговоров мы прибыли в Буфалору, селение в области Милана, и здесь женевцы расстались со мной, а я продолжил свое путешествие.

Глава V

Я вернулся в Милан, и так как этот город изобилует всем, то изобилует он также и людьми, весьма сведущими в лите-

ратуре и в занятиях музыкой, которую очень хорошо знал дон Антонио де Лондонья – председатель миланского магистрата. В его доме всегда собирались превосходные музыканты, как певцы, так и другие виртуозы, и среди них были разговоры о всех выдающихся в этой области людях. Там с большим искусством играли на смычковой гитаре, на клавикордах, на арфе, на гитаре, играли превосходные виртуозы на всех этих инструментах. Разговоры касались занятий этим искусством, но музыкальное исполнение не было здесь таким выдающимся, каким оно было в свое время в доме маэстро Клавихо, где объединялось все самое знаменитое и высокое из этого божественного, хотя и плохо вознаграждаемого занятия. В саду при его доме собирались лисенсиат Гаспар де Торрес, который достиг предела, какого только можно достигнуть в уменье перебирать струны с легкостью и искусством, аккомпанируя гитаре превосходнейшими переходами и модуляциями голоса; и много других лиц, вполне достойных, чтобы упомянуть о них. Но когда я услышал самого маэстро Клавихо, играющим на клавикордах, его дочь донью Бернардину, игравшую на арфе, и Лукаса де Матос – на гитаре с семерным строем, подражающих друг другу в труднейших и необычных переходах, – это было лучшее, что я слышал в своей жизни. Но девушка – она теперь монахиня в Санто Доминго Реаль – это чудо природы по игре на клавикордах и арфе.

Но, возвращаясь к начатому рассказу, однажды, когда кончили петь и играть и все еще были под этим впечатлением, один из присутствовавших спросил, почему музыка не производит теперь такого действия, какое она обычно производила в древности, захватывая души и погружая их в то, о чем пелось, как это было с Александром Великим, который, слушая песни о Троянской войне, стремительно вскочил, схватился за меч и начал наносить удары по воздуху, как будто он сам находился под Троей. На это я сказал:

– То же самое может происходить и теперь, да и на самом деле происходит.

Он мне ответил, что этого не может быть после того, как исчез энгармонический род музыки. Я возразил:

– Мне кажется, что именно при помощи энгармонического рода это не могло происходить, так как превосходство этой музыки заключается в разделении полутонов и диезов; но человеческий голос не может подчиняться стольким полутонам и диезам, какими обладает этот род музыки. И поэтому великий знаток музыки, аббат Салинас, воскресивший этот вид музыки, сохранил его лишь для клавишного инструмента, так как ему казалось, что человеческий голос мог подчиняться этому только с большим усилием и трудом. Я видел его играющим на клавикордах, которые он оставил в Саламанке и на которых он делал руками чудеса; но я никогда не видел, чтобы он заставлял человеческие голоса исполнять это, хотя в то время в хоре Саламанки были певцы с прекрасными голосами и большим уменьем, а руководителем хора был знаменитый композитор Хуан Наварро. Но это может происходить и происходит при помощи диатонического и хроматического родов музыки, которые обладают теми самыми условиями и качествами, какие необходимы, – и то же самое будет происходить каждый день; и это чудо ежедневно можно видеть в испанских сонадах, обладающих таким божественным изяществом и новизной. Эти условия таковы: необходимо, чтобы слова выражали превосходные и очень глубокие мысли и чтобы такого же рода был их язык; вовторых, чтобы музыка была настолько дочерью этих самых мыслей, что вытекала бы из их сущности; в-третьих, чтобы поющий их обладал необходимыми для их исполнения чувством и склонностью, способностью и уменьем; в-четвертых, чтобы слушающий их обладал соответствующими этому настроением и вкусом. При таких условиях музыка будет делать чудеса. Я был свидетелем, что когда два музыканта однажды ночью превосходно пели песню, начинающуюся стихом:

Пылающую грудь ты разорви мне, –

то кабальеро, приведшего этих музыкантов петь, охватила столь сильная страсть и волнение, что, вынув кинжал, он обратился к сеньоре, стоявшей, притаившись у окна, со словами: «Вот здесь оружие, пронзите мне грудь и сердце», — приведя этим в изумление музыкантов и автора слов и музыки, — потому что здесь были налицо все условия, необходимые, чтобы произвести такое действие.

Это понравилось присутствующим, потому что все они были весьма сведущими в этой области.

В этих и других подобных упражнениях протекала жизнь, среди поэтов, занимавшихся поэзией, и среди солдат, упражнявшихся во владении оружием. Упражнялись не только во владении копьем и мушкетом, но также и в искусстве владеть шпагой и кинжалом, четырехугольным и круглым щитом; там были мужественные люди, искусные и решительные, среди которых часто упоминался Карранса, хотя находились отдававшие предпочтение дону Луису Пачеко де Нарваес, потому что в истинной философии и математике этого искусства и в правилах нанесения ран он превосходит всех своих современников и предшественников.

В этих и других похвальных занятиях проходила жизнь в Ломбардии, хотя у меня все время было столь расстроенное здоровье вследствие сильной сырости, что я решил возвратиться в Испанию, однако, посмотрев сначала Венецию, для чего мне представился удобный случай, потому что тогда отправлялась из Милана пехота и кавалерия — для встречи сеньоры императрицы — во владения венецианцев, чтобы оттуда сопровождать ее и посадить на корабль в Генуе. Этот блестящий отряд вышел из города и дошел до Кремы, где ее цесарское величество была встречена, как подобало столь высокой сеньоре.

Прибыв туда, я, чтобы осуществить свое намерение, переправился через реку на коне, которого до этого места имел бесплатно, сказав проводнику, что я заплачу ему за оставшийся путь до Венеции; однако он устроил так ловко, что на первом же постоялом дворе покинул меня, не говоря ни слова. Это было маленькое местечко, где я не нашел ни лошади, ни даже человека, который ответил бы мне добрым словом, потому что я был испанцем и путешествовал в одежде солдата; так что ни скромность, ни мягкое обращение, ни терпение не помогли мне, и я должен был идти пешком и в одиночестве по незнакомой стране, бывшей для испанцев злой мачехой. Я шел по равнинам, и мне даже неохотно говорили, если я сбивался с пути. Я уже прошел так целый день в большом огорчении, не зная, куда мне пойти, чтобы найти пристанище, потому что солнце уже заходило, когда увидел, что, пересекая мне путь, идет какой-то кабальеро с соколом в руке. Увидев меня, он остановился на дороге, дожидаясь, пока я поравняюсь с ним, на что понадобилось довольно много времени, потому что я шел настолько же усталым, насколько был грустным и огорченным. Когда я подошел к нему, он спросил меня, высказывая некоторое сочувствие, не испанский ли я солдат; я ответил ему утвердительно, и он сказал мне, что жилье, где я мог бы провести эту ночь, находилось далеко отсюда, и предложил мне последовать за ним до его усадьбы, где он может предоставить мне убежище до утра. Я последовал за ним, хотя с некоторым подозрением; но, размыслив, что людям благородным всегда присущи вежливость, искренность и сострадание, я отбросил от себя недоверчивость, какую мог бы иметь в ином обществе.

Глава VI

Мы вошли в очень обширные сады, находившиеся около его усадьбы, однако плохо обработанные и заросшие травой, которую, может быть, выращивала сама природа. Мы подошли к дому, где навстречу нам вышли слуги, молчаливые и печальные. Вошли в дом, бывший обширным зданием, но лишенным всего, что могло бы доставить удовольствие; ковры по стенам были темные и старые, слуги печальные, безмолвные и тихие, и все в доме было полно

скорби и печали. Я был изумлен и смущен при виде этой обстановки, преисполненной ужаса и отчаяния, и у меня явилось подозрение, что мне может угрожать какая-нибудь беда.

Кабальеро имел вид человека, у которого обломаны крылья сердца, и он ничего не приказывал слугам словами, а только движением лица, жестокого и изможденного. Он позвал меня ужинать, к чему у меня было величайшее желание, хотя — как я сказал — я сильно подозревал, благодаря своей несчастной судьбе, какую-нибудь новую беду. Я ужинал в таком же молчании, как и сидевший напротив меня кабальеро, и никогда молчание не было для меня более по вкусу, потому что я утолял свой голод за счет той воздержанности, с какой ужинал кабальеро. Я не осмеливался спрашивать его о чем-либо, потому что правильный путь для сохранения хороших отношений между людьми состоит в том, чтобы изменять свое настроение в соответствии с настроением тех, в чьем обществе находишься; и так как нам не могут быть известны тайны чужого сердца, то мы должны ждать, чтобы молчание как-нибудь было нарушено; ибо неправильно стараться проникнуть в то, о чем нам ничего не сообщают, в особенности с людьми могущественными, чья воля управляется властью и прихотью.

Наконец, когда ужин был окончен и он выслал оттуда слуг, он тихим голосом, выходившим, казалось, из глубины души, заговорил со мной таким образом:

— Счастливы те, кто рождается без обязанностей, ибо они могут мириться со своей счастливой или несчастной судьбой, не обращая внимания на судьбу других и не думая о том, что станут говорить об их собственной судьбе! Бедный солдат, выполнив то, что его касается, идет отдыхать на свое ложе. Ремесленник и все другие такого же положения, покончив со своими обязанностями, находят отдохновение в праздности. Но горе тому, за кем наблюдает много глаз, кто почитаем многими людьми, кто зависит от многих суждений и подчинен злословию многих языков, — он не может справиться с чрезмерным обилием своих обязанностей. Я хотел, сеньор солдат, отдохнуть с вами, рассказав вам о своих прискорбных несчастьях, не потому, что мне не с кем облегчить свою душу, а потому, что о несчастьях не следует рассказывать свидетелям столь близким, что каждый день они могут эти несчастья возобновлять. Ибо, когда попадается на глаза свидетель наших собственных бедствий, это раздражает и вызывает дурные намерения. И я уверяю вас, что ни один из этих слуг не знает причины моих несчастий, потому что, хотя вы их видите столь испуганными, они, однако, не знают ничего, кроме того, что могут прочесть написанным на моем лице. Я кабальеро, обладающий несколькими вассалами и состоянием, достаточным, чтобы иметь возможность существовать и жить спокойно, — если богатство может дать спокойствие, — выполняя лежащие на мне обязанности. Я родился со склонностью не к придворной жизни и не к шуму толпы, что заполняет жизнь и поглощает время, а со склонностью к уединению, к таким занятиям сельской жизни, как земледелие, огородничество и садоводство, рыбная ловля и псовая и соколиная охота, — и в этих занятиях я провел несколько лет и потратил весь свой доход, доставив большое удовольствие себе и совершив несколько добрых дел по отношению к путникам.

Бóльшую часть моей юности я прожил холостым, считая брак тяжелым бременем, которое будет служить мне помехой в моих занятиях; но так как изменения в мире необходимы и небо подвергает наши жизни различным неожиданностям, изменяя их из хорошего в плохое, из плохого в худшее или наоборот, — то однажды случилось, что, когда я отправился на охоту с соколом на одной руке и с сердцем, чтобы кормить его, в другой, — внезапно мое собственное сердце подверглось нападению, и в нем остался образ, который не изгладился и не изгладится оттуда никогда. Это произошло таким образом: когда я проезжал около Кремы, из переулочка между садами вышла обладательница самого прекрасного и величавого лица, невиданного у смертного существа; я хотел последовать за ней, но в тот

же момент она опять заперлась в садах. Я, пораженный столь необычной и невиданной красотой, очень тщательно осведомился о ее положении, происхождении и характере и, выяснив все это, узнал, что она была девушкой честной, дочерью очень скромных родителей. Мне показалось, что не составило бы труда покорить ее при помощи подарков, обещаний и щедрых даров, что обычно покоряет самые неприступные скалы. Я посетил ее при посредстве некоторых сеньор, которые не отказываются заниматься этим ремеслом, чтобы быть в дружбе с теми, кто склоняет их к этому подарками. Поехали в повозке под предлогом посмотреть сады, но, хотя они прилагали все старания, они никак не могли взять ее приступом вследствие ее скромности и целомудрия. Я дошел до крайности, так что, не будучи в состоянии сдерживать посланную мне судьбой страсть, я отправился в повозке вместе с дуэньями, в женском платье, потому что на подбородке у меня не было никакого отличия от них, ибо я был еще безбородым юношей, — и эта поездка меня окончательно убила. Потому что, оказавшись в их обществе и около нее, я опять был обожжен очарованием ее сладчайших слов, произнесенных с такой благосклонностью ко мне, в которых она сказала:

— Кто имеет при себе такую дуэнью, столь привлекательную и красивую, сумеет другими средствами завоевать более достойную, чем это печальное и смиренное существо.

Слыша эти слова и видя в этой бедной одежде такое совершенство и изящество, такую непринужденность, сопровождаемую стыдливым достоинством, и, вместе с тем, столь добродетельную непреклонность в сочетании с тысячей других качеств, какими она блистала, — все это заставило меня прибегнуть к последнему средству, а именно — просить ее быть моей супругой; и — чтобы сократить столь печальное повествование — она сделалась моей женой, и я удалился с ней в эту усадьбу, где жил с ней в такой любви и радости с ее стороны и с моей, что не переносил ни одного часа разлуки.

В тот день, когда я отправлялся на охоту, по возвращении я находил ее в слезах и в такой тоске и отчаянии, что душа моя радовалась, и это заставляло меня вновь любить ее, как божественное существо. С шестью годами, которые я провел в этом наслаждении, не могло бы сравниться ни прошлое, ни настоящее, ибо эти шесть лет были такими, что только неблагодарность сердца низкого и подлого могла нарушить то, чему было положено такое прочное основание.

Поблизости отсюда жил незначительный человек, правда, не дворянского рода, но с хорошими природными данными, хотя и не обработанными, — ибо он знал немного музыку и немного поэзию; сам он считал себя выдающимся человеком, а в селении, где он жил, он не пользовался почетом и на него даже не обращали внимания. Я взял его для своей охраны и для бесед в свободные часы, когда он составлял мое общество. Я снабдил его платьями, предоставил ему мой стол, он был вторым владельцем моего состояния, и, в конце концов, из ничтожества я сделал его человеком с положением, равным себе. И до и после женитьбы, когда я отправлялся на охоту, он ехал со мной верхом и если уставал, то возвращался в усадьбу. Это было уже после того, как я женился, и в это время он имел возможность разговаривать с моей супругой; но у меня никогда не было здесь никаких подозрений, потому что он был маленького роста, некрасив лицом, с широкими зубами, с толстыми руками; он был лишен нравственных добродетелей, склонен к клевете и интригам. Но хотя все это было так, я решил не давать ему возвращаться с охоты, пока не возвращался я сам, делая это больше в угоду окружающим, чем потому, что я был недоволен его поведением.

После того как я перестал отпускать его одного, каждую ночь, когда я возвращался домой, в садах стало появляться привидение, тревожившее собак и пугавшее слуг. Я, хотя и возвращался усталым, вставал, чтобы осмотреть все уголки садов, не столкнусь ли где-нибудь с привидени-

ем, и только после этого возвращался в постель. А когда я уходил из постели, моя супруга запиралась изнутри и не открывала, пока не убеждалась, что стучался именно я, говоря, что она запиралась изнутри из боязни привидения. Появление этого призрака продолжалось много дней и месяцев; но я заметил, что в те немногие ночи, когда я оставался на охоте, привидение по ночам не появлялось, и я не мог представить себе, где оно скрывалось; поэтому, вернувшись однажды ночью с охоты, я сказал одному из слуг, чтобы он находился у входа в сад и внимательно следил за этим призраком. Я заперся вместе с супругой в своей комнате, дожидаясь, повторится ли опять то же самое, что бывало в другие ночи; когда собаки начали надрываться от лая, так как привидение было таким огромным, что достигало окон и крыш, я с величайшей поспешностью встал, и когда я встретил оставленного у входа в сад слугу, он сказал мне:

— Пусть ваша милость не утруждает себя, потому что привидение — это Корнелио — ваш любимец, это он устраивает такие проделки, потому что, в то время как ваша милость выходит сюда, он находится у моей госпожи, изменяя вашей милости; как и где он проходит, я этого не знаю, разве только какой-нибудь демон ему помогает, — но я знаю, что это правда и что это происходит уже много дней.

Я был так охвачен яростью, пробежавшей по всем моим жилам, что схватил его за шиворот и нанес несколько ударов кинжалом, говоря:

— Чтобы ты не говорил об этом никому другому и за то, что ты говоришь мне это лишь после того, как преступление совершено.

Я бросил его в маленький подвал и запер дверь отмычкой от дома и сада, и, принуждая себя быть спокойным, хотя грудь и все внутренности мне жгли ревность и бесчестье, я медленно пошел, чтобы прийти домой, несколько успокоившись. Я постучал в дверь комнаты, где находилась моя супруга, и в большом страхе она спросила, не призрак ли я; наконец, признав меня, она открыла дверь, и, увидя

меня бледным, потому что она заметила это, как ни старался я скрыть, она сказала:

— Сеньор мой, почему вы так изменились в лице? Да будет проклято Богом это привидение и тот, кто его выдумал, потому что оно причиняет такое беспокойство вам и мне.

Я притворился, насколько мог, говоря, что все это пустяки, а когда я лег в постель, она своими обычными ласками постаралась успокоить меня, благодаря чему я усомнился в ее и моем несчастье. Я мало и плохо спал из-за происходившей в моей груди жестокой борьбы. Встав на рассвете, я позвал охотников и Корнелио с самым веселым лицом, какое я мог сделать; мы отправились в поле, но за целый день я не нашел ни птиц для соколов, ни зверей для собак. Я счел это дурным предзнаменованием, а под вечер предатель Корнелио притворился больным, чтобы вернуться в усадьбу; я отослал его и велел сказать моей супруге, что в трех лигах отсюда у меня была сбита серая цапля и поэтому я не смогу быть с ней эту ночь, так как на рассвете должен отыскать цаплю. Он уехал очень довольный такой безопасностью, а я остался, погруженный в размышления о решении, какое собирался принять.

Глава VII

— Так как было уже поздно и начало темнеть, я послал слуг поднять цаплю, а когда наступила ночь, я, не производя никакого шума, вернулся в усадьбу и, открыв отмычкой потайную дверь сада, прошел прямо в комнату Корнелио; открыв ее, не нашел там никого, — однако в комнате была зажженная свеча. Я взял свечу и пошел в зал, примыкавший к его комнате, посмотреть, не окажется ли он там; я прошел весь зал и в конце его, примыкавшем к другому, нижнему залу, над которым находилось помещение мое и моей супруги, я увидел приставленную к стене лестницу, доходившую до моей комнаты, а у верхнего конца лестницы открытое отвер-

стие в стене, в которое вполне мог пройти человек, закрытое изнутри полотном Тициана, изображающим любовь Венеры и Марса. До этого момента я не верил в мое несчастье. Я отнял от стены лестницу, чтобы не по чему было спуститься и, как гроза, поспешил в свою комнату. Когда я постучал туда, чтобы застать их врасплох, моя супруга подошла открыть мне дверь, а он поспешил поставить ноги на лестницу, но, так как они оказались у него в воздухе, он сорвался вниз, сломав обе ноги в коленях. Я опять запер дверь своей комнаты и пошел искать упавшего, который полз на руках, подобно испанскому быку с подрезанными поджилками, и сказал ему:

— А, изменник, неблагодарный! Вот награда, какую получают неблагодарные обманщики, — и, прижав его к лестнице, я задушил его, нанеся прежде несколько ударов кинжалом. С такой же яростью я поднялся наверх, чтобы убить этим кинжалом мою супругу, но кинжал выпал у меня из рук, и сколько раз я ни пытался сделать это, я всегда оказывался неспособным шевельнуть рукой, чтобы ранить это тело, настолько это было выше моих сил. Наконец я отвел ее вниз и, положив ее рядом с ее возлюбленным — так как я уже не мог причинить ей большего вреда, — я связал ее по ногам и рукам, а у него вырвал из груди сердце и положил его между обоими, чтобы она повседневно видела сердце, в котором она жила, доставляя ему великую радость. Я приволок и другого убитого слугу и сказал ей:

— Вот это свидетель вашего преступления.

Я опять хотел ее убить, и опять у меня опустились руки, и, наконец, я решил уморить ее голодом и жаждой, давая ей каждый день лишь полфунта хлеба и очень немного воды. Сегодня пятнадцать дней, как она не видела света и не слышала ни единого слова из моих уст, сама она тоже не заговаривала со мной, хотя я своими собственными руками повергла ее в это жалкое состояние. И мне кажется, что прошло не пятнадцать дней, а пятнадцать тысяч лет, и каждый день я переживал пятнадцать тысяч смертей. Таково жалкое состояние, в каком я нахожусь, лишенный всего, что

может мне дать утешение, и погруженный в такое отчаяние, что я хотел бы, чтобы Бог сделал меня отверженным от мира, человеком, на котором не лежит никаких обязанностей, чтобы я мог уйти в такие места, где никогда не обитали люди. Так как я рассказал вам это и сообщил о том, чего никто не узнает из моих уст, то я хочу также, чтобы вы своими глазами видели то, что лишило света мои глаза, лишив также надежды увидеть его когда-либо вновь.

И, взяв свечу с подсвечником, он сказал мне, чтобы я следовал за ним. Пройдя через сад, он открыл дверь, за которой были заперты все его несчастья. Передо мной сейчас же открылось одно из самых ужасных зрелищ, какие только видели человеческие глаза. Человек, лежащий с многочисленными кинжальными ранами на теле, другой со сломанными ногами, с разорванным боком, а сердце положено на ступеньке лестницы, около одного из самых прекрасных лиц, когда-либо созданных природой. И, чтоб еще усилить страдание, случилось так, что, когда была открыта дверь, за хозяином вошло несколько собак, которые, увидя несчастную его супругу, бросились лизать ей руки и лицо и так ласкаться к ней, что у меня увлажнились глаза, а у мужа смягчились сердце и душа. Поняв причину его смягчения, я сказал ему:

— Сеньор, я не говорил вам ни слова и не возражал на то, что говорили мне вы, потому что не видел никакого пути к вашему сердцу и потому что вы не давали мне разрешения.

— Так теперь, — ответил кабальеро, — я вам его даю, чтобы вы говорили все, что вам заблагорассудится.

И, отбросив всякий страх вследствие того, что он смягчился, я обратился к нему с такими словами:

— Вы признались мне, сеньор, что первое впечатление от любви вашей супруги, какое проникло в вашу душу, не изгладилось и не изгладится никогда. Вы также сказали мне, что об этом происшествии, будь оно справедливым или нет, не знал никто, кроме этих двух, которые уже не могут разгласить его, а честь или бесчестье людей заключается

не в том, что они знают о себе сами, но в том, что знает и говорит о них толпа. Потому что если бы люди предполагали, что другие настолько же знают о них все то, что они сами знают о себе, то многие или все ушли бы куда-нибудь, где люди не могли бы увидеть их. Их смертью вы уничтожили то, о чем могли бы говорить. Ваша супруга жива и, может быть, невиновна, ведь сколько раз вы ни собирались убить ее, вы не могли этого сделать. Я больше ничего не скажу вам, кроме как чтобы вы обратили внимание на нежность, какую в вас вызвали ласка и приветливость, выказанные к ней этими собаками.

Прежде чем супруг мог сказать слово в ответ, она, ободрившись, сказала глухим голосом, выходившим из глубины души, словно из могилы:

– Сеньор солдат, не тратьте понапрасну слов, потому что я не могу больше жить и я не хотела бы опять увидеть свет солнца, закрытого для меня всем этим. Но если когда-нибудь вам, пораженному таким ужасным случаем, придет на мысль рассказать об этом другим, то узнайте истину, чтобы вы не осуждали жестокость моего супруга и не распространяли позора, которого я не заслуживаю. Эти два человека по справедливости заслужили постигшую их смерть. Этот, лежащий, за то, что он сказал о том, чего не видел и не мог видеть. А этот, изуродованный, не за то, что он совершил, а за то, что намеревался совершить, как изменник, неблагодарный за многие благодеяния, оказанные ему моим супругом и господином; он действовал с такой ловкостью, что я решила, что он в союзе с каким-нибудь демоном, так как я видела его в моей комнате, не понимая, каким образом он входил в нее. Но когда я его увидела выходящим из-за картины, я спросила его, что ему нужно, он отвечал мне, что пришел развлечь меня в отсутствие моего супруга и господина. Я не сказала ему ни одного дурного слова по поводу его домогательств, во-первых, потому, что я никогда их никому не говорила, а во-вторых, потому, что, увидев мою твердость, он не говорил мне больше ни одного бесчестного слова. Если же мой супруг и господин ставит мне в вину, что я не сообщила ему об этом, то я скажу, что, когда я видела его даже слегка разгневанным, я всегда трепетала, пока этот гнев у него не проходил, – насколько же труднее было сказать ему о том, что так поразило бы его в самое сердце. Но не нашлось бы в мире королевства или империи, ради которых я запятнала бы свою честь и ложе моего супруга и господина. И ради милосердия, какое я увидела в вас, и ради истины, которую я вам сказала, я умоляю вас, чтобы вы просили его не длить мне жизнь, а ускорить мою смерть, чтобы я могла скорее предстать с этой мукой на суд Божий.

С того момента, как эта столь же прекрасная, как и несчастная женщина начала говорить, супруг ее проливал такие слезы, что, увидев это, я сказал ему:

– Что вы думаете об этом, сеньор кабальеро? – на что он, рыдая, ответил мне:

– Я думаю то, что как я дал вам позволение говорить, точно так же я даю его вам, чтобы вы делали все, что, по вашему мнению, послужит мне на благо.

Я в ту же минуту выхватил свой кинжал и перерезал узы этих божественных, хотя и ослабевших членов, которые обессилели настолько, что, не будучи в состоянии держаться на ногах, она упала ко мне на грудь, а потом опустилась на пол, словно отдыхая от пережитых великих мучений. Муж бросился перед ней на колени и сказал, целуя ей руки и ноги:

– Супруга и госпожа моя, раз мне не за что прощать вас, я сам со всем смирением прошу у вас прощения.

Она не могла отвечать, ибо от слабости она впала в такой обморок, что я подумал, не умерла ли она, а муж поднялся и с большой поспешностью принес много всяких укрепляющих средств, при помощи которых она, ставшая бледной как белая лилия, моментально опять стала как роза и, открыв свои преисполненные кротости голубые и ясные глаза, сказала мужу:

– Для чего, господин мой, вы захотели опять возвратить меня к этой несчастной жизни?

— Чтобы не погибла моя, — ответил он, и, подняв ее вдвоем, мы перенесли ее в ее комнату, где ей был оказан такой заботливый уход, что наконец она была спасена от смерти.

Ни один слуга не был свидетелем всего того, что произошло в эту ночь.

Утром я попросил у него разрешения отправиться продолжать свое путешествие, но он не отпускал меня в течение двадцати дней, в чем я очень нуждался, благодаря усталости от дороги и ужасу, охватившему меня от столь печального рассказа и страшного зрелища. Охваченный своей страстью, не думая о возможности ошибиться, он совершил убийства и собирался покончить с невинной и невиновной женщиной, из-за чего он жил бы в постоянном беспокойстве, если бы остался жить, — а она была бы опозорена тем, чего не совершила. Что кабальеро обманулся, благодаря стольким подобиям истины считая себя оскорбленным в своей чести и охваченный ревностью, этим источником стольких величайших бедствий, — это не чудо; но поразительна настойчивость или упорство человека двуличного и преисполненного лукавства, который, чтобы осуществить свой умысел, вместо того чтобы действовать спокойно, прибегает к помощи хитростей и выдумок, неистовствует, оскорбляя чужую честь и подвергая опасности свою жизнь; словно эти лукавые люди сделаны из другого теста, чем прочие. Но кажется, что он был очень возмущен, когда наносил удары кинжалом тому, кто сообщил ему новость, хотя благодаря этому разоблачению он мог бы убедиться в истине, не действуя так поспешно; но сама природа и даже разум заставили его совершить это возмездие, справедливое по многим основаниям. Первое и главное, потому что это дурное качество злого умысла, порочного разума и бессовестности, когда человек говорит о чужих поступках, свидетелем которых он не был. Другое, — потому что сообщать кому-нибудь дурные вести о том, что для того имеет большое значение, — это значит находить удовольствие в несчастиях друга, которому это

говорится. Третье, — потому что сплетники и льстецы своими интригами разрушили половину мира. Здесь следует также отметить великое страдание этой столь же прекрасной, как и оскорбленной женщины, которая, несмотря на столько ударов, полученных от судьбы, видя себя уже на пороге смерти, не потеряла терпения в своих несчастьях, ни почтительности к своему мужу. Дай Бог, чтобы все женщины знали, насколько важно для них уметь обладать таким терпением, чтобы сохранить мир в своем доме и любовь своих мужей, ибо им кажется, что меньше чести в том, чтобы не кричать так, как кричат их мужья, будучи более могущественными.

Я был настолько раздражен и недоволен тем, что я слышал и видел, что, хотя они меня самым настоятельным образом просили, чтобы я остался там на всю жизнь или на некоторое время, я не мог согласиться на это; но я отказался от этого, дав им понять, что я уходил очень довольный оказанным мне приемом, очень восхваляя кабальеро за проявленную им решимость при восстановлении своей чести, а ее — за твердость и сохранение своего доброго имени.

За проведенные там дни я убедился, насколько муж был прав, будучи столь влюбленным в это кроткое и божественное создание, настолько преисполненное скромного величия, что действительно по красоте лица, по стройности фигуры, по мягкости характера и по кротости нрава она была настоящим портретом доньи Антонии Калатайуд. Чтобы предохранить себя от всякого страха, какой мог бы у меня появиться, и чтобы оставить их довольными, я дал слово вернуться в их дом и быть к их услугам, покончив свои дела в Венеции; и с этим условием они отпустили меня, ибо как у меня была боязнь какого-нибудь вреда с их стороны, так у них был страх передо мной, чтобы я не разгласил того, что я видел; во всех этих уловках нуждаются люди, бывшие свидетелями чужих бедствий, и они не должны думать, что они являются господами тех, чьи тайны им известны. Ибо и в настоящее время, и в прошлом из-

вестны великие бедствия, постигающие лиц, разгласивших тайны.

Наконец я простился с ними, причем они выказали большое благорасположение свое и любезность. Поручив себя Богу, я отправился в путь, пораженный таким необычным происшествием и преисполненный стольких несчастий, но очень довольный, видя себя вырвавшимся на свободу из этого запутанного лабиринта, – и воздавая про себя великие похвалы чести и достоинству знатных итальянских женщин и скромности, с какой они оберегают себя и свою честь и достоинство.

Я отошел уже почти на милю от этих садов, часто поворачивая голову назад, пока не потерял их из вида, так что мне показалось, что я уже в сотне лиг от них, когда я увидел, что ко мне во всю прыть мчатся два всадника. Я посмотрел кругом, нет ли на всей этой равнине какого-нибудь селения или дома, где я мог бы найти убежище и защиту, но я увидел себя настолько одиноким, что я даже не мог спастись бегством, так как ясно понял, что они раскаивались в том, что отпустили меня, когда я был свидетелем всего происшедшего. Я начал призывать Бога себе на помощь, потому что страх мой возрастал все больше по мере приближения всадников. Наконец, когда они были уже близко от меня, я счел за лучшее остановиться и ждать их решения. Они подъехали с самым недружелюбным видом и сказали:

– Остановитесь, сеньор солдат.

– Я уже остановился, – ответил я, – чтобы узнать, что угодно вашим милостям.

Это были двое мужчин, вооруженных двумя ружьями и охотничьими ножами, которыми они снимали шкуры с животных; их лица были загорелы, а слова грубы, так как они были обращены к испанцу, шедшему пешком и в одиночестве. Поэтому на обращенный к ним вопрос мой, что им было угодно, они ответили очень враждебно:

– Нам от вас не угодно ничего, но за нами следует тот, кому от вас что-то угодно.

Эти слова заставили меня задрожать и убедили меня в правильности моих опасений.

– Но, сеньоры, – обратился я к ним, – чем оскорбил я сеньора Аврелио, что со мной обращаются таким образом?

– Он вам это скажет, – ответили они.

– Позвольте мне продолжать мой путь, сеньоры, – сказал я, на что один из них возразил:

– Стойте на месте, или я пущу в вас две пули.

Я заметил, что почтительностью от них ничего не добьешься, и рассчитал про себя: если они явились, чтобы убить меня, то почтительность мало принесет мне пользы; а если они не собираются убивать меня, я не хочу, чтобы меня считали трусом. Поэтому, когда они сказали о двух пулях, я ответил, хватаясь за шпагу:

– Так если вы собираетесь стрелять в меня, цельтесь лучше; если вы промахнетесь, то, клянусь жизнью испанского короля, я подрежу ноги вашим коням, а вас самих изрублю в куски.

– Хвастовство испанца, – сказал один из них.

В этот момент уже подъехал на статном иноходце кабальеро, и когда он, увидя обнаженную шпагу, спросил, в чем было дело, я ответил ему:

– Я не знаю, на чем может быть основана такая несправедливость, как желание причинить смерть тому, кто захотел дать жизнь.

– Я не понимаю такого языка, – сказал кабальеро.

Слуги почтительно вытянулись со словами:

– Сеньор, вы послали нас задержать его, но так как он хотел идти дальше, то мы пригрозили тогда ему пистолетом, а он нам, говоря, что искрошит и нас, и коней.

На это кабальеро ответил:

– Я послал вас задержать его, чтобы сделать ему добро, а не для того, чтобы причинять зло; и я не удивляюсь, что, увидя двух человек на конях и хорошо вооруженных, которые вздумали дурно обращаться с одиноким пешеходом и благородным человеком, он осмелился на это и на гораздо большее. Слезайте с коня и дайте это ружье испанскому сол-

дату, и пусть он сядет на коня, а вы сопровождайте его до Венеции; и если он потом вас отошлет, возвращайтесь, а если нет, то дожидайтесь его. – И, обращаясь ко мне, сказал: – Сеньор солдат, беспорядок, вызванный моими бедствиями, был причиной, что я пренебрег своей обязанностью, и моя супруга, со своим ангельским характером, тронутая вашим состраданием и забывшая о моей жестокости, посылает вам в этом кошельке сотню эскудо на дорогу и от себя лично эту драгоценность, золотой крест с изумрудами и рубинами; она пребывает в надежде вновь увидеть того, кто остановил такое кровопролитие.

Я бросился к его ногам, благодаря его за такое благодеяние и честь; потом сел на коня, а проводником моим был тот, кто еще недавно хотел меня убить. Я прибыл в Венецию, как мне казалось, настолько богатым, что мог бы купить ее всю. Я сказал своему проводнику, чтобы он проводил меня в очень хорошую гостиницу, так как он хорошо знал город. Когда я вошел туда, было неподходящее время отпустить его, хотя я держал его при себе так же охотно, как он шел. Я отдохнул эту ночь и наутро отпустил его.

Глава VIII

С большим изумлением рассматривал я величие этой республики, столь богатой и пользовавшейся таким уважением, что обитатели ее были убеждены, будто они имеют больше оснований быть тщеславными, чем все остальные нации в мире. Однако в их внешнем поведении этого не обнаруживалось, потому что они держатся настолько скромно, что тот, кто их не знает, не примет их за то, что они есть на самом деле. А что касается их тщеславия, то здесь подходит забавный случай, происшедший между одним знатным венецианцем и одним португальцем, тоже принадлежащим к народу, который настолько полон самообожания, что не ставит ни во что весь остальной мир.

Когда я собирался пройти через маленький мостик, называющийся мостом Брагадина, я остановился, потому что позади меня шел один из Великолепных; я оказал ему почтение, потому что они хотят, чтобы им оказывали его. А с другой стороны моста шел, глядя на горизонт, полный рослый португалец с перчатками из выдры на руках и обутый в спускавшиеся складками сапоги. Когда они дошли до середины мостика, Великолепный подумал, что португалец уступит ему дорогу, что было бы справедливо, так как он был в своей стране, – а португалец хотел того же для себя, будучи в чужой стране. Случилось, однако, так, что, достигнув середины моста, оба они очень величественно столкнулись и, чтобы не упасть в воду, португалец оттеснил его, а Великолепный не решился обойти стороной. Оба упали: Великолепный на спину, так как обладал слабыми ногами, а португалец ничком, так что чуть-чуть оба не упали в море. Португалец быстро встал, стряхнул с себя пыль перчатками из выдры, а Великолепный отряхнул красные чулки и платье на спине. Когда они стряхнули с себя пыль, они остановились и стали смотреть друг на друга, и, пробыв некоторое время в таком изумлении, Великолепный сказал португальцу:

– А вы знаете, что я венецианец, благородный патриций? – а португалец таким же тоном ответил или спросил:

– А вы знаете, что я португалец, фидальго из Эвора? – на что венецианец очень презрительно сказал ему:

– Убирайся в публичный дом, козел рогатый! – а португалец, топнув ногой, ответил ему:

– Отправляйся сам туда, негодяй!

Каждый из них пошел своей дорогой, поворачивая голову назад, причем Великолепный показывал пальцем на португальца и говорил, громко смеясь:

– Не идет, сумасшедший.

Португалец точно так же говорил:

– Оглядывается, дурень.

Так что я не мог решить, кто из них обоих был более тщеславен и глуп, хотя полагаю, что португалец, – потому

что он был дерзким в чужой стране, где так не любят испанцев, что венецианцы говорят, восхваляя свой город, что в нем не бывает ни жары, ни холода, ни грязи, ни пыли, нет мух и даже москитов, ни блох и вшей, и даже нет испанцев. Венецианцы настолько изворотливы, что нет восхваления на свете, каким они не воспользовались бы для того, что они любят и что им нужно, и нет таких непристойных слов, какие они не употребляли бы по отношению к тому, к чему они питают отвращение.

Один из таких дворян пришел купить немного рыбы и в очень ласковых и любезных выражениях осведомился у торговца рыбой, не будучи знаком с ним, как поживают его жена и дети, а его самого называл очень почтенным человеком. Но когда тот не захотел отдать ему рыбу по желаемой цене, он назвал его рогоносцем, жену его развратницей, а детей ублюдками.

Я видел там очень примечательные проявления превосходства, на какое, по их мнению, они имеют все права, вследствие древности своего рода и своего могущества.

В час обеда я пошел в свою гостиницу, и едва я пришел туда и начался обед, как мне сказали, что меня разыскивает какая-то знатная дама на носилках, спрашивая:

— Где здесь живет испанский солдат?

Я видел, что, кроме меня, другого здесь не было; я встал и пошел узнать, что ей угодно. Я увидел выходящую из носилок женщину; она была очень стройна и очень красива и не менее хорошо одета. Очень ласково, в приветливых и любезных словах, она поздравила меня с благополучным прибытием, что повергло меня в смущение и сомнение, так как я подумал, что она действительно принимает меня за другого; поэтому я сказал ей:

— Сеньора, я считаю себя недостойным столь высокого и благородного посещения, как ваше. Умоляю вас получше удостовериться, тот ли я, кого вы ищете.

Обнимая меня, с радостным видом она ответила:

— Сеньор солдат, я очень хорошо знаю, кого я ищу и кого уже нашла. Я сеньора Камила, сестра сеньора Аврелио, от которого вчера вечером я получила письмо, приказывающее мне принять вас и ухаживать за вами не как за чужим человеком, а как если бы это был он сам, — все время, какое вам будет угодно пробыть в Венеции.

— Я вполне уверен, — отвечал я, — что от такого благородного кабальеро я могу ожидать всех благ мира, и, вероятно, все предпринятое столь прекрасной и благоразумной сеньорой направлено к моему благу.

— Ну, так следуйте за мной, — сказала она, — хотя все это утро я не могла найти вашего местопребывания, у себя я распорядилась, чтобы для вас был приготовлен обед, приличествующий такому лицу.

И хотя я отказывался от этого, потому что здесь уже за все было заплачено, она сказала, что я должен обязательно исполнить приказание ее брата. Поэтому, расплатившись в гостинице, я отправился с ней, не сомневаясь уже в том, что она говорила. Однако я шел, думая, не было ли это хитростью со стороны ее брата, чтобы осуществить в Венеции то, чего ему не удалось выполнить в своей усадьбе. Но она вела меня в свой дом с такой приветливостью и любезностью, что у меня исчезли всякие дурные мысли и подозрения.

Мы вошли в очень красиво убранный зал, где я нашел накрытый стол, уставленный обильными и изысканными кушаньями, которыми я занялся очень охотно, потому что имел большую потребность в этом. Все блюда были очень вкусно приготовлены, а кроме того, их раскладывала и предлагала сеньора Камила своими серебристо-белыми руками, не переставая превозносить расположение и настойчивость, с какими сеньор Аврелио, ее брат, поручал ей все это. После обеда она достала подписанное Аврелио письмо, гласившее следующее: «Я озабочен из-за одного испанского солдата, моего гостя, поступки которого обнаруживали в нем человека знатного; я не мог принять его так, как мне хотелось бы, хотя ваша сестра и моя супруга послала ему в дорогу янтарный кошелек с сотней эскудо, а от себя

лично золотой крест с рубинами и изумрудами, так как в то время больше ничего не могла. Разыщите его, окажите ему гостеприимство и примите его как меня самого, не давая ему ничего тратить за все время его пребывания в Венеции, – а если он вздумает вернуться сюда, дайте ему все необходимое на дорогу».

Благодаря свидетельству письма я окончательно убедился в истине того, что говорила мне сеньора Камила, и поверил, что полученное угощение и те, какие я еще должен был получить, были за счет этого знатного кабальеро Аврелио. Потом она сказала мне, чтобы я перенес в ее дом свое платье или дорожную сумку, потому что все время, пока я буду в Венеции, я не должен есть и спать где-нибудь кроме ее дома и должен жить целиком на ее счет. Я счел себя в высшей степени обязанным и сказал ей, что у меня нет ни дорожной сумки, ни других вещей, кроме моей собственной персоны; и она велела тогда служанке принести для меня маленькую шкатулку. Та принесла шкатулку редкостной работы; она передала мне ключ от нее и сказала, чтобы я положил туда свои бумаги и хранил их, потому что в Венеции очень опасно из-за воров. Я обрадовался этой шкатулке и положил в нее свои бумаги, деньги и драгоценность, которую она рассматривала с большим удовольствием и тысячу раз целовала, так как это была вещь ее невестки, которую она, по ее словам, любила бесконечно. Я запер шкатулку на ключ и попросил ее взять на себя хранение шкатулки. Она ответила, что лучше, если она останется у меня, на тот случай, если я захочу взять деньги, хотя они мне и не могут понадобиться, пока я буду в Венеции. Я сказал ей, что все равно, понадобятся они мне или нет, будет лучше, если они будут у нее, а не у меня. Настаивая, – хотя она и отказывалась от этого, – я в конце концов заставил ее взять шкатулку на хранение.

Вечером у меня был превосходный ужин, украшенный ее любезным присутствием, потому что она действительно была очень красива. Я был очень доволен этим вечером, поужинав за счет такой любезной дамы.

Глава IX

На следующее утро она посетила меня, спросила меня, как я себя чувствую, и сказала, чтобы я без всякого стеснения требовал, если мне что-либо понадобится, потому что она уходит в гости к одной знатной сеньоре, и если она не возвратится к обеду, то ее слуги и служанки будут в моем распоряжении. Она не пришла к обеду и не показывалась весь день. Я ждал ее до ночи, но она так и не пришла. Меня не переставало смущать некоторое подозрение, и я все думал о том, не могла ли здесь каким-нибудь образом таиться западня или обман, потому что она говорила мне, чтобы я в Венеции не доверял ни одной женщине, сколь бы благородной она мне ни казалась, так как они меня непременно обманут. Но, размыслив, что тех сведений, какие были в том письме, она не могла узнать никаким иным путем, кроме как от самого Аврелио, я успокоился.

На другой день, так как она не пришла ко мне утром в тот час, как накануне, и не приходила долго спустя после этого, я спросил у одного из слуг дома, встала ли сеньора Камила, а он мне ответил, что в этом доме не было такой женщины. Я повторил ему свой вопрос, и он опять ответил мне то же самое. Но другой слуга, которому, вероятно, было дано указание, подошел ко мне и спросил, что мне от нее нужно, так как она ушла навестить одну больную сеньору. Я притворился, что успокоился на этом, но спросил наедине у другого слуги, был ли это ее дом. Тот мне ответил, что он ничего не знает, кроме того, что этот зал был нанят для одного знатного испанского кабальеро.

Я замолчал и пошел в свою прежнюю гостиницу, чтобы расспросить, не знают ли там этой сеньоры, которая приходила разыскивать меня, или не знают ли, где она жила. Один из бывших там сейчас же ответил мне:

– Никто не сможет указать вам ее дом лучше того, кто прибыл сюда вместе с вами и кого вы отослали с конем, потому что он приходил с ней и показывал ей, где вы живете.

А она, которую вы принимаете за знатную даму, — простая куртизанка, живущая мошенничеством и обманами.

Не ответив ему ни слова, я ушел в отчаянии, видя, что мои деньги, драгоценности и бумаги похищены у меня благодаря мошенничеству моего провожатого, который сообщил ей о том, что у меня было, и, основываясь на этих сведениях, она сочинила показанное мне письмо. Но вспомнив, что она сама предостерегала меня от обмана, который она мне устроила, я немного успокоился и пошел в дом, где она меня поместила, обдумывая, не смогу ли я поправить беду. И когда я спросил слугу, который был приставлен ею, не приходила ли сеньора Камила, тот мне ответил:

— Сеньор, она только что была здесь, но, не застав вас, опять ушла к больной. Если вам что-нибудь угодно от нее, то я сейчас схожу за ней.

— Мне она нужна, — сказал я, — чтобы получить у нее некоторые из моих бумаг, в которых находятся удостоверения моей личности, потому что здесь у меня извещение на двести эскудо, которые я должен получить по векселю, но их нельзя получить без той бумаги, о какой я говорю.

— Так я сейчас же пойду сообщить ей об этом, — сказал слуга.

Пока он уходил, я сочинил вексель с указанием тех примет, какие совпадали с приметами в паспорте, привезенном мною из Милана. Едва я кончил писать вексель, как торопливо прибежала моя сеньора донья Камила, думая прибрать вместе с остальным и еще двести эскудо. Вероятно, она уже посмотрела удостоверение моей личности, так как оно находилось у нее и, наверное, у нее был другой ключ от шкатулки. Я приветствовал ее и показал ей вексель, достав его из-за пазухи; увидя его, она послала служанку за шкатулкой. Я опять ожил и попросил сеньору, чтобы она разыскала мне какого-нибудь кабальеро, которому я мог бы дать доверенность на получение денег по этому векселю, потому что я не хотел, чтобы его видел у меня испанский посланник, так как он меня знал. Она сейчас же привела мне одного из своих плутов, очень хорошо одетого, говоря, что он был очень знатным кабальеро. Я попросил его привести писца, чтобы написать ему доверенность, а сеньора Камила, желая оказать мне особенную услугу, сказала, что она хочет, чтобы это был писец, пользующийся ее доверием. Они ушли за ним, а я между тем взял свою шкатулку и пошел разыскивать барку, на которой я мог бы скрыться. Я условился об этом и возвратился в дом, где уже застал сеньору, мошенника и писца. Я отдал им доверенность, вексель и удостоверение личности, чем они остались очень довольны, а я еще больше. И так как был уже вечер, я умолял их, чтобы они получили эти двести эскудо утром пораньше, потому что я хотел сделать сеньоре Камиле хороший подарок. Я собрался заплатить писцу, но она не допустила этого. Они ушли, и я опять очень настоятельно просил их получить деньги утром, как можно раньше. Они дали мне слово, что в восемь часов деньги будут получены.

Когда они вышли на улицу, я выглянул в окно, ибо, как только они уйдут, хотел уйти и я. Мошенник обернулся, смеясь по поводу шутки, какую они со мной сыграли; так как они меня увидели, я еще раз просил их поторопиться с получением денег, на что они громко рассмеялись. Они думали, что если я отдал им раньше так простодушно шкатулку, то все будет им и впредь так же удаваться. Когда они скрылись за поворотом улицы, я взял свою шкатулку под плащ и пошел на свое судно. Но не прошел я и тридцати шагов, как мне встретился слуга, пользовавшийся расположением сеньоры Камилы, и спросил меня, куда я иду с такой поспешностью. Я ответил ему, что иду отнести эту шкатулку сеньоре, которая только что ушла от меня и пошла вниз по этой улице. При этом я указал ему улицу, по которой он мог бы идти всю ночь, не встретившись с ней.

— Так я пойду сообщу ей об этом, а вы можете возвратиться домой, — сказал он.

Он пошел по указанной улице, а я прямо к барке, которая ожидала меня с таким хорошим ветром, что утро за-

стало нас в тридцати лигах от Венеции. Когда я рассказал спутникам кое-что из того, что со мной случилось, они, по характеру обмана и по примененной уловке, начали гадать, кто бы это мог быть. Но когда они узнали, что она тратила на оказанное мне гостеприимство свои деньги, они очень веселились и собирались рассказать об этом в Венеции.

Я не знаю, была ли здесь виновата легкость, с какой я поверил, или заключавшаяся в ее словах сила обмана, потому что, хоть правда, что трудно не попасться на хитрость, порожденную ясной и очевидной истиной, все же такая немедленная доверчивость служит доказательством легкомыслия; но обольщение красивой и разговорчивой женщины настолько могущественно, что она могла бы обмануть меня и при меньших условиях. Легковерие свойственно людям простодушным, но неопытным, в особенности если убеждение направлено к нашей выгоде, ибо в таком случае мы легко поддаемся обману. Я увидел себя в безвыходном положении и совсем погибшим, не столько чувствуя нанесенное мне оскорбление, сколько грозившую мне потерю денег; поэтому не ум подсказал мне этот план, а нужда, так как я был беден и находился в чужой стране и так как никаким дозволенным и легким способом я не мог уничтожить нанесенное мне оскорбление, кроме как подобным же или еще худшим обманом. Но да избавит меня Бог от лжи, имеющей такую видимость истины, ибо нужна помощь неба, чтобы распознать ее и не поддаться искушению поверить ей. Однако, размышляя об этом, я задал себе вопрос, какое знакомство или какие узы дружбы или любви были между этой женщиной и мною, чтобы она так легко тратила со мной свои средства и чтобы я так легко дал себя убедить, что в этом обращении была искренность? Объяснение этого в том, что я считаю подозрительным предложения услуг и любезности со стороны людей незнакомых. И это ошибка — подчиняться обязательствам, начало которых не имеет основания, и поэтому самое надежное при подобных предложениях — это благодарить, не принимая их. Потому

что лучшим средством против обмана является не отвергать его, давая это понять, а, понимая его, обращать его в хорошую сторону, так как приятное обращение укрощает все что угодно. Я считаю, что две вещи снискивают всеобщую любовь и скрывают недостатки того, кто этим пользуется: это вежливость и щедрость. Будучи щедрым в любезностях и ласковых словах и не скупым в отношении своих средств, человек всегда вызывает расположение и большую любовь в тех, кто имеет с ним дело.

Глава X

Я пустился в это плавание, не столько зная, какое путешествие мне надо предпринять, сколько для того, чтобы бежать от этой обманщицы и ее козней. Поэтому мне нужно было удлинить свой путь больше, чем следовало, чтобы добраться туда, где я чувствовал бы себя лучше. Среди спутников я столкнулся с одним, который сказал мне, что он бежал потому, что на него возвели очень тяжкое обвинение и он хочет быть отделенным водой, пока не будет доказана истина или не прекратится дурная молва о нем.

— Я считаю большой ошибкой, — сказал я ему, — отворачивать лицо и подставлять спину, чтобы она получала оскорбления и раны, удары которых оставят неизгладимые кровавые следы. Ибо если оскорбленный находится налицо, то каждый скорее усомнится в справедливости обвинения, чем станет чернить его доброе имя. А для доказательства преступления величайшей и наиболее очевидной уликой является бегство. Мало ценит свою репутацию тот, кто не боится ран, наносимых языком в его отсутствие. Нет такого праведного человека, который не имел бы какого-нибудь соперника; и чтобы не давать тому возможности устраивать козни, он не должен упускать его из вида, ибо злонамеренные пользуются всяким пустяком, чтобы напитать ядом мнение всего общества против того, кого они хотят видеть извергнутым из этого общества.

Этими и другими доводами, какие я ему высказал, я убедил его возвратиться в Венецию, что для меня было важно, потому что, выйдя на берег в первом же селении, какое мы увидали, — так как мы плыли около берега, — я оказался близко от Ломбардии, откуда я направил свой путь в Геную, а он в Венецию. Таким образом, за добрый совет я избавился от необходимости кружить более двухсот лиг, сколько считается водой от Венеции до Генуи, где я рассчитывал застать дона Фернандо де Толедо. Но так как он проехал дальше, то в ту же ночь, хотя она и была очень бурной, я поехал с такой поспешностью, что нагнал его в Саоне в тот момент, когда он собирался отплывать. Я был принят с радушием, в котором я очень нуждался вследствие овладевшей мной меланхолии, порожденной постоянными ревматическими болями, которые всегда поражали у меня ипохондрические части. Мы отправились в обратный путь в Испанию, оставляя справа берега Пьемонта и Франции, неспокойные в то время благодаря бродившим там шайкам бродяг, подчинявшихся не закону своего короля, а собственной воле и прихоти. Мы заходили в гавани по необходимости и только у таких берегов, которые казались наиболее удобными для разбивки лагеря, оставляя в безопасном месте и под хорошей охраной одиннадцать фелук, на которых мы плыли; на берегу мы ели и добывали воду и дрова.

Из Генуи я захватил с собой бурдюк в десять асумбр очень хорошего греческого вина, благодаря которому я пользовался дружбой большого общества, пока мы не достигли Марсельских Яблок. Это очень высокие голые скалы, бесплодные, без травы, без деревьев и без какой бы то ни было зелени, лишенные всего, что могло бы радовать взор. И вот, когда мы достигли этого места, — так как переход был не без трудностей, — моя фелука, шедшая последней, села на мель очень близко от этих Яблок, около одного из которых прибой волн создал очень длинную гряду, или уступ. Поэтому, когда мы сели на мель, капитан фелуки сказал:

— Мы погибли!

Так как я умел плавать и видел поблизости место, где мог быть в безопасности, я снял с себя и бросил бывший на мне плащ и повесил себе на шею, как перевязь, бурдюк, в котором было уже мало содержимого, и в четыре или шесть взмахов руками достиг гряды Яблок. Между тем фелука сошла с мели и моряки уплыли, обращая на меня внимания не больше, чем на тунца. И хотя я кричал им, они или не слышали моих криков из-за шума волн, или не хотели их слышать, чтобы не нарушать свойственного их характеру обычая быть нечестивыми, чуждыми любви и вежливости, столь же лишенными всякой человечности, как чуждые сострадания морские животные.

Я чувствовал себя погибшим и без надежды на иное утешение, кроме как от Бога и святого ангела-хранителя. Я размышлял о том, что должно быть со мной, если случайно не пройдет этими местами какой-нибудь корабль или судно, которое пришло бы мне на помощь в такой крайней нужде. С восьми часов утра до двух часов дня я ждал, не покажется ли кто-нибудь, кто мог бы помочь мне, так как я был уверен, что этот благородный кабальеро должен был сочувствовать моей беде; но моряки были такими жестокими животными, что сказали ему, будто я утонул. Время от времени я подкреплялся при помощи своего бурдюка, пока не принял решения, что же мне следовало делать.

Я решил отдаться ярости моря, этого ненасытного чудовища и кровожадного зверя, и для этого снял с себя колет из тонкой кордовской кожи и с помощью острия кинжала и двух дюжин шнурков, которые я всегда беру с собой в путешествие, я зашил его на груди, по подолу, в рукавах и горловине так плотно, что мог надувать его и воздух из него не выходил. Я освободил бурдюк от божественной жидкости, какая в нем еще оставалась, и, очень хорошо надув его, сделал его противовесом колету. То же самое я сделал с начищенными сапогами, которые, будучи связаны подвязками, тоже помогали поддерживать на воде. Я снял с себя широкие штаны, потому что вода стала бы проникать в них

через карманы, и остался только в рубашке и камзоле, потому что, сделанный из замши, — он не так быстро поддавался влаге. Снарядившись таким образом, я вспомнил, что лучшие пути — это те, какими ведет нас Бог, и обратился к Нему с такими словами:

— Всемогущий Боже, начало, середина и конец без конца всего видимого и невидимого, в величии Твоем живут и пребывают ангелы и люди, премудрый Творец небес и стихий, — Ты, Который сотворил столько чудес на земле со Своими творениями, Который вел к спасению через столько лиг воды блаженного Раймундо, державшегося только на своем плаще, Ты, Который на этом самом месте избавил от уже охватившей их смерти моряков, которых собирались поглотить неукротимые волны, укрощенные Тобой по одной лишь просьбе раба Твоего Франсиско де Паула, — рождением, смертью и воскресением святейшего Сына Твоего, нашего Спасителя, умоляю Тебя, не дай мне умереть вне моей стихии.

Потом я обратился к святому ангелу-хранителю:

— Ангел мой, которого Бог приставил, чтобы охранять это тело и душу, молю тебя именем Того, Кто создал тебя и создал меня, сопутствуй мне и защити меня в этой беде.

Произнеся эти слова и крепко держась за свой корабль, я очень отважно бросился на колет и бурдюк и начал храбро действовать своими четырьмя веслами, но так, чтобы мне не уставать; судно мое шло по ветру, и я плыл, делая небольшие движения руками, чтобы усталость не ослабляла моих сил. Я не решался подумать о глубине воды подо мной, чтобы не потерять присутствия духа; не решался я и остановиться, потому что хорошо знал, что, пока тело движется, на него не нападут прожорливые морские животные. А если иногда я чувствовал, что мои весла ослабевают, я вытягивал их по воде, доверяя все остальное своему судну; иногда я утешался благоуханием, исходившим от бывшего около моего носа бурдюка. Я начинал молиться, но оставлял это, потому что мне не хватало дыхания, которое так необходимо в подобных обстоятельствах.

Так двигался я с час, то отдыхая, то плывя, когда начал свежеть дувший из Африки ветер и относить меня к берегу, так что я должен был противодействовать ему, чтобы он не отнес меня к одному из этих Яблок, о которых я говорил, и не разбил бы меня о скалы. Но, очутившись в этой крайней опасности, я заметил маленькую бухту, отчего вздохнул с новой бодростью, и когда я стал держать путь или плыть по направлению к ней, то этот самый южный ветер мне чудесным образом помог. Когда я был уже настолько близко, что мог хорошо видеть всю бухту, я заметил на берегу ее закусывающего человека. При виде его и заметив, что он ест, я почувствовал новые силы. Но точно так же, как я обрадовался и ободрился при виде его, он испугался меня, подумав, что это кит или какое-нибудь морское чудовище. Меня подхватила огромная волна и бросила так близко к берегу бухты, что я мог встать на ноги, и в тот же момент испуганный человек пустился бежать в глубь острова. А бывшая с ним борзая собака прыгнула в воду, собираясь броситься на меня, и мне пришлось бы плохо, если бы не кинжал, с которым я никогда не расставался, потому что, когда я кольнул им собаку, она выскочила на берег и побежала за своим хозяином.

В таких бухтах вода всегда спокойна, и так как я уже доставал дно, то я вышел на берег и, встав там на колени, воздал благодарение первопричине всего. Но, переведя взор на закуску, которую оставил убежавший, я посмотрел на себя, со своим бурдюком и колетом, пришитыми к камзолу, и на начищенные сапоги, также сохранявшие свою форму, и не удивился, что он принял меня за какое-то чудовище. Я набросился на кусок хлеба и сыр, которые тот оставил вместе с кувшином вина, и, утолив свой голод, готов был поклясться, что никогда в своей жизни не ел более вкусных вещей. Но когда я приложил ко рту кувшин, появилось десять или двенадцать человек, вооруженных чем ни попало, которых убежавший привел, чтобы убить кита, а так как они не нашли его, то они спросили этого доброго человека, где же был кит, и меня, не видал ли я его. Тот был сму-

щен, я же ответил по-итальянски, так как не решался говорить по-испански, что сюда не заплывал ни кит, ни что-нибудь другое, что могло бы быть похожим на него, а что это он меня в таком виде принял за кита и что этот человек убежал, чтобы оставить мне свою закуску. Они высмеивали его и издевались над ним, называя его по-французски пьяницей и давая другие прозвища, причем много смеялись, а мне высказывали сочувствие, видя меня таким вымокшим и раздетым. В это самое время подошла фелука с двенадцатью гребцами, получившая от полковника приказание разыскать меня, потому что он сказал им, что велит повесить капитана фелуки, если меня не доставят живым или мертвым.

Я подал им знаки бурдюком, потому что это был лучший знак, какой я мог подать им, чтобы они узнали меня к своему удовольствию. Они сейчас же повернули в бухту, где нашли меня лежащим на солнце, более огорченным, чем подбрасываемая на одеяле собака, дрожащим и смущенным. Они перенесли меня в фелуку, причем все удивлялись, видя меня живым после того, как я претерпел такое бедствие в таком возрасте, ибо мне было уже около пятидесяти. Они доставили меня в Марсель, где этот знатный кабальеро, всему свету известный и всеми любимый, обласкал меня и позаботился обо мне. Но так как это несчастье случилось со мной уже в преклонных годах, то последствия его остались у меня, и каждую зиму я страдаю от сырости и холода.

В этом происшествии я был похож на навозного жука, который находился в обществе улитки, спрятавшейся в раковину из боязни воды. Жук, полагаясь на свои крылышки, решил полететь на поиски сухого места, а когда он поднялся, улитка сказала: «Вон там, видишь?» — и при этом выпустила на него большую каплю, отчего он упал во вздувшийся поток. Положившись на то, что я умел плавать, а другие нет, я бросился в лужу тунцов, как говорит дон Луис де Гонгора, где со мной могло бы случиться то же, что и с навозным жуком, если бы мне не помог Бог; ибо с таким жесто-

ким и вероломным животным, как море, уменье плавать не помогает, и для человека броситься в море — это все равно что москиту броситься в лагуну Урбион. Земные животные привыкли иметь дела со стихией надежной, дружественной, спокойной и кроткой, которая повсюду дает уставшему убежище и опору. А неблагодарное море — пожиратель земных богатств, вечная могила того, что скрывается в нем; море, выходящее на сушу, чтобы посмотреть, не может ли оно унести в себя то, что находится на берегу; прожорливое животное, поглощающее все, до чего оно может достать; опустошитель городов, островов и гор; завистливый враг покоя, палач живых и поругатель мертвых, и такой скупец, что, будучи полным воды и рыб, заставляет умирать находящихся на нем людей от жажды и голода, — что же может оно сделать, как не погубить того, кто ему доверился? Поэтому кажется, что только благодаря деснице Божьей могло случиться то, что произошло недавно при взятии Маморы с доном Лоренсо и капитаном Хуаном Гутьеррес. Капитан, обремененный годами, плывя, без всякой помощи захватил у пяти мавров лодку, в которой те плыли; а дон Лоренсо, проплыв целую ночь, подгоняемый вздымающимися волнами, достигнув лодки, на которой он мог бы отдохнуть от таких безмерных трудов, воодушевляемый сверхъестественными силами, сказал, что он не хочет войти в лодку, чтобы не лишать гребцов возможности подобрать других, плывших за ним и нуждающихся в этом больше, чем он, — и поплыл дальше. Случай редкий или даже никогда не виданный.

Я перенес это бедствие и порицание за свою чрезмерную отвагу, потому что такая самонадеянность могла мне стоить жизни. В самом деле, чтобы показать, что я умею плавать и обладаю тщеславной смелостью, чтобы отважиться на это, я столь необдуманно бросился в опасность, — хотя в таких поспешных поступках нет времени для размышлений. Но было бы лучше подождать решения участи всех, чем выскакивать мне вперед со своею, которая была так мало благоприятна для меня. Ибо если тщеславие порождает

отвагу, то это, должно быть, только у тех, кто по опыту знает свою счастливую судьбу. Но какое значение могло иметь для меня приобретение славы пловца, когда я не был ни головастиком, ни дельфином и не собирался стать моряком? Это было лишь тщеславием, безрассудством и глупостью.

Глава XI

Мы прибыли в Испанию и высадились в Барселоне, городе прекрасном с суши и с моря, изобилующем продовольствием и удовольствиями, которые казались мне еще более приятными и привлекательными благодаря тому, что я слышал опять испанскую речь. И хотя жители его пользуются славой грубоватых, я заметил, что они радушны и щедры с теми, кто хорошо обходится с ними, и гостеприимны к чужестранцам. Ибо во всех странах мира хотят, чтобы чужестранец снискивал дружбу хорошим обхождением. Если тот, кто не является местным уроженцем, ведет себя скромно и живет, не причиняя вреда местным жителям, то он приобретает всеобщее расположение, потому что его хорошее поведение, вместе с одиночеством, какое ему приходится выносить, вызывают сочувствие и любовь в сердцах местных жителей.

Все животные одной и той же породы хорошо уживаются друг с другом, хотя они и не знают друг друга, кроме людей и собак, которые, обладая тысячей хороших и обычно вызывающих удивление качеств, обладают также отвратительным свойством: все они кусают бедного чужестранца и даже загрызают насмерть, если могут. То же самое происходит и с людьми, если пришелец не таков, каким он должен быть, прибывая в чужую местность. И что особенно оскорбляет местных жителей — это ухаживание за их женщинами, так что пришелец должен в особенности остерегаться этого, хотя достаточно быть любезным, чтобы привлечь к себе благосклонные взоры всех. Многие жалуются на местности, где они были за пределами своей родины; но они не говорят о поводе, какой они сами дали для этого. Они восхваляют отношение к чужеземцам у себя на родине и не замечают, каким путем те вызывают хорошее к себе отношение. Я могу сказать, что во всей Арагонской короне я находил отца и мать, а в Андалусии близких друзей, за исключением людей дурных, которые стараются только причинять зло, ибо такие люди во всем мире являются врагами спокойствия; они мятежны, беспокойны и горды, они враги любви и мира.

Я был очень рад прибыть в Мадрид, куда так стремился. По приезде туда я нашел много друзей, желавших видеть меня. Я поступил на службу к одному знатному вельможе, большому любителю музыки и поэзии, ибо, хотя я всегда избегал службы в качестве эскудеро, я вынужден был прибегнуть к ней. Я совсем неожиданно вошел к нему в милость и пользовался большим его расположением и покровительством. Так как я испытал уже много бедствий, то, когда я оказался в чрезмерном довольстве, на меня напала лень, и я разжирел так, что меня начала мучить подагра. Я завел себе птичек, и среди них я особенно любил одну коноплянку, далеко превосходившую остальных своим пением и даже своими очень чистыми звуками. Ночью я держал ее в своей комнате и однажды целую ночь слышал хруст конопляного семени, что не соответствовало обычаю птиц. Поутру я пошел посмотреть на свою птичку и нашел ее в компании мышонка, который так наелся конопляного семени, что у него раздулся живот и он не мог вылезть из клетки.

«Съевши столько, — сказал я себе, — этот мышонок нашел свою смерть. Я иду тем же самым путем, ибо если мышонок так растолстел за одну только ночь обжорства, то какой же конец ждет меня, когда я каждый день обедаю и ужинаю очень обильно и вкусно? Это будет болезнь — которая уже поразила меня — и какой-нибудь паралич, который быстро покончит со мной».

Я лишил себя ужинов, и этим, а также физическими упражнениями, я сохранил себя. Ведь в самом деле от этой

еды на чужой счет чрезмерно жиреют, потому что едят без опаски; и кто в этом не сдерживает себя, тот подвергается большой опасности заболеть. Люди должны есть столько, сколько способны вместить их желудки, в противном же случае или нужно выташнивать пишу обратно, или подвергать свою жизнь опасности, как это случилось с мышонком. Кроме того, все остальные части тела завидуют желудку, потому что все они должны работать, чтобы толстел он один, а когда они уже не могут больше носить его на себе, они дают ему упасть и вместе с ним сваливаются в могилу.

Я увидел, что шел по этому пути, и заставил себя за обедом есть мало и не ужинать вовсе, и хотя сначала мне это было трудно, но с привычкой можно достичь всего. Пусть те, кто сильно толстеет, обратят внимание на опасность, какой они себя подвергают. Ведь ни возраст не остается всегда одним и тем же, ни пища не бывает всегда одинакового качества, ни те, которые нам дают ее, не придерживаются одной и той же склонности, и времена не бывают похожи одно на другое. Неудивительно, что родившийся толстым всегда и остается толстым, потому что его члены уже привыкли терпеть это и носить его на себе. Но тот, кто родился худым и тонким и в короткое время толстеет, тот подвергает опасности продолжительность своей жизни и самую жизнь. Так как я упорядочил свою еду и питье на ночь, моя толщина стала немного уменьшаться и я начал чувствовать себя более подвижным для всякого дела, ибо лень, конечно, уродует и парализует людей.

Благодаря этому я опять стал беспокойным, а это стало причиной того, что вельможа, которому я служил, с помощью льстецов охладел в своем расположении ко мне, а я в своей службе ему. Ибо знатные сеньоры — это люди, подвластные не только звездам, но и своим страстям и прихотям, и чем выше они стоят, тем быстрее им наскучивает деятельность их слуг. Тот, кто им служит, обязательно должен отказаться от собственной воли и подчиниться воле вельможи, и справедливо, чтобы тот, кто собирается служить, приносил свое желание в жертву тому, кто дает ему средст-

ва к жизни, потому что все хотят, чтобы им хорошо служили. Хотя я видел многих сеньоров, обладающих таким кротким характером, что они с большим мужеством и терпением переносят небрежности слуг, — однако противоположное наиболее обычно.

Глава XII

Так как мой господин обращал на меня мало внимания, я пользовался свободой, чтобы совершать прогулки по ночам, что я делал не ради непозволительных проделок, потому что и возраст у меня был уже неподходящий для этого, и испытанные мною бедствия сделали меня не таким беззаботным, чтобы я мог стремиться к тому, что служит дурным примером, да и справедливо, чтобы ни в каком возрасте это не делалось. Я выходил, только чтобы подышать немного свежим воздухом, потому что летние ночи в Мадриде очень хороши для этого. Каждую ночь мы с друзьями, перебирая с молитвой свои четки, шли, чтобы избегнуть большого скопления народа, не на Прадо, а по пустынным улицам, где, однако, всегда достаточно людей, чтобы составить компанию.

Однажды ночью мы очутились поблизости от Леганитос, и мой друг сказал мне:

— Остановимся здесь, вы, вероятно, устали. Ведь вы уже старик.

Я рассердился и сказал ему:

— Хотите, побежим наперегонки и посмотрим, кто больше старик?

Он засмеялся и принял предложение.

Мы приготовились к бегу, но даже в этом пустяке дьявол нашел способ преследовать меня. У двери своего дома — по крайней мере, так мы считали — стоял парень, и мы дали ему подержать наши плащи и шпаги, пока мы проведем бег. Но едва мы начали бежать, как какая-то женщина закричала: «Ай, меня убили!» — потому что ее сильно рани-

ли шпагой в лицо, и лишь только она крикнула, как появились два или три альгвасила, и так как мы бежали, то они схватили сначала меня, бежавшего первым, а потом другого. Ибо много трибуналов в Мадриде и в каждом больше вар, чем дней в году, и при каждой варе пять или шесть бродяг, которые должны от своей должности и кормиться, и поиться, и одеваться.

Они схватили нас как людей, убегавших из-за совершенного преступления. Они потребовали у нас шпаги, и мы указали дом, около которого мы их оставили; но парень скрылся с ними и плащами, так как он не жил там. Поймав нас таким образом на лжи, — хотя мы не лгали, — они повели нас к раненой женщине. Возбужденная нанесенным ей оскорблением, она сказала, что тот, кто ранил ее, убежал, а так как мы бежали, хотя и не убегали, то альгвасилы были уверены в том, что мы, без сомнения, и были преступниками. Нас отвели без шпаг и плащей в городскую тюрьму, куда я вошел с величайшим стыдом, потому что хотя мне не было стыдно вызывать в мои годы другого на состязание, но было стыдно войти в тюрьму без плаща.

Волнение было большое, и преступление рисовалось в самом дурном свете, потому что двое мужчин — не детей и не первой юности — совершили такой подвиг против несчастной женщины. А тот, кто это действительно сделал, — как я в этом убедился по явным признакам, — шел сзади нас. И если бы альгвасилы были такими, какими они должны быть, они не спешили бы класть столь позорное пятно, и если бы они обращали свое внимание на справедливость, а не на выгоду, то они расследовали бы дело так, что тюрьма им кое для чего пригодилась бы, а на меня они не набросили бы такой дурной славы. Если бы они соображали, то они обратили бы внимание на то, что два человека, бывшие без плащей, без шпаг, без шляп, без кинжалов и ножей, без всякого другого оружия и бежавшие наперегонки, не могли выйти из дома такими неподготовленными, чтобы совершить такое преступление, причем на всей улице не оказалось орудий, какими оно могло бы быть совершено. Ни у

кого на всей улице они не спросили ни слова, чтобы доискаться истины, как это всегда делается. И даже допуская, что альгвасилы хотели бы расследовать дело, то поспешность, какую проявляли их помощники, не позволяла им сделать что-нибудь хорошее, чтобы не вводить этим новшества в их обычай.

В конце концов на нас надели оковы, и причиной этого был начальник, который, будучи осведомлен альгвасилами, как им хотелось, пришел в тюрьму с намерением подвергнуть нас пытке. Но когда он услышал доводы, о которых я сказал выше, и так как, разлучив нас, он нашел, что наши показания совпадают, он был смущен и не решился прибегнуть к пытке. На нас надели оковы, в которых мы пробыли два или три дня. Дело продолжали расследовать, а так как преступник не обнаружился, то по улике, что мы бежали в то время, когда был нанесен удар шпагой, мы оставались там забытыми три месяца. Нас бросили в камеру, где уже давно сидел один узник, рыжий, очень угрюмый, с доходившими до ушей усищами, которыми он очень кичился, потому что они были такими толстыми и закрученными, что были похожи на куски желтой восковой свечи. Он до такой степени держал в подчинении тюрьму, что узники все делали согласно с его желанием. Мелкие люди дрожали перед ним, и очень исполнительно услуживали ему, и не осмеливались исполнять поручений других заключенных, потому что ему это не нравилось, а если они это делали, то он говорил, крутя ус:

— Клянусь жизнью короля, если я рассержусь, то и этому плуту, и другим я отсчитаю тысячу палок.

Так что нельзя было жить в то время, когда он был вне своей камеры, ибо действительно он был таким воинственным и в высшей степени беспокойным, что все пропали бы с ним.

Два или три дня он был болен, и так как он не выходил из камеры, мы наслаждались миром и тишиной, чему все были очень рады. Но когда он вышел, он опять вернулся к своему скверному обыкновению. Меня это настолько угне-

тало, что я решил устроить так, чтобы он на много дней не выходил из камеры, а когда я сообщил об этом своему товарищу, тот сказал:

— Подумайте, что вы собираетесь делать, чтобы заключение не оказалось более долгим, чем мы думаем.

И когда он спросил меня, что я собираюсь устроить, чтобы заставить его не выходить, я ответил:

— Обрезать ему усы.

— Ради Бога, — сказал он, — не подвергайте себя такой опасности.

— Я у вас прошу не совета, а помощи, — ответил я.

Человек этот имел обыкновение всегда спать лицом кверху, дыша так, чтобы не причинить вреда величию своих усов. Я велел очень остро наточить большие ножницы и дал лечь спать ему и всем остальным в камере раньше, чем легли мы, потому что он держал нас в таком подчинении, что никто не должен был шевелиться, когда он ложился. Когда он погрузился в первый сон, я взял ножницы, и в то время как мой товарищ светил мне, я превосходно действовал ножницами, с такой ловкостью, что отхватил ему весь ус, а он и не проснулся и никто из всех узников не заметил этого, кроме моего товарища, которого охватило такое искушение расхохотаться, что еще немного и тот проснулся бы. А у того остался такой большой другой ус, что он стал похож на быка Геркулеса с обломанным одним рогом.

Мы проспали эту ночь, и я притворился больным, жалуясь на скверную постель. Однако я встал почти вместе с ним, или даже раньше, и молился, держа в руке четки, чтобы посмотреть, как пойдет дело. Когда он поднялся наверх, все с изумлением смотрели на него, не говоря ему ни слова. А он, выйдя, крикнул:

— Эй, мошенники, дайте воды для мытья!

Подошел один парень с кувшином, подал ему воды, и он вымыл руки. Потом он занялся лицом и, умываясь, взял правой рукой нетронутый ус, потом опять взял горсть воды и четыре или пять раз хотел ухватиться левой рукой за другой ус, но так как там его не было, то его охватила такая ярость, что, не говоря ни слова, он засунул в рот другой ус и, закусив его, ушел в камеру. Я сказал так громко, чтобы он мог слышать:

— Это было очень большой, величайшей в мире подлостью — оскорбить такого почтенного человека в том, что он больше всего берег и чем дорожил.

Я сказал это и другие вещи, какими мог отвлечь от себя, возможно, бывшее у него подозрение. Но, обращая внимание на разумность, я скажу, что, если ценит себя и заставляет уважать человек, занимающий высшее положение, — в добрый час; но если несчастный, находящийся среди своего несчастья, в земной нечистоте, какой является тюрьма, будет выказывать гордость, то он достоин, чтобы даже муравей был с ним дерзким. Что общего у тюрьмы с гордостью? у нужды с заносчивостью? у голода с тщеславием? Тюрьма устроена, чтобы смирять гнев и дурные наклонности, а не для того, чтобы изобретать оскорбления. Однако бывают такие неисправимые невежды, что или вследствие отчаянья, или потому, что их считают храбрецами, будучи на воле овцами, — они становятся львами в тюрьме, в том месте, где с величайшим смирением и сокрушением сердечным надлежит взывать к милосердию, все равно, справедливо или несправедливо заключен человек в тюрьму.

Он окончательно уничтожил свои шафранового цвета усы. А так как беда никогда не приходит одна, то во время этих неприятностей его вызвали на допрос в связи с разбирательством его дела. Прокурадор сказал:

— Он, должно быть, послушник, потому что выглядит как постриженный монах.

— Пусть приведут его, — сказал начальник.

Он поднялся против воли, с величайшей стыдливостью и смирением, потому что его отвага, вероятно, заключалась в усах, как у Самсона в волосах. Поэтому когда он вошел, то в зале раздался такой смех, что начальник сказал:

— Это вам к лицу, и вы хорошо сделали, потому что вас не придется брить на галерах.

— Ваша милость говорит как судья, — ответил тот на это, — ибо никто другой не осмелился бы мне сказать этого.

Ему прочли обвинительный акт, по которому он обвинялся в том, что он в публичном доме нанес удар кинжалом какому-то несчастному в присутствии десяти или двенадцати свидетелей; когда последние были перечислены, преступник сказал:

— Посмотрите, ваша милость, что за свидетели присягают против такого благородного человека, как я: четыре сыщика да четыре девки.

— Так что же, — возразил начальник, — вы хотели бы, чтоб в таком доме в качестве свидетелей были приор Аточи или какой-нибудь босой монах? Вы плохо возражаете.

Его опять заперли в тюрьму, и с тех пор его называли падре брат Бритый.

Нас выпустили на свободу, но совершенно без денег.

Я не хочу восхвалять то, что я сделал, потому что хорошо знаю, что не следует делать дурного, даже если это приводит к хорошим результатам. Но я знаю также, что следует допустить погибель одного, чтобы не погибали все. Позволительно выбросить из своего общества того, кто нас постоянно раздражает. Кто превозносит себя, пусть превозносит, но в этом не должно быть дерзкого превосходства: хвастуны тиранией восстанавливают всех против себя. Люди беспокойные заставляют самых смирных давать им отпор, о котором мы и не думали. Я всегда видел, что эти надменные болтуны, желающие угнетать других, покорно умолкают, когда им твердо скажет человек тихий и спокойный; ибо они подобны колесам повозки, которые производят шум, когда едут по камням, но, попадая на гладкое место, они сейчас же катятся очень тихо. Было необходимо каким-нибудь способом унизить этого безрассудного гордеца, и для этого ничто не могло быть более подходящим, как лишить его этих лисьих хвостов, за которыми он так безмерно ухаживал.

Глава XIII

Через три месяца мы вышли из тюрьмы, вполне доказавши свою невиновность, но мы были настолько лишены всяких средств, что нам некуда было деваться, и, чтобы поесть, на следующий день я пошел продавать сапоги, бывшие принадлежностью одежды эскудеро, а мой товарищ — изъеденный мышами дорожный мешок. Такими мешками эскудеро, не имея сундука, обыкновенно пользуются как кладовыми для хранения кусков хлеба, а мыши постоянно их посещают. Когда мы продавали наши пожитки, Бог послал нам очень хорошо одетого идальго, который очень сокрушался по поводу возведенного на нас обвинения и сказал, что некий знатный кабальеро, осведомленный о нашем несчастье, послал его разузнать, во что обошлось нам наше пребывание в тюрьме, так как, движимый состраданием, он хотел возместить нам дублонами понесенный нами ущерб. Я узнал его, но, прежде чем открыться, я сказал ему:

— Сеньор, это благодеяние посылает нам Бог, знающий нашу нужду, которая так велика, что мы продаем свои пожитки, чтобы поесть сегодня. Пребывание в тюрьме нам обошлось приблизительно в сотню эскудо, немного больше или меньше.

Когда я сказал это, он достал пятьдесят дублонов и вручил нам.

Увидя их в своих руках, я сказал:

— Это возмещение убытков. А за то удовольствие, какое доставила вашей милости месть, и за те неприятности, какие испытали мы, должно быть какое-нибудь удовлетворение? Ведь я хорошо заметил вашу милость в ту ночь, когда вы шли следом за нами до самой тюрьмы.

Он рассудительно ответил:

— То, что вас схватили, это было ваше несчастье; платить — обязанность моя. Так как не я повергал вас в несчастье, я не могу удовлетворять за него; и если бы все, испы-

тавшие несчастье, имели возможность получить за него удовлетворение, то не было бы несчастных. Хотя я имел счастье не пострадать, я обладаю достаточной мягкостью, чтобы сочувствовать; другой, может быть, не обратил бы внимания ни на то, ни на другое. Много несчастий случается с людьми по неведомым решениям Божьим, в которых мы не можем требовать у Него отчета. Несчастья не в наших руках, так же как не в моих было заставить вас бегать взапуски в ту ночь, ибо это было вашим желанием. И я должен вам сказать, что меня очень огорчило это происшествие, не из-за нанесенной раны, а из-за вашего бедствия. Несчастье было в том, что ссора с той женщиной и ваш бег случились в один и тот же день. Но вы были столь благоразумны в этом несчастье, что я вам завидовал. Ибо тот, кто терпеливо переносит свои бедствия, является господином своих поступков, и несчастья нападают на такого со страхом. И я мог бы удовлетворить вас за бедствия, если бы мог положить к вашим ногам судьбу, — тогда я сделал бы вас счастливейшими. Но так как это невозможно, то вы были счастливы, обрезав кому-то ус и сделав это очень удачно. Так что, как вы благодаря своему уму заметили мою проделку, я узнал вашу благодаря вашему притворству.

Идальго говорил так хорошо и я был настолько доволен и обрадован, видя в своих руках этот столь похожий на свет солнца металл, что не смог ничего возразить ему и только поблагодарил его и похвалил его рассудительность, равную его состраданию.

Я чувствовал себя настолько пресыщенным бедствиями и несчастьями, что решил покинуть столицу, после того как испытал в ней столько неприятностей, служа в качестве эскудеро, что было для меня так необходимо и что я ненавидел, как ядовитую змею.

Я пошел проститься с одним кабальеро, моим другом, которого я уже давно не видел, и, застав его очень печальным и огорченным, спросил его, что с ним. Он ответил мне, что не может ни спать, ни есть, ни найти в чем-либо отдохновения.

— Если вы исполните, — сказал я, — то, чему я вас научу, вы выздоровеете от всех этих трех болезней.

— Конечно, я это исполню, — ответил он, — хотя бы это стоило мне всего моего майората.

— В таком случае встаньте завтра на рассвете, потому что я поведу вас туда, где вы будете собирать травы, которые исцелят вас от всех этих бед.

Он встал, или велел разбудить себя, рано утром и приказал подать экипаж. Но я сказал ему, что трава не принесет пользы, если он не пойдет за ней пешком, и, оставив экипаж, я повел его к Сан-Бернардино, монастырю францисканцев-сборщиков, говоря, что трава растет там и что он должен собирать ее собственными руками. Я заставил его так ходить, что он стал задыхаться, как такса от жажды, и так долго, что от усталости он сел на дороге. Я спросил его, отдыхает ли он. Он ответил, что отдыхает.

— А вы знаете, почему вы отдыхаете? Потому что вы устали. А в покойных креслах вашего дома вы не отдыхаете, потому что не устаете.

Я заставил его дойти до Сан-Бернардино и пешком вернуться домой с очень большим желанием есть. Он с удовольствием ел и пил, а потом лег и очень хорошо спал. Тогда я сказал ему:

— Кто не устает, тот не может отдыхать, и кто не голоден, тот не может есть; кто слишком много спит, тот не может заснуть; кто не двигается, тот не должен жаловаться на постигающие его недомогание и болезни, потому что лень — это величайший враг человеческого тела. Хождение пешком возмещает вред, причиненный праздностью. Кони, которые помногу находятся в движении, наиболее выносливы и легки. Океанская рыба лучше рыбы Средиземного моря, потому что ее больше бьют более частые и яростные волны и ей приходится укрываться по глубоким пещерам. Люди трудящиеся более худощавы и здоровее праздных. И так происходит со всем на свете, и во всем, над чем один человек трудится больше другого, он бывает более сильным при одинаковой способности.

Он очень обрадовался и с этого дня стал утром и вечером совершать прогулки пешком, благодаря чему он стал чувствовать себя очень хорошо и совершенно здоровым, и благодарил меня за хитрость, к какой я прибегнул, чтобы вырвать его из его праздности, лишавшей его бодрости, радости и здоровья, и поднес мне щедрый подарок.

Я пробыл некоторое время в Мадриде, где был компаньоном и эскудеро у доктора Сагредо и его жены, доньи Мерхелины де Айвар, пока я не покинул их, или не покинули меня они.

Глава XVI

Когда я кончил свой последний рассказ, отшельник, выражая величайшее удивление тому, что он слышал, сказал мне, может быть, уставши слушать меня столько времени, что через мост уже можно проходить. Я простился с ним и, проходя по мосту, видел очень много вырванных с корнем деревьев, которые неслись по течению Мансанареса, и несколько растрепанных китов, из тех, которые обыкновенно служат для упражнения в метании копья. Много утонувших животных и много людей, смотрящих на это и удивляющихся наводнению и столь внезапной и яростной буре. Все огороды затоплены, островки покрыты нанесенными деревьями, потому что вода доходила почти до часовни Сан Исидро Лабрадор и образовала из песка и деревьев несколько плотин, которые до сих пор оставляют реку разделенной на несколько частей.

Я решил удалиться от столичного шума и найти покой в местности с более мягким климатом, чем Кастилия. И я решил отправиться в Андалусию, которую язычники, по своим верованиям, сделали местом пребывания блаженных душ. Они говорили, что при переправе через реку Лету — которая все еще сохраняет свое имя в названии реки Гвадалете — забывалось все земное и все прошлое. Потому что превосходный климат, изобилие плодов земных, приветливость неба и земли — все это заставило их впасть в это заблуждение.

Для благоденствия стариков более пригодно все умеренное, и так как я оказался с деньжатами, я купил мула, которого мне отдали очень дешево, потому что у него были опухоли на ногах и вытек один глаз; однако шел он довольно хорошо, так что я отправился в путь, поручив себя Богу и святому ангелу-хранителю.

Я ехал один, потому что можно даже идти пешком, чтобы не путешествовать, подчиняясь чужому желанию, ибо очень обременительно быть обязанным останавливаться там, где хочется другому, а не когда я сам почувствую себя усталым или где мне захочется остановиться. В конце концов, так как у меня были деньги, я хотел совершать путь по-своему.

Стояла очень сильная жара, и хотя я выехал очень рано, чтобы полдничать в венте Дарасутан, днем наступил такой невероятный зной, из кустарников поднимались такие палящие испарения, обжигавшие мне лицо, что я тысячу раз остановился бы, если бы нашлось подходящее для этого место. Я издалека увидел венту, хотя она едва виднелась из-за скрывавших ее кустарников и деревьев, и мне казалось, что с каждым шагом, какой я делаю к ней, она удалялась от моих глаз, а жажда у меня во рту все увеличивалась. Я не верил, что смогу добраться до нее, пока не услышал музыку гитар и голоса, выходившие из самой венты.

— Теперь, — сказал я себе, — я уже не могу заблудиться.

Когда я вошел туда, я застал там много полдничавшего народа, входившего и выходившего. Я облегченно вздохнул, увидя большой кувшин с водой, которой я всегда был большим любителем. Я освежился и стал слушать музыку, потому что она сама по себе является такой вкусной пищей для слуха, и можно себе представить, что в этой пустыне, заросшей кустарником и безлюдной, ее мелодия казалась гораздо лучшей, чем в королевских дворцах, где есть много других развлечений. Так как зной достиг своей наибольшей силы, а вента была полна людей, то было нужно то воздей-

ствие, какое оказывает музыка, чтобы можно было провести это время с некоторым отдохновением. Ибо это искусство не только услаждает внешнее чувство, но даже смягчает и утишает душевные страсти. И она так горда, что дается не всем, какими бы талантами они ни обладали, а только тем, кого природа создала с особой склонностью к этому. Но те, которые родятся с этой склонностью, способны ко всем остальным искусствам, поэтому детей следует обучать этому искусству прежде, чем иным, по двум основаниям: во-первых, потому, что в них обнаруживается талант, каким они обладают, а во-вторых, чтобы занять их столь добродетельным делом, которое своей деликатностью отражается на всех поступках детей.

Хотя один современный автор легкомысленно говорит, что греки не обучали мальчиков сперва музыке, так как это не было более важным, чем многое другое, — но это было сказано по причине незнания этого искусства, потому что он хотел сказать, что их не обучали музыке сладострастной. Так как через слух проникают в душу представления, то, если душа серьезна и скромна, они возвышают ее до созерцания высшего Творца; а если она бесстыдна и чрезмерно весела, они повергают ее в непристойные мысли. И слух настолько является судьей в этом искусстве, что я вспоминаю такой случай. Один юноша, очень хорошо певший, оглох, и когда его после этого просили спеть, так как голос у него был так же хорош, как и раньше, то он стал делать такие грубые ошибки, что все слышавшие его пение смеялись, потому что действительно слух служит как бы колком человеческого голоса.

Эти музыканты пели с таким умением, что сиеста после обеда прошла очень приятно. Один из них вынул часы, чтобы посмотреть, который час, горячо восхваляя при этом изобретение часов. На это я возразил ему, что то же самое, что он сделал при помощи часов, можно сделать, воткнув в землю соломинку или палочку и отсчитывая, на сколько пальцев отбрасывается тень. Можно также это сделать, если нет солнца, при помощи сосуда с водой, просверлив в нем очень маленькую дырочку и отмечая часы по убыли воды, а также и посредством других изобретений.

Остававшееся до отправления в путь время прошло в восхвалениях каждым своей профессии и тех изобретений, к каким каждый имеет наибольшую склонность, — поводом к чему послужил разговор об изобретении часов. Говорили об астрологии, о музыке, об изобретении искусственной памяти, потому что там был один кабальеро, аудитор из Севильи, который делал с ней чудеса. Один старый эскудеро, сидевший в углу и занимавшийся ловлей блох, сказал:

— Все изобретения, о каких говорили ваши милости, никуда не годятся в сравнении с изобретением иголки.

Все засмеялись, а он уверенно и очень сердито сказал:

— Если, по-вашему, это не так, то сделайте мне милость, положите мне заплатку кусочком астрологии.

На это лисенсиат Вильясеньор возразил:

— Каждый хвалит то, к чему он более способен. Этот сеньор эскудеро может говорить об этом потому, что он больше имеет дела с иголкой.

— Я не портной, — ответил тот, — а эскудеро, столь опытный и столь древнего происхождения, что все мои предки, начиная с Нуньо Расура и Лаина Кальво, служили графам де Лемос. И если я иду теперь пешком, так это потому, что мои лошади пасутся на лугах Пуэнтедеуме.

С этими словами он повесил на эфес шпаги старые чулки и, положив ее себе на плечо, неожиданно исчез.

— Правильно, — сказал я, — что каждый хвастается тем, чем он занимается. Вот в Мадриде был один палач, который показывал своему мальчику на бывшей у него в доме виселице, как поделикатнее повесить человека, и так как мальчику это занятие не понравилось и он чувствовал к нему отвращение, то палач сказал ему: «О, черт тебя возьми, раз тебя не может привлечь хорошее дело! Ну, так я тебя отдам к сапожнику и ты будешь грызть сумах».

Когда мы уже хотели отправляться, аудитор сказал:

– А ведь мне вчера говорили, что Маркос де Обрегон искал верховую лошадь, чтобы ехать этой дорогой; это человек очень одаренный и образованный, с которым я очень желал бы познакомиться.

– Это верно, – сказал я, – я видел, что он искал, на чем отправиться в путь.

– Ваша милость знает его? – спросил аудитор дон Эрнандо де Вильясеньор.

– Да, сеньор, это мой большой друг, – ответил я.

Он сел на коня, а я на мула, и он начал расспрашивать меня, не знаю ли я каких-нибудь произведений сеньора Маркоса де Обрегон. Я прочел ему несколько самых новых редондилий, которые еще не попадали из моих рук к другому лицу, и, после того как аудитор их внимательно выслушал, он сейчас же повторил мне их наизусть. Он удивлялся стихам, а я гораздо больше – его памяти. Я многое еще читал ему, а он сейчас же повторял мне это. Он признался мне, что это искусственная память, но что необходимо было обладать очень хорошей природной памятью, чтобы изучить эту, ибо без природной она давалась с большим трудом и напряжением. Я сказал ему:

– Несомненно, память представляется чем-то божественным, потому что она прошлое делает как бы настоящим; но я считаю ее палачом для людей несчастных, потому что всегда она представляет им неприятные происшествия, прошлые обиды, настоящие несчастья, сомнение в будущем и недоверие ко всему. И хотя жизнь и без того коротка, она для таких людей сокращается еще больше благодаря постоянному представлению несчастий. Поэтому для таких людей было бы лучше искусство забвения, чем искусство воспоминания. Скольким людям стоила жизни память об оскорблениях, ибо за них не мстили бы, если бы их не помнили. Сколько на многих женщинах позорных пятен благодаря памяти об их благосклонности и непреклонности! Превосходное качество – обладать хорошей природной памятью, но тратить время на отыскивание двух или трех тысяч цитат, тогда как его можно истратить на умные

поступки, – я не считаю очень разумным, потому что для памяти служат печать, изображения, колоссы, статуи, письмена, здания, камни, знаки на скалах, реки, источники, деревья и бесчисленное множество других вещей. А ум питает одна природа, и он возрастает благодаря чтению серьезных авторов и общению с учеными друзьями. Я видел много авторов, писавших об этой искусственной памяти, и не видел их произведений, в которых они были бы безупречны и которые составили бы славу их великих талантов. Хотя Цицерон, Квинтилиан и Аристотель касаются отчасти этого вопроса, но они не писали об этом книг, как о предмете, стоящем ниже разума. Поэтому дон Лоренсо Рамирес де Прадо, кабальеро очень сведущий в литературе, как в поэзии, так и в философии, очень хорошо владеет искусственной памятью, так что делает с ней чудеса, но не вследствие того, что это является его основной целью, а из любопытства, чтобы, обладая столькими дарованиями, не быть лишенным и этого. А история, какую рассказывают о великом лирическом поэте Симониде, который, когда на многих пирующих обрушился дом и они были настолько обезображены, что никто не мог опознать их, рассказал, в каком месте каждый из погибших находился, и при этом называл их по именам! Я считаю, что это было результатом памяти природной, а не искусственной. Потому что человек, который шел есть и пить на пиршество столь непринужденное, как они в те времена устраивались, не мог очень внимательно размещать образы и фигуры по цитатам воображаемым, естественным и искусственным, ни вспоминать, обременяя воображение большим бременем, чем какое давало им вино в те времена, когда бывало так мало непьющих. И так как это все произошло в тот же самый день, я считаю, что это было без всякого искусства.

Автор этой книги, ушедший из родительского дома молодым студентом и возвратившийся туда седым, узнал и назвал по именам всех тех, кого оставил детьми, а увидел теперь бородатыми и седыми; и он не забыл ни одного имени, ни привычек тех, кто с удивлением приходил посмотреть

на него. А разве не рассказывают как замечательный случай, что Синеас, посол царя Пирра, за два дня, которые он пробыл в Риме, узнал и мог назвать по именам всех его обитателей? Митридат, царь Понта, имел дела с двадцатью двумя подвластными ему народами и с каждым разговаривал на его языке. Юлий Цезарь в одно и то же время читал, писал, и диктовал, и выслушивал важнейшие вещи. И об этом упоминается в особенности потому, что бывают обыкновенные люди, делающие чудеса с природной памятью. В Гибралтаре у дона Франсиско де Аумада Мендоса был старший пастух по имени Алонсо Матеос, который знал всех тридцать тысяч коров, какие были в Сауседе, и их хозяев, и называл их по именам, зная, кому какая корова принадлежала. И он сразу запоминал приходивших из разных мест пастухов и знал их по именам.

Все это я привел для того, чтобы память Симонида не казалась искусственной и чтобы знали, что память увеличивается и усиливается только благодаря упражнению, как это видно на этих пастухах, потому что, будучи людьми грубыми, многие из них обладают такой же памятью, как и упомянутый. И в Мадриде есть один дворянин, по имени дон Луис Ремирес, который, посмотрев представление какой-нибудь комедии, приходил домой и записывал ее полностью, не пропустив ни одной буквы и не ошибившись ни в одном стихе. Но есть различные виды памяти: одни запоминают слова, другие запоминают предметы. Например, Педро Мантуанский из бесконечного количества прочитанных им историй не только не забыл ни одной, но когда бы его ни попросили или когда ему приходится говорить о какой-либо из них, он так хорошо их помнит, словно сейчас читает их, и встречающиеся в них собственные имена, и стихи, и всех, кого он видит второй раз, он не забывает никогда.

На все это аудитор молчал или очень восхвалял память, примеры которой я приводил. Поэтому он сказал, что искусственная память более была пригодна для тщеславия, чем для того, чтобы всегда утомлять себя ею и ради нее. И

опять начав восхвалять меня, не зная, что это я и есть, он сказал, что очень желал бы познакомиться с Маркосом де Обрегон, во-первых, благодаря многим сведениям, какие он имел об его уме, а во-вторых, потому, что они были соседями по городам, так как он был из Каньете-ла-Реаль, а Обрегон уроженцем Ронды. Он спросил меня, как выглядит Маркос, каков он в обхождении и в своем поведении, и я ответил ему:

— Внешность у него такая же, как у меня, обхождение и поведение тоже одинаковы с моими, потому что, будучи столь большими друзьями, я подражаю ему, а он мне.

— Действительно, — сказал аудитор, — если он обладает такой же приветливостью, какую выказали вы, то он с полным правом пользуется той славой, какой наделяет его весь свет.

Всю дорогу аудитор выказывал мне большое внимание, так что обнаружил в этом путешествии наследственное и приобретенное благородство души, доброту и щедрость.

Мы проезжали по всей Сьерра-Морене, видя по пути необычайные вещи. Будучи столь большой, широкой и длинной, что она пересекает всю Испанию, Францию и Италию, пока не уходит в море в Константинопольском проливе, хотя и под различными названиями, она богата многим, что можно посмотреть и запомнить в ней. На песке мы увидели змею с двумя головами, чему аудитор удивился, говоря, что он слыхал об этом, но до сих пор этому не верил.

— Я даже и теперь не верю, — сказал я, — чтобы у одного тела было две головы.

Я заметил, что она не двигалась и не убегала от животных. Я сказал одному из проводников, чтобы он ударил ее палкой. Он это исполнил, и когда он ударил ее, она изрыгнула жабу, которую она заглотала уже до головы, оставшейся непроглоченной; таким образом рассеялось заблуждение, какое, вероятно, было у многих.

— Таково, вероятно, многое, — сказал аудитор, — что нам рассказывают и чего мы никогда не видим, как, например, относительно саламандры.

— Я в это не верил, — сказал я, — до тех пор, пока не услышал от двух лиц, достойных доверия и почтенных, что около Куэнки, в местечке, называемом Алькантус, когда упала печь для стекла, то нашли саламандру, прилепившуюся к самой ступке, где выбивается пламя. И так как это было лицо, заслуживающее доверия, то я поверил, и не заблуждаются те, кто всегда приводит это для сравнения.

Глава XV

Так как человек по природе своей — животное общественное, стремящееся быть в компании, то аудитору так понравилось мое общество, что он ни на минуту не разлучался со мной в продолжение всего пути, какой мы могли совершать вместе. У него был и есть очень живой ум, так что все, что попадалось на глаза, побуждало его к очень вежливым вопросам, на которые я отвечал как мог и умел. И если какой-нибудь приличный человек присоединялся к нам, аудитор, по привычке своей профессии, задавал тому вопросы или давал повод, чтобы задавали ему, на что он очень любезно отвечал.

Пристал к нам один клирик из близлежащего местечка, и дорогой он читал свой молитвенник так громко, что его могли бы услышать пробковые и каменные дубы, так что он прерывал наш разговор, а сам он плохо выполнял свои обязанности. Аудитор спросил его:

— Разве нельзя было бы отложить это до ночи, чтобы совершать это в тишине и с потребным благочестием?

— О сеньор, — ответил клирик, — церковь возложила на нас эту обязанность, так что даже дорогой мы должны молиться. Почему она не предписала, чтобы клирик не молился дорогой, если он идет усталый и погруженный в мысли о своих делах и о цели своего путешествия?

— Потому, — ответил аудитор, — что церковь воспитывает клириков, чтобы они были не гонцами, а богомольцами.

— Хороший ответ, — сказал клирик, — но разве мог бы я во время пути прочесть этой ночью все завтрашние молитвы и добросовестно исполнить свой долг?

Аудитор спросил клирика:

— Если бы вам должны были сотню дукатов до Иванова дня, приняли бы вы их накануне вечером?

— Да, конечно, — ответил клирик.

— Ну, так то же самое делает Бог, — сказал аудитор. — Потому что выполнять раньше срока все, что касается обязанности и службы, это значит желать выполнить свою обязанность. А Бог такой хороший плательщик, что тоже всегда производит уплату раньше срока.

Священник был очень удовлетворен этим.

Мы увидели наполовину остриженного юношу, и когда нагнали его, — так как он шел не столь быстро, как наши животные, — аудитор его спросил:

— Куда ты идешь, парень?

Он ответил:

— К старости.

Аудитор: Я спрашиваю только, куда путь держишь?

Юноша: Путь меня держит, а не я его.

Аудитор: Из какой ты земли?

Юноша: Из земли Святой Марии всего мира.

Аудитор: Я тебя спрашиваю, в какой земле ты родился?

Юноша: Я родился не в земле, а на соломе.

Аудитор: Хорошо ты играешь словами.

Юноша: Как бы хорошо я ни играл, я всегда проигрываю.

Аудитор: Этот парень, должно быть, рожден не так, как другие.

Юноша: Конечно нет, потому что никогда не беременел.

Аудитор: Я хочу сказать, что раз ты не говоришь, где ты родился, так, значит, ты, вероятно, не вышел из матери.

Юноша: Разве я река, чтобы выходить из берегов?

Аудитор: Честное слово, у тебя не очень тупой язык.

Юноша: Если бы он был тупым, я не держал бы его так близко от носа.

Аудитор: Есть у тебя отец?

Юноша: Чтобы не иметь их слишком много, я убежал, потому что меня сделали монахом и у меня было столько отцов, что я не мог этого выдержать.

Аудитор: А разве лучше ходить как гонцу?

Юноша: Чтобы избежать гонений, человек вполне может сделаться гонцом.

Мы сильно смеялись над этим мальчиком, а когда подошли к маленькой венте, стоявшей у довольно глубокого ручья, между двумя холмами, проводник сказал нам:

– Здесь нам нужно остановиться, потому что нам дадут хорошее пристанище, и хозяйка венты очень красивая и нарядная женщина, – а если мы проедем дальше, то нам придется ехать больше трех часов ночью.

Он настаивал, обещая нам постели, так что было похоже, что хозяйка была ему знакома больше, чем следовало. Мы вошли в венту, и сейчас же перед нами появилась хозяйка, очень кривляющаяся, одетая в темно-красное нижнее платье, поверх которого была одежда из белого полотна с большими прорехами. Проводник спросил меня:

– Как ваша милость находит ее?

– Она мне кажется потрохами в слизистой оболочке, – ответил я.

Аудитор сказал:

– Она одета в ризы девственниц и мучеников.

– Правильно говорит ваша милость, – сказал я, – но целомудрие снаружи, а мученичество внутри, а так как здесь очень много кустарника, то целомудрие очень порвано.

– Каждого можно узнать по его манере разговаривать, – сказала хозяйка венты.

Я переменил разговор, ибо видел, что она смутилась от этих прозвищ, а проводник рассердился, – и сказал ей:

– В самом деле, ваша милость очень нарядна и красива; с вашим лицом вам больше пристало гораздо лучшее занятие, чем быть здесь.

Она осталась довольна – ибо у нее был легкий характер – и принесла нам на ужин очень хороших куропаток.

Она обрадовалась, когда я сказал ей, что она делала это как придворная, и сказала нам:

– Постели для ваших милостей найдутся, но по холодку, какой здесь бывает, у меня мало одеял.

На это похожий на монаха юноша сказал:

– Ну, в этом не будет недостатка, потому что теми, какие набросал проводник, можно укрыть Бургос и Сеговию.

– Со мной не шутите, – сказал проводник, – а то я заставлю вас в полдень увидеть звезды.

– А разве вы Богоявление? – спросил юноша.

А тот ответил:

– Я девка, которая вас породила.

– Вот поэтому-то, – сказал юноша, – я и вышел таким большим негодяем.

Проводник и юноша говорили друг другу очень остроумные вещи, за чем прошло довольно много времени. Аудитор спросил юношу:

– Ради своей жизни, скажи, откуда ты?

– Я, сеньор, – отвечал тот, – андалусец из-под Уведы, из селения, которое называется Башня Перо-Хиль, и склонен к проделкам. А так как в таком маленьком селении я не мог осуществлять их, я украл у моего отца четыре реала и убежал в Уведу, где я увидел, что слуги из домов Ковос играли на миндальное печенье, и я, обуреваемый желанием поесть его, пустился играть на четыре реала, а когда я проиграл их, не попробовав миндального печенья, я прислонился к столбу находившейся там поблизости колоннады и пробыл там до самого вечера в полном отчаянии. Подошел какой-то старик, спросил меня:

– Что вы здесь делаете, благородный человек?

– Поддерживаю этот столб, – ответил я, – чтобы он не упал. Почему вы спрашиваете меня об этом?

– Потому что, – сказал он, – если вам негде переночевать, то там есть стол стригача овец и вы можете лечь на шерсти.

– А эта обстриженная шерсть, – сказал я, – могла бы состричь мои бедствия и несчастья?

– Неужели так рано вы уже жалуетесь на них? – сказал добрый человек.

– Как вы хотите, чтобы я не жаловался, – ответил я, – когда с того момента, как я ушел из дома моего отца, все было лишь несчастьем.

– Откуда вы? – спросил он.

– За много лиг отсюда, – отвечал я.

– Заметьте себе, сын мой, – сказал он, – что для людей созданы бедствия, и тот, кто не имеет мужества противостоять им, погибает. А так как вы начали столь рано испытывать их, то они будут для вас легче, когда вы станете взрослым человеком. Ленивые увальни не обладают опытностью и потому никогда не ценят блага, ибо затруднения изощряют человека и делают его пригодным для всего. Я ушел из родительского дома в вашем возрасте и благодаря своей способности достиг очень почтенной должности альмотасена этого города.

– Вы действительно далеко пошли, – сказал я, – желаю вам не лишиться этой должности. Но как может подняться так высоко тот, у кого нет ни гроша?

– Если вы пришли за столько лиг, как вы говорите, – сказал он, – то неудивительно, что вы совсем израсходовались и испытали бедствия. Где ваша родина?

– В Башне Перо-Хиль, – ответил я.

Он засмеялся, а я сказал ему:

– Вам кажется, что это слишком мало времени, чтобы считать бедствия? Когда я вышел, была уже ночь, и я проскользнул на виноградник, где так наелся покрытого росой винограда, что, если бы я не отыскал, где мне выйти, я лопнул бы и не мог бы дойти до Уведы. Когда я только что оправился от этой беды, мне случилось проиграть бывшие у меня четыре реала и остаться без денег, голодным и жаждущим, без пристанища и постели.

– Ну, так ступайте туда, – сказал он, – и там найдете себе ложе.

Я пошел и, устроив себе ложе из шерсти, растянулся на нем. Я отдохнул немного, но в полночь ясная погода так

резко сменилась на ветер и бурю, что я думал не дожить до утра, потому что яростный ветер врывался под стол, поднимая пыль от шерсти, засыпавшую глаза, и образуя лужу воды для всего тела. А кроме всего этого свиньи, бродившие по этим улицам, отыскивая себе пропитание, поспешили укрыться от непогоды под столами стригачей. Думая, что занятый мною был свободен, под него с хрюканьем вошла целая дюжина их, разрывая рылом шерсть, так что они легко могли испачкать мне все лицо. Но я терпел их и был им рад из-за той защиты, какую они мне оказывали. Обе мои ноздри были оскорблены, и я встретил утро не очень чистым и благоуханным, но зато с несколькими палочными ударами, потому что слуга стригача пришел на рассвете выгонять свиней ясеневой палкой в три пальца толщины, и, думая, что бьет по свиньям, он влепил мне несколько ударов по спине, от чего у меня пропали и сон и лень.

Я перенес эту беду, хотя этим для меня не кончились несчастья, потому что они сыпались на меня одно за другим, так что, куда бы я ни шел, или меня искала беда, или я ее искал. Потому что юноши с дурными наклонностями хороши постольку, поскольку необходимость заставляет их не быть дурными.

Из Уведы я пошел в Кордову, где встретил одного молодого монаха, шедшего учиться в Алькала. И когда он предложил мне сопровождать его, я согласился с очень большой охотой, потому что он очень хорошо ел и пил, благодаря милостыне, какую ему давали в селениях и вентах. Ему так понравилась моя болтовня, что он очень расхвалил меня в одном из монастырей своего ордена, где мне дали поэтому очень охотно монашескую одежду. Хотя я и слышал рассказы об искушении голода, через которое проходят послушники, я не верил этому, пока не испытал сам. Ибо когда мы кончили обедать, я захватил у заведовавшего трапезной небольшой хлебец, чтобы поесть среди дня. Но когда я сделал это в другой раз, меня на этом поймали и сильно наказали. Тогда я придумал очень хороший

способ: я вбил пять или шесть гвоздей в доски моей кровати с нижней стороны, и, схватив хлебец, я бежал и насаживал его на один из этих гвоздей. Монахи приходили следом за мной, но ничего не находили и возлагали вину на другого.

Таким образом прошло несколько дней, так что я завтракал и закусывал в свое удовольствие, а другие страдали за мою вину. И до сих пор это оставалось бы тайной, если бы не проделка, какую я устроил с наставником послушников. Ему прислали коробок или корзиночку с превосходнейшим бисквитным печеньем, и когда он отвернулся, я схватил два из них и, притворившись, будто иду за другим делом, сейчас же пошел и насадил их оба на гвозди. Я вернулся очень скромно и принялся читать. Он же, недосчитавшись печенья, быстро пошел к моей постели и к постелям других, осмотрел всего меня и книги, но, не найдя того, что он искал, он захотел посмотреть, нет ли печенья под кроватью, и наполовину влез туда, и наконец сказал: «Здесь ничего нет, пойдем в другое место». Я был уже совсем спокоен и очень доволен, — но в то время, когда он вытаскивал из-под кровати голову, он ударился затылком об один из гвоздей. Так как это причинило ему боль, он посмотрел, что это было, и нашел на гвоздях свои печенья и мои хлебцы. Они схватили меня и разделали так, что мое тело стало похоже на палитру художника: вот видите, ваша милость, лучше ли гонение, чем быть гонцом. Они оставили меня в эту ночь таким, что, как им казалось, я не мог прийти в себя, но я захватил свой узелок, и когда я собрался отправиться в путь, они послали за мной двух парней, живших в монастыре в качестве служек, и, зная местность лучше меня, они обогнали меня так рано утром, что, когда я вышел, я увидел их издали расположившимися в таком месте, что они неизбежно должны были бы схватить меня. Но так как нужда — великая выдумщица средств спасения, то я нашел это средство на расположенной около самой дороги пасеке. Поэтому, как только я их увидел, я вошел на пасеку, сбросив более двадцати ульев и поместившись среди

них, совершенно не шевелясь — потому что пчелы нападают только на тех, кто делает какие-нибудь движения. И когда те вошли, чтобы схватить меня, то пчелы, защищая свои владения, встретили их своим оружием, в то время когда они шли на приступ. А так как те защищались руками, то чем больше они махали ими, тем больше слеталось пчел. Когда поднялось все войско и вступило в бой, арьергард тоже покинул свои палатки, и когда он подлетел на помощь авангарду, то армия была настолько велика, что они окружили бедных палачей тьмой.

Посмотрев на завязавшуюся из-за меня битву и заметив, что можно было безопасно ускользнуть, я на четвереньках вышел из лагеря, пробравшись между кустами, скрывавшими меня еще лучше, чем пчелы моих противников, которым они не давали возможности защищаться, забравшись им в рукава и за ворота. Однако первое, что они сделали, — они в таком невероятном количестве набросились на лицо и глаза, что моментально ослепили их настолько, что, когда те захотели уйти, они уже не могли этого сделать, не видя, куда идти. Наконец прибежал хозяин пасеки, чтобы успокоить своих солдат, вооруженный своим оборонительным оружием, и нашел несчастных служек до такой степени измученными и распухшими от укусов, что, вместо того чтобы выбранить их за причиненный его лагерю вред, ему пришлось отвести их очень далеко от этого возбужденного и разъяренного войска, чтобы их не закусали до смерти. Шесть дней уже, как я убежал от плетей, которыми меня наказали бы, если бы поймали.

Юноша доставил рассказом о своих приключениях удовольствие всем находившимся в венте и заставил всех смеяться. Я сказал ему:

— В конце концов ты нашел сострадание в пчелах, и если бы здесь не было причинено вреда третьему лицу, это был бы самый счастливый случай в мире. Но так как естественно, что мы больше заботимся о самих себе, чем о других, то мы ищем в чужой беде средства помочь нашей беде, хотя человек должен стараться о своем благе без вреда для

ближнего, потому что иначе это будет противно человеколюбию.

— Как бы то ни было, — сказал юноша, — только я всегда слышал, что человек обязан заботиться о себе самом. Так ягненок однажды убил волка, убежав от него в ловушку, устроенную пастухом, который хорошо скрыл ее травой, положив сверху мертвую змею. Увидев, что волк приближается с намерением схватить его, ягненок побежал туда, где находился пастух, когда же он достиг ловушки, он увидел змею и испугался ее, а преследовавший его волк попал в ловушку и сломал себе ноги. И если даже ягненок старается защититься при помощи чужой беды, то почему не поступать так человеку?

После этого все разошлись по своим постелям, пораженные болтливостью юноши.

Глава XVI

Мы отправились из венты, и хотя мы с удовольствием взяли бы с собой юношу, но он шел так медленно, что аудитор дал ему денег, чтобы он мог идти со своей медлительностью. Он уже был теперь в безопасности, и, удивляясь различию умов, я сказал:

— Как мало надежд можно возлагать на этих юношей, которые выказывают в ранние годы такую остроту ума и болтливость, ибо им не хватает глубины для предметов серьезных и важных! Разум, склонный к таким предметам, никогда не колеблется и не отклоняется к предметам маловажным, так что, по-моему, в ранней юности больше надежд подает тот, кто бывает более сдержанным, чем тот, кто своей болтливостью обнаруживает все, что у него есть в душе. Так как разум составляет главную часть души, а душа не болтлива, то не должен быть таким и хороший разум. Когда человек уже в зрелом возрасте и ум освоился с серьезными предметами и благодаря опытности хорошо познал истину, — если такой человек даже будет болтливым,

он обладает для этого достаточным капиталом. Но тому, кто делается болтуном и дерзким, не обладая этой способностью, — я не доверяю, так же как и тому, кто его очень ценит. Но как бы то ни было, те, что очень много говорят, очень подходящи для одиноких путешественников, потому что они развлекают, если их слушают, а если не слушают, то, пока они говорят, каждый имеет возможность думать о своих делах.

Аудитор некоторое время очень учено рассуждал о разуме, о памяти и о способности воображения, о чем здесь не место говорить, и всю дорогу с большим интересом расспрашивал меня о Маркосе де Обрегон.

Мы прибыли в Кордову, где нам нужно было расстаться, и при прощанье он настоятельно просил меня, чтобы я сказал Маркосу о его желании познакомиться с ним и чтобы тот направлялся прямо в его дом, если когда-нибудь будет в Севилье. Во время этих разговоров, доехав до моста через Гвадалквивир, каждый из нас направился своей дорогой, и когда мы отъехали друг от друга шагов на сто, я громко крикнул ему, чтобы он мог услышать:

— Сеньор аудитор, я — Маркос де Обрегон!

И, пришпоривая изо всей силы свое животное, я направился по дороге к Малаге или Гибралтару, потому что в одно из этих мест лежал мой путь. Аудитор хотел вернуться и позвать меня, но так как я спешил уехать, он сказал своим слугам:

— Недаром я чувствовал себя так хорошо в обществе этого человека. Не зная, кто это, я в самом деле почувствовал такую любовь к нему, что готов был сделать для него все что угодно.

Я направлялся в один из этих городов, мягкий климат которых мне нравился, так как они приятны для старости из-за редко бывающих там холодов и благодаря разнообразию, каким обладают морские гавани вследствие их близости к Африке и сношений с нею, не говоря о том, что в них можно найти много удобных для уединения мест. Я приехал в Малагу в самый день прибытия туда из Пеньона брига, ка-

питаном которого был Хуан де Лоха, очень храбрый солдат, который получил и нанес много ран маврам и туркам и теперь вез очень богатую добычу.

Так как он был большим моим другом, я пошел повидать его, и, после того как мы поздравили друг друга с благополучным прибытием, он мне сказал, что встретил судно, терпевшее бедствие от бури, и захватил на нем девушку-турчанку и молодого человека, которые, вероятно, были братом и сестрой: она очень красива, а юноша благородной наружности, и оба так похожи на испанцев, что он был очень удивлен, узнав, что они родились в Африке и были детьми неверных. Я попросил его, чтобы он мне их показал, потому что он очень строго охранял их, собираясь принести в подарок. Он сказал мне:

– Но так как вы были в Алжире, я хочу, чтобы сначала вы послушали их, пока они вас не видали, чтобы посмотреть, правду ли они говорят.

Он вошел туда, где они находились, и, оставив меня у двери, сказал им:

– Расскажите мне правдиво вашу историю, чтобы – раз уж ваш плен неизбежен – в соответствии с вашим рассказом я мог обращаться с вами так, как вы этого заслуживаете.

Юноша был очень печален, а девушка заливалась слезами, вздыхала и рыдала. После того как их господин утешил их, юноша таким образом начал говорить:

– Вполне естественно, что лишение драгоценной свободы делает нас печальными и огорченными. Неизбежно мы должны испытывать скорбь, лишившись нашей родины, родителей и всех радостей, какие у нас были. В нас вызывает сожаление, что мы оставили богатство, невольников и величие нашего положения; но то, что нам не удалось достичь цели, к какой мы стремились, это разрывает нам сердце.

Моя сестра и я, потому что мы действительно брат и сестра, – мы родились в Алжире, мы дети одного испанца, который переселился в Алжир из королевства Валенсии. Там

он женился на нашей матери, по национальности турчанке. Наш отец корсар и плавает с двумя своими галеотами, на которых и причинил много вреда христианам. Среди захваченных им в Испании пленников был один, которого наш отец дал нам в качестве учителя испанского языка и грамоты; он так восхвалял нам свою страну, что возбудил в нас любовь и желание видеть и обладать тем, что он так превозносил. Этот невольник-испанец был настолько ревностен в вере, какую он нам внушил, что через несколько дней мы возненавидели ту, которую впитали с молоком матери, и сердца наши были охвачены христианским учением. Я назвал себя именем Иисуса, а моя сестра – именем Его матери, Марией. Мы только об этом и говорили. Мы дали торжественный обет жить и умереть в христианской вере. Этот невольник дал нам слово изыскать способ для нашего крещения; прошло уже восемь лет, как он отправился в свою страну, и недавно нам сказали, что на пути из Алжира он был захвачен в плен генуэзскими галерами и был убит, так как его приняли за нашего отца. Потеряв надежду на его совет или его прибытие, мы решили искать средства спастись иным путем.

В это время, так как сестра моя уже достигла возраста, чтобы выйти замуж, а я был единственным наследником этого богатства, отец наш условился с одним очень богатым турком, у которого были сын и дочь нашего возраста, о взаимном обмене и женитьбе обоих детей. Это было общим желанием всего Алжира, потому что, хотя моя сестра и я обладали свободой и богатством, никто не мог упрекнуть нас, что мы дурно пользовались ими, и хотя мы были очень почитаемы, – она за свою красоту, а я как наследник всего богатства, – это никогда не мешало нам настолько, чтобы мы забыли о христианской свободе, которой нас обучил наш наставник. И для краткости рассказа о наших несчастьях, видя, что приближается время наших свадеб, благодаря которым мы должны были бы изгладить из наших душ пламенное желание, хранимое в наших сердцах, моя сестра и я – мы дождались, пока наш отец предпримет

путешествие на восток, чтобы какой-нибудь добычей еще более обогатить нас в нашем новом положении. И когда галеоты ушли в море, мы отправились в поместье и сообщили о нашем плане четырем невольникам-испанцам, двум туркам и шести итальянцам, очень хорошо знавшим все побережье Испании. Так как мать моя была спокойна и уверена, ибо сестра моя была со мной, то мы с наступлением ночи сели на судно и в величайшей тишине, сильно налегая на весла, поплыли с такой быстротой, что утром уже увидали берега Валенсии. Но когда мы столь счастливо отплыли, нас захватил восточный ветер, который заставил нас спустить парус, и с такой яростью понес нас на запад, что мы уже не могли управлять судном. Над нами вздымались такие огромные горы воды, что тысячу раз мы оказывались погруженными в волны. А так как я и мои слуги были больше озабочены спасением моей сестры, чем нашим собственным, то один раз, ожидая гору воды, которая надвигалась, чтобы поглотить нас, сестра легла ничком на дно судна, а четверых, вставших так, чтобы сила волны не дошла до нее, волна поглотила, и больше они уже не появлялись. Мы отдали себя на волю неба, привязав сначала мою сестру так, чтобы ее не могли унести волны, даже если судно потерпит крушение. Неистовый ветер вырвал весла из рук гребцов, оставив их беспомощными. Видя, что только Бог может помочь нам, я приказал им бросить всякое сопротивление, потому что судно носилось по этим могучим волнам, как ореховая скорлупка, но держалось на поверхности. Один раз, заметив, что оно готово перевернуться, я обнялся со своей сестрой, что спасло мне жизнь, потому что волной унесло всех остальных, за исключением двоих, ухватившихся за борта судна. Ветер стал немного стихать, но поднятые неумолимым восточным ветром волны оставались столь же сильными в течение двух дней. Так мы носились пять или шесть дней, не имея возможности управлять судном и поесть чего-нибудь из того немногого, что у нас оставалось. Так как у нас не было ни весел, ни гребцов, то я вспомнил, что этот наш воспитатель, или

невольник, сказал нам, что те, кто поручает себя Богу, приняв святое крещение, должны переносить бедствия с большим терпением и надеждой; и мы утешились этим. Моя сестра, придя в себя, начала с большой искренностью молиться по четкам, которые оставил ей Маркос де Обрегон — ибо так звали нашего наставника, — и в это время мы увидели ваш корабль. У нас не было намерения защищаться, ибо тех двух турок, убитых вашей доблестной рукой, мы везли с собой из-за их большого желания принять крещение. Наконец мы прибыли в страну христиан, где молим Бога, чтобы Он дал нам терпение и исполнил наше желание.

Он окончил свою речь, но сестра его не переставала проливать слезы с самого начала его рассказа. Растроганный и охваченный жалостью капитан сказал им:

— Если правда все то, что вы так трогательно рассказали, я дам вам свободу и верну все ваши драгоценности, — и прибавил: — Узнаете ли вы Маркоса де Обрегон, если увидите его?

— Как же мы сможем увидеть его, если он умер? — ответила девушка.

— Выйдите отсюда, — сказал капитан, — и посмотрите, нет ли его среди находящихся здесь мужчин.

Они были взволнованы и охвачены страхом и надеждой, и в особенности была потрясена девушка, потому что любовь напомнила ей прошедшее, а вера оживила ее пламенное желание увидеть того, кто был их наставником. Они вышли и, увидя меня, бросились к моим ногам, называя меня отцом, наставником и господином. Некоторое время я был так ошеломлен, что мог только удивляться, подтвердив, что все рассказанное ими было правдой. Успокоившись от такого внезапного потрясения, я заплакал вместе с ними, потому что радость обладает своими сладостными слезами, как скорбь — горькими.

Капитан был поражен этим случаем и, когда они успокоились, утешенные его словами и моим присутствием, сказал им:

— Богу было бы неугодно, чтобы я держал в плену христиан. Вы свободны, и вот ваши драгоценности, которых я был не обладателем, а только временным хранителем. — Среди драгоценностей я увидел четки, некогда подаренные мною девушке. — Пользуйтесь христианской свободой, раз вы были так счастливы, что достигли осуществления вашей заветной цели.

Радость, какую я испытал при виде этих двух дорогих существ, которые в моих бедствиях и пленении поддерживали и утешали меня, сделала меня — если можно так выразиться — вновь молодым. Потому что сердце в радости задерживает бег жизни, а радость, основанная на чем-нибудь хорошем, порождает мир в душе.

Я долго говорил с ними о моих бедствиях и об их радости, потому что, когда эти бедствия миновали, о них вполне можно вспоминать, ибо они вызывают в настоящем радость, соответствующую прошедшему злу. Добродетельные молодые люди были настолько обрадованы, увидя меня, что с их лиц исчезла всякая печаль, порожденная перенесенным бедствием. Мы устроили их жизнь, оказав им помощь в осуществлении того, чего они так сильно желали, и была так заметна перемена в их внешнем поведении, что своей жизнью они послужили для всех нас примером.

Они отправились в Валенсию, чтобы отыскать родственников отца, и там жили в таком душевном покое, что, как я после узнал, окончили свою жизнь как великие образцы христианской добродетели.

Глава XVII

Я решил, что среди шума Мáлаги и всевозможных происшествий на суше и на море, вместе с приветливой общительностью людей, — причем меня в этом городе все знали, — нельзя было найти спокойствия, какого я желал и какое соответствовало бы моему желанию и осуществлению моего

главного намерения. Я отправился в Сауседу-де-Ронда, где есть такие уединенные и скрытые места, что человек может там жить много лет так, что его никто не увидит и не встретит, если он сам этого не захочет.

Я оделся на дорогу как простой скромный человек, но чтобы не обошлось без беды, когда я пришел в Савинилью, туда прибыли два турецких брига. Турки высадились на берег и захватили всех рыбаков и пастухов, каких они там нашли, потому что, хотя и были поданы сигналы, мы их не заметили, пока не попались маврам, которые нас со связанными руками доставили на корабли. Но так как они чувствовали себя полными господами на море и на суше, они были беззаботны и стали начинять себя вином, найденным в одной рыбачьей хижине, так что все или большая часть их опьянели. В это время на них напали пришедшие по набату люди из Эстепоны и Касареса и другие, жившие поблизости. Много турок было захвачено в плен и убито; очень немногие спаслись бегством. Мы, находившиеся связанными на бригах, просили стражу, чтобы нас развязали и спустили на сушу, если они хотят спасти себе жизнь. Они это сделали, и это помогло им самим спастись; потому что один пастух, человек сильный и отважный, развязав себя зубами, схватил весло, как будто это был локоть для меры, и, размахивая им, заставил развязать нас и спустить на берег.

Я был огорчен, вновь вспоминая о своих бедствиях на море и на суше. Однако, как ни многочисленны они были, я всегда встречал сострадание и сочувствие, как и теперь, потому что, увидя меня, ко мне подошел старик по возрасту, однако здоровый и сильный в своих действиях отважного человека, житель города Касареса, которого называли Авраамом по человеколюбию, потому что его дом и имущество всегда были доступны для странников и путников. Он обратился ко мне со словами:

— Хотя сочувствие всегда побуждает меня к подобным поступкам, но сейчас, как мне кажется, оно заставляет меня сделать это более настойчиво, чем в других случаях, так

как я вижу вас опечаленным и в преклонном возрасте. Идите за мной в мой дом, который, хотя и беден имуществом, очень богат добрым желанием, и в нем не найдется никого, кто не был бы так же искренне склонен к сочувствию, как и я. Не только моя жена и дети, но и слуги и невольники, — ибо гостеприимство хорошо тогда, когда оно единодушно и основано на любви всех.

— Как зовут того, — спросил я, — кто выказывает столько сочувствия ко мне? Потому что помимо милосердия, так озаряющего вас, есть во мне иная высшая сила, которая воспламеняет мое сердце любовью к вам.

— Я человек, — ответил он, — не известный по каким-либо своим блестящим качествам, довольный тем положением, какое дал мне Бог, благонамеренный бедняк; я не завидую ни чужому благу, ни высокому положению, которое обыкновенно очень ценится. Я обращаюсь с высшими с простотой и смирением, с равными — как брат, со всеми подчиненными — как отец. Я радуюсь, когда нахожу своих коров в хорошем состоянии, я вырезаю соты в моих ульях, разговариваю с пчелами, словно бы они были люди и понимали меня. Я не осуждаю того, что делают другие, потому что все мне кажется хорошим. Если я слышу, что о ком-нибудь говорят дурно, я перевожу разговор на предмет, который может отвлечь от этого. Я делаю добро, насколько могу, пользуясь тем немногим, что имею и что на самом деле больше заслуженного мною, и так веду я жизнь спокойную и без вражды, разрушающей жизнь.

— Счастливы вы, — сказал я, — потому что, не гонясь за мирским блеском и гордостью, вы достигли того, чем все желали бы обладать. Но как же вы пришли к такой спокойной жизни?

— Я не пренебрегаю своим, — ответил он, — не завидую чужому, не доверяю сомнительному, охотно принимаю все, что не приносит с собой душевного беспокойства.

— Кто достиг такого состояния, — сказал я, — тот должен назвать свое имя.

— Мое имя, — сказал он, — как и я сам, не принадлежит к именам, известным миру, меня зовут Педро Хименес Эспинель.

У меня забилось сердце, но я овладел собой, продолжая разговор, чтобы не был скучен путь, пока мы не дойдем до места, и спросил его:

— А при этой столь спокойной жизни бывают у вас какие-нибудь огорчения, которые вас беспокоят?

— Ей-богу, сеньор, — ответил он, — у меня не бывает иных огорчений, как если я нахожу не все в исправности по хозяйству или если не готов обед, да и это огорчение как рукой снимается чтением «Записок о христианской жизни» брата Луиса де Гранада.

— Сколько философов, — сказал я, — старались достичь этой простоты и не обладали ею, несмотря на соблюдение всех предписаний нравственной и естественной философии!

— Я не удивляюсь этому, — сказал добрый человек, — потому что большие знания порождают в людях некоторое тщеславие, а без смирения невозможно достичь такой жизни, тогда как, будучи невеждой, я с детства освоился с добродетелью терпения и смирения, которой научился у моих родителей, и чувствую себя с ней очень хорошо. Но так как вы бродили по свету, то, может быть, вы знали моего племянника. Уже много лет, как мы ничего не знаем о нем, и, как нам говорили, он находится в Италии. И когда я даю приют в своем доме, то, помимо того, что это доброе дело, я делаю это еще отчасти из-за того, чтобы узнать что-нибудь о своем племяннике.

— А как его зовут? — спросил я, и он ответил мне, назвав мое собственное имя.

— Да, я его знаю, — сказал я, — и это самый близкий друг, какой у меня есть на свете. Он жив и находится в Испании, и очень близко отсюда, так что вам не нужно далеко ходить, чтобы увидеть его и говорить с ним.

Я обрадовался в душе, узнав своего кровного и притом столь прочно утвердившегося в нравственных христиан-

ских добродетелях, что я мог бы подражать ему, если бы я постиг истину вещей, как следовало. Он очень обрадовался известиям, какие я сообщил ему, хотя тогда я не открылся ему и не делал этого, пока не изменил своего положения. Ибо в самом деле плоть и кровь, и столь близкая, как эта, служит некоторым препятствием для осуществления благих намерений, требующих уединения. О всех доблестных мужах веры мы знаем, что они бежали в пустыни от общества родных и друзей, которые могли служить препятствием для благих целей. Деяния души в уединении более независимы и свободны. Работа ума не любит общества. Порок обладает меньшей силой, когда для него меньше соблазнов. Самые превосходные творения выдающихся мужей были созданы в уединении. И кто захочет усовершенствоваться в делах добродетели, будь то в поступках или в писании о ней, тот в уединении будет чувствовать себя легче и более готовым для подобных занятий. И хотя одиночество само по себе нехорошо, но кто имеет своим спутником Бога, тот не одинок.

Глава XVIII

Чтобы сократить рассказ, скажу, что по прибытии в Сауседу первое, что я встретил, было трое пастухов с очень длинными ружьями. Они сказали мне:

— Слезайте с мула.

— Я чувствую себя лучше верхом, чем пешком, — ответил я им.

— Если вы так хорошо чувствуете себя, — сказали они, — так купите его у нас.

— Это значило бы, — сказал я, — остаться без мула и без денег, которых у меня и нет. Но кто такие ваши милости, что продаете мне мула, которого я сам купил в Мадриде?

— Вы это потом узнаете, — ответили они, — а теперь слезайте.

— Право, — сказал я, — я рад этому, потому что за всю свою жизнь я не видывал худшего животного: норовистый, слепой, с опухшими коленками и с большим числом лет, чем старая пальма. Спотыкается каждую минуту и бросается на землю, не спросив разрешения. У него только одно хорошее качество: если ему дать целый амбар ячменя, он не двинется с места, пока у него не явится жажда.

— Ну, мы хотим взять его, несмотря на все его недостатки, — сказали они.

В конце концов я слез с него и предоставил им свои карманы. Но так как они ничего не нашли в них, они сказали, что сдерут шкуру с мула и зашьют в эту шкуру меня, если я не дам им денег.

— Разве я сундук, — сказал я им, — что вы хотите меня обтянуть шкурой мула, — или вы хотите укрыть меня от холода, причиненного мне страхом перед вашими ружьями?

Заметив мое добродушие, они смягчились, к тому же в это самое время подошли пять или шесть других, яростно старавшихся схватить человека, который мужественно защищался против них, нанося и получая раны. Их начальник приказал им не убивать его, потому что такой храбрый человек был бы очень хорош для их шайки. Но тот с благородной отвагой заявил, что он хочет только одного — чтобы они его убили, если смогут.

— Почему? — спросил их предводитель, унимая остальных и успокаивая его.

— Потому что не нуждается в жизни тот, кого постигло такое несчастье, как меня.

Я посмотрел на этого человека, и мне показалось, что это был доктор Сагредо, с которым я имел дело в Мадриде, хотя в иной одежде, потому что тот был врачом, а сюда явился оборванным солдатом, но все же человеком очень видным, — и поэтому я не мог решить, был ли это именно он.

Они успокоились, а он очень горячо стал порицать жалостливость разбойников, потому что они не убили его. С глубокими вздохами взывал он к небу, восклицая:

— О жестокость созвездий, о обрушившиеся на меня одного величайшие несчастья, о изменчивость судьбы, о планеты, палачи моего спокойствия и счастья! После того как я избавился от стольких безмерных опасностей на морях и в неведомых странах, яростное море поглотило мою любимую подругу, мою дорогую супругу, после того как она следовала за мной и сопутствовала мне в столь тяжких бедствиях! И каким я был ничтожным человеком, что не бросился во вздымающиеся волны, чтобы в смерти быть спутником той, кто была моим спутником в жизни!

Он говорил так трогательно, что вызвал сочувствие у самых последних негодяев, какие существовали в это время на свете, потому что в одежде пастухов бродило триста человек, нападавших и грабивших всех, кто не защищался, и убивавших тех, кто защищался. Теперь их собралось около сотни на совещание, и они находились здесь со своим предводителем, чтобы обсудить полученное известие, будто его величество хотел затушить этот пожар, который разгорелся, принося такой огромный вред, как это каждую минуту обнаруживалось по всей Андалусии, — а вместе с тем им надо было решить, как им поступить с многочисленными пленниками, которых они держали в пещерах.

Между тем нас поместили, доктора Сагредо и меня вместе с двумя другими, в пещеру, куда очень легко было войти, но откуда невозможно выйти. В ней, однако, было достаточно светло, потому что свет проникал в пещеру сквозь густые высокие деревья. Оказавшись в этом неприятном положении, я спросил его, чтобы нарушить печальное молчание:

— Сеньор, так как мы оказались в бедственном положении и страдаем от одинакового оскорбления, я прошу вас сказать мне, вы не доктор Сагредо?

Он, волнуясь, возразил мне:

— Кто вы, что спрашиваете меня об этом, и откуда вы знаете меня?

— Я Маркос де Обрегон, — ответил я ему.

Не успел я произнести это, как он воскликнул, бросившись ко мне на шею:

— Ах, отец души моей, ведь умерла та, которую вы любили и почитали, умерла моя обожаемая супруга, умерла донья Мерхелина де Айвар, умерла вся моя радость, мой верный спутник! Я уже не доктор Сагредо, а только тень того, каким я был, и останусь таким, пока не распадется и это жалкое тело. Ах, мой честный советчик, как плохо воспользовался я вашим наставлением, ведь я оказался теперь в одиночестве, которое меня огорчает и терзает мне душу, — но всемогущему Богу после стольких несчастий угодно было привести меня в эту подземную тюрьму в вашем обществе, чтобы я мог умереть с некоторым утешением и облегчением, ибо, после того как я расстался с ней, для меня кончилось все, что я мог бы считать своим благом.

— Но как и когда, — сказал я, — и где умерло это столь любимое вами сокровище, столь восхвалявшееся всеми за свою красоту?

— Никакая сила, кроме вас, не могла бы заставить меня рассказывать о несчастьях, о которых так мучительно вспоминать. Но так как мы не знаем, какой конец нас ожидает в этой мрачной тюрьме, и так как я убежден, что если я освежу в памяти свои несчастья перед тем, кто будет страдать вместе со мной и не будет смеяться над ними, то это сможет облегчить столь тяжкое бремя, — и я начну с того, что было началом моей полной гибели.

Глава XIX

— После того как я, к своему несчастью, покинул эту царицу мира, Мадрид, нашу общую мать, — в первом же селении, куда я прибыл, я услышал барабанный бой, созывавший по приказанию Филиппа Второго людей, которые должны были отправиться на исследование Магелланова пролива. А так как я родился с большей склонностью к оружию, чем к книгам, то я отбросил их в сторону и с вооду-

шевлением присоединился к одному капитану, моему другу, превратив свой капитал в оружие и солдатскую одежду, что не было неприятно для доньи Мерхелины. Видя, что ей это нравится, я почувствовал еще большую склонность к такому образу жизни. Я взял ее в свой отряд, потому что она этого хотела и потому что это было и моим желанием, так как много женатых людей отправлялось в этот поход, ибо намерением его величества было заселить этот пролив своими вассалами. Должно быть, Богу было неугодно, чтобы она мне в этом помешала, ибо моя воля была настолько подчинена ее воле, что без ее одобрения я не бросился бы так необдуманно в профессию, столь преисполненную нужды и несчастий.

Мы сели на корабли в Сан-Лукаре, — я сокращаю рассказ, — и когда мы прибыли в Кобылий залив, нас захватила такая ужасная и яростная буря, что у нас почти не оставалось доски, на которой можно было бы спастись. Но благодаря предусмотрительности генерала флота Диего Флорес де Вальдес мы ушли от бури и вернулись в первый раз зимовать в Кадис. Оттуда мы отплыли и с большими трудностями достигли берега Бразилии, второй раз перезимовав в Сан-Себастьяне, в устье реки Ганеро, в очень широкой и просторной гавани.

Мы пробыли там некоторое время и удивлялись, смотря на этих нагих индейцев, которых было так много, что ими можно было бы населить еще целый свет. Иногда некоторые из них исчезали, и никто не знал, что с ними случалось. Тогда один отважный юноша, метис португало-индейского происхождения, решился разузнать о судьбе стольких пропавших людей. Взяв маленький круглый щит с алмазным острием и очень хорошую шпагу, он отправился на берег широкого моря. Там он издали увидел морское чудовище, выжидавшее какого-нибудь индейца, чтобы схватить его, — а когда он подошел ближе, чудовище, лежавшее до тех пор на коленях, встало во весь рост, и было оно так велико, что португалец не достигал ему и до половины тела. Когда чудовище увидело его поблизости от себя, оно бросилось на него, собираясь унести его, как оно делало это с другими. Но храбрый юноша, выставив вперед щит и действуя шпагой, защищался изо всех сил, хотя чешуя этого морского животного была настолько тверда, что он ни в одном месте не мог нанести ему раны. Удары же, какие наносило ему чудовище, были настолько сильны, что он не рисковал дожидаться их, увертываясь, пока ему не удалось, выставив вперед щит, попасть алмазным острием в суставы передних ног, чем был причинен чудовищу такой вред, что оно стало истекать кровью. И после этой долго продолжавшейся борьбы они оба наконец упали мертвыми.

Пошли искать отважного юношу и нашли его лежащим в одной стороне, а чудовище в другой. Капитан Хуан Гутьеррес де Сама и я и много других испанцев с великим удивлением рассматривали тело ужасного чудовища. В море там много песчаных отмелей и много островов; на одном из них мы видели змею, как их здесь у нас рисуют, чтобы испугать нас. У нее морда была как у борзой собаки, длинная и с множеством острейших зубов; большие мясистые крылья, как у летучих мышей; большие тело и грудь, хвост как небольшое искривленное бревно, две ноги или лапы с когтями — ужасный вид. Мы нацелились в нее из четырех ружей, потому что она лежала в ручье, который мы, в конце концов, и разыскивали, чтобы напиться. Я был того мнения, что, если мы раздражим ее, она может кого-нибудь из нас убить, поэтому мы оставили ее, между тем как она, завидя нас, ушла в лесную чащу, оставив очень широкий след, как от бревна. Но я не буду говорить о многих виденных нами чудовищах, так как это не имело значения для меня и неважно для моего рассказа.

Отсюда мы продолжали наш путь или путешествие к проливу в январе и феврале, когда там начинается лето с частыми противными ветрами. Нам приходилось бороться с сильными течениями, которые — или благодаря высочайшим горам и подводным каналам, или благодаря возмущающим море яростным ветрам — подвергали нас таким опасно-

стям, что многие корабли были повреждены бурями, а некоторые потерпели крушение, причем корабли не могли прийти на помощь друг другу. Среди потерпевших крушение кораблей был тот, на котором находился и я со своей супругой. Хотя с нашего корабля стреляли из пушек, нас или не слыхали, или не могли помочь нам, за исключением одного корабля, с которого наш был виден. Моряки были — против их обыкновения — сострадательны и поспешили к нам настолько вовремя, что можно было спасти людей и вещи раньше, чем корабль совсем затонул.

После того как наш корабль затонул и мы перешли на другой, солдаты и моряки поспешили оказать помощь моей несчастной супруге. Ибо хотя она и была столь мужественна, все же страх неминуемой смерти сильно подействовал на нее. И поэтому все были того мнения, что нам не нужно следовать за флотом до тех пор, пока люди не отдохнут от перенесенного бедствия.

Мы увидели один безлюдный остров, к которому мы смогли после некоторых трудов подойти. Там мы отдохнули от трудов и бедствий, запаслись найденной на нем очень хорошей водой и подкрепились плодами. Через пятнадцать дней мы подняли паруса и поплыли вслед за флотом, но не могли догнать его. Проблуждав долгое время, мы наконец увидели пролив. Открылись большие и высокие горные цепи, покрытые плодовыми деревьями и изобилующие дичью, как мы узнали от оставленных там флотом поселенцев, хотя мы не выходили на сушу и наш начальник не разрешил нам этого, потому что нам надо было догонять флот.

Глава XX

— В то время, когда мы ожидали ветра, чтобы плыть дальше, мы увидели множество птиц в этой части пролива, где было несколько человечков маленького роста, — потому что в другой части они очень рослы и сильны, — так что птицы

почти господствовали над страной настолько, что человечки убегали от них. Наконец поднялся столь сильный ветер, что мы не могли противостоять ему и должны были пройти через пролив, с большим вредом для корабля, потому что вследствие множества отмелей у берегов мы плыли почти волоча якоря по песку, а кроме того, пролив не прям, как Гибралтарский, а образует извилины и заливы, и приходилось натыкаться на якоря, оставленные здесь раньше флотом. Сила ветра была такова и столь непредвиденна, что матросы не имели возможности защитить корабль. Мы прошли через пролив с величайшей опасностью из-за ударов, какие получал корабль, и это продолжалось так долго, что ветер разорвал нам большие паруса, и хотя остальные были зарифлены, — оставалась передняя мачта, чтобы безмерная ярость воздуха несла нас куда ей угодно, причем мы не могли лавировать и не видели места, где могли бы укрыться или получить помощь.

В конце концов, уже испытывая недостаток во всем необходимом для поддержания жизни, гонимые и подбрасываемые злыми волнами, мы шесть месяцев блуждали по неизмеримым морям, никому не ведомым и никем не оплаванным, потеряв надежду и возможность управлять, не зная, куда мы плыли, готовые каждый день стать пищей ужасных чудовищ. Блуждали среди чуждой нам стихии, когда у нас уже кончились запасы пищи и питья до такой степени, что даже кожа от дорожного мешка была лакомой пищей для ее владельца — если он имел возможность съесть ее один, — с ужасным страхом, какой вызывала всегда открытая могила в необитаемых пещерах глубокого моря или в голодных чревах его ненасытных животных.

Когда мы уже думали, что весь мир второй раз покрылся водой благодаря всемирному потопу, все в один голос начали кричать: «Земля, земля, земля!» — потому что мы увидели остров, окруженный такими высокими скалами, покрытый такими огромными деревьями, что он показался нам чем-то волшебным. И едва мы его увидели, как он мгновенно исчез, не по волшебству, а вследствие течения,

которое отбросило корабль против нашей воли, так как мы не в состоянии были противодействовать этому, и это течение отнесло нас в сторону среди столь яростных водоворотов, что мы были уверены, что они поглотят корабль и нас вместе с ним. Но когда матросы пришли в себя, и так как они не потеряли направления, в каком был замечен остров, они решили, что, лавируя при помощи фок-мачты, все время имея в виду течение, чтобы не приближаться к нему, — мы опять могли бы подойти к острову. Но я был того мнения, что следует зарифить паруса на фок-мачте и двумя лодками, которые у нас были привязаны на корме, вести корабль на буксире, потому что если течение захватит одну из лодок, то было бы легко повернуть корабль; если же будет захвачен корабль, то мы опять потеряли бы направление, и даже наши жизни. Все мы с молитвами и пламенными мольбами поручили себя святому ангелу-хранителю, и на лодках сели гребцами наиболее сильные или наименее ослабевшие из-за недостатка продовольствия, сменяясь по временам, потому что все были воодушевлены надеждой достигнуть земли. В дозорной корзине на самом верху главной мачты поместили человека, крепко привязав его, и он очень внимательно наблюдал, не покажется ли что-нибудь, и извещал нас обо всем, что он заметит. И через два дня, в тот момент, когда нам уже казалось, что мы потеряли дорогу к нашему спасению, мы опять увидали эти высочайшие обрывистые скалы, более высокие, чем утес Гибралтара, покрытые прекрасными высокими деревьями. Это до такой степени воодушевило всех моих товарищей, что у них пришлось отобрать из рук весла, так как благодаря их стремлению и пламенному желанию достичь земли они едва вторично не попали с кораблем в течение, вследствие чего все мы оказались бы в крайне бедственном положении и полном отчаянии. Но я громко закричал им:

— Товарищи! Так как Бог после стольких несчастий, голода и бедствий дает нам возможность показать, как много может сделать предприимчивость в соединении с отвагой

в сердцах, которые столько времени оставались непоколебимыми, хотя подвергались невероятным ударам судьбы, то если теперь у нас не хватит разума и терпения, чтобы благоразумно подумать, насколько мы теперь находимся ближе к смерти, чем за все время, когда судьба нас гнала, играя нашими жизнями, — это будет уже вина не Его, а только наша, если мы бросимся в столь очевидную опасность, которую мы ощущали руками и видели собственными глазами.

И, следуя моему совету в том, что было для нас так важно, мы постепенно приближались к острову с такой осторожностью, что, хотя какая-нибудь из лодок и попадала иногда в течение, однако благодаря вниманию всех опытных моряков это не причиняло ей такого вреда, какой нельзя было бы легко исправить.

Мы плыли так долго и с такой осторожностью, что подошли на расстояние меньше чем в пол-лиги от острова и были очень близко от течения, которое, по мнению наиболее опытных, начиналось на очень небольшом расстоянии от острова и расходилось по обеим сторонам его, так что делало подход невозможным, а остров недосягаемым, как мы его и назвали. И хотя течение здесь не было столь широким, как там, где мы встретили его к нашей беде, однако, будучи в этой части более узким, оно было гораздо более сильным.

Наконец, когда мы были в смущении и не знали, что нам следует предпринять, я решительно сказал:

— Здесь есть земля и скалы? В таком случае мы должны достичь того и другого.

И я решительно велел бросить якорь, и вскоре корабль стал на якорь, чем все мы были очень довольны, и у нас появилась надежда на спасение. Когда это было исполнено, я попросил дать мне концов, веревок и канатов, которых на корабле было изобилие, так же как и пороха, так как нам не представлялось до сих пор случая расходовать ни то, ни другое. Когда веревки были крепко связаны одна с другой, они получились такой длины, что лодка могла достичь ост-

рова. Я посадил в лодку пятьдесят своих товарищей, наиболее сильных по моему мнению, с их мушкетами и пороховницами, наполненными крупным и мелким порохом, и сел сам в качестве их предводителя, предупредив на корабле, чтобы, даже если нас захватит течение, они травили конец и с большой осторожностью отпускали канат, пока не увидят, где мы остановились. Ведомые святым ангелом-хранителем, мы были захвачены течением, однако с лодкой ничего не случилось кроме того, что она неслась с огромной быстротой.

Вскоре мы оказались в закрытой бухте или заливе, — какой образует с этой стороны остров, — настолько спокойном, что, хотя сила течения была чрезвычайно велика, берег или залив, куда оно нас пригнало, оставался не менее тихим и спокойным. Радуясь этому счастливому и неожиданному обстоятельству, мы плыли на веслах около высокой скалы, чтобы отыскать какой-нибудь проход, и скоро на мысу, образованном извилистым берегом бухты, мы увидели идола чудовищной величины и замечательной работы, и столь необычного, что мы никогда таких не видали и не представляли себе. Величиною он был с обыкновенную башню и стоял на двух ногах, столь больших, как того требовало построение туловища. У него была только одна рука, выходившая из обоих плеч, и она была такой длинной, что простиралась гораздо ниже колена. В руке он держал солнце или лучи его. Голова была в соответствии со всем остальным, с одним только глазом, из нижнего века которого выходил нос с одной ноздрей; одно ухо, и то на темени. У него был открыт рот с двумя очень острыми зубами, так что казалось, будто он грозит ими, выдающийся вперед подбородок с очень толстой щетиной, на голове немного волос в беспорядке.

Хотя вид этого идола мог испугать нас и заставить не двигаться дальше, но так как мы искали спасения наших жизней и должны были найти его на земле, то мы поплыли по направлению к идолу, где находился маленький проход в глубь острова, никогда никем не виданного и никому не

известного. В тот момент, когда лодка вошла в проход, появились два великана необычайной высоты, такого же вида, как описанный мною идол. Когда каждый из них схватил лодку со своей стороны, наш страх был так велик и так велика их сила, что мы не могли защищаться, и они бросили нас в пещеру, находившуюся у ног идола. А одного несчастного товарища, который имел мужество выстрелить из мушкета, один из этих великанов схватил рукой поперек туловища и отбросил его так далеко, что мы долго видели, как он летел над водой, пока не упал в море. Я был настолько предусмотрителен, что привязал лодку к стволу дерева, стоявшего около прохода, прежде чем мы вошли в него, что имело потом для нас очень большое значение, не потому, что это могло предотвратить обрушившуюся на нас беду, а потому, что лодка не могла быть отнесена и захвачена течением.

Глава XXI

Когда великаны бросили нас в пещеру, они закрыли отверстие, свалив на него ствол огромного дерева, росшего над пещерой и свисавшего вроде подъемного моста; это падение и удар заставили не только задрожать пещеру и идола, но через щель или окно, выходившее на море, вырвавшийся порыв ветра поднял столь великое волнение, что мы слышали, как сильно ударялась наша лодка благодаря своей величине и тяжести. Я не думаю, чтобы я ошибался, сказав, что поваленный ствол имел тридцать локтей в обхвате, а в высоту более шестидесяти. Древесина его была тверда и тяжела, как самый твердый камень на свете.

Великаны, совершив такое жертвоприношение своему идолу, начали танцевать и плясать, извлекая из тамбуринов хриплые и печальные звуки, настолько беспорядочные и несогласованные, что они больше были похожи на шум в склепе, чем на музыку для танца.

В то время как они были поглощены своими играми и развлекались за счет наших жизней, мы оплакивали наше несчастье и власть судьбы, которая с таким насилием обращалась с нами и привела нас к тому, что, когда мы уже, казалось, нашли некоторое облегчение от столь продолжительных и непрестанных бедствий, она приготовила нам смерть от голода и жажды среди мертвых тел тех, кого они раньше приносили в жертву своему ненасытному идолу. Но так как ни в каком несчастье не следует терять присутствия духа и так как бедствия являются пробным камнем для мужества и ума, то мне сейчас же пришло в голову средство, каким мы могли воспользоваться в столь затруднительном положении, когда мужество, находчивость и быстрота должны немедленно объединиться. И так как они были заняты и развлекались своими празднествами и в действительности они были людьми простодушными и считали, что при таких условиях, держа нас заключенными в столь мрачной могиле, можно о нас больше не думать, то мы могли — хотя и с трудом — приступить к выполнению моего плана, который заключался в следующем.

Я взял, сколько мне казалось нужно, веревок, и из наиболее чистых от мяса белых костей тех мертвецов, выбирая самые маленькие, я сделал лестницу, по которой мы могли бы добраться до упоминавшейся щели, что было делом большой трудности, потому что повсюду была голая скала и не было возможности сделать отверстия, по которым можно было бы подняться и закрепить лестницу. Но так как нужда — великая учительница, а найти способ укрепить лестницу было вопросом не меньше как о жизни, то я взял очищенный от мяса позвонок, продел через отверстие веревку, и, соединив оба конца, чтобы они оставались внизу, все мы изо всех сил стали стараться забросить кость в окно или щель. Один сильный молодой парень, выросший в горах Ронды, обладал такой ловкостью, меткостью и силой, что ему удалось забросить кость в щель таким образом, что она там легла поперек или застряла. Тогда, привязав лестницу к одному из концов веревки, мы стали тянуть

за другой, так что лестница была поднята наверх. В то время как мои товарищи держали оставшийся внизу конец веревки, я с большой осторожностью поднялся по лестнице и укрепил ее таким образом, что мы все могли подняться к щели и оттуда спуститься к лодке.

Когда был осуществлен этот хитроумный план, я взял порох из всех пороховниц, и пока мои товарищи поднимались к щели и спускались к лодке, я заложил мину под ногами идола, так как было много отверстий, в которые можно было ее заложить. Хорошо закрыв ее и приложив к ней зажженную веревку меньше чем в пядь длиной, я поднялся по лестнице и прыгнул в лодку. Мы отплыли на веслах настолько, чтобы быть в безопасности, и едва мы остановились, чтобы посмотреть, что произойдет, как раздался столь ужасный грохот взорвавшейся мины, что взволновалось море и грохот разнесся по большей части острова, а идол так ужасно обрушился на плясавших, что раздавил полторы дюжины их. Остальные, видя, что тот, в кого они верили, умертвил их товарищей, пустились бежать, скрываясь в глубине острова. Таким образом, они покинули все пространство, какое было нам нужно, и мы высадились, крепко привязав лодку, и все одновременно бросились целовать землю, воздавая бесконечные благодарения Творцу ее за то, что Он дал нам возможность опять ступать по нашей стихии. И хотя мы были поражены опустошением, произведенным идолом, и нас могло бы удержать бывшее перед нашими глазами зрелище, потому что почва была покрыта этими огромными чудовищами, однако, так как мы видели землю свободной от них, а голод и жажда нашли здесь чем удовлетворить себя, мы бросились на превосходнейшие плодовые деревья и к прекраснейшему источнику, который выбивался у подножия утеса, окруженный прозрачными чистыми брызгами.

Я удерживал своих товарищей, препятствуя им набрасываться на плоды и воду, чтобы они не заболели и чтобы не стало причиной смерти то, чего мы искали для поддержания жизни. Оглядываясь по сторонам, мы увидели одно-

го великана из тех, на которых упал идол, еще живого, но разбитого и с переломленными ногами, так что он не мог двигаться. Знаками мы просили его сказать, где находятся запасы продовольствия, и он указал нам носом, так как не мог шевельнуть ничем другим, на пещеру, вход в которую был совершенно закрыт очень зелеными и густыми деревьями настолько, что они делали доступ в нее очень трудным, по крайней мере для туземцев, но не для нас. Позже мы узнали, что туда мог входить кто-нибудь только в том случае, когда нужно было достать продовольствие для всей общины, и то под угрозой наказания не есть из этих запасов в течение известного времени. Наконец мы вошли в пещеру, очень обширную и светлую внутри, со многими отдельными помещениями, где были прекрасно прокопченные рыба и мясо, множество кусков хорошо засоленного мяса, плоды крупнее и вкуснее орехов, употреблявшиеся вместо хлеба, и много других запасов, которыми мы нагрузили лодку. Наполнив еще дюжину мехов свежей и вкусной водой, мы вернулись к нашим товарищам, уже считавшим нас погибшими. Они все подкрепились, поев привезенной пищи и выпив превосходной свежей воды, и опять было отдано приказание, чтобы, оставив на корабле небольшую охрану для женщин из тех, которые уже побывали на острове, остальные на двух лодках отправились снова на остров, все время пользуясь концами и веревками, потому что иначе это было невозможно. Наполнив свои желудки пищей, а пороховницы порохом и взяв веревки, они присоединились к нашему отряду.

Глава XXII

Рассказ доктора Сагредо был прерван несколькими португальцами, которые с четырьмя тюками полотна шли из Вендехи по тропе, которая, по их мнению, была безопасна от разбойников, так как была проложена очень недавно.

Но так как разбойники знали ее лучше португальцев, то они напали на них у самого входа в нашу пещеру, так что те, смущенные неожиданной встречей, упали на колени со словами:

— Ради ран Христовых, не убивайте нас как негодяев и не мстите нам за грубое обращение с кастильцами святой Форнейры.

— Успокойтесь, дурни, — сказал предводитель, — мы хотим только, чтобы вы продали нам полотно по той цене, какую оно вам стоило.

— С большим удовольствием, — ответили те, и когда они достали кассовую книгу, каждый разбойник спросил, что ему было нужно. Тогда предводитель приказал, чтобы они заплатили деньги раньше, чем возьмут полотно; при этом я изумился, видя такое милостивое обращение с португальцами. Они же взяли деньги и развернули тюки, чтобы отмерить полотно, но когда они взяли локоть, чтобы мерить, предводитель сказал португальцам:

— Так как у нас здесь свободная республика, то у нас свои собственные меры и вес, и мы меряем не теми локтями, какие употребляются в других местах, а теми, какие приняты у нас.

И когда он попросил подать локоть, чтобы отмерить полотна, ему принесли пику в двадцать пять пядей, которой они и отмерили и дали каждому столько локтей, сколько он просил, так что каждому вышло в четыре раза больше, — чем все остались очень довольны и смеялись, а португальцы молчали и отправились дальше освобожденные от своего груза.

Смеялись также и мы, кроме доктора Сагредо, который так продолжал свой рассказ:

— Прежде чем судьба опять повернула колесо нашего благоденствия, мы так хорошо воспользовались временем, что оставили пещеру почти пустой, а наш корабль был наполнен не только сухими и свежими плодами, но и большим количеством сушеной рыбы, копченого мяса, многими бурдюками с водой и другими очень вкусными и

питательными напитками, какие употреблялись этими великанами. Но мы не были вполне уверены, что в конце концов на нас не нападут великаны. Так как мы заняли берег без сопротивления, а усталость и бедствия, испытанные на море, требовали отдыха на суше, то мы воспользовались им настолько, что спали в прохладе этой пещеры, потому что она была так приятна, — благодаря своим залам и нишам, наполненным продовольствием, а также нескольким родникам с ледяной водой, что, даже если бы мы не нуждались в отдыхе, это заставило бы нас раскинуть здесь наш лагерь.

Мы провели два дня в этом прохладном и удобном месте, но на третий день, когда мы отдыхали, приблизительно между двенадцатью и часом, мы услышали столь сильный шум и волнение людей и звуки тамбуринов, что мы все проснулись с криком: «К оружию, к оружию!» — потому что на нас шли великаны со всего острова. Мы поспешили к своим мушкетам, но не нашли ни горящего фитиля, ни огня, от которого зажечь его, ни человека, который мог бы доставить нам с корабля кремень, огниво и трут; начали говорить: «Мы погибли». Но прежде чем страх мог овладеть сердцами вследствие невозможности защищаться, так как мы оказались запертыми и не имели возможности воспользоваться мушкетами, — я отдал приказание, чтобы большая часть из нас разобрала бревна, служившие перегородками между отдельными помещениями, и расположила их в виде заграждения, на которое они должны были наткнуться, после того как преодолеют препятствие из деревьев, делавших, как я сказал выше, очень трудным для великанов доступ в пещеру. Свободные от этой работы взяли несколько очень сухих палок, каждый по две, — одни из них были из тутового дерева, другие из плюща, некоторые из каньяэха, из всего, что попадалось под руку, — и когда их стали сильно тереть одну о другую, они скоро начали дымиться, а потом вспыхнул огонь и мы могли зажечь фитили и воспользоваться мушкетами. Для всего этого времени у нас было в избытке, потому что их намерением было не нападать на

нас, так как они считали нас уже давно мертвыми, а посмотреть произведенное их идолом опустошение, ибо избежавшие его пришли сообщить об этом своему губернатору, которого все называли Асмур. Они принесли его с большой торжественностью на четырех очень больших балках, в кресле, сплетенном наподобие корзины из ивовых прутьев, и показали ему разбитого на куски того, кому они поклонялись, и тех, кого он в своем падении раздавил и разорвал на части. И они не узнали бы, что мы находились там, если бы тот самый разбитый великан, который указал нам пещеру, не сказал им об этом. Узнавши же об этом, они бросились ко входу в пещеру, бросая туда огромные камни, обламывая и вырывая с корнем деревья, преграждавшие им проход, однако каждый, кто подходил ближе, или спотыкался и падал на заграждения, или мы сбивали его пулями. Потому что, хотя было мнение, что следует стрелять в глаз, который у них был только один, так как без него они не могли бы найти входа в пещеру, — мое же мнение было таково, что, зарядив мушкет двумя пулями, нужно стрелять им в ноги, ибо выстрел в глаз не мог быть таким метким, как этот, и они все падали. При этом бойницами и окопами нам служили как положенные нами бревна, так и росшие у входа густые деревья. И хотя множество камней или обломков скал, какие они бросали, могло бы принести нам большой вред, они, долетая до заграждения, причиняли его очень мало или не причиняли вовсе, так как теряли свою силу в деревьях. Великанам пришлось так плохо, что их губернатор, пораженный столь необычным зрелищем, приказал им отойти от зла, какое они совершали и какое получали от пещеры, так как ему казалось, что если идол упал с таким великим ужасом и живых ранили те, кого они считали мертвыми, то должна быть какая-нибудь высшая сила, которая причиняла им столь великий вред.

Они немедленно повиновались и отошли, причем несколько из них пало, а нам не было причинено никакого вреда. Выказывая знаками мир и дружбу, губернатор, смо-

тря на небо и подняв к нему руку, заверил нас, что мы можем свободно выйти и, находясь в безопасности, сказать ему и объяснить, кто мы и зачем прибыли сюда. Это было как раз вовремя, потому что если бы они промедлили больше, то у нас кончились бы боевые припасы. Мы бодро вышли в полном порядке, построившись в три ряда под согласный и веселый бой барабанов, бывших на своих местах. Удовольствие этих простых людей, по крайней мере тех из них, которые не были ранены, было так велико, когда они услыхали дружный барабанный бой, что из рук у них выпало их жестокое оружие и они с великим удивлением и радостью смотрели на своего господина, который все время оставался в своем кресле на плечах тех, которые принесли его. А он был поражен и изумлен, увидя у столь маленьких людей две руки и две ноги и удвоенные другие части тела, а в особенности его поразили наши бодрость и порядок, в каком мы выступали. Выстроившись у входа в пещеру, мы рассматривали этих внушающих ужас людей, покрытых звериными шкурами и разноцветными перьями, и важность их губернатора, к которому все относились с почтением и страхом и приказаниям которого повиновались.

Мы обдумывали способ, как мы могли бы говорить в свою защиту знаками, наиболее естественными и понятными так, чтобы можно было выразить то, что мы чувствовали. Оставляя в стороне многоречивость, знаки и другие затруднения, которые тогда пришлось преодолеть, губернатор спросил нас о трех вещах. Были ли мы детьми моря? И если были, то почему были такими маленькими? А будучи такими маленькими, как мы осмелились прийти к людям таким большим, как его народ?

На первое мы ответили, что мы не были детьми моря, а были детьми истинного Бога, Который выше их божества и Который как высший наказал их, потому что они хотели убить нас, когда, гонимые морем, мы пришли просить у них убежища. А на остальное мы ответили, что величие заключается не в высоте тела, а в добродетели и отваге, и бла-

годаря этому мы отважились вступить на его землю и проплыть по всем водам бурного моря и что дети Бога, творца неба и земли, не страшатся опасностей, какие могут грозить им от рук людей, в особенности если эти люди не поклоняются Тому, Кто был всемогущим владыкой над всеми силами неба и земли и творцом того самого солнца, которому они поклонялись.

Когда он услышал, что солнце имело высшего над собой, он переменил разговор и спросил, какова была цель нашего прибытия туда. Мы сказали правду, рассказав о некоторых наших бедствиях и напомнив ему о том, что все люди, будучи детьми одного Бога, обязаны защищать друг друга и помогать друг другу в нужде и несчастьях. Мы сказали ему, что мы просили его об этом как человека, занимающего высшее положение, которого Бог поставил, чтобы судить и распределять награды и наказания. Он выказал удивление нашим ответам и сказал нам, что все сказанное нами кажется ему очень хорошим, но что он не может принять нас и оказать нам помощь, не известив короля острова о столь необычайном происшествии, потому что, если он поступит иначе, это может стоить ему жизни. Мы упросили его, чтобы он позволил нам послать на корабль четырех товарищей, — ибо всех он не хотел отпускать, да и мы не хотели покидать вход в пещеру, — говоря ему, что они отправляются за продовольствием, нужным для людей нашей страны. Со всей возможной поспешностью они сели в лодку, подавая сигналы на корабль, чтобы там тянули веревку. Между тем губернатор отправил гонца к королю острова с сообщением о том, что происходило.

Гонцом была одна из собак, которыми они пользуются в важных случаях, требующих спешности. Они дают ей в рот полый кусок тростника, внутрь которого вкладывается несколько очень широких древесных листьев. На листьях знаками обозначается то, о чем хотели сообщить, потом хорошо свернутые листья вкладывают в тростинку, а собаке надевают род уздечки, плотно затянутой, чтобы у нее не выпала тростинка и чтобы собака не могла есть или пить.

Таким образом, рот у нее был свободен лишь настолько, чтобы она могла дышать, и ни для чего другого. Когда все это было хорошо устроено, ее отправляли, наделив четырьмя ударами палкой, чем заставляли ее скорее прибыть к своему жилью, которое находилось приблизительно в четырех лигах. Когда там видели, что она бежит домой, то выходили ей навстречу и кормили и поили ее, отправив таким же образом дальше другую собаку. Таким образом эстафета могла пробежать за день сто лиг. Но наказывался принесением в жертву идолу всякий, кто помешал бы бежать такой собаке или помешал бы ей достичь своего дома или места отдыха, где всегда находились собаки с ближайших станций; их заставляли голодать, чтобы они могли с большей охотой бежать к своим жилищам.

В то время как мои товарищи отправились на корабль, губернатор распорядился, чтобы их по возвращении не допускали входить в пещеру, не посмотрев, что они несли с собой, а нас — выходить из нее, под угрозой, что всякий, кто выйдет, будет убит. Наше спасение заключалось в прибытии товарищей, потому что они отправились за порохом и пулями, ибо у нас оставалось очень мало того и другого. Губернатор приказал, чтобы ночью шесть стражей не отходили от входа в пещеру, потому что днем вход был на виду у всех. Нам было необходимо сказать товарищам, когда они явятся, чтобы они вернулись в лодку, пока мы не придумаем способа, как они могли бы войти в пещеру. Придумав, как нам убрать ночную стражу, я сказал товарищам, чтобы они, как только услышат какое-нибудь движение или шум, возможно быстрее бежали в пещеру. Для этого днем, когда стража покинула свое место, а остальные не обращали на нас внимания, я рассыпал по земле, где они сидели, порох, смешанный с мелкими камешками, и сделал из пороха маленькую дорожку от этого места до нас.

Когда наступила ночь, шесть стражей отправились на свое место, и когда одни из них сели, а другие растянулись без штанов, — ибо они их не употребляли, — мы подожгли пороховую дорожку и огонь мгновенно достиг бывшего

под ними пороха и обжег им эту часть тела так, что благодаря пороху и камешкам они много дней не могли садиться. Они и остальные по своей наивности подумали, что огонь вышел из земли, и все в страхе и изумлении побежали рассказать об этом своему губернатору, и тогда наши товарищи с двумя другими остававшимися на корабле поспешно вошли к нам, принеся шесть небольших мешков с порохом и пулями, благодаря чему мы ободрились и приготовились к защите на тот случай, если с нами могло что-то случиться.

Мы провели эту ночь бдительно, расставив часовых и опять устраивая себе прикрытия из бревен. Но так как они не поняли, что вред был нанесен им из пещеры, то они ничего не предпринимали против нас. Утром, когда всходило солнце, они принялись смотреть на него и приветствовали его музыкой завываний и свирелей и очень немногими, но часто повторяемыми словами.

Глава XXIII

Вернулась собака, или гонец, со своей тростинкой во рту, и в письме было написано их знаками, чтобы нас не оставляли на острове, ибо люди, обладающие парными членами, будут иметь также двойственные умыслы. И ради сохранения мира, которого они всегда придерживались, — они не смогут поддерживать его, если чужеземцы станут могущественными в их стране. Ибо если в стране произойдет какое-нибудь возмущение, то вред будет больше, если будет кому прийти на помощь мятежникам. Потому что мир сохраняется постольку, поскольку нет никого, кто покровительствовал бы недовольным, а если низшие не будут повиноваться высшим, то невозможно будет сохранить мир. Ибо, если нарушители спокойствия не найдут никого, кто присоединился бы к ним, они будут жить в тишине и спокойствии. Ибо животные одной и той же породы живут в мире друг с другом, но если они принадлежат к разным породам, то между ними никогда не бывает мира, и так же бу-

дет и у нас с ними. Нехорошо, чтобы чужестранцы стали пользоваться тем, что обитатели острова всегда хранили для себя, не входя в сношения с чужими. Чтобы жить в мире, нельзя вести дружбу с людьми иных обычаев. И так как надлежит отправлять правосудие с полным равенством, то мы должны были бы находиться под таким же покровительством, как и туземцы, и от этого возникла бы вражда, которая стала бы нарушать спокойствие. Поэтому предписывалось не допускать нас на остров, но отпустить в полной безопасности.

Вследствие такого ответа нам позволили свободно уйти с острова, но с такой поспешностью, что не позволили нам даже половины дня остаться там.

Мы ушли даже скорее, чем они требовали, угадывая, что должно было произойти. Потому что едва мы очутились в лодке, как они вошли в свою пещеру и, найдя ее опустошенной, поспешили на берег моря, бросая в нас камнями и обломками скал в таком множестве, что они нас потопили бы тысячу раз, если бы лодке не помогал тянувший ее корабль. Мы подплыли, и я нашел свою супругу и других женщин на корабле охваченными таким желанием видеть нас, словно мы находились в отсутствии много лет.

Так как матросы отдохнули и не оставались праздными, то, когда мы успокоились на своем корабле, мы нашли паруса починенными, снасти и корпус судна приведенными в лучшее состояние и сделанными все необходимые исправления. С благоприятным для моряков ветром мы ушли от этого острова Недосягаемого с запасом продовольствия, достаточным для кругосветного плавания. И, чтобы не быть многословным, по истечении года, после множества перенесенных невзгод, мы находились поблизости от Гибралтарского пролива, где меня постигло величайшее несчастье и беда. Наш корабль шел поврежденный столь длительным безостановочным плаванием и перенесенными бедствиями, когда появился корабль неверных, и в виду Гибралтара они без всякого вреда для себя обстреляли нас так, что мы должны были сдаться. Убив некоторых из наших товарищей, они сейчас же взошли на корабль и захватили мою супругу и служившего нам маленького пажа вместе с женами других товарищей. Но так как это было в виду Гибралтара, а люди там обладают мужеством и человеколюбием, то они со всей возможной поспешностью на десяти или двенадцати лодках явились к нам на помощь под предводительством дона Хуана Серрано и его брата дона Франсиско, который нанес такой же удар мечом отважному предводителю, как и дон Фелис Арьяс, и рассек ему железный шлем и раскроил голову, от чего тот мертвым упал в море, что принесло нам жизнь, а моей супруге смерть, потому что враги, перестав причинять нам вред, отступили и сошли на свой корабль, забрав с собой женщин. Тот, который похитил донью Мерхелину, воспламененный ее красотой, хотел совершить над ней насилие, но она на моих глазах убежала от него, ухватилась за снасти и бросилась в море, причем никто из этих еретиков не поспешил к ней на помощь. Наступила ночь, и жители Гибралтара, преисполненные жалости и сострадания, доставили нас на сушу и оказали нам гостеприимство, удобно разместив в доме дона Франсиско Аумада-и-Мендоса, сами же они вернулись, чтобы попытаться уничтожить этих врагов веры и испанской короны.

Вчера я уехал из Гибралтара, больше желая себе смерти, чем жизни, однако смерти не такой медленной, как наступает эта.

Доктор Сагредо окончил свой рассказ, совершив слезами поминки по своей жене. Оба находившихся с нами пленника хотели утешить его, очень нескладно помогая ему переносить его горе, потому что они насильно хотели заставить его быть веселым. В этом сказывается невежество людей мало знающих, ибо гораздо больше утешается огорченный, когда говорят ему, что он имеет основание быть таким, а не когда хотят, чтобы он имел довольный вид при недавно пережитом страдании. Если хотят принудить скорбящего, чтобы тело его танцевало и плясало, в то время как сам он почти без души, и при помощи глупых дово-

дов и таких грубых утешений, какими были эти, то это все равно, что заставлять реку повернуть вспять ее течение. Скорби опечаленных и грустных надлежит облегчать, давая им понять выражением своего лица, что часть их печали захватывает и других, что у них в избытке поводов, чтобы быть грустными, ибо когда у них есть, кто сострадает вместе с ними, то, если они еще не утешаются совсем, скорбь их, по крайней мере, уменьшается. Для двух категорий людей я считаю неприменимым, чтобы кто-либо прекословил им, когда происшествие еще свежо: для холериков и меланхоликов — потому что тогда для тех и других несчастье становится гораздо большим.

Одному не очень мудрому судье, когда он только что поужинал, взбрело в голову наказать плетью одного почтенного человека, и когда он приказал зажечь факелы для такого празднества, то город возмутился и по этому поводу начали кричать, он же вспыхнул еще больше, до такой степени, что призвал палача с твердым решением совершить это вследствие противодействия, какое ему оказывали. Когда дело совсем было уже погибло, подошел один рассудительный человек и сказал:

— Хорошо, что сеньору коррехидору препятствуют, хотя он имеет столь серьезные основания. Пусть ваша милость накажет его, ибо все будут рады этому. Но, чтобы они не обжаловали этого решения в высшую инстанцию, пусть ваша милость призовет писца и произведет небольшое следствие.

Это удовлетворило судью, и уже при допросе второго свидетеля у него прошли его страстное желание и возбуждение мозга, ибо эти две страсти не допускают противоречия, а поддаются только спокойному совету.

Глава XXIV

Так как пастухи или разбойники, как было сказано, чувствовали себя в опасности, то они не хотели отпускать на свободу тех, кого держали в пещерах, и не давали прохода тем, кто хотел продолжать свой путь, чтобы не было столь достоверных свидетелей, потому что им казалось, что их преступления не были вполне доказаны. Они поймали молодого очень красивого пажа, шедшего в одиночестве, и, привязав его около нашей пещеры, они хотели пытать его, чтобы он сказал, с кем он шел и почему он опередил своих спутников, так как разбойники думали, что его выслали вперед на разведку местности и что его господа были богатыми людьми или шли сюда для того, чтобы причинить им вред, от которого они потом уже не могли бы оправиться. Так как паж отрицал это и не мог сказать им, что они от него требовали, они приказали ему раздеться, чтобы пыткой заставить его сказать правду. Тот с большим самообладанием и учтивостью спросил их, кто был предводителем или главой этой шайки. Ему ответил Роке Амадор, ибо так его звали:

— Это я; почему вы спрашиваете об этом?

— Я спрашиваю об этом потому, — сказал паж, — что я много наслышался о вашей справедливости и власти над подчиненными и что вы никогда не оскорбляли того, кто говорит вам правду, — и с этой уверенностью я расскажу вам, кто я.

Так как эти разбойники и пастухи считали эту Сауседу своей защитой и священным убежищем, то они жили как люди, которым не предстоит умирать, предаваясь всем порокам, какие есть на свете, грабежам, убийствам, кражам, разврату, игре, самой грубой ругани. И так как это пастбище было очень большим, ибо имело шестнадцать лиг в поперечнике, и в некоторых частях так густо заросло деревьями и кустарниками, что животные терялись в них, не находя дороги к своим жилищам, — то они не чувствовали страха ни перед Богом, ни перед правосудием и жили без порядка и справедливости, каждый следуя своей прихоти. Только когда они собирались, чтобы делить награбленное у бедных путников, тогда бывало у них много порядка и они давали отчет о своей деятельности.

Подошел один мошенник в рубашке и шароварах, проигравший все остальное, и, неистово проклиная свою судьбу, приостановил пытку пажа, говоря:

— Да будет проклят Богом тот, кто изобрел игру и кто научил меня играть! Эти руки, могущие свалить быка, не могут одолеть судьбы! Но они, должно быть, прокляты, потому что они бросили против меня тридцать пинт в пользу какого-то полуцыпленка или полузайца! Есть здесь кто-нибудь, кто хотел бы убить себя вместе со мной? Есть какой-нибудь дьявол со своими орлиными ногами, который вышел бы против меня, чтобы помочь мне убить себя, раз уж он не помогает мне в игре? Ведь в мои лапы не попало ни одного гроша, которого сейчас же у меня не отобрали бы! Разве не довольно я прибегал к обманам и пользовался шулерскими приемами, чтобы не пошло все к черту? Клянусь, что мне нужно идти играть на галеры, может быть, там или черт возьмет меня, или мне больше повезет! Но он всегда овладевал мной, как только я брал карту, ибо я тысячу раз клялся никогда не держать банк и дьявол постоянно напоминает мне эти клятвы. На те деньги, какие я ему дал от выигрыша, он вошел в игру, чтобы содрать шкуру с меня живьем. Но около него устроился другой, такая же большая курица, как и он, который все время желал, чтобы я проигрывал. Чего они смеются? Что я, какой-нибудь рогатый, что ли? Лжецы они все, кто смеется.

— Они смеются, — сказал предводитель, — над тем вздором, какой вы говорите. Замолчите, и раз вы знаете, что вам не везет, не играйте и не произносите проклятий, иначе я велю вас три раза вздернуть на дыбу.

— Было бы гораздо лучше, — сказал он, — дать мне три эскудо, чтобы я мог еще раз попробовать руку, и дать поесть моей девочке, потому что я проиграл все, что она мне принесла.

Это дьявольский порок, более захватывающий, чем все другие, каким предаются люди, ибо игрок никогда не бывает спокоен: если он проигрывает, он продолжает играть, чтобы отыграться; если выигрывает — чтобы выиграть

больше. Он влечет за собой позор, пренебрежение добрым именем, нищету, от которой страдают жена и дети. Он делает скупым в необходимом, чтобы сохранить деньги для игры, и приводит к преждевременной старости. А когда человек много выигрывает, знакомые игроки начинают приходить играть в его дом, где, если он может переносить их, он подвергается со стороны всех дерзостям, обжигающим его душу. Так как большая часть их — люди без твердых правил, они позволяют себе говорить всякие вольности, а если не переносить этого молча, они больше не дадут ему выигрывать. Предающиеся этому пороку настолько ленивы — поведение людей низкого положения, — что забывают о чести, чтобы обильно есть и пить. Если играют кабальеро и те, кто обладает определенным доходом и состоянием, в то время, когда они бывают праздными после выполнения всех своих обязанностей, — это не заслуживает порицания, потому что они избегают таким путем поступков более вредных и безобразных. Но кто, имея четыре реала на содержание своего дома, проигрывает сто, — что может он сделать, как не заплатить их драгоценностями и одеждами своей жены, наготой и голодом своих детей? Он вынужден совершать еще худшие поступки, как этот несчастный, к которому питают отвращение даже те, кто являются его товарищами в его преступлениях, кражах, убийствах и насилиях.

Он окончил свои сетования, и так как уже наступила ночь, то допрос пажа прекратился и его поместили в отделение нашей пещеры, чтобы он не мог подать знака тем, кто — как они думали — шел вслед за ним, наказав нам, чтобы мы не говорили с ним ни слова и не давали ему никаких советов под страхом, что они нас убьют. Паж всю ночь вздыхал, и если по временам засыпал, то просыпался в величайшей тоске, а мы не имели смелости спросить его, на что он мог жаловаться или что с ним.

Так как разбойники были настороже из-за полученных сведений, ибо дело шло не меньше как об их жизнях, ночью они укрылись в таких местах, где их не могли бы най-

ти, а таких мест было там достаточно. И из-за всякого шума, поднятого людьми или животными, они беспокоились и прятались. На рассвете они начали обходить пещеры, где они держали узниками задержанных путников, и когда они пришли в нашу, то нашли нас в том же положении, как оставили, не сказавшими пажу ни одного слова. Пажа они вызвали прежде всех других, желая заставить его сказать им все, что они спрашивали у него. Паж сказал очень учтиво и умно:

— Сеньор Роке Амадор, вчера я спросил, кто был главой и предводителем этих людей, потому что, если бы это были вы, я считал бы свое положение безопасным благодаря вашей доброй славе. Ибо не будет для вас подвигом мучить такого одинокого и жалкого червя, как я, ни марать вашу репутацию, применяя вашу доблесть на том, что скорее может обесчестить вас, чем увеличить вашу славу. Если, руководя и управляя такими необузданными людьми, вы приобрели славу, какой пользуетесь во всей Андалусии, то что стали бы говорить теперь, если вы разрушите это доверие к вам, унизив себя такой скромной добычей, вы, столь храбрый орел? Больше славы — сохранить уже приобретенную и добытую собственной отвагой репутацию, чем подвергать ее опасности и рисковать тем, что уже принадлежит вам. Вы всегда хвастались справедливостью и искренним состраданием. Было бы несправедливо, чтобы теперь только со мной вы обошлись иначе.

Мы в пещере очень внимательно прислушивались к красноречию, с каким говорил паж. А Роке Амадор, тронутый хорошими словами пажа, уверил его, что ему не будет причинено никакого вреда, если он будет говорить правду. Я был смущен, потому что мне показались знакомыми голос пажа и его манера говорить, но я не мог вспомнить, кто бы это мог быть. После приветливых слов Роке паж сказал:

— В таком случае, если некоторое сострадание к моей печали и моему одиночеству проникло в ваше жалостливое сердце, дайте мне слово за себя и за своих товарищей

обращаться со мной так, как вы должны это сделать по своему характеру, без оскорбления, ни тайного, ни публичного.

На это тот отъявленный мошенник сказал:

— Эй, господин паж, раздевайтесь, потому что мы здесь не понимаем ни трескотни, ни насечки, мы умеем только всадить немного свинца в тело того, у кого нет с собой денег.

На это паж остроумно ответил:

— Даже если он так же тяжел, как вы, дьявол сможет переварить его, потому что я вспоминаю, что я видел вас или другого, похожего на вас, подстреленным в Сьерра-Морене.

Роке рассмеялся и сказал ему:

— Слушай, скотина, паж говорит очень правильно; а вам я скажу, благородный человек, что я даю вам слово за себя и за своих товарищей не только не обижать вас, но даже оказать вам покровительство и помочь вам, насколько возможно.

— В таком случае, веря этому, — ответил паж, — я буду говорить как с человеком, исполненным отваги, сострадания и правдивости.

Мы были очень внимательны ко всему происходившему, когда паж повел речь таким образом:

— Если бы я не утешался сознанием, что я не первый, испытавший несчастья и бедствия и беспросветное горе, то озаряющая вас милость побуждала бы меня рассказать о своих невзгодах. Но так как судьба всегда старается поднять упавших и сбросить вниз возвысившихся, то, не будучи первым, претерпевшим ее гонения и перемены, я решаюсь говорить откровенно. Узнайте же, что я не мужчина, а несчастная женщина. После того, как я следовала за своим мужем по суше и по морю, с невероятным ущербом для себя и для нашего имущества, и после того, как мы плавали по всем открытым морям и даже гораздо дальше, испытывая великие бедствия в неведомых странах, мы, благодаря милосердию Божию, прибыли в Гибралтарский пролив. При виде столь желанной земли мы уже были уверены в нашем спасении, когда на нас напал корабль неверных. Поль-

зуясь тем, что мы плыли на поврежденном корабле, почти без людей и страдая от недостатка продовольствия, они без вреда для себя захватили женщин, схватив первой меня и служившего мне пажа, после того как перебили всех, кто защищался, в том числе и моего мужа. Капитан корабля, влюбившись в меня, хотел ласковыми словами склонить меня к удовлетворению его желания, добиваясь, чтобы я нарушила верность и целомудрие, принадлежавшие моему убитому супругу. Я не отвечала ему дурно, чтобы он не захотел прибегнуть к насилию, что он мог сделать, так как я была беззащитна. Позвав своего пажа под палубу, я переодела его в свое платье, а на себя надела его одежду, которая и сейчас на мне. Мальчик был очень красив лицом, и когда он вышел на палубу, капитан хотел обнять его, думая, что это была я. Но, пустившись бежать, паж запутался в платье и корабельных снастях, упал в море и, погрузившись в воду, больше не появлялся. Испытав эти несчастья – гибель моего мужа и гибель пажа, – я вымазала себе лицо сажей, чтобы у капитана оставалась уверенность в том, что он видел, и чтобы он не узнал меня.

Сострадательные жители Гибралтара с присущей им отвагой поспешили к нам на помощь и, проведя в борьбе два дня и две ночи, возвратились не прежде, чем разбили пиратов и дали свободу всем, кого те захватили. Когда они взяли нас на свои корабли, они хотели сделать то же самое с пиратами, и велели им сдаться в плен, чтобы доставить их в город; когда те отказались, они подожгли их корабль, и сгоревшие там пираты отправились прямо в ад. В Гибралтаре, когда я разузнавала о дороге в Мадрид, мне сказали, что надо пройти через Сауседу, и когда я пришла в Ронду, мне там указали дорогу.

Мы четверо, в особенности доктор Сагредо и я, были изумлены и поражены этим неожиданным происшествием, и нам почти казалось, что это было сновидением или миражем, вызванным каким-нибудь волшебством; мы и не решались поверить этому, и не осмеливались не доверять действительности. Роке Амадор, тронутый слезами, какие

прекрасная женщина стала проливать в конце своего рассказа, утешил ее и предложил проводить ее, чтоб она была в полной безопасности, и дать ей на дорогу денег. Когда же он спросил, как ее звали, чтобы сохранить в памяти столь необычайное происшествие, она ответила, говоря ему истину, как и во всем:

– Меня зовут донья Мерхелина де Айвар, а моего несчастного мужа, который был не солдатом, а врачом, звали доктор Сагредо.

Доктор Сагредо, услышав свое имя из уст жены, почти задыхаясь от внезапного волнения и радости, сказал:

– Он жив, и поблизости от него вы спали эту ночь.

Роке Амадор, пораженный этим случаем, приказал вывести нас из пещеры и спросил ее, кто из нас произнес эти слова. Отпрянув, словно в испуге, она сказала:

– Если только это не какая-нибудь призрачная тень, созданная высшими силами, то вот это мой муж, а это Маркос де Обрегон, который был моим отцом и советчиком в Мадриде.

– В таком случае вы все трое можете идти в добрый час, и хотя эти деньги добыты не в честной войне, смотрите, я разделяю с вами троими часть того, что было отобрано у других. И если я задержал всех этих пленников, так это было не для того, чтобы причинить им зло, а лишь для того, чтобы наши враги не встретились с ними.

И когда он привел нас ко всем остальным, прося, чтобы они не говорили о встрече с ним, донья Мерхелина сказала предводителю с выражением великой благодарности:

– Мне нечем отблагодарить вас за добро, полученное мною из ваших рук. Я могу только сообщить вам то, что слышала в Гибралтаре от человека, который не желает вам зла, – а именно, что лисенсиат Вальядарес получил приказание выдать большую награду и простить все преступления тому, кто предаст вас в его руки.

С этими словами она передала ему объявления и указы, какие приказал обнародовать этот великий судья. Из-за это-

го он созвал на совет своих товарищей и произнес им большую речь, ибо он хорошо умел это делать, и в заключение ее сказал, чтобы все они подумали этой ночью о том, что они могут предпринять для своей защиты, и приняли бы решение, какое покажется им лучшим. Все разошлись по своим местам ночлега, и в то время, как они думали в ту ночь об его поручении, хитрый Роке Амадор скрылся в Гибралтар и с очередным кораблем переправился в Африку, оставив их всех пораженными и обманутыми.

Оставшись без главы и без руководства, они рассеялись, разбегаясь в разные стороны, прекратив нападения, какие совершали раньше. Однако с помощью великих хитростей судья захватил двести человек из них и совершил над ними примерное правосудие.

Мы без всяких помех и в безопасности прибыли в Мадрид, и мне казалось, — ибо это действительно так, — что в этих разбойничьих шайках есть люди, обладающие такой добродетелью, что многое нужно сделать тому, кто захотел бы подражать им.

Глава последняя и эпилог

Уставши уже от стольких ударов судьбы, испытанных на море и на суше, и видя, какой короткой была моя молодость, я решил описать свою жизнь и приготовиться к смерти, которая служит пределом всех вещей. Ибо, если она хороша, она исправляет и смягчает все проступки, совершенные в юности.

Я описал ее языком легким и ясным, чтобы читателю не было трудно понимать его. Очень хорошо сказал обладавший блестящим и ясным умом маэстро Вальдивьельсо одному поэту, который хвастался, что он пишет очень темно, — что если цель повести и поэзии — развлекать поучая и поучать развлекая, то как может поучать и развлекать то, что непонятно или, по меньшей мере, должно очень затруднять читателя?

Если встретятся какие-нибудь оплошности, то пусть они будут приписаны моей малой осведомленности, а не недостатку у меня доброго желания. И если мне укажут на них, я с великим смирением приму поправку от всякого, кто с добрым намерением захочет меня исправить. Ибо плохо пользовался бы своими наставлениями тот, кто хотел научить обладать терпением, если у него самого не будет хватать терпения, чтобы выслушать и принять братские исправления. Ведь без терпения я не мог бы встретить грудью волны и жестокости неистового трезубца, не смягчил бы жестокости разбойников, не привел бы к благополучному концу позорные и непрерывные невзгоды рабства, не склонил бы в свою пользу высокое величие власть имущих, не пользовался бы великой милостью государей и без божественной добродетели терпения не обуздывал бы стольких и столь безмерных вихрей, какие влечет за собой суетность человеческая. И если бы оно не оказало на меня иного действия, кроме избавления меня от губительного порока праздности, который я видел столь распространенным среди людей всех состояний, — этого мне было бы достаточно, чтобы извлечь из моих бедствий великий плод и обладать им. И если в юности побольше обращать внимания на детей, которые воспитываются в праздности, то, находя пример в чужих бедах, они не отказывались бы от опасностей солдатской жизни, не доходили бы до жалкого раболепства, не впадали бы в нужду, в какой оказываются мужи благородного происхождения, переносящие тысячи унижений, от которых они свободно могли бы вовремя избавиться. Из-за того, что детей воспитывают, допуская, чтобы они пребывали в праздности, родителям приходится видеть превосходящие меру проступки, которые они могут исправить лишь с большим позором или затратами, превосходящими состояние, каким они обладают.

Занятие — это великая учительница терпения, добродетели, о которой мы всегда должны думать с великой бдительностью, чтобы противостоять искушениям, какие пре-

следуют нас изнутри и извне. В конце концов благодаря ему достигается все, на что люди способны. Ибо даже при обладании высоким происхождением, преходящими благами и широким покровительством людей, — без этой добродетели невозможно достичь предела желаемого. А если с терпением соединяется настойчивость, то все это содействует, все научает: бедного — чтобы он проводил свою жизнь в спокойствии и улучшал свое положение; богатого — чтобы он сохранил приобретенное и не желал чужого; благородного кабальеро — чтобы он не удовлетворялся унаследованной от своих предков кровью, а шел дальше; расточительного — чтобы он сообразовался с тем, что имеет и что может иметь; скупца и жадного — чтобы тот понял, что он не родился только для одного себя; отважного и решительного — чтобы он обуздывал свои порывы, причиняющие столько зла; трусливого — чтобы в нем считалось добродетелью то, что является отсутствием мужества; того, кто оказался в тяжелом положении, — чтобы он переносил его мужественно и спокойно. Чего не совершает добродетель терпения? Какие мирские бури она не укрощает? Каких наград не достигает? Но если флегматик может приходить в ярость и с пылкостью следовать порывам раздражения, то почему холерик не сможет сдерживать себя и проявить упорство в терпении?

У нас есть много настоящих и живых примеров этой истины, которым следует подражать. Но даже на одном только можно видеть, что может сделать превосходная добродетель терпения. Кто подумал бы, что такая великая необузданность вместе с кровью, богатством и молодостью, какой отличался в юности герцог Осуна дон Педро Хирон, превратится в такие замечательные добродетели, которым поражается весь мир? Будучи яростной молнией гнева, самым нетерпеливым в нежные годы своей юности, с каким огромным терпением он обуздал свой непреклонный характер, чтобы служить во Фландрии с таким успехом, что он смирял ярость восставших и подставлял свою мужественную грудь под удары мушкетов, когда хотели ворваться в его дом и разграбить его! Каким только терпением, соединенным с умеренностью и справедливостью, не обладал он, когда управлял Сицилией! И какой доблести, без терпения, было бы достаточно для осуществления его гордых планов, когда он направлял по морю и суше такие могучие армии и флоты, обуздавшие могущество турок, заставив трепетать остальных врагов, причем он внушал любовь и страх людям, которыми он управлял и управляет?

Когда дон Франсиско де Кеведо, кабальеро с блестящим умом, спросил этого знатного вельможу, как ему удалось такой мягкостью заставить уважать себя, тот ответил, что благодаря терпению, потому что — хотя в людях простых и скромных оно вызывает некоторое пренебрежение — в государях и правителях оно возбуждает страх, любовь и уважение. Но пусть это остается для больших историй, ибо этого нельзя вместить в такое маленькое рассуждение.

Хорхе де Товар, которого я знал в его молодые годы как человека, обладавшего достаточным мужеством и решительностью, чтобы в делах чести потерять терпение, именно благодаря терпению приобрел великие нравственные добродетели, которые привели его на должности, достойные такого великого человека, каким он проявил себя, высказывая великую правдивость, мужество и настойчивость в делах распределительной юстиции. Но каких совершенств не найдется в божественной добродетели терпения? О, снизошедшая с неба добродетель! Бог послал нам ее по милосердию своему, мне же для того, чтобы, подражая добродетели моих товарищей в этом убежище, я смог обеспечить себе жизнь и приготовиться к смерти. И для осуществления этого благого намерения, если бы я умел воспользоваться им, Бог послал мне в качестве примера такую знатную сеньору, как донья Хуана де Кордова Арагон-и-Кардона, герцогиня де Сеса, чья христианская добродетель, высокие качества, собственные и унаследованные, и милостивое обращение могут служить образцом и примером для каж-

дого, кто стремится к христианскому совершенству, в правилах которого воспитались такие дети, как дон Луис Фернандес де Кордова, герцог де Сеса, кабальеро, которого украшают самые высокие дарования, большой любитель чтения литературных произведений, великий покровитель их, а также и тех, кто их сочиняет.

Луис Велес де Гевара

Хромой Бес

Дон Хуан Велес де Гевара своему отцу

Тебе, в ком зародилась жизнь моя,
Чье пламя дни мне ярко озарило,
Я подражать в трудах принялся было,
Но дух твой мудрый превзошел меня.

Сияет нам поэзия твоя,
Но слава даже светоч сей затмила.
Твоих творений неземная сила
Продлила нам миг краткий бытия.

Твой гений веселит и наставляет,
Не властно время хмурое над ним,
С годами он все более прекрасен.

Здесь тот твои деянья воспевает,
Кто, чтобы сыном быть во всем твоим,
Стать даже росчерком пера согласен.

Его светлости дону Родриго де Сандоваль. Де Сильва, де Мендоса и де ла Серда, князю де Мелито, герцогу де Пастрана де Эстремера-и-Франкавила и проч.

Превосходительный сеньор!

Великодушие Вашей светлости — всех талантов истинное отечество, где им уготован надежный приют, — превозмогло мою робость и побудило извлечь из мрака забвения повесть, завалявшуюся среди прочих набросков, написанных забавы ради, и названную мною «Хромой Бес», дабы ныне она под покровительством столь славного Мецената отважилась явить миру невежество автора. Зависть иссякнет, злословие онемеет, соперники отступят, увидев меня под охранительной Вашей сенью. С таким поручительством повестушке моей не страшно пуститься в плаванье, показаться открыто среди людей. Да хранит господь Вашу светлость, как того желают и просят слуги Ваши, среди коих

к стопам Вашей светлости припадает

покорный слуга

Луис Велес де Гевара

Обращение к свистунам мадридской комедии

О вы, обычаем и свычаем поставленные, судьи театральные, вы, свистуны, ненавистные и мне и тебе, читатель! Благодарение богу, на сей раз могу взяться за перо, не опасаясь вашего свиста, ибо рассказ о Хромом Бесе зачат и рожден вне театральных подмостков, а следственно, вашему ведомству не подлежит. Ему не грозит и ваше чтение с пристрастием — ведь из вас мало кто и по складам разбирает. Ваш удел лишь множить число прозябающих на белом свете, торчать в зрительном зале, да, разинув рот, ждать, когда комедиант вас подцепит, как

рыбу на крючок, бойкой остротой или забавным коленцем, — к истинному вдохновению вы глухи. Что ж, развлекайтесь, как умеете, вы, прихвостни Фортуны, превозносите до небес бездарный фарс и хулите творение, достойное сиять среди звезд. От вас и гроша медного мне не надобно, лишь у господа прошу я милости для своего рассказа, и пусть, кто хочет, вверяет себя приливам и отливам ваших похвал, от коих да избавит нас всевышний в милосердии своем бесконечном.

К нелицеприятному и приятнолицему читателю

Любезный читатель! Повесть сию — не смею назвать ее книгой — я написал в часы, свободные от домашних забот и театральных директоров, сменив жесткое седло поэзии на мягкие подушки прозы, и, поскольку речь в ней идет о Бесе Хромом, разделил рассказ не на главы, а на «скачки». Надеюсь, и ты промчишься по ней вприскочку, — тогда тебе некогда будет меня бранить, а мне не придется благодарить за внимание. Больше толковать нам не о чем, а посему кончаю письмо, но не мольбы к господу, да сохранит мне твое благоволение.

Писано в Мадриде (день, месяц и год проставь сам, как получишь книгу).

Остаемся и пр. и пр.

Автор и рукопись.

Скачок первый

Было это в Мадриде, в конце июля. Только что пробило одиннадцать вечера — зловещий час для прохожих, а в темную, безлунную пору самое подходящее и законное время для темных делишек и шуточек со смертью. Прадо замирал, изрыгая запоздалые кареты, — там кончалось последнее действие комедии прогулок, а в купальнях Мансанареса столичные Адамы и Евы, скорей испачканные песком,

нежели обмытые водой, восклицали: «Расходитесь, река кончилась», когда дон Клеофас Леандро Перес Самбульо, идальго из поместья «Четыре ветра», кавалер многих сквозняков на перекрестке четырех имен, начинающий влюбленный и вечный студент, пробирался на четвереньках, со шпагой и щитом, по коньку одной из мадридских крыш, спасаясь от блюстителей закона, преследовавших его за насилие, в котором он ни сном ни духом не был повинен, хотя в списке должников некоей потрепанной девицы удостоился двадцать второго места. От бедного лиценциата требовали, чтобы он один оплатил то, чем угощалось столько народу; но так как ему вовсе не хотелось услышать «да будут двое едина плоть» (окончательный приговор священника, иже в силе отменить лишь викарий Заупокой, судья мира иного), то он, не долго думая, перемахнул, как на крыльях, с упомянутой крыши на соседнюю и вскочил в чердачное окно, привлеченный огоньком, там мерцавшим, словно путеводная звезда средь бури. Беглец приложился — одновременно и подошвами и устами — к полу чердака, приветствуя его, как потерпевший кораблекрушение — гавань, и радуясь, что оставил в дураках всех крючкотворов, а заодно разбил добропочтенные мечты доньи Томасы де Битигудиньо, поддельной девицы, которая, как фальшивая монета, имела хождение лишь в темноте. Девица сия для вящего успеха своей затеи не преминула совершить сделку о купле-продаже и с капитаном тех самых молодчиков, которые, по ее жалобе оседлав коньки, исследовали, подобно береговому дозору, море мадридских крыш. Каково же было их изумление, когда они убедились, что корабль, оснащенный плащом и шпагой, от них ускользнул, умыкая честь сеньоры, промышлявшей девственностью. Что до нашей доньи Томасы, то, узнав об этом, она поклялась выместить неудачу на другом желторотом, не смыслящем в уловках девственниц, и в сговоре со старухой, которую величала «тетушка», принялась завлекать его в свои силки, куда уже попалось столько разных залетных пташек.

Тем временем студент, едва веря в свое спасение, оттирал камзол от сажи и протирал глаза, разглядывая места, куда причалил, и диковинные предметы, сей вертеп украшавшие. Маяком ему тут послужила подвешенная на крюке плошка, освещавшая огромный старинный стол, а на нем — кипу смятых бумаг, испещренных математическими значками, астрономические таблицы, два глобуса, несколько циркулей и квадрантов — верные приметы того, что внизу проживает астролог, владелец этого странного хозяйства и приверженец черной магии. Как человек ученый и питающий склонность к подобным занятиям, дон Клеофас подошел к столу и начал с любопытством перебирать астрологическую утварь. Внезапно послышался как бы исходивший от нее вздох, но студент решил, что это ему почудилось в ночном мраке, и продолжал внимательно перелистывать трактаты Эвклида и измышления Коперника. Вздох раздался снова, и тогда дон Клеофас, убедившись, что слух его не обманывает, с дерзкой развязностью, подобающей храброму студенту, спросил:

— Что за черт там вздыхает?

И в тот же миг ему ответил голос, вроде бы человеческий, но не совсем:

— Это я, сеньор лиценциат, я здесь, в колбе, куда меня засадил проживающий внизу астролог; он к тому же и в черной магии разбирается и вот уже года два как держит меня в неволе.

— Стало быть, ты его домашний бес? — спросил студент.

— Ох, как бы я хотел, — отвечал голос из колбы, — чтобы сюда заглянул служитель святейшей инквизиции и упрятал моего тюремщика в каменный мешок, а меня вызволил из этой клетки для адских попугаев! Но ты явился вовремя и тоже сможешь выпустить меня. Этот тиран, чьим заклятиям я вынужден повиноваться, томит меня праздностью, маринует здесь без дела, меня, самого озорного из всех духов преисподней!

Как истый студент Алькала, дон Клеофас, кипя отвагой, спросил:

— Ты дьявол из простых или из знатных?

— Даже из весьма знатных, — отвечал бесовский сосуд. — Я самый знаменитый бес и в этом и в подземном мире.

— Ты Люцифер? — спросил дон Клеофас.

— Нет, то бес дуэний и эскудеро, — ответствовал голос.

— Ты Сатана? — продолжал спрашивать студент.

— Нет, то бес портных и мясников, — снова ответил голос.

— Ты Вельзевул? — еще раз спросил дон Клеофас. А голос ему в ответ:

— То бес притонодержателей, распутников и возниц.

— Так кто же ты — Баррабас, Белиал, Астарот? — спросил наконец студент.

— Нет, те старше меня по чину, — отвечал голос. — Я бес помельче, но во все встреваю; я адская блоха, и в моем ведении плутни, сплетни, лихоимство, мошенничество: я принес в этот мир сарабанду, делиго, чакону, бульикускус, соблазнительную капону, гиригиригай, самбапало, мариону, авилипинти, «цыпленка», «обоз», «брата Бартоло», карканьял, «гвинейца», «щегла-щеголька»; я изобрел кастаньеты, хакары, шутки, дурачества, потасовки, кукольников, канатоходцев, шарлатанов, фокусников — короче, меня зовут Хромой Бес.

— Так бы сразу и сказали, — заметил студент, — не пришлось бы долго объяснять. Покорный слуга вашей милости — я давно мечтаю познакомиться с вами. Кстати, сеньор Хромой Бес, не скажете ли мне, почему именно вас так прозвали? Ведь все вы падали с одинаковой высоты, и товарищи ваши могли точно так же изувечиться и получить такое же прозвище.

— Сеньор Клеофас Леандро Перес Самбульо, — как видите, ваше имя, вернее, все ваши имена мне известны, ибо вы захаживали по соседству от меня к даме, из-за которой вас давеча преследовала стража и о которой я еще расскажу вам немало чудес, — я ношу такое имя, потому что был первым среди поднявших мятеж на небесах и первым среди низринутых; все прочие свалились на меня, отчего я и получил увечье, и с той поры более других бесов отмечен

десницей господа и копытами всех дьяволов, а в придачу и прозвищем. Но хромота не помеха, без меня еще не обошлась ни одна каверза в наших Нижних Провинциях, и во всех тамошних делах я не отставал от других, напротив, всегда был впереди — ведь по дороге в ад здоровый и хромой, как ветер, мчат. Правда, с тех пор как я сижу в этом маринаде, моя репутация сильно подмокла; а предали меня мои же товарищи за то, что, как гласит кастильская поговорка, Хромой Бес всех чертей хитрей, — самым дошлым из них я не раз продавал кота за черта. Вызволи меня из этого алжирского плена, уж я тебя отблагодарю, исполню все твои желания, — слово дьявола! — ибо хорош я или плох, а тому, кто мне друг, всегда буду другом.

— Как же ты хочешь, — сказал дон Клеофас, меняя учтивый тон на дружески развязный, — чтобы я совершил то, что не под силу даже тебе, самому ловкому бесу?

— Мне нельзя, — молвил дух, — а тебе можно, ибо ты человек, на коем почиет благодать крещения, и, значит, не подвластен заклятиям того, кто вступил в союз с владыками нашей кромешной Гвинеи. Возьми тут на столе квадрант и разбей эту колбу. Как только жидкость разольется, я предстану перед тобой в зримом и осязаемом облике.

Дон Клеофас не был ни ленив, ни труслив, он тут же исполнил просьбу — схватил квадрант и разбил вдребезги сосуд; со стола полился мутный маринад, в котором хранилась нечистая сила. Взглянув вниз, дон Клеофас увидел на полу маленького человечка, опиравшегося на костыли; голова вся в больших шишках, спереди похожая на тыкву, сзади — на дыню, нос приплюснутый, рот до ушей, на голых деснах ни резцов, ни коренных, только торчат два острых клыка; усы торчком, будто у гирканского тигра, а редкие волоски на голове — один здесь, другой там — вроде корешков спаржи, которым так ненавистно общество, что они никогда не сходятся вместе, разве что в пучках на рыночном лотке. Иное дело салат, у того, пока вырастет, все корни друг с дружкой спутаются — ни дать ни взять жители нашей столицы (да не обессудят меня за обидное сравнение!).

С отвращением смотрел дон Клеофас на этого уродца, но что поделаешь! Без помощи беса никак ему нельзя было выбраться с чердака, из этой мышеловки астролога, в которую он попал, спасаясь от гнавшихся за ним котов (да простится мне и эта метафора!). Хромой же, схватив его за руку, молвил:

– Пойдем, дон Клеофас! Приступаю к уплате своего долга.

И оба вылетели через слуховое окно, будто ядро из пушки, и летели, не останавливаясь, пока не опустились на верхушку колокольни храма Святого Спасителя, самого высокого сооружения в Мадриде. Пробило час ночи – время, отведенное для покоя и сна, краткая передышка, даруемая нам полчищем житейских забот. В эту пору и зверь и человек погружаются в безмолвие, этот час равняет всех: мужчины и женщины поспешно сбрасывают башмаки и чулки, панталоны и кафтаны, юбки, фижмы, кринолины, сорочки, корсеты и забывают о благоприличиях, уподобляясь прародителям нашим, кои создали всех нас без этого тряпья. Обернувшись к спутнику, Хромой Бес сказал:

– С этой заоблачной башни, высочайшей в Мадриде, я покажу тебе, дон Клеофас, на зависть самому Мениппу из Лукиановых диалогов, все, что в такие часы происходит примечательного в испанском Вавилоне, который по смешению языков может поспорить с древним.

И с помощью дьявольских чар Хромой Бес приподнял крыши зданий, точно корку пирога, и обнажил мясную начинку Мадрида в ту пору, когда из-за жары все ставни в домах раскрыты и в недрах этого вселенского ковчега кишит столько наделенной разумом нечисти, что Ноев ковчег против него показался бы жалким и убогим.

Скачок второй

Дон Клеофас так и замер, увидев этот паштет из человеческих рук, ног и голов, и в изумлении воскликнул:

– Неужто для такого множества мужчин, женщин и детей хватает полотна на тюфяки, простыни и рубашки! Погоди, дай наглядеться, – право, среди чудес промысла божьего это не последнее!

Но тут Хромой Бес перебил его:

– Смотри и слушай, сейчас я покажу тебе по отдельности самых любопытных персонажей этого театра, прелесть коего в разнообразии. Взгляни прежде всего на ту компанию кавалеров и дам, которые сидят за столом, ломящимся от яств, как заведено, с полуночи – это единственное, в чем они соблюдают часы.

Дон Клеофас сказал:

– Лица эти все мне знакомы, я бы не прочь свести знакомство и с их кошельками.

– Э, солдатики из кошельков давно перебежали к иноземцам из-за дурного обхождения этих всехристианнейших государей, – сказал Хромой, – и потому от их воинства осталось одно звание без содержания, как бывает с иными придворными.

– Пусть себе ужинают, – молвил дон Клеофас. – Ручаюсь, они не встанут из-за стола, пока не перебьют всю посуду, и когда эта потеха закончится – один бог ведает. Посмотрим-ка лучше на других, а у этих вельмож я и так каждый день ручку целую и каждую ночь в их обществе околачиваюсь. Целых два месяца просидел я на передке кареты у одного такого, был его поэтом-культистом и весь пропитался «вашими светлостями» да «вашими милостями», которые только и способны, что лесть выслушивать.

– Ну, тогда взгляни на законника, – продолжал Хромой, – вон того, что охает от боли в мочевом пузыре и трясет своей бородой, такой пышной и широкой, что кажется, среди подушек торчит хвост дельфина. А вон там рожает донья Вертушка, и ее жалкий супруг дон Торибио хлопочет у ложа, суетится, будто на свет появляется его чадо, меж тем как виновник события преспокойно храпит в соседнем квартале и в ус не дует. Посмотри и на того красавца писаного, щеголя записного, – спит в подусниках, хохолок и за-

тылок в папильотках, руки, покрытые мазями, в митенках, а на лице столько изюма, что хватило бы на весь великий пост. Чуть подальше старуха, заправская колдунья, толчет в ступке вяжущее снадобье, — спешно требуется подлатать девицу, чья слава на честном слове держится, чтобы она могла завтра идти под венец. Вон там, в тесной каморке, лежат двое больных, которых лечат клистирами; сейчас они затеяли спор, кто прошел больше курсов, точно им в университете степень получать, — ишь, пошли драться подушками! А теперь обернись и посмотри внимательно на новомодную ханжу: днем благочестива, а ночью, гляди-ка, натирается мазями, чтобы попасть на шабаш ведьм между Сан-Себастьяном и Фуэнтеррабией, — право слово, и мы бы там побывали, да боюсь, как бы не узнал меня дьявол, что у них за козла. У нас с ним однажды в приемной у Люцифера большой спор вышел, и я влепил ему здоровенную пощечину, а книга о дуэлях и у нас, чертей, в ходу, ибо сочинитель ее — сын одного из наших. Но мы и здесь сумеем недурно развлечься. Взгляни вон на тех двух грабителей; орудуя особым ключом — отмычки ныне вышли из моды, — они лезут через балконную дверь в дом богача-чужеземца и, освещая себе путь фонарем, подбираются к большущему мешку, набитому серебряными монетами. Нет, голубчики, мешок чересчур велик, вам не утащить его, не наделав шуму! Так и есть, они решили его развязать и для начала наполнить монетами карманы и кошельки, а завтра вечером вернуться за остатком. Гляди, гляди, уже развязывают, а из мешка высунул голову сам хозяин — он, оказывается, сидит внутри, никому не доверяет сторожить свои денежки. «Сеньоры воры, — говорит он, — вот мы все и в сборе!» А они-то со страху повалились наземь, один справа, другой слева — точь-в-точь стражи на деревенском представлении воскресения Христова, — и на четвереньках спешат убраться тем же путем, каким пришли.

— Им следовало бы, — заметил дон Клеофас, — унести этого паука, не развязывая, как был, в коконе из монет, тогда все обошлось бы гладко. Известно, всякий чужеземец — денежный мешок, только крещеный, и, по беспечности нашей, нет у них иного дела, как наши деньги копить, ни в нашем государстве, ни в их собственном. Но постой, кто эта слониха в женской сорочке? Для нее не только кровать узка, но весь дом и даже Мадрид тесен, от ее храпа больше шуму, чем от прибоя на Бермудских островах; видно, хлещет вино сорокаведерными бочками и заедает целыми тушами.

— Еще недавно она признавала лишь мирские утехи, но затем эта саагунская бочка поняла, что недалек час, когда она лопнет и рассыплется в прах. Она богатая трактирщица; нажилась, продавая коня за барана и кота за кролика голодным гостям, и с того приобрела шесть домов в Мадриде да еще отдала в рост купцам у Гвадалахарских ворот двадцать тысяч дукатов с лишком. Ныне, построив часовню для своего погребения и учредив две капеллании, она надеется прямехонько попасть на небо. А я полагаю, поднять эту бочку туда не удастся, даже если подвесить блок на планете Венере, а рычаг на созвездии Семи Козочек. Но она, после всех богоугодных дел, спит сном праведных.

— Постой, — сказал дон Клеофас, — я вижу какого-то кабальеро, тощего, как вяленая селедка, — в чем только душа держится. На его кафтане, висящем у изголовья, я примечаю орденский знак, нашитый среди множества заплат. Спит этот бедняга скрючившись, точно запеченная в тесте минога, — кровать ему коротка, едва до колен доходит, как полукафтанье.

— Это искатель должности, — ответил Хромой, — и для такого занятия он, пожалуй, еще толст и хорошо одевается. Добро вон тому столичному виноторговцу, он этих забот не ведает — служит при своем вине священником, крестит его в мехах и в бочках. Гляди, как он бродит, неприкаянная душа, со своей воронкой, льет и переливает. Уверен, что не пройдет и тысячи лет, как я увижу его среди участников сражения на тростниковых копьях в честь рождения какого-нибудь принца.

— А почему бы и нет, — сказал дон Клеофас. — Ведь он трактирщик и может подпоить Фортуну.

— Теперь взгляни, — продолжал Хромой, — на алхимика, только не пугайся. Видишь, там, в подвале, он мехами раздувает огонь и варит в котле смесь всевозможных веществ. Чудак не сомневается, что найдет философский камень и сумеет делать золото; десять лет эта мечта не дает ему покоя, ибо он начитался сочинений Раймунда Луллия и прочих алхимиков, которые толкуют об этой невозможной задаче.

— И правда, — сказал дон Клеофас, — еще никому не удавалось сделать золото, кроме как богу да солнцу, по особому соизволению божьему.

— Верно, — сказал Хромой, — даже у нас, чертей, и то не получилось. Но обернись сюда и посмейся вместе со мной над этими супругами, помешанными на каретах. Вместо того чтобы покупать платье, обувь и обстановку, они все издержали на карету, что стоит пока без лошадей; в ней они обедают, ужинают, спят и за четыре года, как приобрели ее, ни разу не вышли из своего заточения, даже по телесной нужде. Они себя заживо закаретили и так привыкли никуда не вылезать, что карета для них как раковина для улитки или панцирь для черепахи: стоит кому-либо одному высунуть голову наружу, он тут же втягивает ее обратно, словно очутился в чужой стихии, и если выставит из этой тесной кельи руку или ногу, то непременно простудится. Теперь они, как я слышал, задумали расширить свои владения — пристроить к карете чердак и сдать его внаем соседям, таким любителям карет, что согласятся жить хоть на запятках.

— Зато их души, — сказал дон Клеофас, — отправятся в ад в собственной карете.

— Туда им и дорога, — отвечал Хромой. — Совсем иные заботы у многосемейного бедняка, вон в том доме, чуть подальше. Он, как лег, долго не мог заснуть, оглушаемый капеллой детских голосов — альтов, контральто, дискантов и прочих, — исполнявших на все лады контрапункт плача. А когда наконец задремал, его разбудил набатный колокол — приступ маточных болей у жены, да такой жестокий, что супруг обегал всех соседей в поисках руты, сжег кипу шерсти и бумаги, накрошил миску чесноку, перепробовал всевозможные припарки, настойки, куренья и «три сотни прочих средств». Под конец у него самого от беготни в одной рубашке началось сильнейшее колотье под ложечкой, так что, думаю, он с лихвой отплатит жене.

— Зато в соседнем доме очень крепко спят, — сказал дон Клеофас. — Гляди, какой-то кабальеро приставляет к стене лесенку, намереваясь взять приступом и дом и честь хозяина. Если в дом, где есть внутренняя лестница, забираются по приставной — добра не жди.

— Здесь, — пояснил Хромой, — проживает старый богатый кабальеро с красавицей дочкой, которой не терпится, с помощью того маркиза, что взбирается по лесенке, утратить звание девицы. Маркиз обещает ей жениться — такую роль он уже сыграл с десятью или двенадцатью девицами, и все комедии кончались слезами. Но этой ночью он не добьется желаемого: подходит алькальд с дозором, к тому же у нас, чертей, есть давний обычай — портить людям удовольствие и, как говорит ваша пословица, выдавать криворожую за пригожую.

— Но что за крики раздаются в доме поближе? — спросил дон Клеофас. — Можно подумать, все дьяволы оглашают пропажу своего собрата.

— Вряд ли речь обо мне — я уже вышел из плена, — сказал Хромой, — а из-за разбитой колбы меня не станут призывать в ад через глашатаев. Нет, это вопит притонодержатель, он нынешней ночью выдал игрокам полторы сотни колод и, ни за одну не получив платы, взбесился от ярости. А тут еще завязалась потасовка из-за того, поставить ли магарыч молодчику, судившему игру по-жульнически, — правые и виноватые разбегаются, пока ребра целы. В это время на соседней улице, вселяя мир в их души, звучит пение в четыре голоса — это слуги некоего сеньора устроили серенаду жене портного, а портной клянется, что всех их пришьет кинжалом.

— Мне на месте мужа, — сказал дон Клеофас, — певцы показались бы мартовскими котами.

— Сейчас они покажутся тебе борзыми псами, — сказал Хромой. — Приближается другой обожатель супруги портного, и с ним банда человек в шесть-семь. Вот они обнажили шпаги, и наши Орфеи, отбив первую атаку гитарами, пускаются наутек, сочиняют фугу в четыре улицы. Но взгляни-ка сюда, на этого идальго; он шатался всю ночь по городу и теперь разоблачается. Это подлинный «чудо-рыцарь», и чудеса творятся не только в его вечно пустом желудке. Вот скинул наш идальго парик — оказывается, он лысый; снял поддельный нос — он безносый; отклеил усы — безусый; отстегнул деревянную ногу — калека; не в постель бы ему ложиться, а в могилу! В доме рядом спит лжец и видит страшный сон — ему снится, будто он говорит правду. А там виконт и во сне пыжится от чванства — он выклянчил у гранда еще один титул. Вот кончается картежник, и глаза ему закрывает лжесвидетель, да при этом сует игроку в руку не святую индульгенцию, а колоду карт, чтобы тот умер, как жил; умирающий же, испуская последний вздох, шепчет не «Иисус», а «туз». Этажом выше аптекарь смешивает безоаровый камень с александрийским листом. Рядом волокут из дому лекаря к епископу, которого хватил кондрашка. Там ведут повитуху к некоей полупочтенной роженице — схватки, к счастью, начались ночью. А вот и донья Томаса, твоя ненаглядная, внимая словам любви, в одной нижней юбке отворяет дверь другому.

— Пусти меня, — воскликнул дон Клеофас, — я спрыгну и растопчу ее!

— Знаешь, в таких случаях говорят: «Цыц! Цыц!» — ответил Хромой. — Прыжок-то нешуточный. И чего тебе тревожиться. У нее и без этого влюбленного нетопыря есть еще полсотни, между которыми она распределила дневные и ночные часы.

— Клянусь жизнью, — сказал дон Клеофас, — я считал ее святой!

— Вот и не надо быть легковерным, — возразил Бес. — Посмотри лучше на моего астролога. Беднягe не дают спать блохи и заботы; верно, он слышал шаги на чердаке и дро-

жит за свою колбу. Мог бы утешиться тем, что у соседа, который храпит, как боров, двое солдат тащат из постели жену, точно зуб изо рта, а он и не чует.

— Невелика потеря! — сказал дон Клеофас. — Уверен, что этот восьмой эфесский праведник скажет то же самое, когда проснется.

— Взгляни туда, — продолжал Хромой. — Цирюльник поднялся с постели и поставил жене банки, да спросонок обжег ей ляжку. Она кричит, а он ее утешает — прижигание де всегда полезно и пригодится на будущее. А теперь посмотри на тех портных, они заканчивают свадебный наряд для невесты по заказу одного простофили, который женится вслепую, через посредника, на злющей, безобразной и глупой девке, вдобавок, бесприданнице, — его уверили в противном, показав портрет. Обстряпал это дельце сват — он как раз поднимается с постели, одновременно с сутягой, что живет в соседней комнате: один спешит переженить, другой — перессорить весь род человеческий. И только ты, благодаря тому, что забрался так высоко, можешь не опасаться этих дьяволов, а они в некотором смысле дьяволы почище меня. Теперь обернись и полюбуйся на полоумного охотника, вставшего с петухами, — в такую рань он седлает своего одра и засовывает за луку дробовик. До девяти часов утра он уже не сомкнет глаз, ему непременно надо подстрелить кролика, который обойдется куда дороже, чем если бы его продал сам Иуда. Вон там, у дверей богатого скряги, подбросили младенца, который по отцовской линии мог бы оспаривать звание Антихриста. А скряга берет малыша и, как чиновник жалобу, перекладывает его подальше, на порог соседнего дома, где хозяин скорее способен съесть, нежели выкормить младенца, ибо сам обедает раз в неделю, по воскресеньям. Но уже светает, и нам пора заканчивать обзор. На улицах появились первые приметы наступающего дня: лотки с водкой и закусками. Вот и солнце принялось щекотать звезды, которые затеяли игру в «выйди вон». Золотя земной шар, как пилюлю, оно зовет в бой мошны и кошельки, бьет тревогу для горшков, сково-

родок и чашек, а я вовсе не желаю, чтобы, воспользовавшись моим искусством, солнце увидело тайны, скрытые от него ночным мраком. Пусть само потрудится, заглянет в щели, слуховые окна и печные трубы.

И, снова прикрыв крышами слоеный пирог, Хромой Бес со своим приятелем спустился на землю.

Скачок третий

В огромном котле столицы уже начинало бурлить людское варево — мужчины и женщины проносились кто вперед, кто назад, а кто поперек, будто исполняя мудреный танец под музыку уличного гула; там и сям в этом океане человеческого разума замелькали киты на колесах, называемые каретами, — короче, разгоралось дневное сражение. Каждый выходил на промысел со своими намерениями и делами, каждый норовил надуть другого, плутни и обман застили свет божий, точно клубы пыли; нигде, как ни пяль глаза, не увидишь и проблеска правды. Дон Клеофас следовал за своим товарищем, который привел его на неширокую улицу с двумя рядами зеркал по обеим сторонам. Перед зеркалами стояло множество кавалеров и дам, любуясь собой и строя гримасы: то рот скривят, то локон взобьют; лица, глаза, усы, руки — все было в движении. Дон Клеофас спросил, что это за улица, он до сих пор не видал ее в Мадриде, и Хромой ответствовал:

— Называется она улицей Поз, и знают о ней только эти карточные фигуры из столичной колоды. Они являются сюда, дабы найти позу, с которой будут ходить весь день, разбитые параличом жеманства: у одних губки бантиком, у других глазки прикрыты в очаровательной истоме, и у всех подняты наподобие рожек два пальца — указательный и мизинец, а голова склонена набок, как при молитве «Слава всевышнему». Но уйдем отсюда! Хоть желудок у меня дьявольский и даже бурные волны преисподней ему нипочем, а все же с души воротит глядеть на эту шушеру, что расплодилась на позор природе и на зависть всем шулерам.

И они покинули улицу с зеркалами и вышли на небольшую площадь; там собралась толпа старух, в прошлом особ легкого поведения, и юных девиц, которые готовились стать тем, чем были некогда первые; между ними шел оживленный торг. Студент спросил своего спутника, что это за площадь, он ее тоже никогда не видал. И Бес ответил:

— Перед тобой рынок громких имен. Увядшие старухи, которым они уже без надобности, отдают их зеленым девицам в обмен на поношенные чулки, старые туфли, мантильи, чепцы и подвязки. Гусман, Мендоса, Энрикес, Серда, Куэва, Сильва, Кастро, Хирон, Толедо, Пачеко, Кордова, Манрике де Лара, Осорио, Арагон, Гевара и другие столь же знаменитые имена передаются новеньким в ремесле, тем, кто в них имеет нужду. А старухи остаются при своих прежних фамилиях-отчествах: Эрнандес, Мартинес, Лопес, Родригес, Перес, Гонсалес и тому подобных, ибо сказано: «Тысяча лет пройдет, и все имена вернутся в свой род».

— Да, — сказал студент, — в столице что ни день, то новшества.

И, свернув налево, они очутились на другой площади напоминавшей Кузнечную: там нанимают лакеев и эскудеро, а здесь можно было нанять теток, братьев, дядюшек и супругов для самозванных дам, желавших приобрести в столице почет и поднять цену на свой товар.

Справа от этого питомника странствующих родственников высилось большое здание, наподобие храма, только без алтаря; внутри его стояла просторная каменная купель, полная рыцарских романов, а вокруг этой купели теснились мальчишки-подростки от десяти до семнадцати лет и несколько девиц такого же возраста. Рядом с каждым стоял крестный, и дон Клеофас попросил своего приятеля объяснить, что означает сие диво, похожее на сон.

— Согласен, необычайное это сооружение и впрямь удивительно. И все же, дон Клеофас, ты видишь доподлинную купель, из которой выходят доны и доньи; здесь принимают

крещение все, кто явился в столицу без этих званий. Мальчики собираются стать пажами при господах, а девицы — компаньонками при дамах средней руки; вот они и обзаводятся донами и доньями, чтобы придать блеск дому, в котором будут служить. Сейчас церемония крещения заканчивается. Видишь, в купель входит судомойка во взятом напрокат платье, рядом стоит крестная — ее хозяйка; она вытащит девушку со дна купели с доньей и возведет в ранг знатной потаскухи, а затем та честно заработанными деньгами возместит хозяйке расходы на свое воспитание. Гляди, старуху-то как отшлифовали, точно у ювелира побывала.

— Пышная прическа, вставные зубы да кринолин — вот и все, что требуется для такого чуда, — сказал дон Клеофас. — А это что за процессия разодетых крестьян входит в двери храма, посвященного мирской суете?

— То ведут крестить богача-рехидора из ближнего селения; старику уже семь десятков, а гляди, бегом бежит обзавестись доном, так как родня убедила его, что без дона ему с рехидорством не справиться. Зовут его Паскуаль, и родственники дорогой затеяли спор, подойдет ли «дон» к имени «Паскуаль» и не окажется ли их рехидор монахом-расстригой в обители донов.

— У них есть пример другого дона Паскуаля, — сказал дон Клеофас, — того самого, которого все считали помешанным, а я называл Диогеном в лохмотьях; он бродил по мадридским улицам без шляпы, накрыв голову плащом, как древний пророк.

— А все ж, по-моему, следовало бы изменить имя, — заметил Хромой, — чтобы их паскуального рехидора не дразнили «пасхальной свечой».

— Да наставит их господь, — сказал дон Клеофас, — в том, что более подобает рехидорской должности и потребно для блага рехидорствующих.

— Пока сеньора рехидора кропят доновой водой, — продолжал Бес, — очереди ждет итальянец, дабы проделать то же со своим слоном, которого он собирается показывать у Пуэрто-дель-Соль.

— Ясно, слонов обычно зовут «Дон Педро», «Дон Хуан» или «Дон Алонсо». Удивляет меня только беспечность вожака, или, как говорят в Индии, надира; видно, его слон совсем плебейского рода, ежели так поздно получает титул дона. Клянусь богом, глядя на это крещение и на этих донов, я готов раскреститься и раздониться.

— Следуй за мной и не брюзжи, — сказал Хромой, — где дон прижился, там он и годился, а к имени «Клеофас» он пристал, как ноготь к пальцу.

С такими словами Бес вывел приятеля из этого призрачного (только с виду!) храма, и они увидели другое здание, где над входом были изображены тамбурины, гитары, волынки, колокольцы, бубны, кастаньеты, рожки, свирели — словом, все то, чем терзают слух человеку в жизни сей. Дон Клеофас спросил своего спутника, что это за здание и почему вход в него украшен музыкальными инструментами шутов.

— И этого дома я не видал в Мадриде, — добавил он, — а полагаю, что обитатели его изрядно веселятся и забавляются.

— Это дом умалишенных, — отвечал Хромой, — и построен он, вместе с другими приютами, совсем недавно, иждивением весьма состоятельного и мудрого человека, дабы тут наказывали и лечили безумцев, коих прежде таковыми не считали.

— Войдем туда, — сказал дон Клеофас, — дверь, кажется, отворена, и мы сможем полюбоваться на эту новую породу безумных.

Сказано — сделано. Оба приятеля вошли и, миновав прихожую, где несколько выздоравливающих просили подаяния для буйнопомешанных, очутились в четырехугольном дворике, по сторонам которого были в два этажа расположены клетки — в каждой содержался один из упомянутых буйных. В одной клетке у входа сидел на скамье богато одетый человек и, положив бумагу на колено, что-то писал, да так усердно, что и не почувствовал, как выколол себе пером глаз. Хромой сказал:

— Это прожектер, помешанный на том, что следует сократить количество мелкой монеты; он исписал уже столько бумаги, что на дело Альваро де Луна вряд ли больше пошло.

— Правильно, что его поместили в этот дом, — сказал дон Клеофас. — Это самые вредные для государства безумцы.

— А в соседней каморке, — продолжал Хромой, — влюбленный слепец; он держит в руках портрет дамы сердца и ее письма к нему; неспособный ни любоваться ее чертами, ни читать, он уверяет, что видит ушами. Рядом, в каморке, заваленной бумагами и книгами, сидит дотошный грамматист; он рехнулся, отыскивая герундий у греческого глагола. А вон того, в белых панталонах и с мешком за плечами, упекли сюда за то, что, будучи возницей и имея лошадей, он пошел служить пешим посыльным. В каморке над ним — видишь, держит на руке сокола, — кабальеро, который промотал на соколиную охоту богатое наследство; теперь у него остался один сокол, что сидит на его руке и с голоду клюет ее. Вон там человек, нанявшийся в услужение, хотя не нуждался в куске хлеба. А вот танцор — он так ретиво отбивал пятки, что с ума спятил. Подальше историк, лишившийся рассудка с горя, что затерялись три декады Тита Ливия. По соседству семинарист любуется грудой митр и примеряет, какая ему больше к лицу; он помешался на том, что станет епископом. Немного подальше — законник; этого свело с ума судейское облачение, и он из стряпчего сделался портным, — только и знает, что кроит да шьет мантии из тряпья. А в той каморке — на сундуке, набитом монетами и запертом на семь замков, — сидит скряга; нет у него ни сына, ни другой родни, кому оставить наследство, и, став рабом своих денег, он сам себя казнит: на обед у него пирожок за четыре гроша, на ужин салат из огурцов, богатство — его каторга. Тот, что распевает в своей каморке, — это сумасшедший певец; он тщится подражать птицам и после каждой рулады, как после приступа болезни, едва жив; его заточили в эту тюрьму для преступивших законы разума за

то, что он пел без умолку, а лишь попросят его спеть, сразу умолкал.

— Так поступают почти все его собратья.

— Посреди двора сидит на закраине колодца и глядится в воду прелестная девушка — убедишься в этом сам, когда она поднимет голову, — дочь бедных, незнатных родителей. К ней сватались богатые и именитые кавалеры, но она всех отвергала, у всех находила тысячи недостатков. Видишь, ее посадили на цепь, чтобы, влюбленная, подобно Нарциссу, в свою красоту, она не утопилась в воде, которая ей заменяет зеркало; ни солнце, ни звезды небесные, по ее мнению, недостойны ее взгляда. А в убогой каморке напротив, где стена разрисована языками, заточен женатый бес, рехнувшийся из-за сварливой супруги.

Тут дон Клеофас прервал своего спутника, который готов был показать ему весь иконостас безумцев:

— Уйдем отсюда, как бы и нас не заточили за безумие, о коем мы не подозреваем. Ведь в этом мире всяк по-своему с ума сходит.

Хромой сказал:

— Послушаюсь твоего совета. Если даже бесы подвержены безумию, никто не может за себя ручаться.

— Со времен вашего первого приступа гордыни, — сказал дон Клеофас, — все вы безумны, а преисподняя — дом для умалишенных, притом самых буйных.

— Вижу, зрелище пошло тебе на пользу, — сказал Хромой, — ты заговорил прямо как проповедник.

Так беседуя, они вышли из обиталища сумасшедших и, свернув направо, очутились на широкой улице, увешанной по обеим сторонам гробами; вдоль нее прохаживались причетники в пелеринах, а множество могильщиков раскапывали могилы. Дон Клеофас обратился к своему товарищу:

— Это что за улица? Она кажется мне более удивительной, чем все, что я до сих пор видел, — того и гляди, заговорю еще более возвышенным слогом.

— Улица эта посвящена самым суетным мирским делам, — отвечал Хромой, — вместе с тем она самая необхо-

димая из всех. Перед тобой гардеробная предков, куда является каждый, кто хочет доказать свое благородное происхождение и приобрести предков, коли собственные ему не впору или износились; за свои деньги он тут может выбрать то, что ему по вкусу. Взгляни на этого захудалого идальго, который примеряет приглянувшуюся ему бабушку, а вон и другой – бог весть чей сын – натягивает на себя чужого дедушку, но тот ему не по росту, великоват. Чуть дальше человек меняет своего прадеда на другого, с приплатой, да никак не сторгуется с причетником, хозяином гардеробной, который заломил за товар слишком дорого. Этот пришел отдать своего деда в перелицовку, просит перевернуть его задом наперед да подлатать взятой на стороне бабушкой. А тот явился со стражей, требует возвратить украденного предка, которого обнаружил здесь, в гардеробной, на вешалке. Буде тебе надобны дедушки или бабушки в доказательство знатного происхождения, мы, дон Клеофас Леандро, пришли как раз вовремя. Я вижу тут своего приятеля – гардеробщика, он обычно раздевает покойников в первую же ночь после похорон и поверит нам в долг любого предка на какой хочешь срок.

– Деньги, а не предки мне нужны, – ответил дон Клеофас Леандро. – Уж я как-нибудь обойдусь своими предками: родители мне сказывали, что я происхожу от храброго Леандра, который переплывал Абидосское море, «любовным пламенем пылая», и что моя дворянская родословная записана в произведениях Боскана и Гарсиласо.

– Супротив дворянства, пожалованного в стихах, – сказал Бес, – бессильно время и даже королевские суды. Нет более завидной участи, нежели быть дворянином рифмы.

– Если бы я домогался орденского звания, – продолжал дон Клеофас, – это не стоило бы мне и сотни реалов, ибо ходатаями моими были бы Салисио и Неморосо: там, в стихах, мои наследственные владения, там моя Монтанья, моя Галисия, моя Бискайя и моя Астурия.

– Ну, полно чваниться, – сказал Хромой, – я и так знаю, что род твой прославлен и в стихах, и в прозе. Пойдем лучше поищем харчевню, чтобы подкрепиться и отдохнуть, – тебе это будет кстати, ты не спал всю ночь и все утро. А потом отправимся дальше.

Скачок четвертый

Оставим обоих приятелей в харчевне, где они завтракают, отдыхают и, не платя ни гроша, требуют птичьего молока да жареного феникса, и посмотрим, что делает наш удачливый чернокнижник, но незадачливый астролог. Встревоженный ночным шумом на чердаке, он поспешно оделся и, поднявшись наверх, обнаружил разорение, содеянное домашним бесом: колба разбита вдребезги, бумаги залиты, а сам Хромой исчез. Такое опустошение, а пуще всего бегство духа повергли астролога в величайшее горе: начал он рвать на себе волосы, бороду и раздирать одежды, точно библейский царь. И в то время как он сокрушался и причитал, пред ним предстал бесенок Левша, служивший на побегушках у Сатаны, и сказал, что Сатана, его повелитель, целует астрологу руки и велит передать, что-де его, Сатану, уведомили о бесстыдной проделке Хромого и он уж проучит негодника, а пока посылает другого беса взамен. Астролог чувствительно поблагодарил за заботу и упрятал бесенка в перстень с крупным топазом, который носил на пальце; прежде перстень принадлежал лекарю и помогал ему отправлять к праотцам всех, кому он щупал пульс. Между тем в аду, в переполненной зале, собрались верховные судьи тех краев и, оповестив всех о преступлении Хромого, распорядились составить бумагу, предписывающую схватить упомянутого Беса, где бы его ни нашли. Поручение сие возложили на беса Стопламенного, судебного исполнителя, отлично справлявшегося с подобными делами; тот прихватил в качестве крючков Искру и Сетку, бесов-скороходов, вскочил на воздушного коня и, подняв жезл, покинул адские пределы, дабы отправиться на поиски злодея.

В это самое время у озорного Беса и дона Клеофаса происходило неприятное объяснение с харчевником касательно платы за завтрак: в ход пущены были и вертела и сковороды, ибо черт никогда не отдаст того, что принадлежит черту. Когда же на шум явилась стража, оба посетителя выскочили в окно, и, пока столичный альгвасил с подручными разбирался, что да как, наши друзья уже миновали Хетафе по пути в Толедо; через минуту они оказались у окраин Торрехона и в мгновение ока перенеслись к Висагрским воротам, оставив по правую руку величественное здание приюта, стоящее вне стен Толедо. Тут студент обратился к своему спутнику:

– Славные прямики ты знаешь! Клянусь честью, я предпочел бы путешествовать с тобой, чем с самим инфантом Педро Португальским, который объехал все семь частей света.

И, еще не закончив этот разговор, они опустились в квартале Крови Христовой, перед постоялым двором Севильянца, наилучшим в Толедо. Хромой Бес сказал студенту:

– Вот где можно отлично провести эту ночь и отдохнуть после минувшей. Войди-ка и спроси для себя комнату и ужин, а мне нынче вечером надобно побывать в Константинополе – поднять бунт в серале Великого Турка да отправить на плаху дюжину его братьев, заподозренных в заговоре против трона. На обратном пути я намерен посетить швейцарские кантоны и Женеву, натворить там еще кое-каких дел, чтобы этими услугами умаслить своего хозяина, – он, полагаю, крепко гневается на меня за мое озорство. И прежде чем пробьет семь утра, я буду с тобой.

Сказано – сделано. Бес понесся по воздуху, точно по чистому полю, воспарив ввысь на зависть всем обитателям эфира, пернатым и непернатым, кроме разве высокопарных поэтов-культистов. А дон Клеофас вошел в гостиницу, где в это время собралось много путешественников, прибывших из-за моря на галионах и направлявшихся в столицу. Новый гость был встречен весьма учтиво, ибо наружность дона Клеофаса была наилучшим рекомендательным письмом, как говаривали в старину придворные.

Какие-то кабальеро, с виду военные, пригласили его отужинать с ними и стали расспрашивать о мадридских новостях. Были торжественно провозглашены тосты за здоровье короля (да хранит его бог!), за дам и за друзей, и, после того как на стол подали оливки и зубочистки вместе со счетом за ужин, все кабальеро разошлись на покой, намереваясь завтра встать пораньше, чтобы вовремя поспеть в Мадрид. По их примеру дон Клеофас отправился в отведенную ему комнату, весьма сожалея об отсутствии своего товарища, который так славно его развлекал. Недолго потолковав с подушкой, он мирно заснул, как птенчик в гнезде. Гостиница Севильянца усердно выплачивала дань сном ночному безмолвию, подобно всему остальному миру, где лишь журавли, нетопыри да совы стояли на страже у своих караульных будок, – как вдруг в два часа ночи послышались отчаянные возгласы: «Пожар! Горим!» Вопли разбудили постояльцев, и те вскочили с постелей удивленные и встревоженные – со сна пугаешься любого шума, особливо крика «Пожар!»; он вселяет ужас даже в самые мужественные сердца. Одни стремглав понеслись по лестницам, чтобы поскорей очутиться внизу, другие выскакивали через окна во двор, третьи, из-за обилия блох, а может, и клопов, спавшие нагишом, выкатывались из постелей, как голыши из ручья, и спешили за остальными, похожие на грошовых глиняных Адамов, держа руку там, где положено быть фиговому листку. Вместе со всеми бежал дон Клеофас, обмотав руку до локтя штанами и размахивая палкой, которую схватил впопыхах вместо шпаги, – словно от пожаров и привидений могут помочь дубинки и шпаги, натуральные орудия защиты при всяких переполохах.

Но тут появился с подсвечником в руке хозяин, в одной рубашке и шлепанцах, опоясанный для согревания желудка широким красным шарфом, и попросил всех успокоиться. Сказав, что ничего особенного не случилось, он предложил разойтись по комнатам и предоставить ему самому все

уладить. Дон Клеофас, как более любознательный из постояльцев, пристал к нему с расспросами, заявив, что не ляжет, пока не узнает причину шума. Хозяин с досадой ответил, что вот уже два или три месяца в гостинице проживает студент из Мадрида, что студент этот – поэт и сочиняет комедии, что он уже написал две комедии, которые в Толедо освистали, осыпав актеров градом камней, что сейчас этот студент заканчивает комедию «Сожженная Троя» и, без сомнения, дошел до сцены пожара, а поелику все, о чем он пишет, он принимает близко к сердцу, то, видимо, именно он начал кричать о пожаре. Хозяин добавил, что, судя по прошлому, совершенно уверен в истинности своих слов, а ежели постояльцам угодно убедиться самим, пусть соизволят подняться с ним в комнату поэта.

Все последовали за хозяином в том виде, в каком были, и, войдя к поэту, увидели, что он лежит на полу в разодранном кафтане, барахтаясь в груде бумаг, извергая пену изо рта и повторяя голосом умирающего: «Пожар! Пожар!» Он уже едва мог говорить, ибо полагал, что задыхается в дыму. Постояльцы окружили его, кто давясь от смеха, а кто жалея беднягу.

– Сеньор лиценциат, – увещевали они, – опомнитесь! Не хотите ли чего выпить или съесть для подкрепления сил?

Тогда поэт, с трудом подняв голову, молвил:

– Если со мной говорят Эней и Анхиз, спасая пенаты и любезного Аскания, то чего вы медлите? Илион уже обратился в пепел, Приам и Парис, Поликсена, Гекуба и Андромаха уплатили смерти роковую дань, а Елену, виновницу всех бедствий, влачат как пленницу Менелай и Агамемнон. Но горше всего то, что мирмидоняне захватили троянскую казну!

– Придите в себя, – сказал хозяин, – нету здесь никаких помидорян, ни прочего вздора, который вы мелете. Вас бы надо отправить в Дом Нунция, там вас наверняка назначат старейшиной умалишенных да кстати и полечат, – видать, рифмы ударили вам в голову, как тифозная горячка.

– О, сеньор хозяин весьма тонко разбирается в высоких аффектах! – возразил поэт, привставая.

– Начхать мне на ваши аффекты-конфекты! – сказал хозяин. – Я беспокоюсь о своих делах. Извольте завтра же рассчитаться за жилье и тогда ступайте с богом. Не желаю держать у себя человека, который что ни день полошит всех своими бреднями, – довольно я натерпелся! Помните, когда вы только поселились здесь и начали сочинять комедию о Маркизе Мантуанском – это она первой провалилась и была освистана, – вы затеяли такие шумные приготовления к охоте, так орали, сзывая псов – Чернопегого, Оливкового, Забегая, Ветронога и прочих, – так вопили: «Ату, ату его!» и «Держи медведя лохматого и вепря клыкатого!» – что одна беременная сеньора, остановившаяся здесь по пути из Андалусии в Мадрид, с перепугу родила раньше времени. А во второй комедии – «Разграбление Рима», похожей на первую как две капли воды, – столько было барабанного боя и трубных звуков, что окна в этой комнате чуть не разлетелись вдребезги – и в такой же неурочный час, как нынче. А как оглушительно вы кричали: «Рази, Испания!», «Сантьяго, и на врага!», как изображали ртом артиллерийскую пальбу – точно родились среди взрывов петард и выросли под сенью «Мальтийского василиска»! Такой кавардак учинили, что подняли на ноги целую роту пехотинцев, – они в ту ночь стояли у меня и, схватившись за оружие, в темноте едва не изрубили друг друга. На шум сбежалось полгорода, явился и альгвасил, выломал двери в моем доме и пригрозил, что и со мной расправится. Нет, вы только поглядите на этого поэта-полуночника, который, точно журавль, всегда бодрствует и в любой час дня и ночи занят поисками рифм.

Тогда поэт сказал:

– Куда больше шума было бы, ежели бы я закончил ту комедию, два действия которой ваша милость держит у себя как залог в счет моего долга. Я назвал ее «Мрак над Палестиной», и там, в третьем действии, должна разодраться завеса в храме, солнце и луна померкнут, скалы ударятся од-

на о другую, и на землю, скорбя о Спасителе, обрушится вся небесная машинерия – громы, молнии, кометы и зарева. Да вот никак не мог придумать имена для палачей, потому комедия и осталась незаконченной. Не то ваша милость, сеньор хозяин, заговорили бы по-иному.

– Чтоб вам ее на Голгофе закончить! – сказал невежа-хозяин. – Хотя, где бы вы ни вздумали ее дописывать и представлять, всюду найдутся палачи, которые распнут ее, освищут и забросают гнилыми овощами и камнями.

– Напротив, благодаря моим комедиям актеры воскреснут, – сказал поэт. – И раз уж вы так рано поднялись, я хочу прочитать вам ту, что пишу сейчас, дабы ваши милости убедились в этом сами и насладились слогом, отличающим все мои творения.

Сказано – сделано. Поэт взял в руки кипу старых счетов, исписанных с оборотной стороны, – по объему она скорее напоминала судебное дело о спорном наследстве, нежели комедию, – и, возведя очи горе, поглаживая усы, прочитал название, которое звучало так:

«Троянская трагедия, коварство Синона, греческий конь, любовники-прелюбодеи и бесноватые короли».

Затем поэт промолвил:

– Вначале хор молчит, и на сцене показывается Палладион, внутри которого сидят четыре тысячи греков, не меньше, вооруженных до зубов.

– Как же так? – возразил один военный кабальеро из числа тех, что прибежали голышом, будто собирались пуститься вплавь по этой необъятной комедии. – Ведь подобная махина не уместится ни на одной сцене, ни в одном колизее Испании, ни в Буэн-Ретиро, затмившем римские амфитеатры, и даже на арене для боя быков ее не поставишь.

– Невелика беда, – ответил поэт. – Чтобы поместить это изумительное сооружение, никогда еще не виданное в наших театрах, придется всего лишь снести ограду театра и две соседние улицы. Но ведь не каждый день создаются подобные комедии, и сбор будет такой, что с лихвой окупит

эти убытки. Слушайте внимательно, заклинаю вас, действие уже начинается. На подмостки под громкие звуки флейт и грохот барабанов выезжают троянский король Приам и принц Парис, между ними на иноходце красуется Елена, причем король едет по правую руку от нее (я всегда соблюдаю должное почтение к коронованным персонам!), а за ними в чинном порядке едут на вороных иноходцах одиннадцать тысяч дуэний.

– Этот выход, пожалуй, еще труднее осуществить, чем первый, – сказал один из слушателей. – Разве мыслимо найти сразу такую ораву дуэний?

– Недостающих можно слепить из глины, – сказал поэт. – А собирать дуэний, конечно, придется со всех концов страны. Но ведь так и заведено в столице, а к тому же – какая сеньора откажется ссудить своих дуэний для столь великого дела, чтобы хоть на время, пока продлится представление – а продлится оно самое малое месяцев семь-восемь, – избавиться от этих докучливых пиявок?

Присутствующие так и покатились со смеху, услышав бредни злосчастного поэта, и целых полчаса не могли отдышаться. А поэт продолжал:

– Нечего вам смеяться! Ежели господь подкрепит меня небесными рифмами, я весь мир наводню своими комедиями, и Лопе де Вега, это испанское чудо природы, этот новый Тостадо в поэзии, будет супротив меня что грудной младенец. Потом я удалюсь от света, дабы сочинить героическую поэму для потомства, и мои дети или другие наследники смогут до конца дней кормиться этими стихами. А сейчас прошу ваши милости слушать дальше...

И, угрожая начать чтение комедии, он поднял правую руку, но все в один голос попросили отложить это до более удобного времени, а рассерженный хозяин, не слишком большой знаток поэтических тонкостей, еще раз напомнил поэту, чтобы он завтра же съехал.

Тогда кабальеро и солдаты, в рубашках и без оных, вступились за поэта и стали уговаривать хозяина, а дон Клеофас, заметив на полу среди прочих писаний потрепанное

бурями «Поэтическое искусство» Ренхифо, заставил поэта принести, положа руку на стихи, торжественную клятву, что он больше не будет сочинять трескучих пьес, а только комедии плаща и шпаги, и хозяин сменил гнев на милость. Все разошлись по своим комнатам, а поэт, не выпуская комедии из рук, повалился на постель как был, одетый и обутый, и заснул так крепко, что мог бы, чего доброго, перехрапеть Семерых Праведников и проснуться в другом веке, когда наша монета уже не будет в ходу.

Скачок пятый

Прошло всего несколько часов, а временным обитателям гостиницы уже надо было снова подниматься и расплачиваться с ее постоянным обитателем, сиречь с хозяином. Потягиваясь и зевая с недосыпу, все стали собираться в путь; слуги седлали мулов, под звуки сегидилий и хакар надевали на них уздечки, угощали друг друга вином и шуточками, сдабривая их понюшками табаку. Лишь тогда дон Клеофас проснулся и стал одеваться, не без грусти вспоминая о своей даме, – порой холодность женщин только распаляет страсть. И не пробило еще семи часов, как в комнату, верный своему слову, вошел его приятель в турецком платье, в шароварах и тюрбане – несомненный признак того, что он прибыл из Турции, – и спросил:

– А что, долго продолжалось мое путешествие, сеньор лиценциат?

Тот с улыбкой отвечал:

– Путешествие вашей милости с неба в преисподнюю продолжалось и того меньше, хоть лиг там побольше. А здорово вы тогда грохнулись со всеми этими князьями тьмы – так и не удалось вам вскарабкаться обратно на верхотуру!

– Эх, дон Клеофас, вот удружил! То-то говорят – друг дружке посадит блошку за ушко, – ответил Хромой. – Добро, добро!

– Знаешь, приятель, – сказал студент, – коль подвернется случай сострить, удержаться трудно. Я пошутил, ведь мы с тобой уже друзья. Но довольно об этом. Скажи-ка лучше, каково тебе гулялось по свету.

– Я обделал все свои дела и даже сверх того, – ответил новоиспеченный янычар. – И если б только захотел, этот славный народ избрал бы меня Великим Турком, а они, честью клянусь, верны своему слову, умеют говорить правду и хранить дружбу, не то что вы, христиане.

– Быстро же ты дал себя совратить! – сказал дон Клеофас. – Наверно, у тебя в крови хоть на четверть да есть примесь мужицкой крови.

– Быть этого не может, – отвечал Хромой. – Мы все происходим из самого благородного рода самой высокой Горы на земле и на небесах, и каждый из нас, будь он холодным сапожником, все равно горец, а следовательно, идальго. Известно, многие идальго, подобно навозным жукам и мышам, зарождаются в грязи.

– Знаю, знаю, что философию ты изучил основательней, чем мы в Алькала, – сказал дон Клеофас, – и имеешь звание магистра свободных искусств. Но не будем отклоняться в сторону, лучше расскажи мне еще о своем путешествии.

– Я нарядился в турецкое платье, – ответил Хромой, – ибо намерен опоганить одежды всех народов, подобно тому как один мой приятель, изрядный пачкун, ухитрился измарать одежду солдата, паломника и студента. Возвращался я через швейцарские кантоны, побывал в Вальтелине и в Женеве, но в тех краях делать мне было нечего: тамошние жители – сами сущие дьяволы, и недаром их земля считается у нас в аду надежнейшей нашей вотчиной, разумеется, после обеих Индий. Посетил и Венецию, чтобы посмотреть на этот сказочный город, превратившийся из-за своего местоположения в некое судно из камня и извести: колыхаясь на волнах Средиземного моря, город все время поворачивается, куда ветер дует. На площади Святого Марка я этим утром беседовал со слугами «светлейших» и, когда

речь зашла о военных новостях, шепнул им, будто в Константинополе через верных людей стало известно, что в Испании идут неслыханные приготовления к войне, настоящие чудеса творятся; покойники, заслышав бой барабанов, встают из могил, дабы идти воевать, и многие уверяют, будто среди воскресших – сам славный герцог де Осуна. Посеяв этот слух, я тотчас улизнул, чтобы заняться другими делами, и, покинув лоно Адриатики, проскочил Анконскую марку и Романью, оставив Рим по левую руку: даже мы, бесы, чтим этот город – главу воинствующей церкви. Через Флоренцию я полетел в Милан, который, укрывшись за своими стенами, поплевывает на всю Европу. Видел и красавицу Геную, этот всемирный денежный мешок, где всегда полно новостей. Затем пустился напрямик через пролив и, минуя Лион и Нарбонну, заскочил в Винарос и Альфакес. Заглянул в Валенсию, которая состязается с самой весной обилием сладостных ароматов, повидал Ламанчу, чья слава не померкнет вовеки, и, наконец, побывал в Мадриде. Там я узнал, что родственники твоей дамы сговорились тебя найти и убить за то, что ты ее обесславил. И хуже того, бес Подножка, наш соглядатай и управляющий соблазнами, проболтался, что меня разыскивает Стопламенный с приказом об аресте. Полагаю, нам надо не мешкая спасаться от этих двух напастей и убираться подальше. Махнем-ка в Андалусию, самый гостеприимный на земле край. Расходы беру на себя, не беспокойся. Как поется в романсе:

Зиму проведу в Севилье,
Лето знойное в Гранаде.

Побываем во всех андалусийских городах, ни одного не пропустим.

И, обернувшись лицом к окну, выходившему на улицу, Бес молвил:

– Превращаю тебя в дверь. Дон Клеофас, за мной! Мы покидаем этот постоялый двор и отправимся завтракать в Дарасутан, что в Сьерра-Морене; до тамошнего трактира отсюда двадцать две или двадцать три лиги.

– Пустяки, – сказал дон Клеофас, – ведь ты у меня бес-иноходец, хоть и хром.

С этими словами оба вылетели в окно, как стрелы, пущенные из лука. Хозяин, стоя у дверей, увидел, что студент летит по воздуху, и давай кричать ему, чтобы заплатил за постель и ночлег. А дон Клеофас в ответ:

– Вернусь из Андалусии, рассчитаюсь за все!

Полагая, что ему пригрезился сон, хозяин вошел в дом, крестясь и приговаривая:

– Дай бог, чтобы вот так же сбежал от меня поэт, пусть даже с постелью и прочим добром за плечами!

Тем временем Хромой и дон Клеофас уже завидели трактир; спустившись на землю, они вошли и спросили у трактирщика поесть. Тот ответил, что у него остались только один кролик и одна куропатка, которые вон там, на вертеле, любезничают у огонька.

– Так переселите их на блюдо, сеньор хозяин, – сказал дон Клеофас, – да подайте соус! Накрывайте живей на стол, несите хлеб, вино, соль!

Трактирщик ответил, что все будет сделано, надо только подождать, пока закончат свой завтрак чужеземцы, – другого стола в трактире нет. Дон Клеофас сказал:

– Чтобы не терять времени, мы, с позволения этих сеньоров, можем поесть вместе с ними, и, раз они сидят в седле, мы уж как-нибудь примостимся на крупе.

Не дожидаясь приглашения, оба приятеля заняли места, хозяин подал им обещанное блюдо со всеми положенными к нему службами и угодьями, и они приступили к завтраку в обществе чужеземцев – француза, англичанина, итальянца и немца, который уминал еду, лихо отбивая такт бокалами белого вина и кларета. Вскоре голова у этого немца дала сильный крен, появились предвестники пищеизвержения и близящегося шторма; он совсем окосел – еще немного, и трактирщик насадил бы его на вертел и изготовил рагу. Итальянец осведомился у дона Клеофаса, откуда он едет, и когда студент ответил, что из Мадрида, итальянец спросил:

– Что говорят там о войне, сеньор испанец?

Дон Клеофас ответил:

– Теперь война повсюду.

– А все же с кем вы собираетесь воевать? – спросил француз.

– Со всем миром, – ответил дон Клеофас, – дабы повергнуть его к стопам короля Испании.

– Но клянусь, – возразил француз, – прежде чем король Испании...

Не успел мусью закончить, как дон Клеофас сказал:

– Король Испании...

Но Хромой, перебив его, шепнул:

– Позволь, дон Клеофас, ответить мне, ибо по образу жизни я испанец, и с кем иду, за того стою. Сейчас я восславлю короля Испании так, что эти пьянчуги заткнутся. Пусть прочтут летопись нашей страны и узнают, что король Кастилии наделен даром изгонять бесов, а это более доблестное дело, чем исцеление золотушных.

Видя, что испанец умолк, чужеземцы стали исподтишка посмеиваться, но тут Хромой, который успел переодеться в кастильское платье, оставив турецкое в заоблачной гардеробной, уселся поудобнее и начал так:

– Сеньоры, вам собирался ответить мой друг, но сие надлежит сделать мне, как старшему. Покорнейше прошу выслушать меня со вниманием. Король Испании – это борзой благородных кровей, который гордо шествует по улице, и пусть все шавки, сколько там их ни есть, выскочат полаять на него, он и ухом не поведет, пока шавок не наберется столько, что одна из них, приняв его презрение за смирение, дерзнет приложиться к его хвосту, когда он свернет за угол. Тогда он вмиг оборачивается, бьет лапой направо и налево, и все шавки, обезумев от страха, пускаются наутек – их точно ветром сдуло, – и на улице воцаряется тишина: шавки пикнуть не смеют, лишь в ярости грызут булыжник. То же происходит со всеми врагами Испании – королями, наместниками и вельможами, – все они шавки супротив его католического величества, и горе тому, кто

посмеет цапнуть его за хвост! Наглец получит такой удар лапой, что другим неповадно будет, и они в ужасе разбегутся.

Чужеземцы начали браниться, и француз сказал:

– Ah, bougre, coquin espagnol![1]

Итальянец подхватил:

– Forfante, marrano spagnuolo![2]

Англичанин туда же:

– Испанский nitesgut![3]

А немец был до того пьян, что только кивал, милостиво разрешая другим выступать вместо него на этом заседании кортесов.

Дон Клеофас терпением не отличался. Видя, как они взъярились на его приятеля и изрыгают вперемешку с винными парами потоки хулы, он, следуя поговорке «кто дает быстро, дает дважды», опрокинул скамью, на которой сидели двое чужеземцев, и набросился на них. А Хромой, поспешив на подмогу, принялся так ловко орудовать костылями, что зашвырнул француза на крышу трактира в трех лигах оттуда, итальянца – в нужник в городе Сьюдад-Реаль (смерть под стать месту, коим они грешат), а англичанина – головой в котел с кипятком во дворе одного крестьянина из деревни Адамус, собиравшегося ошпарить кабана. Немца же, который бухнулся в ноги дону Клеофасу, Хромой, посоветовав проспать хмель, забросил в Пуэрто-де-Санта-Мария, откуда тот выехал две недели назад. Трактирщик хотел было вмешаться, но вмиг очутился в Перальвильо, среди вяленых останков казненного ворья – там ему и место.

После этого оба приятеля сели за стол и не спеша приступили к уничтожению трофеев, захваченных у неприятеля. Когда они уже сделали последние ходы в сей приятной застольной игре, вошли в трактир погонщики мулов, стали кликать хозяина и требовать вина, а вслед за ними во двор въехала труппа актеров; направляясь из Кордовы в столицу, они собирались подкрепиться. Дамы в мантильях, в

1 Ах, мерзавец, испанская сволочь! (*фр.*)
2 Подлец, испанская свинья! (*ит.*)
3 Бездельник! (*искаж. голландск.*)

шляпах с перьями и в полумасках ехали в удобных седлах, к которым подвешены были туфли с серебряными пряжками. Мужчины — одни с дорожным мешком и без подушек, иные и без того и без другого — сидели на свернутых плащах, засунув сумки за спину, а валлонские воротники — в шляпы. Музыканты путешествовали кто с одним стременем, а кто и вовсе бесстремянный, и везли гитары в футлярах; слуги же ехали на крупах — одни были в чулках и башмаках со шпорами, другие в сапогах с отворотами, но без шпор, третьи подгоняли своих мулов и тех, на которых ехали дамы, просто палками. Имена у большинства были валенсийские, актрис звали либо Мариана, либо Ана Мария, и все они говорили громко и высокопарно, как на сцене. Въезжая во двор, они беседовали о том, что Лиссабон ими опустошен, Кордова повергнута в изумление и Севилья оглушена, а теперь-де они едут брать приступом Мадрид, и одною только лоа, которую везут для начала, сочиненною неким стригальщиком из Эсихи, без сомнения, посрамят всех актеров, приезжающих в столицу. Мужчины, проворно соскочив на землю, учтиво подставили руки своим супругам, помогая им спешиться, и все стали взывать к хозяину, «а ему не жаль их было».

Примадонне расстелили на земле коврик, она уселась, и остальные принцессы ее окружили, а директор труппы, пастырь этого стада, принялся хлопотать об угощении.

Хромой сказал студенту:

— Этого директора я ненавижу лютой ненавистью за то, что моих товарищей обижает.

— Как так? — *спросил дон Клеофас.*

Бес ответствовал:

— Второго такого бездарного актера в целом мире не сыскать, а туда же, берется представлять чертей на праздниках тела господня. У нас в аду его прочат в настоящие черти, чтобы представлял актеров, ежели нам вздумается разыгрывать комедии. Да вот беда — нынешние комедии не годятся даже для преисподней.

— Я тут приметил среди актеров, — сказал дон Клеофас, —

одного молодца, которому когда-то в Алькала чуть не испосовал физиономию. Он отбил у меня мою милашку, девчонка влюбилась в него по уши, глядя, как он изображает датского короля.

— Видно, она была датская принцесса, — сказал Хромой. — Хочешь, отомстим и директору, и актеру? Я это мигом устрою. Сейчас они будут распределять роли в комедии, которую везут в Мадрид, в придачу к лоа, — вот увидишь, что тут начнется.

И впрямь, пока Хромой это говорил, суфлер вытащил из мешка тетрадки с ролями из комедии Кларамонте, каковые он кончил переписывать в Адамусе, где перед тем останавливалась труппа.

— Я полагаю, — сказал суфлер директору, — что следовало бы заняться распределением ролей, а тем временем нам приготовят обед и появится, надо думать, хозяин трактира.

Директор согласился: он всегда следовал советам суфлера, почитая того за величайшего знатока комедий, — суфлер когда-то учился в Саламанке и имел прозвище «Философ». Тетрадку с ролью первой любовницы вручили Мариане, жене кассира, помогавшего, кроме того, менять декорации. А когда роль второй любовницы дали Ане Марии, жене баса и плясуна на праздниках тела господня, эта дама швырнула тетрадку наземь, заявив, что поступала в труппу с условием играть первые роли по очереди с Марианой, а ей, видите ли, всегда дают вторые, хоть она их всех может поучить играть на сцене, ибо играла с величайшими актрисами и была прозвана второй Амариллис. На что Мариана ей ответила, что она недостойна смотреть даже на то, как играет ее, Марианы, башмак, после чего Ана Мария спросила, с каких это пор Мариана так возгордилась — давно ли она брала взаймы у нее, Аны Марии, весь костюм Дидоны, вплоть до нижней юбки, когда они в Севилье ставили великую комедию Гильена де Кастро, и тем не менее провалилась, так что из-за нее освистали всю труппу.

— Это тебя освистали, — ответила та, — тебе чтоб провалиться!

Дамы схватились врукопашную, осыпая друг дружку бранью, от которой и мужей разобрало; те обнажили шпаги, и разгорелась настоящая театральная баталия. Погонщики бросились разнимать, хлеща по чем зря поводьями, снятыми с мулов, – все сбились в один клубок. А дон Клеофас и Хромой под шумок улизнули из трактира и направились в Андалусию. Комедианты же продолжали кромсать один другого ножами, как на бумажной фабрике – тряпье. Еще немного и трактир стал бы вторым Ронсевалем, но тут явился хозяин и привел стражников Эрмандады, вооруженных мушкетами, копьями и самострелами, чтобы схватить наших приятелей, а тех и след простыл. Застав в харчевне новое побоище, – все кружки, кувшины, тарелки были перебиты, – хозяин и стражники утихомирили актеров и повели их в Сьюдад-Реаль, готовясь вступить там в еще более трудный бой с альгвасилом, препровождавшим труппу в Мадрид по поручению арендаторов театра и по приказу Совета Кастилии.

Скачок шестой

Тем временем наши странники неслись вперед, пожирая целыми лигами воздушное пространство, точно хамелеоны, и вмиг оставили позади Адамус, владение славного маркиза дель Карпио Аро, благородного отпрыска древних правителей Бискайи и отца величайшего из меценатов древнего и нового времени, в ком сочетаются высочайшая доблесть с не меньшей скромностью. И, промчавшись над семью бродами и харчевнями Альколеи, они очутились в виду Кордовы, красующейся среди роскошных садов и знаменитых асфодельных лугов, где пасутся и плодятся табуны быстроногих детей Зефира, более достойных сего имени, чем те, коих в старину прославляли на берегах португальского Тахо. Здесь приятели опустились на землю и через квартал «Поле Истины» (куда не часто решается заглянуть бесовское отродье) вошли в город, прозванный римлянами Колонией и ставший родиной обоих Сенек и Лукана, а также отца испанской поэзии, великого Гонгоры. В тот день вся Кордова наслаждалась боем быков и сражением на тростниковых копьях – этим испытанием доблести, из коего тамошние кабальеро всегда выходят с честью. Оба приятеля, сняв себе жилье в «Гостинице Решеток», уже заполненной съехавшимися гостями, также решили пойти поглазеть на торжество. Стряхнув с платьев облачную пыль, они направились на Корредеру, площадь, где устраиваются эти зрелища, и, смешавшись с толпой, стали смотреть на фехтование – оно в Кордовской провинции обычно предваряет бой быков. В тех краях еще не знали ни о прямой линии, ни об острых и тупых углах, там дрались, как деды-прадеды наши дрались, – коли куда попало. Дон Клеофас, вспомнив, что пишет по этому поводу остроумнейший Кеведо в своем «Пройдохе», чуть не лопнул со смеху. Но, признаться, мы немало обязаны прославленному дону Луису Пачеко де Нарваэс за то, что он вывел фехтовальное искусство из мрака невежества на свет божий и выделил из хаоса бесчисленных мнений математические начала сего искусства.

Во время боя некий юноша из Монтильи, рубака, сражавшийся с жителем Педрочес, тоже отличным бойцом, выронил свою черную шпагу. Многие бросились поднять ее, но дон Клеофас опередил всех. Решительность незнакомца, в котором по виду угадали уроженца Кастилии, вызвала всеобщее восхищение. Студент же, передав, как положено, свою шпагу и плащ товарищу, изящно вступил на арену. Распорядитель махнул двуручным мечом, оттесняя зевак, чтобы расширить круг, и громогласно объявил о новой схватке на шпагах-негритянках. Андалусиец и кастильский студент отважно устремились друг к другу, сделали по выпаду, но не задели и ниточки на платье. Зато при втором схождении дон Клеофас, просвещенный Каррансой, применил четвертый круговой и «башмачком» нанес андалусийцу удар в грудь, а тот, натянув нарукавник, полоснул дона Клеофаса по голове и задел рукоятку его шпаги. Тогда дон Клеофас, сочетая защиту с нападением, сделал боко-

вой выпад и так ахнул противника, что у того внутри загудело, как в склепе герцогов де Кастилья. Стоявшие в кругу друзья-приятели андалусийца всполошились и начали, поверх меча распорядителя, покалывать шпагами дона Клеофаса, но он одним «башмачком», будто святой водой, отвел все удары, затем схватил свою шпагу и плащ — а Хромой свои костыли, — и вдвоем они учинили такое побоище среди столпившихся зевак, что для восстановления порядка пришлось выпустить быка, выращенного в Сьерра-Морене. Этот могучий распорядительский меч в два-три прыжка очистил площадь лучше, чем все немецкие и испанские стражники; при этом, правда, у некоторых зрителей пострадали штаны и обнажилась некая часть их тела, сходная с лицом циклопа. А дон Клеофас и его приятель, посмеиваясь в усы, взобрались на помост, дабы полюбоваться потехой, и преспокойно обмахивались шляпами, будто они тут ни при чем. Однако альгвасилы приметили их — где тонко, там и рвется, чужаку первому достается — и, перерезав быку поджилки, подъехали на лошадях к помосту.

— Сеньор лиценциат и сеньор Хромой, — сказали они, — спуститесь вниз, вас требует сеньор коррехидор.

Дон Клеофас и его товарищ прикинулись, будто не слышат; тогда блюстители, а точнее губители правосудия попытались достать до них жезлами. Но друзья ухватили каждый по жезлу и, вырвав их из рук альгвасилов, сказали:

— Приглашаем ваши милости следовать за нами, ежели посмеете.

И взмыли ввысь наподобие потешных огней. Альгвасилы же, лишившись жезлов, так и обмерли: сказочный полет этих чудо-акробатов казался им сном, только и осталось, что взывать к воробьям: «На помощь правосудию!» А оба наши сокола, сделав несколько кругов, миновали Гвадалкасар, владение славного маркиза того же имени из доблестного рода Кордова, и опустились у Эсиханского Столпа. Хромой сказал дону Клеофасу:

— Гляди, какое чудное гранитное дерево — только вместо плодов на нем обычно висят люди.

— И весьма высокое! А что это? — спросил дон Клеофас.

— Знаменитый во всем мире столп, — ответствовал Хромой.

— Стало быть, мы в городе Эсихе? — снова спросил дон Клеофас.

— Да, это Эсиха, самый богатый город Андалусии, — сказал Бес. — Видишь, в его гербе у входа на тот красивый мост изображено солнце в лучах, похожее на глаз в ресницах, и из глаза этого текут слезы в многоводную реку Хениль, которая рождается в горах Сьерра-Невады, а затем, сочетавшись хрустальным марьяжем с Дурро, струится дальше — обуть серебром великолепные здания и луга, пестрящие дарами апреля и мая. Здесь родился превосходный кастильский поэт Гарси Санчес де Бадахос, и лишь здесь, в окрестностях Эсихи, дает урожай хлопок, не созревающий в других местах Испании, а также дюжины две диких, но полезных растений, собираемых бедняками на продажу. Весьма плодородны и земли, прилегающие к Эсихе. Налево отсюда Монтилья, обиталище храбрых маркизов де Прието, Кордова-и-Агилар; из этого дома произошел во славу Испании тот, кто удостоился имени «Великого Капитана». Ныне вотчина сиятельного маркиза Монтильи приумножена владениями дома Ферия, ибо участь последнего отпрыска этой семьи, повергавшего в изумление Италию, была омрачена завистливой Фортуной — он умер без наследников. Доблестный его преемник, хоть и немой, деяниями своими, свершаемыми в красноречивом молчании, покоряет стоустую молву. Ниже расположена Лусена, подвластная «Предводителю Рыцарей» герцогу де Кардона — в океане его гербов потонул славный род Лерма. Дальше город Кабра, знаменитый своей пропастью, — с ее глубиной сравнится лишь древность рода владык этого города, — провозглашает всеми зубцами своих стен, что принадлежит великому герцогу де Сеса-и-Сома и что ныне в нем обитает блистательный и просвещенный наследник герцога. Еще дальше, там, где кончаются эти великолепные здания,

Осуна похваляется тем, что дала миру многих Хиронов, орденских магистров, и славит своих горделивых герцогов. А в двадцати двух лигах отсюда расположилась красавица Гранада, истинный рай Магометов — недаром ее так отчаянно защищали отважные пиренейские африканцы. Ныне алькайдом ее Альгамбры и Алькасабы поставлен благородный маркиз де Мондехар, отец великодушного графа де Тендилья, храброго защитника веры и зерцала рыцарей. Надо упомянуть и древний город Гвадис, славящийся своими дынями, а еще более — божественным даром его сына и архидьякона, доктора Миры де Амескуа.

Пока Хромой все это рассказывал, они подошли к Главной площади Эсихи, самой красивой в Андалусии. Подле фонтана, где на пьедестале из яшмы четыре гигантские алебастровые нимфы мечут в воздух хрустальные копья, стояло на скамье несколько слепых; перед толпой слушателей в грубошерстных плащах они распевали весьма правдивую историю о том, как некая дуэнья забеременела от черта и с соизволения господня народила целый выводок поросят. В заключение слепцы пропели романс о доне Альваро де Луна и заговорный стишок против бесов:

Сатана — зобатый,
Люцифер — горбатый,
А Хромого Беса
Мучит геморрой.
Только зоб, чесотку,
Геморрой, сухотку
Выгонит бабенка
Длинной кочергой.

Хромой обратился к дону Клеофасу:

— Что ты на это скажешь? Слышишь, как нас честят эти слепцы, какие пашквили сочиняют? Никто на свете не смеет нас задевать, а вот с этим незрячим народцем сладу нет — они куда храбрее самых дерзких поэтов. Но на сей раз я им отплачу, устрою так, что они сами себя накажут, да кстати насолю и дуэньям — этих баб ненавидит весь мир, даже мы,

черти, хоть весьма обязаны им за помощь в наших плутнях и величаем их не иначе как «дьяволицами».

И Хромой тут же стравил слепых: заспорили они из-за того, как поется одна песенка. Ругались, толкались, пока не попадали со скамьи — одни на землю, другие в фонтан; но они быстро отряхнулись, снова сцепились и ну колотить друг дружку посохами, попутно угощая слушателей, а те давали им сдачи затрещинами и пинками.

Так как наши странники явились в Эсиху с жезлами кордовских альгвасилов, местные служители правосудия решили, что они прибыли из столицы с важным поручением. Поспешив изъявить гостям свое почтение, эсиханцы покорнейше просили их распоряжаться в городе, как у себя дома. Приятелям только того и надо было: они милостиво приняли любезное предложение и богатые дары, а на вопрос, по какому делу пожаловали, Хромой сказал, что везет указ против лекарей и аптекарей, да, кроме того, намерен учинить смотр дуэньям-богомолкам. Отныне, дескать, лекарю, прикончившему больного, спина мула уже не послужит святым убежищем; а буде лекарь тот уйдет от ответа, то по крайности аптекаря, перепутавшего слабительное, надлежит подвергнуть каре, хотя бы и взобрался он на круп лекаревого мула. Что ж до богомолок, то им впредь запрещается нюхать табак, пить шоколад и есть рубленые котлеты.

Старший альгвасил, человек смышленый — он, говорят, даже хакары и интермедии сочинял, — учуяв подвох, приказал схватить мнимых альгвасилов и тащить в кутузку, чтобы там выколотить из них пыль да спустить семь шкур за колдовство, обман и самозванство. Но Хромой взметнул тучу серного дыма, схватил дона Клеофаса за руку, и оба они исчезли, предоставив эсиханским блюстителям порядка беситься от злости, кашлять, чихать и стукаться в темноте лбами. А наши соколы из самой сумрачной Норвегии, описывая круги в воздухе, оставили по правую руку Пальму, где водяной сочетает браком Хениль и Гвадалквивир; там искони повелевают роды Боканегра и Портокарреро, а еще недавно правил знатный вельможа и доблестный витязь дон

Луис Портокарреро, невысокий ростом, но высокий духом. Затем они миновали Монклову, восхитительную рощу, насаженную римским полководцем Кловием, а ныне владение другого Портокарреро-и-Энрикес, воина не менее отважного, нежели его предок. Пролетели они и над живописным селением Фуэнтес, где ранее правил блестящий и непобедимый маркиз Хуан Кларос де Гусман, прозванный «Добрым» и после долгой, верной службы королю скончавшийся во Фландрии, к прискорбию всех, кто его знал и им восхищался; он был из знаменитого рода Медина Сидония, в коем все Гусманы носят прозвище «Добрый», заслуженное их происхождением и великодушием. Даже краем одежды не задели наши путники Марчену, обитель герцогов де Аркос, прежних маркизов Кадиса, где ныне достойно правит светлейший герцог дон Родриго Понсе де Леон, делами и подвигами затмивший всех своих предков. Лишь издали взглянули они на Вильянуэву-дель-Рио, владение маркизов де Вильянуэва Энрикес-и-Ривера, принадлежащее теперь дону Антонио Альварес де Толедо-и-Беамонте, герцогу де Уэска, славному наследнику великого герцога де Альба, коннетабля Наварры. И наконец оба друга достигли в птичьем своем полете подножья холма, на котором расположена Кармона, и опустились в ее обширной плодородной долине, где их застала ночь. Дон Клеофас сказал товарищу:

– Довольно мы уже налетались, дружище, отдохнем немного на месте, как лесные совы. Ночь тихая, теплая – так и манит провести ее на приволье.

– Согласен, – сказал Бес. – Раскинем шатры на этом лужке у ручья, в чью зеркальную гладь смотрят звезды, прихорашиваясь к утреннему посещению солнца, их султана.

Дон Клеофас, положив плащ под голову, а шпагу на живот, лег на спину, примостился поудобней и стал разглядывать небесный свод, дивное сооружение, воочию убеждающее самого слепого из язычников, что чудо сие сотворено рукою всевышнего мастера.

– Вот ты проживал в тех селениях, – обратился дон Клеофас к приятелю, – так, может, скажешь мне, правду ли

говорят астрологи, будто звезды столь огромны? И еще скажи, на каком небе они помещаются и сколько всего небес, а то ученые морочат нас, невежд, всякими воображаемыми линиями да колюрами. И верно ли, что планеты движутся по эпициклам, что каждая небесная сфера – от перводвигателя до колеблющейся и неподвижной – имеет особое вращение? И еще скажи, откуда взялись те знаки, коими подписываются зодиакальные писцы? Тогда я открою людям глаза и не позволю выдавать бредни за истины.

Хромой ответствовал:

– Падение наше, дон Клеофас, было столь стремительным, что нам ничего не удалось разглядеть. Но, поверь, если бы Люцифер не увлек за собою третью часть всех звезд, как о том твердят в действах на празднике тела господня, у астрологов было бы куда больше поводов дурачить вас. Впрочем, я не хочу сказать ничего дурного о подзорных трубах Галилея и мудрого дона Хуана де Эспина, чей удивительный дом и необычайное кресло прославили его редкостный талант; я говорю об обычных подзорных трубах и не намерен бросить тень подозрения на оптические приборы тех двух зорких сеньоров, которые узрели на левом боку солнца родимое пятно, разглядели на луне горы и долины и заметили, что Венера рогата. Одно могу сказать: за то недолгое время, что я пробыл там, наверху, мне не довелось слышать ни одного из этих названий, придуманных для звезд плутами-астрологами: Стожары, Воз, Колос Девы, Большая Медведица, Малая Медведица, Плеяды, Гелиады... И нет там никакого Млечного Пути, или, как называет его народ, «Путь в Сантьяго, коим идет и здоровый и хромой», не то я бы ходил по нему – ведь я хромой и вдобавок сын жителя той провинции.

Слушая эти рассуждения, дон Клеофас мало-помалу отдался на милость сну, предоставив приятелю Бесу стоять на страже, подобно журавлю, как вдруг его разбудили громкие звуки рожков и топот копыт. Дон Клеофас испугался, ему показалось, что Бес, столь любезно его развлекавший, хочет утащить его в места, куда менее приятные. Но Хромой его успокоил:

— Не тревожься, дон Клеофас! Раз ты со мной, бояться тебе нечего.

— Но что это за шум? — спросил студент.

— Сейчас объясню, — ответил Хромой, — только очнись хорошенько ото сна и слушай меня внимательно.

Скачок седьмой

Студент поднялся, зевками и потягиванием возмещая не досланное, а Бес продолжал:

— Шум этот производит свита Фортуны, которая переправляется в Великую Азию, дабы присутствовать при генеральном сражении между Великим Моголом и Шахом и даровать победу тому, кто ее меньше заслужил. Смотри и слушай: вот проходит караван с казной Фортуны, но вместо вьючных животных тут купцы и менялы; покрикивая «с дороги!», они тащат сундуки, полные золотых и серебряных монет и покрытые коврами с гербом владычицы — четыре ветра и башенный флюгер, который поворачивается, куда ветер дует. Сундуки обвязаны веревками, заперты золотыми и серебряными замками, и, хотя они очень тяжелы, носильщикам кажется, что нести их — одно удовольствие. Несметная рать всадников, скачущих в беспорядке, — это служители желудка: повара, поварята, виночерпии, экономы, пекари, закупщики и прочая сволочь, причастная к жратве. Дальше шагают в белых колпаках набекрень лакеи Фортуны — величайшие поэты мира: Гомер, Пиндар, Анакреон, Вергилий, Овидий, Гораций, Силий Италик, Лукан, Клавдиан, Стаций Папиний, Ювенал, Марциал, Катулл, Проперций, Петрарка, Саннадзаро, Тассо, Бембо, Данте, Гварини, Ариосто, кавалер Марино, Хуан де Мена, Кастильехо, Грегорио Эрнандес, Гарси Санчес, Камоэнс и другие, кои в разных странах были королями поэзии.

— Немногого же они достигли, — заметил студент, — если ходят лишь в лакеях Фортуны.

— При ее дворе, — сказал Хромой, — никому не воздается по заслугам.

— А это что за нарядная кавалькада, сверкающая алмазами, золотыми цепями и расшитой золотом одеждой? — спросил студент. — Сколько пажей шествует в их свите, освещая дорогу факелами, меж тем как господа едут верхом, только не на лошадях, а на древних философах! И до чего жалкий вид у этих мудрецов — горбатые, хромые, безрукие, лысые, носатые, кривые, левши, заики!

— Господа эти, — сказал Хромой, — суть владыки, князья и сильные мира сего; они сопровождают Фортуну, наделившую их владениями и сокровищами; они могущественны и богаты, но нет на земле людей глупее и ничтожней их.

— Нечего сказать, хорош вкус у Фортуны! — заметил дон Клеофас. — Недаром она носит женское имя — выбирает себе самое худшее!

— Первой их благодетельницей была природа, — ответил Хромой и продолжал: — Вон там, видишь, восседает на дромадере великан, посреди лба у него один глаз, и тот незрячий. Великан держит длинный шест, увешанный жезлами, митрами, лавровыми венками, орденами, кардинальскими шапками, коронами и тиарами. Это Полифем. После того как Улисс его ослепил, Фортуна препоручила ему эту вешалку с атрибутами власти, дабы он раздавал их вслепую; едет Полифем всегда рядом с триумфальной колесницей Фортуны, которую тащат пятьдесят греческих и римских императоров. В колеснице, окруженная хрустальными светильниками, в которых горят огромные свечи, стоит Фортуна; одна ее нога опирается на колесо с серебряными черпаками, колесо это непрерывно вертится, черпаки наполняются ветром и тут же опорожняются; другая нога Фортуны — в воздухе, где снуют тысячи хамелеонов, подавая докладные записки богине, а та не глядя рвет их. За колесницей едут на слонах придворные дамы Фортуны; седла под ними золотые, усыпанные гранатами, рубинами и хризолитами. Первая — Глупость, старшая статс-дама, особа преуродливая, но весьма обласканная Фортуной. За нею Ветреность; она раздает направо и налево брачные обязательства, но ни одного не выполняет. Дальше — Лесть, одетая по

французской моде; платье ее сшито из переливчатых лепестков подсолнечника, на голове вместо чепца семицветная радуга, в каждой руке сто языков. За нею ты видишь прелестную, стройную даму с заплаканным лицом, всю в черном, без золота и драгоценностей; это Красота — особа весьма благородная, но обойденная милостями своей госпожи. За Красотой следует, злобно ее преследуя, Зависть в желтых одеждах, на коих вышиты василиски и сердца.

— Эта дама, — сказал дон Клеофас, — поистине снедает сердца и прочие внутренности человеческие; она стервятник, обитающий во дворцах.

— Та, что сейчас проезжает, — продолжал Хромой, — с виду будто беременная, зовется Спесью; у нее водянка от непомерных желаний и притязаний. За нею Скупость — эта страдает завалами золота, но отказывается принимать клистир из стали, ибо сталь не благородный металл. Вон те дамы, в очках и токах с длинными вуалями, верхом на минотаврах, — это Лихва, Симония, Подделка, Сплетня, Ссора, Гордыня, Хитрость, Похвальба — дуэньи Фортуны. За этими сеньорами увиваются, освещая им путь факелами, воры, мошенники, астрологи, шпионы, лицемеры, фальшивомонетчики, сводники, сплетники, маклаки, обжоры и пьяницы. Вон тот, на Апулеевом золотом осле, — это Крез, главный мажордом Фортуны, а слева от него гарцует Астольфо, ее старший шталмейстер. На бочках с колесами, держа в руках кубки и покатываясь от хохота, развалились кравчие Фортуны, бывшие мадридские трактирщики. Орава кровожадных дикарей, которые едут на ослах, — это счетчики, казначеи, интенданты, летописцы, законники, столоначальники, писаря и делопроизводители Фортуны; перьями служат им песты, бумагой — кожа носорога. За ними несут украшенные гербами носилки, в которых Фортуна делает визиты; носильщиками здесь Пифагор, Диоген, Аристотель, Платон и другие философы для перемены; все они одеты в камзолы и панталоны из грубошерстной ткани, и на их лицах — клейма в виде буквы S с гвоздем. Далее, сопровождая траурные катафалки, следуют по трое — кто на гробу, кто верхом, кто

ведет лошадь под уздцы — придворные врачи, аптекари и цирюльники Фортуны. Процессию замыкает диковинная движущаяся башня — та самая, Вавилонская; множество великанов, карликов, плясунов и комедиантов играют там на разных инструментах, бьют в барабаны, кричат, визжат; из бесчисленных окон, освещенных плошками, вылетают огненные колеса и шутихи. На большом балконе с фасада башни стоит Надежда, великанша в зеленой мантии; у ее ног толпятся искатели должностей — воины, капитаны, правоведы, искусные мастера, учителя различных наук; оборванные, голодные, отчаявшиеся, они взывают к Надежде и в превеликом шуме один другого не слышат. На балконе с правой стороны башни стоит Преуспеяние, великанша, увенчанная золотыми колосьями и одетая в золотую парчу, на которой вышиты четыре времени года; она швыряет мешки с деньгами скудоумным богачам, хотя те ни в чем не нуждаются и, похрапывая в носилках, полагают, что видят сон. Позади башни тянется длинный обоз — огромные повозки, груженные съестными припасами, женской и мужской одеждой. Это кладовая и гардеробная Фортуны. Ты видишь, за колесницей богини бежит столько нагих и голодных, но она никому не дает ни кусочка хлеба, ни тряпки прикрыть наготу, а если бы и оделила бедняков, дары не пойдут им впрок, ибо изготовлены по мерке счастливцев.

За обозом двигался летучий отряд безумцев — пеших, конных, в каретах; у каждого было свое помешательство, ибо рассудка они лишились из-за различных превратностей Фортуны на море и на суше. Одни смеялись, другие плакали, третьи пели, четвертые молчали — и все проклинали Фортуну. Она же оставалась глуха к их проклятьям и жалобам. Эта шумная толпа вскоре скрылась в гигантских клубах пыли, поглотившей в своих недрах и людей, и животных, и башню. Наступил день, но солнце, как дон Бельтран небесных светил, чуть не затерялось в ужасной пыли. А наши приятели поднялись по склону недавно окрещенного города Кармоны, этой дозорной башни Андалусии, где небо всегда безоблачно, чего не скажешь о жизни ее обитате-

лей (зато насморком они никогда не страдают). Подкрепившись в харчевне жареными кроликами и цыплятами, студент и Хромой направились в Севилью, чья знаменитая Хиральда видна уже с постоялого двора в Верхнем Перолминго; устремляясь ввысь, сия дщерь неба задевает головой звезды.

Дон Клеофас не мог надивиться прекрасному местоположению города и пестрой толпе судов, теснящихся в водах Гвадалквивира, хрустального рубежа меж Севильей и Трианой; он издали восхищался великолепием севильских зданий, которые, словно усопшие девы и мученики, держат в руках ветви пальм, красуясь среди цедратов, апельсинных и лимонных деревьев, лавров и кипарисов. Через несколько минут приятели очутились в Торребланке, отстоящей на одну лигу от славного града; там начинается Севильская Мостовая и знаменитый акведук, что несет воды реки Гвадайры из Кармоны в Севилью, которая с жадностью больного водянкой выпивает их, не оставляя ни капли в дань морю, так что Гвадайра – единственная река в мире, освобожденная от уплаты сего налога. По обе стороны Мостовой тянутся бесчисленные усадьбы, окруженные садами, где благоухают апельсинные деревья, розы и жасмин. В ту минуту, когда путники приблизились к Кармонским воротам Севильи, Хромой заметил, что в них въезжает – верхом на коне, в сопровождении двух адских сыщиков – Стопламенный с поднятым жезлом. Обернувшись к дону Клеофасу, Бес сказал:

– Видишь всадника у Кармонских ворот? Это судебный исполнитель, посланный за мной в Севилью моими начальниками. Нам надо остерегаться.

– Чихал я на него, – сказал дон Клеофас. – Я приписан к университету в Алькала и никакому другому суду, кроме университетского, не подвластен. К тому же Севилья, слышал я, – что дремучий лес: стоит только захотеть, и все сыщики Люцифера и Вельзевула никогда не найдут нас.

Быстрым шагом они вошли в город – Хромой, пугливо озираясь, впереди, – и, отмерив одну за другой несколько улиц, оказались на небольшой площади, где высилось роскошное здание с богатым алебастровым порталом и длинными галереями тоже из алебастра. Дон Клеофас спросил, как называется этот храм, и Бес ответил, что это вовсе не храм, хотя на его стенах так много высечено в мраморе иерусалимских крестов, а дворец герцогов де Алькала, маркизов де Тарифа, графов де лос Моларес – верховных правителей Андалусии. Ныне, за отсутствием прямых наследников, богатейшие владения оного рода перешли к герцогу де Мединасели, к величию коего мудрено что-нибудь прибавить, ибо потомку Фоксов и Серда нет равных.

– Этого герцога я знаю, – заметил дон Клеофас, – видал его в Мадриде; он великодушен и разумен, как подобает столь знатному вельможе.

Так беседуя, они пришли на улицу Головы Короля Педро – теперь она называется улицей Лампады, – затем, пересекши Аббатскую и Сапожную улицы и маленькую площадь, именуемую Барабан, добрались до Речных улиц, самых глухих в Севилье; там они и остановились в гостинице.

Тем временем нашего астролога и мага хватил апоплексический удар, и чертенок Левша, преемник Хромого, утащил его в ад. Там душа астролога, очищенная от телесной скорлупы, голенькая, явилась к Люциферу просить управы на озорника за разбитие колбы. Не дремала и оскорбленная донья Томаса: она раздобыла другой указ об аресте студента и, прихватив нового своего обожателя, солдата с галионов, стала собираться в Севилью, куда, как она прослышала, сбежал дон Клеофас. Пылая местью, эта девица хотела любой ценой принудить нашего мадридского Вирено жениться на ней, завалящей Олимпии. Дон Клеофас и его приятель отсиживались в гостинице, чтобы не попасться на глаза соглядатаям Стопламенного, Искры и Сетки. Однажды вечером они поднялись на плоскую кровлю – так построены все севильские дома – подышать свежим воздухом и с высоты обозреть многолюдный город, сей желудок Испании и всего света: ведь Севилья разгоняет во все концы земли питательные соки индийского золота и серебра, ею пожираемых (этот особый, европейский, страус

глотает лишь благородные металлы). Дон Клеофас пришел в восхищение при виде несметного полчища домов, нагроможденных так тесно, что, пустись они врассыпную, во всей Андалусии не хватило бы для них места.

— Покажи мне, — сказал он своему товарищу, — какие-нибудь достопримечательности Севильи.

Хромой сказал:

— Уже по одной этой колокольне, видимой на столь далеком расстоянии, ты можешь догадаться, что прекрасное сооружение, коего часть она составляет, — кафедральный собор — самый большой из храмов, воздвигнутых в древности и в наше время. Не стану описывать подробно все его чудеса, довольно сказать, что на пасхальную свечу, которую здесь ставят, идет восемьдесят четыре арробы воску, а бронзовый светильник, зажигаемый на святой неделе, отделан столь великолепно, что, будь он из чистого золота, и то стоил бы меньше. Дарохранительница сработана в виде колокольни собора, по тому же рисунку и образцу, только из серебра. Заднюю стенку хоров украшают самые восхитительные и дорогие самоцветы, какие добывают в недрах земных, а монумент — что храм Соломонов. Но выйдем из собора — нашему брату не дозволено туда заглядывать даже мысленно, не то что толковать о нем. Лучше посмотри на то здание: оно называется Биржей и скроено из обрезков платья святого Лаврентия, воздвигнутого в Эскориале по плану Филиппа Второго. Справа от Биржи стоит Алькасар, древняя резиденция королей Кастилии и вечно цветущий приют весны; ее алькайд — светлейший граф-герцог де Санлукар ла Майор, могучий Атлант при нашем испанском Геркулесе, чьей державной власти мудрость герцога служит верным компасом. И не будь построен Буэн-Ретиро, несравненный образец зодчества, где столько изумительных зданий, садов и прудов, севильский Алькасар превосходил бы красотою все королевские дворцы мира, особливо же его тронный зал, план коего государь наш Филипп Четвертый Великий восхитил у своего божественного воображения, — в этом зале немеют восторженные уста и меркнут

все иные красоты. Ближе к нам ты видишь Торговую палату, которая нередко бывает вымощена слитками золота и серебра. Рядом дворец храброго графа де Кантильяна, любимейшего из придворных, учтивого кавалера во дворце и бесстрашного бойца на арене, баловня зрителей и утехи королей; быки из Тарифы и Харамы признаются в этом, когда идут на исповедь к его пике. Далее, подле Хересских ворот, большое здание Монетного двора, где золото и серебро навалены горами, точно простое зерно. А вон Таможня, дракон, пожирающий товары всех стран мира двумя пастями; одна разверзается в сторону города, другая — к реке, где находятся Золотая Башня и мол, высасывающий из галионов, будто мозг из кости, все, что они привозят в своих трюмах. Справа деревянный мост в Триану, его поддерживают тринадцать лодок. Пониже, у самой реки, стоит Куэвас, знаменитая обитель святого Бруно, где братья картезианцы, хоть и живут на языке суши, строго блюдут обет молчания. На том берегу Гвадалквивира раскинулся Хельвес, излюбленное место для сражений на тростниковых копьях, воспетое в старинных мавританских романсах. Ныне там проживают его достойные графы и доблестный герцог де Верагуа, живой портрет великого отца:

Дабы его все миновали беды,
он и Колумб, и Кастро, и Толедо.

— Э, да у тебя, приятель, рифма сорвалась! — сказал дон Клеофас.

— Случилось это не случайно, — ответил Хромой. — Для предмета моих восхвалений проза чересчур низка.

И он продолжал:

— Вон там Аламильо, где отлично ловятся бешенка, плотва и осетр; ниже по реке — Альгаба, владение славных маркизов де Альгаба, де Ардалес, графов де Теба — истинных Гусманов во всем. На том же берегу Кастельяр, поместье Рамиресов-и-Сааведра, а за излучиной — Вильяманрике, принадлежащее Суньигам из древнего рода Бехар, где последним маркизом был злосчастный Гусман, дважды «Доб-

рый», племянник великого патриарха Индий, королевского капеллана и главного раздатчика милостыни, благочестие коего сияет в лучах его сана и знатности. Этот Гусман был к тому же братом великого герцога де Сидония, кому служит престолом Сан-Лукар-де-Баррамеда — там, ниже по реке, двор сего Нарцисса, глядящегося в океан, генералиссимуса Андалусии и всего морского побережья Испании; вода и суша покорны его жезлу и победоносной длани, утверждающей на этом гористом мысе власть нашего короля на страх всему миру. Но уже темнеет, и мне, дабы достойно завершить эти хвалы, лучше умолкнуть, — посему отложим остальные объяснения на завтра. А сейчас мы спустимся с террасы, поужинаем и прогуляемся по городу — посмотрим чудесную Тополевую рощу, которую насадил и украсил двумя Геркулесовыми столпами граф Барахас, в прошлом королевский ассистент в Севилье, а затем славный президент Совета Кастилии.

Скачок восьмой

Тем временем донья Томаса, запасшись указом об аресте, наняла двухместные носилки и мула, на которого нагрузила свои и солдатовы пожитки, нарядилась, как его брат — близнец, в мужское платье и потащилась с этим новым обожателем из Мадрида в Севилью (таскаться и тащить ей было положено по званию). А нашего астролога все никак не могли похоронить из-за споров о завещании, им составленном незадолго до кончины и обнаруженном в его столе родичами: дабы решить кляузное дело, пришлось обратиться в суд. Хромой же и дон Клеофас проспали до двух часов дня, ибо почти всю ночь шатались по Севилье; затем они пообедали отменной здешней рыбой и вкуснейшими в мире галисийскими хлебцами, и дон Клеофас опять проспал всю сьесту, а его приятель отправился хлопотать при адском дворе о прощении за самовольный побег. Вечером они снова поднялись на террасу, и Бес продолжил рассказ о замечательных

зданиях Севильи — сей пучины всесветной, — каковые не успел накануне показать товарищу. Внезапно дон Клеофас дважды вздохнул, и Хромой спросил его:

— Что тебе пришло на ум, приятель? Какие воспоминания раскалили твое сердце столь сильно, что из уст вырвались эти два языка пламени?

— Ах, друг, — ответил студент, — я вспомнил Главную улицу Мадрида и блестящий поток гуляющих, которые в этот час устремляются по ней к Прадо.

— Нам ничего не стоит увидеть это столь же отчетливо, как если б мы находились там, — сказал Бес. — Попроси у нашей хозяйки зеркало, и я устрою тебе забаву, какой ты еще не видывал. Конечно, я мог бы в мгновение ока доставить тебя туда на моих почтовых, хоть и кормлю их не овсом, а ветром, но не хочу покидать Севилью, пока не узнаю, к чему приведут происки Стопламенного и твоей дамы, которая также направляется сюда. К тому же в этом городе я чувствую себя превосходно — потому, верно, что в нем изобилие нечистой совести, привозимой из Индий.

Тут как раз появилась на террасе Руфина Мария, хозяйка гостиницы, дама орехово-шоколадной масти, чтобы прямо не сказать — мулатка, искусный лоцман, знавший все злачные места Севильи, и быстрый сокол, умевший спугнуть кошелек из кармана чужеземца и пригнать его в коготки начинающей потаскушки, если та догадалась прибегнуть к ее помощи. На хозяйке была белая блуза из голландского полотна с прорезями на рукавах, белая же хлопчатой ткани юбка, туфли на каблуках и, по обычаю темнокожих жителей того края, носки вместо чулок. О той поре Руфина Мария с гребнем и большущим зеркалом всегда поднималась на террасу причесываться. Пользуясь случаем, Хромой учтиво попросил у нее зеркало и, объяснив для какой надобности, прибавил:

— Сеньора хозяйка может тоже остаться; у нее, я знаю, есть склонность к таким вещам.

— Ах, сеньор, — ответила Мария Руфина, — ежели вы про черную магию, так я от нее без ума. Ведь родом я из Три-

аны, умею гадать на бобах да вертеть сито лучше всех здешних ворожей и знаю штучки еще занятнее; с удовольствием покажу вашим милостям, чтобы отплатить за любезность, хоть люди благоразумные твердят мне, что ворожба — вздор.

— И они правы, — сказал Хромой. — А все же, сеньора Руфина Мария, то, что я намерен показать моему приятелю, заслуживает внимания столь незаурядной особы, как вы. Смотрите же хорошенько.

И, взяв в руку зеркало, он сказал:

— Сейчас я покажу вам обоим все, что в эти часы происходит на Главной улице Мадрида, — такую штуку, кроме меня, способен проделать разве только дьявол. Предупреждаю, в моих восхвалениях я буду держаться порядков Круглого стола, где каждый сидел во главе, а не обычая кредиторов, кои норовят один другого опередить.

— Ах, господи! — сказала Руфина. — Начинайте же поскорей, ваша милость, то-то будет забава! Я еще девчонкой побывала в столице с одной дамой, она отправилась вдогонку за кавалером ордена Калатравы, который приезжал сюда доказывать свои права. Потом родители забрали меня обратно в Севилью, но улицу ту я не могу забыть и с удовольствием снова погляжу на нее, пусть только в зеркале.

Не успела хозяйка договорить, как показались в зеркале кареты, коляски, носилки, всадники на лошадях и такое множество прелестных дам в сверкающих дорогих уборах, словно апрель и май рассыпали свои дары и слетели звезды с небес. Дон Клеофас глядел во все глаза, не появится ли донья Томаса; хоть и довелось ему испытать столько разочарований, он еще не вырвал ее из своего сердца. О, извращенная натура человеческая! Холодность нас воспламеняет, а пылкость охлаждает. Но в эту пору донья Томаса, восседавшая в своих двойничных носилках, уже миновала Ильескас.

Руфина Мария, остолбенев от восторга, смотрела на это стечение важных персон, разыгрывающих на подмостках мира разные роли.

— Сеньор, — обратилась она к Хромому, — покажите мне

короля и королеву! Я так хочу повидать их, коли уж подвернулся случай.

— Дочь моя, — отвечал Бес, — их величества не появляются на обычных гуляньях, но, ежели вы хотите увидеть их воочию, мы вскоре доберемся туда, где желание ваше исполнится.

— Дай-то бог! — сказала Руфина. — Но кто этот знатный кабальеро, что в сопровождении слуг и пажей проезжает в карете, достойной служить колесницей солнцу?

Хромой ответил:

— Это адмирал Кастилии дон Хуан Альфонсо Энрикес де Кабрера, герцог Медина де Риосеко и граф де Модика — гроза Франции в битве при Фуэнтеррабии.

— Ах, господи, — сказала Руфина Мария. — Так это он прогнал французов из нашей Испании? Да хранит его бог многие лета!

— Он, равно как и доблестный маркиз де лос Велес, — ответил Хромой, — в сем уподобились бесподобному Пелайо, освободившему родную Кастилию.

— А кто сидит вон в той карете, похожей на колесницу Весны? — спросила Руфина.

— Граф де Оропеса-и-Алькаудете, — сказал Хромой, — в ком течет кровь Толедо, Пиментелей и королей Португалии — муж величайших достоинств; а справа едет его кузен, граф де Луна, Киньонес-и-Пиментель, глава рода Бенавидесов в Леоне, первенец графа Бенавенте — сия луна и днем сияет. Дальше едет граф де Лемос-и-Андраде, маркиз де Саррия, Кастро-и-Энрикес — старший жезлоносец Сантьяго, из свиты славного герцога де Архона — муж проницательный и великодушный, истинный вельможа. В соседней карете — граф де Монтеррей-и-Фуэнтес, наместник в Италии; будучи вице-королем Неаполя, он оставил о себе благодарную память в обеих Сицилиях, где его преемником стал герцог де лас Торрес, маркиз де Личе-и-Тораль, комендант крепости Авиадос, спальник его величества, он же принц де Астильяно и герцог де Сабионета — последний титул более всего подобает его величию. Графа сопровож-

дает столь же родовитый и просвещенный маркиз де Альканьисас Альманса Энрикес-и-Борха. За ними следует мудрый коннетабль Веласко, камерарий его величества, с братом маркизом дель Фресно. А вон герцог де Ихар Сильва-и-Мендоса-и-Сармьенто, маркиз де Аленкер-и-Рибалео — любимец двора и весьма искусный наездник в простом и рыцарском седлах, чем снискал себе право сидеть за королевским столом в праздник Королей. Рядом с ним маркиз де лос Бальбасес Спинола, великий отец коего прославил навек их имя. Вот и граф де Альтамира Москосо-и-Сандоваль, знатнейший вельможа и истинный витязь во всем, старший шталмейстер ее величества королевы. Дальше едет маркиз де Побар Арагон со своим братом, доном Антонио де Арагон, членом Совета орденов и Совета инквизиции. А там пересекают улицу маркиз де Ходар и граф де Пеньяранда — оба члены Королевского Совета Кастилии, кладези мудрости и благородства.

— Кто те два юноши, что едут вместе? — спросила Руфина. — С виду они ровесники и оба при золотых ключах.

— Оба они камерарии; имя одного — маркиз де ла Инохоса, граф де Агилар и сеньор де лос Камерос Рамирес-и-Арельяно; имя другого — маркиз де Айтона, он покровитель музыки и поэзии, подобно своему отцу.

— А там что за карета, полная блестящих кабальеро? От них так и пышет юностью и благородством! — воскликнула мулатка.

— Ее хозяин — герцог дель Инфантадо, — сказал Хромой, — старший в роду Мендоса-и-Сандоваль по мужской линии, маркиз де Сантильяна-и-де-Сенете, граф де Салданья-и-Реаль де Мансанарес, сын и живой портрет знаменитого отца. С ним едут: маркиз де Альменара, самый учтивый, изящный и любимый при дворе кавалер; далее сын маркиза де Орани, адмирала Арагона, зерцало доблести; далее — маркиз де Сан Роман, истинный рыцарь, наследник могучего маркиза де Велада, грозы Орана, Голландии и Зеландии, и с ним его брат, маркиз де Салинас, равно стойкий телом и духом, — оба они, как две капли воды, похожи на своего достославного отца; рядом с ними дон Иньиго Уртадо де Мендоса, кузен герцога дель Инфантадо. Все это доблестные и благородные кабальеро, коим стоит лишь назвать себя — и стоустая молва умолкает, признав свое бессилие. Сопровождает их дон Франсиско де Мендоса, один из влиятельнейших придворных, всеобщий любимец, равно искусный наездник и боец на белых и черных шпагах.

— А эти всадники, что сейчас проезжают, кто они? — спросила Руфина.

— Если будут ехать медленно, я успею их назвать, — сказал Хромой. — Те двое впереди — это граф де Мельгар и маркиз де Пеньяфьель, чьи имена — лучшая хвала их отваге; дальше — дон Балтасар де Суньига и его брат, граф де Брандевилья, достойные сыновья маркиза де Мирабель; дальше — граф де Медельин Портокарреро по мужской линии, а за ним принц де Арамберге, первенец герцога де Арискот; дальше — маркиз де ла Гуардия, прозванный «Ангелом»; за ним следуют маркиз де ла Лиседа Сильва-и-Манрикес де Лара, потом дон Диего Гомес де Сандоваль, старший командор ордена Калатравы, маркиз де Вильясорес Аньовер-и-Уманес, а также дон Балтасар де Гусман-и-Мендоса, наследник славного рода Оргас. А вон и Ариас Гонсало, старший сын графа де Пуньонростро, который в делах подражает отцу и мечтает сравниться с непобедимым дедом. За ними скачут граф де Молина с братом, доном Антонио Месия де То́бар — доблесть каждого из них порука в доблести брата. Между ними — дон Франсиско Лусон, чье имя гремит в Мадриде и чье великодушное сердце едва ли уместится в груди великана, а позади едет его родственник, храбрый рыцарь дон Хосе де Кастрехон; оба они племянники сиятельного президента Совета Кастилии. В карете следом за ними едет герцог де Пастрана, глава рода Сильва, муж деятельный и могущественный, и с ним маркиз де Паласиос, мажордом короля, единственный потомок Мена Родригеса де Санабрия, правителя Санабрии и старшего мажордома короля Педро. Там же сидят благородный граф де Грахаль и граф де Гальве, брат герцога де Пастрана — краса истин-

ного рыцарства, в ком сохранилась бы учтивость и тогда, когда б она исчезла во всем мире. Прочие спутники герцога прославили себя в различных науках и искусствах – такова всегда его свита. Сейчас он переговаривается с седоками соседней кареты – своим дядей, принцем де Эскилаче, и своим братом, доном Карлосом, герцогом де Вильяэрмоса; первый из них – член Государственного Совета его величества, второй – монарх поэтов. С ними едет дон Фернандо, юный герцог де Вильяэрмоса, чей разум не уступает доблести, и дон Фернандо де Борха, старший командор Монтесы, камерарий его величества, прошедший двадцать два курса в науке вице-королей и равный по добродетели обоим Катонам – Утическому и Цензору. Вон там едет маркиз де Санта Крус, испанский Нептун и старший мажордом нашей государыни. А вот граф де Альба де Листа с маркизом де Табара и графом де Пуньонростро. Позади них герцог де Нахера, неаполитанский Гектор, нынешний правитель Арагона. В следующей карете – граф де Корунья Мендоса-и-Уртадо, баловень девяти муз, гордость кастильской поэзии, и рядом с ним граф де ла Пуэбла де Монтальбан Пачеко-и-Хирон. Вот маркиз де Малагон Ульоа-и-Сааведра и маркиз де Мальпика Барросо-и-Ривера, а также маркиз де Фромиста, отец маркиза де Карасена, прослывший в Италии кастильским Марсом, и граф де Оргас Гусман-и-Мендоса де Санта Доминго и Сан Ильдефонсо – все они мажордомы короля. Вон в той карете едет маркиз де Флоресда́вила Суньига-и-Куэва, дядя славного герцога де Альбукерке, который с оружием в руках сражается во Фландрии, а прежде был капитан-генералом в Оране, где поверг в изумление всю Африку, водрузив знамена своего короля в сердце Берберии, за двадцать пять лиг от границы. Вот граф де Кастрольяно, неаполитанский Адонис. А там едут отважный андалусиец граф де Гарсиес Кесада и маркиз де Вельмар, дальше маркиз де Тарасона, он же граф де Айяла Толедо-и-Фонсека, потом граф де Сантистебан-и-Косентайна и с ним граф де Сифуэнтес – все люди возвышенного ума; вон граф де ла Кальсада, а за ним герцог де Пеньяранда Сандоваль-и-

Суньига. А в той карете дон Антонио де Луна и дон Клаудио Пиментель – члены Совета орденов, Кастор и Поллукс по верности в дружбе и великодушию.

– Ах, господи! А вон тот, что сейчас проезжает в карете, – сказала Руфина, – он, сдается мне, из Севильи, и величают его Луис Понсе де Сандоваль, маркиз де Вальдеэнсинас; его лицо мне так знакомо, ну точно я в его доме выросла.

Хромой ответил:

– Это весьма знатный кабальеро, любимец и здешних и столичных жителей, что уже немалая похвала. И сидит с ним маркиз де Айямонте из горделивого рода де Кастилья-и-Суньига. Не менее знатен тот, что едет в следующей карете, – это граф де ла Пуэбла дель Маэстре, в чьих жилах течет кровь не только графов, но и орденских магистров, юноша, подающий большие надежды и достойный стать обладателем больших богатств, однако Фортуна ему не благоприятствует. Сейчас вот проезжает граф де Кастильо Аро, брат знаменитого маркиза де Карпио, президент Совета Индий, а дальше маркиз де Ладрада и его сын, граф де Баньос Серда, из славного рода Мединасели. А вот маркиз де лос Трухильос, блистательный кабальеро. Дальше едет граф де Фуэнсалида и с ним дон Хайме Маруэль, камерарий его величества, брат герцога де Македа-и-На́хера, в чьих руках ныне трезубец обоих океанов.

– Скажите, ваша милость, сеньор лиценциат, – спросила Руфина, – что за роскошные здания высятся против тех ювелирных лавок?

– Это дворец графа де Оньяте, – ответил Бес, – славнейшего из всех Ладронов де Гевара, испанского Меркурия и графа де Вильямедиана, чей отец создает императоров и ныне восседает в кресле президента Орденов.

– А вон та галерея, где толпится народ? – продолжала спрашивать Руфина Мария. – Видно, она окружает какой-то храм? И чего там собрались все эти люди в пестрых одеждах?

– Это галерея святого Филиппа, – отвечал Бес, – у монастыря святого Августина, пресловутая солдатская «брехальня» – новости рождаются там прежде самих событий.

— А кого это так пышно хоронят? Вон та процессия, что движется по Главной улице... — спросил дон Клеофас, не меньше, чем мулатка, изумленный чудесным зрелищем.

— Да нашего астролога! — ответил Хромой. — Всю жизнь он постился, чтобы эти бездельники сожрали его добро, когда умрет. Жил бирюком, а в завещании, которое оставил родичам, распорядился, чтобы его тело пронесли не иначе как по Главной улице.

— Видно для такой прогулки, — сказал дон Клеофас, — гроб — самая подходящая карета.

— Вернее, самая обычная, — сказал Хромой, — и встречается на земле чаще других карет. Теперь, полагаю я, — продолжал он, — мои хозяева будут снисходительней: залог, который они требовали, уже в их руках, а вскоре и вторая половина, сиречь тело астролога, последует за первой, дабы насладиться нашими серными банями.

— Легкого ему пару да огоньку пожарче! — добавил дон Клеофас.

Руфина меж тем не сводила глаз с Главной улицы и не слышала их разговора. Обернувшись к ней, Хромой сказал:

— Сейчас, сеньора хозяйка, мы прибудем туда, где ваше желание исполнится: перед нами Пуэрта дель Соль — ристалище, на коем состязаются лучшие фрукты и овощи Мадрида. Дивный фонтан из лазуревого камня и алебастра — это знаменитый фонтан Доброй Удачи, где полуголые галисийцы-водоносы, подобно тяжущимся кредиторам, взапуски наполняют свои кувшины. Напротив — монастырь Победы, обитель минимов ордена святого Франциска из Паулы, подражавшего смиренному и кроткому праведнику, что восседает в чертогах господних на месте нашего князя Люцифера, низринутого за гордыню. А вот и те, сеньора Руфина, кого я обещал вам показать.

Но мулатка, не слушая Хромого и его беседы с доном Клеофасом, все восторгалась:

— Какая великолепная кавалькада! Вижу всех так ясно, будто они рядом со мной!

— Первым едет король, наш государь, — сказал Хромой.

— Вот это мужчина! — сказала мулатка. — Усы-то какие, диво! Истинный король, и лицом и осанкой! А уж до чего хороша рядом с ним наша королева, как красиво одета и причесана! Да хранит их господь! А прелестное дитя с ними, кто это?

— Его высочество инфант, — сказал дон Клеофас. — Ну чем не ангел? Похоже, будто господь отливал его в той же форме, что и ангелов.

— Благослови его бог, — заметила Руфина. — Как бы мне его не сглазить. Пусть живет вечно и никогда не наследует своему отцу, которому я желаю здравствовать столько веков, сколько зубцов на крепостях в его государстве. Ах, господи, — продолжала она, — а кто же этот кабальеро? Одет он вроде бы по-турецки, и рядом с ним красавица в испанском наряде.

— И вовсе не по-турецки, — сказал Хромой. — Это платье венгерское, потому что кабальеро этот — король Венгрии: ты видишь Фердинанда Австрийского, державного императора Германии и римского короля, а с ним его супругу, императрицу Марию, светлейшую инфанту Кастилии. Даже мы, бесы и дьяволы, — шепнул Хромой дону Клеофасу, — прославляем их величие.

— А кто вон тот кабальеро в воинском наряде, красавец с роскошными кудрями? — спросила мулатка. — Он едет среди этого отряда венценосцев, такой осанистый, статный и бравый, что все вокруг только и глядят на него.

— Это светлейший инфант дон Фернандо, — ответил Хромой. — Ныне он вместо брата правит Штатами Фландрии, а кроме того, имеет сан архиепископа толедского и кардинала Испании. Он выдал французам и голландцам столько билетов в преисподнюю, что с самого того дня, как она создана предвечным, туда не являлись такие полчища, — а ведь мы видали армии Дария и Ксеркса! Полагаю скоро он начнет выдавать даровые билеты в ад также и женам лютеран, кальвинистов и протестантов, ибо они идут по стопам своих мужей столь усердно, что чистилище ежедневно перечисляет нам деньги за купленные ими билеты.

– Ох, как бы мне хотелось расцеловать его! – сказала мулатка.

– В стране, где он живет, – сказал дон Клеофас, – поцелуями не удивишь – сам Иуда посеял в тамошних краях этот обычай.

– Как жаль, что смеркается, – сказала Руфина, – и этих важных господ на Главной улице уже не видно.

– Все они поехали на Прадо, – сказал Хромой, – и на Главной улице смотреть теперь нечего. Заберите, сеньора, ваше зеркало; как-нибудь в другой раз мы вам покажем Мансанарес, которую рекой нарекли только для смеху, да и как не смеяться, когда купаются там, где нет воды, один чуть влажный песок! Как наваррская монета, она сходит за настоящую лишь в темноте, но съедено и выпито на ее берегах больше, чем у всех прочих рек.

– Зато она самая обильная из рек, – заметил дон Клеофас, – ибо мужчин, женщин и карет в ней больше, чем рыбы в обоих океанах.

– А я-то уж тревожился, – заметил Хромой, – что ты не вступишься за свою реку. Повтори эти слова тому бискайцу, который посоветовал жителям Мадрида: «Либо продайте свой мост, либо купите настоящую реку».

– Большей реки Мадриду и не надобно, – сказал дон Клеофас. – Там и без того слишком часто топят людей в ложке воды, а того рехидора, который подал в суд на лягушек со сгоревшей мельницы, и в такой реке не жаль утопить.

– Ну и любезен же ты, дон Клеофас, – сказал Хромой, – даже рехидоров своих не милуешь!

Они спустились с террасы, и Руфина, уходя, напомнила Хромому его обещание показать ей завтра еще что-нибудь. Но об этом и о дальнейших событиях мы поведаем в следующем скачке.

Скачок девятый

Как и в прошлую ночь, друзья отправились прогуляться по Севилье, и хотя ее улицы – дщери Критского лабиринта,

Хромой Бес, не в пример Тезею, сумел без Ариадниной нити пройти в квартал Герцога – обширную площадь, украшенную великолепными дворцами герцогов де Сидония. О доблести владельцев напоминает изображенный над их гербом и короной мальчик со шпагой в руке; подобно Исааку, пошедшему на заклание, он был принесен в жертву чести своего отца, дона Алонсо Переса де Гусман по прозванию «Добрый», алькальда Тарифы. Дворцы сии – постоянная резиденция ассистентов Севильи, коей ныне столь умело правит граф де Сальватьерра, камерарий инфанта Фернандо, наших дней Ликург в государственных делах. Свернув на улицу Оружейников, налево от площади, наши спутники заметили свет в первом этаже одного дома. Они заглянули через решетку на окнах и увидели большую залу, полную богато одетых людей, которые со вниманием слушали человека, восседавшего в кресле у кафедры, где находились колокольчик, письменные принадлежности и бумага. По бокам кресла стояли два помощника, а в зале, в проходах между стульями, расположились на полу несколько дам, кокетливо прикрывавших плащами один глаз. Хромой сказал дону Клеофасу:

– Перед тобой Академия лучших поэтов Севильи, они собираются здесь, дабы обменяться мнениями и сочинять стихи на разные предметы. Войди, если хочешь, и позабавься – ты ведь питаешь склонность к рифмоплетству. Как гостей, и к тому же людей приезжих, нас, разумеется, примут весьма радушно.

Дон Клеофас ответил:

– Ты прав, лучшей забавы нам не сыскать. Войдем же в добрый час!

Но Бес сперва слетал в залу и принес две пары очков, сдернув их с носа у двух спавших там невеж, которые, видно, привыкли дрыхнуть и днем и ночью, а потому и его невежеством не возмутились. Оба приятеля, чтобы не быть узнанными, вздели очки и, закрепив их, как положено, шнурками, с важным видом вошли в упомянутую Академию, патроном коей состоял гостеприимный граф

де ла Торре Ривера-и-Сааведра-и-Гусман, глава рода Ривера. Председательствовал в этот вечер Антонио Ортис Мельгарехо из ордена иоаннитов, чье имя блистает в музыке и поэзии, а дом всегда был прибежищем муз. Должность секретаря исполнял Альваро де Кувильо, житель Гранады, прибывший в Севилью по делам, превосходный актер и искусный пиит, отличавшийся истинно андалусийской пылкостью, свойственной всем, рожденным под теми небесами, а казначеем был Блас де лас Касас, чей божественный дар сияет равно и в божественных и в мирских материях. Среди прочих академиков наиболее знаменитыми были дон Кристобаль де Росас и дон Диего де Росас, украсившие своими дивными творениями поэзию драматическую, а также дон Гарсиа де Коронель-и-Сальседо — Феникс древней поэзии и первый андалусийский Пиндар.

При появлении гостей все встали и начали наперебой предлагать им лучшие места. Но вот, повинуясь колокольчику председателя, академики угомонились и тогда приступили к чтению стихов на темы, заданные на прошлом заседании. Завершила чтение донья Ана Каро, сия десятая, севильская муза, огласившая сильву о Фениксе, после чего председатель попросил гостей оказать честь Академии и прочитать какие-либо из их собственных стихов: он уверен, что стихи, вышедшие из-под пера тех, кто явился послушать творения его собратьев, должны быть превосходны. Дон Клеофас, желая поддержать славу о талантах и учтивости кастильцев, не заставил долго себя упрашивать и сказал:

— Повинуюсь и прочитаю сонет о большом маскараде в честь нашего государя, состоявшемся в Верхнем Прадо, близ Буэн-Ретиро, сего грандиозного амфитеатра, затмившего все подобные сооружения древних греков и римлян.

Присутствующие смолкли, а дон Клеофас, приняв изящную позу и отменно жестикулируя, звучным голосом прочитал следующее:

Сонет

Сей муж для подвигов на свет рожден,
Он в доблести себе не знает равных,
И ярче солнца блеск деяний славных
Сияет среди множества племен.

Он на крылах Зефира принесен
Туда, где плещет Бетис своенравный,
Брегами теми воин богоравный
И рощами навеки был пленен.

Он с целым миром здесь готов сразиться,
Арена для него — весь шар земной.
Что в мире звездном с ней еще сравнится?

Не может враг смутить его покой.
Филипп Великий он, им мир гордится.
Он власть, о небо, делит лишь с тобой.

Вся Академия встретила сонет громкими рукоплесканиями и продолжительным гулом удовлетворения. Меж тем Хромой, готовясь к чтению своего сонета, откашлялся по человеческому обычаю, даром что был черт, и начал так:

— Тщеславному портному, который не желал кроить одежду для своих друзей, предоставляя это подмастерью.

Сонет

Коли богов бессмертных повеленьем,
Священной волею небесных сил,
Ты не рожден патрицием, Панфил,
И не достоин с Цезарем сравненья,

Пусть обретет душа успокоенье,
Уймет, смирясь, свой горделивый пыл,
Дабы завистник злой не говорил,
Что ремесло ты предаешь забвенью.

В родное лоно возвратись скорей,
Шей тоги — только на себя не меряй:
Доселе не был консулом плебей.

К совету Рима отнесись с доверьем,
Не прослыви вороной средь людей,
Что нарядилась в краденые перья.

И этому сонету дружно рукоплескала вся Академия, и самые ученые из ее членов утверждали, что он напоминает эпиграмму Марциала или иного древнего поэта из подражателей великого сатирика. Другие находили в манере сходство с творениями ректора Вильяэрмосы, славного арагонского Ювенала, а граф де ла Торре попросил дона Клеофаса и Хромого, пока они пробудут в Севилье, удостоить присутствием все заседания Академии и сообщить псевдонимы, коими они желали бы назваться, как то принято во всех итальянских академиях — в академии делла Круска и ей подобных в Капуе, Неаполе, Риме и Флоренции — и положено по уставу севильской. Дон Клеофас назвался «Обманутым», а Хромой «Обманщиком» — истинного значения этих двух имен не понял никто. Засим, распределив темы для будущего заседания, председателем его избрали Обманутого, а казначеем Обманщика (должность секретаря была бессменной), дабы польстить гостям, о коих все составили самое высокое мнение. Одна из дам потихоньку настроила гитару и начала играть и петь, к ней присоединились еще две, и вместе они исполнили в три голоса великолепный романс дона Антонио Уртадо де Мендоса, возвышенного сына гор, искуснейшего мастера лирической поэзии, за дивную музыку которого все дары Фортуны — малая награда. На том и кончилось заседание Академии, и все разошлись по домам, хотя еще и девяти часов не пробило. Дон Клеофас и Хромой спустились к Тополевой роще — насладиться прохладой у Альменильи, мощного крепостного вала, сдерживающего бурный натиск Гвадалквивира, дабы славный град Севилья не был затоплен частыми и бурными разливами. Слева от

дороги приятели увидели монастырь святого Клементия, знаменитую обитель невест Христовых, которым пожалован весь прилегающий квартал; сей монастырь — щедрый дар католических королей — основан королем Фернандо, отвоевавшим в день его освящения Севилью у мавров. Хромой сказал дону Клеофасу:

— В этих высоких стенах, словно птица в клетке, скрывается серафим, вернее, Серафима — сладостный соловей с берегов Тахо, чей дивный, упоительный голос, не вмещаясь в ушах человеческих, устремляется стройной гармонией к горним чертогам. Подобного диапазона и тембра еще не бывало в природе, однако и они не спасают чудо-певицу от зависти людской.

Пока Хромой выпутывался из этой гиперболы (хотя более истинные слова вряд ли слетали с его языка), они повернули на другую улицу, где почти не встречалось прохожих, и вдруг услыхали громкие раскаты хохота и веселые возгласы, доносившиеся из убогого, приземистого дома, окруженного неким подобием сада; на невысоких прутьях ограды, почти у самой земли, мерцало несколько фонариков, скудные лучи которых были едва заметны. Дон Клеофас спросил Хромого, что это за дом и почему там веселятся в такой поздний час. Бес ответил:

— Это притон нищих — сюда они сходятся после того, как целый день побирались: развлекаются, играют в карты, распределяют места на завтра, чтобы, упаси боже, не столкнуться двум попрошайкам в одном доме. Войдем туда, знатная будет потеха. Я сделаю так, что нас никто не увидит и не услышит, и мы сможем всласть полюбоваться на сей конклав святого Лазаря.

Хромой взял дона Клеофаса за руку и повел в дом через небольшой боковой балкон, так как у главного входа нищенской обители стоял привратник, коему вменялось в обязанность впускать только своих да тех, кто отмечен десницей божьей. Сойдя по винтовой лестничке, они очутились в просторном помещении с низким потолком; окна выходили в сад, заросший крапивой и лопухами, под стать

хозяевам, рожденным под сенью подобных растений. Посредине за столом сидели нищие, готовясь сыграть в рентой на несколько фляг аланиса и касальи, лучших вин того края. Вокруг них, сидя и стоя, расположились наблюдатели. Сосновый игорный стол держался на трех ногах — четвертая была покалечена — и мог бы просить подаяния с не меньшим успехом, нежели сами игроки. В глиняном светильнике горел просмоленный фитиль, карты были покрыты толстым слоем не то плесени, не то сала от грязных пальцев сих высоких особ; выигранные деньги складывались на подставку светильника. В углу находился эстрадо для дам — пеньковая циновка, пережившая не одну зиму. На одежде мужчин и женщин красовалось столько заплат, что казалось, она была скроена из отборнейшего тряпья севильских свалок. В то мгновение, когда дон Клеофас с приятелем входили в комнату, одна из нищенок сказала:

— А вот и Хромой Бес!

Дон Клеофас встревожился:

— Клянусь богом, они нас узнали!

— Не беспокойся, — ответил Бес. — Они не могут ни узнать нас, ни увидеть — я ведь уже говорил тебе. А сказано это о человеке, вошедшем одновременно с нами, — у него одна нога деревянная и костыль в руке; вот он снимает шляпу. Его-то и прозвали Хромым Бесом, потому что он мошенник, притворщик, плут и вор. Мне, ей-ей, обидно, что ему дали такую кличку; это насмешка надо мной, и весьма для меня оскорбительная. Но, клянусь, этим вечером я с ним расквитаюсь, хоть бы и чужими руками.

— О, какая дерзость! — сказал дон Клеофас. — Как они отважились бросить вызов тебе, самому озорному бесу во всей преисподней! Уверен, что такое оскорбление никому не сойдет безнаказанно.

— Эти оборванцы — жители Севильи, — сказал Хромой, — и поэтому даже чертей не боятся. Но я не я буду, если не проучу хромого наглеца; не позволю ему бахвалиться, что он вышел сухим из воды. Во всем мире только три сословия осмеливаются меня оскорблять: комедианты,

слепцы и нищие. Прочие же обманщики и плуты — сами сущие дьяволы, не плоше меня.

Тем временем Деревянная Нога, он же Хромой Бес, уселся поудобней на полу и принялся любезничать с дамами. Немного спустя вошел нищий, прозванный Нетопырем, ибо просил подаяния по вечерам, громко крича на улицах; его привел дружок — Винный Соус, который отыскал Нетопыря, прикорнувшего спьяну в кабачке, узнав его по туче мух: они роились над ним, как над саагунской бочкой. Новоприбывшим уступили места за столом Кузнечик и Петух; первый получил свое прозвище за то, что распевал летом в часы сиесты, будя лежебок, а второй — за то, что выходил попрошайничать на заре. Оба они предпочли усесться прямо на пол, так как страдали головокружением. Пока они располагались, на пороге показалась тележка, в ней сидел нищий по прозванию Герцог. Все присутствующие — и мужчины и женщины — встали с мест, дабы почтить его особу. Сняв шляпу, которая прежде, должно быть, украшала огородное чучело, Герцог молвил:

— Дамы и господа, умоляю вас не тревожиться, не то я сейчас уйду.

Все снова сели, боясь его прогневать, а мальчик, который катил тележку Герцога, подошел к игорному столу и попросил карты для своего господина. Один из игроков, по кличке Фараон, ибо на церковных папертях его страшились пуще казней египетских, и другой, однорукий, прозванный Сержантом, попросили его светлость подождать до следующей партии — они, мол, только вошли в азарт.

Тогда Герцог подъехал к безногому Маркизу де Башмак — тот обычно побирался, ползая на четвереньках и засунув руки в башмаки, но выше пояса был кавалером хоть куда и в это время как раз занимал дам беседой.

— Побуду пока с вами, — сказал Герцог, — тут скорее выиграешь.

Разумеется, ни тот, ни другой нисколько не нуждались в женском обществе.

Одна из дам, Почтальонша, получившая свое прозвище за то, что успевала каждый день обегать не меньше двадцати улиц и не пропустить ни одного дома, заспорила с Жердью, девкой долговязой и грязной, как сточная канава; речь шла о том, кого из них ревнует Герцог. А сварливая Паулина, имевшая привычку осыпать проклятьями всех, кто ей не подавал, сцепилась с Галионой, которая выходила на промысел, оснащенная батареей взятых внаем малышей. Причиной их стычки был сделанный Маркизу «чреватый» намек, понятно, без всякого повода для сей сплетни со стороны его сиятельства. Две другие дамы, Ящерица и Кроха, подливали масла в огонь; в дело встряли также Деревянная Нога с силачом Геркулесом: драка разгорелась нешуточная, и, не вмешайся тут сам хозяин притона Грошехват, да Простак, полюбовник Лодочницы, и Храбрый Плут, да еще Шипоглот, Голенастый, Перуанец и Супохлеб, эти оборванцы отколошматили бы друг друга по первое число. Герцог и Маркиз употребили все свое влияние, дабы прекратить побоище, и для полного восстановления мира предложили пригласить бродячих музыкантов и заплатить им в складчину. Деревянная Нога мигом сбегал за слепцами и волынщиком, проживавшими поблизости, и те прежде всего потребовали плату вперед за то, что их разбудили. Сошлись на тридцати куарто, причем Герцог поклялся жизнью Герцогини, что еще не слыхал о такой цене за представление. А пока они рядились, в притон вошел в сопровождении Искры и Сетки Стопламенный с жезлом, заткнутым за пояс, и сказал:

— Кто из вас Хромой Бес? До меня дошли слухи, что он находится здесь, в этом притоне, и я не выпущу отсюда ни одного человека, пока не проверю всех. Это весьма важный преступник.

При виде служителя правосудия нищие перепугались насмерть, а подлинный Хромой Бес, подобно тореро, бросающему свой плащ быку, оставил на растерзание всю эту голытьбу и вместе с доном Клеофасом выскочил по винтовой лестнице на улицу.

— Вот он, — сказал Герцог, указывая на Деревянную Ногу. — Знайте, что мы, как и подобает особам нашего сана, не станем укрывать важных преступников от правосудия.

Так он кстати отомстил одноногому за проделки, которыми тот не раз дурачил его светлость при раздачах монастырского супа. Когда же Искра и Сетка схватили Деревянную Ногу, бедняга завопил во весь голос: «Храм! Храм!» (для него любой кабак был храмом) — и принялся убеждать их, что это-де вовсе не притон, а святая келья и что все находящиеся тут собрались для молитвы. Но Стопламенный, Искра и Сетка поволокли его к дверям, награждая затрещинами и подзатыльниками и приговаривая:

— Ишь, разбойник, морочить нас вздумал! Все равно не уйдешь, мы тебя знаем!

Тогда Маркиз, сунув руки в башмаки, вскричал:

— И мы должны смотреть на то, как Герцог выдает альгвасилу нашего бедняжку Хромого! Клянусь честью Маркизы, не бывать этому!

Все нищие и нищенки поддержали его и, задув светильник, принялись в темноте дубасить пришельцев скамейками, костылями и посохами. Досталось и Стопламенному, и его подручным! А слепые музыканты загудели на волынке, заиграли на прочих инструментах: такой подняли шум, что всех оглушили. Потасовка затянулась бы надолго, но тут забрезжила заря, и непрошеные гости исчезли.

Скачок десятый

В это время дон Клеофас и его приятель подходили к Градас, подумывая о том, как бы сменить жилье и сбить Стопламенного со следа. Вдруг они увидели, что в почтовой карете, впереди которой скакал курьер, подъезжают двое щегольски одетых военных, и Хромой сказал:

— Эти сеньоры, видно, намерены остановиться в гостинице на Байонской или же на Соломенной улице. Знай, что они не кто иные, как твоя дама и ее дружок — солдат. Что-

бы добраться побыстрее, они пересели из носилок в почтовую карету.

— Клянусь богом, — сказал дон Клеофас, — я проткну его шпагой, прежде чем он выйдет из кареты, а донье Томасе отрублю ноги!

— Все это можно сделать, не подвергая себя опасности, — сказал Хромой, — и не поднимая шума. Предоставь дело мне, и ты останешься доволен.

— Твои слова меня успокоили, — сказал дон Клеофас, — а то я прямо с ума сходил от ревности.

— Знаю, каков этот недуг, недаром его сравнивают с муками ада, — сказал Бес. — Пойдем-ка к нашей мулатке, там ты позавтракаешь и, соснув, смягчишь свой приговор. Да не забудь, скоро тебе надо быть председателем в Академии, а мне — казначеем.

— Черт побери! — сказал дон Клеофас. — От такой досады я и запамятовал это, но, разумеется, мы люди порядочные и должны сдержать слово.

На следующий день они перебрались от Руфины на Мавританскую улицу, где нашлась менее людная гостиница, и провели оставшиеся до заседания дни в усердных занятиях: изучали заданные темы, писали стихи, а дон Клеофас еще сочинил вступительную речь, каковую положено произносить председателям в подобных случаях. В назначенный день они оделись понарядней и под вечер отправились на ристалище поэтов, где две новые звезды были встречены шумными похвалами севильских светил. Вооружившись теми же очками, что и в прошлом сражении, приятели сели на отведенные им места, и дон Клеофас, иначе — Обманутый, призвал серебряным колокольчиком к порядку, после чего произнес великолепную сильву, искусный слог коей приковал внимание общества и расковал бурные изъявления восторга. Когда ж он вымолвил последнее слово: «Dixi!»[1], то снова исторг песнь из серебряной птички и сказал:

— Дабы исполнить до конца долг председателя, я прочитаю в заключение некоторые советы божественным талантам, кои почтили меня высоким саном.

1 Я сказал, я кончил! (*лат.*)

И, развернув листок, который был спрятан у него на груди, дон Клеофас начал так:

— «Наставления и правила, кои отныне и впредь надлежит соблюдать высокоученой Севильской Академии.

Да будут они оглашены и восславлены с достодолжной торжественностью, и барабанщиками при сем да послужат четыре ветра, а трубачами — Фракийский певец, тот образцовый супруг, что ради жены своей descendit ad inferos[1], и Арион, сей плененный пиратами и брошенный в море поэт, к коему, покорствуя звукам его лиры, подплыл дельфин и подставил свою чешуйчатую спину, дабы доставить его на сушу, et coetus, et Amphion, Thebanae conditor urbis![2] И да будет глашатаем сама Слава, покоряющая страны и стихии, а секретарем, который увековечит сей указ, Вергилий Марон, король поэтов!

Мы, дон Аполлон, милостью Поэзии король муз, принц Авроры, граф и сеньор оракулов в Дельфах и Делосе, герцог Пинда, великий герцог обеих вершин Парнаса, маркиз Конского Источника и прочая, и прочая, желаем всем поэтам — героическим, эпическим, трагическим, комическим, дифирамбическим, сочинителям ауто, интермедий, куплетов и вильянсико, а также всем остальным подданным нашим, как светским, так и духовным, доброго здравия и удачных рифм. Дошли до нас вести о великом беспорядке и расточительстве, царивших доднесь среди тех, кто пробавляется стихами, а также о том, что развелась тьматьмущая пачкунов, кои, не боясь бога и угрызений совести, сочиняют, кропают и марают вирши, среди бела дня воруя мысли, остроты и речения у прославленных поэтов. Вместо того, чтобы великим подражать с умеренностью и искусством, как велят Аристотель, Гораций, Цезарь Скалигер и прочие законодатели нашей Поэтики, они штопают свои творения лоскутьями, урезанными у других поэтов, и про-

1 Спустился в ад (*лат.*).
2 И прочие, и Амфион, основатель града Фив (*лат.*).

мышляют стихотворным мошенничеством, плутнями и обманом. Дабы по справедливости пресечь сие зло, повелеваем и приказываем следующее.

Первое: всем надлежит употреблять лишь исконные кастильские слова и не заимствовать слова из чужих языков. Всякий же, кто станет писать fulgor, libar, numen, purpurear, meta, tramite, afectar, pompa, tremula, amago, idilio[1] и тому подобное, либо придумывать бессмысленные инверсии, лишается звания поэта во всех академиях, а при повторном нарушении оного правила все его вирши надлежит конфисковать, а посевы рифм перепахать и посыпать солью, как у предателя родного языка.

Item[2], да не посмеет никто читать стихи, слащаво сюсюкая или производя, на арабский лад, клокотанье в горле, но да произносит слова с нашим кастильским выговором, под страхом лишиться всех своих слушателей.

Item, поелику поэты на прошлом заседании Академии — а нередко и многие другие поэты — воспевали во всевозможных стихах Феникса, возводя на сию птицу поклепы и называя ее дщерью и наследницей самой себя, а также птицей солнца, меж тем как никто коготка ее не касался и даже в глаза не видал ни ее самое, ни гнезда ее, и поелику оный Феникс — изгой среди пернатых, ибо нигде не обнаружено и следа его рода-племени, повелеваем наложить вечный запрет на упоминания о нем. Восхваление сей птицы есть идолопоклонство, ибо пользы от нее нет никому — перья ее не пригодны ни для придворного, ни для воинского наряда, ни для письма, голос ее не развеселил ни одного меланхолика, а мясо не насытило ни одного голодного.

Воистину это птица-призрак: все твердят о ее существовании, но зрению она недоступна, и ее бытие лишь в самой себе. К тому ж она заподозрена в нечистоте крови, ибо все ее предки подверглись сожжению. Напоминаем, что существуют на свете другие птицы: горний житель лебедь, орел,

1 Сияние, возливать, вдохновение, багрянеть, устремление, веха, притворствовать, великолепие, трепещущая, знамение, идиллия (*лат.*).
2 Также (*лат.*).

коего Юпитер не зря избрал своим вестником, цапля, сокол, голубь Венеры, пеликан, утешитель несчастных, и, наконец, вскормленный на молоке каплун, супротив коего все прочие птицы — сущая мелкота. Его-то и надлежит воспевать, а почитателям Феникса советуем, когда проголодаются, изготовить себе жаркое из своего идола. Да простит господь Клавдиана, распространившего в мире сие нелепое измышление, дабы ввести в соблазн всех поэтов.

Item, стали мы известны, что есть такие поэты и поэтессы — и даже среди придворных, — кои, обрекши себя на воздержание, еще более строгое, нежели велит устав монастыря Паулар, обходятся всего лишь дюжиной слов, а именно: «Доверие, недоверие, скромность, расточительность, жестокость, несчастье, учтивый, желанный, нежеланный, злой рок, коварный, сетовать», — и тщатся выразить ими все свои мысли, так что один бог может их понять. Оных повелеваем снабдить еще полсотней слов в виде единовременного пособия из казны Академии, дабы они словами сими пользовались неукоснительно под страхом прослыть глупцами и остаться непонятыми, как если бы изъяснялись на баскском наречии.

Item, приказываем изгнать из комедий наглых послов, кои дерзят королям, и отменяем закон о неприкосновенности посла. Запрещаем принцам переряжаться садовниками ради каких бы то ни было принцесс и велим восстановить доброе имя оклеветанным принцессам Леонским, провозгласив сие под звуки свирелей. Также запрещаем языкастым грасиосо, слугам-острословам, вступать в беседы с царственными особами, кроме как в поле или ночью на улице. Всем действующим лицам возбраняем, когда их начинает клонить ко сну, говорить: «Спать мне хочется ужасно!» — или другие стихи, ради рифмы сочиненные. Также возбраняем рифмовать слово «корона» с «велением закона», «месть» и «спасу свою я честь», а равно налагаем запреты на обороты вроде «вскипаю яростью великой», «отныне между нас двоих» и на прочие нелепицы, для коих нет оправдания в том, что:

Рифма часто нас неволит
Говорить не то, что надо.

Поэта, иже впредь совершит подобное преступление, приказываем на первый раз освистать, а на второй – отправить с двумя комедиями в Оран на службу его величеству.

Item, предлагаем прославленным поэтам установить между собою очередь в раздаче милостыни – сонетами, канцонами, мадригалами, сильвами, десимами, романсами и прочими видами стихов – на пропитание пиитам-новичкам, стыдливо выходящим просить подаяния ночью, а также вменяем сим корифеям в обязанность давать приют тем, кто занемог от усердного толкования великих творений или заблудился в «Одиночествах» дона Луиса де Гонгора. Тут же, в Академии, следует устроить окошко для раздачи супа из стихов нищим поэтам.

Item, приказываем учредить в поэзии свою Эрмандаду и Перальвильо для преследования поэтов «диких», коих надлежит уничтожать, яко вепрей.

Item, повелеваем всем мавританским комедиям принять крещение не позднее как через сорок дней, в противном случае они будут изгнаны за пределы королевства.

Item, запрещаем поэтам, будь то из нужды или из любви, превращаться в пастушков и пасти коз, овец или иной скот, за исключением тех случаев, когда поэт, уподобившись блудному сыну, промотает все свои рифмы на запретные утехи и останется с пустым карманом. Таковым греховодникам в наказание мы повелеваем пасти свиней.

Item, возбраняем поэтам говорить дурное о своих собратьях чаще двух раз в неделю.

Item, поэту, сочиняющему героическую поэму, приказываем давать срок не более полутора лет, а того, кто в этот срок не управится, надлежит считать покинутым музой. Поэтов же сатирических в Академию не допускать, яко разбойников, недостойных войти в цех благородной поэзии, и оповещать повсюду о награде за поимку виршей сих зловредных для государства смутьянов. Сыновьям поэтов, не

сочиняющим стихи, запрещаем клясться жизнью своего отца, ибо таковых нельзя полагать истинными сыновьями поэтов.

Item, поэт, не состоящий в услужении у сеньора, да будет наказан голодной смертью.

И, в заключение, сим наставлениям и правилам надлежит следовать и повиноваться столь же неукоснительно, как законам, изданным нашими князьями, королями и императорами Поэзии. Да будет сие оглашено повсеместно и доведено до всеобщего сведения».

Грамота, прочитанная Обманутым, удостоилась величайших похвал за необычность и причудливость слога, а пока академики изъявляли восторги, тот, кто носил в сем ученом собрании и в трех полушариях прозвище Обманщика и, кроме того, числился казначеем упомянутой Академии, тоже вытащил спрятанный на груди листок и зачитал следующее:

– «Лунный календарь на будущий год по меридиану, проходящему через Севилью и Мадрид, и предсказание, направленное против поэтов, музыкантов и живописцев. Сочинено Обманщиком, членом славной Академии на брегах Бетиса, и посвящается Краснобаю де ла Дубина, протодьяволу и поэту школы «Как бог на душу положит».

Но не успел он вымолвить последние слова, как чтение было прервано приходом альгвасила с такой оравой крючков, что, будь они серебряными, их начальник мог бы поспорить в пышности с флагманским галионом флота, везущего в Испанию недра Потоси́, а также сердца моряков и сердца тех, кто их ждет. Вслед за альгвасилом явились и донья Томаса с солдатом – они примчались на почтовых, дабы наблюдать за исполнением указа. Неурочный визит привел в замешательство членов Академии, но отважный альгвасил успокоил их:

– Сеньоры, прошу не тревожиться! Я явился по долгу службы и вынужден арестовать всего только сеньора председателя. Таков приказ из Мадрида, и для меня он столь же свят, как заветы Евангелия.

Поэты зашумели, а дон Клеофас изрядно струхнул, но казначей, он же Хромой Бес, сказал ему:

— Не бойся, дон Клеофас, и послушно ступай с ними. Эта беда нам не страшна — я тебя вызволю живым и невредимым.

И, обращаясь к академикам, он объяснил им, что в подобных обстоятельствах всякое сопротивление неуместно, но, если бы потребовалось, Обманутый и он сумели бы показать всем севильским альгвасилам, где раки зимуют.

— Есть и среди нас мужчины, — заявил тут один поэт громадного роста, точно великан из процессии тела господня, получивший ученую степень в бунте «Ярмарки и зеленого стяга». — Мы бы тоже могли этих молодчиков потрясти на одеяле так, что они костей бы не собрали, а я среди присутствующих здесь сеньоров, пожалуй, еще самый слабый.

Альгвасил тут же приступил к исполнению своих обязанностей, полагая излишними дальнейшие споры и разговоры, но не взятку или подарочек. Донья Томаса наблюдала за ним, держа в одной руке шпагу, а другую обмотав плащом, готовая сразиться бок о бок со своим солдатом, — дама она была не робкого десятка и отлично владела всеми видами оружия, ибо ей пришлось дать немало сражений, пока она добилась указа об аресте сбежавшего должника. Хромой последовал за приятелем, академиков же будто ветром сдуло, и заседание бесславно скончалось от этой ветряной оспы. Пристроившись поближе к альгвасилу, Хромой шепнул ему, показывая на ладони кошелек с тремястами эскудо:

— Надеюсь, ваша милость сменит гнев на милость, приняв сию смягчительную смесь из ста пятидесяти двойных дублонов.

Альгвасил взял кошелек и поспешно ответил:

— Прошу прощения, сеньоры, я ошибся. Ступайте своей дорогой, сеньор лиценциат, вы ничего мне не должны сверх того, что заплатили. Даяние же ваше принимаю как возмещение за немалую опасность, коей я подвергал себя, схватив, кого не следовало.

Солдат и донья Томаса, тоже в свое время поднесшие альгвасилу подарочек, принялись его увещевать, но тщетно. А друзья наши тем временем убежали так далеко, что оказались у переправы из Севильи в Триану. Наняв лодку, они переправились на другой берег и провели ночь на идущей от моста улице Альтосано — главной улице этого предместья. Сеньора Томаса де Битигудиньо со своим любезным, весьма раздосадованные неудачей, отправились ночевать в гостиницу, а альгвасил — к себе домой, весело беседуя с тремястами эскудо. Но Хромой не лег спать: он еще до рассвета покинул друга и помчался в Севилью, чтобы разнюхать, как там обстоят дела их обоих, — не преминув по пути затеять несколько драк на площади Ареналь, где обычно собираются пикаро.

Альгвасил тоже проснулся чуть свет — его тревожила мысль о дублонах, накануне спрятанных под подушку. Но, засунув туда руку, он денег не нашел, а когда вскочил с постели и бросился их искать, то увидел кругом горы угля — и в спальне, и в прочих комнатах. Так всегда бывает с деньгами, подаренными чертом! И столько там было этого добра, что бедняге пришлось выбираться из дома через слуховое окошко, а когда он наконец вылез, весь уголь обратился в золу. Не случись этого, альгвасил, верно, сменял бы свое занятие на ремесло угольщика, особливо кабы уголь был из того дуба, что растет в аду и вечно дает новые побеги. Аминь!

Хромой меж тем шнырял по Севилье, посмеиваясь в усы, — он знал, что произошло со взяткой, сунутой альгвасилу. По улице Красильщиков он вышел на площадь Святого Франциска и вдруг, оглянувшись, заметил, что за ним гонятся Стопламенный, Искра и Сетка. Тут Хромой бросил свои костыли и пустился бегом, а преследователи за ним, громко крича:

— Держите хромого вора!

И когда Искра и Сетка уже настигали его, навстречу Хромому попался писец, который шагал по улице, сладко зевая. Бес и юркнул писцу в рот, как был, одетый и обутый, — луч-

шего убежища ему бы и не сыскать. Искра, Сетка и Стопламенный хотели было тоже прошмыгнуть в это святилище, дабы вытащить беглеца, но на его защиту выступил отряд портных – пустив в ход иглы и наперстки, они вынудили бесов отступить. Тогда Стопламенный послал Сетку в ад – узнать, каковы будут дальнейшие распоряжения. Гонец вскоре вернулся с приказом тащить в преисподнюю всех – и Хромого, и писца, и портняжек. Приказ был выполнен. Однако писец, после того как его заставили изрыгнуть Хромого, наделал в аду столько хлопот, что судьи тамошнего края почли за лучшее изгнать смутьяна обратно в его контору, портных же временно оставили, дабы те сшили Люциферу парадный костюм к торжеству по случаю рождения Антихриста. Обманутая в своих надеждах донья Томаса начала хлопотать о разрешении на переезд в Индию вместе с солдатом, а дон Клеофас, узнав о горестной участи приятеля Беса, вернулся в Алькала продолжать учение, убедившись, что и чертям нет житья от своих альгвасилов и альгвасилам – от чертей. На том конец сей истории, и автор благодарит всевышнего за то, что позволил благополучно ее закончить. Читателей же автор умоляет, ради собственного их блага, позабавиться сочинением и не слишком строго судить сочинителя.

Комментарии

«Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»

Повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» дошла до нас в четырех изданиях 1554 года, осуществленных в типографиях Бургоса, Алькала-де-Энарес, Антверпена и Медина-дель-Кампо. Ни на одном из них имени автора не значится. Согласно гипотезе академика Ф.Рико, этим изданиям предшествовало несохранившееся первоиздание 1552–1553 гг., в которое каждый из издателей внес свои измнения. Ведь современники автора-анонима – и не без оснований (см. об этом во вступ. статье) – воспринимали анонимную книжицу как полу-фольклорное сочинение, не имеющее кодифицированного текста и предполагающее активное читательское сотворчество.

Первые попытки раскрыть тайну авторства «Ласарильо» относятся к началу XVII века. В 1605 году Хосе де Сигуэнса в своей истории ордена святого Иеремии указывает на настоятеля ордена Хуана де Ортегу как на творца «Ласарильо», сочиненного якобы Ортегой еще в молодости, во время обучения в Саламанкском университете. В 1607 году библиограф Валерий Таксандр в своем каталоге книг испанских писателей приписывает авторство «Ласарильо» другому современнику Карла V – известному писателю-гуманисту, поэту, историографу и дипломату Диего Уртадо де Мендосе. И хотя атрибуция Таксандра была практически ничем не подтверждена, именно его версия легла в основу историко-литературной легенды, на протяжении веков связывающей имя Уртадо де Мендосы с «Ласарильо». В конце XIX века французский ученый-испанист А. Морель-Фасьо почти неопровержимо доказал несостоятельность мнения Таксандра, однако кандидатуру Мендосы в авторы «Ласарильо» в первые десятилетия XX столетия поддерживали А. Гонсалес Паленсиа и Э. Меле. Кроме Диего Уртадо де Мендосы и Хуана де Ортеги в качестве гипотетических ав-

торов «Ласарильо» критики называли и называют имена драматурга Лопе де Руэды (мало обоснованное мнение Ф. де Хаана), поэта Себастиана де Ороско, в одном из эпизодов своего «Кансьонеро» выведшего на сцену Ласарильо и его первого хозяина (гипотеза Х. Сехадора-и-Фрауки), гуманиста Эрнана Нуньеса де Толедо (предположение А. Рюмо). гуманиста-эразмиста Хуана де Вальдеса, автора знаменитого «Диалога о языке», чьи взгляды на письменную речь («пишу, как говорю») прекрасно иллюстрируются стилистикой «Ласарильо» (точка зрения М.-Х. Асенсио), Новейшие исследования атрибуируют «Ласарильо» вновь Х. де Вальдесу, а также его брату известному гуманисту, латинскому секретарю Карлоса V Альфонсо де Вальдесу, равно как и крупнейшему испанскому философу-гуманисту Хуану Луису Вивесу. Ни одну из этих гипотез нельзя считать доказанной.

Хотя в случае с «Ласарильо» мы имеем дело с неокончательно сложившейся художественной структурой, повесть в целом не оставляет впечатления композиционного хаоса. Важную роль в организации ее эстетической целостности играют сквозные темы и перекликающиеся мотивы, такие, как тема «голода», объединяющая три первых рассказа, как мотив исцеляющего Ласарильо «вина», который проходит через всю книгу, как тема «смерти – воскрешения» Ласарильо. Все эти темы связаны со специфической символикой и образностью, во многом ускользающими от взгляда читателя и нуждающейся в специальном комментарии.

В 1559 г. «Ласарильо» был включена в первый список запрещенных книг, изданный после воцарения на испанском троне Филиппа II (1556–1598), но, судя по имеющимся данным, продолжала распространяться в списках. Одним из ее восторженных читателей был и Сервантес, упоминающий Ласарильо в одном из шуточных посвятительных стихотворений к Первой части «Дон Кихота».

В 1573 году секретарь Филиппа II Хуан Лопес де Веласко издает переделку повести – так называемого «Исправленного Ласарильо», в котором опущены главы о монахе ордена Милости и о продавце папских грамот. В 1620 году в Париже выходит продолжение повести, принадлежащее перу Х. де Луна.

Х. де Луна при написании «Второй части» ориентировался как на самого «Ласарильо», так и на его антверпенское продолжение. В подражание «Ласарильо с Тормеса» также был написан «Ласарильо с Мансанареса» (1620) Хуана Кортеса де Толоса.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса» была впервые издана в России в 1775 году в переводе В. Вороблевского. В 1893 году появился перевод повести И. И. Гливенко, а в 1955-м – лучший по сей день – перевод одного из крупнейших К. Н. Державина, который и печатается в настоящем издании.

С. 37. *Плиний по этому поводу замечает...* – Далее следует ссылка на цитату из «Посланий» (кн. III, послание 5) римского писателя Плиния-младшего (около 62 – около 114). На это же высказываний Плиния ссылаются и другие испанские писатели «золотого века» – Сервантес в «Дон Кихоте» (кн. II, гл. 3), Алеман в «Гусмане де Альфараче» («К читателю»), Грасиан в «Карманном оракуле» и другие.

...по каковому поводу говорит Туллий: «Почести питают искусство». – Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) – римский оратор, политический деятель и писатель-философ. Автор «Ласарильо» ссылается на изречение Цицерона, содержащееся в «Тускуланских беседах» (1, 2)

С. 38. *...отдал свою кольчугу шуту...* – В данном случае под «шутом» имеется в виду слуга рыцаря, заслуживший кольчугу в качестве награды за неумеренные восхваления доблести своего господина.

Прошу вашу милость... – В этом обращении, неоднократно возникающем в ходе повествования, а также в тексте «Пролога», раскрывается важнейшая композиционная особенность книги, которая является, по сути дела, развернутым объяснительным письмом, адресованным Ласаро некоему духовному лицу – «вашей милости». Это духовное лицо, «слугой и другом» которого является покровитель Ласаро – протопресвитер храма Спасителя в Толедо (любопытно, что такого протопресвитерства, т. е. прихода, поставленного над соседними, но не возвышенного до епископата, в городе не было), по всей видимости, требует от Ласаро (см. слова Ласаро: «и так как ваша милость велит...»), чтобы тот разъяснил ему скандальный «казус» – «caso» в тексте, звучащее в русском переводе как малозначащее «все» («чтобы все было описано и рассказано весьма подробно»). Суть же «казуса», как следует из содержания седьмой, заключительной главы повести, сводится к тому, что протопресвитер и городской глашатай Ласаро живут дом к дому, а жена глашатая ходит к протопресвитеру «убирать покои и готовить обед»: то есть протопресвитер женил Ласаро на своей любовнице, что и дошло до ушей «вашей милости». Для объяснения этой ситуации Ласаро и собирается рассказать своему адресату о всех своих злоключениях. Таким образом, уже в «Прологе» повести содержится ее развязка, или же вся повесть как бы является «производным» от запечатленной в самом ее конце ситуации. «Пролог» «Ласарильо» одновременно служит и его эпилогом.

...*прежде, чем они достигли тихой пристани.* – Последняя фраза «Пролога» перекликается с заключительной фразой повести – «В это самое время я благоденствовал и находился на вершине житейского благополучия», что еще раз подчеркивает циклическую композицию книги.

С. 39. ...*зовут меня Ласаро с Тормеса...* – Имя героя повести имеет двойное значение, поскольку ассоциируется сразу с двумя евангельскими персонажами – голодным Лазарем, умирающим у дверей богача (Евангелие от Луки, VII), и с мертвым Лазарем, воскрешенным Иисусом Христом и ставшим единственным человеком, пережившим наяву и смерть и воскрешение. Каждое из этих значений имени Ласаро непосредственно связано с центральными темами и мотивами повести (см. об этом подробно во вступ. статье). Кроме того, в народной этимологии имя Ласаро – Lazáro – связывалось с глаголом lacerar (через lazrar), значащим «раздирать, увечить», а также «бедствовать». В современном испанском языке есть слово «lazarillo» – поводырь, непосредственно восходящее к имени героя повести.

Произошел я на свет на реке Тормесе... – Тормес – река на которой стоит г. Саламанка, резиденция одного из крупнейших испанских университетов (XVI в. Саламанка славилась богословскими наукакми). В описании рождения Ласаро, а также в прозвании «с Тормеса», присоединяемом к его имени, пародируются эпизоды рыцарских романов, повествующие о таинственном, зачастую связанном с водной стихией, происхождении их героев. Пародия «Ласарильо», видимо, прежде всего обращена против самого знаменитого испанского рыцарского романа – «Амадиса Галльского», герой которого прозывался «Юноша Моря».

...*во всем сознался, ни от чего не отрекся...* – Фраза, пародирующая слова из Евангелия от Иоанна (1:20): «Он объявил и не отрекся», – которые произносит Иоанн Креститель, возвещающий о рождении Иисуса Христа.

...*и пострадал за правду.* – В испанском тексте «Y padeció persecución por la justicia» использована игра слов, поскольку «justicia» по-испански означает и «истина», и «правосудие». Отец Ласаро в действительности пострадал не «за правду», а от рук правосудия.

...*ибо Евангелие называет таких людей блаженными.* – В русле предшествующего обыгрывания двойного значения слова «justicia» Ласаро-повествователь переворачивает слова из Евангелия от Матфея (5:10): «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (*лат.* – Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam quoniam ipsorum est regnum coeli) – таким образом, что они приобретают смысл «блаженны пострадавшие от рук правосудия».

С. 40. ...*решила прибегнуть к помощи добрых людей...* – В тексте «determinó arrimarse a los buenos». Аналогичную фразу произносит Ласаро в беседе с протопресвитером в конце повести: Yo determiné de arrimarse a los buenos» (в несколько вольном переводе К. Н. Державина – «в моих правилах следовать добрым советам»). Автор слов подчеркивает сходство сюжетных ситуаций, в которых находятся Ласаро и его мать: решив зажить «как люди», оба прибегают для этого к одинаковым средствам – матушка заводит любовника-конюха, Ласаро женится на содержанке протопресвитера. Понятие «добрые люди» – los buenos – в этом контексте может звучать только иронически.

Командор – здесь: владелец энкомьенды, то есть доходов от взимания налогов и ренты с земли и строений. В XVI веке приход Марии Магдалины в Саламанке принадлежал ордену Алькантара.

С. 42. ...*научил меня своей тарабарщине.* – Имеется в виду условный язык воров, нищих и бродяг.

Ни серебром, ни златом я тебя оделить не могу... – Намек на слова святого Петра (Деяния апостолов, 3:6): «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе», – которые в устах слепца, да еще с измененным окончанием фразы – «зато я преподам тебе много полезных советов» (ср. в Деяниях – «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»), звучат снижено и профанировано.

С. 43. *Гален* – знаменитый римский врач (около 130 – около 200).

С. 44. ...*подавали ему бланку...* – Бланка – старинная испанская монета стоимостью полмараведи, или $^1/_{64}$ реала.

С. 47. ...*потому что когда я ел по две, ты молчал...* – После этих слов в издании Алькала-де-Энарес следует эпизод, отсутствующий в бургосском издании повести.

С. 50. ...*несомненно обладавшего пророческим даром.* – Ласаро подразумевает, что слова слепца «если кому-нибудь на свете и посчастливится от вина, так это тебе» сбылись к тому моменту, когда он рассказывает о пережитых невзгодах: Ласаро стал городским глашатаем и получил от протопресвитера жену якобы в знак благодарности за то, что он рекламировал протопресвитерские вина, – это входило в круг обязанностей глашатая.

С. 53. *По субботам в тех краях едят бараньи головы...* — Суббота была днем, в который церковь запрещала верующим употреблять в пищу мясо, за исключением голов или внутренностей животных и птиц, требухи, ножек и жира свиней.
Проскомидия — часть обедни.

С. 55. *И вот, находясь в такой крайности...* — Весь нижеследующий эпизод с похищением хлебцев из сундука священника представляет собой развернутую пародию на один из важнейших католических обрядов — таинство причастия (евхаристию). В этом эпизоде обещанное верующему «спасение» через причащение к таинствам святой веры приравнено к весьма натуралистической ситуации: «причащаясь» к содержимому сундука, Ласарильо спасается от реальной голодной смерти. «Сундук» (в исп. тексте — arcaz), проникнуть в который стремится Ласарильо, чтобы добыть священные хлебцы — «облатки», раздаваемые священником при причастии и символизирующие «плоть Христову», — это профанированный образ ковчега со святыми дарами. Причаститься таинству веры можно лишь благодаря чуду, и такое «чудо» свершается, когда Ласарильо является «медник» — ангел, посланный «в таком обличье с небес на землю». И тогда Ласарильо, проникнув в сундук, зрит «в образе хлебов... лик господень», а сундук превращается для него в «хлебный рай», в котором мальчик — алтарный служка хозяйничает, как некогда «змий» в библейском раю, — недаром Ласарильо называет себя «врагом рода человеческого», а хозяин сундука — священник тщетно пытается изловить «змею», крадущую у него хлебы. Эпизод завершается «изгнанием» Ласарильо из «рая», «смертью» и возвращением к жизни — переходом к новому хозяину.

С. 56. *«Святой Иоанн, ослепи его!»* — Святой Иоанн считался покровителем слуг. В день святого Иоанна существовал обычай менять хозяев, на службе у которых не полагалось быть более года.

С. 59. *...взяли подряд на тканье Пенелопы...* — Пенелопа — жена Одиссея, двадцать лет ожидавшая его возвращения из дальних странствий. Отклоняя предложения многочисленных женихов, она обещала сделать выбор после того, как окончит ткать саван для отца своего мужа. Однако каждую ночь она распускала то, что успела соткать за день, тем самым откладывая срок своего ответа.

С. 62. *...провел их, словно во чреве китовом...* — Ласаро уподобляет себя здесь не столько ветхозаветному пророку Ионе, прожившему три дня во чреве кита («чрево» — архаический символ «смерти», «могилы»), сколько Иисусу Христу, намекая на сравнение Христа с Ионой в Евангелии от Матфея (12:40).

С. 68. *Из тех шпаг, что сделал Антонио...* — Антонио — знаменитый толедский оружейный мастер конца XV — начала XVI века.
...близкий родственник графа Аларкоса... — В бургосском и антверпенском издании имя графа читается «Аркос» — «Arcos», что объясняется, видимо, типографской опечаткой, в результате которой исчезли первые две буквы. По предположению некоторых критиков, в этом ироническом сравнении перепутаны два героя популярных романсов — граф Аларкос и граф Кларос, поскольку именно в романсах о графе Кларосе есть описание богатого костюма героя и его тщательного туалета.

С. 69. *...беседовал с ним на манер Масиаса...* — Масиас, по прозванию «Влюбленный», — галисийский поэт XV века, вокруг имени которого сложилась легенда о его гибели от руки мужа дамы, поклонником которой был поэт.
...насочинял Овидий. — Овидий Назон (43 г. до н. э. — 16 г. н. э.) — римский поэт, известный в средние века и в эпоху Возрождения прежде всего как автор эротической поэмы «Искусство любви», которая воспринималась как своеобразный любовный кодекс.

С. 76. *...я, как ты видишь, оруженосец...* — В испанском тексте «escudero» — слово, которое можно перевести как «оруженосец», но являющееся одновременно и титулом, присвоенным низшему дворянству.

С. 77. *Есть у меня и голубятня...* — Право иметь голубятню в средневековой Испании было исключительно дворянской привилегией.

С. 79. *Альгвасил* — младший судебно-полицейский чин в Испании XVI века.

С. 81. *Как Ласаро устроился у продавца папских грамот...* — Под «папскими грамотами» здесь имеются в виду папские послания (буллы), призывавшие к борьбе с маврами; приобретение грамот давало их покупателям «отпущение грехов». Сюжетно этот рассказ «Ласарильо» почти полностью совпадает с одной из новелл Мазуччо Гуардати Салернитанца — крупнейшего итальянского новеллиста XV века, что заставляет критиков предполагать возможность прямого заимствования.

С. 86. *Он молился не о том, чтобы господь отнял у грешника жизнь...* — Снова ироническая перифраза библейского изречения «Ибо я не хочу смерти умирающего» (Иезекииль, 13:32).

...было подстроено моим изобретательным и хитроумным хозяином. – В издании Алькала здесь следует достаточно обширный эпизод, отсутствующий в бургосском издании.

С. 87. *Куэльяр* – город, в котором работал оружейник Антонио.

С. 88. *...я городской глашатай.* – Глашатай – «коронная служба», о которой Ласаро сообщает не без известного довольства, считалась в XVI веке одним из самых постыдных занятий. Так, например, законы того времени запрещали принимать на воинскую службу «негров, мулатов, мясников, глашатаев и палачей».

С. 90. *...больше себя самого.* – Здесь в издании Алькала вставной абзац.

С. Пискунова

«История жизни пройдохи по имени дон Паблос»
Франсиско де Кеведо

Время написания пикарески «История жизни пройдохи по имени дона Паблос» и дата ее первой публикации значительно отстоят одно от другого. Предположительное время работы Кеведо над «Пройдохой» устанавливается исследователями на основании имеющихся в самом тексте романа ссылок на те или иные исторические факты: все они сосредоточены на отрезке времени от 1600-го до 1604 года. Так, в VIII главе романа идет речь о различных способах завоевания Остенде – хорошо укрепленного нидерландского города и порта, осаждавшегося испанскими войсками в течение почти трех лет, с июля 1601 года до сентября 1604 года. Поскольку в романе о взятии Остенде говорится как о еще не свершившемся факте, можно сделать вывод, что время написания Кеведо романа, во всяком случае его VIII главы, приходится на период до сентября 1604 года, а скорее всего – на 1603 год, поскольку именно тогда некий Помпеи Таргоне выдвинул проект дополнить осаду крепости с суши морской блокадой, гротескно обыгранный Кеведо в прожекте собеседника Паблоса осушить море со стороны крепости губкой или углубить его на двенадцать человеческих ростов. Далее, в эпизоде с похищением оружия у блюстителей порядка упоминается Антонио Перес (1539–1611) – бывший секретарь Филиппа II, обвиненный в убийстве, которое он некогда организовал по тайному приказу короля, и вынужденный бежать за границу, где им был опубликован ряд документов, компрометирующих испанский двор и политику, Паблос и его друзья сообщают стражникам, что якобы знают, где скрывается шпион, подосланный Антонио Пересом. Это упоминание об Антонио Пересе как об организаторе тайных интриг могло прозвучать злободневно лишь около 1602 года, когда Перес действительно имел в Испании своих тайных агентов, слухи о которых ходили при дворе в Вальядолиде, где пребывал тогда Кеведо (1601–1606 гг.). В III главе романа в образе «великого магистра фехтования» Кеведо зло высмеял одного из своих врагов, знатока фехтовального искусства Луиса Пачеко де Нарваеса, автора упоминаемого в романе трактата «Величие шпаги», в котором Пачеко обосновывает геометрические принципы фехтования, пародируемые Кеведо. Время выхода трактата – 1600 год – еще одна веха для датировки романа. Кроме того, можно предположить, что в рассказе о поступлении Паблоса в университет отразились весьма свежие воспоминания о годах учебы Кеведо в университете Алькала-де-Энарес (1596–1600 гг.). И наконец, в последней главе «Пройдохи» упоминаются имена действительно существовавших завсегдатаев севильских притонов, в том числе и имя Алонсо Альвареса де Сориа – сатирического поэта, повешенного в Севилье в 1604 году. В романе Паблос и его друзья оплакивают смерть Альвареса, воспринимаемую как недавно свершившееся событие.

«История жизни пройдохи по имени дон Паблос» была впервые опубликована в Сарагосе в 1626 году. Большое число опечаток и смысловых искажений в тексте этого издания говорит о том, что Кеведо причастности к нему не имел (пролог «К читателю», предваряющий книгу и написанный от лица автора, является, судя по всему, подложным). По всей видимости, издатель, некий Роберто Дюпорт, воспользовался какой-то – далеко не точно воспроизводящей авторский текст романа – рукописной копией; именно в таком виде «Пройдоха» имел хождение среди читателей в течение многих лет после его написания. В настоящее время, кроме сарагосского издания, известны три рукописные версии «Истории жизни пройдохи» – так называемая рукопись Хуана Хосе Буэно (названа по имени ее бывшего владельца), сантандерская рукопись из библиотеки филолога М. Менендеса-и-Пелайо и кордовская рукопись – все в значительной мере расходящиеся с сарагосским изданием. Вопрос о том, какая же из сохранившихся рукописей романа наиболее приближается к авторскому тексту, до сих пор остается не до конца решенным. Согласно предположению создателей новейшего критического издания Ф. Ласаро Карретера и А. Родригеса Мониньо (Francisco de Quevedo. La vida del Busco'n llamado Don Pablos. Edicio'n cri'tica por F. La'zaro Carreter. Salamanca, 1965), существовали две редакции романа – одна из них более ранняя, относящаяся к периоду до 1604 года, наиболее адекватно воспроизведена в рукописи Х.-Х. Буэно; сантандерская же и кордовская рукописи, вместе с сарагосским изданием 1626 года, восходят к какой-то утраченной версии, содержащей разного рода изменения, внесенные Кеведо в текст романа в 1609–1614 годах. Опубликованный Ф. Ласаро Карретером текст романа представляет собой свод всех существующих его вариантов.

Сразу после выхода «Пройдохи» в свет появились доносы инквизиции на содержащиеся в романе насмешки над церковью и на аморальность его содержания. В 1646 году «Пройдоха» был внесен в список книг, подлежащих серьезной «чистке».

Однако у читателей роман пользовался несомненным успехом: кроме переиздания его на испанском языке, последовавшего почти вслед за сарагосским изданием, появились переводы романа на другие европейские языки — на итальянский (1634), французский (перевод, сделанный знаменитым создателем «Комического романа» Скарроном и вышедший в 1633 г., выдержал более 20 изданий!), голландский (1642, 1699), английский (1657, 1670) и другие языки. Русский перевод романа, принадлежащий К. Н. Державину и воспроизводимый в настоящем издании, увидел свет в 1950 году.

С. 93. *...была не старой христианкой...* — то есть имела в роду обращенных в католичество евреев.

...предпочитал вместо трефовой двойки вытаскивать из колоды бубнового туза. — В оригинале «metía dos dedos para sacar el as de oro» — выражение, фигурально означающее «запускал руку в чужой карман».

С. 94. *...его сопровождали сотни две кардиналов...* — В оригинале игра слов, основанная на том, что по-испански слово «el cardenal» означает одновременно и «кардинал», и «кровоподтек»: отец Паблоса был осужден на наказание плетьми, коих он получил около двухсот ударов.

...и пешком и на коне всегда выглядел в равной степени хорошо. — Осужденного на наказание плетьми преступника во время исполнения приговора провозили по улицам верхом на осле.

...чуть было не украсили перьями, дабы она явила свое искусство при всем честном народе. — Лиц, осужденных за колдовство, возили на осле по городу, предварительно вымазав дегтем и вываляв в перьях.

С. 95. *...альгвасилы и алькальды?* — Альгвасил — см. коммент. к с. 79; алькальд — глава городской или сельской управы, исполнявший и обязанности судьи.

...готовы преподнести нам петлю, хотя еще не наступил день нашего ангела и никто о подарках не думает? — В оригинале игра слов, использующая двойное значение слова «colgar» — «вешать», «казнить» и одновременно «делать подарок ко дню ангела».

...меня часто можно было увидеть в церкви. — В стенах храма преступники пользовались правом убежища: этот же мотив в более развернутом виде возникает и в «Главе последней», в которой Паблос укрывается с друзьями преступниками в Севильском соборе, то есть сын повторяет судьбу отца, кончая тем, с чего отец начинал, — положение, существенное для философии плутовского романа.

...могли бы посадить меня на осла, если б я запел на кобыле! — «Запеть на кобыле» — «cantar en el potro» на воровском жаргоне — означало «признаться под пыткой в совершенном преступлении», что, естественно, влекло за собой наказание. См. также коммент. к с. 94.

С. 96. *...я почти каждый раз получал отличия...* — В знак отличия ученику предоставлялась привилегия по указанию учителя бить линейкой своих провинившихся товарищей, то есть в начале романа Паблос выступает не в роли преследуемого, а в роли, в чем-то схожей с ролью его дядюшки-палача (см. гл. XI).

С. 97. *...потому что он кот.* — «Кот» («el gato») на воровском жаргоне означало «вор».

...когда на нее напялили митру. — Осужденные инквизицией отправлялись к месту казни или наказания в колпаках, напоминающих по форме епископскую митру.

С. 98. *...увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре...* — Сюжет эпизода несомненно взят Кеведо из устной традиции, поскольку он встречается и у других писателей, например, в «Диалогах для покойного отдохновения» Гаспара Лукаса де Идальго (1605).

...назови его Понтием Пилатом... — Понтий Пилат — римский наместник в Иудее (умер в 39 г.), ко времени правления которого евангельское предание относит казнь Иисуса Христа.

С. 99. *...выбрать петушиного короля.* — См. об этом во вступ. заметке.

С. 100. *...началась настоящая битва при Лепанто...* — В оригинале «la batalla naval» — «морская битва» — выражение, по традиции относящееся к морскому сражению у мыса Лепанто (1571 г.), в котором соединенный флот Испании, Венеции и папского престола разбил турецкую эскадру. В оригинале — игра слов: в Паблоса бросают брюквой — «la naba», то есть начинается «свекольная» битва, которую приходится вести, сойдя с лошади.

С. 101. *...для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо...* — Намек на то, что многие аристократы имели плохой почерк, считая ниже своего достоинства уделять время школярским штудиям.

С. 102. *Лисенсиат* — звание, присваивавшееся лицам, окончившим университет.

Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции. — Нос лисенсиата был приплюснутым, что у испанцев считалось особенностью, характерной для лиц римлян (нечто противоположное русскому понятию о «римском» носе), и деформированным, как если бы лисенсиат переболел «французской» болезнью — сифилисом.

...подобно трещоткам, что бывают у прокаженных... — Трещотки эти состояли из трех дощечек, соединенных веревкой и привязанных к ручке, держа которую в руке, просящий милостыню приводил дощечки в движение и заставлял их греметь.

С. 103. *...мог служить могилой для филистимлянина.* — В библейских легендах царь филистимлян — древнего народа, покорившего Палестину в XII веке до н. э., — Голиаф изображался в виде сказочного великана, поэтому людей высокого роста называли в Испании филистимлянами.

Селемин — старинная мера емкости, равная 4,6 литра.

С. 106. *...одного имени с нашим учителем...* — «Кабра» («la cabra») означает по-испански «коза».

С. 108. *...утром в одну из пятниц обнаружил у него на камзоле хлебные крошки.* — Строгие церковные правила предписывали католикам по пятницам полное воздержание от пищи до обеда.

С. 109. *...яичницы эти могли выдавать себя за коррехидоров или адвокатов.* — Коррехидор — представитель центральной судебной власти. На судебных заседаниях коррехидоры и адвокаты носили парики из белой шерсти.

С. 110. *Через сорок дней начали мы кое-как шевелить ногами.* — Обращает на себя внимание то обстоятельство, что число дней, потребовавшихся для исцеления Паблоса и дона Дьего, равняется числу дней Великого поста. Более того, ранее сообщается, что их пребывание в доме Кабры длилось как раз до этого времени («Муки эти мы терпели до великого поста» — гл. III), то есть приходилось на дни масленицы и мясоеда. Таким образом, в этом эпизоде романа масленица и пост как бы меняются местами: на масленую герои умирают от голода, а в дни великого поста их кормят «мясными соками», дичью и другой скоромной пищей — явная пародия на католический обычай.

С. 111. *...учиться в Алькала...* — Алькала-де-Энарес — город в тридцати четырех километрах от Мадрида, славившийся своим университетом, основанным в 1508 году.

Хозяин его был мориск и вор. Никогда не приходилось мне видеть собаки и кошки, живущих в столь полном согласии... — Мориск — потомок обращенных в христианство мавров; морисков звали собаками, а воров — котами.

С. 116. *...не смог бы насчитать и сам Хуан де Леганес.* — Хуан де Леганес — юноша, поражавший современников своими необычайными счетными способностями. Жил в Мадриде во второй половине XVI века.

С. 117. *...явились требовать патента у моего хозяина.* — Патент — денежная пошлина, которую должен был заплатить старшим товарищам студент-новичок.

С. 118. *Видно, что Лазарь и собирается воскреснуть...* — О Лазаре см. вступ. заметку к повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса». Имя Лазаря не раз упоминается на страницах «Пройдохи», в том числе и как ссылка на историю Ласарильо — предшественника Паблоса. В данном эпизоде Паблос прямо отождествлен с Ласарильо, так как играет роль умирающего и воскресающего героя.

С. 120. *Ecce homo* — согласно евангельскому преданию, слова Понтия Пилата, обращенные к Христу. Паблос, оплеванный своими товарищами, пускай в негативной форме, но сравнивает себя с Иисусом Христом, что является явной профанацией текста Священного писания.

...служили носовыми платками большим носам, чем были когда-либо виданы во время процессии на страстной неделе. — В религиозных процессиях на Страстной неделе участвовали маски, изображающие носатых фарисеев. О процессиях такого рода см. также во вступ. заметке.

С. 122. *Нам на него укажет математик.* — Математики в те времена были также астрологами и предсказывали будущее.

Дон Дьего взял меня за средний палец... — Имеется в виду прием, применявшийся в средневековой медицине для облегчения работы сердца.

С. 125. *...Иудой — хранителем казны...* — По евангельскому преданию, Иуда Искариот, продавший своего учителя Иисуса Христа за тридцать сребреников, был среди апостолов казначеем.

...не соблюдало правил риторики, ибо из большего делалось меньшим... — Правила ораторского искусства требовали для убедительности речи переходить от меньшего к большему, то есть от предметов менее важных к важнейшим.

С. 127. *...подобное дару французского короля исцелять от золотухи.* — Существовало поверье, что французские короли прикосновением руки могут исцелять больных золотухой.

...крича: «Пио, пио!» — Весь эпизод, видимо, заимствованный из фольклорных источников, построен на игре слов, так как имя Pio — Пий, что значит «благочестивый», носили многие

римские папы. Кроме того, в простонародном жаргоне это слово употреблялось как синоним проститутки – иронический намек на безуспешную попытку Пия V запретить проституцию в Риме. Звукоподражением «пио, пио» также созывают цыплят.

С. 131. *Корчете* – прозвище полицейских фискалов, означающее «крючок».

...подослал... Антонио Перес. – См. об этом во вступ. заметке.

С. 134. *Театинец* – член ордена, основанного в г. Теато в Италии, одной из обязанностей которого было напутствовать осужденных на смертную казнь.

С. 135. *...откапывала мертвецов...* – Матери Паблоса нужны были для колдовства зубы повешенных.

...нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне... – Лица, считавшие себя чудотворно исцеленными каким-либо святым, вешали в церквах и часовнях, в знак памяти и благодарности, маленькие изображения выздоровевших органов тела.

...выступить в ауто в троицын день... – В оригинале игра слов, поскольку «ауто» («el auto») означает и действо, то есть аллегорическое театральное представление на религиозную тему, и церемонию осуждения (auto de fé), совершавшуюся инквизицией над еретиками и лицами, обвиненными в колдовстве.

С. 137. *...два способа завоевать Остенде.* – См. об этом во вступ. заметке.

С. 138. *Хуанело* – Хуанело Турриано (умер в 1585 г.), итальянский механик, построивший в 1570 году водонапорную машину для снабжения Толедо водой из реки Тахо. Машина эта функционировала около тридцати лет и считалась одним из чудес техники.

С. 139. *...является... мастером фехтования.* – Речь идет о Луисе Пачеко де Нарваес. Подробнее об этом эпизоде см. во вступ. заметке.

...обман с большим переходом на четверть окружности... – Высмеиваемый Кеведо Нарваес представлял школу фехтования Херонимо Каррансы (XVI в.), согласно учению которого противники располагаются на противоположных точках воображаемого круга с диаметром, равным длине вытянутой руки со шпагой. Противники движутся по этому кругу, вступая в него лишь для нанесения удара. См. также коммент. к с. 671.

С. 141. *Per signum crucis* – начальные слова молитвы «Крестным знамением освободил нас от врагов наших». В тексте романа слова молитвы переделаны так, что получают смысл, данный в переводе. Еще один пример вольного обращения писателя с религиозным культом.

С. 143. *Махалаонда* – селение неподалеку от Мадрида (ныне – Махадаонда). Во времена Кеведо жители Махалаонды были предметом постоянных насмешек из-за их невежества.

С. 144. *Сакабуча* – раздвижная металлическая труба, предшественница тромбона.

С. 145. *...в которой было больше хорнад, чем в пути, до Иерусалима.* – Хорнада (la jornada) по-испански означает и путь, проходимый в течение дня, и акт в пьесе.

Редондилья – испанский стихотворный размер, представляющий собой четырехстрочный восьмисложный стих с рифмами по схеме *абба* и т. п.

...будто он разменивает эскудо на мараведи... – Цена золотого эскудо равнялась четыремстам сорока двум мараведи или тринадцати серебряным реалам (реал равнялся по стоимости тридцати четырем мараведи).

С. 146. *Прагматика* – указ короля, имеющий силу закона. Пародийные прагматики были одним из любимых жанров Кеведо. «Прагматика», включенная в текст «История жизни пройдохи», была создана лишь в 1614 году и включена в роман во второй редакции.

С. 148. *...осужденных на вечный консептизм.* – Консептизм – одно из основных направлений в испанской литературе XVII века, к которому принадлежал и сам автор романа. Название этого направления происходит от слова «concepto», что означает «парадоксально выраженная мысль». Консептизм развивался параллельно с другим течением – культизмом (о культизме см. коммент. к с. 641), с которым он враждовал. Сатирический пафос «Прагматики» направлен скорее против культистов, которых консептисты, делавшие основной упор на утонченности выражаемой мысли, обвиняли в формальном словотворчестве и пристрастии к поэтическим «красивостям».

С. 149. *Долина Иосафатова* – по библейскому преданию, место предстоящего Страшного суда.

...перестав быть маврами... стихотворцы превратились в пастухов... – Кеведо намекает на распространенные в поэзии на-

чала XVI века, особенно в романсеро, мавританские сюжеты, которые в литературе второй половины XVI века были оттеснены на второй план пасторальным романом.

С. 150. *...пристало ли отшельничество таким безбородым людям, как я?* — Внешним признаком отшельника была длинная борода, в то время как католическое духовенство было обязано брить бороду и усы.

С. 151. *Касик* — титул вождя у некоторых индейских племен.
Тетуан — город в Марокко, центр торговли испанскими пленниками.
«Introibo» — песнопение, предшествующее мессе; названо по начальному слову текста.
Линьян — Педро Линьян де Рьяса — лирик конца XVI века. Эспинель Висенте (1551–1634) — поэт, музыкант, автор плутовского романа «Жизнь Маркоса де Обрегон». *Алонсо де Эрсилья-и-Суньига* (1533–1594) — автор эпической поэмы «Араукана». *Фигероа* Франсиско де (1540–1620) — поэт, автор многочисленных пасторальных стихотворений. *Падилья* Педро де (умер после 1595 г.) — поэт и импровизатор.

С. 152. *Этим... меня наградили в Париже...* — Спутник Паблоса имеет в виду или события 1590 года, когда испанская армия выступила против осаждавшего Париж Генриха IV, или же события 1592 года, когда Генрих IV был атакован испанцами и их войска вступили во французскую столицу.

С. 153. *...деяния Сида и Бернардо дель Карпио.* — Сид Кампеадор (Родриго Руис де Бивар; 1043–1099) — народный испанский герой. Подвиги, совершенные им в борьбе с маврами, воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» и в многочисленных романсах. Бернардо дель Карпио — легендарный эпический герой, изображаемый как победитель Роланда в битве при Ронсевале.
...ни Гарсиа де Паредес, ни Хулиан Ромеро... — Гарсиа де Паредес Дьего — один из героев итальянских войн; Хулиан Ромеро — офицер, отличившийся во время войны во Фландрии.
...когда мы громили Антверпен. — Антверпен был взят и разграблен испанскими войсками в 1576 году.

С. 154. *...буду совой, которая это масло... выпьет...* — По народному поверью, совы выпивали масло из лампад.
Парар — распространенная карточная игра.

С. 156. *...в битве при Сен-Кантене...* — Битва при Сен-Кантене во Франции состоялась в 1557 году и была выиграна испанцами. В память об этой победе Филипп II приказал воздвигнуть монастырь в Эскориале.

...мы встретились с одним генуэзцем... антихристом для испанских денег... — Получаемое из колоний золото уходило за границу и оседало в генуэзских банках.
Безансон — город во Франции, важный банкирский центр, во времена Кеведо принадлежал Испании. Писатель ошибочно помещает его в Италии.

С. 157. *...увидел четвертованного отца моего, ожидавшего того мгновения, когда, преображенный в звонкую монету, он в кошельке отправится в долину Иосафатову.* — Намек на то, что пирожники начиняли свои изделия мясом казненных — каннибальский мотив, возникающий в романе ранее (гл. VII) и получающий дальнейшее развитие в описании обеда у дяди-палача (гл. XI). В рассматриваемом случае в подлиннике имеет место игра слов: «hecho cuarto» означает и «четвертованный», и «превращенный в куарто», то есть в медную монету.
Пассакалья — испанский танец.

С. 158. *...жилье мое не Алькасар...* — Алькасар — слово, означающее укрепленный замок, а также дворец мавританской постройки.

С. 160. *Каждой свинье приходит день ее святого Мартина...* — В день святого Мартина, празднуемый 11 ноября, обычно резали свиней и заготавливали их мясо на зиму.

С. 163. *Все начали... прикладываться к полу.* — Целовали землю, чтобы оградить себя от опасности.

С. 167 *...как ремендон, асадон, бландон, бордон...* — Издеваясь над выскочками, присваивающими себе дворянские звания, дон Торибио подбирает для их семей самые «вульгарные» слова: remendón — «холодный» сапожник, azadón — мотыга, blandón — свечка, bordón — поводырь.

С. 178. *Такие удивительные позы не изображал... сам Босх.* — Иероним ван Эйкен, по прозванию Босх (1450–1516), — знаменитый голландский художник, ряд полотен которого находился в Эскориале и поражал современников Кеведо своей гротескной выразительностью.

С. 181. *...царь, что привык к яду...* — Имеется в виду Митридат, царь Понтийский (123–63 гг. до н. э.), который, по преданию, опасаясь отравления, всю жизнь приучал себя к ядам, принимая их регулярно в незначительных дозах.
...отведать похлебку у монастыря... — У стен монастырей в определенные часы раздавали нуждающимся бесплатную похлебку.

С. 183. *...даже кладбище Антигуа в Вальядолиде не пожирает тела мертвецов с такой быстротой...* — По народному поверью, земля на этом кладбище уничтожала трупы в течение одного дня.

С. 186. *...память дона Хуана...* — Имеется в виду дон Хуан Австрийский (1547–1578) — побочный сын Карла V, победитель в битве при Лепанто.

Луис Кихада — мажордом Карла V, воспитатель Хуана Австрийского. Умер в 1570 году.

С. 187. *...бакалавр философии из Сигуэнсы!* — Бакалавр — младшая ученая степень, присуждавшаяся в испанских университетах. Сигуэнса — небольшой город в провинции Гвадалахара, университет которого часто служил предметом насмешек и иронических отзывов.

...происходит от Великого Полководца... — Имеется в виду Гонсало Фердинандес де Кордова (1453–1515) — выдающийся испанский полководец, завоеватель Неаполитанского королевства.

Арголья — игра в мяч.

С. 189. *...обитавшему якобы в горах близ Алькала.* — Город Алькала-де-Энарес расположен на равнине.

С. 193. *...мученический конец святого Стефана...* — По преданию, святой Стефан был побит камнями.

С. 195. *Апосентадор* — чиновник-квартирмейстер для важных лиц, прибывавших в столицу.

...напомнила ему, что на плечах у него мотовило святого Андрея! — Мотовило своей формой напоминает андреевский крест, который инквизиция предписывала носить лицам, присужденным к длительному покаянию я бывшим, как правило, обращенными евреями.

С. 197. *...немножко сюсюкала и пришепетывала...* — В испанской литературе пришепетывание часто отмечается как один из признаков женского кокетства.

...если же играла, то только в писпириганью, ибо и тут можно было показать ручки. — Писпириганья — детская игра, заключающаяся в отгадывании того, кто ударяет играющего по ладони.

С. 199. *...fidalgo ордена Христа.* — Португальский военно-религиозный орден Креста был основан в 1317 году. Так как изображение креста, носившееся членами ордена, напоминало по форме фигуру креста, помещавшуюся на первой странице букваря, то орден иногда именовался «орденом букваря» — Картильи. Кеведо строит на этом игру слов, называя португальца кавалером ордена букваря или Христа.

С. 202. *...одарить его деньгами, этой кровью невинного агнца, лишь с помощью которой можно обрабатывать самые твердые алмазы...* — В XVII веке алмазы обрабатывались другими алмазами и горячей кровью козла. «Кровь невинного агнца» — в Священном писании метафорическое выражение, означающее «кровь Иисуса Христа». Подменяя козла ягненком, барашком (el cordero) и употребляя это слово в самом прямом его значении — названии домашнего животного, Кеведо, однако, иронически намекает и на его второй смысл — «невинный агнец», травестируя тем самым христианский культ.

С. 206. *Один посмотрел на другого...* — Строки из романса о смерти дона Алонсо де Агилар.

Каса-дель-Кампо — загородный мадридский парк, место прогулок мадридской аристократии.

С. 207. *Кйнола* — азартная карточная игра.

С. 212. *Валенсуэла* — лошадь берберийской породы.

С. 217. *...ссылаясь на Виданью — свою конкурентку в Алькала и на Пласиосу из Бургоса...* — Имеются в виду действительно существовавшие и осужденные инквизицией по обвинению в колдовстве проститутки.

С. 223. *...употребляя слова Апостола Павла в дурном смысле...* — Далее иронический намек на слова апостола Павла: «...но во избежание блуда каждый имей свою жену...» (Первое соборное Послание к коринфянам, гл. VII).

С. 224. *Лоа* — стихотворный пролог, произносившийся со сцены перед началом спектакля и взывающий к благосклонности зрителей.

Сенат — обычное почтительное обращение к зрителям.

...сочинена... Рамоном... — Рамон Алонсо — испанский драматург второй половины XVI века, весьма восхваляемый Сервантесом, Лопе и другими современниками.

С. 225. *Гарсиласо* — Гарсиласо де ла Вега (1503–1536) — знаменитый испанский поэт, внедривший в испанскую поэзию размеры, жанры и темы итальянской ренессансной лирики (сонет, оду, эклогу и др.)

...имел... успех у мушкетеров... — Мушкетерами названы Бальтасар, Пинедо, Эрнан Санчес де Варгас, Алонсо де Моралес — популярные актеры конца XVI — начала XVII века.

С. 228. *...была родом из Галисии...* — Образ галисийца в литературе XVI–XVII веков встречается нередко — как воплощение глупости и невежества.

...стал покушаться на роль папаши антихриста... — См. об этом во вступ. заметке.

С. 231. *...настоящий субботний стол...* — См. коммент. к с. 53.

С. 235. *...звали его Мата...* — то есть «Убей!» *(исп.* matar — убивать).

С. 237. *...оплакали Алонсо Альвареса.* — См. во вступ. заметке.

С. 238. *...решил... перебраться в Вест-Индию...* — то есть в Америку, так по традиции, идущей от Колумба, называли Новый Свет.

С. Пискунова

«Жизнь Маркоса де Обрегон»
Висенте Эспинеля

В настоящем издании воспроизводится единственный русский перевод романа В.Эспинеля, сделанный историком испанского театра С.С. Игнатовым на рубеже 1920-х–1930-х годов и опубликованный в издательстве Academia (Москва – Ленинград, 1935). В основу перевода положено на тот день новейшее испанское издание «Маркоса де Обрегон», подготовленное С. Хили-Гайя и вышедшее в Мадриде в 1922–1923 гг. Русское издание романа снабжено обстоятельной вступительной статьей и примечаниями переводчика. С.С. Игнатов особо оговорил свое намерение сохранить в транскрипции испанских слов и собственных имен «испанское произношение, иногда очень отличное от установившейся традиции» — речь идет о традиции времен создания перевода. Впрочем, транскрипции, предлагаемые С.С. Игнатовым отличны и от современных принципов транскрибирования (например, совр. кабальеро – кавальеро у И.; Эухенио – Эухеньо – у И.). Не всегда разделяя, но уважая творческие принципы С.С. Игантова, создавшего выдающийся для своего времени памятник русского перводческого искусства, издатели настоящего тома сохранили предложенные Игнатовым написания, но сочли необходимым убрать дефисы после приставки «де» и между составными частями испанских имен собственных, отсутствующие в испанском тексте и применявшихся в русских переводах с испанского для целостной передачи имен типа «Бернандо де Сандоваль и Рохас».

Особую ценность примечаниям С.С. Игнатова, также без правки воспроизвеленных в настоящем издании, придает установление им заимствований у Эспинеля со стороны Лесажа – автора «Жиль Бласа из Сантильяны», рассмотреных в контексте посмертной судьбы «Маркоса де Обрегон».

С. 241. *Бернардо де Сандоваль-и-Рохас* — кардинал и архиепископ Толедский начала XVII в., дядя герцога Лерма (1550–1625), любимца Филиппа III. Жил в Толедо как знатный вельможа, покровительствуя писателям и художникам и затрачивая огромные

суммы на основание монастырей в Толедо и Алькала. Эспинель был одним из писателей, пользовавшихся его покровительством и получавшим от него денежные подарки.

Маэстро Висенте Эспинель. — В 1599 г. Эспинель получил в университете в Алькала-де-Энарес ученую степень магистра (маэстро) искусств.

Дон Гонсало Чакóн — первый граф Касаррувьос. Бедствия, на которые намекает Эспинель, относятся к аресту графа в 1610 г., вызванному его любовными похождениями с одной придворной дамой. Кардинал-архиепископ был очень задет предполагавшимся неравным браком своего зятя и старался расстроить его, заплатив отступное. В тексте термин «брат» употреблен, очевидно, в смысле «муж сестры».

С. 242. *Сан Эухеньо* — архиепископ Толедский (ум. 394), впоследствии канонизированный.

Сан Ильдефонсо (607–669) — один из ученых отцов испанской церкви, архиепископ Толедский, впоследствии канонизированный.

...более семидесяти тысяч дукатов... — Дукат — старинная золотая монета. Доход толедского архиепископа достигал 350–400 тысяч дукатов в год.

Каноник Севильи. — Каноник — соборный священник — должность, обеспеченная значительным доходом и обычно даваемая в порядке «кормления». Каноникат при Севильском соборе считался одним из самых доходных.

Лисенсиат. — См. коммент. к с. 102.

Дон Педро де Эррера в 1617 г. напечатал описание толедской часовни и празднества, устроенного по случаю перенесения в нее изображения Мадонны. Частью этого празднества было поэтическое состязание, в котором участвовал ряд поэтов, — в том числе Эспинель, прочитавший латинскую эпиграмму, которая была затем напечатана в книге Эрреры.

...монастырь... богатый... произведениями искусства. — Монастырь бернардинок в Алькала, основанный архиепископом Толедским доном Бернардо де Сандоваль-и-Рохас.

С. 243. *Луис де Овьедо* — каноник толедского собора, состоявший при дворе архиепископа. Брат Бернардо де Овьедо.

Франсиско Сальгадо де Сомоса (ум. 1644) — адвокат и писатель.

...старшего альгвасила святой инквизиции... — Инквизиция, или «святой трибунал» (Санто офисио), была учреждена в Испании в середине XIII в. для борьбы против различных «ересей».

Статут инквизиции был очень тщательно разработан, и столь же тщательно регламентировано судопроизводство.

Инквизиционный трибунал имел определенный штат должностных лиц, в том числе и своих альгвасилов — низших чиновников с полицейскими функциями. Должность старшего альгвасила считалась почетной.

С. 244. *Тривальдос де Толедо.* — Луис Тривальдос де Толедо (1559–1634), библиотекарь графа-герцога Оливареса, занимал кафедру риторики в университете в Алькала. Писал на латинском и испанском языках.

Фрай Ортенсио Фелис Парависино — Парависино-и-Артеага (1580–1633), королевский проповедник, блестящий оратор и поэт. Друг поэта Гонгоры. Парависино внес в церковную проповедь свойственные поэзии той эпохи изысканность и напыщенность, сложные и часто непонятные образы, игру слов. Имея ученую степень доктора богословия и занимая высокие духовные должности, Парависино неоднократно исполнял цензорские обязанности. Ему принадлежит отзыв о II части «Комедий» Лопе де Вега (1609) и хвалебная оценка «Жизни Маркоса де Обрегон» (1618), о которой он говорит, что «из книг этого рода... эта должна быть напечатана с наибольшим основанием.... Она кажется мне лучшим произведением, какое будет на нашем языке». Парависино был монахом (принадлежал к ордену тринитариев), и этим объясняется титул «фрай» (т. е. брат) при его имени.

Падре Хуан Луис де ла Серда (1560?–1643) — ученый толедский иезуит, известен в качестве комментатора латинских авторов Вергилия и Тертуллиана. Писал также поэтические произведения на испанском языке.

Доминго Ортис де Мандухана был назначен секретарем королевства Валенсии 8 апреля 1600 г.

Верховный совет Арагона был учрежден в конце XV в., когда Арагон вступил в личную унию с Кастилией. Так как король обычно находился в Кастилии, то управление Арагоном совершалось через Совет, состоявший из представителей высшего дворянства и юристов и бывший совещательным органом по делам Арагона при короле. Валенсия входила в состав арагонской короны.

Педро Мантуано (ум. 1656) — историк, клирик. Пользовался большой популярностью и часто цитируется современными ему писателями. Клириками назывались представители белого духовенства (от слова «клир» — «духовенство данной церкви, причт»), в отличие от представителей черного духовенства — монахов.

С. 245. *...согласно совету моего учителя Горация...* — Гораций — латинский поэт I в. до н. э. Гораций говорит об этом в своей «Поэтике». В XVI–XVII вв. Гораций был общепризнанным авторитетом; с его «Поэтикой» Эспинель был, вероятно, хорошо знаком еще до университета, так как он прилежно изучал латынь в Ронде, своем родном городе.

...интермедийными шутками и рассказами... — С середины XVI в. интермедии были излюбленным жанром народного театра. Это короткие пьесы, персонажами которых были слуги, крестьяне, бродяги, воры, часто употреблявшие грубые шутки. Воспитанный на классической литературе, Эспинель смотрит на этот жанр как на низший.

Падре маэстро Фонсека — Кристобаль де Фонсека (ум. 1612 или 1621), монах, с 1566 г. королевский проповедник. Его проповеди славились своим языком. Основные труды Фонсеки: «Трактат о божественной любви» (Саламанка, 1592), основанный на учении Платона и Евангелии, и четырехтомная «Жизнь Христа» (Толедо и Мадрид, 1596–1611). Его «Трактат...» упомянут Сервантесом в прологе к «Дон-Кихоту».

...рассказ о поминальном помосте святого Хинеса... — См. рассказ 1, гл. V.

...счел его своим... — Для той эпохи характерно широкое заимствование не только сюжетов, но даже отдельных эпизодов. В особенности это было принято среди драматургов. Даже такие выдающиеся драматурги, как Кальдерон, не стеснялись заимствовать целые акты у своих предшественников и современников.

Эти слова Эспинеля дали повод к предположению, высказанному в предисловии к мадридскому изданию его романа (1804), что многие эпизоды из этой книги были распространены в рукописях и в таком виде могли попасть в руки Лесажа. Это предположение, однако, излишне, так как еще до рождения французского романиста в Испании было выпущено 5 изданий «Маркоса де Обрегон», и, кроме того, в 1618 г. этот роман вышел во французском переводе.

Ален Рене Лесаж (1668–1747) в своем романе «Жиль Блас де Сантильяна», построенном на материале испанского плутовского романа, широко использовал «развлекательную» часть книги Эспинеля. В связи с этим обстоятельством в конце XVIII в. возник так называемый «вопрос о Жиль Бласе», длительный спор, начало которому положил Вольтер указанием, вызванным личной неприязнью к Лесажу, что роман последнего целиком взят из испанского романа под заглавием «Жизнь эскудеро Маркоса де Обрегон». В 1787 г. в Мадриде вышел сделанный иезуитом Исла испанский перевод «Жиль Бласа» под заглавием: «Приключения Хиля

Бласа де Сантильяна, похищенные у Испании и присвоенные во Франции Лесажем; возвращенные своему отечеству и родному языку ревностным испанцем, который не мог стерпеть, чтобы смеялись над его народом». В предисловии Исла замечает, что роман заимствован из испанского оригинала, однако не называет его.
Замечание Вольтера и перевод Исла породили яростную полемику, очень подробно изложенную в книге: L. Claretie. Lesage romancier. Paris, 1890.
Испанского оригинала, который мог бы послужить основой для «Жиль Бласа», никогда не существовало. Но во времена Лесажа испанская литература была очень распространена во Франции и хорошо знакома Лесажу, который широко использовал и плутовской роман, и испанскую драматургию. Уже Л. Тик в предисловии к своему переводу «Жизни Маркоса де Обрегон» (Бреславль, 1827) указывает источники французского романа, помимо Эспинеля. В настоящее время признано, что роман Лесажа является вполне оригинальным произведением, для которого были использованы не только произведения художественной литературы, но и большое количество работ исторических, географических, описаний путешествий, что дало возможность Лесажу настолько верно изобразить Испанию, что сами испанцы приняли роман за плагиат. Все эпизоды, заимствованные у Эспинеля, оговорены в соответствующих примечаниях.

С. 246. *...подвигов, совершенных испанцами во Фландрии...* – Фландрия – область, перешедшая под власть испанской короны по наследству от бургундских герцогов при Карле I (1517–1555), в настоящее время это название части Бельгии. В XVI в. обычно под Фландрией разумелись все владения Испании в области теперешних Бельгии и Голландии.
Луис де Кабрера – Луис Кабрера де Кордова (1559–1623), секретарь герцога Осуна, неаполитанского вице-короля. Участвовал в походе на Мальту, в постройке «Непобедимой армады» (флот, направленный против Англии, но погибший от бури), несколько раз был во Фландрии, состоял при Филиппе II в последние годы его жизни, а после смерти короля сделался секретарем королевы. Говоря о «Совершенном государе», Эспинель имеет в виду одну из его книг.
Дон Педро Энрикес граф де Фуэнтес (1525–1610) – генерал, в 1592 г. был отправлен во Фландрию, с 1595 г. – наместник этих провинций. Его боевые качества особенно проявились в битвах с французами, у которых им были взяты Камбрэ, Амьен и др. города.

Амьен (город во Франции) был взят испанцами в 1597 г., но в том же году был вновь занят французским королем Генрихом IV после четырехмесячной осады.
Дон Диего де Вильяловос – капитан дон Диего де Вильяловос-и-Бенавидес, уроженец Мексики, был участником войны в Нидерландах и оставил «Записки о событиях, происшедших в Нидерландах и Фландрии с 1594 по 1598 год» (Мадрид, 1612).
...на событиях в Мáмора... – Мáмора, ныне Мехдиа, в Марокко в XVII в. была одним из центров деятельности турецких и берберских пиратов. Чтобы очистить от пиратов средиземноморские торговые пути, Филипп III снарядил в 1617 г. экспедицию против турок и марокканцев. Во время этой экспедиции Мáмора была взята после ожесточенного морского боя.
Дон Франсиско де ла Куэва – Франсиско Альберто де ла Куэва, юрист и монах, умер в первой половине XVII в. Известен как блестящий оратор, напечатавший в 1624 г. одну из своих проповедей, произнесенных в соборе Барселоны.
Лисенсиат Беррьо – Гонсало Матео де Беррьо (ок. 1554 – ?), поэт, юрист и оратор, очень часто упоминаемый современными ему писателями (Сервантес, Лопе де Вега и др.). Сохранилось только несколько его стихотворений.

С. 247. *Антекера* – город в Андалусии, в провинции Мáлага. Притча о студентах из Антекеры заимствована у Эспинеля Лесажем и в измененном виде приведена во втором предисловии к «Жиль Бласу».
...любовников из Антекеры... – Эта притча основана на легенде, связанной со скалой на полпути между Антекерой и Арчидоной, называемой «Скалой влюбленных». Падре Мариана в своей «Истории Испании» (кн. 19, гл. 22) рассказывает эту легенду как исторический факт. В Гранаде в плену у мавров находился молодой христианин. В него влюбилась дочь хозяина; она открылась ему; он ответил взаимностью; они решили бежать из Гранады и укрыться в одном из пограничных кастильских городов. Достигнув скалы, которая стала потом известна под названием «Скалы влюбленных», они остановились отдохнуть. Здесь их настиг отец мавританки с несколькими всадниками. Видя безвыходность положения, любовники обнялись и бросились со скалы на глазах разгневанного отца. С тех пор «Скала влюбленных» и получила свое название.
На могилу любовников была положена каменная плита с упоминаемой Эспинелем латинской надписью об их любви, а также о драгоценной жемчужине на шее у мавританки.

Эскудо – золотая или серебряная монета, называвшаяся так потому, что на ней был выбит герб (escudo), и имевшая в разное время различную ценность.

С. 249. *Санта-Каталина-де-лос-Донадос* – коллегия и приют на 12 человек, комплектовавшийся из старых и больных обедневших представителей аристократии, имевших какие-либо заслуги. Это место романа отнюдь не является автобиографическим, вопреки мнению некоторых исследователей. В действительности Эспинель в 1599 г. получил должность капеллана и руководителя хора при капелле епископа Пласенсии, получая за это 42 тыс. мараведи в год, т. е. около 1300 реалов. Эти должности и жалованье он сохранял до самой смерти, так что о его бедственном положении и жизни в приюте не приходится говорить.

С. 251. *...которым я лечу глаза...* – шутливый намек на обилие в Мадриде нищих, притворявшихся слепыми.

Глава. – В подлиннике каждый рассказ делится на «descansos». Это слово значит «отдых, остановка, опора, площадка на лестнице». В переводе это слово заменено везде более привычным словом «глава».

С. 252. *...дон Габриэль Сапата...* – Анекдот о разбуженном для поединка дворянине заимствован у Эспинеля Лесажем («Жиль Блас», кн. 3, гл. VIII, где он составляет часть большого эпизода).

Дон Фернандо де Толедо – один из представителей знатной испанской фамилии, с которым Эспинель был дружен во время пребывания во Фландрии и на галерах которого возвратился в Барселону из Италии (из Савоны).

С. 253. *...постичь круги и центры...* – В начале XVII в. было издано несколько книг, авторы которых стремились построить систему фехтования на основе математики, указывая геометрические линии, по которым должно направлять клинок.

С. 254. *...певца епископской капеллы...* – Имеется в виду капелла епископа Пласенсии, руководителем хора которой был Эспинель.

С. 255. *...называя вас красивой... не христианка...* – Игра слов: употребленное в подлиннике прилагательное «gentil» имеет два значения: «изящный, красивый» и «языческий».

С. 256. *...Галены...* – Клавдий Гален, римский врач II в., известный работами по анатомии и физиологии. Пользовался большим авторитетом до конца XVII в.

...ни в черной, ни в белой... – техническое выражение фехтовальщиков: черной шпагой называлась фехтовальная, белой – боевая шпага. См. также коммент. к с. 671.

...по обычаю... говорили ей... о... стройности... – Говорить проходящим женщинам комплименты в Испании никогда не считалось предосудительным; этот обычай удержался там до настоящего времени.

С. 257. *Стихарь* – короткая белая одежда из тонкого полотна, надеваемая служителями католического культа во время церковной службы.

С. 258. *...учителя танцев...* – Испанки XVI–XVII вв., часто не умея читать и писать, обучались танцам. Со второй половины XVI в. появляется огромное количество танцев, входивших также обязательной составной частью в театральные представления.

С. 260. *Патио* – внутренний двор. Дома в Испании обычно располагались в виде четырехугольника, у которого на улицу были обращены только зарешеченные окна и входная дверь и внутри которого иногда была галерея. Свободное пространство посередине, без крыши, и называлось патио.

С. 263. *...в Караманчеле...* – Караманчель – селение вблизи Мадрида.

С. 265. *...разбойники срывают с меня плащ!* – Срывание плащей было в те времена явлением, очень распространенным в Мадриде. Особая категория воров занималась этими кражами, требовавшими большой ловкости и быстроты. Появился даже специальный глагол для обозначения этого действия: «capear».

С. 266. *...ангел с орлиными ногами...* – дьявол.

С. 267. *...ел, словно ястреб с руки...* – Есть с руки, т. е. униженно, не садясь за стол, без прибора; по отношению к птицам это выражение указывает на кротость, прирученность. Здесь игра на двойном значении выражения.

...проход у Святого Андрея... – Узкие темные улицы в испанских городах той эпохи были небезопасны. Экономический кризис, переживаемый страной, и, в частности, упадок земледелия, гнал в города множество людей, лишившихся заработка. Они пополняли шайки воров и разбойников, бродивших по всей стране.

С. 269. *Покаянные четки* – особый вид четок, по которым молятся за спасение душ, находящихся в чистилище, так как папа присвоил этим четкам значение индульгенций (отпущения грехов); продажа их была одним из способов церкви выкачивать деньги из населения католических стран.

...было у него немного. – Эпизод с доньей Мерхелиной в несколько измененном виде был заимствован Лесажем («Жиль Блас», кн. 2, гл. VII).

С. 270. *...сколько ни происходит убийств...* — Речь идет о дуэлях, часто возникавших по пустячным поводам, из-за выражений, которые считались затрагивающими честь.

С. 271. *Мулильи* — распространенные в начале XVII в. женские цветные туфли с остроконечными загнутыми кверху носками и высоким задником, без каблуков. Первоначально это была обувь римских патрициев, позднее ее носили папы и папские легаты.

С. 275. *Ипохондрические части* — внутренности верхней части брюшной области (анатомический термин той эпохи).
Ливор — кровоподтек.
...полуденный артур вступит... кровь печени извергнется. — Набор слов, при помощи которого Маркос высмеивает пристрастие врачей пользоваться непонятными для окружающих терминами, когда их вполне можно заменить простыми и понятными словами.
...белой мази... — Под этим названием разумелась цинковая мазь.
...фрикации нижних частей... — Опять пародирование врачебного жаргона той эпохи; речь идет о растирании живота.

С. 276. *...эксонерацией желудка...* — облегчением желудка.
Граф Лемос, дон Педро де Кастро. — Педро Фернандес де Кастро, граф Лемос, маркиз Саррья (1576–1622) был одним из испанских магнатов, оказывавших широкое покровительство испанским писателям. На службе у этого вельможи Эспинель провел четыре года, находясь в его свите в качестве эскудеро.
...в Галисии... — Галисия — испанская провинция в северо-западной части полуострова.
...золотых дел мастер или что-нибудь другое? — Весь этот разговор построен на игре фонетически близких между собой слов: «orifice» — «золотых дел мастер» и «orificio» — «отверстие, уста».

С. 277. *...по-кастильски...* — Литературный испанский язык развился на основе диалекта Кастилии.
Неотерики. — Неотериками называли в испанских университетах новых писателей и ученых, в отличие от классических; здесь имеются в виду последователи новых теорий в медицине.
...чем мы и пользуемся. — Медицина в XVII в. была необычайно бедна научными исследованиями, почти вся медицинская литература была наполнена схоластическими спорами. Только в школах Севильи сохранялась унаследованная от XVI в. научная традиция, основанная на наблюдении.

На основе этих высказываний доктора Сагредо и материала французской действительности Лесаж создал образ своего доктора Санградо в «Жиль Бласе».

С. 278. *Гиппократ* (460–377 гг. до н. э.) — греческий врач, своими основанными на наблюдениях сочинениями положивший начало научной медицине.
...пульса с интеркаденциями. — Врачи придавали большое значение перебоям пульса, при которых между двумя нормальными ударами был лишний удар. Это явление считалось в те времена смертельным.
...преобладающие соки... — Медицина того времени считала, что всякое живое тело питается и поддерживается принадлежащими к его физической структуре соками; преобладание того или иного сока определяет характер человека.
...у меня еще больше дерзости... — Игра слов: «licenciado» — «лиценсиат» и «licencioso» — «дерзкий».

С. 279. *...ваша высокопреосвященная сеньория...* — Сеньория — обращение, близкое к формуле «ваше превосходительство», «ваше преосвященство»; Эспинель обращается к толед-скому архиепископу, которому посвящена книга; такие отступления попадаются несколько раз.

С. 281. *...поставить ногу ей на затылок* — фигуральное выражение, обозначающее «держать в руках при помощи угрозы разоблачить тайну».

С. 282. *...кусты козерога...* — Козерогом в просторечии называются два дерева — дикий инжир и один из видов фисташкового дерева (Pistacia Terebinthus); здесь, по-видимому, имеется в виду первое.

С. 283. *...темя у случая...* — Случай изображается плешивым. Это выражение было очень распространенным и в просторечии, и в литературе. Оно основано на басне латинского баснописца Федра (30 г. до н. э. — 44 г. н. э.) «Occasio depicta» (кн. V, басня VIII):

> Cursu volucri pendens in novacula
> Calvus, comosa fronte, nudo corpore...
>
> Летун проворный на ноже колеблется
> с вихром на лбу, плешивый, обнаженный весь.
>
> *(Перев. Ф.А. Петровского)*

С. 284. *...португальское черное дерево.* — Черное дерево названо португальским, потому что португальцы вывозили его из Индии.
...похожей на повешенную сороку. — В оперении сороки перемешаны черные и белые цвета.

...как лиса с ослом из Кум... — персонажи из популярной басни древнегреческого баснописца Эзопа (620–560 гг. до н. э.).

С. 285. *...на расстоянии восьми пунктов...* — Пункты — старинные нотные знаки; количество пунктов обозначало различие в высоте звука.

...в квартале Сан-Хинес... — Один из старинных кварталов Мадрида.

С. 286. *...когда кончился шум спринцовок и ударов апельсинами.* — Во время карнавала было в обычае обрызгивать друг друга водой из спринцовок и перебрасываться апельсинами.

...собачье мученье, причиняемое привязанными палками... — Во время карнавала мальчишки привязывали собакам к хвосту короткие палки, куски железа, погремушки и т. п.; от этого животные метались по улицам, увеличивая карнавальный шум.

...коржиков... — Речь идет о печенье, приготовлявшемся из муки, яиц и сахара в виде различных фигур и жаренном в сливочном или оливковом масле.

...идет ронда... — Ронда — полицейский патруль, обходивший улицы с наступлением темноты.

Катафалк для поминовений и погребений — помост, на котором помещался гроб и около которого совершалась заупокойная служба.

С. 287. *...томящихся в чистилище...* — Согласно католическому верованию, помимо рая и ада есть еще промежуточная стадия — чистилище, где пребывают и очищаются от грехов души умерших, недостойных быть допущенными непосредственно в рай; при этом молитвы и в особенности денежные пожертвования родственников сокращают пребывание души умершего в чистилище и ускоряют переход ее в рай.

...за гвоздь голгофы... — У католиков есть обычай ставить на улицах — иногда в стенных нишах — кресты или небольшие алтари в память шествия Иисуса на Голгофу; такие кресты назывались также голгофами.

...по горам и обрывам Сьерра-Морены. — Сьерра-Морена, или Марианика, — горная цепь, разделяющая Кастилию и Андалусию.

С. 290. *...многословию диалектики...* — В данном случае слово «диалектика» употреблено в его первоначальном значении, какое оно имело у греков: «искусство диалога, уменье спорить, вскрывая противоречия в утверждениях противника». Диалектике, которая в этом смысле представляет собой схоластический, чисто словесный метод познания, Эспинель противопоставляет опыт как единственный правильный путь к научному познанию.

С. 292. *...этих королевств...* — См. коммент. к с. 244 («Верховный совет Арагона»).

Майорат — имение, остающееся неделимым и переходящее всегда к старшему сыну. Этим эпизодом Эспинель высмеивает тщеславие и беспочвенные мечтания идальго, ожидающего, когда случай выведет его из бедности.

С. 293. *...отправился в Берберию...* — См. коммент. к с. 692.

С. 295. *Эскарола* — культивированный цикорий.

...патио Советов... — Советы были высшими совещательными органами в стране и состояли из представителей аристократии, высшего духовенства и ученых-юристов. Наиболее важным был Королевский совет, далее шли Совет Арагона, Совет Италии, Совет Индий и др.

...в городе Гибралтаре... — Город на Пиренейском полуострове у Гибралтарского пролива, стратегический пункт, запирающий вход в Средиземное море; с 1704 г. принадлежит Англии.

...македонский царь... — Филипп, отец Александра Македонского (IV в. до н. э.).

С. 299. *...петушиную игру...* — См. коммент. к роману «История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

...появился в своем каписайо... — Каписайо — короткая одежда, надевавшаяся через голову и заменявшая одновременно и плащ («capa»), и камзол («sayo»), чем и объясняется ее название.

...поверх сутаны... — Сутана — одежда духовных лиц; ее носили также студенты.

Эскулап — в греческой мифологии бог врачебной науки, сын Аполлона.

Морато Арраэс — знаменитый пират или разбойничий атаман; его упоминает также Лопе де Вега, но жил ли он в действительности — неизвестно.

Non te peto, piscem peto, cur me fugis, galle? — Во время боев гладиаторов в Древнем Риме с этими словами обращался к своему противнику ретиарий, т. е. гладиатор, вооруженный сетью, которую он старался набросить на вооруженного мечом противника. В данном случае педантизм фразы заключается в игре словом «gallus», что значит и «галл», и «петух».

С. 301. *...чтобы он не бросал... то, что плохо усвоено...* — Сравнение из области соколиной охоты, когда, сняв с головы охотничьей птицы колпачок, ее бросают на добычу; далее в тексте — сопоставление воспитания кабальеро с воспитанием соколов.

...это слово слагается из слов cabal и hero, что по-латыни значит сеньор. — Филологические рассуждения Маркоса не следует принимать всерьез. Эспинель был хорошим латинистом; устами своего героя он высмеивает здесь распространенное в его время объяснение слова «кабальеро». «Cabal» по-испански значит «совершенный», «héroe» (лат. hero) — «герой»; в действительности слово «кабальеро» происходит от испанского глагола «caballear» («ехать верхом»), в свою очередь происходящего от «caballo» («конь»), и его буквальное значение — «ездящий верхом», «всадник».

С. 302. *...кабальеро назывался бы также и продавец свежей рыбы или погонщик, перевозящий макрелей от моря...* — Здесь «кабальеро» берется в значении «едущий верхом», безразлично — на коне, на муле или на осле.

...бастион и называют кабальеро... — Слово «кабальеро» имеет также техническое значение и употребляется в фортификации, обозначая в этом случае часть внутреннего укрепления, возвышающуюся над остальными и имеющую целью защищать своим огнем другие части или господствовать над ними, если они будут заняты неприятелем. «Называется "кабальеро", потому что как человек на коне господствует над всеми пешими, так и этот кабальеро господствует над всей крепостью и над неприятелем», — поясняет в своем словаре Коваррувьяс (1611).

С. 303. *...на Сеговийском мосту...* — Один из мостов через Мансанарес в Мадриде, через него идет дорога на Сеговию.

...по направлению Каса-дель-Кампо... — Охотничий домик, построенный в разбитом по приказанию Филиппа II большом парке на правом берегу Мансанареса, поблизости от Сеговийского моста.

...с двумя бурдюками вина из Сан-Мартина... — «Вино святого», или вино из Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас (городок недалеко от Мадрида), — одно из наиболее прославленных испанских вин.

С. 307. *...более продырявленную, чем крышка песочницы...* — Имеется в виду песочница, употреблявшаяся в старину для посыпанья песком написанного чернилами, что заменяло промокательную бумагу.

...а сама редька — желудочной печатью. — Желудочная печать — пища, съедаемая напоследок.

С. 308. *...когда его приглашал герцог Альба...* — фраза, подчеркивающая хвастовство опустившегося идальго. Здесь имеется в виду герцог Альба (1508–1582) как один из представителей высшей знати.

...по тому, что он задерживался, мне казалось, что я уже служу во дворце. — Намек на испанскую поговорку: «Дела во дворце делаются медленно».

С. 310. *...я роздал все деньги присутствовавшим при выигрыше.* — Существовал обычай, согласно которому выигравший отдает часть выигранной суммы присутствующим при игре зрителям; по большей части это были обнищавшие идальго, не имевшие возможности играть и готовые поживиться на чужой счет; в ответ они при возникавших спорах выступали свидетелями на стороне давшего им подачку.

С. 312. *...душа картонного великана...* — Неясное выражение, может быть, намекающее на картонную фигуру великана, которую несший ее оставлял у входа в таверну; такие фигуры были обычными персонажами в различных процессиях.

С. 314. *День блаженного Сан Исидро.* — Сан Исидро (1082–1170) был почитаем как покровитель Мадрида, его родного города; он был работником у одного крестьянина и женился на благочестивой девушке, Марии де ла Кавеса, которая тоже почитается святой; о его жизни сложено много легенд, по одной из которых ангелы являлись выполнять за него полевые работы; в посвященный ему день — 15 мая — устраивались ярмарка и народное гулянье.

...экипажей и парадных карет... — В них жители Мадрида съезжались на гулянье в праздник Сан Исидро.

...флот Сантандера, имевший такой прекрасный вид и такую несчастную судьбу. — Речь идет о флоте, который формировался в 1574 г. в Сантандере, гавани на берегу Бискайского залива; этот флот современники рассматривали как угрозу Англии, как первую попытку «Непобедимой армады». Эспинель бросил университет и вступил в один из отрядов, которые должны были отправиться с этим флотом, но эпидемия помешала флоту выйти из гавани; оставшиеся в живых разошлись по домам, в том числе и Эспинель. Цель и назначение этого флота держались в тайне и остаются неизвестными.

Когда я достиг середины моста... — Перерыв в изложении объясняется, по-видимому, пропуском или порчей текста, воспроизводимого в таком виде всеми изданиями.

С. 315. *Бернардо де Овьедо* — упоминавшийся в посвящении один из приближенных толедского архиепископа; в этом эпизоде можно усмотреть заискивание перед любимцем духовного магната. Аналогично и упоминание дальше Луиса де Овьедо.

Маэстро Франко – упоминается Эспинелем без всякого пояснения. По-видимому, это маэстро Франко Алонсо, священник церкви Сан-Андрес в Мадриде, которого Эспинель упоминает в своем завещании и которого он назначил своим душеприказчиком.

...ваша милость – это Александр и Сципион – то есть великодушный и храбрый. Выражение, распространенное в литературе той эпохи, иногда употреблявшееся и в ироническом смысле. Александр – разумеется Александр Македонский, Сципион – римский полководец (III–II вв. до н. э.).

С. 316. ...во *время игры в мальо или труко...* – Мальо – популярная в Испании игра в крокет; труко – род бильярда. Коваррувьяс в 1611 г. говорит о труко как об игре, недавно занесенной из Италии.

Кончая этот разговор с отшельником... – Между этими словами и предшествующим текстом – новый разрыв в рассказе, также встречающийся во всех изданиях.

С. 317. *...из Ронды...* – Ронда – город в Южной Испании, к западу от Малаги, родина Эспинеля.

С. 318. *...учитель грамматики, по имени Хуан Кансино...* – Учитель Эспинеля в Ронде, по-видимому, оказавший большое влияние на своего ученика.

С. 319. *...шпагу из Бильбао...* – Бильбао – порт и столица Бискайи, на берегу Бискайского залива; центр железной и стальной промышленности; в старину славился своими клинками.

Я отправился в Кордову... – Кóрдова – один из крупнейших городов Андалусии (южной части полуострова) на пути в Саламанку. Дорога, описываемая Эспинелем, была одним из основных торговых трактов, соединявших земледельческий юг полуострова с промышленным севером.

...прибыл туда в целости... – Непереводимая игра слов: Маркос говорит, что он разделился для Кóрдовы, однако прибыл туда целым. Употребленный Эспинелем глагол «partirse» имеет значение «отправляться» и «разбиваться, разделяться».

...там часто бывает погонщик мулов из Саламанки... – Во времена Эспинеля путешествие по Испании было очень сложным. Дороги, пролегавшие часто по пустынным и гористым местам, были местом деятельности многочисленных шаек разбойников. Путешествие было очень длительным. Только знать могла ехать самостоятельно, пользуясь охраной собственных вооруженных слуг. Обычно путники – купцы, студенты, актеры – пользовались услугами погонщиков мулов, которые ходили со своими караванами между определенными пунктами; этот способ передвижения был очень медленным, но доставлял известную безопасность от нападения и грабежей. Обычно в таких случаях собиралась группа путников, которая за известную плату присоединялась к каравану погонщика. Если караван шел порожняком, можно было пользоваться животными каравана; если же он шел с грузом, путникам приходилось нанимать мулов для своих вещей, а самим идти пешком, отчего путешествие еще больше замедлялось.

...направиться в названный университет. – Саламанкский университет был главным центром научной мысли в Испании той эпохи.

С. 321. *...в дороге и в вентах...* – Вента – постоялый двор, корчма.

... пол-асумбры лучшего вина... – Асумбра – старинная мера жидкостей, равная 2,16 литра.

С. 322. *...чтобы видеть вас на виселице.* – Эпизод с мошенником заимствован у Эспинеля Лесажем («Жиль Блас», кн. 1, гл. II).

...оделся в короткую сутану и черный ферреруэло... – обычная одежда студентов; ферреруэло – короткий плащ с одним воротником, без капюшона.

...из очень красивого сеговийского сукна, тканого в двадцать две... – В Испании была очень развита суконная промышленность; особенно славилась работа ткачей из Сеговии; сукно различалось по количеству нитей, и выражение «тканого в двадцать две» обозначает, что основа была в 2200, или в 22 сотни, нитей.

С. 325. *...пробывший многие годы на галерах...* – Галерами назывались легкие морские суда, приводившиеся в движение веслами, расположенными иногда в два ряда (паруса употреблялись только при попутном ветре). Осуждение на галеры соответствовало ссылке на каторжные работы.

С. 327. *...отправившись к алькальду...* – См. коммент. к с. 95.

...подобрать усталых и голодных студентов. – Этот эпизод использован Лесажем в «Жиль Бласе» (кн. 1, гл. III). Лесаж заставляет своего героя сразу попасть в руки разбойников.

С. 330. *...на полтора локтя...* – Локоть – очень распространенная в старину мера длины, равная 84 сантиметрам.

С. 331. *...Горе одинокому! Ибо если он упадет, некому помочь ему подняться!* – Несколько измененный библейский текст, см.: Екклезиаст, 4,10: «Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».

С. 332. *Я увидел эти четыре столпа, на которых опиралось господство над всей Европой, — основы, защищающие католическую истину.* — По-видимому, Эспинель имеет в виду четыре главных коллегии университета или же основные кафедры университета. Саламанкский университет в ту эпоху был одним из мировых центров культуры и привлекал большое количество студентов. Основной контингент студентов давало дворянство, в частности идальгия. Преподавание имело религиозный уклон. Центром гуманистической культуры был другой университет, в Алькала-де-Энарес, основанный в начале XVI в.
Я увидел отца Мансьо... — Мансьо (1497–1576) — богослов, занимавший кафедру в университете.
Я увидел аббата Салинас, слепца... — Франсиско де Салинас (1513–1590) занимает чрезвычайно видное место в истории испанской музыки. Ослепший в 10-летнем возрасте, он, благодаря своей необычайной энергии и жажде знания, смог изучить математику, древние языки и стать блестящим знатоком и теоретиком музыки. Эспинель с необычайной почтительностью отзывается о Салинасе в нескольких местах своего романа.
...не только в родах диатоническом и хроматическом, но также и в гармоническом... — Имеются в виду три различных основы построения старинной музыки, в настоящее время не употребительные.
...Бернарда Клавихо, ученейший в знаниях и творчестве (ум. 1626) — был преемником Салинаса по кафедре, которую занимал с 1584 по 1605 г.
Начав пить воду из Тормеса... — Тормес — река, на которой расположен город Саламанка.

С. 333. *...профессора примы...* — Так назывался профессор, ведший в университете свои занятия в первые утренние часы.

С. 335. *...это — живет — есть форма причастия, то есть, значит, кому надлежит вода...* — В подлиннике не поддающаяся переводу игра слов, построенная на произношении интервокального b как v: «de vida» («в жизни», «живет») по произношению совпадает с причастием «debida» («долженствует», «надлежит»).

С. 336. *...я съел шесть пирогов по восемь...* — Неясно, какую стоимость пирогов имеет в виду Эспинель: вероятно, 8 мараведи.
...в... паштетной, находившейся в десафьядеро. — Десафьядеро — укромное место, где можно без помехи устраивать поединки.
...наименее лишенным королевских гербов... — то есть денег, так как на монетах выбивался королевский герб.

С. 338. *Так же хорошо принимаются басни Эзопа, как и военные хитрости Корнелия Тацита.* — Эзоп — греческий баснописец VI в. до н. э. Тацит — римский историк I–II в. Эспинель противопоставляет их как представителей различных жанров, одинаково могущих служить поучительным целям.
...прошел, совершая обход, коррехидор... — Коррехидор — главное административное лицо в городе, градоначальник с широкими судебно-административными полномочиями, назначавшийся королем; его юрисдикция не распространялась на университет и на студентов, так как университеты были автономны и обладали собственным судом.
Я снял шляпу и открыл лицо... — Испанцы имеют обыкновение закрывать нижнюю часть лица плащом, чтобы не дышать холодным воздухом.

С. 339. *...более учтивыми, чем мексиканского индейца.* — Намек на униженное положение индейцев, превращенных в рабов.
...шпаг, отнятых у каких-то бродячих школяров... — Бродячие студенты были характерным явлением средних веков, но традиция перехода из одного университета в другой удерживалась и долго позже; отобрание у них шпаг городскими властями указывает на отношение к ним как к бродягам; коррехидор не делает различия между своим личным имуществом и казенным, каким являются отобранные шпаги, расплачиваясь ими за угощение студентов.

С. 340. *...место в коллегии Сан-Пелайо...* — Студенты разделялись на несколько категорий по степени их материальной обеспеченности. Некоторые жили на собственных квартирах, другие пользовались студенческими квартирами или пансионами, где питались впроголодь; наиболее обеспеченным было положение тех, кто попадал в одну из коллегий, что было равносильно получению стипендии. Получение Маркосом места в коллегии Сан-Пелайо — автобиографическая деталь, относящаяся ко вторичному пребыванию Эспинеля в Саламанке.
...состоит в Верховном совете инквизиции... — Один из советов при короле, ведавший делами инквизиционного трибунала.
...епископом Вальядолида. — Вальядолид был столицей Испании в 1600–1605 гг. Это крупный промышленный город в Северной Испании.
...каждую субботу у нас бывали конклюзии... — публичные диспуты на тезисы богословские, юридические, канонические, философские и медицинские. Этот средневековый обычай удержался в духовных школах и позже, в качестве средства развития в учащихся умения спорить, находчивости и ораторских способностей.

...занять место капеллана. — Биографическая подробность: по возвращении Эспинеля из Саламанки в Ронду в 1572 г. его родственники учредили здесь капелланство, а сам он был назначен капелланом; с этого и началась его духовная карьера.

...малой населенности Сьерра-Морены... — Центр Пиренейского полуострова представляет собой каменистое плато, открытое для резких ветров, с континентальным климатом и малоплодородной почвой; поэтому население здесь сосредоточено, главным образом, в городах; особенно пустынны были горные местности, где было невозможно земледелие. К таким местам относится горная местность Сьерра-Морены.

...после Инохосы... — Инохоса — городок на северных предгорьях Сьерра-Морены; через него проходил кратчайший путь из Саламанки в Кордову.

...я прошел через Толедо и Сьюдад-Реаль... — Толедо расположен на горе, у излучины реки Тахо, что делало его важным стратегическим пунктом во время войны с маврами; город изобилует замечательными архитектурными и другими памятниками искусства, так что понятно желание любознательного Маркоса — Эспинеля посетить его, хотя бы сделав для этого крюк. Сьюдад-Реаль — укрепленный город, построенный в XIII в. для защиты путей сообщения между Кастилией и Андалусией.

С. 341. *Альмодóвар-дель-Кампо* — небольшой город к юго-западу от Сьюдад-Реаля; в его окрестностях — серебряные и свинцовые рудники.

...дальше от Новых Вент... — Новые Венты — название постоялого двора.

С. 342. *...принадлежали к разряду шулеров, которые среди них называются донильеро.* — Донильеро — шулер, завлекающий и угощающий тех, кого намечено вовлечь в игру.

С. 343. *...мы разыграем его в кúнола...* — Кúнола — карточная игра, состоящая в том, чтобы подобрать четыре карты одной масти, которые и называются кúнола; если кúнола оказывается у нескольких игроков, то выигрывает тот, у кого она дает большее число очков.

...больше лет, чем листов у Калепино... — Амброзио Калепино (1435–1511), итальянский монах, составил латинский словарь, озаглавленный «Рог изобилия». Этот обширный труд был известен больше под именем автора, чем под своим заглавием.

С. 345. *...глаза были похожи на прорезы в колпаках кающихся...* — В процессиях, которые церковь устраивала Великим постом, кающиеся появлялись в конусообразных колпаках, доходивших до плеч и закрывавших лицо; для глаз были сделаны узкие прорезы; в контексте сравнение указывает на невыразительность и некрасивость глаз.

...вышла из беды графов де Каррьóн. — Графы де Каррьон, зятья Сида (см. коммент. к с. 153), были вызваны на поединок и убиты за дурное обращение со своими женами. Старинные романсы рассказывают, что они испугались убежавшего из клетки льва, причем старший, Диего, спрятался в такое место, что его пришлось потом окуривать благовониями.

С. 346. *...похожее на коровье брюхо с его сумахом...* — Сумах — растение, содержащее много танина и употребляемое для дубления кожи.

...которое может служить козырем... — В подлиннике «malilla», термин карточной игры в ломбер (по-испански «омбре»), обозначающий старшую карту в различных сочетаниях. Испанская колода состоит из 48 карт; масти и фигуры в ней носят отличные от общепринятых названия.

С. 449. *...кто крадет у вора, и т. д.* — начало поговорки: «Кто крадет у вора, тот сто дней (или сто лет) пользуется отпущением грехов».

...бросили кошек на стол... — Из кошачьих шкур делались кошели; в разговорной речи такие кошели назывались просто кошками; потом этот термин распространился на всякий мешок для денег.

...если бы они были альгальскими... — Альгальскими называются кошки, имеющие особые железы, выделяющие ароматическое вещество, которое называется «альгалия» и применяется в парфюмерии.

...ибо кесарю возвращено то, что ему принадлежало. — Намек на приписываемое Евангелием Иисусу выражение «кесарево кесарю».

С. 452. *Мы прибыли в Конкисту...* — Конкиста — городок в горах между главным хребтом Сьерра-Морены и хребтом Сьерра-Мадроны, в отрогах последней.

...произносивший латынь как галисиец. — В Галисии говорят на одном из диалектов португальского языка, сильно отличающегося фонетически от испанского; Эспинель намекает на неправильное произношение латыни.

С. 453 *...по имени Хуан де Лусон...* — земляк и друг Эспинеля, упоминается также в конце XX главы.

С. 455. *...какой произошел с автором этой книги на пути из Саламанки...* — Дальнейший рассказ о разбойниках нарушает хронологическую последовательность событий, которой Эспинель всюду тщательно придерживается. Путешествие, во время кото-

рого рассказывается этот эпизод, относится к 1572 г., а узнавание разбойников произошло через 22 или 23 года, т. е. в 1594 или 1595 гг., когда Эспинель действительно был в Ронде. Этот необычайный для нашего автора анахронизм заставляет предположить здесь позднейшую вставку, тем более что Эспинель, ведя весь рассказ от имени Маркоса, здесь прямо говорит, что данный случай произошел с «автором этой книги»; это и послужило, между прочим, одной из причин для необоснованного отождествления автора и героя. Весь характер вставки, в сопоставлении со значительной долей автобиографичности рассказа о юношеских годах Маркоса, позволяет все же предполагать, что эпизод с разбойниками и даже финальное узнавание не были вполне выдуманными.

Этот эпизод воспроизведен Лесажем со значительными изменениями («Жиль Блас», кн. 1, гл. III и IV).

...столкновение, которое имел коррехидор дон Энрике де Боланьос с университетом... — Имеется в виду студенческая забастовка, вызванная арестом одного из наиболее уважаемых профессоров, монаха — поэта фрай Луиса де Леона, в 1572 г. и повлекшая за собой временное закрытие университета. Связанный с этим перерыв занятий вызвал первое путешествие Эспинеля в Ронду для принятия капелланства.

С. 456. *...молотил дорогу по-апостольски* — пешком и без денег.

С. 358. *...охотниками за мертвыми и начиненными кошками...* — то есть за кошельками.

...наградил его Филипп Второй... — Эспинель имеет в виду свое назначение капелланом королевского госпиталя в Ронде. Это назначение было им принято без особенной радости, и он не спешил покинуть Мадрид.

С. 360. *...открылся взорам Адамус...* — маленький городок к северо-востоку от Кордовы, расположенный на южных склонах Сьерра-Морены.

...в юрисдикции маркиза дель Карпьо. — Королевский абсолютизм уничтожал лишь те феодальные привилегии, которые грозили ему самому, но сохранял права помещиков по отношению к населению их владений. К числу таких прав относится и юрисдикция (право суда) в своих владениях. Этот термин употребляется и метонимически, обозначая сами владения данного лица.

...знаменитой в древности благодаря Елисейским полям, месту упокоения блаженных дуги. — Елисейские поля (Элисиум) — загробное местопребывание блаженных душ, согласно греческой

мифологии. Их местонахождение в древности приурочивали к окрестностям теперешнего города Херес-де-ла-Фронтера.

С. 361. *Карпьо* — городок к востоку от Кордовы.

...на берегу Гвадалквивира... — Гвадалквивир — река в Андалусии. На берегах Гвадалквивира расположены два самых значительных города Андалусии — Севилья и Кордова.

С. 363. *...нечто, похожее на сербатану...* — Сербатана — длинная пушка очень маленького калибра.

С. 366. *...лесорубы из Сьерра-Сегуры...* — Сьерра-Сегура — горная цепь в юго-восточной части Испании, к югу от Сьерра-Морены.

С. 369. *...он из Ильескаса...* — Ильескас — город между Мадридом и Толедо.

С. 371. *...проехав через Лусену... в Бенамехи́...* — города на полпути между Ко́рдовой и Ма́лагой.

С. 377. *...никогда нет недостатка в Хиле, который бы меня преследовал...* — поговорка.

...люди низкие, как Хиль Мансано, Хиль Перес. — Эспинель приводит фамилии, распространенные среди непривилегированных сословий.

...для должностей палача и комитра... — Комитр — надсмотрщик на галерах.

С. 379. *...я из королевства Мурсьи...* — Мурсья — бывшее мавританское королевство, в 1266 г. присоединенное к королевству Кастилии, но, подобно другим областям Испании, долго сохранявшее в обиходе прежнее название королевства.

...мои предки были горцами... — Горцами в Испании обычно называются уроженцы северо-запада, в частности Сантандера и его окрестностей. Нашествие арабов оттеснило испанцев на север, к горам Кантабрии, откуда и началось обратное завоевание (реконкиста) Пиренейского полуострова. Это послужило поводом для жителей Астурии и Леона, горных областей, которые не были под властью арабов, считать себя выше остальных испанцев. В XVI и XVII вв. эти области требовали звания и привилегий идальго для всех своих уроженцев на том основании, что последние не были под игом «неверных». Признание горского происхождения более благородным имеет место в Испании до настоящего времени.

...не из рода молчаливых... — Игра слов, построенная на созвучии фамилии Кольядос и прилагательного «молчаливых», по-испански «callados».

С. 381. *...есть дело в Койне.* — Город Кои́н расположен между Малагой и Рондой, но довольно далеко от обычной дороги, соединя-

ющей эти два города. Для Маркоса намерение отправиться в Койн – средство избавиться от своего спутника.

С. 382. *...Здесь прошел король дон Фернандо со своим войском, когда, после взятия Ронды, он двинулся на Малагу...* – Как медленно шло освобождение Испании от владычества арабов и с какими трудностями оно осуществлялось, показывает то обстоятельство, что Ронда была взята Фернандо V Арагонским в мае 1485 г., а Малага – только в августе 1487 г. Каждый шаг этого короткого расстояния (по прямой линии между Рондой и Малагой менее 100 километров) между городами приходилось отвоевывать упорными боями с переменным успехом.

...король-католик приказал... – Король Фернандо V Арагонский (1452–1516), муж Изабеллы Кастильской (1451–1504), был прозван королем-католиком за ревностное утверждение католической церкви в Испании, выразившееся в уничтожении арабского владычества, изгнании евреев и установлении инквизиции. Брак Фернандо и Изабеллы, объединивший под их властью самые значительные королевства Испании – Арагон и Кастилию, положил начало полному объединению Испании, завершившемуся при их преемнике, Карле I (1517–1555).

С. 384. *...по дороге в Алору...* – город, расположенный к северу от дороги из Малаги в Ронду, – в направлении, противоположном тому, которое называл Маркос, говоря о необходимости свернуть в Койн.

С. 386. *...Педро де Валенсья* (1555–1620) – получил юридическое образование и ученую степень в Саламанке, занимался юриспруденцией, изучал греческих и римских авторов.

С. 387. *...сказать, что он Орфей...* – Согласно греческой мифологии, пение и игра на лире легендарного музыканта Орфея останавливали течение рек и делали кроткими хищных зверей.

...сказать очень посредственному поэту, что он Гораций... – Римский поэт I в. до. н. э. Гораций в эпоху Возрождения считался величайшим авторитетом. Помимо его стихов, большую роль в этом сыграла его поэтика – стихотворное послание «De arte poetica».

...сказать Лопе де Вега, что в древности не было более превосходного гения на том пути, по какому он следовал? – Среди своих современников Лопе де Вега (1562–1635) пользовался огромной популярностью. Он был признанным властелином сцены, и в современной ему испанской драматургии играл ведущую роль.

С. 389. *Падре фрай Грегорио де Педроса* – монах ордена Иеронима и королевский проповедник, современник Эспинеля.

Маэстро Ортенсио – Ортенсио Фелис Парависино. См. коммент. к с. 244.

Падре Салабланка – Диего де Хесус (род. 1570), монах ордена босых кармелитов, пользовался большой популярностью как проповедник.

...которое называется Касаравонела... – Городок близ Ронды, на обращенном к морю склоне хребта Сьерра-Бермеха.

С. 390. *...убийства... совершенные цыганами и морисками...* – К морискам и появившимся в Испании в XV в. цыганам испанцы питали поддерживаемую церковной пропагандой национальную вражду. Можно думать, что приписываемые им убийства путников в действительности совершались испанскими разбойниками, среди которых морисков и цыган не было, потому что, как и другие испанцы, разбойники избегали общаться с ними.

...бурдюк с Педро Хименес... – Педро Хименес (или Перохименес) – вино из белого хересского винограда.

С. 391. *Зубы уже закрылись...* – то есть перестали изменяться и по ним нельзя было определить возраст лошади или, как в данном случае, мула.

С. 392. *...в изорванном шпагами колете...* – Колет – короткая одежда, обычно из лосиной кожи, с рукавами или без них, плотно облегавшая тело до пояса, а ниже расширявшаяся.

...упражнялись в игре в ремешок. – Детская игра, заключающаяся в том,что один из играющих держит сложенный вдвое и свернутый в спираль ремень, а другой вкладывает в одно из получившихся двух отверстий палец; если при развертывании ремня палец остался вне ремня – выигрывал первый, если в ремне – второй.

...с подолами, обрезанными до срамного места... – По-видимому, это было ходячее выражение для обозначения бесстыдства. Оно встречается в старых романсах: в романсе о сыновьях Лары («A calatrava la vieja») и в романсе о Сиде («Dia era de los reyes»), – в обоих случаях как выражение, позорящее женщину. В XIII и XIV вв. одним из наказаний для куртизанок служило обрезание им подола и выставление в таком виде на позорище.

С. 393. *...построен на развалинах Мунды...* – Мунда – город, основанный римлянами, но впоследствии исчезнувший. Его название (в испанизированной форме – Монда) перешло к другому городу, на юго-востоке от Ронды. Утверждение Эспинеля,

что теперешняя Старая Ронда лежит на месте римской Мунды, не подтверждается позднейшими исследователями.

...где Цезарь... сыновей Помпея... – В 45 г. до н. э. около Мунды произошла кровопролитная битва между войсками Юлия Цезаря и сыновей Помпея, в которой с обеих сторон пало до 30 тысяч человек; битва закончилась победой Цезаря.

...чтобы не быть побежденным. – Хотя Цезарь разбил Помпея в Фессалии, он должен был вернуться в Испанию, где сыновья Помпея продолжали борьбу, приобретая себе много сторонников.

С. 394. ...в *домах дона Родриго де Овалье...* – Эспинель тщательно ссылается на земляков (ниже он упоминает еще Хуана де Лусони-Карденас), не желая, чтобы его рассуждения о прошлом родного города были признаны непроверенными.

Амбросио де Моралес (1513–1591) – историк, знаток испанской старины, хронист Кастилии при Филиппе II; до этого был профессором в Алькала́; вероятно, Эспинель имеет в виду его труд «Древности испанских городов» (Алькала́, 1575).

...указывает Павл Гирций... – участник похода Цезаря в Галлию и Испанию, дописавший незаконченные записки Цезаря «О Галльской войне». В действительности Гирция звали Авл, но у Эспинеля во всех изданиях – Павл.

...от Осуны до Мунды... – Осуна лежит по прямой линии к северу от Ронды, а Мунда расположена в другом направлении; этим указанием Эспинель хочет подчеркнуть, что указанный Гирцием путь приводит именно к Ронде, а не к Мунде.

...огромным колизеем, который я видел в восемьдесят шестом году... – то есть 1586 г. Здесь в повествовании Маркоса такой же анахронизм и нарушение формы, как в эпизоде с узнаванием разбойника; этот исторический экскурс является очевидной авторской вставкой.

...были сыновьями завоевателей и получили надел от королей-католиков. – Предки Эспинеля были горцами; борьба против арабов всячески поощрялась королевской властью и церковью. Испанцы, собравшиеся на севере и начавшие реконкисту, а также их потомки получали от королей земельные наделы в завоеванных областях. Короли-католики (Фернандо и Изабелла), стараясь ослабить феодальную знать, опирались на идальгию и особенно щедро раздавали наделы представителям последней.

С. 395. *...отправиться в Западную Индию* – то есть в Америку. Отправляясь в свое плавание, Колумб (1436–1506) стремился найти путь в Индию, и открытую им землю он счел относящейся к последней; за новым материком надолго удержалось название Индия, причем впоследствии, в отличие от настоящей, или Восточной, Индии, он назывался Западной Индией.

...флот в Сантандере... – См. коммент. к с. 398.

...умерли почти все, не выходя из гавани. – Среди собранных в большом количестве людей возникла чума, лишившая флот возможности выйти из гавани.

С. 396. *Я сел на одну сабру с отрядом...* – Сабра – род небольшого фрегата.

Адмиралом был дон Диего Мальдонадо... – член знатной фамилии из Саламанки, с которым Эспинель познакомился, вероятно, во время пребывания в университете (1570–1574). В его родственницу Антонию Мальдонадо-и-Калатайуд Эспинель был влюблен, о чем он говорит в одной из своих эклог.

...вино из Ривадавья... – Ривадавья – городок в Галисии, недалеко от Оренсе.

С. 397. *...словно мы были тунцами...* – Тунец – крупная рыба из породы макрелевых, водящаяся у берегов Южной Европы.

С. 398. *...заключенную при посредстве Нептуна...* – Нептун – бог моря в римской мифологии.

...три вздергивания на дыбу... – Эта пытка заключалась в том, что преступника при помощи блока под потолком поднимали и опускали за руки, связанные позади, отчего они вывертывались в плечах.

...старание графа Оливареса... – Неясно, о каком графе Оливаресе, «способном управлять миром», говорит Эспинель. Всесильный министр и любимец Филиппа IV, Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес (1587–1645) родился много позже неудачного предприятия в Сантандере, причем в контексте нельзя даже предположить анахронизма, так как до смерти Филиппа III в 1621 г. Оливарес не занимал видного положения. По всей вероятности, Эспинель имеет в виду графа Оливареса, бывшего при Филиппе послом в Англии.

...направил свой путь через Ларедо и Португалете; я прибыл в Бильбао... – Ларедо и Португалете – портовые города между Сантандером и Бильбао.

С. 399. *...думая спугнуть кота.* – Эпизод с котом использован Лесажем в «Жиль Бласе» (кн. 6, гл. VII). Лесаж увязал его с историей цирюльника и Мерхелины: таким же способом цирюльник излечивается от своей любви к Мерхелине.

С. 400. *...по направлению к Витории...* – Витория – город к югу от Бильбао, в провинции Алава.

...с мошенниками Вальядолида и даже Севильи. – Экономический кризис и обнищание крестьянства вызвали приток в го-

рода массы голодных бродяг, искавших легкой наживы. Несмотря на суровые меры, грабежи и разбои возрастали. Особенно развилась деятельность воров в Севилье, где результаты кризиса сказывались сильней и куда со всей Испании стекались всякого рода авантюристы, так как это был главный пункт для сношений с Америкой.

С. 404. *...оттуда я отправился в Наварру...* — провинция (некогда королевство) в испанских Пиренеях.

...коннетаблем которой был сын великого герцога Альбы, дон Фернандо де Толедо... — Коннетабль — командующий вооруженными силами провинции или королевства. Великий герцог Альба — дон Фернандо Альварес де Толедо (1508–1582), кровавый усмиритель восстания Нидерландов.

С. 407. *...потому что они были нашпигованы свиным салом* — антисемитский выпад.

С. 411. *...осмотрев предварительно Бургос и всю Риоху...* — Бургос — древний город в Старой Кастилии, известный обилием исторических памятников. Риоха — округ в провинции Логроньо, славившийся своими виноградниками.

...служил графу Лемос, дону Педро де Кастро... — Педро Фернандес де Кастро, граф Лемос (1560–1634) — государственный деятель, был одним из влиятельнейших министров при Филиппе III, председателем Совета Индий, вице-королем Неаполя; обладая огромным состоянием, покровительствовал писателям: его поддержкой пользовались Сервантес, Эспинель и другие.

...судей Кастилии — Нуньо Расура и Лаи́н Кальво... — полулегендарные верховные судьи Кастилии, избранные знатью в противовес королевской власти. Они были независимы и пользовались неограниченной властью, наподобие римских консулов или древнееврейских судей. Лаи́н Кальво умер в 928 г., Нуньо Расура был его современником, но годы его рождения и смерти неизвестны. Происхождение от этих судей считалось признаком высшего благородства.

С. 412. *Когда я находился в этом доме, в Вальядолиде...* — Это было между 1574 и 1577 гг.

...угрожавшая главе Португалии. — Имеется в виду гибель короля Португалии в Африке в 1578 г., в битве при Алькасаркивире (см. коммент. к с. 430).

С. 414. *...поместила бы вам нос паяца...* — В подлиннике «нос Трастуло»; Трастуло — персонаж итальянской комедии масок.

С. 415. *...когда были в ходу превращения...* — намек на «Метаморфозы» римского поэта I в. до н. э. Овидия.

С. 416. *...сравняться высотой с Хиральдой...* — Хиральда — башня в Севилье, высотой около 70 метров, построенная арабами в 1184–1196 гг.; она является одним из лучших образцов арабской архитектуры в Испании.

С. 424. *...дона Филиппа Третьего, во дворец которого никогда не проникали ни лесть, ни ложь.* — По-видимому, Эспинель пользовался расположением Филиппа III (1598–1621), потому что после смерти Филиппа II он сейчас же покидает Ронду и окончательно переселяется в Мадрид. Данная фраза является как раз образцом лести, очень характерной для эпохи; в романе Эспинеля не раз встречается подобная лесть, вызванная желанием обеспечить себе покровительство и материальную поддержку.

...в заключении в Сан-Мартин, в мадридском монастыре ордена Сан-Бенито... — Среди привилегий испанского дворянства было изъятие его представителей из общего тюремного режима. Дворяне вовсе не могли быть арестованы по гражданским делам, например за долги, а при уголовных преступлениях они содержались в заключении в особых условиях; очень распространенной мерой пресечения для них был домашний арест или заключение в монастыре, где они пользовались почти полной свободой.

...они отправились в квартал Лавапьес... — в то время один из глухих окраинных кварталов Мадрида, в противоположной от монастыря Сан-Мартин части города.

С. 426. *...и тот больше никогда не появлялся.* — Упоминаемые в этом рассказе персонажи — дон Педро Да́вила маркиз де Навас; дон Филипп де Кордова; дон Энрике Да́вила маркиз де лас Повар — реальные лица; они принадлежали к высшей придворной знати.

Тот же сюжет с теми же лицами в 1624 г. послужил материалом для комедии Лопе де Вега «Маркиз де лас Навас». Развитие эпизода у Лопе настолько близко к рассказу Эспинеля, что можно было бы предположить заимствование, но, по-видимому, этот сюжет был в то время очень распространен и оба автора могли пользоваться одним и тем же источником, по всей вероятности литературным. На основании указаний комедии можно установить, что этот случай приурочивается ко времени незадолго до отплытия «Непобедимой армады» и после того, как Лопе покинул службу секретаря у маркиза, т. е. в 1588 г.

Во времена Эспинеля и Лопе де Вега вера в чудесное была необычайно сильна; во всех слоях населения Испании като-

лическая церковь усиленно ее поддерживала и спекулировала на ней.

С. 427. *...как это делали Эмпедокл и Апион Грамматик, который вызвал тень Гомера...* — Эмпедокл Агригентский, греческий философ и геометр V в. до н. э., пользовался славой чудотворца и пророка. Апион — александрийский грамматик I в. до н. э. — комментатор Гомера; руководил грамматической школой в Риме.

...то было искусством некромантии... — Некромантия (necromancia) — вызывание мертвых.

С. 429. *...не должно все быть танцами мечей...* — В танце мечей от исполнителя требуется исключительная четкость движений. Эспинель берет этот танец как пример чисто формального искусства, граничащего с трюком.

С. 430. *...по предсказанию и знамению этой кометы...* — Имеется в виду комета, появившаяся во время пребывания Маркоса в Вальядолиде. (См. рассказ 1, гл. XXIII.) Появление этой кометы действительно совпало со временем пребывания Эспинеля в Вальядолиде.

...призвал... унаследовать королевство... — Предпринятый с помощью крестоносцев поход португальцев в Африку имел весьма серьезные последствия. Португалия стремилась захватить северо-западное побережье Африки, вмешавшись в междоусобную борьбу в Марокко, под предлогом помощи королю Мохамеду, но в битве при Алькасаркивире, в Марокко, 4 августа 1578 г. португальские войска были наголову разбиты арабами. Король Себастьян был убит. В битве погибли также низложенный марокканский король Мохамед Черный и захвативший престол Абд-эль-Мелек. Смерть короля Себастьяна послужила поводом для вмешательства Филиппа II в португальские дела. Корона Португалии перешла к престарелому кардиналу Энрике, дяде Филиппа. Опираясь на португальскую знать, Филипп стал добиваться, чтобы Португалия признала его наследником престола. Путем очень сложных интриг он достиг этого, несмотря на оппозицию со стороны третьего сословия. Сторонники Антонио — племянника Себастьяна — после смерти кардинала Энрике провозгласили королем своего кандидата, и Филипп был вынужден поддерживать свои права оружием, для чего в Португалию была отправлена армия под начальством герцога Альбы. В апреле 1581 г. португальские кортесы (парламент) торжественно признали Филиппа II португальским королем. Благодаря этому весь полуостров был объединен. Португалия оставалась частью испанской монархии до 1640 г.

...чтобы сесть на корабли, отправлявшиеся в Африку. — Часть флота Филипп II отправил в Африку, чтобы поддерживать свои права на португальскую корону и в португальских колониях.

С. 431. *...проходя по Генуэзской улице...* — Улица в Севилье, получившая свое название от живших на ней генуэзцев, которые помогали Фернандо Католику в войне с арабами. В XIV–XV вв. торговые и финансовые интересы Генуи обусловливали дружественные отношения ее с Испанией.

...он пустился бежать к Градас... — Градас — галерея вокруг Севильского собора. Расположенная почти на метр над мостовой, она отделена от улицы массивными мраморными колоннами и цепями. Она служила излюбленным местом свиданий и прогулок для ищущих приключений.

С. 432. *Я пошел в Сан-Франсиско...* — Снесенные теперь церковь и монастырь Сан-Франсиско находились на площади того же имени.

...вошел в Апельсиновый корраль... — Корраль — двор, огороженное пространство. Эспинель имеет в виду Апельсиновый патио, или двор Севильского собора, находящийся в южной части собора перед входом. Этот двор с фонтаном принадлежал еще мечети, которая была перестроена в Севильский собор.

...поставить им фанегу касальского... — Фанега — мера сыпучих, иногда и жидких тел, в разных местностях имеющая различный объем. Касальское — красное сладкое вино из местечка Касалья-де-ла-Сьерра, недалеко от Севильи. Вина и водки Касальи до сих пор пользуются известностью в Испании.

С. 433. *...не нашлось бы португальца медоточивее меня.* — Влюбчивость португальцев часто упоминается в испанской литературе и драматургии.

...бродил между деревьями Аламеды... — Аламеда — длинная площадь с тенистыми аллеями и фонтанами, была устроена в 1574 г. ассистентом (градоначальником) Севильи графом де Барахас. Он велел перенести туда из другой части города две гранитные колонны, на которых были поставлены статуи Геркулеса и Юлия Цезаря, давшие название всей Аламеде. В «Сатире на севильских дам» Эспинель говорит, что Аламеда была излюбленным местом для любовных свиданий.

Существовала легенда, что Геркулес был основателем Севильи, и некоторые считали эти коринфские колонны остатками римского храма Геркулеса.

С. 434. *...выходившей на Оружейную улицу...* — одна из главных улиц старой Севильи.

С. 437. *...мало найдется таких, которые избегают какого-нибудь несчастья.* — Отрицательное отношение к женщинам Эспинель

обнаруживает довольно часто. Помимо нескольких мест в «Жизни Маркоса», можно указать его «Сатиру»; среди его стихотворений мы находим такое:

Всегда желаемого достигает
тот у дам, кто смел,
а тот, кто не назойлив,
трусливым умирает и глупцом.

Нам почти неизвестна личная жизнь Эспинеля; мы знаем лишь о любви без взаимности к Антонии Калатайуд.

...уничтожил в Севилье столько беспорядков. — Непереводимая игра слов, построенная на значении слова «barajas» — «ссоры, смуты», и в то же время название местности, давшей имя Франсиско Сапата, графу де Барахас.

...на улице Гарбансера... — Эта ныне не существующая улица находилась в приходе Сан-Лоренсо, недалеко от Аламеды.

...как тореро... — В подлиннике «diestro», пеший тореро, в отличие от других участников боя быков, появлявшихся на арене верхом. К пешим тореро принадлежит и эспада, наносящий быку удар шпагой.

С. 439. *...рядом с Omnium Sanctorum, на Ферии...* — церковь Всех Святых на улице Ферии. Улица получила свое название от устраивавшихся там ярмарок (feria).

...маркиза дель Альгава, дона Луиса де Гусман... — Маркиз Альгава оказывал Эспинелю покровительство в первое время его пребывания в Севилье. Однако беспорядочный образ жизни и похождения писателя привели к тому, что он лишился этого покровительства.

...клеветник — дурной конец пусть пошлет ему судьба... — Игра слов, построенная на сходстве написания: буква *s* в эпоху Эспинеля писалась высокой и была похожа на букву *f*, поэтому слово «клеветник» («malsen») выглядело почти одинаково со словом «дурной конец» («mal fin»).

С. 440. *...сакристан был моим другом...* — Сакристан — пономарь, причетник.

...что мне нужно делать, если за мной придут. — Речь идет о праве преступника искать убежища в церкви, где он был недосягаем для судьи.

...взял с собой Толеданильо... — Очень распространенные в испанской речи уменьшительные имена часто имеют пренебрежительный оттенок; точное значение «Толеданильо» — маленький толедец.

С. 441. *...по кварталу Герцога...* — Этот квартал получил свое название от находившегося в нем дворца герцогов Мединасидонья, разрушенного в конце 1500 г.

...до улицы Сан-Элой... — Название улицы произошло от находившегося на ней госпиталя, носившего имя этого святого. В 1587 г. госпиталь был уничтожен и все его доходы переданы другому госпиталю.

С. 442. *...превратившись в святого Христофора.* — Легенда рассказывала, что Христофор перенес на себе через бурный поток немощного старика, который оказался Христом.

С. 444. *...это был племянник бывшего тогда в Севилье архиепископа — маркиз де Денья.* — Дон Франсиско Гомес де Сандоваль маркиз де Денья и герцог Лерма (1550–1625), игравший важную роль в испанской политике в конце царствования Филиппа II и в эпоху Филиппа III, который почти полностью передал своему любимцу управление государством, был племянником архиепископа дона Кристобаля де Рохас-и-Сандоваль.

С. 446. *...на службу герцога Мединасидонья...* — Имеется в виду дон Алонсо Перес де Гусман, седьмой герцог Мединасидонья.

...на одном рагузском галионе... — Галион — большое парусное судно типа галеры, с тремя или четырьмя мачтами. Рагуза — город в Далмации на берегу Адриатического моря.

...отправлял многих своих слуг в Милан. — Здесь речь идет не только о слугах в буквальном смысле, но и о свите.

По улице Атамбор... — Атамбор — небольшая площадь в Севилье в квартале Башмачников.

С. 447. *...играли... в ки́нола...* — Ки́нола, или примера, — карточная игра, при которой каждому игроку сдается по 4 карты. Каждая карта имеет свой счет очков: семерка считается за двадцать одно очко, шестерка за восемнадцать, туз за шестнадцать, двойка за двенадцать, тройка за тринадцать, четверка за четырнадцать, пятерка за пятнадцать, фигура за десять. Лучшим сочетанием, выигрывающим всю ставку, является флюс, состоящий из четырех карт одной масти. Следующим сочетанием является пятьдесят пять; оно составляется из семерки, шестерки и туза одной масти; далее идет ки́нола, или примера, — четыре карты, по одной каждой масти. Если флюс на руках у двоих, то выигрывает тот, у кого он больше по числу очков; точно так же происходит и с ки́нолой. Если же ни у кого нет на руках ни флюса, ни ки́нолы, выигрывает тот, у кого большее число очков в двух или трех картах одинаковой масти.

...отправился в Сан-Лукар... — Сан-Лукар-де-Барромеда — порт на берегу Атлантического океана, в устье Гвадалквивира.

Увидели Кальпе... — Кальпе — древнее название Гибралтарской скалы.

С. 448. *...никакого вреда со стороны берегов Тетуана...* – Тетуан – река в Северной Африке, в нынешнем Марокко.

...он видел их с Пеньона... – Пеньоном, или Скалой, сокращенно называется Гибралтарская скала, точнее – ее вершина.

...что делал со своим зрениемЛинсе... – Речь идет о Линсе (по-испански Линсео) – герое греческих мифов, одном из аргонавтов, отличавшемся такой силой зрения, что он мог различать предметы за 130 тыс. шагов. Указание Эспинеля, что это был человек, а не животное, объясняется тем, что «линсе» называется по-испански рысь, обладающая таким острым зрением, что древние верили, будто взгляд ее проникает через стены.

Так говорит об этом Помпонио Мела... – римский географ 1 в., пользовавшийся большой известностью в средние века и эпоху Возрождения.

...мы прошли вдоль берега у Марбельи, Малаги, Картахены и Аликанте... – испанские города на побережье Средиземного моря.

С. 449. *...на каперство вышли... пятнадцать галеот...* – Галеота – небольшое двухмачтовое судно, пользовавшееся парусами только при попутном ветре, обычно же приводимое в движение веслами, которых было по 16 или 20 с каждого борта.

...подходили, построившись полумесяцем... – Арабские и испано-арабские военачальники обычно пользовались неглубоким построением, в виде полумесяца, удобным для охвата противника. Только особые условия местности заставляли их наносить удар в ином построении.

...пригнал нас к городу Фригус во Франции. – В издании 1618 г. и всех последующих стоит Фригус. По-видимому, Эспинель имеет в виду старинный французский порт Фрежю, между Марселем и Ниццей.

С. 450. *...укрепленную на дозорной корзине...* – В подлиннике «gavia» – «плетеная корзина, укрепленная на верхушке мачты для часового».

...островке, называемом Кабрера... – Кабрера – маленький остров, принадлежащий к группе собственно Балеарских островов и лежащий к югу от Майорки.

...привязали койки... – В подлиннике «transportín» – «небольшой матрас из тонкой шерсти, который кладется поверх другого».

С. 451. *...как Авессалом на своих волосах.* – По библейской легенде (Вторая книга Царств, 18), Авессалом восстал против своего отца, царя Давида. Потерпев поражение и спасаясь бегством, он зацепился волосами за сук дуба; мул, на котором он

ехал, ускакал, и Авессалом остался висеть; в таком положении он был убит.

С. 452. *...хвост фризона в качестве человеческой бороды.* – Фризон – лошадь фрисландской породы (Фрисландия, или Фризия, – провинция в Северной Голландии).

С. 454. *Мы рассказали кастеляну...* – Кастелян – владелец, а также начальник или управитель замка.

...обедать там и проводить сиесту. – Сиеста – самое жаркое время дня, после полудня; проводить сиесту – отдыхать после обеда.

...показались красные чалмы и белые алькисели... – В подлиннике «bonete» – «особая шапка с четырехугольной тульей», такие шапки носили клирики; трудно определить, какой именно головной убор имел в виду Эспинель. Алькисель – мавританская одежда, род шерстяного плаща.

Не нужно, потому что мы уже спускаемся. – Последующий рассказ использован Лесажем в «Жиль Бласе» (кн. 5, гл. I).

С. 455. *...наиболее уважаемых морисков королевства Валенсии...* – Мориски – мавры, оставшиеся после окончания реконкисты в Испании и принявшие крещение. В конце 1525 г. был издан указ, по которому все мавры должны были принять католичество или покинуть страну; большинство приняло христианство; несмотря на королевское обещание предоставить новообращенным те же права, какими пользовались испанцы, преследования против морисков продолжались и завершились указом об изгнании их в 1609 г. В Валенсии было особенно много морисков, пользовавшихся уважением у испанцев.

С. 456. *...сын горцев из долины Кайона.* – Долина в провинции Сантандер, около Вильякаррьедо. Говоря об этом, Маркос хочет подчеркнуть свое благородное происхождение.

...из королевства Гранады... – Королевством Гранада называлась область, дольше других остававшаяся во владении арабов; она была присоединена к Кастилии со взятием Гранады в 1492 г.

...к званиям и должностям магистратов... – то есть к высшим судебным и административным должностям; несмотря на обещания уравнения в правах, мориски были лишены права занимать должности, ставившие их выше испанцев.

С. 457. *...оскорбление может заключаться не в статутах, касающихся церковных дел...* – Подразумевается порядок проверки чистоты крови, происхождения и благородства лиц, желающих вступить в религиозные братства, коллегии и другие общественные учреждения, светские или духовные. Лишенные права

занимать общественные должности мориски часто переселялись в Алжир.

С. 458. *...кичиться старыми грамотами...* – то есть грамотами, удостоверяющими, что их владельцы старые христиане; так назывались испанцы, среди предков которых не было новообращенных мавров или евреев; «старые христиане» считались благородными и вели свой род от участников реконкисты.

С. 460. *...вспоминая о пении сынов Израиля, когда они шли в свой плен* – намек на библейский рассказ о вавилонском пленении евреев.

С. 461. *...играли на трубах и хабебах...* – Хабеба, или ахабеба, – мавританская флейта.

С. 462. *...увидеть своего брата, бывшего там пленником...* – Неизвестно, были ли у Эспинеля братья, поэтому нельзя установить, является ли это место автобиографическим. Можно думать, что здесь указан реальный факт, так как в завещании Эспинель назначает своим наследником племянника Хасинто Эспинель Адорно. В «Жизни Маркоса» неоднократно упоминаются братья.

...умер потом около Хателета... – Речь идет о «châtelet» – двух укреплениях старого Парижа, ныне не существующих. Это точное указание может служить подтверждением правильности сообщения Эспинеля о своем брате, так как испанские войска были под Парижем в 1590–1592 гг.

С. 467. *...имеющий большое влияние в Алжире и у Великого Турка...* – Алжир с начала XVI в. находился под протекторатом Турции.

С. 468. *...я взял своего господина в качестве языка, а он меня в качестве жабьей травы.* – Непереводимая игра слов, построенная на названии растения, которое употребляется как средство против жабьего яда; оно называется «Жабий язык». Игра слов заключается в том, что Эспинель разлагает это название на составные части. Смысл: Маркос взял своего господина в качестве переводчика, а тот вел его в качестве лекарства.

...я взял под сальтамбарку гитару... – Сальтамбарка – короткая одежда с рукавами, надевавшаяся через голову.

Barbara Clarent и т. д. – не имеющие смысла слова, которые в формальной логике служили для облегчения запоминания различных видов умозаключений (так называемых модусов силлогизма). В этих словах имели значение лишь гласные буквы, указывавшие на определенное построение силлогизма.

С. 473. *...король или вице-король...* – Уже в средние века Алжир сделался главной базой средиземноморских пиратов, наносивших большой ущерб морской торговле и державших побережье в постоянном страхе. Особенно сильно страдала от пиратских нападений Испания. Положение стало особенно серьезным в XVI в., когда смелый пират, известный под прозвищем Барбароха (Рыжебородый), призванный алжирским королем для помощи против испанцев, захватил власть в Алжире. Убив алжирского короля, он возвел на трон своего брата, который расширил алжирские владения. Это привело к столкновению с испанцами, в котором новый король, Орук, был убит (1518). Барбароха отдался под покровительство турецкого султана. С этого момента правитель Алжира стал носить звание паши, бея или дея. Эспинель, так же как и Сервантес, тем не менее называет его королем. Титул вице-короля, которым наделяют его испанцы, объясняется тем, что Барбароха и его преемники управляли городом от имени султана, власть которого, однако, скоро стала номинальной.

...вознаградил их за труд гарротой... – Гаррота – железный ошейник, прикрепленный к столбу; приговоренного к смерти душили этим ошейником, стягивая его посредством винта.

С. 474. *...каким был Примо...* – выдающийся певец и музыкант, современник Эспинеля, упоминаемый им и в других произведениях.

...каким является Луис Онгеро... – певец, которого Эспинель упоминает как лицо известное.

С. 475. *...на сицилийском Монхибело...* – сицилианское название вулкана Этны.

...в бездне Кабры... – Кабра – город в провинции Кордова.

...в подземной галерее Ронды... – Одна из достопримечательностей города, о которой Эспинель говорит в рассказе 1, гл. XX.

...в коррале де ла Пачека. – Корраль де ла Пачека – первый постоянный театр, построенный в Мадриде в 1574 г. и представлявший собой большой двор, на котором были устроены сцена и места для зрителей. Впервые здесь была сделана крыша над сценой и частью «зрительного зала». До его постройки представления давались в корралях – больших открытых дворах, являвшихся собственностью религиозных братств и отдававшихся внаем странствующим труппам для их представлений. Название «корраль» перешло от этих дворов на позднейшие театры.

С. 476. *Июньский Иванов день.* – Иванов день 24 июня у многих народов пользовался большой популярностью и был связан с различными обрядами, восходящими к языческим верованиям, так как в основе этого церковного праздника лежит языческое празднование летнего солнцеворота.

...в честь пророка Али, которого вы называете Иоанном Крестителем... — Пророк Али, зять Магомета, был халифом в 656–661 гг. и одним из видных деятелей ислама. Сближение его с Иоанном Крестителем основано на том, что празднование их памяти исламом и христианской церковью приурочено к одному и тому же дню. Называя его пророком и сопоставляя с Иоанном, Эспинель придает ему качество святого, отсутствующее в религии ислама.

...шелковых, горящих золотом марлот... — Марлота — одежда морисков, род плотно облегающего тело камзола.

...красных от бирючины руках. — Бирючина, или волчьи ягоды, — название кустарника, высушенные и превращенные в порошок листья которого употреблялись как красящее вещество.

С. 477. *...появление герцога де Пастрана...* — Перечисляя представителей высшей испанской знати, принимавших участие в боях быков, Эспинель придерживается точных фактов. В вышедшей в Мадриде в 1899 г. книге графа де лас Навас «Самое национальное зрелище» приведен большой список аристократов, участвовавших в боях быков; там можно найти все имена, названные Эспинелем.

С. 478. *Празднество быков* — бой быков, в котором участвовали представители знати.

Дон Филипп Любимый — король Филипп III (1598–1621), о котором его отец, Филипп II, сказал: «Бог, давший мне столько королевств, отказал мне в сыне, способном управлять ими. Боюсь, что им самим будут управлять». С ним начинается эпоха владычества фаворитов (герцог Лерма и др.), на которых и было направлено все недовольство населения, минуя личность короля.

...по случаю рождения принца, нашего сеньора — то есть будущего короля Филиппа IV, который родился 8 апреля 1605 г. По случаю его рождения в Вальядолиде были устроены блестящие бои быков и рыцарские турниры.

...другой, развратный император... — намек на римских императоров Калигулу (37–41) или Нерона (57–68).

С. 479. *...в битве при Каннах, в Пулье...* — Канны — древний город в Южной Италии, в Апулии, около которого в 216 г. до н. э. произошла битва между римлянами и бывшими под предводительством Ганнибала карфагенянами. Ганнибалу удалось окружить более сильную и имевшую численный перевес армию римлян и почти уничтожить ее. Пулья — модернизированное название древней Апулии (*ит.* Puglia).

...наполнили три мойо перстнями... — Мойо — кастильская мера жидкостей, равная 258 литрам; употреблялась также как мера сыпучих тел, равняясь при этом 4,6 литра. В различных областях Испании емкость мойо была различна, поэтому нельзя точно установить, какую меру имеет в виду Эспинель.

...наполнить тридцать фанег... — Фанега — мера сыпучих тел, равная 55,5 литра.

...находясь во главе своей квадрильи... — Квадрильей называется каждая группа участников публичных игр, отличающаяся от других групп своими цветами и девизами. Помимо групп, участвовавших в рыцарских турнирах, квадрильей называются и группы участников боя быков, где во главе каждой из них стоит тореро, убивающий быка шпагой («эспада»).

С. 480. *...алькайд Ронды...* — Алькайд — комендант крепости.

...молодой граф Оливарес — будущий граф-герцог, министр и любимец короля Филиппа IV. В 1605 г. ему было 18 лет.

...не имея иной радости, кроме настоящей... — Эспинель имеет в виду райское блаженство, ожидающее, по христианскому учению, человека в загробной жизни. По католическому представлению, магометане были лишены возможности попасть в рай.

С. 481. *...для отправки великому властелину* — то есть турецкому султану.

С. 483. *...лишил любимца своей благосклонности...* — В подлиннике игра слов, построенная на созвучии «privó al privado de su privanza».

...что вызвало большое одобрение и радость во всем городе... — В эпоху владычества корсаров в Алжире (XVI в.) ими была установлена очень строгая полицейская организация, поддерживавшая порядок и безопасность. Охрана была поручена племени Бискара, и воровство нещадно преследовалось, причем редкие случаи краж карались строжайшими наказаниями.

С. 485. *...у этих приближенных два ангела-хранителя...* — то есть фавориты оберегаются помимо ангела-хранителя, какой, по католическому учению, есть у каждого человека, еще и их земным покровителем, государем, их вторым ангелом-хранителем.

...от небесных движущих сил, какие являются вторичными причинами... — Намек на первопричину, находящуюся, по системе греческого астронома Птолемея, в десятой сфере и приводящую в движение светила, являющиеся вторичной причиной всех событий.

С. 488. *...когда все выходят на каперство...* — Алжирские пираты выходили на каперство — морской разбой — обычно летом.

С. 492. *...невольник с Менорки...* — Менорка — один из Балеарских островов.

С. 499. *Сеньор Марсело Дориа* — генуэзский адмирал второй половины XVI в. Род Дориа был одним из наиболее знатных в Генуе начиная с XIII в. Представители его выделялись в борьбе против алжирских пиратов, сильно вредивших торговле генуэзцев и подрывавших финансовую мощь самих Дориа.

...посол, сеньор Хулио Эспинола — или Спинола, был послом Генуэзской республики при испанском дворе во второй половине XVI в. Его род также был одним из влиятельнейших в Генуе и выступал то в союзе с родом Дориа, то противником его.

С. 500. *...несколько моих октав...* — Эспинель переключает здесь рассказ с Маркоса на себя. Далее имя Маркоса раскрывается как псевдоним. Это место, наряду с некоторыми другими, дало повод рассматривать роман как автобиографию.

Неверно счастье, зло лишь непреложно. — Таких октав в сборнике стихотворений Эспинеля, изданном в 1591 г., нет. Но в одном терцете «Сатиры на севильских дам» имеется приведенный стих:

Ya vivo vida con algún concierto
haciendo siempre gran donayre y
risa del bien dudoso el mal seguro y cierto

(«Уже я живу, несколько примиренный с жизнью, всегда смеясь и остря над сомнительным благом и верным и непреложным злом»).

С. 501. *...галеон герцога Медина...* — Фамилия герцога Мединасидонья очень часто употреблялась сокращенно. Эспинель называет его герцогом Медина, а Велес де Гевара, сохраняя лишь вторую часть, — герцогом Сидонья.

...возвратился в Финаль. — Финаль, правильно Финале, — селение в Лигурии, в Италии.

Адорно. — Семь представителей рода Адорно были дожами Генуи в XIV–XVI вв.

...в Херес-де-ла-Фронтера... — город в провинции Кадис, знаменитый своими виноградниками.

...отличенная облачением ордена Калатравы... — Орден Калатравы был первым военно-религиозным объединением в Испании. За его основанием в 1158 г. вскоре последовало учреждение двух других орденов: Сантьяго и Алькантара. Причиной их возникновения была борьба с арабами. Являясь объединениями феодальной знати, они теряли свое значение по мере разложения феодального строя и в эпоху Эспинеля были лишь сословными объединениями высшей

знати. Принадлежность к тому или другому ордену внешне выражалась в особой одежде и ношении особого знака.

С. 502. *...викторина, или проводника...* — Словом «веттурино» итальянцы переводили испанское «espolique», обозначавшее слугу, шедшего пешком впереди лошади, на которой ехал хозяин.

...прошли через Сан-Педро-де-Аренас... — город Сан-Пьер-д'Арена около Генуи.

С. 504. *...вода в Италии, обладающая большей влажностью.* — По представлению той эпохи, влажность оказывала вредное действие на человеческий организм. На самом деле имел значение химический состав воды, на что указывает дальше сам Эспинель.

Сьерра-Бермеха — горная цепь на юге Испании, около Ронды. Прилагательное «Бермеха» значит «красная» или «ярко-рыжая».

...доказывается водой в Гвадальканале... — Гвадальканал — город в центральной части Сьерра-Морены. В этой местности вода действительно содержит серебро. Река Сотильо с притоками протекает по залежам сереброносного свинцового блеска.

...в Бискайе... — одна из провинций Испании, населенных басками, на побережье Бискайского залива.

...вблизи Антекеры... — Вблизи Антекеры, около селения Фуэнте-де-ла-Пьедра (Каменный источник), существует обширное соленое озеро, из которого соль добывалась в большом количестве еще в римскую эпоху.

...родником монахинь... — Окрестности Ронды изобилуют серистыми и железистыми источниками, но нигде не встречается названия, приводимого Эспинелем.

...моего пребывания в Ломбардии... — Ломбардия входила в состав Германской империи, а после отречения Карла I (V) (1555) Миланское герцогство было присоединено к Испании. Заносчивость испанцев вызывала крайне неприязненное отношение к ним в Италии, где они вели себя как победители. Одно из интересных отражений испанское владычество нашло в созданной итальянской комедией маске «капитана».

С. 507. *Я умею делать философский камень...* — В XVI в. еще верили в возможность превращения простых металлов в драгоценные при помощи «философского камня».

С. 508. *Арнальдо де Вильянуэва.* — Под этим именем подразумевается Арнальдо де Виланова (1240–1313), врач короля Педро III Арагонского. Он пользовался большой известностью как ал-

химик, однако неизвестно ни одной его работы по алхимии. Сохранились только его медицинские трактаты.

Раймундо Лулио — Раймунд Луллий (см. коммент. к с. 644).

Гебор — Гебер, или Гиабер, арабский алхимик, живший в XIII в. Его настоящее имя было Абу-Мусса-Джафар аль-Софи. Ему приписываются многочисленные химические открытия и изобретение алгебры, названной так по его имени.

С. 509. *...пишут... шифром, чтобы не делать этого достоянием невежд.* — В XVII в. алхимия находилась уже в упадке; новых трактатов не появлялось, только продолжали комментировать труды алхимиков Средневековья; вместе с тем усиливалась таинственность этой «науки»; употребление шифров должно было окружать ее еще большим уважением в глазах непосвященных.

...в Африке в Фесе... — Фес (обычно неправильно называемый «Фец») — город в Марокко.

...железо должно превратиться в ту же субстанцию золота. — Алхимия была основана на вере в единство материи и выводившуюся из этого возможность изменять внешнюю форму, принимаемую ею в различных простых веществах.

...как все существа стремятся подражать... наиболее совершенному в их роде... — аристотелевский принцип всеобщего стремления к совершенствованию.

С. 510. *...в страну короля...* — то есть в область, находящуюся под властью испанского короля. В данном случае имеется в виду Миланское герцогство как испанское владение, ближайшее от Генуэзской республики.

С. 511. *Александриа-де-ла-Палья* — по-итальянски — Алессандриа-делла-Палья (теперь просто Алессандриа), большой укрепленный город к северу от Генуи на пути в Милан; расположен на реке Танаро, притоке По.

...дона Родриго де Толедо... — Де Толедо — одна из древнейших фамилий Испании; носители ее были гранды. К этой фамилии принадлежал герцог Альба.

С. 513. *...мы все говорили по-латыни...* — Латинский язык до XVII в. был универсальным; это был язык церкви, науки и международных дипломатических сношений; университетское преподавание велось на латинском языке; образованные люди разных национальностей пользовались им в качестве разговорного.

...тяготеет... кара за вавилонскую башню. — По библейскому преданию, карой за постройку башни в Вавилоне, которая должна была достать до неба, явилось лишение строителей

возможности понимать друг друга; эта легенда должна была объяснить появление различных языков.

...в Павию, славящуюся университетом... — Университет в Павии, основанный в 1361 г., был одним из крупнейших научных центров эпохи Возрождения, наряду с университетами Болоньи и Падуи.

...этого превосходнейшего собора. — Миланский собор, начатый постройкой в 1386 г., считается одним из лучших архитектурных памятников итальянского Возрождения.

...кардинал Карлос Борромео, которого теперь называют Сан-Карлос... — Карлос Борромео (1538–1584) был избран кардиналом в 1561 г. и вскоре назначен легатом в Италию и архиепископом Милана. Был канонизирован папой Павлом V в 1610 г.

...королевы доньи Анны Австрийской... — Анна Австрийская (1549–1580), дочь Максимилиана II и Марии Австрийской, была четвертой женой Филиппа II. Она умерла 21 октября 1580 г. в Бадахосе.

...поручить их автору этой книги... — Новая автобиографическая вставка; стихи, о которых идет речь, помещены в сборнике Эспинеля «Rimas». Вопреки рассказу, Эспинель, видимо, хлопотал, чтобы ему было поручено их сочинение, так как он получил заказ на них благодаря содействию своего друга и покровителя Октавио Гонзаго.

С. 514. *Анибал де Толентино* — итальянский поэт XVI в.

...сделанным руками человека рекам... — намек на систему многочисленных судоходных каналов, которые были тогда для города основными путями сообщения. Они дали ему возможность сильно развить торговые сношения.

С. 515. *...явилось желание посмотреть Турин...* — Турин — крупный торговый центр на реке По, к западу от Милана.

...когда я прибыл в Буфалорес... — По-видимому, то же самое селение, которое Эспинель упоминает дальше под именем Буфалора.

...все поле Таблада превращается в море... — Таблада — большое поле около Севильи, заливаемое Гвадалквивиром.

С. 516. *...еще не отказывали в повиновении герцогу Савойскому, хотя отказывались повиноваться римской церкви.* — Герцоги Савойские не отказывались от своих прав на Женеву, ставшую независимой с 1536 г., и неоднократно пытались вновь подчинить ее себе. Однако в 1603 г. они должны были признать ее независимость под протекторатом Франции и швейцарских кантонов.

С. 517. *...при генеральном штурме Маастрихта...* — Маастрихт, или Мастрихт, — укрепленный город во Фландрии, ныне в Голлан-

дии, около бельгийской границы. Был взят испанцами под начальством Александра Фарнезе в 1579 г. По-видимому, в этом отряде находился и Эспинель.

С. 518. *...между двух рукавов Тесина...* — Тесин, правильнее Тесино, — испанская транскрипция названия реки Тичино, одного из левых притоков По.

С. 519. *...где он держал своего демона.* — В подлиннике «familiar» — «домашний» демон, находящийся в сношении с данным лицом, всюду сопровождающий его и оказывающий ему услуги. Его обыкновенно «держали» в кольце или другом драгоценном украшении.

С. 520. *...в соответствии с естественной философией...* — термин, употребляемый Эспинелем в смысле законов природы.

С. 521. *...столь явные обманы.* — Эпизод с чернокнижником часто встречается у более поздних авторов; нельзя точно установить, был ли он заимствован Эспинелем или сочинен им, но несомненно, что он вошел в литературный обиход эпохи благодаря «Жизни Маркоса».

...истинной астрологией, изучением движений небесных светил... — Истинной астрологией Эспинель называет астрономию, противополагая ее астрологии лженаучной, занимающейся составлением гороскопов, т. е. предсказаниями, якобы основанными на движении светил. В XVI–XVII вв. предсказания астрологов пользовались большой популярностью.

Клавио Римский — Христофор Клавио (1537–1612), немецкий математик, которому папа Григорий XIII поручил реформу календаря. Прозвище «Римский» он получил потому, что почти всю жизнь провел при папском дворе в Риме.

Доктор Арьяс де Лойола Хуан — испанский космограф XVI в., автор трактата о способе вычисления географической долготы.

Доктор Седильо — Хуан Седильо Диас, уроженец Мадрида, космограф и математик XVI в., известный современникам своими трудами, которые, однако, до сих пор хранятся в рукописях в Национальной библиотеке в Мадриде.

...в Буфалору, селение в области Милана... — Буфалора — деревня в Ломбардии, в 5 лигах (27 километрах) от Милана.

С. 522. *...дом Антонио де Лондонья — председатель миланского магистрата.* — В 1580 г. дон Антонио де Лондонья, дон Педро де Лунато и дон Хорхе Манрике составляли «Миланский тайный совет» — высший административный орган, подчиненный испанскому королю.

...на смычковой гитаре... — Под названием «vihuela de arco» Эспинель разумеет, по-видимому, виолу да гамба, родоначальницу современной виолончели. Слово «vihuela» обозначает гитару.

...его дочь донью Бернардину... — Бернардина Клавихо, дочь органиста и профессора музыки Бернардо Клавихо (ум. 1626), пользовалась в 80-х гг. XVI в. известностью как талантливая исполнительница, в особенности на арфе.

...как будто он сам находился под Троей. — Плутарх и Диодор Сицилийский рассказывают, что Александр Македонский высоко ценил Гомера и знал наизусть всю «Илиаду» и часть «Одиссеи». Его идеалом был Ахилл, которого он считал своим предком.

С. 523. *...в разделении полутонов и диезов...* — Диез, в современном словоупотреблении обозначающий повышение звука на полтона, во времена Эспинеля обозначал третью или даже четвертую часть тона.

...знаменитый композитор Хуан Наварро — упоминается Эспинелем среди выдающихся музыкантов в его стихотворении «La casa de la memoria», где он перечисляет ряд имен своих современников-музыкантов.

...в испанских сонадах... — Сонадами назывались небольшие песенки.

Пылающую грудь ты разорви мне... — так начинается канцона, которую Эспинель считал, по-видимому, одним из лучших своих произведений. Она составляет часть длинной, написанной довольно тяжелым языком эклоги, посвященной герцогу Альба. Об этой канцоне упоминает и Лопе де Вега в «Laurel de Apolo» («Лавровый венок Аполлона»).

С. 524. *...часто упоминался Карранса...* — См. коммент. к с. 671.

...для встречи сеньоры императрицы... — В сентябре 1581 г. через Италию проезжала германская вдовствующая императрица, вдова Максимилиана II и сестра Филиппа II, чтобы, по примеру своего отца, Карла I, вступить под конец жизни в монастырь в Испании.

В хронологических указаниях Эспинеля — некоторая неясность, происходящая оттого, что, рассказывая о пребывании Маркоса в Италии, он не вполне придерживается автобиографической основы. Так, он выбрасывает из повествования свой поход во Фландрию. Можно утверждать, что «третий рассказ» из жизни Маркоса наименее автобиографичен. В то время как в первых двух Эспинель очень точно воспроизводит скитания, своей молодости, — так что Маркоса можно порой принять за псевдоним автора, — в третьем он заметно проводит разделение между своим героем и собой.

С. 528. *...в повозке вместе с дуэньями...* — Здесь под дуэньями следует подразумевать своден. Основное значение слова «дуэнья» — «хозяйка, госпожа, домоправительница» — в данном случае неприменимо.

С. 532. *...полотном Тициана, изображающим любовь Венеры и Марса.* — Картина Тициана на сюжет о любви Венеры и Марса неизвестна. Может быть, речь идет о копии картины Тициана «Венера и Адонис», оригинал которой, написанный в 1554 г., находится в музее Прадо, в Мадриде.

...это было выше моих сил. — Эта сцена является вариацией темы, очень распространенной в литературе того времени.

С. 533. *...честь или бесчестье людей заключается не в том, что они знают о себе сами, но в том, что знает и говорит о них толпа.* — Эта фраза Эспинеля очень характерна для понимания пресловутой испанской чести. В основе ее лежит идея фамильной и личной репутации. Так понималась честь в средние века, когда она была признаком аристократии. Возрождение стало понимать честь как качество, связанное с добродетелью: «Истинное бесчестье в грехе, а истинная честь в добродетели», — говорит Сервантес в повести «Сила крови». Но эта концепция в XVI–XVII вв. уживается с той «вульгарной» концепцией, которая выражена в приведенной фразе Эспинеля: честь не страдает, если бесчестный поступок не получил огласки. Такое толкование можно найти и в «драмах чести» Кальдерона, и в комедиях Лопе де Вега. Эспинель выражает представление о чести, свойственное дворянству его эпохи.

С. 536. *...от столь печального рассказа и страшного зрелища.* — Этот эпизод часто встречается в литературе, но обычно с трагическим концом.

С. 537. *Донья Антония Калатайуд* — возлюбленная Эспинеля, упоминаемая им не раз в «Жизни Маркоса», а также в стихотворениях. Подробности их отношений неизвестны. Известно лишь, что Антония вышла в Оканья замуж за дона Родриго де Сеспедес.

С. 541. *...шел один из Великолепных...* — Титул «Великолепный» — Magnifico — носили в итальянских городах представители знати, а также лица, отправляющие (или отправлявшие в прошлом) какую-нибудь общественную должность; это было подражанием римским патрициям.

...фидальго из Эвора... — «Фидальго» — португальская параллель испанскому «идальго». Эвора — город и провинция в Португалии.

С. 546. *...сочинила показанное мне письмо.* — Эпизод с сеньорой Камилой заимствован у Эспинеля Лесажем («Жиль Блас», кн. 2, гл. XVI).

С. 550. *...нагнал его в Саоне...* — По-видимому, речь идет о приморском городе Савона, к западу от Генуи. Написание «Саона» удерживается во всех изданиях книги Эспинеля.

...пока мы не достигли Марсельских Яблок — название группы мелких островков у берегов Прованса (юг Франции).

С. 551. *...колет из тонкой кордовской кожи...* — Колет — короткий кожаный камзол, плотно облегающий тело. Кордовская кожа — выделанная в Ко́рдове козловая кожа; кожевенная промышленность в Ко́рдове сильно развилась при арабах и почти сошла на нет после изгнания морисков.

С. 552. *...блаженного Раймундо... Франсиско де Паула...* — намеки на легендарные эпизоды из житийной литературы.

С. 554. *...мне было уже около пятидесяти.* — Эспинель возвратился в Испанию в 1584 г., следовательно, во время этого приключения ему было не более 34 лет. Здесь мы должны отказаться от увязывания повествования с данными биографии автора. Эспинель к концу заметно ускоряет ход событий, иногда нарушая расчет времени.

...как говорит дон Луис де Го́нгора... — Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627), один из крупнейших испанских поэтов, оказавший большое влияние на всю современную ему и позднейшую испанскую литературу. Современник и друг Эспинеля.

С. 557. *...поступил на службу к одному знатному вельможе...* — В 1584 г. Эспинель вернулся в Мадрид и вскоре уехал в Ронду, где основанное его родственниками капелланство обеспечивало ему небольшой доход. Таким образом, словам о поступлении на службу в Мадриде и связанному с этим эпизоду нельзя придавать автобиографического значения.

С. 558. *...вместе с ним сваливаются в могилу.* — По-видимому, Эспинель имеет здесь в виду рассказ римского историка Тита Ливия о восстании всех членов тела против лени желудка. Этой притчей Менений Агриппа, римский консул, в 503 г. до н. э. пытался успокоить ярость плебеев, удалившихся из Рима на Священную гору, чтобы заставить римскую аристократию пойти на уступки в области расширения прав плебеев, вначале бесправного податного сословия.

С. 559. *...не на Прадо...* — Прадо — широкий бульвар, в старину — одно из самых излюбленных мест для прогулок.

...поблизости от Леганитос... — улица и площадь в северо-западной части Мадрида, в эпоху Эспинеля — окраина города.

С. 560. *...больше вар, чем дней в году, и при каждой варе пять или шесть бродяг...* — Вара — палка, служившая отличительным признаком альгвасила. Под начальством каждого альгвасила было пять-шесть сыщиков.

С. 562. *...похож на быка Геркулеса...* — намек на одну из легенд о Геркулесе, в которой рассказывается об укрощении им на Крите разъяренного быка (*греч. миф.*).

С. 563. *Прокурадор* — защитник в судебном трибунале.

...как у Самсона в волосах. — Намек на библейскую легенду о судье древних евреев Самсоне, невероятная сила которого заключалась в волосах; подкупленная врагами евреев — филистимлянами, Далила обольстила Самсона и обрезала ему волосы, отчего он лишился силы; филистимляне захватили его и ослепили; когда волосы у него опять отросли, он сдвинул колонны дома, в котором пировали филистимляне, и похоронил себя и всех присутствовавших под развалинами (Книга Судей, 16).

С. 567. *...к Сан-Бернардино, монастырю францисканцев-сборщиков...* — Монастырь в Мадриде, давший название улице и бульвару Реколетос. Реколетос — испанское слово, значит «сборщики».

С. 568. *...по течению Мансанареса...* — Мансанарес берет начало в горах Сьерра-Гвадаррамы и обладает особенностью всех горных рек — многоводием в период таяния снегов и почти полным пересыханием летом.

...растрепанных китов... в метании копья. — Намек на популярный анекдот, использованный также Сервантесом, Лопе де Вега и Тирсо де Молина: по Мадриду однажды разнесся слух, что в реке Мансанарес плывет кит; на берег сбежался народ с оружием в руках, но кит оказался вьючным седлом; с тех пор мадридцев стали звать «китятами».

...до часовни Сан Исидро Лабрадор... — Часовня, посвященная покровителю Мадрида, на левом берегу Мансанареса, около Сеговийского моста; сохранилась до настоящего времени.

...реку Лету... в названии реки Гвадалете... — Эспинель повторяет распространенное среди историков XVI–XVII вв. мнение, что река Гвадалете (в провинции Кадис) соответствует реке Лете в античной мифологии. Это сближение основано на том, что древние писатели помещали в Андалусии Елисейские поля.

С. 569. *...полдничать в венте Дарасутан...* — вента, находящаяся в 9 лигах к югу от Толедо.

С. 570. *...восхваляя... изобретение часов.* — В середине XVI в. была изобретена часовая пружина, являющаяся основной частью карманных часов. С этого времени начинается изготовление часов и быстрое распространение их по всей Европе.

...на сколько пальцев отбрасывается тень. — Палец — мера длины, одна двенадцатая часть пяди, — равняется приблизительно 18 миллиметрам.

С. 571. *...об изобретении искусственной памяти...* — Мнемотехника древних была основана на пространственной локализации идей, какие хотели закрепить в памяти. В 1492 г. Конрад Сельтес заменил места буквами алфавита. Во второй половине XVI в. во всей Европе опять начинается увлечение мнемотехникой, в особенности в Италии, где было издано огромное количество трактатов по этому вопросу. Отражением этого увлечения в Испании могут служить указания, приводимые Эспинелем, а также издание в 1626 г. ставшей очень популярной книги Веласкеса де Асевело «Феникс Минервы, или Об искусстве памяти».

...аудитор из Севильи... — Аудитор — чиновник, присутствующий при судебном разбирательстве, заседатель.

...мои предки, начиная с Нуньо Расура и Лайна Кальво... — Эспинель высмеивает свойственное идальгии чванство благородным происхождением. Для старого испанца должно было звучать абсурдом заявление, что полулегендарные судьи Кастилии служили графам Лемос.

...мои лошади пасутся на лугах Пуэнтедеуме. — Река Эуме и селение Пуэнтедеуме («Мост на Эуме») находятся в Галисии, и благородство, относящееся к легендарным временам, связывается с похвальбой богатством, находящимся за тридевять земель.

С. 572. *...самых новых редондилий...* — Редондилья — строфа, состоящая из четырех восьмисложных стихов, из которых первый рифмуется с последним, а второй с третьим.

С. 573. *...Цицерон, Квинтилиан и Аристотель касаются отчасти этого вопроса...* — Цицерон (I в. до н. э.), следуя высказываниям Аристотеля (XIV в. до н. э.), говорит о мнемотехнике в своем трактате «Об ораторе»; то же самое, только более пространно, делает Квинтилиан (I в.) в своем «Ораторском искусстве».

Дон Лоренсо Рамирес де Прадо — уроженец Сафры, дидактический поэт, писавший в XVII в. по-латыни и по-испански. Ему

принадлежит также несколько исторических и историко-литературных работ. Он упомянут в «Laurel de Apolo» Лопе де Вега.

...лирическом поэте Симониде... – Об этом эпизоде на пиршестве в честь Скопаса сообщают многие писатели древности, напр., Цицерон («Об ораторе», кн. II, гл. 86), Квинтилиан («Ораторское искусство», кн. XI, гл. 2), Федр (кн. IV, басня 19). Симонид – греческий поэт (556–467 гг. до н. э.).

С. 574. *...Синеас, посол царя Пирра...* – Синеас (ум. 227 г. до н. э.) был в Риме с посольством Пирра и приобрел большую популярность среди римлян.

Митридат, царь Понта (111–63 гг. до н. э.) – завоеватель Малой Азии и Кавказа, стремился к созданию мировой монархии, что привело его к столкновению с римлянами, для которых он был непримиримым врагом.

Приводимые Эспинелем примеры взяты из «Естественной истории» Плиния (кн. VIII, гл. 24, примеры памяти).

...в Сауседе... – название местности, заросшей ивняком и служившей пастбищем.

Дон Луис Ремирес. – Это лицо было известно в Мадриде, так как почти в тех же выражениях о нем говорил Монталь-ван, а Суарес де Фигероа сообщает любопытный рассказ, характеризующий театрально-литературные нравы эпохи: «Есть в Мадриде человек, обладающий огромной памятью. Зовут его Луис Ремирес де Арельяно; он сын благородных родителей и происходит из Вильяэскуса-де-Аро. Он запоминает целую комедию, прослушав ее три раза, и не делает ошибки ни в плане, ни в стихах. В первый день он обращает внимание на план пьесы, во второй запоминает разнообразие составных частей, а в третий – точность строф. Таким способом он запоминает любую комедию. В частности, он так запомнил «La dama boba», «El principe perfecto» и «La Arcadia» (пьесы Лопе де Вега), не считая других. Когда я был на представлении «El Galán de la Membrilla», в котором играл Санчес (популярный актер), то этот актер стал так явно сокращать и искажать роль, что его спросили о причине такого ускорения и сокращения. И он публично ответил, что в театре находится человек, – и указал его, – который в три дня запоминает любую комедию, и что он читает так плохо из боязни, чтобы тот не присвоил себе и эту пьесу. В театре поднялся шум, все потребовали прервать представление, и не было возможности продолжать его, пока Луис Ремирес не покинул театра» (цит. по: Rennert-Castro. Vida de Lope de Vega).

Кража ненапечатанных пьес для постановки их в другом театре была распространенным явлением. Драматурги страдали от этого и материально, и тем, что их произведения иногда искажались до неузнаваемости. Лопе де Вега неоднократно говорит об этом. В предисловии к XIII части своих комедий (Мадрид, 1620) он пишет о двух специалистах по краже комедий; один носил прозвище Memorilla (Маленькая память), другой – Gran Memoria (Огромная память); они прибавляли «к нескольким запомненным стихам бесконечное количество своих нелепых стихов, чем зарабатывали себе на жизнь, продавая их».

С. 575. *...он был из Каньете-ла-Реаль...* – небольшое селение к северу от Ронды.

С. 576. *...около Куэнки, в местечке, называемом Алькантус...* – Куэнка – город в Новой Кастилии; хотя во всех изданиях сохраняется написание Алькантус, надо считать его искаженным названием селения Алькантуд.

С. 577. *...но разве мог бы я... производить уплату раньше срока.* – Эту часть текста инквизиция предписала вычеркнуть; запрещение находится в Индексе, изданном в 1667 г.

...наполовину остриженного юношу... – Получение тонзуры было подготовительной ступенью к принятию монашества.

Разве я река, чтобы выходить из берегов? – Почти весь разговор аудитора с юношей построен на игре слов; в данном случае эта игра основана на трех значениях слова «madre»: «мать», «матка» и «русло реки».

С. 578. *Чтобы избежать гонений, человек вполне может сделаться гонцом.* – Игра слов, построенная на созвучии «correa» – «ремень» и «correo» – «курьер, гонец»; чтобы отчасти сохранить характер подлинника, вместо «избежать ремня» поставлено «избежать гонений», для соответствия с «гонцом».

С. 579. *...из-под Уведы, из селенья, которое называется Башня Перо-Хиль...* – Башня Перо-Хиль (по-испански Торре-перохиль) – селение близ Уведы, в Южной Испании.

...слуги из домов Ковос. – Секретарь Карла I, дон Франсиско де лос Ковос, построил в Уведе несколько зданий, в том числе церковь Спасителя (1540–1555).

С. 580. *...почтенной должности альмотасена...* – Альмотасен – чиновник, на обязанности которого лежал надзор за правильностью мер и весов.

С. 581. *Савинилья* – селение на берегу Средиземного моря.

...люди из Эстепоны и Ка́сареса... – Эстепона – приморский город; Ка́сарес – город в предгорьях Сьерра-Бермехи.

...называли Авраамом по человеколюбию... – Намек на рассказ из Библии (Бытие, 18) о том, как Авраам приютил странников.

С. 593. *...чтением «записок о христианской жизни» брата Луиса де Гранада.* – Луис де Гранада (1504–1588), доминиканский монах, известный в свое время проповедник с уклоном в аскетизм и духовный писатель; упоминаемые «Записки» были изданы в 2-х томах в Лиссабоне в 1565 г. и переиздавались в XVI в. пять раз.

С. 597. *...на исследование Магелланова пролива.* – Магелланов пролив был открыт в 1527 г., после чего в эти области часто отправлялись экспедиции.

С. 598. *Кобылий залив* – залив Де-лас-Иегвас на о. Куба. По контексту можно, однако, предположить, что корабли не покидали Испании.

...устье реки Ганеро. – Так во всех изданиях транскрибировано название Рио-де-Жанейро.

С. 601. *...человечки убегали от них.* – Рассказ доктора Сагредо, представляющий собой чистый вымысел, содержит, однако, ряд точных подробностей, заимствованных Эспинелем у первых историков Индии; название «Индия», данное Америке Колумбом, думавшим, что он открыл новый путь в Индию, надолго удержалось за новым материком и прилегающими островами. Так, на обилие птиц в некоторых местах Магелланова пролива указывает Пигафет, хронист путешествия Магеллана. О большом росте патагонцев упоминают Пигафет, Максимилиан Трансильванский, Хинес де Мафра и Андрес де Сан-Мартин, не считая других, черпающих сведения из вторых рук.

С. 603. *...делало... остров недосягаемым, как мы его и назвали.* – Существует много островов, носящих название «Недосягаемый».

... дать мне концов... – Концом в морской терминологии называется всякая свободная снасть небольшого размера.

С. 604. *...мы увидели идола... на голове немного волос в беспорядке.* – Описание отчасти напоминает изображение божества ацтеков Уицилопочтли.

С. 605. *...два великана необычайной высоты...* – Находки в американских странах огромных ископаемых животных вызвали представление, будто там некогда жили великаны. Об этом говорят все ранние историки.

...хриплые и печальные звуки... – Берналь Диас дель Кастильо, один из наиболее достоверных мемуаристов конкистадоров, часто упоминает о хриплых и печальных звуках индейских тамбуринов.

С. 610. *...некоторые из каньяэха...* – Каньяэха – народное название растения из семейства зонтичных – Ferula Communis L.

С. 613. *...и творцом того самого солнца, которому они поклонялись.* – Во время мирных переговоров с индейцами испанцы всегда касались религиозных вопросов, стараясь внушить слушателям евангельские принципы, что не мешало им проводить в захваченных землях отнюдь не «христианскую» политику.

С. 617. *Дон Фелис Арьяс.* – Возможно, что здесь имеется в виду дон Фелис Арьяс де Хирон, покровитель мадридской «Поэтической Академии», существовавшей с конца XVI в.

С. 619. *Роке Амадор.* – Не удалось выяснить, является ли это имя вымышленным, или этот разбойничий атаман действительно существовал. Испанские разбойники нередко пользовались большой популярностью в народе, и с именами их связывались героические легенды, – это было своеобразной формой протеста испанской народной массы против господствующих классов.

С. 620. *Тридцать пинт* – термин карточной игры. В игре, называемой «дель-парар», берется вся колода и из нее открывается карта за картой. Первая – партнеру, вторая – сдающему. Эта пара карт и называется пинтой.

С. 623. *...ни трескотни, ни насечки...* – В подлиннике «retrónicas y ataujías». «Retronicas» (искаж. «retoricas») – «напыщенность»; «ataujía» – «насечка золотом или серебром, которую с необычайным искусством делали ремесленники-мавры»; здесь: «изысканность».

С. 625. *Лисенсиат Вальядарес* (ум. 1599), – член Королевского совета; о нем упоминает Луис Кабрера.

С. 626. ...с *очередным кораблем...* – В подлиннике «barco de la vez»; так называлось судно, совершающее правильные рейсы с пассажирами и грузом между определенными портами.

Маэстро Вальдивьельсо – Хосе де Вальдивьельсо (1560?–1638), религиозный поэт и драматург, был капелланом архиепископа Толедо дона Бернардо де Сандоваль-и-Рохас.

С. 627. *...жестокости неистового трезубца...* – Античная мифология изображала владыку морей Нептуна с трезубцем; атрибут божества употреблен вместо его имени для метонимического обозначения моря.

С. 628. *Герцог Осуна дон Педро Хирон.* – О его бурной молодости много рассказывает Луис Кабрера. Под 6 мая 1600 г. Луис Кабрера сообщает, что по освобождении из тюрьмы в Аревало, куда он был заключен за бесчинства, герцог был выслан в

Осуну. Получив разрешение явиться «поцеловать руку его величества», он воспользовался этим разрешением, чтобы отправиться в Севилью и другие места по своему желанию. 23 сентября 1600 г. следует такое сообщение: «Будучи здесь, герцог Осуна наделал таких бесчинств, что, когда он отправился в Пеньяфьель, свое владение, из Вальядолида был отправлен алькальд, который задержал его в одном из домов этого города, и там его держали в заключении под охраной четырех альгвасилов».
20 июля 1602 г. при дворе стало известно, что Осуна бежал во Фландрию; оттуда он вернулся в 1608 г. Он помирился с королем и получил орден «Золотого руна» в награду за службу во Фландрии. Позднее он был назначен вице-королем Сицилии и Неаполя.

С. 629. *Хорхе де Товар* — секретарь совета Филиппа III (1598–1621), ближайший сотрудник герцога де Уседа, фактически управлявшего государством во второй половине этого царствования.
Донья Хуана де Кордо́ва-Арагон-и-Кардона, герцогиня де Сеса — внучка герцога Кардона, была фрейлиной королевы; в апреле 1608 г. вышла замуж за коннетабля.

С. 630. *Дон Луис Фернандес де Кордова, герцог де Сеса* — приобрел известность «Письмами», которые писал за него служивший у него секретарем Лопе де Вега.

С. Игнатов

«Хромой бес»
Луиса Велеса де Гевара

Повесть «Хромой бес» в переводе выдающейся русской перводчицы испанской прозы Е.М. Лысенко впервые увидела свет в издательстве «Художествнная литература» (М., 1964).

С. 634. *Родриго де Сандоваль, де Сильва... герцог де Пастрана* — видный государственный деятель, член Королевского совета по государственным и военным делам (умер в 1675 г.).

С. 635. *...зловещий час для прохожих...* — По указу 1639 года после одиннадцати часов вечера летом и после десяти зимой разрешалось выливать помои на улицу.
Прадо — бульвар в Мадриде, излюбленное место для прогулок.
Мансанарес — протекающая в Мадриде речка, приток Харамы; летом почти полностью пересыхает, что было обычным поводом для острот в испанской литературе XVII века.

С. 636. *«Расходитесь, река кончилась»...* — Пародируется возглас священника по окончании службы: «Расходитесь, месса кончилась».

С. 637. *Как истый студент Алькала...* — В городе Алькала-де-Энарес (в 33 км от Мадрида) находился знаменитый университет, основанный в начале XVI века.

С. 638. *Эскудеро* — буквально: «щитоносец» — идальго, находившийся в услужении у знатного вельможи. Эта должность считалась не унизительной для бедного дворянина.
...принес... сарабанду... «щегла-щеголька»... — Речь идет о различных танцах.
Ха́кара — шуточная песенка и танец.
...с одинаковой высоты... — По преданию, до сотворения мира часть ангелов во главе с Люцифером восстала против бога; они были низринуты с небес в ад и стали дьяволами.

С. 639. *...в наших Нижних Провинциях...* — Борьба Нидерландов (Нижних Провинций) за независимость причиняла Испании много неприятностей на протяжении почти ста лет (до окончательного отделения их в 1648 г.), с чем и связано каламбурное уподобление преисподней Нидерландам.
...как ветер, мчат. — Перефразируется испанская поговорка: «По пути в Сантьяго (знаменитое место паломничества) идет и здоровый и хромой».
...нашей кромешной Гвинеи. — Бес уподобляет ад, населенный «черными» дьяволами, Гвинее, откуда в огромном количестве вывозились в Европу и главным образом в Латинскую Америку негры-рабы (первая партия африканских негров была доставлена португальцами в Лиссабон еще в 1441 г.).
...будто у гирканского тигра... — Гиркания, область древней Персии к югу и юго-востоку от Каспийского моря, славилась обилием тигров.

С. 640. *...на зависть самому Мениппу из Лукиановых диалогов...* — В одном из своих диалогов («Разговоры в царстве мертвых») знаменитый греческий сатирик Лукиан (около 125 — около 192) выводит философа-киника Мениппа (III в. до н. э.), который, оказавшись в подземном царстве, знакомится с его достопримечательностями.

С. 641. *...как заведено, с полуночи...* — В пятницу был предписан пост, и только после полуночи разрешалось есть мясные блюда. Это служило предлогом для устройства ночных пирушек, которые осуждались моралистами.

С. 641. *...был его поэтом-культистом...* — Культизм, или гонгоризм, — течение в испанской поэзии, возникшее в начале XVII века под влиянием поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе (1561–1627). Произведения поэтов-культистов отличались усложненностью языка, обилием метафор, латинизмов и смелых неологизмов.

...трясет своей бородой... — Правоведы и законники носили окладистую бороду, что вызывало насмешки, так как модной считалась бородка клинышком.

С. 642. *...а на лице столько изюма...* — Изюм применялся как косметическое средство, улучшающее цвет лица.

Сан-Себастьян, Фуэнтеррабия — города в провинции Гвипускоа (крайний северо-восток Испании).

С. 643. *Бермудские острова* — группа островов в Атлантическом океане, открытая в 1552 году испанцем Хуаном Бермудесом. Из-за частых бурь берега этих островов считались опасными для мореплавателей.

Саагунская бочка — знаменитая своими размерами бочка для хранения вина, имевшаяся в городе Саагун (провинция Леон).

...у Гвадалахарских ворот... — Район, прилегавший к Гвадалахарским воротам (сгорели в 1582 г.), был торговым центром Мадрида; там находились лавки самых богатых купцов.

...среди участников сражения на тростниковых копьях... — В этом увеселении, заменившем в XVII веке турниры и распространенном в Италии, Франции и Испании, имели право участвовать лишь дворяне.

С. 644. *Раймунд Луллий* — известный средневековый поэт, философ и миссионер, по происхождению испанец (1235–1315). Наряду с подлинными его сочинениями во всей Европе распространялись приписанные Луллию трактаты, в частности алхимические. На самом же деле Луллий осуждал алхимию.

С. 645. *...и «три сотни прочих средств»* — стих из шуточных народных куплетов, ставший присловьем.

С. 646. *...сочиняют фугу в четыре улицы.* — Обыгрывается двойное значение слова «фуга» — род музыкального произведения и «бегство» (*лат.*).

«Чудо-рыцарь» — название одной из комедий Лопе де Вега, где изображен дворянин, ведущий роскошный образ жизни на неизвестно какие доходы. Велес употребляет это шуточное определение в несколько ином смысле.

Безоаровый камень — встречающееся в кишечнике у жвачных животных (и реже — у людей) образование из волос, остатков пищи и проч. В средневековой медицине считался средством, предохраняющим от ядов.

С. 647. *...восьмой эфесский праведник...* — Согласно христианской легенде, в городе Эфесе (Малая Азия) во времена императора Деция (201–251) были заживо замурованы в пещере семь братьев-христиан. Когда через сто девяносто шесть лет пещеру открыли, оказалось, что братья все это время проспали.

...мог бы оспаривать звание Антихриста. — По народному поверью, Антихрист должен был родиться от союза духовного лица с монахиней.

С. 649. *...и на зависть всем шулерам.* — Намек на то, что шулера во время игры переговариваются с помощью знаков и гримас.

...при своих прежних фамилиях-отчествах... — Фамилии, образованные от имен (по типу отчества — Эрнандес, Мартинес и т. п.), обычно указывали на плебейское происхождение.

С. 650. *Рехидор* — член городской или сельской управы.

...«пасхальной свечой». — В оригинале игра слов, основанная на том, что имя «Паскуаль», сочетание которого с титулом «дон» считалось неблагозвучным, означает «пасхальный».

Пуэрта-дель-Соль — центральная площадь старого Мадрида.

С. 652. *Альваро де Луна* — всесильный фаворит (1388–1453) короля Хуана II. Вызвал недовольство знати, был обвинен в том, что околдовал короля, и после долго тянувшегося процесса казнен.

...что затерялись три декады Тита Ливия. — Из огромной истории Рима, написанной Титом Ливием (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) и состоявшей из ста сорока двух книг, дошли только тридцать пять книг, или три с половиной декады (разделение на декады — по десять книг — позднейшее). Остальные известны в кратком изложении.

С. 654. *...Боскана и Гарсиласо.* — Хуан Альмогавер Боскан (1500–1542) и его друг, талантливый поэт Гарсиласо де ла Вега (1503–1536), были основателями «итальянской школы»; они ввели в испанскую поэзию стихотворные формы и размеры, применявшиеся в Италии. Боскан перевел с греческого поэму Мусея (конец V – начало VI в.) о юноше Леандре, влюбленном в жрицу Афродиты Геро и приплывающем к ней с другого берега Геллеспонта, где он жил в городе Абидосе. Гарсиласо написал на эту тему сонет, который и цитирует дон Клеофас.

Салисио и Неморосо — собеседники, выведенные в эклоге Гарсиласо «Салисио и Неморосо».

...и моя Астурия. – Уроженцы этих северных областей Испании, не подвергшихся арабскому завоеванию, кичились чистотой крови и знатностью.

С. 655. *...подняв жезл...* – Приступая к исполнению обязанностей, блюститель правосудия поднимал жезл.

С. 656. *Хетафе* – город в восемнадцати километрах к югу от Мадрида.

Торрехон (теперь Торрехон-де-Веласко) – город в провинции Мадрид у границы с провинцией Толедо.

Висагрские ворота – одни из ворот города Толедо.

...который объехал все семь частей света. – Кругосветное путешествие, совершенное в 1424 году инфантом Педро Португальским, сыном Жоана I и братом Энрике Мореплавателя, было описано в книге, вышедшей в Испании в 1570 году под названием «Книга об инфанте доне Педро Португальском, который объехал все четыре части света». Однако испанцы, привыкшие к сочетанию «семь частей» – название знаменитого сборника законов короля Альфонсо X (XIII в.), – превратили «четыре части света» в «семь».

Великий Турок. – Так называли в то время в Европе турецкого султана.

С. 658. *Мирмидоняне* – древнегреческое племя, жившее в Фессалии. Под началом Ахиллеса участвовало в осаде Трои.

Дом Нунция – приют для умалишенных в Толедо; был построен в конце XV века папским нунцием Франсиско Ортисом.

С. 659. *«Мальтийский василиск»* – по-видимому, пушка, которая принадлежала рыцарям ордена св. Иоанна на о. Мальта.

...который, точно журавль, всегда бодрствует... – Согласно «Естественной истории» Плиния, пока стая журавлей спит, ее вожак бодрствует.

С. 660. *Палладион* – здесь: «троянский конь», сооруженный по велению Паллады.

Бузн-Ретиро – парк в Мадриде, где находилась королевская резиденция. В 1632 году там был построен «Колизей», роскошный театр, вначале придворный, а в 1640 году открытый для публики.

С. 661. *Тостадо* Алонсо, или Алонсо де Мадригаль (около 1499–1555) – испанский богослов, необычайная плодовитость которого вошла в поговорку (его сочинения были изданы в 1615 г. в двадцати четырех томах in folio).

С. 662. *Ренхифо* Диего Гарсиа – автор чрезвычайно популярного в свое время «Испанского поэтического искусства» (первое издание – в 1592 г.).

Семеро Праведников. – См. коммент. к с. 647.

лига – старинная испанская мера длины, равная 5,6 километра.

С. 663. *...самой высокой Горы...* – Гора (*исп.* Монтанья) – народное название испанской провинции Сантандер.

...зарождаются в грязи. – Аристотель и Плиний допускали возможность самозарождения живых существ в мертвой материи, особенно при наличии влаги (гусениц из росы на листьях, моли – из пыли и т. д.). Это воззрение господствовало вплоть до XVII века.

Вальтелина – территория, находившаяся на стыке испанских владений в Италии и владений Австрийского дома. Была в XVII веке местом неоднократных военных конфликтов.

«Светлейшие» – титул высшей венецианской знати.

С. 664. *Герцог де Осуна* – Педро Тельес-и-Хирон, герцог де Осуна, вице-король Неаполя и обеих Сицилий, сыгравший большую роль в борьбе Испании против Венецианской республики, которая поддерживала мятежные Нидерланды.

Анконская марка – провинция на побережье Адриатического моря с главным городом Анконой, в то время крупнейшим после Венеции приморским городом Адриатики. В 1532 году была присоединена папой Климентом VII к церковным владениям.

...этот всемирный денежный мешок... – Генуэзские банки играли главную роль в процессе выкачивания из Испании золота, поступавшего из Америки.

Винарос и Альфакес. – Винарос – портовый город в провинции Кастельон-де-ла-Плана, южнее устья Эбро; Альфакес – небольшой порт в провинции Таррагона, также на восточном побережье Испании.

С. 666. *...чем исцеление золотушных.* – Согласно народному поверью, французские короли были наделены даром исцелять золотушных.

С. 667. *...коим они грешат...* – Имеются в виду распущенные нравы итальянцев, в частности мужеложество.

Пуэрто-де-Санта-Мария – портовый город в провинции Кадис, место зимовки испанских эскадр.

Перальвильо – селение близ города Сьюдад-Реаль; там Эрмандада (добровольная военная организация, возникшая в Испании в XIII в. для борьбы с бесчинствующими феодалами и грабителями на дорогах) подвергала преступников казни, стреляя в них из лука; когда трупы сгнивали, кости бросали в особое хранилище.

С. 668. *Эсиха* – город в провинции Севилья, родина Велеса де Гевара.
...*«а ему не жаль их было»* – стих из популярного романса о Нероне, безжалостно взиравшем на пожар Рима.

С. 669. *Кларамонте* – Андрес де Кларамонте-и-Коррой (умер в 1610 г.) – драматург и актер, друг Велеса; написал много комедий и ауто.
...*учился в Саламанке...* – В городе Саламанке находился знаменитый университет, основанный в 1253 году королем Альфонсо X.
Амариллис – сценическое имя известной испанской актрисы Марии де Кордова (умерла в 1678 г.).
Гильен де Кастро (1569–1631) – видный драматург, автор «Юности Сида». Здесь речь идет о его драме «Дидона и Эней» (опубликована в 1625 г.).

С. 670. *Ронсеваль* – ущелье в Пиренейских горах, где, по преданию, был уничтожен арьергард войска Карла Великого во главе с Роландом. Стал в испанском языке нарицательным словом для обозначения кровавого побоища.
...*по приказу Совета Кастилии.* – Заботясь о том, чтобы столичные театры не пустовали, Совет Кастилии приказывал странствующим труппам являться в Мадрид, нередко в сопровождении альгвасила.
...*точно хамелеоны...* – Согласно поверью, хамелеоны, живущие преимущественно на деревьях, являются обитателями воздушной стихии и питаются воздухом.
...*с не меньшей скромностью.* – Речь идет о всемогущем министре короля Филиппа IV Гаспаре де Гусман, графе-герцоге Оливаресе (1587–1645), фактически правившем Испанией в 1621–1643 годах.
Альколеа – предместье Кордовы.
...*на берегах португальского Тахо.* – Писатели древности (Плиний, Марк Варрон и др.), восхищаясь быстротой португальских коней, высказывали фантастическое предположение, что португальские кобылы зачинают от ветра.

С. 671. ...*обоих Сенек и Лукана...* – Марк Анней Сенека Старший, или Ритор (около 58 г. до н. э. – 33 г. н. э.), был известен в Риме как автор руководства по риторике и обзора римской истории с начала гражданских войн до правления императора Тиберия. Гораздо более знаменит его сын, Луций Анней Сенека Младший, или Философ (3–65), принадлежавший к школе стоиков и оставивший ряд философских сочинений и трагедий. Лукан Марк Анней (36–63) – внук Сенеки Старшего, римский поэт, автор поэмы «Фарсалия», описывающей гражданскую войну между Цезарем и Помпеем.
...*чуть не лопнул со смеху.* – В главе VIII первой книги «Жизни пройдохи по имени дон Паблос» Кеведо выводит полусумасшедшего теоретика фехтования, который обосновывает фехтовальные приемы математикой и во всем усматривает круги, дуги, хорды, прямые и тупые углы и т. д. В этом сатирическом образе Кеведо высмеял Луиса Пачеко де Нарваэса, автора «Книги о величии шпаги» (1600), одного из своих злейших врагов.
Монтилья – город в провинции Кордова.
Педрочес – селение, расположенное в самом высоком месте Сьерры-Морены.
...*выронил свою черную шпагу.* – При фехтовании применялись так называемые «черные» шпаги, в отличие от боевых, «белых».
Карранса – Херонимо Карранса де Барреда, теоретик фехтовального искусства, издал в 1569 году книгу «О философии оружия и о владении им», доставившую ему европейскую известность.
«Башмачок» – наконечник, надевающийся на острие шпаги при фехтовании.

С. 672. ...*как в склепе герцогов де Кастилья.* – По преданию, в фамильном склепе герцогов де Кастилья всякий раз, как умирал кто-нибудь из их рода, раздавались громкие удары.
...*опустились у Эсиханского Столпа.* – Во многих городах и селениях Испании стояли каменные виселицы или просто каменные столбы с крестом наверху как эмблема власти и правосудия. Такой «столп» действительно являлся одной из достопримечательностей Эсихи. Он служил основанием для плиты, на которой была статуя льва, держащего щит с гербом города; к этой плите подвешивали останки четвертованных преступников.

С. 673. *Гарси Санчес де Бадахос* (XV в.) – автор аллегорической поэмы «Ад любви», имевшей большой успех.
«Великий Капитан» – прозвище Гонсало Фернандеса де Кордова (1453–1515), выдающегося полководца, прославившегося в войнах против мавров и завоевавшего в 1504 году Неаполитанское королевство.

С. 674. *Альгамбра, Алькасаба.* – Альгамбра – знаменитый дворец мавританских королей в Гранаде. Алькасаба – крепость (*арабск.*).
Мира де Амескуа Антонио – известный поэт и драматург зо-

лотого века, друг Велеса и один из его соавторов (около 1578 – около 1640).

С. 675. *...соколы из самой сумрачной Норвегии...* – Соколы норвежской породы особенно ценились любителями соколиной охоты. Здесь намек на преисподнюю, так как Норвегия представлялась испанцам страной, где почти не бывает солнца.

С. 676. *Кармона* – город в провинции Севилья.

С. 677. *Колюр* – название двух больших кругов небесной сферы, из которых один (колюр равноденствий) проходит через полюсы мира и точки равноденствий, а второй (колюр солнцестояний) – через полюсы и точки солнцестояний.

...до колеблющейся и неподвижной... – Согласно средневековым астрономическим воззрениям, основанным на геоцентрической системе Аристотеля и Птолемея, звезды, планеты, а также Солнце и Луна помещаются на девяти сферах, которые вращаются вокруг Земли с различной скоростью, причем это движение сочетается с вращением планет по эпициклам (малым кругам).

Хуан де Эспина – современник Велеса, занимавшийся собиранием редкостей и астрономией, благодаря чему слыл в народе чернокнижником.

...что Венера рогата. – Планета Венера, подобно Луне, имеет фазы, что было открыто Галилеем в 1610 году.

...подобно журавлю... – См. коммент. к с. 659.

С. 678. *...были королями поэзии.* – Из приведенного перечня комментируем менее известные имена. *Силий Италик* (I в.) – римский эпический поэт, автор историко-героической поэмы о II Пунической войне. *Клавдиан* (конец IV в.) – латинский поэт, родом из Александрии, оставивший ряд поэм на исторические сюжеты. *Стаций Папиний* (около 40 – после 95) – римский поэт, автор двух больших эпических поэм «Фиваида» и «Ахиллеида», стяжавших ему огромную славу в средние века. *Саннадзаро* Джакопо (1458–1530) – итальянский поэт, автор знаменитой идиллии «Аркадия», многих фарсов, а также элегий, эклог и эпиграмм на латинском языке. *Бембо* Пьетро (1470–1547) – итальянский филолог, историограф и поэт. *Гварини* Джованни Батиста (1537–1612) – итальянский поэт, известный главным образом своей пасторальной драмой «Верный пастух» на сюжет, заимствованный из «Аминты» Тассо. *Кавалер Марино* Джамбаттиста (1569–1625) – знаменитый итальянский поэт, чьи манерные, вычурные стихи вызывали восхищение современников и сделали его

главой особой школы. Особенно славилась его поэма «Адонис». *Хуан де Мена* (1411–1456) – испанский поэт, подражавший итальянской и латинской поэзии, автор аллегорической поэмы «Лабиринт Фортуны». *Кастильехо* Кристобаль де (1490–1556) – испанский поэт, восставший против петраркистов и подражателей итальянской поэзии. *Гарси Санчес.* – См. коммент. к с. 673.

С. 680. *Симония* – продажа должностей.

Астольфо – персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», не столько доблестный, сколько удачливый герой баснословных приключений, совершаемых при помощи крылатого коня Гиппогрифа.

...с гвоздем. – Клеймо, состоящее из буквы S («эсе», перечеркнутой гвоздем, «клаво»), означало «эсклаво» (по-испански – «раб»).

С. 681. *...как дон Бельтран небесных светил...* – В одном из народных романсов о Ронсевальской битве рассказывается о гибели рыцаря Бельтрана: «В превеликой этой пыли затерялся дон Бельтран». Это двустишие стало шуточной поговоркой.

...недавно окрещенного... – Звание города было пожаловано Кармоне Филиппом IV в 1630 году за подношение сорока тысяч дукатов.

С. 682. *Хиральда* – огромный флюгер в виде статуи Победы на башне Севильского собора.

Триана – в эпоху Велеса де Гевара предместье Севильи (теперь один из районов); расположена на другом берегу Гвадалквивира.

С. 683. *Иерусалимский крест* – крест особой формы. Этими крестами украшен дворец герцогов де Алькала в память путешествия в Иерусалим одного из членов их рода.

...Вирено жениться на... Олимпии. – История Вирено и покинутой им Олимпии рассказана в песнях IX и X «Неистового Роланда», а также воспета в одном из испанских народных романсов.

С. 684. *Монумент* – алтарь, воздвигавшийся в церквах в страстную неделю для хранения облаток, которыми причащают верующих в страстную пятницу.

...по плану Филиппа Второго. – Севильская Биржа была сооружена по тому же плану, что и знаменитый монастырь святого Лаврентия в Эскориале, план которого начертал сам Филипп II. И Биржу и Эскориал строил архитектор Хуан де Эррера (1530–1597).

С. 685. *Золотая Башня.* — Имеется в виду башня, построенная арабами в 1220 году; получила свое название благодаря облицовке изразцами, отливающими золотом.
Герцог де Верагуа. — Речь идет о потомке Христофора Колумба, проживавшем в Севилье. Он был одним из покровителей Велеса.

С. 686. *...ассистент в Севилье...* — В некоторых крупных городах Испании (Марчена, Сантьяго, Севилья) во главе городского управления стояли королевские советники (asistentes), а не коррехидоры.

С. 689. *...в битве при Фуэнтеррабии.* — В 1638 году французы сделали попытку вторгнуться на территорию Испании, но были разбиты благодаря героизму гарнизона Фуэнтеррабии.
Пелайо — первый король (умер около 737 г.), избранный знатью и духовенством, которые укрылись в горах Астурии от нашествия арабов. В 718 году одержал победу в знаменитой битве при Ковадонге, что явилось началом отвоевания полуострова.
Старший жезлоносец Сантьяго — почетное звание, которого удостаивались лица из высшей знати.

С. 690. *Праздник Королей* — народное название католического праздника (6 января) в честь поклонения королей (царей волхвов) младенцу Христу.
...прославил на век их имя. — Имеется в виду Амброзио Спинола (1571–1630), знатный генуэзец, в течение ряда лет стоявший во главе испанских войск в Нидерландах и отличившийся в других военных кампаниях.
...знаменитого отца. — У графа де Салданья Велес состоял на службе примерно с 1608 по 1620 год.

С. 691. *Маркиз де Пеньяфьель.* — У него Велес также служил с 1620 по 1622 год.
Герцог де Пастрана. — См. прим к с. 634.

С. 692. *...Утическому и Цензору.* — Марк Порций Катон Утический (95–46 гг. до н. э.) — римский народный трибун, глава республиканской партии. Покончил с собой в г. Утике, узнав о победе Цезаря над войсками республиканцев. Марк Порций Катон Цензор (234–149 гг. до н. э.) — прадед Катона Утического, один из крупнейших государственных деятелей Древнего Рима, полководец, оратор и писатель, с крайней строгостью боровшийся против распущенности нравов.
Берберия — старинное название Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис, Триполитания и др.).

С. 694. *...смиренному и кроткому праведнику...* — Имеется в виду святой Франциск Ассизский (1182–1226), основатель ордена францисканцев, одним из ответвлений которого был орден миноритов («меньших братьев»). Орден минимов («наименьших братьев»), учрежденный Франциском де Паула (1416–1508), был по уставу родствен францисканскому.

С. 695. *...король Венгрии...* — Речь идет о Фердинанде III (1608–1657), унаследовавшем в 1637 году престол императора Священной Римской империи. Еще до этого, в 1625 году, он был коронован королем Венгрии.
Инфант дон Фернандо (1609–1641) — брат Филиппа IV, правитель Нидерландов. В 1636 году совершил вторжение во Францию, дошел почти до Парижа, но из-за дезертирства немецких наемников вынужден был отступить.

С. 696. *...поцелуями не удивишь...* — Испанцев, воспитанных на правилах церемонного придворного этикета, возмущал обычай англичан и голландцев целоваться при встречах.
...чуть влажный песок! — См. коммент. к с. 635.
...лишь в темноте... — Монета, чеканившаяся в Наварре, не имела хождения в остальной Испании.
...со сгоревшей мельницы... — По-видимому, намек на какую-то побасенку.

С. 697. *...алькальда Тарифы.* — В 1293 году армия мавров во главе с мятежным принцем доном Хуаном, восставшим против своего брата, короля Санчо Храброго, осаждала город Тарифу. Сын алькальда Тарифы Алонсо Переса де Гусман был пажом дона Хуана, и принц требовал, чтобы Перес сдал город, угрожая в противном случае убить его сына. Но Перес в ответ на это перебросил через городскую стену кинжал, сказав, что готов скорее потерять сына, нежели изменить королю. Взбешенный дон Хуан велел зарезать мальчика на глазах у отца. Этот героический эпизод послужил сюжетом для одной из лучших драм Велеса — «Король важнее уз крови».
...примут весьма радушно. — В нижеследующем эпизоде дано комическое изображение Севильской поэтической академии, одной из многих, создававшихся в испанских городах в подражание итальянским академиям.
...как положено, шнурками... — Ношение очков как признак учености было модным в Испании XVII века и часто осмеивалось писателями. Очки имели форму пенсне со шнурками.

С. 698. *Альваро де Кувильо* — популярный в то время поэт и драматург (умер в 1644 г.).

Гарсиа де Коронель-и-Сальседо (умер в 1651 г.) — поэт школы Гонгоры.

Сильва — распространенная в испанской поэзии XVII века стихотворная форма — сочетание не всегда рифмованных стихов разного размера.

С. 699. *Бетис* — древнее название реки Гвадалквивир.

С. 700. *Ректор Вильяэрмосы* — вероятно, поэт Бартоломе Леонардо де Архенсола (1562–1631), который в виде синекуры имел звание «ректора» (главы церковного прихода) в арагонском селении Вильяэрмосе.

Академия делла Круска — знаменитое литературное общество, основанное во Флоренции в 1582 году.

Антонио Уртадо де Мендоса — поэт и драматург, автор большого количества романсов и ряда драм (1590–1644).

С. 701. ...*Севилью у мавров.* — Король Фернандо III Святой (1199–1252) осуществил ряд успешных походов против мавров и овладел почти всеми мусульманскими территориями на юге Пиренейского полуострова. Севилья была им завоевана в 1248 году.

С. 702. *Рентой* — азартная карточная игра.

Эстрадо — деревянный помост, обычно устланный коврами и подушками, заменявший мягкую мебель. Здесь иронически.

С. 704. *Паулина,* — «Паулиной» называли эдикт об отлучении от церкви (по имени папы Павла III (1534–1549), при котором такие эдикты вошли в обычай) и в расширенном значении всякую брань, поношения, проклятия и т. п.

С. 705. *Градас* («Ступени») — галерея вокруг Севильского кафедрального собора; там собирались купцы для заключения торговых сделок, назначались свидания.

С. 707. *Фракийский певец* — Орфей.

Арион — полулегендарный греческий поэт и музыкант (VII в. до н. э.).

Амфион — музыкант, сын Зевса и Антиопы, окруживший город Фивы стеной, причем камни сами собой складывались под звуки его лиры (*греч. миф.*).

Конский Источник — Иппокрена, священный источник на вершине горы Геликон, забивший после того, как крылатый конь Пегас ударил в скалу копытом. Иппокрена в греческой мифологии — источник вдохновения муз.

Вильянсико — народные песенки на религиозный сюжет, обычно распевавшиеся в церквах на рождество.

Цезарь Скалигер — филолог и критик, по профессии врач, родом из Италии, но живший во Франции (1484–1558). Автор многих философских и филологических сочинений; особенно прославился своей «Поэтикой».

С. 708. ...*и тому подобное...* — Все эти слова, заимствованные из латыни и итальянского, вошли в испанский литературный язык.

С. 709. ...*утешитель несчастных...* — Кормя птенцов рыбой из своего зоба, пеликан прижимает клюв к груди; отсюда возникло поверье, что он раздирает себе грудь и кормит птенцов собственной кровью.

Клавдиан. — См. коммент. к с. 678.

...*устав монастыря Паулар...* — Имеется в виду устав обители картезианцев в провинции Мадрид, повелевавший хранить обет молчания.

С. 710. ...*в Оран на службу его величеству.* — В качестве наказания провинившимся дворянам нередко повелевалось отправиться в Оран (испанское владение в Алжире) с двумя воинами, что и пародируется здесь.

«Одиночества» — самый знаменитый цикл поздних стихотворений Луиса де Гонгора, отличающийся темнотой языка; к ним уже вскоре после смерти поэта составлялись обширные комментарии (см. коммент. к с. 641.).

С. 711. ...*и в трех полушариях...* — Под третьим полушарием подразумевается ад.

Потосú — город и область в Боливии с чрезвычайно богатыми залежами серебра.

С. 712. *Бунт «Ярмарки и зеленого стяга».* — Имеется в виду бунт в Севилье в 1521 году; его наименование связано с тем, что он был поднят жителями квартала Ярмарки, которые несли зеленое знамя, некогда захваченное у мавров и водруженное в качестве трофея в приходской церкви. Участники бунта прославились своей отвагой, которая вошла в поговорку.

Дублон — монета в два или четыре эскудо.

С. 713. ...*и вечно... новые побеги.* — По народному поверью, из этого дуба черти изготовляют весь уголь, потребляемый в аду.

Е. Лысенко